

Уильям Стайрон

Выбор Софи

Памяти моего отца (1889–1978)

У. Стайрон «Выбор Софи»: Издательство «Радуга»; Санкт-Петербург; 1993

ISBN 5-87188-017-7

Оригинал: William Styron, “Sophie's Choice”

Перевод: Т. А. Кудрявцева

*Кому дано запечатлеть ребенка
Среди созвездий, вверив расстоянье
Его руке? Кто слепит смерть из хлеба, –
Во рту ребенка кто оставит
Семечком в яблоке? ... Не так уж трудно
Понять убийцу, то это: смерть в себе,
Кто смерть в себе носить еще до жизни,
Носить, не зная злобы, – это вот
Неописуемо.*

Райнер Мария Рильке. Из Четвертой Дуинской элегии

*...я отыскиваю ту важнейшую область
Души, где чувству братства противостоит
Абсолютное Зло.*

Андре Мальро. Лазарь, 1974

Первое

В те дни на Манхеттене было почти невозможно найти дешевую квартиру, так что мне пришлось перебираться в Бруклин. Шел 1947 год, и одной из приятных особенностей того лета, которое я так живо помню, была погода, солнечная и мягкая, в воздухе пахло цветами, словно бег дней остановился на вечной весне. Я был благодарен судьбе уже и за это, поскольку молодость моя, как я считал, влачила наизжалчайшее существование. Мне было двадцать два года, и, стремясь выбиться в писатели, я обнаружил, что творческий жар, который в восемнадцать лет поистине сжигал меня чудесным неугасимым пламенем, превратился в тусклый контрольный огонек, чисто символически светившийся в моей груди или там, где некогда гнездились мои самые неутолимые чаяния. И не то чтобы мне больше не хотелось писать – я попрежнему страстно жаждал создать роман, который так долго томился в каземате моего мозга. Одно плохо: едва написав несколько отличных абзацев, я уже ничего больше не мог из себя выжать, или же – следуя образному выражению Гертруды Стайн[2] по адресу одного

незадачливого писателя «потерянного поколения» – соки-то во мне были, да только не хотели выливаться. В довершение беды я сидел без работы, почти без денег и, подобно другим моим землякам, сам изгнал себя на Флэтбуш-авеню, пополнив число голодных и одиноких молодых южан, блуждавших в этом еврейском царстве.



Зовите меня Стинго, или Язвина, – в ту пору ко мне обращались именно так. Прозвище это пошло из приготовительной школы, которую я посещал в моем родном штате Виргиния. Эта школа была приятным заведением, куда меня, четырнадцатилетнего мальчишку, зачислил после смерти матери мой сраженный горем отец, обнаружив, что ему со мною не справиться. А я отличался несобранностью и, кроме того, судя по всему, не проявлял внимания к личной гигиене, отчего меня вскоре и прозвали Стинки, иными словами – Вонючкой. Но шли годы. Время делало свое дело, да и привычки мои радикально изменились (собственно, меня до того застыдили, что я стал архичистюлей), так что начала исчезать необходимость в таком режущем слух прозвище и оно превратилось в более приятное или хотя бы менее неприятное – Стинго, или Язвина. После тридцати я каким-то таинственным образом расстался с Язвиной – прозвище это исчезло из моей жизни, словно растворилось в тумане, и я не жалел об утрате. Но в ту пору, о которой я пишу, я все еще был Язвиной. Если читатель, однако, удивится, не найдя этого имени в начале повествования, пусть он учтет, что я описываю тот грустный, одинокий период моей жизни, когда я, подобно свихнувшемуся отшельнику в горной пещере, отгородился от всего мира и ко мне вообще редко кто обращался.

Я был рад, что лишился работы – первой и единственной в моей жизни работы за жалованье, если не считать службы в армии, – хотя ее потеря основательно

подорвала мою и без того скромную платежеспособность. К тому же, я думаю, мне полезно было так рано понять, что я никогда и нигде не смогу удовлетворить требованиям, предъявляемым к чиновнику. Учитывая то, как я жаждал получить это место, я, надо сказать, сам удивился чувству облегчения – и даже радости, – с каким воспринял свое увольнение всего пять месяцев спустя. В 1947 году работу найти было трудно, особенно в издательстве, а мне посчастливилось получить место в одном из крупнейших издательств в качестве «младшего редактора» – эвфемизм, обозначающий человека, читающего рукописи. В ту пору, когда доллар имел большую ценность, чем теперь, условия найма определял хозяин, что и явствует из моего жалованья – сорок долларов в неделю. После вычета налогов вознаграждение за мои труды составляло на худосочно-голубом чеке, который каждую пятницу приносила мне маленькая горбунья-расчетчица, немногим более девяноста центов в час. Меня ничуть не возмущало, что один из самых влиятельных и богатых издателей мира платил своим сотрудникам столь мизерное жалованье: молодой и полный жизненных сил, я смотрел на свою работу – по крайней мере в самом начале – как на нечто возвышенное, а кроме того, в качестве компенсации ждал от нее немало пленительных минут: обеды в ресторане «21», ужины с Джоном О'Харой, встречи с самоуверенными и блестящими, но плотоядными писательницами, которые будут таять от моей редакторской проницательности, и так далее.

Однако вскоре выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Во-первых, хотя издательство – процветающее главным образом за счет выпуска учебников, промышленных справочников и десятка технических журналов, охватывавших столь разнообразные и таинственные области знания, как свиноводство, или похоронное дело, или штампованные пластмассы, – наряду с этим печатало и романы, и публицистику, для чего и требовались молодые стилисты вроде меня, список его авторов едва ли мог привлечь внимание человека, серьезно интересующегося литературой. Так, например, к моменту моего поступления наиболее известными писателями, которых рекламировало издательство, были: отставной адмирал, ветеран Второй мировой войны, и бывший коммунист-осведомитель с чрезвычайно раздутой репутацией, создавший с чьей-то помощью свою *mea culpa*[3] – сочинение, прочно занимавшее место в середине списка бестселлеров. Писателей, чье имя могло бы стоять в одном ряду с Джоном О'Харой, там не было и в помине (поклонялся-то я более прославленным литераторам, но О'Хара, как мне казалось, был писателем того типа, с которым молодой редактор мог пойти в ресторан или выпить). А кроме того, уж больно угнетала меня нудота, которой я занимался. В ту пору «Макгроу-Хилл энд компани» (а я работал именно там) не блистало литературными шедеврами – оно так долго и так успешно занималось выпуском технических трудов, что небольшой отдел художественной литературы, где я трудился и где мы стремились дотянуться до уровня издательств «Скрибнер» или «Кнопф», считался эдаким пустяковым придатком. Совсем как если бы

крупные универмаги, вроде «Монтгомери уорд» или «Мастерс», обнаглев, вздумали открыть у себя салон по продаже изделий из норки и шиншиллы, хотя все знали бы, что это крашеный японский бобер.

Итак, будучи работягой, находившимся на самой низшей ступени служебной лестницы, я не только не допускался к чтению более или менее добротных рукописей, но вынужден был ежедневно продираться сквозь дебри беллетристики и публицистики наискромнейшего качества, листая кипы залитой кофе, замусоленной дешевой бумаги, чей засаленный, потрепанный вид громогласно возвещал о глубине отчаяния автора (или литературного агента) и о том, что издательство «Макгроу-Хилл» – его последняя надежда. Но в моем возрасте, да еще когда моя тупая башка была забита английской литературой, я был столь же непреклонно требователен, как Мэтью Арнолд,[4] считая, что письменное слово должно нести лишь предельно серьезные истины, и относился к этим жалким детищам тысяч неизвестных мне людей, в одиночестве вынашивавших свою хрупкую мечту, с высокомерной абстрактной ненавистью, какую питает обезьяна к блохам, вылавливаемым в своей шерсти. Я был непреклонен, категоричен, беспощаден, нетерпим. Сидя в своей стеклянной клетушке на двадцатом этаже здания «Макгроу Хилл» – архитектурно внушительной, но производящей удручающее впечатление зеленой башне на Сорок седьмой улице Западной стороны Нью-Йорка, – я направлял все свое презрение, какое может возникнуть лишь у человека, только что закончившего чтение «Семи типов двусмысленности», [5] на кипы рукописей, уныло громоздившиеся на моем столе и такие невероятно тяжелые от вложенных в них надежд и хромающего синтаксиса. Я должен был дать достаточно подробное описание каждого произведения, независимо от его качества. Сначала я получал от этого истинное удовольствие и от души наслаждался, лихо разнося в пух и прах и умерщвляя рукописи одну за другой. Но через какое-то время их неизменная посредственность стала приедаться, мне надоело однообразие моей работы, надоело курить сигарету за сигаретой, смотреть на подернутый смогом Манхэттен и выдавать бессердечные отзывы вроде вот этого, который я сохранил в память о том иссушающем душу, удручающем времени. Привожу его здесь дословно, без всякой редакции.

«Высоко растет морская трава». Эдмония Краус Бирстиккер. Роман.

Любовь и смерть среди дюн и кустиков клюквы в южном Нью-Джерси. Молодой герой, Уиллард Стрэтэуэй, наследник огромного состояния, нажитого на упаковке клюквы, недавно окончивший Принстонский университет, отчаянно влюбляется в Рамону Блейн, дочь Эзры Блейна, закоренелого левака и организатора забастовки среди сборщиков клюквы. Сюжет весьма запутан и остроумно построен; существенную роль в нем играет заговор, устроенный Брэндонем Стрэтэуэем – всемогущим отцом Уилларда – с целью ликвидировать старика Эзру, чей отвратительно изуродованный труп действительно находят

однажды утром в клюквоуборочной машине. Это приводит почти к разрыву между Уиллардом – а он «поразительно красиво, по-принстонски держит голову чуть набок и отличается изрядной грациозностью хищника» – и безутешной Рамоной, чье «хрупкое стройное тело не в силах скрыть сладострастную негу, таящуюся внутри».

Я вывожу эти слова с таким ужасом, что могу лишь сказать: худшего романа еще не написали ни женщина, ни зверь. Отклонить с наивозможнейшей быстротой.

Ах, до чего же умный, до чего высокомерный молодой человек! Как же я злорадствовал и хихикал, потроша этих беспомощных, бесправных, полуграмотных ягнят. Не боялся я и легонько ткнуть под ребро «Макгроу-Хилл» с его склонностью публиковать всякую «забавную» дрянь, отрывки из которой печатал за солидный аванс «Ридерс дайджест» (хотя мои издевки, наверное, и способствовали моему падению).

«Женка водопроводчика». Одри Уэйнрайт Смайли.

Публицистика.

Единственно, что говорит в пользу данного произведения, – его название, достаточно завлекательное и вульгарное, чтобы заинтересовать «Макгроу-Хилл». Автор – женщина; замужем – на что скромно намекает название книги – за водопроводчиком, с которым она живет в пригороде Вустера, штат Массачусетс. В этих безнадежно унылых – хотя автор и тужится вызвать у читателя смех на каждой странице, – безграмотных вымыслах есть попытка романтизировать, по всей вероятности, жуткое существование путем старательного сравнения комических превратностей своей домашней жизни с жизнью нейрохирурга. Подобно врачу, пишет автор, водопроводчик могут вызвать и ночью, и днем; как и врач, водопроводчик выполняет сложную работу и постоянно соприкасается с микробами; и от обоих, когда они приходят домой, зачастую плохо пахнет. Уровень юмора наиболее ярко виден в названиях глав – слово «пошлятина», пожалуй, слишком слабо, чтобы обрисовать его: «Тра-та-та, тра-та-та – блондинка в ванночку вошла», «Дренаж нервов» (дренаж – ясно?), «Когда спускают воду», «Набросок в коричневых тонах» и т. д. Рукопись поступила предельно грязная, с загнутыми страницами, побывав – о чем сообщает автор в сопроводительном письме – в издательствах «Харпер», «Саймон энд Шустер», «Кнопф», «Рэндом-хаус», «Морроу», «Холт», «Месснер», «Уильям Слоун», «Райнкарт» и восьми других. В этом же письме автор указывает, что она в полном отчаянии из-за того, что происходит с рукописью, в которой вся ее жизнь, и (я не шучу) далее следует завуалированная угроза покончить с собой. Мне не хотелось бы явиться причиной чьей-то смерти, но данная рукопись никогда не должна быть опубликована – это абсолютный императив. Отклонить! (Почему я должен читать такое дерьмо?).

Я никогда не посмел бы написать последнюю фразу и так непочтительно отзываться о «Макгроу-Хилл», если бы сидевший надо мной старший редактор, который читал все мои заключения, не разделил моего разочарования нашим хозяином и всем, что несла людям его обширная и бездуховная империя. Этот умный, но незадачливый, добродушный ирландец с сонными глазами – звали его Фаррелл – проработал немало лет в таких изданиях «Макгроу-Хилл», как «Ежемесячник пенопласта», «Мир протезирования», «Новое о пестицидах» и «Открытые минеральные разработки в Америке», а затем, когда ему стукнуло пятьдесят пять, его перевели в более интеллигентный, менее связанный с промышленностью и, следовательно, более спокойный отдел по выпуску книг, где он сидел в кабинете, посасывая трубку, почитывал Йетса и Джерарда Мэнли Хопкинса,[6] снисходительным оком просматривал мои заключения и, по-моему с нетерпением ждал того момента, когда сможет уйти на пенсию и обосноваться в Озон-Парке. Мои подковырки по адресу «Макгроу-Хилл» не только не оскорбляли его, а, наоборот, обычно забавляли, как и мои заключения вообще. Фаррелл уже давно стал жертвой бесперспективного сонного застоя, в который, словно в гигантский улей, фирма вгоняла своих даже наиболее честолюбивых сотрудников, и поскольку он понимал, что из десяти тысяч рукописей я едва ли найду одну, которую стоит напечатать, то, видимо, считал, что не грех мне немного и поразвлечься. Я до сих пор бережно храню одно из моих длинных заключений (если не самое длинное), в значительной степени потому, что это, пожалуй, единственный отзыв, который я написал с чем-то похожим на сострадание.

«Харальд Хаарфагер. Сага». Гундар Фиркин. Поэзия.

Гундар Фиркин – это не псевдоним, а настоящее имя. Имена многих плохих писателей звучат странно или кажутся вымышленными, а потом обнаруживаешь, что они настоящие. Неужели это что-то значит? Рукопись «Харальд Хаарфагер. Сага» не прибыла непрошеной гостьей по почте и не поступила от агента – ее вручил мне сам автор. С неделю назад Фиркин появился в приемной с коробкой, в которой лежала рукопись, и с двумя чемоданами. Мисс Мейерс сказала, что он хочет видеть кого-нибудь из редакторов. Малый лет, я бы сказал, под 60, среднего роста, сутуловатый, но крепкий; изборожденное морщинами, обветренное лицо с густыми седыми бровями, мягким ртом и старыми, бесконечно грустными глазами. На нем была черная кожаная шапка из тех, что носят фермеры, с ушами, которые можно поднять и опустить, и толстая ветронепроницаемая куртка с вязаным шерстяным воротником. Руки у него были огромные, с толстыми красными суставами. Из носу капало. Он сказал, что хотел бы оставить рукопись. Вид у него был весьма усталый, и я спросил, откуда он, а он сказал, что только что – сейчас – прибыл в Нью-Йорк на автобусе, который вез его три дня и четыре ночи из местечка под названием Тертл-Лейк, штат Северная Дакота. «Только чтобы передать рукопись?» – осведомился я, на что он

ответил: «Да».

Затем он пустил пробный шар, сообщив мне о том, что «Макгроу-Хилл» – первое издательство, куда он обращается. Это удивило меня, поскольку нашей фирме редко отдают предпочтение даже писатели столь мало осведомленные, как Гундар Фиркин. Я поинтересовался, почему он сделал такой необычный выбор, и он мне ответил, что так решил случай. Он не собирался в первую голову обращаться в «Макгроу-Хилл». Просто его автобус, рассказал он мне, несколько часов простоял в Миннеаполисе – он отыскал там телефонную контору и выяснил, что у них есть экземпляры Желтой телефонной книги Манхэттена. Не желая поступать как дикарь и вырывать страницы, он битый час, а то и больше, выписывал карандашом названия и адреса многочисленных книгоиздательств города Нью-Йорка. Он намеревался обойти их в алфавитном порядке, начав, по-моему, с «Апплтона» и кончая «Цифф-Дэвисом». Но когда утром по прибытии на место вышел из автобусной станции, всего в одном квартале к востоку от нас, и поднял взгляд, то увидел в небе изумрудный монолит старины «Макгроу», увенчанный внушительными буквами «МАКГРОУ-ХИЛЛ». Вот он и притопал к нам.

Старик выглядел настолько измученным и растерянным – как потом выяснилось, он никогда не бывал восточнее Миннеаполиса, – что я решил по крайней мере сводить его в кафетерий и угостить кофе. Пока мы сидели там, он рассказал мне о себе. Он сын норвежских иммигрантов – первоначально фамилия его была «Фиркинг», но потом «г» каким-то образом отскочило – и всю жизнь фермерствовал: растил пшеницу близ этого городка Тертл-Лейк. Двадцать лет тому назад, когда ему было около сорока, компания, занимающаяся добычей ископаемых, обнаружила большие залежи угля под его землей и подписала с ним договор о долговременной аренде участка, так что теперь, хотя залежи до сих пор не разрабатываются, он до конца жизни обеспечен. Человек он неженатый и привык всю жизнь трудиться, поэтому ферму не забросил, но у него появилось свободное время, и он смог взяться за осуществление давно лелеемой мечты. А именно: он решил написать эпическую поэму об одном из своих норвежских предков Харальде Хаарфагере, который жил в XIII веке и был то ли герцогом, то ли принцем, то ли кем-то еще. Нечего и говорить, что сердце у меня при этой ужасной вести упало и разбилось. Но я продолжал сидеть с бесстрастным лицом, а он, похлопывая рукой по коробке с манускриптом, сказал: «Да, сэр. Двадцать лет труда. Вот они где. Вот».

И тут во мне произошел поворот. Несмотря на свой провинциальный вид, он был неглуп и очень велеречив. Повидимому, он много читал – преимущественно норвежскую мифологию, хотя были у него и любимые писатели, такие, как Сигрид Унсет, Кнут Гамсун, а также стопроцентные американские среднезападники, вроде Хэмлина Гарленда и Уиллы Кэсер. Словом, подумал я, а

что, если я вдруг обнаружу эдакого самобытного гения? Ведь даже такой великий поэт, как Уитмен[7] выглядел нескладным эксцентриком, торговавшим направо и налево своей нелепой рукописью. Так или иначе после долгой беседы (я уже стал звать его Гундаром) я сказал, что охотно прочту его произведение, хотя должен предупредить, что наше издательство не слишком «сильно» по части публикации поэзии, после чего мы поехали на лифте ко мне наверх. И тут произошло самое страшное. Прощаясь с ним, я сказал, что понимаю: после двадцати лет работы ему, естественно, хочется поскорее получить ответ, я постараюсь со всем вниманием прочесть рукопись и ответить через несколько дней; в этот момент я заметил, что собираясь уходить, он взял с собой лишь один чемодан. Я сказал ему об этом, а он улыбнулся, посмотрел на меня своими серьезными, задумчивыми, мечтательными глазами жителя глубинки и сказал: «Я-то думал, вам ясно: в другом чемодане конец моей саги».

Я не шучу – наверное, это самый длинный литературный труд, когда-либо сотворенный рукой человека. Я отнес его в экспедицию и попросил взвесить: 35 фунтов, семь коробок дешевой бумаги по пять фунтов каждая, всего 3850 страниц на машинке. Написана сага на весьма своеобразном английском языке – можно было подумать, что это писал Драйден в качестве сатиры на Спенсера,[8] если бы не знать жуткой правды – о том, сколько ночей и дней за эти двадцать лет провел человек в холодной дакотской степи, мечтая о древней Норвегии и лихорадочно строча под вой ветра со Саскачевана, клонящего долу пшеницу:

О ты, великий вождь ХАРАЛЬД, как велико твое горе!

Где бутоньерки те, что она бросала тебе?

А как стареющий холостяк обтачивал четырехтысячную строку под шуршание электрического вентилятора, разгоняющего удушливую жару прерии:

Больше не пойте, о тролли и нибелунги, не пойте

Песен, что ХАРАЛЬД в ее честь сочинил, –

Траурным плачем поля огласите:

О черный грач!

Настала пора умирать – да, настала давно.

О траурный плач!

Губы мои дрожат, глаза застилают слезы, я больше не могу. Гундар Фиркин в отеле «Алгонкин» (где он снял номер по моей безжалостной подсказке) ждет телефонного звонка, а я слишком трушу и не могу сам позвонить. Решение мое – отклонить с сожалением, даже с великим огорчением.

Возможно, мои требования были слишком высоки или рукописи были уж слишком плохого качества, но так или иначе я не помню, чтобы за пять месяцев работы в «Макгроу-Хилл» я рекомендовал хотя бы одно из предложенных моему вниманию произведений. Однако была одна рукопись, которую я отклонил и

которая, будучи, насколько мне известно, впоследствии издана, не осталась – по иронии судьбы – безвестной и непрочитанной. С тех пор я не раз представлял себе, как реагировал Фаррелл или кто-либо другой из начальников, когда эта книга вышла в чикагском издательстве через год после того, как я расстался с удручающими горами рукописей в «Макгроу-Хилл». Мое заключение наверняка отложилось в памяти кого-нибудь из высшего эшелона, и столь же наверняка этот старожил, обратившись к архиву, перечел – бог знает с какой смесью недоумения и чувства потери – мой сухой отказ, натканный в самоуверенном педантичном и отвратительном тоне:

...итак, не без чувства облегчения обнаружил я после стольких тяжелых месяцев рукопись, чей стиль не вызывает жара, головной боли и рвоты, и уже за одно это автора следует похвалить. Сюжет – люди, дрейфующие на плоту, – обладает определенными притягательными свойствами. Но большая часть книги посвящена долгому, неспешному и нудному дрейфу в Тихом океане; надо бы резко ее сократить и, по-моему, лучше всего напечатать в каком-нибудь журнале вроде «Нейшнл джиогрэфик». Возможно, ее могло бы взять какое-нибудь университетское издательство, но книга явно не для нас.

Так я разделался с классическим произведением современной приключенческой литературы – «Кон-Тики». Много месяцев спустя, глядя на то, как эта книга – невероятно! – неделю за неделей стоит первой в списке бестселлеров, я попытался объяснить себе свою слепоту тем, что если бы «Макгроу-Хилл» платило мне не девяносто центов в час, а больше, я бы, наверное, лучше чувствовал разницу между хорошей книгой и презренной погоней за деньгой.

Домом моим в ту пору была клетушка размером восемь на пятнадцать футов в здании, именуемом Клуб и резиденция университетов, на Одиннадцатой улице Западной стороны Гринич-Вилледжа. Когда я приехал в Нью-Йорк это место привлекло меня не только своим названием – а при упоминании его перед мысленным взором возникала компанейская атмосфера университетов Плющовой лиги,[9] обтянутые сукном столы, заваленные номерами «Нью рипаблик» и «Партизан ревью», почтенные служители во фраках спешащие передать тебе поручение и выполняющие малейшие твои желания, – но и скромной стоимостью: десять долларов в неделю. Насчет университетов Плющовой лиги – это была, конечно, дурацкая иллюзия. Клуб и резиденция университетов был лишь на одну крошечную ступеньку выше ночлежки, отличаясь от подобного рода заведений на Бауэри лишь тем, что в Резиденции ты имел возможность уединиться, заперев за собою дверь. А все остальное, включая цену за постой, очень походило на ночлежку. Как ни парадоксально, дом стоял в замечательном, даже чуть ли не шикарном месте. Из моего единственного, затянутого грязной пленкой окна на четвертом этаже я видел внизу роскошный сад дома на Двенадцатой улице Западной стороны и время от

времени тех, кто, думалось мне, был владельцами сада: моложавого мужчину в твиде, который, как мне представлялось, был восходящей литературной звездой, чьи творения печатались в «Нью-Йоркере» и в «Харперсе», и его живую, на редкость хорошо сложенную блондинку-жену, которая расхаживала по саду в брючках или в купальном костюме, а порой играла с дурацкой, изысканно подстриженной афганской борзой или лежала в гамаке, и я ласкал ее до изнеможения, беззвучно, размеренно, не спеша направляя в цель стрелы моего желания.

В тот период тяга к сексу – а вернее, его отсутствие – в сочетании с этим нахально-роскошным садом и его обитателями, подчеркивавшими убогость Клуба и резиденции университетов, сделали мою жизнь совсем уже невыносимой, заставляя острее ощущать мою бедность, одиночество и неприкаянность. От постояльцев – исключительно мужчин, по преимуществу среднего возраста или старше, неудачников или побирušек Гринич-Виллсджа, следующим шагом для которых были уже притоны, – при встречах в тесных коридорах с облупленными стенами исходил кислый запах вина и отчаяния. В вестибюле, сумрачно освещенном мутным снегом единственной лампочки, вместо внушительного старика привратника дежурили, сменяя друг друга, клерки-рептилии, все с землистой, зеленоватого оттенка кожей, какая бывает у существ, лишенных дневного света; они же служили лифтерами и отчаянно кашляли и поеживались от геморроидальных болей, пока единственный скрипучий лифт бесконечно долго взбирался на четвертый этаж, где в ту весну я из вечера в вечер замуровывался в своей клетушке как не вполне нормальный анахорет. К такой жизни меня вынуждала необходимость – не только потому, что у меня не было денег на развлечения, но и потому, что, недавно приехав в метрополию, я держался замкнуто – не столько из застенчивости, сколько из гордости, – и не было у меня ни возможности, ни умения заводить друзей. Впервые – а до сего дня я порою долго и бездумно проводил время в дурацких компаниях – я почувствовал муки одиночества, которого не искал. Подобно преступнику, неожиданно оказавшемуся в камере-одиночке, я обнаружил, что живу за счет нерастраченного жира внутренних ресурсов, о существовании которых даже не подозревал. Сидя в майских сумерках в Клубе и резиденции университетов и наблюдая за невиданно огромным тараканом, который полз по моему тому Полного собрания поэзии и прозы Джона Донна,[10] я вдруг увидел лик одиночества и решил, что это самый безжалостный и самый отвратительный лик.

Итак, на протяжении этих месяцев вечера мои не отличались разнообразием. Выйдя в пять из здания «Макгроу-Хилл», я спускался на Восьмой авеню в метро, ехал (за пятипенсовик) до площади Гринич-Виллсджа, а там шел напрямик в угловую гастрономию и покупал три банки пива «Рейнголд» – ровно столько, сколько позволяли мне совесть и бюджет. Затем я приходил в свою комнатенку,

вытягивался на шишковатом матрасе, накрытом простынями, застиранными до прозрачности и пахнувшими хлоркой, и читал, пока последняя банка пива не становилась теплой, на что требовалось часа полтора. По счастью, я был в том возрасте, когда чтение еще не приелось и, следовательно, за исключением счастливого брака, является наилучшей возможностью бежать от одиночества. Иначе мне бы не пережить эти вечера. Но я был безудержный книгочел и, кроме того, по-чужеземному эклектичный, с такой страстью к писаному слову – почти любому писаному слову, – что оно действовало на меня поистине возбуждающе, почти как если бы я был эротоман. Причем буквально: я знаю, что, не сопоставив я своих переживаний с рассказами некоторых других людей, которые признавались, что испытывали в молодости то же самое, я вызвал бы сейчас презрение или недоверие, утверждая, будто помню, как при одной мысли о возможности полистать полчаса телефонный справочник у меня кровь прилиwała к низу живота.

Словом, я читал – «У подножия вулкана»[11] была одной из книг, которые, насколько помнится, удерживали в тот сезон мое внимание, – а часов в восемь или девять отправлялся ужинать. Ну и ужины это были! Мое небо до сих пор отчетливо ощущает привкус сала после солсберийского бифштекса, который я ел «У Билфорда», или западного омлета, съеденного «У Райкера», как-то вечером я чуть не грохнулся в обморок, обнаружив в нем зеленоватое, почти истлевшее перышко и крошечный клювик эмбриона. Или хрящ, засевший, словно уплотненная опухоль, в бараньей отбивной, которую мне подали в «Афинской котлетной», причем от отбивной воняло старым бараном, а картофельное пюре было клейкое, прогорклое, явно воссозданное хитроумными греками из остатков государственных запасов, выкраденных с какого-нибудь склада. Но о том, как готовят в Нью-Йорке, я не знал, как не знал и многого другого, и я еще не скоро пойму, что, если хочешь потратить на еду не больше доллара, надо идти в «Белую башню» и съесть там пару бутербродов с котлетой и кусок пирога.

Вернувшись к себе в клетушку, я с остервенением хватал книгу и, снова погрузившись в выдуманный мир, читал до рассвета. Порою, правда, я вынужден был «выполнять домашнее задание», как я это с отвращением называл, а именно: писать тексты для суперобложек книг, издаваемых фирмой «Макгроу-Хилл». Собственно, меня ведь и наняли-то после того, как я написал на пробу текст для суперобложки «Исторического небоскреба Крайслер», уже выпущенной «Макгроу-Хилл». Мой лирический и в то же время крепко сбитый текст произвел на Фаррелла такое сильное впечатление, что он не только взял меня на работу, но и ожидал, что я и дальше буду создавать подобные чудеса для будущих книг нашей фирмы. Думается, главным разочарованием для него было то, что я ни разу не смог повторить свой первый опус, ибо попал во власть специфического для «Макгроу-Хилл» синдрома отчаяния и иссушения мозгов, который был неведом Фарреллу и не вполне осознавался мною самим. Не желая

признаваться в этом даже себе, я начал ненавидеть шарады, решения которых требовала от меня работа. Я же был не редактор, а писатель, – писатель, горевший таким же пылом и умевший взмыться ввысь на крыльях воображения, как Мелвилл или Флобер, или Толстой, или Фицджеральд, которые способны были вырвать сердце у меня из груди и оставить частицу себе; это они каждый вечер – порознь или все вместе – призывали меня следовать их несравненным путем. Я чувствовал, что деградирую, берясь писать для суперобложек, тем более что книги, которые мне поручали перевозить, были не литературой, а ее антиподом – коммерческими поделками. Вот кусок одного текста, который я так и не сумел закончить:

Романтика производства бумаги неразрывно связана с историей «американской мечты», а имя Кимберли-Кларка неразрывно связано с историей производства бумаги. Все началось со скромного «однолошадного» предприятия в Нине, сонном висконсинском городке на берегу озера; теперь же корпорация Кимберли-Кларка является одним из гигантов мирового бумажного производства, ее фабрики работают в 13 штатах и 8 иностранных государствах. Заботясь об удовлетворении целого сонма человеческих потребностей, корпорация выпускает множество разнообразной продукции: сами названия ее товаров уже вошли в обиход – наиболее известным, несомненно, является клинекс...[12]

На составление такого абзаца уходили часы. Лучше сказать «несомненно... клинекс» или «бесспорно»? «Сонм» человеческих потребностей или «уйма»? «Масса»? «Прорва»? Создавая подобный текст, я рассеянно мерил шагами свою клетушку, негромко произнося вслух бессмысленные слова, нащупывая ритм прозы и сдерживая отчаянное желание мастурбировать, которое в таких случаях почему-то всегда нападало на меня. Наконец, задыхаясь от ярости, я громко объявлял стенам из прессованной древесной стружки: «Нет! Нет!», затем бросался к пишущей машинке и, озорно хихикая, стремительно отстукивал уничтожающий, но божественно очищающий душу вариант:

Нельзя спокойно смотреть на статистические данные деятельности «Кимберли-Кларк» – они потрясают: подсчитано, что, если выпростать из клинексов все сопли, высморканные в Соединенных Штатах и Канаде за один только зимний месяц, и размазать их по полю Йейлского стадиона, получится слой в полтора фута толщиной. Подсчитано, что если выложить в ряд влагища, обладательницы которых применяли в США «Котекс» в течение только одного периода в четыре дня, линия протянется от Бостона до Уайт-ривер-джанкшен, штат Вермонт.

На другой день Фаррелл, неизменно вежливый и терпеливый, задумчиво посмотрит, скривившись и жуя резинку, на этот дар судьбы, и, заметив, что «это

не совсем то, что, по-моему, требуется», понимающе усмехнется и попросит меня – пожалуйста, сделайте новую попытку. И поскольку я еще не окончательно погиб, а быть может, потому, что пресвитерианская этика все еще имеет надо мною власть, я вечером попытаюсь написать заново – попытаюсь, мобилизовав весь свой пыл и все свои способности, но тщетно. Попотев не один час, я сдамся и вернусь к чтению «Медведя» или «Записок из подполья», или «Билли Бадда», [13] а чаще всего просто встану у окна и буду смотреть вниз, на зачарованный сад. Там, в золотистых весенних сумерках Манхэттена, в интеллигентной, ненавязчиво богатой атмосфере, куда, я знал, мне заказан доступ, у Ханникатов, как я их окрестил, начинался вечерний прием. Златокудрая Мэвис Ханникат на секунду появлялась одна в саду – на ней была блузка и узкие цветастые брючки; она останавливалась, задирала носик к опаловому вечернему небу, колдовски встряхивала своими прекрасными волосами и, нагнувшись, принималась рвать с клумбы тюльпаны. Стоя в этой прелестной позе, она и понятия не имела, что она делала с самым одиноким из младших редакторов Нью-Йорка. Мною овладевала невероятная жажда обладания – слепое рыло желания соскальзывало вниз по закопченным стенам жалкого старого дома, перекидываясь через ограду и поспешно приближалось, извивающееся и непристойное, к ее задранному заду в брючках, цветы на которых неожиданно становились мною, чувствующим свою мужскую силу, алчущим и, однако, все еще владеющим собой. Руки мои нежно обвивались вокруг Мэвис, и ее полные, ничем не стесненные, пахнущие медом груди ложились на мои ладони. «Это ты, Уинстон?» – шептала она. «Нет, это я, – отвечал я, ее возлюбленный, – разреши мне взять тебя вот так, сейчас». На что



она всякий раз говорила: «Ах, любимый, конечно... потом».

В этих моих безумных фантазиях мне мешало немедленно слиться с нею на гамаке фирмы «Аберкромби и Фитч» внезапное появление в саду Торнтона Уайлдера. Или Э. Э. Каммингса. Или Кэтрин Энн Портер. Или Джона Херси. Или

Малколма Коули. Или Джона Ф. Маркунда. [14] После чего, вернувшись к действительности – хоть и терзаясь неосуществленным желанием, – я обнаруживал, что по-прежнему стою у окна и с тоскою в душе наблюдаю за

происходящим внизу... Мне казалось идеально логичным, что Ханникатам, этой живой веселой молодой паре (чья гостиная находилась на уровне сада, что позволяло мне с завистью поглядывать на датские полки, изготовленные современными датскими мастерами и ломившиеся от книг), так невероятно повезло и они жили в мире, населенном писателями и поэтами, и критиками, и всякими прочими литераторами; и вот в такие вечера, когда на землю мягко опускались сумерки и терраса заполнялась оживленно болтающими красиво одетыми интеллектуалами, я различал среди теней лица всех немыслимых героев и героинь, о которых мечтал с той минуты, как мой злосчастный дух пленила магия печатного слова. Я еще не встречал ни одного автора опубликованной книги – если не считать того жалкого старика, бывшего коммуниста, о котором я упоминал выше и который однажды случайно забрел ко мне в здание «Макгроу-Хилл», распространяя вокруг запах чеснока и кислого пота укоренившихся дурных предчувствий, – так что той весной вечеринки у Ханникатов, которые устраивались часто и затягивались допоздна, давали повод для самых немыслимых полетов воображения, какие когда-либо совершал мозг идолопоклонника, терзающегося неразделенной любовью. Вон Уоллес Стивенс! И Роберт Лоуэлл![15] А этот господин с усиками, исподтишка заглядывающий в садик с порога дома. Неужели это действительно Фолкнер?[16] Поговаривали, что он в Нью-Йорке. А эта дама с монументальным бюстом, стянутыми в пучок волосами и неизменной усмешкой. Это же Мэри Маккарти.[17] А маленький человечек с красным лицом, чуть искаженным ироничной ухмылкой, – это не кто иной, как Джон Чивер.[18] Однажды в сумерках звонкий мужской голос крикнул: «Ирвин!», и, когда это имя долетело до моего закопченного насеста, я почувствовал, как сердце у меня пропустило удар. Было действительно слишком темно, да и стоял он ко мне спиной между двумя девушками, которые с обожанием взирали на него, поднимая личики, как цветы к солнцу, но неужели этот плечистый крепкий борец мог быть тем, кто написал «Девушек в летних платьях»?[19]

Сейчас-то я понимаю, что все эти гуляки, собиравшиеся по вечерам у Ханникатов, либо промышляли на Уолл-стрите, либо занимались рекламой или каким-то другим пустопорожним делом, но в ту пору я был твердо убежден в своей иллюзии. Как-то вечером, однако, перед самым моим изгнанием из империи «Макгроу-Хилл», в чувствах моих произошла полная перемена, после чего я никогда уже больше не смотрел в сад. В тот раз я занял привычную позицию у окна и устремил взгляд на знакомый задик Мэвис Ханникат, одновременно подмечая ее ставшие такими милыми моему сердцу телодвижения – как она поправляет блузку, как отбрасывает пальчиком светлый локон, болтая с Карсон Маккалерс и бледным, очень высоким человеком, похожим на англичанина, который близоруко щурился и был явно Олдосом Хаксли.[20] О чем, ради всего святого, они беседовали? О Сартре?[21] О Джойсе?[22] О коллекционных винах? О летних курортах на юге Испании? О

«Бхагавадгите»?[23] Нет, они явно говорили о том, что их окружало, – о данном месте, – ибо Мэвис, сияя от удовольствия и возбуждения, указывала на увитые плющом стены садика, на миниатюрную зеленую лужайку, журчащий фонтанчик, удивительную клумбу с тюльпанами, сверкавшую в том сумрачном городском чреве яркими фламандскими красками. «Вот если б только... – казалось, говорила она, и лицо ее исказилось досадой. – Вот если б только...» Тут она круто развернулась и в ярости выбросила в сторону Клуба и резиденции университетов маленький кулачок – этот милый разгневанный кулачок был так заметен, она так безобидно им потрясала, что, казалось, он разрезал воздух всего в дюйме от моего носа. У меня было такое чувство, будто меня высветили прожектором, и в приливе застучавшего в висках горя я со всею несомненностью прочел по ее губам: «Вот если б только не торчал тут, как бельмо на глазу, этот дом, с его недоумками, плящимися на нас!».

Но моим мучениям на Одиннадцатой улице не суждено было затянуться. Мое самолюбие было бы удовлетворено, если бы я мог считать, что меня уволили из-за истории «Кон-Тики». Но звезда моя в «Макгроу-Хилл» стала клониться к закату с появлением нового главного редактора, которого я втайне прозвал Хорьком, что было почти анаграммой его настоящего имени. Хорька взяли, чтобы придать нашей конторе недостающий лоск. В ту пору его знали в издательском деле главным образом в связи с Томасом Вулфом:[24] он стал редактором Вулфа после того, как тот расстался с издательством «Скрибнер и Максуэлл Перкинс», а после смерти писателя помог установить хронологию и привести в порядок его огромное, оставшееся неопубликованным наследие. Хотя оба мы с Хорьком были с Юга – что во враждебном окружении Нью-Йорка чаще всего с первых же шагов цементирует отношения между людьми, – мы тотчас невзлюбили друг друга. Хорек был маленький, лысеющий, неприметный мужчина лет под пятьдесят. Не знаю, что он думал обо мне, хотя не сомневаюсь, что наглый, бесшабашный стиль отношение ко мне; я же считал его холодным, лишенным юмора, ничем не интересующимся, непомерно самовлюбленным, с неприступной манерой держаться, свойственной людям, склонным переоценивать свои достижения. На редакционных совещаниях он любил изрекать: «Вулф говаривал мне...» Или: «Как образно выразился Том в письме, которое написал мне перед самой смертью...»

Он до такой степени отождествлял себя с Вулфом, точно был alter ego[25] писателя – это-то больше всего и не давало мне покоя, ибо, подобно множеству молодых людей моего поколения, я прошел тернистый путь поклонения Вулфу и отдал бы все, что имел, лишь бы спокойно, по-дружески провести вечер с таким человеком, как Хорек, вытягивая из него все новые рассказы о Мастере, изрекая «Господи, сэр, этому же цены нет!» после очередной чудесной небылицы про обожаемого гения, его причуды или выходки, или про трехтонную рукопись. Но никакого контакта у нас с Хорьком не получалось. Помимо всего прочего, он

был отчаянный формалист и быстро приспособился к чистоплюйской, бесцветной и архиконсервативной атмосфере «Макгроу-Хилл». Во мне же, наоборот, еще во всех смыслах играла кровь, и я не только потешался над редакторской стороной книгоиздания, что мои усталые глаза воспринимали теперь как явно унылую тягомотину, но и над стилем, традициями и артефактами мира бизнеса вообще. Ведь и конечном-то счете издательство «Макгроу-Хилл», несмотря на все старания придать своей деятельности литературный лоск, было чудовищным порождением американского бизнеса. И вот когда у руля встал такой хладнокровный защитник интересов компании, как Хорек, я понял, что беды недолго ждать и дни мои сочтены.

Однажды, вскоре после прихода к власти, Хорек призвал меня к себе в кабинет. У него было продолговатое упитанное лицо и крошечные недобрые, как у хорька, глазки – мне казалось просто невозможным, чтобы такое существо могло завоевать доверие человека, столь чуткого к малейшим оттенкам физического облика, как Томас Вулф. Хорек жестом предложил мне сесть и, с трудом выдавив из себя несколько любезностей, перешел к делу, а именно моему полному, по его мнению, несоответствию определенным аспектам «профиля» фирмы «Макгроу-Хилл». Я тогда впервые услышал, что это слово употребляется в ином смысле, чем вид лица сбоку, а по мере того, как Хорек говорил, перейдя уже к деталям, я все меньше понимал, чем же я не соответствую, поскольку был уверен, что добрый старикан Фаррелл не мог плохо отзываться обо мне или моей работе. Но оказалось, что мои просчеты связаны с одеждой и – по крайней мере косвенно – с политикой.

– Я заметил, что вы не носите шляпы, – сказал Хорек.

– Шляпы? – повторил я. – Ну, в общем, не ношу. – Я всегда прохладно относился к головным уборам, хотя, по правде говоря, признавал за шляпами право на существование. Но с тех пор как два года тому назад расстался с морской пехотой, я, безусловно, никогда не думал, что носить шляпу обязательно. Имел же я право выбора и потому до той минуты никогда об этом не думал.

– Все в «Макгроу-Хилл» носят шляпу, – сказал Хорек.

– Все? – переспросил я.

– Все – отрезал он.

Ну и, поразмыслив о его словах, я, конечно, понял, что это так: все действительно носили шляпы. Утром, вечером и в обеденное время в лифтах и холлах волновалось море соломенных и фетровых шляп, сидящих на одинаково причесанных, коротко подстриженных головах тысячной армии выкормышей «Макгроу-Хилл». Во всяком случае, так обстояло дело с мужчинами, а для женщин – в большинстве секретарш – это, видимо, было необязательно. Словом, Хорек был, безусловно, прав. Дотоле я этого не замечал – и лишь в тот момент узрел, что ношение шляпы было не данью моде, а непременной частью принятого в «Макгроу-Хилл» обмундирования, как и рубашки «Эрроу» на

пуговицах и пригнанные по фигуре фланелевые костюмы фирмы «Вебер энд Хэйлбронер», которые носили в зеленой башне все, начиная продавца учебных пособий и кончая вечно озабоченными редакторами журнала «Как распоряжаться крупными отбросами». В своем неведении я не сознавал, что был одет не по форме, но даже и сейчас, уловив это обстоятельство, я почувствовал возмущение и одновременно приступ веселости и не знал, что отвечать на суровое обвинение Хорька. Внезапно я услышал собственный голос, спрашивавший Хорька, столь же мрачным тоном, каким он говорил со мной:

– Могу я узнать, чем еще я не отвечаю профилю данного учреждения?

– Я не могу диктовать вам, какие газеты читать, да и не хочу этого делать, – сказал он, – но служащему такого издательства, как «Макгроу-Хилл», не следовало бы афишировать свое пристрастие к «Нью-Йорк пост». – Он помолчал. – Это так – совет для вашего же блага. Нечего и говорить, вы можете читать что угодно в свободное время и не на работе. Просто как-то... не пристало редактору «Макгроу-Хилл» читать в издательстве радикальные газеты. – А что же я должен читать? – У меня вошло в привычку в обеденное время отправляться на Сорок вторую улицу и покупать там дневной выпуск «Пост» и сандвич, а затем поглощать и то и другое в моем кабинете во время положенного перерыва. Это было единственное время, когда я в течение дня читал газету. В ту пору я был не столько политически наивен, сколько политически нейтрален – что-то вроде кастрата – и читал «Пост» не потому, что там печатались либеральные редакционные статьи или обзоры Макса Лернера – и те и другие казались мне ужасно скучными, – а потому, что газета отличалась живостью стиля, как и положено журналистике большого города, и там появлялись увлекательные сообщения из жизни высшего света, в частности принадлежащие перу Леонардо Лайонса. Тем не менее, отвечая Хорьку, я уже знал, что не откажусь от этой газеты и не пойду к «Уэйнамейкеру», чтобы обзавестись мягкой шляпой с плоской тульей и загнутыми кверху полями. – Мне нравится «Пост», – добавил я с легкой ноткой раздражения. – А что, по-вашему, я должен вместо нее читать?

– «Геральд трибюн» была бы более подходящей, – сказал он, по-теннессийски растягивая слова, но, как ни странно, без всякого тепла в голосе. – Или даже «Ньюс».

– Но они же выходят утром.

– Тогда, может быть, «Уорлд телеграм». Или «Джорнел америкен». Лучше читать сенсационную прессу, чем радикальную.

Даже я знал, что «Пост» едва ли можно было назвать радикальной газетой, и я уже хотел было так и сказать, но сдержался. Бедный Хорек! Человек он, конечно, холодный, но мне стало немного жаль его: я вдруг понял, что узда, которую он пытается на меня надеть, не им придумана, ибо что-то в его манере (может быть, чуть извиняющаяся интонация, когда один южанин нерешительно дает понять другому, что задним числом сочувствует ему?) подсказывало мне, что он против воли требует от меня соблюдения этих идиотских и мерзких правил. Я увидел

также, что возраст и положение делали его настоящим узником «Макгроу-Хилл», безоговорочно обязанным подчиняться атмосфере крючкотворства, мелочных придирок и заботы лишь о презренном металле, человеком, который уже не может повернуться и хлопнуть дверью, тогда как передо мной, по крайней мере, был открыт весь мир. Помнится, когда он изрек свой жалкий вердикт: «Лучше читать сенсационную прессу, чем радикальную», я, ликуя, произнес про себя: «Прощай, Хорек! Прощай, «Макгроу-Хилл»!»

Я все еще горячо сожалею, что у мне не хватило мужества уйти сразу. Вместо этого я устроил забастовку из проволочек – точнее было бы сказать, просто перестал работать. В последующие дни, хотя я вовремя являлся на работу и уходил ровно в пять с последним ударом часов, на моем столе выросла целая гора непрочитанных рукописей. В полдень я больше не листал «Пост», а отправлялся к киоску близ Таймс-сквера и покупал «Дейли уоркер», которую без всякой бравады – вернее, спокойно и без интереса – читал или пытался читать, сидя по обыкновению за своим столом, жуя сандвич с копченым мясом и кошерным маринованным огурцом и наслаждаясь каждым мгновением, в течение которого я разыгрывал в этой крепости белых англосаксов двойную роль воображаемого коммуниста и фиктивного еврея. Я, наверное, слегка свихнулся, явившись на службу в мой последний рабочий день в старом, выцветшем «ночном горшке», какие носит морская пехота (в такой шапчонке Джон Уэйн снимался в «Песках Иводзимы»), и в костюме из легкой ткани в полоску; и уж я позаботился о том, чтобы Хорек заметил меня в этом нелепом одеянии, и так все подстроил, чтобы он в тот же день застукал меня, когда я на прощание совершал диссидентскую акцию...

Одной из усад моего пребывания в «Макгроу-Хилл» была величественная панорама Манхэттена, открывавшаяся с моего двадцатого этажа, перспектива – эти монолиты, минареты и шпили неизменно возрождали мои притуплённые чувства банальным, однако, искренним восторгом и сладостными надеждами, исстари свойственными американскому провинциальному парню. Буйные ветры со свистом летели мимо парпетов у окон «Макгроу-Хилл», и одним из моих любимых времяпрепровождений было бросить в окно лист бумаги и следить за его стремительным падением – как он проносится над крышами и затем нередко исчезает в глубоких каньонах вокруг Таймс-сквера, то падая камнем, то вдруг взмывая вверх. В тот день мне пришлось в голову купить вместе с «Дейли уоркер» тубик пенящейся массы – теперь дети пользуются ею всюю, а тогда это было новшеством, – и, вернувшись к себе в кабинет, я выдул с полдюжины хрупких, прелестных, переливчатых шариков, предвкушая с жадным нетерпением человека, долго отказывавшего себе в плотских утехах и подошедшего к концу своею искусства, как они полетят по ветру. Я выпустил их один за другим в туманную глубину пропасти, и они превзошли все мои ожидания, осуществив тайную детскую мечту надуть шарик и послать на край света. Мои шарики

сверкали в послеполуденном солнце, как спутники Юпитера, и своими размерами походили на баскетбольные мячи. По прихоти воздушного течения их подбрасывало вверх над Восьмой авеню, и они, казалось, бесконечно долго висели над ней, так что у меня захватило дух от восторга. Затем я услышал взвизги и девичий смех и увидел, что из окон соседних кабинетов свешиваются секретарши «Макгроу-Хилл», привлеченные зрелищем. Очевидно, поднятый ими шум и побудил Хорька обратить внимание на мою затею, ибо в тот момент, когда девушки в последний раз крикнули «ура», приветствуя шарики, и те опрометью полетели на восток, вдоль пестрой Сорок второй улицы, я услышал позади себя голос Хорька.

Я подумал, что он отлично умеет сдерживать свою ярость.

– С сегодняшнего дня вы больше здесь не работаете, – глухо произнес он. – В пять часов можете получить чек с расчетом.

«С твоим расчетом, Хорек, потому что ты увольняешь человека, чье имя будет греметь не меньше имени Томаса Вулфа». Я, конечно, так не сказал, но эта фраза была у меня на языке, и мне по сей день кажется, будто я ее произнес. По-моему, я просто ничего не сказал – только смотрел на этого человечка, а он повернулся на своих ножках и просеменил вон из комнаты и из моей жизни. И меня затопило странное чувство избавления, – чувство, схожее с физическим облегчением, какое испытываешь, сбросив лишнюю теплую одежду. А вернее, такое, точно я долгое время находился глубоко под водой и вдруг сумел выплыть и с восторгом заглатываю свежий воздух.

– Легко отделался, – сказал мне потом Фаррелл, невольно повторяя пришедшую мне на ум метафору. – Не один человек там потонул. И даже трупов никогда не находят.

Время приближалось к шести. Я задержался в тот день, чтобы собрать свои вещички, сказать «до свидания» двум-трем редакторам, с которыми у меня установились довольно милые отношения, получить последние 36 долларов 50 центов и, наконец, проститься с Фарреллом, что оказалось на редкость мучительным и грустным, ибо помимо всего прочего выяснилось то, о чем я уже давно мог бы догадаться, если бы меня это действительно интересовало или если бы я был понаблюдательнее, – что это был одинокий и горький пьяница. Он, слегка пошатываясь, вошел в мой кабинетик, как раз когда я засовывал в портфель вторые экземпляры некоторых из моих наиболее тщательно написанных рецензий. Я вынул их из подшивок, с грустью и нежностью посмотрел на опус по поводу Гундара Фиркина и особенно бережно уложил умозаключения насчет «Кон-Тики», ибо у меня почему-то возникло предположение, что в один прекрасный день их можно будет использовать как

весьма любопытные литературные заметки на полях.

– Даже трупов никогда не находят, – повторил Фаррелл. – Глотните немножко.

Он протянул мне стакан и початую бутылку «Старой хлебной водки». Дыхание Фаррелла сильно отдавало нодкой – собственно, от него пахло ржаным хлебом грубого помола. Я отклонил предложение не потому, что был трезвенником, а потому, что в ту пору поглощал лишь дешевое американское пиво.

– Ну, вы для этого места вообще не созданы, – продолжал он, отхлебнув «Старой водки». – Это место не для вас.

– Я это и сам начал понимать, – поддакнул я.

– Через пять лет вы стали бы законопослушным чиновником. Через десять лет – ископаемым. Закоснелым старым пердуном в тридцать лет. Вот во что превратил бы вас «Макгроу-Хилл».

– М-да, я в общем-то даже рад, что уйду, – сказал я. – Хотя отсутствие жалованья я почувствую. При том что это заведение едва ли можно назвать «золотым дном».

Фаррелл хмыкнул и негромко, деликатно рыгнул. Лицо у него было такое типично ирландское, вытянутое, с длинной верхней губой – живая карикатура на ирландца; самый облик его навевал грустные мысли – такой он был весь потрепанный, измученный, примирившийся со своей участью, что я не без боли подумал о том, как он сидит дотемна в своем служебном кабинете наедине с бутылкой, Йетсом и Хопкинсом, а потом безрадостно едет на метро в Озон-Парк. Внезапно я понял, что больше никогда его не увижу.

– Значит, хотите писать, – сказал он, – хотите стать писателем. Прекрасная цель в жизни – я когда-то сам об этом мечтал. Молюсь и надеюсь, что из вас выйдет писатель и вы пришлете мне свою первую книгу. Куда же вы отправляетесь писать?

– Не знаю еще, – сказал я. – Знаю только, что больше жить на этой помойке, где я сейчас живу, не могу. Я должен оттуда выбраться. Ах, как мне хотелось писать, – раздумчиво произнес он. – Я имею в виду – стихи. Очерки. Хороший роман. Учтите: не великий – я знал, что на это у меня не хватит таланта и целеустремленности, – а просто хороший, нечто по-настоящему изящное и оригинальное. Роман вроде «Моста короля Людовика Святого» или «Смерть приходит за архиепископом»[26] – без претензий, но близкий к совершенству. – Помолчав, он продолжал: – Но что-то сбило меня с пути. Возможно, сказались долгие годы редакционной работы: ведь редактировал-то я технические тексты.

Меня сбило с пути то, что я столько времени имел дело с чужими идеями и словами, а это едва ли способствует творческим успехам. По большому счету. – И снова умолк, глядя на остатки янтарной жидкости в своем стакане. – А возможно, вот это сбило меня с пути, – печально произнес он. – Выпивка. Этот патентованный эликсир мечты. Словом, писателем я так и не стал. Не стал ни романистом, ни поэтом, что же до очерков, то за всю жизнь я написал всего один. Знаете о чем?

– Нет, о чем же?

– Для «Сатердей ивнинг пост». Забавную историю про отпуск, который мы с женой провели в Квебеке. Об этом и писать-то не стоило. Но я получил за свой очерк двести долларов и несколько дней был счастливейшим писателем в Америке. Ну, что поделаешь... – Волна печали захлестнула его, и он умолк. Затем прошептал: – Сбился я с пути.

Я не знал, как быть: ведь человек был близок к отчаянию, – и, продолжая засовывать вещи в портфель, произнес лишь:

– Ну, я надеюсь, мы сможем как-то поддерживать отношения.

Однако я знал, что никаких отношений мы поддерживать не будем.

– Я тоже надеюсь, – сказал Фаррелл, – жаль, что мы не узнали друг друга лучше. – Он уставился на стакан и замолчал так надолго, что я уже начал нервничать. – Жаль, что мы не узнали друг друга лучше, – медленно повторил он наконец. – Мне не раз приходила в голову мысль пригласить вас к себе в Куинс на ужин, но я всякий раз откладывал. Знаете, вы очень напоминаете мне моего сына.

– Я не знал, что у вас есть сын, – не без удивления произнес я. Однажды я слышал, как Фаррелл мимоходом и довольно сухо сказал, что он «бездетен», и решил, как принято говорить, что «бог не наделил его этой благодатью». Но дальше мое любопытство не пошло. В атмосфере ледяной безликости, царившей в «Макгроу-Хилл», малейший интерес к личной жизни другого человека был бы сочтен наглостью, если не непристойностью. – Я-то думал, что вы... – начал я.

– О, у меня был сын – и еще какой! – Он вдруг перешел на крик, испугав меня смесью ярости и скорби. Водка высвободила всех кельтских фурий, которые ежедневно слетались к нему в пору отчаяния, наступавшего после пяти часов дня. Он встал и, подойдя к окну, уставился сквозь сумерки на непостижимый мираж Манхэттена, горевшего в лучах закатного солнца. – О да, у меня был сын! – повторил он. – Эдвард-Кристиан Фаррелл. Он был как раз ваших лет – ему только исполнилось двадцать два, – и он хотел стать писателем. Он был... он был королем в языке, мой сын. Такой у него был дар – он мог заговорить самого

дьявола, а какие письма писал – длинные, забавные, прочувствованные, умные, таких прелестных писем никто не писал. О да, этот мальчик был настоящим королем в языке!

Глаза Фаррелла наполнились слезами. Все это было так странно; я сидел как парализованный – такие минуты бывают в жизни, хотя, слава богу, не часто. Почти незнакомый тебе человек вдруг начинает говорить о ком-то любимом и близком в прошедшем времени, ставя слушателя в затруднительное положение. Он явно дает понять, что тот мертв. Но стоп! А не мог ли этот парень просто сбежать из дома, пав жертвой амнезии, или попасть под суд и скрываться? Или, может быть, он влачит жалкое существование в сумасшедшем доме, так что упоминание о нем в прошедшем времени следует воспринимать как эвфемизм? Между тем Фаррелл снова заговорил, так и не дав мне ключа к разгадке судьбы своего сына, – от растерянности и смущения я повернулся к нему спиной и продолжал собирать вещи.

– Возможно, я бы легче это пережил, не будь он у меня единственным. После рождения Эдди у нас с Мэри не могло быть больше детей. – Фаррелл вдруг умолк. – А-а, вам неинтересно это слушать...

Я повернулся к нему.

– Нет, продолжайте, – сказал я, – пожалуйста. – Ему явно необходимо было высказаться, а поскольку человек он был добрый, симпатичный, да к тому же я в известном смысле напоминал ему сына, я решил, что нехорошо будет не дать ему возможности облегчить душу. – Пожалуйста, продолжайте, – повторил я.

Фаррелл плеснул себе в стакан еще изрядную порцию водки. Он был совсем пьян, и язык у него слегка заплетался, а веснушчатое, бледное от сидения в помещении лицо было в свете угасающего дня печальным и измученным.

– Да, это правда: человек может осуществить свои надежды через своих детей. Эдди поступил в Колумбийский университет, и я был потрясен тем, как он взялся за книги, его даром к слову. В девятнадцать лет – учтите: в девятнадцать! – у него уже был опубликован очерк в «Нью-Йоркере», а Уит Бэрнетт взял его рассказ для «Стори». По-моему, он был одним из самых молодых авторов этого журнала за всю историю его существования. У мальчика был, понимаете, глаз, глаз, – Фаррелл ткнул указательным пальцем себе в глаз. – Он видел, понимаете, видел то, чего мы все не видели, и в его изложении любая история выглядела свежей и живой. Марк Ван Дорен[27] прислал мне чудесную записку – чудеснее, право же, быть не может: он сказал, что у Эдди величайший природный дар, он так пишет, как ни один из его студентов. Вы представляете себе – Марк Ван Дорен! Такая похвала, верно ведь? – И он впериł в меня взгляд, как бы ища

подтверждения.

– Похвала немалая, – согласился я.

– А потом... потом в сорок третьем он пошел в морскую пехоту. Сказал, что лучше сам запишется, чем будет ждать, когда его призовут. Честно говоря, ему импонировала слава морских пехотинцев, но по натуре он был человек чувствительный и никаких иллюзий насчет войны не имел. Война! – Фаррелл произнес это слово с отвращением, словно редко употребляемое ругательство, и умолк, закрыв глаза и горестно кивнув. Потом снова уперся в меня взглядом и продолжал: – Он попал на Тихий океан и участвовал в самых тяжелых боях. Вы бы почитали его письма – замечательные, длинные, веселые, без капли жалости к себе. Он ни разу не усомнился, что вернется домой и снова пойдет в Колумбийский университет, окончит его и станет, как и собирался, писателем. А потом, два года тому назад, он попал на Окинаву, и снайпер подстрелил его. В голову. Было это в июле, они прочесывая местность. Он, наверное, был одним из последних морских пехотинцев, погибших в войну. Дослужился до капрала. Получил Бронзовую звезду. Не знаю, почему так случилось. Господи, я не знаю, почему так случилось! Господи, почему?

Фаррелл плакал – негромко, но самые настоящие, сверкающие слезы катились из уголков его глаз, и я отвернулся с таким острым чувством стыда и своей несостоятельности, что даже сейчас, много лет спустя, я снова ощущаю легкий озноб и тошноту, подступившую тогда у меня к горлу. Сейчас это, пожалуй, трудно объяснить – ведь с тех пор прошло уже тридцать лет, добавьте к этому усталость и цинизм, порожденные несколькими варварскими войнами, которые за это время вели американцы, – и моя реакция может показаться безнадежно старомодной и романтической. Однако факт остается фактом: я, как и Эдди Фаррелл, служил в морской пехоте; как и Эдди, горел желанием стать писателем и слал домой с Тихого океана письма, написанные кровью сердца с той причудливой смесью страсти, юмора, отчаяния и беспредельной надежды, какая может образоваться в душе очень молодого человека под влиянием неизбежной близости смерти. Еще большей натяжкой может показаться то, что я тоже высадился на Окинаве всего через несколько дней после гибели Эдди (кто знает, часто думал я потом, может быть, всего через несколько часов после того, как он был смертельно ранен) и там уже не было противника, не было страха, вообще не было опасности, а по милостивому благоволению истории был изуродованный, но мирный восточный пейзаж, и я бродил по острову в те последние недели перед Хиросимой, не таясь и ничего не опасаясь. Я не слышал ни одного выстрела разъяренного противника – такова горькая правда, и хотя с точки зрения сохранности моей шкуры я оказался любимцем фортуны, если таковые бывают, тем не менее я не мог избавиться от чувства, что судьба лишила меня возможности познать нечто страшное и великолепное. В этом смысле –

вернее, в смысле познания такого опыта – ничто и никогда не пронзало меня глубже краткого, исполненного отчаяния рассказа Фаррелла о своем сыне Эдди, павшем на земле Окинавы, чтобы я мог жить – и писать. Фаррелл сидел и плакал в сумерках, а у меня было такое чувство, будто меня укоротили, уменьшили, и я не мог выжать из себя ни слова.

Фаррелл поднялся, вытер глаза и, подойдя к окну, уставился на розовый от солнца Гудзон, по которому размытые очертания двух больших пароходов медленно продвигались в направлении океана. Весенний ветер, словно демоны, завывал вокруг зеленых безразличных карнизов «Макгроу-Хилл». Когда Фаррелл снова заговорил, голос его звучал как бы издалека, и было в нем несказанное отчаяние:

Все, что важно для человека.

Длится миг или день...

Крик герольда, чеканная поступь солдата –

Вот и вся его слава, вся его мощь,

Тот костер, что разожгла ночь

Из смолистого сердца твоего брата.[28]

Затем он повернулся ко мне и сказал:

– Пиши, сынок, работай до седьмого пота. – С этими словами он, пошатываясь, побрел по коридору и навеки ушел из моей жизни.

А я еще долго стоял, размышляя о будущем, которое казалось мне теперь столь же туманным и неясным, как затянутый дымкой горизонт за лугами Нью-Джерси. Я был еще слишком молод, чтобы чего-то действительно бояться, и, однако, уже не настолько молод, чтобы не поддаться опасениям. Эти нелепые рукописи, которые я читал, в известной мере служили мне предупреждением, показывая, сколь грустно кончаются честолубивые мечты – особенно когда дело касается литературы. Превыше всего – уже не в надеждах и мечтах – я хотел стать писателем, но история, рассказанная Фарреллом, глубоко поразила меня в самое сердце, и я впервые в жизни почувствовал, до какой степени я пуст. Да, правда, я проделал большой путь для молодого человека, но мой внутренний мир по-прежнему был привязан к земле – я не знал любви и не столкнулся со смертью. В ту пору я и понятия не имел, как скоро встречу с ними обеими, плодами человеческих страстей и человеческой плоти, от которых я отгородился, закупорившись в самодовольстве, в затхлой атмосфере самоограничения. Не имел я понятия и о том, что открытие мира для меня совпадет с переездом в столь странное место, как Бруклин. Я лишь знал пока, что вот сейчас в последний раз спущусь в продезинфицированном зеленом лифте с двадцатого этажа на шумные улицы Манхэттена и там отпраздную свое избавление дорогим канадским пивом и бифштексом из вырезки, который съем впервые со времени

приезда в Нью-Йорк.

Второе

После этого банкета, который я устроил сам себе вечером в ресторане «Лоншан», что в нижней части Пятой авеню, я подсчитал свои финансы и обнаружил, что все мое достояние составляет меньше пятидесяти долларов. Хотя, как я уже сказал, подлинного страха я не испытывал, я не мог не почувствовать себя немного неуютно, особенно если учесть, что перспектива найти другую работу сводилась почти к нулю. Однако я мог не волноваться, так как дня через два мне привалило неожиданное счастье, что меня и спасло – по крайней мере на ближайшее будущее. Этот свалившийся на меня с неба дар был поразительной, феноменальной удачей и, как и в другом случае, имевшем место много позже, был обязан своим происхождением существованию в Америке рабства. Хотя все это имеет лишь косвенное отношение к моей новой жизни в Бруклине, история дара столь необычна, что ее стоит рассказать.

Получил я его главным образом благодаря бабушке по отцовской линии – когда этой сухонькой маленькой старушке подходило к девяноста годам, она рассказала мне, что у нее были рабы. Я часто с трудом верю, что так мало времени отделяет меня от старого Юга и что не какое-то далекое поколение моих предков владело черными людьми, а просто моя родная бабушка, родившаяся в 1848 году, в тринадцать лет владела двумя маленькими негритянками чуть моложе ее, которые прислуживали ей и на которых, несмотря на существование Авраама Линкольна и положений Декларации независимости об эмансипации, она смотрела в течение всех лет, что длилась Гражданская война, как на свои любимые вещицы. Я говорю «любимые» без всякой иронии, так как уверен: она очень их любила, и, когда она вспоминала про Друзиллу и Люсинду (а таковы были их несравненные имена), ее дряхлый, дрожащий голосок надламывался от волнения, и она говорила мне, «до чего же дороги, до чего же дороги» были ей эти девочки и как в холодную военную пору она переворачивала небо и землю в поисках шерстяной пряжи, чтобы связать им чулки. Было это в округе Бофорт, в Северной Каролине, где бабушка провела всю свою жизнь, – с этими местами она и связана в моей памяти. В тридцатые годы каждую Пасху и каждый День благодарения мы с отцом отправлялись из нашего дома в Виргинии навестить ее – ехали среди болот и плоских, однообразных плантаций земляного ореха, табака и хлопка, мимо заброшенных негритянских хижин, ветхих и тоже однообразных. Добравшись наконец до сонного городка на реке Памлико, мы с особой нежностью, ласково здоровались с бабушкой – она ведь уже многие годы была почти полностью парализована. И вот лет двенадцати или тринадцати, сидя у кровати бабушки, я слушал ее рассказы о Друзилле и Люсинде, о лагерных стоянках и отстреле индеек, о пчелках-швеях, катаниях на пароходике вниз по Памлико и прочих радостях довоенных лет, – нежный птичий голосок был еле

слышен, но милая старушка щебетала и щебетала, пока, умолкнув, не засыпала.



Не мешает, однако, знать, что она никогда не рассказывала ни мне, ни отцу о малыше-рабе, высокопарно прозванном Артистом, которого, как и Друзиллу с Люсиндой, «подарил» ей отец, а потом вскоре продал. Как станет ясно из двух писем, которые я скоро приведу, бабушка никогда не упоминала об этом мальчишке, несомненно, из-за необычной участи, постигшей его. Так или иначе, любопытно, что отец моей бабушки, совершив сделку, обменял полученные деньги на золотые доллары Конфедерации различного достоинства – видимо, в предчувствии гибельной войны, – положил их в глиняный кувшин и зарыл его под азалией на заднем дворе. В результате, когда янки в последние месяцы войны явились к нам под цокот копыт и, сверкая саблями, перевернули весь дом на глазах у испуганной девчушки (моей бабушки), а также обыскали сад, золота они не нашли. Кстати, я совершенно точно помню, как описывала бабушка солдат Союза: «Это были, право же, brave, красивые люди, и то, что они переломали все у нас в доме, – так это по долгу службы, но, конечно, ни культурой, ни воспитанностью они не отличались. Я уверена, что они были из Огайо. Они даже окорока из окон выбрасывали». Мой прадед, вернувшись со страшной войны без глаза и с разбитой коленной чашечкой – оба увечья были получены им под Чанселлорсвиллом, вырыл золото и, когда дом снова привели в порядок, спрятал монеты в хитро придуманном тайнике в погребе.

Там сокровище могло бы пролежать до скончания века, ибо в противоположность таинственным кладам, о которых время от времени сообщают в новостях, – пачкам зеленых бумажек, или испанским дублонам, или чему-то подобному, на что натыкаются лопаты рабочих, – это золото, казалось,

было обречено вечно лежать в тайнике. Когда мой прадед в конце века погиб на охоте, в его завещании ни словом не упоминалось про монеты – вероятно, по той простой причине, что все деньги он завещал дочери. Когда же она умерла сорок лет спустя, то в своем завещании упомянула про золото: там было сказано, что его следует поделить между ее многочисленными внуками, но по рассеянности, свойственной преклонному возрасту, бабушка забыла указать, где спрятано сокровище, каким-то образом спутав погреб со своим сейфом в местном банке, который, конечно, этой части наследства выдать по естественной причине не мог. И в течение еще семи лет никто не знал, где оно находится. Извлек находку из забвения и пыли, в которой золото пролежало среди муравьев, пауков и мышей, мой отец, последний из оставшихся в живых шести детей моей бабушки. Всю свою долгую жизнь он с благоговением и воодушевлением интересовался прошлым своей семьи и ее родословной – он получал такое же наслаждение от копания в письмах и вещах давно умершего, совершенно неинтересного дальнего кузена, какое получил бы ученый, занимающийся викторианской эпохой, напав на целый ящик дотоле неизвестной, весьма откровенной любовной переписки Роберта и Элизабет Браунинг.[29] Представьте себе в таком случае восторг отца, когда, просматривая пачку выцветших писем своей матушки, он обнаружил письмо к ней от моего прадеда, в котором не только было указано местонахождение тайника в погребе, но и рассказаны подробности продажи маленького раба Артиста. И вот теперь два документа слились в одном письме. В послании, полученном мною от отца из Виргинии, как раз когда я укладывал свои пожитки, намереваясь покинуть Клуб и резиденцию университетов, содержится много интересных сведений не только о нескольких поколениях южан, но и о великих событиях, которые тогда назревали.

4 июня 1947 г.

Дорогой мой сынок!

Передо мной твое письмо от 26-го, в котором ты сообщаем, что покончил со службой. С одной стороны, мои Язвинка, это жаль, потому что ты попадаешь в тяжелое финансовое положение, а я не в состоянии существенно тебе помочь, так как на мне уже, видимо, до конца дней лежит бремя забот о двух твоих тетюшках, живущих в Северной Каролине, и оплате их долгов, ибо они, боюсь, преждевременно и весьма прискорбно выжили из ума. Однако надеюсь, через несколько месяцев мое финансовое положение выправится, и мне хочется думать, что тогда я смогу немного помочь тебе в твоём желании стать писателем. С другой стороны, я думаю, может, и хорошо, что ты отказался от работы в «Макгроу Хилл», которая, судя по твоим же описаниям, выглядела весьма малопривлекательно, да и в любом случае эта фирма известна как рупор и проводник идей верхушки коммерсантов-грабителей, которые уже более ста лет пьют кровь американского народа. С тех пор как твой прадед вернулся

покалеченный и без глаза с Гражданской войны и вместе с моим отцом попытался создать скромное дело по производству нюхательного и жевательного табака в округе Бофорт – правда, эти мерзавцы Вашингтон Дьюк и его сынок Дьюк Бычок своими пиратскими действиями быстро развеяли в прах их мечты, – так вот, с тех пор как я узнал об этой трагедии, во мне живет неугасимая ненависть к жестокому монополистическому капиталу, изничтожающему маленького человека. (Я считаю величайшей иронией судьбы то, что ты получил образование в заведении, основанном на дурно пахнущие барыши Дьюков, хотя едва ли тебя можно в этом винить.)

Ты наверняка помнишь Фрэнка Хоббса, которого я многие годы подвозил на верфь, где мы вместе работали. Родился он на плантации земляного ореха в округе Саутхемптон, и человек он во многих отношениях неплохой, основательный, но, как ты, может быть, помнишь, такой непроходимый реакционер, что взгляды его – даже по виргинским нормам – подчас кажутся бешеными. Поэтому мы с ним редко беседуем об идеологии или политике. Несмотря на все ужасы, которые, как недавно выяснилось, творились в нацистской Германии, он продолжает оставаться антисемитом и утверждает, что международные финансисты-евреи прибрали к рукам все богатства мира. Я бы, конечно, поохотал на этим утверждением до слез, не будь это таким мракобесием, и хотя я согласен с Хоббсом, что Ротшильд и Варбург, безусловно, еврейские фамилии, тем не менее, как я пытаюсь ему внушить, алчность свойственна не какой-то отдельной нации, а всему человечеству, после чего я принимаюсь перечислять ему имена: Карнеги, Рокфеллер, Фрик, Меллон, Гарриман, Хантингтон, Уитни, Дьюк – *ad infinitum, ad nauseam*. [30] А с Хоббса как с гуся вода, к тому же он в любом случае может излить свою желчь на более доступную, находящуюся под рукой – особенно в этой части Виргинии – цель, а именно (мне нет нужды тебе это называть) на негров. Так что мы просто стараемся пореже и поменьше говорить на эту тему, ибо *aet* [31] 59 поздно вато мне затевать кулачный бой. Письмена, сынок, уже начертаны на стене. Если негр, как частенько говорят, принадлежит к «низшей» расе, какой бы смысл в это ни вкладывался, то безусловно потому, что он поставлен нами, расой господ, в невыгодное, бесправное положение и, следовательно, может явить миру лишь потупленное лицо неполноценного человека. Но негр ведь не может вечно находиться на дне общества. Никакая сила на земле не может удержать народ любого цвета кожи в омерзении и бедности, какие я наблюдаю вокруг – и в городе, и в сельских местах.

Не знаю, станет ли негр еще при моей жизни пользоваться большей свободой – я не такой уж оптимист, – но на твоём веку безусловно станет, и я бы отдал почти все, что имею, чтобы присутствовать при том, когда наступит этот день и Гарри Бэрд [32] увидит негров – мужчин и женщин, – сидящих не в хвосте автобуса, а свободно, как равноправные граждане, разъезжающих по улицам

Виргинии. Ради этого я готов снести омерзительное прозвище «негролиз», хотя уверен, что втихую многие меня так называют, в том числе и Фрэнк Хоббс.

Это довольно кружным путем подводит меня к основному предмету моего письма. Возможно, Язвинка, ты помнишь, как несколько лет назад, когда нам вручили завещание твоей бабушки, все мы были несколько ошарашены тем, что в нем упоминалась некая сумма в золотых монетах, которые она оставила своим внукам, но которых мы так и не смогли найти. Теперь эта тайна раскрыта. Как ты знаешь, будучи историком, я принадлежу к местному отделению «Сыновей Конфедерации», и, собравшись писать довольно пространное эссе о твоём прадеде, я подробно обследовал его поистине обширную переписку с семьей, в том числе немало писем, адресованных твоей бабушке. В одном письме, написанном в 1886 году из Норфолка (а он ездил туда по делам своей табачной фирмы как раз перед тем, как этот мерзавец Дьюк Бычок уничтожил его), он раскрывает, где находится золото – не в железном ящике-сейфе (твоя бабушка со временем явно все перепутала), а замуровано в стене подвала нашего дома в Северной Каролине. Я пошлю тебе фотокопию этого письма – я ведь знаю, что ты интересуешься рабством, и, если когда-либо тебе захочется об этом написать, это трагическое письмо может приоткрыть тебе поразительные вещи. Как выяснилось, спрятанные деньги выручены от продажи 16-летнего негра по имени Артист, который приходился старшим братом служанкам твоей бабушки – Люсинде и Друзилле. Все трое были сиротами, когда твой прадед купил их в конце 50-х годов прошлого века на аукционе в Питерсберге, штат Виргиния. Все трое были записаны на имя твоей бабушки; девчушки работали в доме; там же они и жили, как и Артист, которого, однако, давали внаем другим семьям в городе для выполнения разных поручений.

Потом произошла одна некрасивая история, о чем твой прадед весьма деликатно намекает в письме к моей матушке. Похоже, Артист – под влиянием первого прилива юношеских вожделений – «непотребно приставал», как выразился твой прадед, к одной из молоденьких белых красавиц городка. Это, конечно, породило волну угроз и насилия, мгновенно затопившую всю общину, и твой прадед поступил так, как в ту пору считалось вполне естественным. Он тайком отправил Артиста в Нью-Берн, где, как он знал, покупали молодых негров для работы в лесах Брансуика, в штате Джорджия, на добыче скипидара. Он продал Артиста работоторговцу за 800 долларов. Эти-то деньги и были спрятаны в подвале старого дома.

Но на этом, сынок, история не кончается. Письмо это производит совершенно душераздирающее впечатление: в нем твой прадед рассказывает о последствиях своего шага и о том, как он страдал и каялся, с чем, как я заметил, часто сталкиваешься в рассказах о рабстве. Возможно, ты уже догадался о том, что воспоследует. Как выяснилось, Артист вовсе и не «приставал» к белой девушке.

Девушка оказалась истеричкой – вскоре она обвинила другого негритянского парнишку в таких же грехах, только тут стали разбираться, и было доказано, что она все наврала, после чего она сломалась и признала, что ее обвинения против Артиста тоже были сплошной ложью. Можешь представить себе, как терзался твой прадед. В этом письме к моей матушке он описывает, какие переживал муки. Он не только поистине непростительно поступил как типичный рабовладелец, разрушив семью, но и продал ни в чем не повинного шестнадцатилетнего паренька на адскую работу в скипидарных лесах Джорджии. Он рассказывает, как по почте и с нарочными посылал отчаянные запросы в Брансуик, предлагая выкупить парня за любую цену, но в ту пору связь, естественно, работала медленно и была ненадежной, а во многих случаях письма просто не доходили по назначению, и Артист так и не нашелся.

Я обнаружил 800 долларов в том самом месте в подвале, как и описал мой дед твоей бабушке. Мальчишкой я часто складывал веревки и сваливал яблоки и картофель в каких-нибудь шести дюймах от тайника. Монеты, как ты можешь себе представить, с годами невероятно выросли в цене. Некоторые из них оказались довольно редкими. Я отвез их в Ричмонд оценщику – по моему, они называются нумизматами, – и он предложил мне за них свыше 5500 долларов, которые я и взял: ведь это получается 700 процентов прибыли с той суммы, за которую был продан бедняга Артист. Сумма получилась солидная, но, как ты знаешь, согласно завещанию твоей бабушки, она должна быть поделена поровну между всеми ее внуками. В противном случае ты мог бы получить куда больше. Не в пример мне, у которого хватило предусмотрительности в этот перенаселенный век произвести на свет всего одного сына, твои тетушки – мои поразительно плодовитые сестрицы подарили миру в общем и целом 11 отпрысков, все они здоровы, все хотят кушать и все бедные. Таким образом, твоя доля от продажи Артиста составит без малого 500 долларов, которые я надеюсь на этой неделе выслать тебе в виде заверенного чека, а если не на этой неделе, то как только все формальности будут завершены...

Преданный тебе отец.

Многие годы спустя я подумал, что, выдели я Национальной ассоциации помощи цветному населению большую часть суммы, полученной от продажи Артиста, вместо того чтобы оставить все себе, мне, возможно, удалось бы избавиться от чувства вины, а заодно доказать, что я еще в молодости был озабочен положением негров и готов был идти ради этого на жертвы. Но в конечном счете я в общем рад, что оставил деньги себе. Дело в том, что много лет спустя, когда черные стали все упорнее и разнузданнее обвинять меня в том, что как писатель – притом писатель лживый! – я извлекаю выгоду и пользу из страданий рабов, я пришел к своего рода мазохистскому выводу и, думая об участии Артиста, сказал себе: «Какого черта, эксплуататор-расист всегда и

останется эксплуататором-расистом». А кроме того, в 1947 году эти 485 долларов нужны мне были не меньше, чем любому черному, или негру, как мы их тогда называли.

Я продержался в Клубе и резиденции университетов, пока не получил чек от отца. Если разумно распоряжаться деньгами, их должно было хватить мне на лето, которое только начиналось, а возможно, даже и на осень. Но вот где поселиться? Жить в Клубе и резиденции университетов я уже не мог – ни морально, ни физически. Я дошел здесь до такой полнейшей импотенции, что уже не способен был даже устраивать самому себе эротические развлечения и ограничивался тем, что во время ночных прогулок по Вашингтон-скверу украдкой поглаживал себя сквозь подкладку брючного кармана. Я понимал, что мое чувство одиночества граничит с патологией – настолько остро я ощущал свою изоляцию, – и подозревал, что почувствую себя еще более потерянным, если уеду из Манхэттена, где по крайней мере есть знакомые ориентиры и милые сердцу закоулки Гринич-Вилледжа, уже ставшие мне родными. Однако ни приобрести, ни снять квартирку на Манхэттене было мне просто не по карману – даже комнаты я бы не осилил, – а потому надо было искать среди объявлений Бруклина. Вот каким образом ясным июньским днем я вышел из метро на Черч-авеню с сумкой морского пехотинца и чемоданом в руках, сделал несколько глотков живительного, пахнущего маринадами воздуха Флэтбуш-авеню и под нежной зеленью платанов прошагал несколько кварталов до меблированных комнат Етты Зиммермен.

Дом Етты Зиммермен выделялся своей монохромией, пожалуй, не только среди зданий Бруклина, но и всего Нью-Йорка. Большой, наполовину оштукатуренный, наполовину деревянный, построенный в неопишимо беспорядочном стиле, он был возведен, думается, перед первой мировой войной или сразу после нее и слился бы с прочими, единообразно уродливыми большими домами, вытянувшимися вдоль Проспект-парка, не будь он таким пронзительно-розовым. А он был весь розовый – от мансардных окон и башенок третьего этажа вплоть до рам подвальных окон. Когда я впервые его увидел, мне тотчас пришло на ум сравнение с фасадом некоего заброшенного замка, сохранившегося после съемок «Волшебника из страны Оз» на студии «Метро-Голдвин-Майер». Внутри все тоже было розовое. Полы, стены, потолки и даже большая часть мебели в каждом холле и каждой комнате лишь слегка отличались друг от друга – очевидно из-за неровной окраски, – демонстрируя все оттенки розового, от нежно-розовой свежей семги до агрессивно-кораллового цвета пузырчатой жвачки, но всюду было розовое, розовое, не желавшее спорить ни с каким другим цветом, так что, побыв несколько минут в моей будущей комнате под исполненным гордости взглядом миссис Зиммермен, я сначала почувствовал прилив веселья – это был будуар купидона, вызывавший желание хохотать до упаду, – а потом мне показалось, что я попал в капкан и нахожусь то ли в

кондитерском магазине Барричини, то ли в детской секции «Гимбелса».



– Я знаю, вас смущает розовый цвет, – сказала тогда миссис Зиммермен, – он всех смущает. А потом он таки вас пленит. Он в нас «врастет» – по-хорошему, я хочу сказать, действительно по-хорошему. Очень скоро многие и думать не хотят ни о каком другом цвете. – И, не дожидаясь расспросов с моей стороны, она добавила, что ее мужу Солу – покойному мужу – крупно повезло: он смог приобрести у флотских по фантастически дешевой цене несколько сотен галлонов краски, которой пользовались для... «ну, вы же знаете» – и умолкла, озадаченно приставив палец к широкому пористому носу.

– Маскировки? – подсказал я.

На что она ответила:

– Угу, вот именно. Им, видно, розовая краска на этих их кораблях не очень-то была нужна. – Она сказала, что Сол сам и красил дом.

Етта была приземистая, дородная женщина лет шестидесяти или около того, со слегка монгольскими чертами оживленного лица, что делало ее похожей на улыбающегося будду.

Она меня почти сразу уговорила. Во-первых, это было дешево. Затем, розовая или не розовая, но комната, которую она показала мне на первом этаже, была приятно просторная и чистая, как голландская гостиная; в ней было много воздуха, солнца. Более того, к ней примыкала такая роскошь, как кухонька и отдельная ванная комнатка, где умывальник и унитаз выступали резкими белыми

пятнами на общем фоне цвета перечной мяты. Меня прельщало уже то, что все было отдельное; вдобавок там было еще и биде, которое сразу внесло в атмосферу пикантную нотку и электрической искрой воспламенило мои надежды. Большое впечатление произвело на меня и то, как миссис Зиммермен смотрела на свое заведение, а она, водя меня по дому, пространно изложила мне свои взгляды.

– Это у нас называется Еттин Холл Свободы, – говорила она, то и дело подталкивая меня в бок локтем. – Что я люблю, так это чтоб мои жильцы получали удовольствие от жизни. Жильцы – они у меня обыкновенно молодые, и я люблю, когда они получают удовольствие от жизни. Это вовсе не значит, что у меня нет правил. – Она подняла толстый шишковатый указательный палец и принялась им отмахивать. – Правило номер один: никакого радио после одиннадцати. Правило номер два: извольте выключать весь свет, когда выходите из комнаты, – нечего мне платить больше положенного «Консолидейтед Эдисон». Правило третье: решительно никакого курения в постели, застигли курящим – вон. У моего покойного супруга Сола был кузен – так он таким манером сжег себя и весь дом. Правило номер четыре: каждую пятницу – плата за неделю. Все – больше правил нет! В остальном пользуйтесь Еттиным Холлом Свободы. Я что хочу сказать: это ведь заведение для взрослых. Ясно, у меня тут не бордель, но хочется вам иной раз привести к себе девочку – приводите девочку. Будете держать себя тихо как джентльмен, и выпроводите ее в положенное время – никаких неприятностей с Еттой из-за девчонки у вас не будет. Так же должны вести себя и молодые леди, которые у меня тут квартируют, когда какой-нибудь захочется пригласить к себе приятеля – пожалуйста. Что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни, так я говорю, а уж что ненавижу, так это лицемерие.

Эта удивительная широта взглядов, проистекавшая, как я мог лишь догадываться, из присущего Старому Свету умения ценить *volupte*,^[33] окончательно утвердила меня в решении переехать к Етте Зиммермен, несмотря на то что пользоваться даруемой ею свободой представлялось мне весьма проблематичным. Ну где я возьму девушку? – подумал я. И тут же разозлился на себя за свою непредприимчивость. Раз Етта (а мы вскоре уже называли друг друга по имени) дала мне свое благословение, значит, эта важная проблема скоро сама собою разрешится. Стены цвета семги словно вдруг засветились похотливым блеском, и я внутренне весь затрепетал от ожидающего меня наслаждения. А через несколько дней я переселился туда, предвкушая лето, насыщенное плотскими радостями, философским возмужанием и неуклонным продвижением по творческому пути, который я для себя наметил.

В мое первое утро на новом месте – в субботу – я встал поздно и отправился в писчебумажный магазин на Флэтбуш-авеню, где купил две дюжины карандашей

«Бархатная Венера № 2», десять линованных желтых блокнотов и точилку для карандашей «Бостон», которую с разрешения Етты привинтил к косяку двери в ванную. Затем я сел на розовый плетеный стул с прямой спинкой, стоявший перед дубовым столом, тоже выкрашенным в розовый цвет, – его зернистая поверхность и прочность привели мне на память столы, за которыми сидели матроны-учительницы в начальной школе моего детства, – и, зажав карандаш между большим и указательным пальцами, уставился на первую страницу желтого блокнота, пугавшую глаз своей пустотой. Как же оскорбляет взор, как обессиливает пустая страница! Вдохновения не было, и ничто не приходило на ум; хотя я просидел так битых полчаса, жонглируя наполовину сформировавшимися идеями и весьма туманными образами, панике не поддавался: в конце концов, рассуждал я, сначала надо освоиться в этой непривычной атмосфере. В феврале прошлого года, в первые дни моего пребывания в Клубе и резиденции университетов, прежде чем начать работать в «Макгроу-Хилл», я написал с десятков страниц будущего пролога к роману: описание поездки по железной дороге в маленький виргинский городок, где должны разворачиваться события книги. Сильно заимствовав интонацию первых эпизодов из «Всей королевской рати», [34] использовав тот же ритм и даже ведя рассказ от второго лица единственного числа, чтобы, так сказать, сразу схватить читателя за лацканы, я понимал, что написанный мною кусок можно назвать по меньшей мере подражательным, но знал я и то, что в нем немало сильных и свежих мыслей. Я гордился написанным, это было хорошим началом, и сейчас, вынув рукопись из папки, наверное, в девяностый раз перечитал. Кусок этот по-прежнему мне нравился, и у меня не возникло желания изменить хоть строчку. А ну, подвинься, Уоррен, – появился Язвина-Стинго, сказал я себе. И сунул листки обратно в папку.

А желтая страница продолжала оставаться пустой. Мне не сиделось, одолевали похотливые мыслишки, и, чтобы задернуть шторку перед мысленным взором, который вечно готов был подкинуть парад непристойных видений – занятие невинное, но отвлекающее от работы, – я встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, которую летнее солнце окрасило в зловещий цвет фламинго. Тут я услышал голоса, шаги в комнате наверху – я понял, что стены здесь тонкие, как бумага, – и, задрав голову, гневно уставился на розовый потолок. Я начал ненавидеть этот вездесущий розовый цвет и всерьез усомнился, что он когда-либо в меня «врастет», как сказала Етта. Из-за веса и места я привез с собой лишь те книги, которые представлялись мне необходимыми; их было немного – вот они: Американский словарь для колледжей, «Thesaurus» Роже, [35] однотомники Джона Донна и Оутса, Полное собрание греческой драмы О’Нила, справочник Мерка по диагностике и терапии (необходимый при моей ипохондри), Оксфордское собрание английской поэзии и Библия. Я знал, что со временем смогу постепенно подобрать себе библиотеку. А пока, стремясь вызвать к жизни собственную музу, я принялся читать Марло, [36] но почему-то

баюкающая музыка его стиха на сей раз ничего во мне не пробудила.



Я отложил книгу и, юркнув в крошечную ванную, стал перебирать содержимое медицинского шкафчика. (Много лет спустя я с изумлением обнаружу, что герой Д. Сэлинджера проделывал то же самое, но тут я претендую на приоритет.) Это был ритуал, коренившийся в непонятном неврозе и потребности чем-то занять себя; с тех пор я проделывал это много раз, когда воображение и изобретательность совсем покидали меня и становилось трудно как писать, так и читать. Такое мое поведение объяснялось таинственной потребностью восстановить осязаемую связь с вещами. Кончиками пальцев я перебирал все то, чем пользовался лишь накануне вечером, а затем ставил на полочки стенного шкафчика, который, как и все остальное, пал жертвой безумного пристрастия Сола Зиммермена к розовой краске: вот баночка с кремом для бритья «Барбасол», бутылочка с таблетками «алка-зелцер», безопасная бритва «Шик», два тюбика зубной пасты «Пепсодент», зубная щетка доктора Уэста со щетиной средней длины, бутылочка лосьона после бритья «Ройял лайм», кентовская гребенка, пачка лезвий «Шик», нетронутая, упакованная в целлофан коробка с тремя дюжинами презервативов, бутылочка шампуня против перхоти «Брек», пакетик с нейлоновыми зубочистками «Рексолл», бутылочка с поливитаминами «Сквибб», зубной эликсир «Астрингосол». Я осторожно брал каждый предмет, разглядывал этикетки и даже открутил крышку лосьона «Ройял лайм» и вдохнул густой аромат лимона, — обследование медицинского шкафчика, занявшее около полутора минут, принесло мне немалое удовлетворение. После чего я закрыл дверцу и вернулся к письменному столу.

Я сел на стул, поднял взгляд и, посмотрев в окно, вдруг понял, что повлияло на мое подсознание и потянуло меня сюда. Вид на парк был такой мирный и приятный, а отсюда был виден так называемый «Уголок отдыха». Здесь, на краю парка, старые платаны и клены затеняли аллеи, и солнце, пятнами освещая чуть покату лужайку Уголка отдыха, придавало всей картине безмятежно-

пасторальный вид. Парк являл собою разительный контраст с другими частями этого района. Всего в нескольких кварталах отсюда транспорт мчался по Флэтбуш-авеню, сугубо городскому проспекту, гудящему от какофонии звуков, запруженному, кишашему людьми с издерганными нервами и душами, а здесь – зелень деревьев и чуть призрачный, насыщенный пылью свет, изредка проносящиеся грузовики и автомобили, неспешный шаг немногочисленных посетителей, прогуливающих на краю парка, – все создавало впечатление, что ты находишься в глухом уголке скромного южного города, быть может Ричмонда или Чаттануги, или Колумбии. Я ощутил острый прилив тоски по дому и вдруг подумал: «Что, ради всего святого, я тут делаю на этой невообразимой окраине Бруклина, зачем я – никчемный и сластолюбивый кальвинист – поселился среди всех этих евреев?»

Эта мысль побудила меня вытащить из кармана листок бумаги. На нем были написаны фамилии шести остальных жильцов дома. Каждая фамилия значилась на маленькой карточке, которую любящая порядок Етта прищипливала к соответствующей двери, и накануне поздно вечером я без всякого иного побуждения, кроме моего обычного неумного любопытства, прошелся на цыпочках по этажам и переписал фамилии. Пятеро жильцов жили этажом выше, еще один жил через холл от меня. Натан Ландау, Лиллиан Гроссмен, Моррис Финк, Софи Завистовская, Астрид Уайнстайн, Мойше Маскатблит. Мне понравились эти фамилии хотя бы своим разнообразием, показавшимся поистине чудесным после Каннингэмов и Брэдшоу, среди которых я вырос. Фамилия Маскатблит пришлась мне по вкусу своим византийским духом. Интересно, когда я познакомлюсь с Ландау и Финком. Три женских имени возбудили во мне живейший интерес, особенно Астрид Уайнстайн, которая жила в пленительной близости от меня – через холл. Я размышлял над всем этим, как вдруг из комнаты над головой в мое сознание проник шум возни, столь мгновенно и мучительно узнаваемой, столь ясной для моего страждущего уха, что я не стану, как поступил бы в другие времена, когда было принято выражаться иносказательно, намекать и ходить вокруг да около, а позволю себе прямо сказать, что до меня донеслись звуки, вскрики, хриплое дыхание двух людей, совокуплявшихся, как сумасшедшие, точно дикие звери.

Я с тревогой посмотрел на потолок. Лампа дергалась и плясала, словно марионетка на веревочке. Розоватая пыль сыпалась со штукатурки, и я так и ждал, что четыре ножки кровати продырявит потолок. Это было нечто страшное – не просто обряд совокупления, а турнир, схватка, свалка, состязание на Розовый кубок, языческое пиршество. Слова произносились на английском, но искаженном, с экзотическим акцентом – впрочем, мне не было нужды разбирать слова. Это было импрессионистическое нечто. Голоса – мужской и женский, ликующее двуголосье; слова, каких я в жизни не слыхал. Да я никогда еще не внимал таким наставлениям: стой, а теперь сильнее, быстрее, глубже; не слышал

такого ликования по поводу достигнутого; таких стонов по поводу недобранных ярдов; таких призывов и советов, куда послать мяч. И все это так отчетливо, как если бы я надел специальные наушники. Отчетливо и героически долго. Казалось, бесконечно долго длилась борьба, а я сидел и вздыхал, пока все вдруг не прекратилось и участники состязания не разошлись в буквальном смысле по своим ванным комнатам. Плеск воды и хихиканье просачивались сквозь тонкий потолок, затем шлепанье ног по полу, еще хихиканье, смачный звук игривого удара по голому задку и наконец, совсем не к месту, – дивное, медленное, сладостное биение сердца Четвертой симфонии Бетховена, поставленной на патефон. Обезумев от всего этого, я подошел к шкафчику с лекарствами и достал таблетку «алка-зелцер».

Вскоре после того, как я снова уселся за стол, я понял, что теперь над моей головой идет горячий спор. Мрачные бурные страсти разгорелись с поразительной быстротой. Из-за какого-то каприза акустики я не мог разобрать слов. Как и во время только что закончившегося марафона во славу Венеры, звуки действий долетали до меня во всех своих причудливых подробностях, а речь оставалась приглушенной и неясной, так что я понял: кто-то там раздраженно шагает, нетерпеливо двигает стульями, хлопает дверьми, звучали пронзительные от ярости голоса, но слова до меня доносились далеко не все. Преобладал мужской голос – хриплый раздраженный баритон, почти заглушавший прозрачные звуки Бетховена. Женский голос по контрасту звучал жалобно, как бы обороняясь; минутами в нем, словно от страха, появлялись пронзительные ноты, но в целом тон был покорный, с оттенком мольбы. Внезапно стакан или какой-то фарфоровый предмет – пепельница, бокал, не знаю что, – ударился о стену и рассыпался на кусочки; я услышал тяжелые мужские шаги в направлении двери, и она распахнулась в верхнем холле. Затем с треском захлопнулась, и я услышал, как мужчина протопал в другую комнату второго этажа. Наконец в комнате, где последние двадцать минут царила такая возня, установилась относительная тишина, из глубин которой до меня долетало лишь нежное стонающее адажио, с легким шипом воспроизводимое патефоном, и прерывистые рыдания женщины на кровати надо мной.

Я был всегда разборчивым, но не прожорливым едоком и никогда не завтракал. К тому же я привык поздно вставать и предвкушать радости раннего обеда. Когда шум наверху утих, я увидел, что уже перевалило за полдень, и одновременно почувствовал, что сцена совокупления с последующим битьем посуды почему-то возбудила во мне невероятный голод, словно я сам принимал участие в том, что там происходило. От голода у меня рот наполнился слюной и голова слегка закружилась. Кроме растворимого кофе и пива, в моем шкафу и крошечном холодильнике не было пока ничего, так что я решил пообедать вне дома. Гуляя по окрестностям, я приметил один еврейский ресторанчик – заведение Херцля на Черч-авеню. Мне захотелось пойти туда, потому что я

никогда еще не пробовал настоящей – так сказать, echt – еврейской кухни, ну и потому, что «раз уж ты поселился на Флэтбуше...» – сказал я себе. Я мог бы, конечно, не утруждать себя такими размышлениями, поскольку была суббота и ресторанчик был закрыт; тогда я направился в другой, по всей видимости, неправдоподобный ресторан под названием «У Сэмми», расположенный дальше по той же авеню, где я заказал куриный бульон с мацой, фаршированную рыбу и рубленую печенку – блюда, застрявшие у меня в памяти, так как я много читал о евреях, – столь бесконечно наглому официанту, что мне показалось, будто передо мной актер, играющий роль. (Тогда я еще не знал, что мрачность у официантов-евреев является чуть ли не определяющей чертой.) Впрочем, меня это не особо волновало. Ресторан был забит людьми, преимущественно немолодыми, которые ели свой борщ и жевали пирожки с картофелем; в сыром, пропитанном запахами кухни воздухе стоял галдеж: все говорили на идиш – языке с бездонно-глубокими гортанными звуками, словно старики полоскали обмякшие мускулы гортани жирным куриным бульоном.

Я был почему-то счастлив и чувствовал себя вполне в своей стихии. «Наслаждайся, наслаждайся, Язвина», – сказал я себе. Подобно большинству южан определенного происхождения, воспитания и впечатлительности, я с самого начала тепло относился к евреям – моей первой любовью была Мириам Букбайндер, дочь местного торговца, в чьих красивых, с поволокой глазах уже в шестилетнем позрасте таилась безутешная, во многом непостижимая тайна ее расы; а позднее я преисполнился еще большей симпатии к еврейскому народу, что, я убежден, особенно характерно для тех южан, которые на протяжении многих лет сталкиваются со страданиями Авраама, и грандиозным подвигом Моисея, и скорбными осаннами псалмов, и апокалипсическими видениями Даниила, и прочими откровениями, горько-сладкими сказочками, вымыслами и ошеломляющими ужасами протестантско-еврейской Библии. Вдобавок утверждение, что евреи обнаружили сродство душ с белыми южанами, потому что у южан тоже был жертвенный агнец, только черный, стало уже банальностью. Так или иначе, обедая тогда «У Сэмми», я положительно наслаждался моим новым окружением и без особого удивления вдруг понял, что подсознательное стремление жить среди евреев было одной из причин моего переселения в Бруклин. Словом, я оказался в самом сердце еврейской общины – несомненно, в не меньшей мере, чем если бы поселился в Тель-Авиве. Я даже признался себе, выходя из ресторанчика, что мне понравилось их сладкое вино «манишевиц», которое, вообще-то говоря, совсем не подходило к фаршированной рыбе, своей близостью к сиропу скорее напоминало ягодное вино, которое я мальчишкой пивал в Виргинии.

Шагая назад, к дому Етты, я снова не без досады вспомнил о том, что происходило в комнате надо мной. Моя озабоченность этим обстоятельством объяснялась в значительной мере эгоистическими соображениями, ибо я

понимал, что, если это будет происходить слишком часто, я лишусь и покоя, и сна. К тому же меня озадачивала странная последовательность событий – двое физически сильных людей явно остро и весело наслаждались любовью, а потом, без всякого перехода, вспыхнула ярость, слезы и раздражение. Не давала мне покоя и мысль о том, кто же кого обижал. Меня бесило, что я попал в положение похотливого свидетеля и познакомился с жильцами дома не обычным путем, когда говорят «Привет!» и обмениваются рукопожатием, а подслушивая порнографическую сценку между двумя незнакомыми мне людьми, которых я даже никогда не видел. Хотя, поселившись в метрополии, я всячески расцветчивал мою жизнь воображением, я не из тех, кто интересуется чужими делами, но то, что эти двое любовников находились совсем рядом со мной – в конце концов, они ведь чуть не свалились мне на голову, – побуждало меня выяснить, кто они, и притом как можно быстрее.

Моя проблема была почти тотчас решена: я наконец увидел в нижнем холле одного из жильцов Етты, просматривающего почту, которую почтальон оставлял на столе у входа. Это был молодой человек лет двадцати восьми, рыхлый, с покатыми плечами, всей фигурой напоминавший яйцо, с круто выющимися красновато-рыжими волосами и нелюбезной резкостью манер, свойственной ньюйоркцам. Вначале, когда я только поселился в этом городе, поведение его обитателей казалось мне столь беспричинно враждебным, что несколько раз я готов был ударить наотмашь, пока наконец не понял, что это нечто вроде жесткого панциря броненосца, которым накрывает себя городской житель. Я вежливо представился: «Меня зовут Стинго»; сосед продолжал перебирать почту, и в ответ на мои старания завязать знакомство я слышал лишь стесненное аденоидами дыхание. Я почувствовал, как кровь прилила у меня к затылку, губы помертвели, я повернулся на каблуках и направился было к себе в комнату.

Тут я услышал:

– Это не вам?

Обернувшись, я увидел, что он держит письмо. По почерку я понял, что это от отца.

– Благодарю, – в ярости буркнул я и выхватил у него письмо.

– Вы не могли бы дать мне потом марку? – попросил он. – Я собираю марки, посвященные памятным датам.

Он попытался изобразить нечто вроде ухмылки – осклабился не широко, но вполне по-человечески. Я что-то промычал и взглядом показал, что, наверное, дам.

– Я Финк, – сказал он. – Моррис Финк. В общем, приглядываю за домом, особенно когда Етта уезжает, как вот на этот уик-энд. Отправилась к дочке в Канарси. – Он кивнул в сторону моей двери. – Я вижу, вы поселились в воронке.

– Воронке? – переспросил я.

– Я съехал оттуда неделю назад. Потому вас там и поселили, что я съехал. А «воронкой» я ее прозвал, потому что живешь там, точно в воронке от бомбы – такое они вытворяют у себя наверху.

Внезапно между мною и Моррисом протянулась ниточка, и напряжение сразу спало – во мне вспыхнуло желание расспросить его.

– И как только, ради всего святого, вы это терпели? Скажите, кстати, кто, черт бы их побрал, эти люди?

– Если попросить их передвинуть кровать, тогда еще жить можно. Они передвигают ее к стенке – и почти ничего не слышно. Кровать тогда получается над ванной. Я просил их об этом. Вернее, его. Заставил-таки передвинуть кровать, хоть это и ее комната. Настоял-таки. Я сказал, Етта вышвырнет их обоих, если он не переставит, так что под конец он согласился. А сейчас он, видно, передвинул ее назад, к окну. Он что-то говорил, что там-де прохладнее. – Финк замолчал и взял предложенную мною сигарету. – Что вам надо сделать – так это попросить его снова переставить кровать к стене.

– Не могу я, – перебил я, – просто не могу явиться к человеку, незнакомому и сказать... ну, вы сами знаете, что я должен ему сказать. Это было бы ужасно неудобно. Я просто не смогу. А как хоть их зовут?

– Хотите, я ему скажу, – заявил Моррис с уверенным видом, который мне понравился. – Я таки заставлю его это сделать. Етта терпеть не может, когда люди досаждают друг другу. Этот Ландау – странный тип, что да, так да, и мне, может, придется с ним повозиться, но кровать он таки передвинет, не волнуйтесь. Не захочет он, чтобы его вышвырнули отсюда.

Значит, это Натан Ландау, который стоит первым в моем списке, поднимал весь этот шум. А кто же его партнерша во грехе и сумятице?

– А девчонка? – осведомился я. – Мисс Гроссмен?

– Нет. Гроссмен – жирная свинья. А эта шлюха – полька Софи. Софи Зэ, как я ее зову. Фамилия такая, что и не выразишь. Но эта Софи – лакомая штучка.

Меня вдруг снова поразила царившая в доме тишина – тем летом мне не раз все

здесь казалось каким-то призрачным, словно я находился далеко от городских улиц, в уединении, в изоляции, чуть ли не в сельской местности. В парке через дорогу перекликались дети, и я услышал, как медленно проехала машина – прошуршала безобидно, не спеша. Я просто не мог поверить, что живу в Бруклине.

– А где все? – спросил я.

– Вот что – дайте-ка я сейчас вам кое-что расскажу, – сказал Моррис. – Кроме, пожалуй, как у Натана, ни у кого в этой дыре денег нет ни на что. К примеру, чтобы съездить в Нью-Йорк и потанцевать в «Радужном» или в каком другом модном месте. Но в субботу вечером все отсюда выметаются. Все куда-нибудь едут. К примеру, эта свинья Гроссмен – ух, ну и ента![37] – так вот Гроссмен отправляется к своей мамочке в Излип. Так же и Астрид. Это я про Астрид Уайнстайн – она живет вон там, через холл от вас. Она тоже, как Гроссмен, работает в Окружной больнице Кингса, только это – не свинья. Славненькая малышка, но сногшибательной в общем не назовешь. Некрасивая. Одно слово – сучка. Но не свинья.

Мне стало кисло.

– И она тоже ездит к матери? – без особого интереса спросил я.

– Угу, ездит к матери, только в Нью-Йорк. Я в общем-то вижу, вы не еврей, так что я сейчас кое-что расскажу вам про еврейский народ. Евреи – они очень часто ездят к своим мамам. Это у них в крови.

– Понятно, – сказал я. – Ну а остальные? Те куда разбежались?

– Маскатблит – вы его увидите, он такой большой и толстый, учится на раввина, – так вот Мойше ездит к маме и к папе, они живут где-то в Джерси. Только путешествовать в субботу ему ведь нельзя, так что он выезжает отсюда в пятницу вечером. Он большой любитель кино, и по воскресеньям смотрит в Нью-Йорке по четыре-пять картин. А потом поздно вечером возвращается сюда, полуослепший от всех этих фильмов.

– Ну а... Софи и Натан? Они куда ездят? И кстати, чем они занимаются, кроме...

– Я чуть не выпалил напрашивавшуюся остроту, но придержал язык, чего Моррис в любом случае не заметил, так как, будучи человеком болтливым, свободно выплескивавшим любую информацию, предвидел мой вопрос и был счастлив просветить меня.

– Натан – он образованный, биолог. Работает в лаборатории, недалеко от Управления нашего округа, – там они занимаются медициной, изготавливают

лекарства и все такое прочее. А Софи Зэ – не знаю, чем она в точности занимается. Я слышал, она что-то вроде регистратора у польского доктора, у которого много клиентов-поляков. Само собой, по польски она творит, как прирожденная полька. А вообще Натан и Софи – заядлые пляжники. Когда погода хорошая, как вот сейчас, они едут на Кони-Айленд, иной раз – на пляж Джонса. А потом возвращаются сюда. – Он помолчал и этак похотливо посмотрел на меня. – Возвращаются сюда – и ну наяривать, а потом – ну ссориться. Ух и ссорятся же они! А потом отправляются куда-нибудь ужинать. Очень любят хорошо поесть. Этот Натан – он хорошо зарабатывает, но человек он странный, в самом деле странный. По-настоящему. Я так считаю, надо бы ему показаться психиатру.

Зазвонил телефон, но Моррис не подошел к нему. Это был настенный телефон-автомат, и звонил он на редкость громко – я только под конец, понял, что это было сделано специально, чтобы звонок слышали во всем доме.

– Я не снимаю трубки, когда никого нет, – пояснил Моррис. – Терпеть не могу этот идиотский телефон – только и знай передавай поручения. «Лиллиан дома? Это говорит ее мама. Скажите ей, что она забыла прелестный подарок, который привез ей дядя Бенни». И та-та-та, и та-та-та. Свинья. Или вот еще так: «Это говорит отец Мойшс Маскатблита. Его нет дома? Передайте ему, что его двоюродного брата Макса переехал грузовик в Хаккенсэке. И та-та-та, та-та-та весь день напролет. Терпеть не могу этот телефон.

Я сказал Максу, что мы еще увидимся, и, обменявшись с ним на прощанье несколькими шуточками, ретировался в свою розовую спальню, в ее начинавшую будоражить меня атмосферу. Сел за стол. Первая страница блокнота, по-прежнему внушавшая робость своей пустотой, зевнула мне в лицо желтоватым простором бесконечности. «Да разве я когда-нибудь смогу написать роман?» – подумал я, жуя «Бархатную Венеру». И вскрыл письмо от отца. Я всегда с нетерпением ждал от него писем и считал, что мне повезло в жизни, раз у меня есть такой южный вариант лорда Честерфилда, такой советчик, который доставляет мне столько удовольствия своими старомодными рассуждениями о гордости и алчности, честолюбии, фанатизме, политическом трюкачестве, половых извращениях и прочих смертных грехах и опасностях.

Нравоучительным тон его иной раз бывал, но никогда помпезным, никогда менторским, и я наслаждался как сложностью мыслей и чувств, изложенных в письме, так и простотою доводов; закончив чтение очередного письма, я чуть не плакал от умиления или же сгибался пополам от хохота, но почти всегда тотчас обращался к Библии и перечитывал те пассажи, откуда отец заимствовал многие каденции своей прозы и многое из своей премудрости. Однако на сей раз мое внимание прежде всего привлекла газетная вырезка, вылетевшая из сложенного письма. Заголовок заметки из виргинской газеты настолько меня поразил и

ужаснул, что я судорожно глотнул и перед глазами у меня запрыгали светящиеся точки.

В газете сообщалось о самоубийстве прелестной двадцатидвухлетней девушки, в которую я был безнадежно влюблен в годы моей ранней, еще не устоявшейся юности. Звали ее Мария (что на юге рифмуется с «пария») Хант, и в пятнадцать лет я пылал к ней такой любовью, что сейчас, в ретроспекте, мне это кажется легким помешательством. Если хотите увидеть влюбленного идиота – извольте, я был типичным образчиком! Мария Хант! В 40-е годы, задолго до того, как зарделась заря нашей свободы, в нравах все еще преобладало старинное рыцарство, и пластмассовые куклы из телесериалов, вроде Джун Аллисон, казались мальчишкам полубогинями, с которыми, следуя отвратительному термину социологов, можно было в лучшем случае «щупаться до точки кипения»; я же доходил в самоумерщвлении до полного идиотизма и даже не пытался, как говорили в те дни, «приласкать» мою обожаемую Марию. Собственно, я ни разу не отважился коснуться поцелуем ее безжалостно-аппетитных губ. С другой стороны, наши отношения никак нельзя было назвать и платоническими, ибо в моем понимании это слово подразумевает определенную работу ума, а Мария развитостью не отличалась. Ко всему этому следует добавить, что наше государство состояло в ту пору из сорока восьми штатов, и Виргиния Гарри Бэрда с точки зрения уровня народного просвещения обычно занимала сорок девятое место – после Арканзаса, Миссисипи и даже Пуэрто-Рико, – таким образом, можно представить себе интеллектуальный уровень беседы двух пятнадцатилетних подростков. Никогда еще обычный разговор не зиял такими пробелами, такими долгими, не вызывающими смущения минутами задумчивого молчания. Тем не менее я страстно и одновременно целомудренно обожал Марию, – обожал по той простой причине, что красота ее способна была разбить сердце, и вот теперь я узнал, что она мертва. Мария Хант – мертва!

Вторая мировая война и мое участие в ней привели к тому, что Мария испарилась из моей жизни, но я не раз с тоскою думал о ней. Она выбросилась из окна какого-то дома, и, к моему изумлению, я обнаружил, что произошло это всего две-три недели тому назад, на Манхэттене. Позднее я узнал, что она жила совсем рядом со мной, на Шестой авеню. Вот к чему приводит нечеловеческая огромность города – мы оба не один месяц жили в Грннич-Вилледже, совсем небольшом районе, и ни разу не встретились. Я почувствовал острую боль, что-то вроде угрызений совести, и подумал, а не смог ли бы я спасти Марию, помешать ей сделать этот страшный шаг, если бы хоть знал, что она находится в одном со мною городе и живет неподалеку. Снова и снова перечитывая заметку, я дошел до состояния, близкого к помешательству, и вдруг громко застонал от бессмысленности гибели молодого, доведенного до отчаяния существа. Почему она это сделала? Самым душераздирающим в рассказе о случившемся было то,

что по каким-то сложным и туманным причинам труп не был подвергнут опознанию, Марию похоронили в общей могиле, и лишь через много недель тело было эксгумировано и отправлено для захоронения в Виргинию. Эта жуткая история перевернула мне душу, подорвала все силы – мне было так плохо, что я до конца дня оставил всякую мысль о работе и безрассудно принялся искать утешения в пиве, стоявшем у меня в холодильнике. Потом я прочел в письме отца:



Прилагая эту вырезку, сынок, я, естественно, подумал, что она тебя более чем заинтересует – я ведь помню, как ты страшно «сох» по Марии Хант лет шесть или семь тому назад. В свое время я немало потешался, вспоминая, как ты краснел, точно помидор, стоило только упомянуть ее имя; сейчас же я думаю о том времени с величайшей грустью. В подобных случаях мы подвергаем сомнению деяния нашего

Господа, но тщетно: нам не дано их понять. Как ты, наверное, знаешь, Мария Хант росла в трагической семье: Мартин Хант был почти алкоголик и вечно сидел без работы, а Беатриса была слишком уж непреклонна и жестока в своих требованиях по части морали, особенно, как мне говорили, в отношении Марии. Одно вроде бы можно твердо сказать: в этом печальном доме было немало неискупленной вины и ненависти. Я знаю, весть о смерти Марии глубоко затронет тебя. Мария, помнится, была настоящая красавица, потому ее особенно жалко. Утешься хотя бы тем, что такая красота пусть недолго, но все же была с нами...

Я размышлял о Марии весь день, пока под деревьями парка не легли длинные тени и детишки не разбежались по домам, а дорожки, бороздящие Уголок отдыха, не опустели. Под конец меня совсем разморило от пива, во рту было горько и сухо от сигарет, я повалился на кровать. Вскоре я забылся глубоким сном, больше обычного наполненным сновидениями. Одно сновидение захватило меня и чуть не прикончило. После нескольких бессмысленных нелепиц, жуткого, но недолгого кошмара и искусно построенной одноактной пьесы передо мной возникла эротическая галлюцинация невиданной силы. На залитом солнцем, мирном лугу Тайдуотера, в уединенном месте, окруженном раскидистыми дубами, передо мной стояла моя покойная Мария и с разухабистостью проститутки раздевалась донага – это она-то, которая в моем присутствии ни разу не позволила себе снять даже носки. Голая, налитая, как персик, разметав по молочно-белым грудям каштановые локоны, она подошла ко мне, несказанно желанная, – а я лежал, вытянувшись как кинжал, – и взмолилась, откровенно сладострастно и похотливо. «Язвинка, – прошептала она. – Ох,

Язвинка, возьми меня!». Кожа ее покрылась тонким налетом пота, крошечные капельки заблестели на черных волосах ее треугольника. Она изогнулась надо мной, нимфа с влажными, приоткрытыми губами, и, склонившись над моим голым животом, шепча потрясающие сквернословия, приготовилась коснуться нецелованными мною губами заостренвшегося в своей застылости стержня моей страсти. Тут пленка застряла в аппарате. Я проснулся в полном отчаянии – открыв глаза, я увидел розовый потолок, исполосованный тенями наступающей ночи, и первобытный рык – скорее даже вой – вырвался из самых глубин моей души.

Но в эту минуту в мое распятое тело был вбит еще один гвоздь: наверху они снова взялись за свое на этом растреклятом матрасе.

– Прекратите! – рявкнул я, обращаясь к потолку, и пальцами зажал уши. «Софи и Натан! – подумал я. – Чертовы еврейские кролики!» Они, видимо, ненадолго устроили передышку, но, когда я снова прислушался, все продолжалось в прежнем стиле – только в этой чехарде не было ничего бурного, спортивного, ни вскриков, ни арий, лишь пружины пристойно и ритмично позвякивали, лаконично, размеренно, чуть ли не по-старчески. Но мне было безразлично, замедлили они темп или нет. Я поспешил выйти – буквально выскочил в сумерки и, точно безумный, принялся мерить шагами парк. Постепенно я сбавил темп, погружившись в размышления. Прохаживаясь под деревьями, я стал всерьез подумывать, не совершил ли я большой ошибки, поселившись в Бруклине. Я ведь оказался здесь совсем не в своей среде. Что-то было не то – что-то неуловимое и необъяснимое, и, приди мне тогда на ум выражение, распространившееся несколько лет спустя, я мог бы сказать, что от дома Етты исходили неблагоприятные флюиды. Я все еще находился под впечатлением того безжалостного, сладострастного сна. По самой своей природе сны, конечно, таковы, что их трудно запомнить, но некоторые на всю жизнь запечатлеваются в памяти. Больше всего мне запоминались сны, связанные либо с сексом, либо со смертью, – сны настолько реалистичные, что это граничило с чем-то метафизическим. Таким был и сон о Марии Хант. Ни одно видение не оставило во мне подобного следа, если не считать сна, который я увидел почти восемь лет тому назад, вскоре после похорон матери: выбираясь из илистых глубин кошмара, я тогда подошел во сне к окну моей комнаты в нашем доме и, выглянув из него, увидел внизу, в мокром, пронизанном ветром саду, открытый гроб и на атласной подушке высохшее, испитое раком лицо матери – она повернулась и обратила ко мне молящий, затуманенный неопишуемою мукой взгляд.

Я свернул назад, к дому. Подумал: пойду сяду и отвечу на письмо отца. Мне хотелось попросить его написать мне подробнее об обстоятельствах смерти Марии – по всей вероятности, в тот момент я еще не понимал, что подсознательно уже начал закручивать вокруг этой смерти роман, который так

печально не желал разгораться на моем письменном столе. Но в тот вечер письма я не написал. Потому что по возвращении я впервые встретил Софи во плоти и если не мгновенно, то быстро и безоглядно влюбился в нее. Это была любовь, которая, как мне с каждым днем уходящего лета становилось все яснее, предъявляла – по многим причинам – все большие права на мое существование. Однако должен признаться, это чувство зародилось во мне, безусловно, потому, что Софи хоть и отдаленно, но в самом деле напоминала Марию Хант. Когда я впервые мимоходом увидел Софи, в моей памяти запечатлелось не только прелестное сходство ее с умершей, но и отчаяние, каким наверняка было отмечено и лицо Марии, вместе с горестной тенью предчувствия смерти, к которой очертя голову движется человек.

А тогда Софи и Натан отчаянно ссорились в холле, около двери в мою комнату. Я отчетливо слышал их голоса в летней ночи, а поднявшись по ступенькам крыльца, увидел их.

– Нечего мне вкручивать, поняла! – орал он. – Ты врешь! Жалкая лживая шлюха, ты меня слышишь? Вот ты кто! Шлюха!

– Ты сам есть такой, – слышал я ее ответ. – Да, ты шлюха, так я считаю! – Она произнесла это совсем не агрессивно.

– Я не шлюха, – рявкнул он. – Я не могу быть шлюхой, польская ты тупица. Когда ты научишься правильно говорить? Я могу быть сутенером, но не шлюхой, кретинка ты этакая. Никогда не смей меня больше так называть, слышишь? Впрочем, такого случая у тебя больше не будет.

– Но ты же назвал меня так!

– Потому что ты и есть такая, ты, кретинка, лживая шлюха, перевертыш! Раскладывалась для этой дешевки, этого шарлатана, так называемого «доктора». О бог ты мой! – взревел он, и голос его зазвенел дикой, неумной яростью. – Да отпусти ты меня, пока я тебя не прикончил... ты, проститутка! Родилась проституткой и сдохнешь проституткой!

– Натан, послушай... – донеслась до меня ее мольба.

Теперь, подойдя к входной двери, я отчетливо увидел их: они стояли совсем близко друг к другу, темным силуэтом выделяясь на фоне розового холла, где свисавшая с потолка лампочка в сорок ватт, еле заметная в туче кишачей мошкары, отбрасывала дрожащие светотени. В этой паре господствовал, выделяясь ростом и силой, Натан; широкоплечий, могучего телосложения, с копною черных, как у индейцев-сиу, волос, он походил на более стройного, более неистового Джона Гарфилда, с таким же, как у Гарфилда, красивым,



порочно-приятным лицом – мне бы следовало сказать: теоретически приятным, так как сейчас его лицо, потемневшее от гнева и ярости, искаженное явной жаждой насилия, было каким угодно, только не приятным. Он был в тонком свитере и летних брюках, и было ему лет под тридцать. Он крепко держал Софи за руку выше локтя, а она

вся съежилась, словно розовый бутон под порывом бури. При слабом свете я едва мог различить Софи. Я видел лишь растрепанную гриву льняных волос и около трети ее лица, перекрытого плечом Натана. Испуганно поднятую бровь, маленькую родинку, карий глаз и широкую, прелестную, по-славянски выпуклую скулу, по которой, будто капелька ртути, катилась одинокая слеза. Она принялась всхлипывать, словно брошенный ребенок.

– Натан, ты должен слушать, пожалуйста, – произнесла она, всхлипывая. – Натан! Натан! Натан! Прости, что я так тебя назвала.

Она резко отшвырнул от себя ее руку и отступил.

– Ты мне бес-ко-неч-но противна, – выкрикнул он. – Поистине не-поддель-но отвратительна. Я сматываюсь отсюда, не то я прикончу тебя! – И он круто повернулся к ней спиной.

– Натан, не уходи! – в отчаянии взмолилась она и протянула к нему руки. – Ты нужен мне, Натан. И я нужна тебе. – Голос ее звучал по-детски жалобно, тоненький, почти хрупкий, надламывающийся в верхнем регистре и слегка хрипевший в нижнем. Польский акцент делал ее речь прелестной, вернее, подумал я, сделал бы при более нормальных обстоятельствах. – Пожалуйста, не уходи, Натан, – закричала она. – Мы нужны друг другу. Не уходи!.

– Нужны? – повторил он, оборачиваясь к ней. – Мне нужна ты? Я тебе вот что скажу... – И он затряс перед ней вытянутой рукой, голос его звучал все яростнее, все возмущеннее. – ...да ты мне так же нужна, как чертова неизлечимая зараза. Ты нужна мне, как чума, слышишь? Как трихинеллез! Ты нужна мне, как камень в печени. Как пеллагра! Как энцефалит! Как болезнь Брайта, если уж на то пошло! Как карцинома в этом чертовом мозгу, ты, чертова несчастная шлюха!

Аааоо-о-о! – Последнее было дрожащим, непрерывно повышающимся стоном, звуком, от которого мурашки побежали по спине, ярость и плач смешивались в нем в своеобразную литургию, словно некий обезумевший раввин оплакивал покойника. – Ты нужна мне, как смерть, – задыхаясь, бушевал он. – Как смерть!.

И снова он отвернулся от нее, и снова она взмолилась, рыдая:

– Пожалуйста, не уходи, Натан! – И затем: – Натан, куда ты?

А он уже был у входной двери, всего в каких-нибудь двух футах от меня; я в нерешительности стоял на пороге, не зная, проскочить ли к себе в комнату или повернуться и бежать.

– Куда? – выкрикнул он. – Я сейчас тебе скажу, куда я иду – я иду в метро,



сажусь на первый же поезд и еду в Форест-Хиллз! Возьму у брата машину, вернусь сюда и погружу свои вещи. И вон отсюда! – Голос его вдруг зазвучал тише, он весь как-то подобрался, в манере держаться появилась

даже небрежность, то тон был по-прежнему драматически угрожающий. – А потом – может быть, завтра – я тебе скажу, что я намерен делать. Я намерен сесть и написать письмо, которое я отправлю заказным в Иммиграционную службу. Я намерен сообщить им, что они выдали тебе не ту визу. Я намерен сообщить им, что они должны выдать тебе визу для проститутки, если такая у них есть. А если нет, я скажу им, чтоб они отправили тебя назад, в Польшу, чтобы тебе неповадно было раскладываться в Бруклине перед первым встречным врачиком, которому приспичит. Назад в Краков, детка! – Он удовлетворенно хмыкнул. – Да, детка, назад в Краков!

Затем повернулся и ринулся в раскрытую дверь. Тут он налетел на меня, перевернулся вокруг себя и замер. Трудно сказать, решил ли он, что я все слышал, или нет. Ему явно не хватало воздуха – тяжело дыша, он оглядел меня с головы до ног. Затем я почувствовал: он решил, что я все слышал, но это не имеет значения. Меня поразило то, как он повел себя, находясь в таком состоянии, – а повел он себя если не вполне любезно, то по крайней мере достаточно вежливо, словно великодушно исключив меня из круга, охваченного его яростью.

– Это вы – новый жилец, про которого мне говорил Финк? – произнес он, с трудом переводя дыхание.

Я ответил утвердительно – еле слышно и очень кратко.

– Вы с Юга, – сказал он. – Моррис говорил мне, что вы с Юга. Сказал, что зовут вас Стинго, то есть Язвина. Етте для ее коллекции чудил как раз недоставало южанина. – Он бросил на Софи сумрачный взгляд, затем снова посмотрел на меня и сказал: – Очень жаль, что не состоится у нас с вами веселенького разговорчика: я ведь сматываюсь. А было бы славно с вами поболтать. – Тут в тоне его появилось что-то слегка зловещее, наигранная любезность уступила место такому откровенному сарказму, какого я давно не слыхал. – Мы бы здорово с вами развлеклись, пошвыряли бы друг в друга дерьмом, вы и я. Могли бы поговорить о спорте. Я имею в виду – спорт у вас на Юге. К примеру, о линчевании негров – или опоссумов, по-моему, вы их так зовете. Или о культуре. Могли бы поговорить о южной культуре и, может, посидели бы у старушки Етты и послушали пластинки с песнями сельской глуши. Ну, вы знаете: Джин Отри, Рой Экафф и прочие носители классической южной культуры. – Все это он произнес насупясь, затем улыбка вдруг прорезала его смуглое, искаженное лицо, и не успел я опомниться, как он уже крепко стиснул мою руку, которую я вовсе не собирался ему подавать. – Ну, что поделаешь, так могло бы быть. Очень жаль. Старине Натану пора в путь. Может, в другой жизни, Голодранец, мы еще и посидим вместе. Привет, Голодранец! До встречи в другой жизни.



И я еще губы не успел разжать, чтобы выразить протест, или дать Натану отповедь, или отлаять, как он повернулся и прогрохотал вниз по ступенькам крыльца – демоническое клак-клак-клак его кожаных каблуков, удаляясь в направлении метро, постепенно затихало, пока не угасло совсем под подернутыми сумраком деревьями.

Незначительные катаклизмы – автомобильная авария, застрявший лифт, бандитское нападение в присутствии свидетелей – вызывают повышенную жажду общения между незнакомыми людьми – это явление всем известно. После того как Натан исчез в ночи, я без колебаний подошел к Софи. Я понятия не имел, что ей скажу – наверное, как-то неуклюже попытаюсь утешить, – но она заговорила первой, не отнимая рук он залитого слезами лица.

– Это есть так несправедливо! – рыдала она. – Ох, я же так его люблю!

Я поступил, как часто поступают в фильмах, когда трудно поддерживать разговор. Вытащил из кармана платок и молча протянул Софи. Она охотно взяла его и стала вытирать глаза.

– Ох, я же столько много его люблю! – воскликнула она. – Столько много! Столько много! Я умру без него.

– Что вы, что вы! – произнес я или что-то в этом роде, не менее глупое.

Глаза ее молили меня – меня, которого она впервые видела, – с отчаянием ни в чем не повинного человека, пытающегося доказать в суде свою правоту. «Я не шлюха, ваша честь», – казалось, хотела она сказать. Я был потрясен и ее искренностью, и силой чувства.

– Это есть так несправедливо, – повторила она. – Сказать такое! Он же единственный, с кем я спала, только еще мой муж. А мой муж – он умер!

И снова рыдания сотрясли ее, и снова полились слезы, так что мой носовой платок превратился с маленькую мокрую губку с монограммой. Нос у Софи распух, и необыкновенную ее красоту портили красные пятна от слез, тем не менее красота эта (включая родинку, удачно поставленную судьбой возле левого глаза, точно крошечный спутник) мгновенно захлестнула меня – мне казалось, что я весь таю, превращаясь в жидкость, и шло это не от сердца, а, как ни странно, из живота, который вдруг заурчал, словно протестуя против длительного поста. Во мне возникло до одурения сильное желание обнять ее, успокоить, но скопище самых разнородных предрассудков удерживало меня. А кроме того, я был бы лжецом, если бы не признался, что помимо всего прочего в моем мозгу быстро созрел сугубо эгоистический замысел: мне уже виделось, как с божьей помощью – если господь пошлет мне счастье и силы – я подберу это златокудрое сокровище там, где Натан, неблагодарная свинья, бросил его.

Тут по пояснице у меня пробежали мурашки, и я понял, что Натан снова стоит позади нас, на ступеньках крыльца. Я резко обернулся. Он умудрился подойти фантастически тихо и теперь, злобно сверкая глазами, упершись вытянутой рукою в дверной косяк, смотрел на нас.

– И последнее, – сказал он Софи ровным, жестким тоном. – Еще одно, шлюха. Пластинки. Альбомы с пластинками. Бетховен. Гендель. Моцарт. Все. Но чтоб глаза мои больше тебя не видели. Так что вынеси пластинки... вынеси пластинки из твоей комнаты и положи в мою, на стул у двери. Брамса можешь оставить себе – только потому, что Блэксток подарил тебе эту пластинку. Можешь оставить, поняла? А остальные я хочу иметь, так что будь любезна положить их, куда я сказал. Если не положишь, когда я вернусь за вещами, я переломаю тебе

руки – обе. – Помолчал, глубоко втянул в себя воздух и шепотом выговорил: – Клянусь богом, переломаю обе твои чертовы руки!

На этот раз он уже действительно ушел, широко, враскачку шагая по тротуару, и быстро исчез в темноте.

Слез у Софи больше не было, и она постепенно взяла себя в руки.



– Спасибо, вы такой добрый, – тихо сказала она мне хрипловато-гнусавым, точно от простуды, голосом человека, который долго и усердно плакал. Она протянула руку и сунула мне в ладонь носовой платок – мокрый шарик. В

этот момент я впервые увидел номер, выжженный на загорелой, с легким налетом веснушек коже ее руки, между локтем и кистью, – багровый номер из по крайней мере пяти цифр, слишком мелких, чтобы можно было разобрать при таком свете, но отпечатанных – это я понял – четко и умело. К любви, растекавшейся по моему нутру, внезапно добавилась боль, и в невольном порыве, который совершенно невозможно объяснить (со стороны человека, приученного думать, где он держит руки), я мягко взял ее за запястье и внимательнеегляделся в татуировку. В ту же минуту я понял, что мое любопытство может быть сочтено оскорбительным, но я ничего не мог с собой поделать.

– Где вы были? – спросил я.

Она произнесла замысловатое название по-польски, которое я с трудом разобрал:

– Освенцим. – Потом сказала: – Я там долго была. Longtemps. – Помолчала. – Vous voyez[38]... – Снова пауза. – Вы говорите по-французски? – спросила она. – Мой английский очень плохой.

– Un peu,[39] – ответил я, намного завышая свои возможности. – Не совсем гладко. – Что означало: почти не говорю.

– Не гладко? Что есть – не гладко?

– Sale,[40] – наобум ответил я.

– Грязный французский? – сказала она со слабым намеком на улыбку. И, помедлив, спросила: – Sprechen Sie Deutsch?[41]

На что я не мог извлечь из себя даже «nein».[42]

– Ах, да не старайтесь вы так! – сказал я. – Вы же хорошо говорите по английски. – И, помолчав немного, добавил: – А этот Наган! В жизни не встречал такого человека. Я знаю, это не мое дело, но... но он, должно быть, псих! Как можно так говорить с кем бы то ни было! Хотите знать мое мнение: хорошо, что вы от него избавились.

Она крепко зажмурилась и в болезненной гримасе сжала губы, словно вспомнив о том, чему я только что был свидетелем.

– О, он так много прав, – прошептала она. – Не про то, что я ему изменяла. Я не про это. Я никогда ему не изменяла. А вот другое. Когда он сказал, что я не так одеваюсь. Или когда сказал, что я полька-неряха, не убираю за собой. Он тогда называл меня – грязная полька, и я знаю, что я... да, я это заслужила. Или когда он меня водил в красивые рестораны, а я оставлялась... – Она вопросительно взглянула на меня.

– Оставляла, – сказал я. Отныне, не пережывая, я буду время от времени воспроизводить прелестные неточности, которые Софи допускала в английском. Она, бесспорно, вполне владела языком, что – во всяком случае, в моем представлении – лишь подтверждалось, когда она спотыкалась о пни наших мерзких неправильных глаголов, запутавшись в чащобе синтаксиса. – Что оставляла? – спросил я.

– Оставляла себе la carte, то есть меню. Я так часто оставляла себе меню, клала в сумочку, как есть сувенир. Он говорил, что меню стоит деньги, что я ворую. Знаете, он был прав.

– Ей-богу, взять меню не кажется мне таким уж великим воровством, – сказал я. – Послушайте, опять-таки я понимаю, что это не мое дело, но...

Она явно решила не дать мне возможности помочь ей восстановить чувство собственного достоинства и, прервав меня, сказала:

– Нет, я знаю, это было нехорошо. Он правильно говорил: я столько много делаю нехорошего. Я это заслужила, что он бросил меня. Но я никогда ему не изменяла. Никогда! Ох, я просто умру теперь без него! Что мне делать? Что мне делать?

На секунду я испугался, что она сейчас поддастся новой вспышке горя, но она лишь хрипло, судорожно всхлипнула, словно поставила последнюю точку, и отвернулась от меня

– Вы добрый, – сказала она. – А теперь я пойду к себе.



Она медленно пошла по лестнице наверх, а я неотрывно смотрел на ее фигуру, обтянутую шелковым летним платьицем. Хотя у нее было красивое тело и все округлости, изгибы и линии располагались симметрично, как надо, что-то в ней было не так, а ведь на взгляд – никаких изъянов, все ладно пригнано. И я понял: вот где зарыта собака. Необычное проглядывало в ее коже. Она отличалась болезненной дряблостью (особенно это было заметно с внутренней стороны рук) – как у людей, переживших сильное истощение и еще не вернувших себе прежний облик. Кроме того, я чувствовал, что под здоровым заггаром таится бледность не вполне оправившегося после страшной болезни человека. Но все это отнюдь не уменьшало поразительного налета сексуальности, которую, по крайней мере в тот момент, она источала, небрежно и одновременно нарочито двигая бедрами и своим поистине роскошным задом. Несмотря на пережитый голод, зад ее походил на фантастическую, безупречной формы грушу, премированную на выставке; он так зазывно колыхался и, обозреваемый под таким углом, настолько взволновал меня, что я мысленно пообещал сиротским домам пресвитерианской церкви в Виргинии четверть моих будущих писательских доходов, если мне дано будет на краткий миг – хватило бы и тридцати секунд – подержать в моих молитвенно раскрытых ладонях его обнаженную плоть. «Язвина, старина, – размышлял я, глядя, как Софи поднимается по лестнице, – а ты, видно, человек-то порочный, если можешь вот

так впиться взглядом в чью-то спину.» Тут Софи, дойдя до верху лестницы, обернулась и посмотрела вниз с невероятно грустной улыбкой.

– Надеюсь, я не надоела вам моими проблемами, – сказала она. – Извините меня.
– И, уже направляясь к себе в комнату, добавила: – Спокойной ночи.

После чего я сел в единственное в моей комнате удобное кресло и весь вечер читал Аристофана, наблюдая сквозь приоткрытую дверь за той частью холла, которая была мне видна. Примерно в середине вечера я увидел, как Софи направилась в комнату Натана, держа в руках альбомы с пластинками, которые он велел ей вернуть. Когда она возвращалась, я увидел, что она снова плачет. И как только она может без конца плакать? Откуда берется столько слез? Потом она снова и снова ставила пластинку с финалом Первой симфонии Брамса, которую Натан так великодушно позволил ей оставить себе. Теперь, по всей вероятности, это была единственная ее пластинка. Весь вечер музыка Брамса струилась сквозь тонкий потолок, – величественный и трагический французский рожок в сочетании с отвечавшей ему пронзительным птичьим зовом флейтой наполнял меня такой грустью и ностальгией, каких я никогда дотоле не испытывал. Я думал о том времени, когда создавалась эта музыка. Помимо всего прочего она говорила о мирной, процветающей Европе, озаренной мягким янтарным светом прозрачных сумерек: о девочках в передничках, с косичками, катавшихся в запряженных собаками колясочках; о пикниках на полях Венского леса и крепком баварском пиве; о дамах из Гренобля, прогуливавшихся под зонтиками по краю сверкающих ледников высоко в Альпах; о путешествиях на воздушном шаре, о веселье, о вихрях вальса, о мозельском вине, о самом Иоганнесе Брамсе, бородатом, с черной сигарой, сочинявшем эти свои титанические аккорды под облетевшими осенними буками Хофгартена. Это была неизъяснимо сладостная Европа – Европа, какой Софи, безудержно погружавшаяся надо мною в свое горе, не могла знать.

Я уже лег в постель, а музыка все звучала. И всякий раз, когда заезженная пластинка доходила до конца, я слышал, пока она переворачивалась, безутешный плач Софи и вертелся, и крутился в постели, снова и снова поражаясь, как человеческое существо может вместить в себя столько муки. Казалось бы, не мог Натан вызвать такое надрывное, такое душераздирающее горе. Но вот ведь вызвал, и это ставило передо мной определенную проблему. Чувствуя, как я уже сказал, что меня засасывает эта болезнь, эта слабость, именуемая любовью, не глупо ли было с моей стороны надеяться, что я сумею завоевать привязанность той, которая так крепко прикована к памяти о своем возлюбленном, а тем более рассчитывать, что мне удастся залезть к ней в постель? Собственно, в самой этой мысли было что-то непристойное – все равно как осаждать недавно перенесшую утрату вдову. Натан, несомненно, вышел из игры, но не слишком ли я был самонадеян, считая, что смогу заполнить вакуум? Во-первых, вспомнил я, у меня

совсем мало денег. Даже если я сумею пробиться сквозь барьер, воздвигнутый горем Софи, могу ли я рассчитывать, что мне удастся завоевать эту изголодавшуюся женщину, падкую до шикарных ресторанов и дорогих пластинок?

Наконец музыка прекратилась – прекратились и всхлипывания, беспокойный скрип пружин довел до моего сведения, что Софи отправилась спать. Я же долго лежал без сна, прислушиваясь к тихим ночным звукам Бруклина: вдали взвыла собака, промчалась машина, рассмеялись женщина и мужчина на краю парка. Я думал о Виргинии, об отчем доме. И постепенно заснул, но спал я беспокойно, отчаянно ворочаясь, а в какой-то момент проснулся в незнакомой темноте и обнаружил, что глупо сражаюсь не то со складкой, не то с рубцом, не то с загнутым краем смятой наволочки. Потом я снова заснул и проснулся уже перед самым рассветом, среди ночной тишины – сердце у меня отчаянно колотилось, весь в холодном поту, глядя в потолок, отделявший меня от спящей Софи, я вдруг понял – так ясно, как бывает только во сне, – что она обречена.

Третье

– Стинго! Эй, Стинго! – Поздним утром – было это на другой день, в солнечное июньское воскресенье – я услышал их голоса за дверью, пробудившие меня ото сна. Сначала голос Натана, потом Софи: – Стинго, проснитесь. Проснитесь, Стинго! – Дверь была хоть и не заперта, но на цепочке, и с того места на подушке, где лежала моя голова, мне видно было улыбающееся лицо Натана, смотревшего в широкую щель.

– Вставай, подымайся! – произнес голос. – Вылезай на палубу, мальчик! Вперед – и на врага! Мы едем на Кони-Айленд!

Из-за спины Натана я услышал, как Софи тоненьким голосом отчетливо повторила вслед за ним:

– Вставай, подымайся! Вперед – и на врага!

За командой последовало серебристое хихиканье, а Натан принялся трясти дверь, так что зазвенела цепочка.

– Да ну же, Голодранец, на палубу! Нельзя валяться весь день и дрыхать, точно старый пес на Юге. – В голосе его появились синтетические слащавые интонации обитателя самого глубинного Диксиленда – акцент, поразивший точностью подражания даже мое полусонное, но восприимчивое ухо. – Пошевеливай свои ленивые косточки, сладкий мой! – протянул он, будто пережевывая, как это делают южане, слова. – Натягивай купальный costume.[43] Попросим старика Помпея вытащить старую развалюху-коляску, запрежем ее

четвериком и отправимся на берег мо-о-ря, на пикник!



Я – мягко выражаясь – был в не слишком большом восторге от всего этого. Оскорбления, которые Натан изрыгал накануне вечером, и то, как он вел себя с Софи, снились мне всю ночь в разных вариантах, и сейчас видеть наяву это лицо обитателя большого города середины нашего века, слышать эту пошлятину, бытовавшую до Гражданской войны, было просто выше моих сил. Я соскочил с кровати и ринулся к двери.

– Убирайтесь отсюда! – заорал я. – Оставьте меня в покое!

Я попытался захлопнуть дверь перед носом Натана, но он крепко держал ногу в щели.

– Убирайтесь! – снова выкрикнул я. – Ну и нахал же вы, черт вас подери. Выньте вашу чертову ногу из двери и оставьте меня в покое, чтоб вас черт разодрал!

– Стинго, Стинго! – успокоительно произнес голос, перейдя на бруклинский акцент. – Не надо раздражаться, Стинго. Я же не хотел вас обидеть, малыш. Да ну откройте же. Давайте выпьем вместе кофейку, и помиримся, и станем друзьями.

– Не желаю я дружить с вами! – рявкнул я.

И зашелся кашлем. С трудом прочищая дыхательные пути от забившей их мерзости – а я выкуривал ежедневно по тридцать сигарет «Кэмел», – я мысленно подивился тому, что вообще сумел что-то произнести. Я зашелся кашлем, почему-то стесняясь производимых мною лающих звуков, и вдруг осознал – к великому моему огорчению, – что этот мерзкий тип Натан, точно злой гений, снова стоит рядом с Софи и, казалось, снова владеет и командует ситуацией. По крайней мере целую минуту, а то и дольше я корчился и сотрясался от легочных спазм, одновременно страдая оттого, что мне приходится выслушивать Натана, взявшего теперь на себя роль ученого медика:

– У вас, Голодранец, настоящий кашель курильщика. И лицо у вас впалое, испитое, как у человека, пристрастившегося к никотину. Посмотрите на меня, Голодранец, посмотрите мне в глаза.

Я посмотрел на него, слегка сузив зрачки, затуманенные ненавистью и гневом.

– Не смейте называть меня... – начал было я, но новый приступ кашля не дал мне продолжить.

– Испитое лицо – точнее не скажешь, – гнул свое Натан. – А жаль – славный ведь малый. Такое испитое лицо бывает у человека, страдающего от недостатка кислорода. Надо вам бросать курить, Голодранец. От этого бывает рак легких. И сердце портится.

(Возможно, читатель помнит, что в 1947 году действительно губительное действие курения едва ли признавалось даже медиками, и если кто-то заикался о том, какой это может принести вред здоровью, то люди искушенные встречали подобные заявления скептическими усмешками. Это относили к разряду бабьих сказок такого же рода, как и утверждения, что мастурбация влечет за собой прыщи, гнойники и безумие. Поэтому, хотя тогда слова Натана вдвойне разозлили меня, дополняя, как мне подумалось, глупостью его несомненную злобность, теперь-то я понимаю, каким они были предвидением, насколько были типичны для этого эксцентричного, раздираемого противоречивыми чувствами безумца с острым судейским умом, которого мне предстояло ближе узнать и с которым так часто пришлось сталкиваться. Пятнадцать лет спустя, ведя успешную борьбу с курением, я буду вспоминать предупреждение Натана – почему-то особенно это слово «испитое», которое, точно голос из могилы, долетит до меня.) А в ту минуту за такие слова человека можно было прикончить.

– Не смейте называть меня Голодранцем! – выкрикнул я, обретя голос. – Я состоял в сообществе «Фи-Бета-Каппа», когда кончал университет Дьюка. Я не обязан выслушивать ваши оскорбления. А теперь уберите из двери ногу и

оставьте меня в покое! – Я тщетно пытался выпихнуть его ногу из щели. – И не нужны мне ваши дешевые советы насчет сигарет, – прохрипел я, борясь со своей забитой мокротой, воспаленной гортанью.

Тут с Натаном произошла поразительная перемена. Он вдруг стал вежливым, пристойным, готовым даже покаяться.

– Ладно, Стинго, простите, – сказал он. – В самом деле, простите. Я вовсе не хотел обидеть вас. Извините меня, хорошо? Я больше не буду употреблять это слово. Просто мы с Софи хотели по-дружески вас приветствовать в такой чудесный летний день.



Я положительно в себя прийти не мог от происшедшей в нем перемены и считал бы, что он ударился в другую форму бессердечного сарказма, если бы инстинкт не подсказал мне, что он говорит искренне. Собственно, я почувствовал, что,

переиграв, он теперь мучительно от этого страдал – так иные люди, не подумав, подразнят ребенка, а потом понимают, что причинили ему настоящее горе. Но меня он не разжалобит.

– Сгиньте, – решительно и твердо заявил я. – Я хочу быть один.

– Я очень сожалею, старина, право, сожалею. Это же я просто так, в шутку – насчет Голодранца. Я вовсе не хотел вас обидеть.

– Нет, правда, Натан не хотел вас обидеть, – пропела Софи. Она вышла из-за спины Натана, и теперь я видел ее всю. И что-то в ней заставило снова сжаться мое сердце. Накануне она была олицетворением горя, а сейчас разрумянилась от радости и счастья, что Натан чудом вернулся. Глубина ее счастья поистине чувствовалась во всем, она вся искрилась и трепетала – счастье было в блеске ее глаз, в движении губ, в возбуждении, словно румянами окрасившем ее щеки. В сочетании с призывом, читавшимся на ее сияющем лице, это не могло не подействовать на меня, хотя я толком еще и не проснулся, – нет, я просто не мог этому противостоять. – Ну, пожалуйста, Стинго, – уговаривала она меня. – Натан не хотел обижать вас, оскорблять ваши чувства. Мы просто хотели подружиться с вами, вытащить вас на прогулку в такой прекрасный летний день. Пожалуйста.

Пожалуйста, поедemте с нами!

Натан успокоился – я почувствовал, что он убрал ногу из щели, – и я тоже успокоился, хотя сердце у меня и екнуло, когда он вдруг обхватил Софи за талию и принялся тереться о ее щеку. С ленивой неспешностью теленка, размечтавшегося над лизунцом, он провел своим внушительным носом по ее лицу – и она весело, заливчато рассмеялась, словно завершая рождественский гимн, а когда он коснулся мочки ее уха розоватым кончиком языка, она замурлыкала точно кошка – такого я еще ни разу не видел и не слышал. Зрелище было ошарашивающее. Ведь всего несколько часов тому назад он готов был перерезать ей горло.

Софи добилаcь своего. Я не мог противиться ее просьбе и нехотя буркнул:

– Ну ладно, о'кей. – Я уже начал было снимать цепочку, чтобы впустить их, но потом передумал. – Давайте заднего пару, – сказал я Натану. – Извиняйтесь.

– Я же извинился, – ответил он. Голос звучал вежливо. – Я же сказал, что не буду больше называть вас Голодранцем.

– Не только это, – возразил я. – Насчет линчевания и прочей мерзости. Насчет Юга. Это оскорбительно. А если б я сказал вам, что человек по фамилии Ландау – это всенепременно толстый, горбоносый, жалкий ростовщик, который только и думает, как бы обштопать доверчивых христиан. Да вы б до потолка подпрыгнули. Такого рода шутки марают обе стороны. Так что вы обязаны мне еще одним извинением. – Я понимал, что выражаюсь несколько помпезно, но не желал отступать.

– О'кей, я прошу извинить меня и за это, – дружелюбно сказал он. – Знаю, я перегнул палку. Забудем об этом, о'кей? Я прошу у вас прощения, честно. И мы вполне серьезно предлагаем вам поехать с нами сегодня на небольшую прогулку. Послушайте, почему бы нам не поставить на этом точку? Ведь еще рано. Почему бы вам спокойно не одеться и не подняться потом к Софи. Мы все выпьем пивка или кофе, или еще чего-нибудь. Потом поедem на Кони-Айленд. Пообедаем в отличном рыбном ресторане, который я там знаю, а потом отправимся на пляж. У меня есть приятель – он по воскресным дням работает спасателем. Он разрешит нам полежать в той части пляжа, где нет народу и никто не будет швырять песок нам в глаза. Так что поехали.

Я сказал, все еще надувшись:

– Я подумаю.

– Да будьте же компанейским парнем, поехали!

– Хорошо, – сказал я. – Я поеду. – И нехотя добавил: – Спасибо.

Намыливая щеки и бреясь, я с удивлением раздумывал о странном повороте событий. Какая хитроумная причина, недоумевал я, могла вызвать столь доброжелательный жест? Не могла Софи подтолкнуть Натана к такому дружескому шагу, чтобы побудить его как-то загладить свое мерзкое поведение накануне? Или, может быть, он просто хочет этим чего-то добиться? К тому времени я уже достаточно узнал о Нью-Йорке и мог допустить мысль, что Натан своего рода сутенер, думающий лишь о весьма заурядной и общеизвестной вещи: где бы выудить деньги. (Это побудило меня проверить состояние четырех с небольшим сотен долларов, которые я спрятал в глубине шкафчика для лекарств, в коробочке из-под бинтов фирмы «Джонсон энд Джонсон». Клад – в десятках и двадцатках – был в целости, и я, по обыкновению шепотом, с любовью помянул моего благодетеля Артиста, все эти годы постепенно превращавшегося в земле Джорджии в прах.) Но мое подозрение выглядело маловероятным, ведь, по словам Морриса Финка, Натан – чрезвычайно состоятельный человек. Тем не менее все эти возможности крутились у меня в голове, пока я – не без опасений – готовился присоединиться к Софи и Натану. В действительности-то я считал, что мне надо остаться и поработать, попытаться выстроить какие-то слова на желтом зеве страницы – пусть даже это будут бессмысленные, разрозненные наброски. Но Софи и Натан, попросту говоря, взяли в кольцо осады мое воображение. Я думал лишь о том, как всего через несколько часов после ожесточеннейшей ссоры, какую я только в состоянии представить себе между влюбленными вне низкопробной итальянской оперы, эта пара могла ступить в полосу столь нежного потепления. Потом мне пришло в голову, что они оба, возможно, просто сумасшедшие или же, будучи, как Паоло и Франческа, отринуты обществом, встали на путь какого-то дикого, взаимного уничтожения.

Моррис Финк, с которым я столкнулся в холле, выходя из своей комнаты, был по обыкновению весьма словоохотлив, хотя его сведения и не слишком просветили меня. Пока мы с ним обменивались банальностями, я впервые услышал колокольный звон, далекий, но отчетливо доносившийся откуда-то со стороны Флэтбуш-авеню. Он сразу разбередил мне душу, напомнив о воскресеньях на Юге, и немного сбил с толку, поскольку у меня было твердое впечатление, что синагоги не имеют колоколен. Я на секунду прикрыл глаза, вслушиваясь в этот звон, опускавшийся на тишину, и представил себе хорошенькую кирпичную церквушку в маленьком городке Тайдуотер, благостную воскресную тишь, бодреньких христианских овечек, топающих на тоненьких ножках к пресвитерианскому жертвеннику с книжечками, в которых заключена история еврейского народа и иудейские догмы. Услышав разъяснения Морриса, я открыл глаза.

– Нет, это не синагога. Это голландская реформатская церковь на углу Черч- и Флэтбуш-авеню. Там у них звонят только по воскресеньям. Я иногда прохожу мимо, когда у них бывает служба. Или занятия в воскресной школе. Они там орут во всю свою чертову глотку: «Иисус, возлюби меня». И прочее дерьмо. А эти их голландские реформатки – черт-те что. Многие так выглядят, будто им нужно срочно сделать переливание крови... Или вспрыснуть горяченького. – Он пошловато хмыкнул. – А вот кладбище у них симпатичное. Летом там прохладно. Некоторые еврейские девчонки, которые побойчее, ходят туда по вечерам и лихо-таки проводят время.

– М-да, в Бруклине намешано всего понемножку, верно? – заметил я.

– Угу. Всех вероисповеданий. Евреи, ирландцы, итальянцы, голландские реформаты, черномазые, кого только нет. Столько черномазых сюда приперло после войны. В Уильямсберг, Браунсвилл, Бедфорд-Стайвесант – вот куда их несет. Чертовы обезьяны, иначе я их не называю. Ух, до чего же я ненавижу этих черномазых. Обезьяны! Брр! – Его передернуло, и он оскалил зубы, подражая, насколько я понял, обезьяньей гримасе. Как раз в этот момент из комнаты Софи потекли вниз по лестнице царственные, торжественные звуки сюиты «Музыка на воде» Генделя. И еле слышно донесся смех Натана.

– Как я понимаю, вы идете к Софи и Натану, – заметил Моррис.

Я признался, что, можно сказать, познакомился с ними.

– И как вам показался Натан? Вы еще не упали от удивления? – Тусклые глаза вдруг засветились, голос зазвучал заговорщически. – Знаете, кто он, по-моему? Голем – вот он кто. Настоящий голем.

– Голем? – сказал я. – А что такое голем?

– Ну, точно я объяснить не могу. Это по-еврейски... как же это называется?... ну, не то чтобы религиозное, а что-то вроде чудовища. Ясное дело – выдумка, вроде Франкенштейна, понимаете, только выдумал голема раввин. Он из глины или из какого-то там дерьма – только выглядит как человек. А управлять им никто не может. Я хочу сказать, бывает, Натан ведет себя как вполне нормальный, обычный нормальный человек. А на самом деле он вырвавшееся на волю чудовище. Вот что такое голем. Именно это я хочу сказать про Натана. Он ведет себя как этакий чертов голем.

Я смутно почувствовал что-то знакомое и попросил Морриса рассказать поподробнее.

– К примеру, сегодня утром – вы, ясное дело, по-моему, еще спали – вижу: Софи

заходит к Натану в комнату. Моя комната – она как раз напротив, и мне так все видно. Было это около половины восьмого или восьми. Я слышал, как они вчера ссорились, так что я знаю, что Натан так уехал. А теперь догадайтесь, что я вижу? А вижу я вот что. Софи плачет – тихо так, но плачет в три ручья. Заходит в комнату к Натану – дверь-то она оставляет открытой – и валится. Но угадайте – куда? На кровать? Нет! Прямо на чертов пол! И лежит на этом полу в ночной рубашке, свернувшись калачиком, – ну чисто младенец. Я смотрю на нее, может, десять, может, пятнадцать минут, а сам, ясное дело, думаю: с ума она сошла – лежит вот так у Натана в комнате, на полу, – и вдруг слышу: внизу на улице подъезжает машина, я так выглянул из окна, а там – Натан. Вы слышали, как он явился? Такой чертов шум поднял – топал, дверями хлопал, что-то бормотал себе под нос.

– Нет, не слышал, я крепко спал, – ответил я. – В моей воронке, как вы ее называете, звук, похоже, идет в основном вертикально. Прямо сверху. Что происходит в остальной части дома, я, слава богу, не слышу.

– Словом, Натан поднимается-таки наверх и идет к себе в комнату. Входит, а там Софи, свернувшись, лежит на полу. Он подходит к ней и останавливается – а она смотрит на него, – и вот что он ей говорит. Он говорит: «Убирайся отсюда, ты, шлюха!» Софи молчит – должно быть лежит-таки и плачет, а Натан говорит: «Вытряхивайся отсюда, шлюха, я уезжаю». Софи все молчит, и я слышу, она плачет, плачет, а потом Натан говорит: «Считаю, шлюха, до трех, и, если ты не встанешь и не уберешься отсюда с глаз моих долой, я тебе такого дам пинка, что ты у меня вылетишь кубарем». И он считает до трех, а она не двигается, и тогда он становится на карачки и давай изо всей силы лупить ее по лицу.

– Лежачую! – прервал я. Я уже начал жалеть, что Моррису приспичило мне это рассказывать. Под ложечкой поднялась тошнота – я против жестокости, и тем не менее я почувствовал неудержимое желание кинуться наверх и под звуки игривого бурре из «Музыки на воде» избавиться от этого голема, раскроив ему башку стулом. – Вы хотите сказать, он действительно ударил лежавшую девушку?

– Угу, не ударил, а бил по лицу. И сильно. По скулам ее, прямо по этим ее чертовым скулам.

– Почему же вы ничего не предприняли? – спросил я.

Моррис помедлил, откашлялся, затем сказал:

– Ну, если хотите знать, физически – я трус. Во мне пять футов пять дюймов, а этот Натан – он же большущий, мерзавец. Но одно я вам могу сказать. Я так

подумал – надо вызывать полицию. Софи ведь начала стонать: когда тебе такие зуботычины отвешивают, это, наверно, чертовски больно. Вот я и решил спуститься сюда и вызвать по телефону полицию. Только на мне ведь ничего не было – сплю я без одежды. Так что я подошел к стенному шкафу – накинуть халат и сунуть ноги в домашние туфли, – старался, само собой, побыстрее, ясно? Кто знает, думал я, он ведь может и пристукнуть ее. Проволынил я, должно быть, с минуту – никак не мог найти эти чертовы туфли. Потом подхожу снова к двери... Угадайте, что вижу?

– Понятия не имею.

– Все перевернулось. Все наоборот, ясно? Теперь Софи сидит на полу – ноги калачиком, а Натан распластался и лежит, упершись головой ей в живот. И не лижется с ней. А плачет! Уткнулся лицом ей в живот и плачет как младенец. А Софи гладит его черные волосы и шепчет: «Все в порядке, все в порядке...» И я слышу Натан говорит: «О господи, как я мог так с тобой поступить? Как я мог причинить тебе боль?» В общем, всякое такое. А потом: «Я же люблю тебя, Софи, люблю». А она только приговаривает: «Все в порядке» – и причмокивает, а он уткнулся носом ей в живот, плачет и все повторяет снова и снова: «Ох, Софи, я же так тебя люблю». Ах, меня таки чуть наизнанку не вывернуло.

– А потом что было?

– Больше я не выдержал. Когда они с этой патокой покончили и поднялись с пола, я пошел купил воскресную газету, сел в парке и читал целый час. Не было у меня желания ни с одним из них встречаться. Вы теперь понимаете, что я хотел сказать? Я хотел сказать... – Он помолчал, сверля меня глазами, проверяя, как я воспринимаю эту недобрую его маску. А я никак не воспринимал. Тогда он решительно произнес: – Таки он голем, если хотите знать мое мнение. Чертов голем.

Я пошел наверх, раздираемый противоречивыми чувствами, черным вихрем налетевшими на меня. Я твердил себе, что не надо связываться с этими ненормальными. Хотя Софи завладела моим воображением и я был совсем одинок, я был все же уверен, что глупо мне искать дружбы с этой парой. Я так считал не только потому, что боялся быть втянутым в эпицентр изменчивой, разрушительной дружбы, но и потому, что у меня, Язвины, были и другие дела – поважнее. Я поселился в Бруклине, чтобы, как выразился милый старина Фаррелл, «писать, пока все кишки не выверну наружу», а не играть роль третьего лишнего в мучительной мелодраме. Я решил сказать Софи и Натану, что все-таки не поеду с ними на Кони-Айленд, после чего я вежливо, но непреклонно выпровожу их из своей жизни, дав им достаточно ясно понять, что принадлежу к числу одиночек и не надо ко мне приставать – никогда.

Я постучал и вошел, как раз когда кончилась последняя пластинка и большой корабль под ликующие звуки фанфар скрылся за излучиной Темзы. Комната Софи сразу привела меня в восторг. Хотя я мгновенно замечаю все, что оскорбляет взор, я, однако, не обладаю большим вкусом или представлением об интерьере, здесь же я мог сказать, что Софи одержала своеобразную победу над неистребимым розовым цветом. Она не дала розовому запугать себя, а, сражаясь с ним, добавила оранжевых, зеленых и красных тонов – тут ярко-красная книжная полка, там абрикосовое покрывало, – и таким путем одолела вездесущий инфантильный цвет. Меня так и подмывало рассмеяться оттого, как она сумела из дурацкой флотской маскировки сделать нечто столь радостное и теплое. Были там еще и цветы. Они были всюду – нарциссы, тюльпаны, гладиолусы стояли в вазочках на столиках, были заткнуты за бра на стенах. В комнате пахло цветами, и, хотя их было много, не создавалось впечатления больничной палаты, наоборот, они казались просто праздничным украшением, идеально созвучным веселой атмосфере комнаты.



Тут я вдруг понял, что Софи и Натан в комнате нет. Не успел я удивиться, как услышал хихиканье и заметил, что китайская ширма в дальнем углу шевельнулась. И из-за этой ширмы, рука в руке, с одинаковыми сияющими, как в водевиле, улыбками, вышли, пританцовывая в тустепе, Софи и Натан в одежде фантастического кроя. Скорее даже в театральных

костюмах – настолько все на них было старомодное: на Натане двубортный костюм из серой фланели в белую, словно мелом проведенную полоску – такие ввел в моду лет пятнадцать тому назад принц Уэльский; на Софи – атласная, сливового цвета плиссированная юбка тех же времен, белый фланелевый жакет яхтсменки и берет цвета бургундского вина, надвинутый на лоб. Однако эти реликты не выглядели на них как с чужого плеча – вещи были явно дорогие и настолько хорошо сидели, что могли быть только сшиты на заказ. Я почувствовал себя прескверно в своей белой рубашке фирмы «Эрроу» с закатанными рукавами и в неопишуемых мешковатых штанах.

– Не смущайтесь, – сказал мне Натан немного позже, доставая из холодильника кварту пива, в то время как Софи выкладывала сыр и крекеры. – Не смущайтесь, что вы так одеты. Вы не должны чувствовать себя не в своей тарелке только потому, что мы вырядились. Просто такой у нас маленький бзик.

Я с удовольствием развалился в кресле, начисто утратив свою решимость покончить с нашим кратким знакомством. Что произвело во мне такой переворот, трудно объяснить. Думаю, несколько обстоятельств. Прелестная комната, неожиданные костюмы, точно из фарса, пиво, подчеркнуто теплое отношение Натана и его стремление исправить дело, губительное влияние Софи на мое душевное состояние – все это, вместе взятое, сломило мою волю. Так я снова оказался пешкой в их руках.

– Просто это у нас такое маленькое хобби, – продолжал пояснять Натан, перекрывая чистые звуки Вивальди или, вернее, прорезая их, в то время как Софи хлопотала на кухоньке. – Сегодня мы одеты по моде начала тридцатых. Но у нас есть костюмы двадцатых годов, периода первой мировой войны, бурных девяностых и даже более ранних времен. Само собой, мы так одеваемся только по воскресеньям или по праздникам, когда мы вместе.



– А на вас не таращатся? – спросил я. – И разве это не дорого – так одеваться?

– Безусловно таращатся, – сказал он. – Это-то как раз и забавно. Иногда – например, когда мы надеваем костюмы бурных девяностых – люди устраивают прямо-таки свалку. Ну а насчет дорого – не дороже обычных вещей. Есть один портной на Фултон-стрит, так он что угодно сошьет, была бы выкройка.

Я любезно кивнул. Хотя в этом маскараде и было что-то от эксгибиционизма, но в общем развлечение казалось вполне безобидным. Оба они, несомненно, производили поразительное впечатление, хотя и отличались разной красотой: он – по-восточному смуглый, она – золотисто-светлая, – и когда вышагивали рядом, то обращали на себя внимание, в чем бы ни были.

– Идея принадлежит Софи, – продолжал пояснять Натан, – и она оказалась права. Люди на улице одеты все так тускло. Все одинаковые – точно в униформе. А в такой манере одеваться есть индивидуальность, стиль. Потому и забавно, когда все таращатся на нас. – Он помолчал, наполнил мой стакан пивом. – Одежда – штука важная. Это одна из неотъемлемых принадлежностей человека. Так почему же она не должна быть красивой, такой, чтобы носить ее доставляло удовольствие. А заодно чтоб и другие, может быть, получали от этого

удовольствие. Правда, это уже не столь важно.

Ну, не только одежда делает человека, как я привык с детства слышать. Одежда. Красота. Человеческие качества. Станные рассуждения для того, кто еще недавно изрыгал всякую дичь и, если верить Моррису, причинял боль этому милому существу, что хлопотало сейчас в костюме Джинджер Роджерс из старого фильма, расставляя тарелки, пепельницы и сыр. Теперь же Натан был как нельзя более любезен и обаятелен. И, расслабившись, чувствуя, как пиво мягким теплом расходуется по телу, я признал, что в его словах есть логика. По сравнению с отвратительным единообразием в одежде, наступившим после войны, особенно в таком мужском заповеднике, как «Макгроу-Хилл», что могло быть свежее для глаза, чем нечто чуточку старомодное, немного эксцентричное? Натан снова предугадал (я говорю с позиции человека, все это уже пережившего) своеобразие облика того мира, которому предстояло наступить.

– Вы только взгляните на нее, – сказал он, – ничего, а? Вы когда-нибудь видели такую куколку? Эй, куколка, поди сюда.

– Я занята, неужели ты не видишь? – сказала Софи на бегу. – Режу fromage.[44]

– Эй! – Он пронзительно свистнул. – Эй, поди сюда! – И подмигнул мне. – Просто не могу ее не потискать.

Софи подошла и плюхнулась к нему на колени.

– Поцелуй меня, – сказал он.

– Один поцелуй – и все, – откликнулась она и чмокнула его в уголок рта. – Вот! Один поцелуй – больше не заслужил.

Она заерзала, стараясь сползти с его колен, а он, легонько укусив ее в ухо, лишь крепче обхватил за талию, и прелестное лицо ее засветилось так, что, клянусь, он словно повернул какой-то рычажок.

– Не могу не тискать тебя-я-я, – пропел он.

Как и многие другие, я смущаюсь, когда на людях проявляют любовь – или враждебность, что то же самое, особенно если я единственный зритель. Я сделал большой глоток пива и отвернулся – взгляд мой, конечно, сразу упал на широченную кровать, накрытую покрывалом прелестного абрикосового цвета, на которой происходило столь многое в жизни моих новых друзей и которая была чудовищным генератором моего болезненного состояния в последнее время. Возможно, приступ кашля выдал меня, или же, как я подозреваю, Софи почувствовала мое смущение – так или иначе, она спрыгнула с колен Натана со

словами:

– Хватит! Хватит, Натан Ландау. Больше нет поцелуев.

– Пойди сюда, – взмолился он, – ну еще один.

– Ни один, – мягко, но решительно сказала она. – Мы сейчас выпьем пива и съедим немного fromage, а потом все пойдем на метро и поедем обедать на Кони-Айленд.



– Ты обманщица, – произнес он подтрунивающим тоном. – Ты дразнилка. Ты хуже любой бруклинской енты.[45] – Он повернулся и с наигранно серьезным видом посмотрел на меня. – Что вы на это скажете, Стинго? Мне подкатывает под тридцать. Я до безумия влюбляюсь в польку, шиксу,[46] а она

держит свое сокровище от меня на замке, совсем как Шерли Мирмелстайн, которую я обхаживал целых пять лет. Что вы на это скажете? – И снова хитро подмигнул.

– Скверное дело, – в тон ему шутливо сказал я. – Это ведь своеобразный садизм.

Хотя, уверен, я ничем не выдал себя, но я был глубоко удивлен таким открытием: Софи, оказывается, не еврейка! Мне в общем-то это было безразлично, но все равно я удивился, и в моей реакции было что-то не очень хорошее и эгоистическое. Подобно Гулливеру среди гуингмов, я считал себя единственным в своем роде экземпляром в этом большом еврейском районе и был попросту ошарашен тем, что в доме Етты живут не только одни евреи. Значит, Софи – шикса? «А ну, повесь на рот замок», – все еще продолжая удивляться, подумал я.

Софи поставила перед нами тарелку, на которой лежали квадратики хлеба с маленькими золотистыми, как блики солнца, кружочками расплавленного, похожего на чеддер сыра. С пивом получалось просто объединение. Я начал оттаивать под влиянием товарищеской атмосферы, установившейся в нашей слегка подвыпившей маленькой компании, – так, наверно, чувствует себя гончая, когда выползет из холодной, неуютной тени на горячее послеполуденное солнце.

– Когда я впервые встретил вот эту, – сказал Натан, а Софи опустилась на ковер

рядом с его стулом и, довольная, ублагодаренная, прислонилась к его ноге, — это была кожа, кости и хвостик жиденьких волос. А произошла наша встреча уже через полтора года после того, как русские освободили лагерь, в котором она находилась. Сколько ты весила, лапочка?

— Тридцать восемь. Тридцать восемь кило.

— Угу, около восьмидесяти пяти фунтов. Можете себе представить? Это же была тень.

— А сколько вы сейчас весите, Софи? — спросил я.

— Ровно пятьдесят.

— Сто десять фунтов, — перевел Натан, — это все равно мало при ее телосложении и росте. Она должна весить около ста семнадцати, но она до этого дойдет... дойдет. Мы быстро превратим ее в большую, славную, отпоенную молоком американку. И он стал лениво, любовно перебирать выбившиеся из-под берета завитки ее желтых, как масло, волос. — Ох, какая же она была швабра, когда впервые попалась мне на глаза. Выпей пивка, лапочка. Глядишь — потолстеешь.

— Я была настоящая швабра, — вставила Софи наигранно веселым тоном. — Я выглядела как старая ведьма — ну, знаете, такая штука, которая птиц отпугивает. Чучело? У меня почти все волосы вылезли и ноги так много болели. У меня была scorbut...

— Цинга, — перевел Натан, — она хочет сказать, что у нее была цинга, которая прошла, как только русские взяли лагерь...

— Scorbut — то есть цинга — у меня была. Выпали все мои зубы! И тиф. И скарлатина. И анемия. Все, все было. Такая была настоящая швабра. — Она перечисляла болезни без всякой жалости к себе, но с каким-то детским старанием, словно перебирая названия любимых зверьков. — Потом я встретила Натана, и он взял заботу обо мне.

— Теоретически она была спасена, как только освободили лагерь, — пояснил Натан. — То есть смерть ей больше не грозила. Но потом она долгое время пробыла в лагере для перемещенных лиц. А там находились тысячи, десятки тысяч, и просто не хватало медикаментов, чтобы помочь всем, кому нацисты подорвали здоровье. Так что, когда она в прошлом году приехала сюда, в Америку, у нее все еще была достаточно сильная — я хочу сказать, действительно сильная — анемия. Я сразу понял.

— Как же вы сумели это понять? — спросил я, искренне заинтересовавшись его

познаниями.



Натан пояснил – кратко, ясно и с подкупающей, на мой взгляд, скромностью. Он, собственно, не доктор, сказал Натан. Он окончил Гарвард со степенью магистра по биологии клетки и эмбриологии. Он настолько преуспел в этой области, что «Пфайзер», одна из крупнейших фармацевтических фирм страны, базирующаяся в Бруклине, взяла его к себе научным

сотрудником. Таков, значит, его жизненный опыт. Он не утверждает, что обладает широкими или глубокими познаниями в медицине, и нет у него привычки непрофессионалов-любителей походя ставить диагнозы, однако он все-таки чему-то учился и достаточно сведущ в химических отклонениях и болезнях, от которых страдает человеческое тело, а потому, как только он впервые увидел Софи («эту лапочку», – прошептал он с великой заботой и нежностью, накручивая на палец ее локон), он догадался – с поразительной, как выяснилось, точностью, – что она такая худая из-за элементарной анемии.

– Я отвез ее к доктору, приятелю моего брата, который преподает в Пресвитерианской школе Колумбийского университета.[47] Он занимается болезнями, вызванными неправильным питанием. – В голосе Натана послышалась горделивая нотка, даже довольно приятная, ибо она указывала на покойную уверенность в себе. – Он сказал, что я попал в точку. Критический дефицит железа. Мы посадили крошку на массированные дозы сульфата железа, и она зацвела как роза. – Он помолчал и взглянул с высоты своего роста на нее. – Роза. Роза. Чертовски красивая роза. – И, проведя пальцами по своим губам, дотронулся до ее лба, как бы перенося поцелуй. – Бог ты мой, ты просто чудо, – прошептал он, – лучше не бывает.

Она подняла на него взгляд. Она была поразительно хороша, но казалась немного изнуренной, усталой. Я подумал о предшествующей ночи и океане горя. Софи слегка погладила его по запястью в голубых прожилках.

– Благодарю вас, господин старший научный сотрудник от фирмы «Чарльз Пфайзер», – сказала она. При этом я невольно подумал: «Господи, Софи, милочка, надо же кому-то научить тебя правильно говорить». – И благодарю вас, что вы сделали, чтобы я зацветала как роза, – через мгновение добавила она.

Тут я заметил, что Софи во многом подражает дикции Натана. Собственно, он ведь и учил ее говорить по-английски, что стало мне особенно ясно, когда он, словно дотошный, долготерпеливый преподаватель школы Берлица, принялся ее поправлять.

– Не зацветала, – пояснил он, – а зацвела. Тебе надо выучить совершенный и несовершенный виды глаголов. А это, видишь ли, дело нелегкое, так как в английском языке нет твердых непреложных правил. Приходится руководствоваться инстинктом.

– Инстинктом? – переспросила она.

– Надо слушать, и в конце концов инстинкт появится. Я приведу тебе пример. Можно сказать: «благодаря ему я зацвела как роза», но нельзя сказать: «из-за него я зацвела...» Хотя оба выражения имеют вроде бы одинаковый смысл. Просто это особенности языка, которым ты со временем научишься. – Он погладил ее ухо. – С помощью этого твоего хорошенького ушка.

– Ну и язык! – простонала она и словно в приступе головной боли схватилась за лоб. – Столько много слов. Например, слова для обозначения *velocite*. Это есть «быстрый». «Скорый». «Стремительный». И все одно и то же! Скандал!

– «Скоротечный», – добавил я.

– А как насчет «скоростной»? – сказал Натан.

– «Спешный», – вставил я.

– И «бегучий», – сказал Натан, – хотя это и звучит немного вычурно.

– «Молниеносный»! – сказал я.

– Прекратите! – рассмеялась Софи. – Слишком много! Так много слов в этом английском языке. Французский есть такой простой: «vite» – и все.

– Как насчет того, чтоб выпить еще пивка? – спросил меня Натан. – Прикончим вторую квартиру, а потом поедem на Кони-Айленд и – прямиком на пляж.

Я заметил, что сам Натан почти ничего не пил, но удивительно щедро угощал меня «Будвейзером», с неослабным вниманием следя за тем, чтобы мой стакан был полон. Что же до меня, то за это время я познал такое благодущие, такое искрящееся блаженство, что мне с трудом удавалось держать в узде собственную эйфорию. Это была настоящая экзальтация, яркая, как летнее солнце, – меня словно подхватили дружеские руки и держали любовно, бережно, нежно. Частично это, несомненно, объяснялось примитивным действием алкоголя, остальное было смесью элементов, составлявших то, что пору великого увлечения психоанализом я привык считать Gestalt:[48] божественная атмосфера солнечного июньского дня, вдохновенная торжественность рожденной рекою импровизации Генделя и эта веселая комнатка, в раскрытые окна которой плыли

ароматы весенних цветов, – все это преисполняло меня несказанными надеждами и уверенностью, вроде той, какую, помнится, я ощущал лишь дважды после двадцати двух или, скажем двадцати пяти, когда мне стало все чаще казаться, что только в припадке безумия я мог наметить для себя столь честолюбивую карьеру.

Главным же источником моего счастья было то, что я обрел нечто, считавшееся мною навсегда утраченным и ни разу мне не встретившееся за много месяцев пребывания в Нью-Йорке, – товарищескую среду, общение с друзьями и приятное времяпрепровождение. Я чувствовал, как с меня слетает хрупкая скорлупа отчуждения, которой я по доброй воле прикрылся, словно латами. До чего же замечательно, думал я, что мне довелось встретить Софи и Натана – таких теплых, ярких, веселых новых друзей, – и мне захотелось протянуть руки и обнять их обоих (по крайней мере так было в тот момент, несмотря на то что я отчаянно влюбился в Софи) в приступе сладчайшего чувства братства, к которому не примешивалось ничего плотского. «Старина Язвина, – сказал я себе и глупо осклабился, глядя на Софи, хотя, по сути, поднял стакан пенящегося «Будвейзера» за себя, – ты вернулся в страну живых».

– Salut,[49] Стинго! – сказала Софи, в свою очередь отхлебывая пиво из стакана, который Натан заставил ее взять, и серьезная, прелестная улыбка, которой она наградила меня – белоснежные зубы сверкнули на отмытом счастливом лице, которое еще бороздили тени лишений, – столь глубоко меня тронула, что я невольно чуть не поперхнулся от счастья. У меня было ощущение, что скоро я буду окончательно спасен.

Однако же, несмотря на прекрасное настроение, я не мог не чувствовать, что не все в порядке. Жуткая сцена, разыгравшаяся между Софи и Натаном накануне, должна была бы послужить мне предупреждением, что наш маленький товарищеский пикничок, исполненный смеха, непринужденности и даже легкой интимности, не вполне соответствовал статус-кво их отношений. Но я из тех, кто слишком часто и легко попадаетея на удочку внешней маскировки: я был способен мгновенно поверить, что происшедшая при мне отвратительная вспышка была досадным, но редким исключением и что на самом деле они шагают по розам в единении сердец. Объяснялось это, я полагаю, тем, что в глубине души я изголодался по дружбе и до того влюбился в Софи, был настолько заморожен этим динамичным, слегка инородным, порочно властным молодым человеком, ее *inamorato*,[50] что мог представлять себе их отношения лишь в самом розовом свете. И тем не менее, как я уже говорил, я чувствовал: что-то неладно. За всем этим весельем, нежностью, вниманием я ощущал в атмосфере комнаты не спадавшее напряжение. Я не хочу сказать, что в тот момент напряжение между двумя влюбленными действительно существовало. Но оно чувствовалось, действовало на нервы и исходило, казалось, главным

образом от Натана. Он стал рассеян, ему не сиделось на месте – он поднялся, перебрал пластинки, снял с комбайна Генделя и снова поставил Вивальди, в явном смятении духа залпом выпил стакан воды, сел и забарабанил пальцами по обтянутой брючиной ноге в такт знаменитым фанфарам.



Затем быстро повернулся ко мне, испытующе посмотрел беспокойным, мрачным взглядом и сказал:

– Значит, ты исконно деревенский, да? – И, помолчав, добавил с легкой наигранной гнусавостью, которая накануне довела меня до взрыва: – А знаешь, вы, конфедераты, интересуете меня. Вы все, – и он сделал упор на «все», – все очень, очень меня интересуете.

Я начал ощущать или испытывать, или претерпевать то, что, по-моему, называется медленным закипаньем. Нет, этот Натан просто невероятен! Как можно быть таким бестактным, таким бесчувственным – таким ублюдком! Моя эйфория улетучилась тысячью мыльных пузырьков. Какая свинья, подумал я. Он просто поймал меня в ловушку! Чем еще можно объяснить эту перемену в настроении, как не попыткой загнать меня в угол? Либо это бестактность, либо хитрость – как иначе истолковать его слова, когда я только что и весьма решительно заявил, что могу пойти на дружбу с ним – если это можно так назвать – лишь при условии, что он прекратит свои мерзкие выпады по адресу Юга. Возмущение снова поднялось во мне, как застрявшая в горле кость, тем не менее я в последний раз постарался проявить терпение. Подпустив кислорода в

мой тайдуотерский акцент, я сказал:

– А знаешь, Натан, старая ты кляча, вы, бруклинцы, тоже интересуете нас, коренных жителей Юга.

Эта фраза подействовала на Натана явно отрицательно. Он не только не рассмеялся – в глазах его вспыхнул воинственный блеск; он уставился на меня с нескончаемым недоверием, и я мог бы поклясться: в его сверкающих зрачках я на секунду увидел, что он смотрит на меня все равно как на извращенца, деревенщину, чужака, каким, по сути дела, я здесь и был.

– А, пошли вы подальше, – сказал я, приподнимаясь с кресла. – Я уйду...

Но не успел я поставить стакан на стол и встать, как Натан схватил меня за запястье. Не резко и не больно, но достаточно сильно и решительно, так что я вынужден был снова опуститься в кресло. Его пальцы держали меня с таким отчаянным упорством, что я сразу остыл.

– Едва ли это предмет для шуток, – сказал он. Голос его – хотя он, я чувствовал, сдерживался – звучал напряженно под влиянием kloкотавших страстей. Затем он произнес – намеренно до смешного медленно, словно заклинание: – Бобби... Уид... Бобби Уид! Ты что, считаешь, можно отмахнуться от Бобби Уида с помощью такой попытки... сослать?

– Не я начал говорить как сборщик хлопка, – возразил я. А сам подумал: «Бобби Уид! Вот беда! Теперь он сядет на Бобби Уида. Нет, надо сматываться отсюда».

В этот момент Софи, словно почувствовав зловещую перемену в настроении Натана, быстро подошла к нему и нервным, умиротворяющим жестом положила дрожащую руку ему на плечо.

– Натан, – сказала она, – не надо про Бобби Уида. Пожалуйста, Натан! Ты только расстроишься, а мы ведь так чудесно проводим время. – Она в отчаянии взглянула на меня. – Он всю неделю говорит про Бобби Уида. Я не могу его остановить. – И снова взмолилась, обращаясь к Натану: – Прошу тебя, милый, мы так чудесно проводим время!

Но Натана было уже невозможно совлечь с темы.

– Так как же насчет Бобби Уида? – спросил он меня.

– Что, ради всего святого, как? – стоном вырвалось у меня, и, резко поднявшись, я выдернул руку из его пальцев. При этом я посмотрел на дверь, прикидывая, как

обогнуть стоявшую между нею и мной мебель и быстрее до нее добраться. – Спасибо за пиво, – буркнул я.

– Я тебе сейчас скажу насчет Бобби Уида, – не отступался Натан. Он не собирался дать мне сорваться с крючка и, плеснув пенистого пива в стакан, сунул его мне в руку. Выражение его лица было все еще достаточно спокойным, внутреннее возбуждение прорывалось лишь в виде волосатого указательного пальца, которым он наставительно тыкал мне в лицо. – Я тебе кое-что скажу насчет Бобби Уида, друг мой Язвина. И это будет вот что! Надо вам, белым южанам, все-таки нести ответ за подобное скотство. Ты это отрицаешь? Тогда слушай. Я говорю как человек, чей народ страдал в лагерях смерти. Я говорю как человек, глубоко любящий женщину, которая выжила в них. – Он протянул руку и обхватил пальцами запястье Софи, одновременно указательным пальцем другой руки продолжая выписывать в воздухе закорючки у моей скулы. – Но главным образом я говорю как Натан Ландау, рядовой гражданин, биолог-исследователь, свидетель бесчеловечного отношения к человеку. И я говорю вот что: белые американцы-южане повели себя с Бобби Уидом так же варварски, как вели себя нацисты при Адольфе Гитлере! Ты со мной согласен?

Я прикусил себе щеку, чтобы сдержаться.

– То, что произошло с Бобби Уидом, Натан, – сказал я, – ужасно. Этому нет названия! Но я не понимаю, к чему ставить знак равенства между одним злом и другим или устанавливать какую-то дурацкую шкалу ценностей. И то и другое ужасно! Кстати, потрудись отвести палец от моего лица! – Я чувствовал, что лоб у меня покрылся испариной и горит. – И я, черт возьми, весьма сомневаюсь, что ты прав, забрасывая такую огромную сеть с целью поймать в нее, как ты изволишь выражаться, всех вас, белых южан. Вот на этот крючок, ей-богу, я не попадусь! Я южанин и горжусь этим, но я не принадлежу к числу тех свиней – тех троглодитов, которые разделились с Бобби Уидом! Я родился с Тайдуотере, в штате Виргиния, и, с твоего позволения, считаю себя джентльменом! А эта, с твоего позволения, упрощенческая чушь, которую ты несешь, это невежество, проявляемое человеком бесспорно умным, право же, вызывает у меня тошноту! – Я слышал, как повышается мой голос, дрожит, срывается – я уже не владел им, а кроме того, боялся, что на меня сейчас нападет новый отчаянный приступ кашля; тем временем Натан спокойно поднялся во весь рост, так что теперь мы стояли друг против друга. Хотя он угрожающе наклонился ко мне и превосходил меня ростом и весом, тем не менее у меня было сильное желание двинуть ему в челюсть. – А теперь, Натан, разреши сказать тебе кое-что. Это твое критиканство в стиле нью-йоркских либералов – просто лицемерное дерьмо самого дешевого толка! Кто дал тебе право судить миллионы людей, большинство которых скорее умрут, чем хоть пальцем тронут негра!

– Ха! – возразил он. – Вот видишь, это въелось даже в твою речь. Не-гра! Это же предельно оскорбительно.

– Но мы так говорим там. Никто и не думает никого оскорблять... Так или иначе, – нетерпеливо продолжал я, – кто дал тебе право нас судить? Я это нахожу оскорбительным.

– Я еврей и потому считаю себя авторитетом по части мук и страданий. – Он помолчал, и мне показалось, что я впервые увидел в его взгляде презрение и нарастающее отвращение. – Что же до этой попытки уйти от разговора с помощью таких эпитетов, как «нью-йоркские либералы» И «лицемерное дерьмо», то я считаю это слабым и бездоказательным ответом на честные обвинения. Неужели ты не способен понять простую правду? Неужели ты не способен увидеть правду во всей ее жути? Ведь твой отказ признать свою ответственность за смерть Бобби Уида ничем не отличается от поведения тех немцев, которые отреклись от нацистской партии и спокойно, молча взирали на то, как эти хулиганы громили синагоги И множили Kristallnacht.[51] Неужели ты не видишь, что ты такое? И что такое Юг? В конце концов, ведь не жители штата Нью-Йорк прикончили Бобби Уида.

Почти все, что он говорил – особенно насчет моей «ответственности», – было исполнено высокомерия, перекошено, нелогично и до ужаса неверно, однако, к моему величайшему огорчению, я обнаружил, что ничего не могу сказать ему в ответ. Я был мгновенно деморализован. Я издал какой-то чирикающий звук и на подгибающихся ногах не слишком изящно передвинулся к окну. Кипя от бессильной злобы и немоги, я тщетно пытался найти какие-то слова. Залпом осушил почти целый стакан пива и уставился затуманенным досадой взором на раскинувшиеся внизу пасторальные, залитые солнцем лужайки Флэтбуша, на шелестящие листвою платаны и клены, на красивые улицы, где, как всегда по воскресным утрам, не наблюдалось особого оживления: мужчины, сбросив пиджаки, играли в шары; шуршали, проносясь мимо, велосипеды; по тротуарам, испещренным пятнами, гуляли люди. Запах скошенной, сочной, зеленой травы щекотал мне ноздри сладкой свежестью, приводя на память сельские дали и просторы – поля и тропинки, наверно, почти такие же, как те, по которым бродил юный Бобби Уид, чье имя Натан врезал мне в мозг и оно пульсировало там открытой раной. При мысли о Бобби Уиде я почувствовал, как меня захлестывает горечь обессиливающего отчаяния. Ну как мог этот чертов Натан в такой дивный день вызвать к жизни тень Бобби Уида?

А за моей спиной звучал голос Натана, пронзительный, безапелляционный; я вспомнил, как однажды слушал на Юнион-сквере приземистого молодого коммуниста, который широко раскрывал рот, зиявший, словно рваный карман, и с жаром выкрикивал что-то в небесную пустоту.

– Южане сегодня лишили себя права называться частью человечества, – не оставлял меня в покое Натан. – Каждый белый южанин повинен в трагедии Бобби Уида. Все южане за это в ответе!

Я резко вздрогнул, рука у меня дернулась, и пивная пена окатила стенки стакана. Тысяча девятьсот сорок седьмой год. Один-девять-четыре-семь. В то лето – почти месяц в месяц за двадцать лет до того, как сгорел город Ньюарк и кровь негров окрасила в алый цвет стоки Детройта, – еще можно было (если ты родился на Юге и принадлежал к числу людей чувствительных, просвещенных и знающих свою страшную и противную Богу историю) страдать, когда тебя секли словами, даже если ты понимал, что они сильно пахивают возродившейся непогрешимостью аболициониста, приписывающего себе такое стерильно чистое моральное превосходство, какое может вызвать лишь снисходительный, но безрадостный смех. Южанам, отважившимся перебраться на Север, приходилось терпеть подобные обвинения в извечных грехах только потому, что раньше они жили на Юге, – правда, выражалось это в менее резкой форме, в виде завуалированных издевок и надменного злословия в гостиных; официально этот бесконечно трудный период окончился августовским утром 1963 года, когда на Норт-Уотер-стрит в Эдгартауне, штат Массачусетс, молоденькая, светленькая, пухленькая – с ямочками на коленях – супруга капитана яхт-клуба, известного банкира из родовитой семьи, потрясая книгой Джеймса Болдуина «В следующий раз – пожар», с отчаянием, сквозь зубы, заявила подруге: «Дорогая моя, так будет со всеми нами!»

Подобное высказывание тогда, в 1947 году, не могло показаться мне таким уж точным. В ту пору черный бегемот хоть и начинал шевелиться, но все еще дремал и не считался большой проблемой для Севера. Возможно, по этой самой причине – хотя, честно говоря, я готов был взорваться от непростительных оскорблений со стороны янки, выпадавших иной раз и на мою долю (даже добрый старина Фаррелл позволил себе несколько довольно едких выпадов по моему адресу), – я действительно чувствовал в глубине души бремя позора от принадлежности (хочешь не хочешь, приходилось это признать) к тем закоренелым недочеловекам-англосаксам, которые истязали Бобби Уида. По милости этих уроженцев джорджийской глубинки – обитателей, как выяснилось, того поросшего сосняком побережья близ Брансуика, где трудился, страдал и умер мой спаситель Артист, – шестнадцатилетний Бобби Уид стал одной из последних и, безусловно, наиболее запомнившихся жертв суда Линча на Юге. Ему приписали преступление, очень похожее на то, какое якобы совершил Артист, – настолько классическое, что, право же, это походило на гротесковое клише: он то ли паялился, то ли приставал, то ли подъезжал к простодушной дочери владельца придорожной лавчонки (какое он на самом деле нанес ей оскорбление, так до сих пор и не выяснено, хотя это было что-то близкое к насилию), звали девицу Лула – еще одно клише, но тут никакого подвоха:

несчастное заячье лицо Лулы смотрело насупясь со страниц шести столичных газет! – и оскорбленный папаша немедленно принял меры, призвав к самосуду.

Я читал об этой средневековой мести крестьян всего неделю тому назад, стоя в магазине, в центре Лексингтон-авеню, между невероятно толстой женщиной с пакетом от С. Клайн и маленьким пуэрториканцем в куртке водителя автобуса, лизавшим цветное мороженое на палочке и так насандалившим волосы бриллиантином, что сладковатый запах гардении бил мне в нос, пока он заглядывал в мой номер «Миррор», рассматривая вместе со мной помещенные там снимки, словно сделанные в аду. Еще живому, Бобби Уиду отрезали все его мужские принадлежности и засунули в рот (это не было запечатлено на пленке), а умирающему, но якобы все понимавшему, ему выжгли факелом на груди змееподобную букву «Л», означавшую – что? «Линч»? «Лула»? «Люби закон»? «Любовь»? Натан все еще продолжал с пеной у рта что-то мне доказывать, а я вспоминал, как, спотыкаясь, вышел из поезда метро, поднялся наверх, на яркий летний свет, заливавший Восемьдесят шестую улицу, где стоял запах венских колбасок, и лимонада «Джулиус», и нагретого металла вентиляционных решеток метро, и, точно слепой, прошел мимо кинотеатра, где показывали фильм Росселлини, который я приехал из своего далека смотреть. В тот день я не пошел в кино. Вместо этого я очутился на Грейши-сквере, что на набережной у реки, и стоял, уставясь будто в транс на изуродованные городом островки на реке, тщетно пытаюсь стереть из памяти изувеченного Бобби Уида и бормоча – казалось, бесконечно долго – строки из «Откровения Иоанна Богослова», заученные еще в детстве наизусть: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет...»[52] Возможно, такая реакция была чрезмерной, но... ах, господи, если даже и так, плакать я все равно не мог.

Голос Натана, продолжавшего меня донимать, снова проник в мое сознание.

– Послушай, даже в концентрационных лагерях хозяйничавшие там твари не опускались до такого скотства!

Опускались? Не опускались? Это едва ли имело значение, а я устал от споров, устал от фанатизма, которому не мог противостоять, от которого не мог укрыться, устал видеть перед собою Бобби Уида и – невзирая на чувство сопричастности к сотворенной в Джорджии мерзости – внезапно осознал, что устал от этого прошлого, этих мест и этого наследия, в которое не мог верить и которое не мог постичь. У меня возникло праздное желание – пусть ценою разбитого носа – выплеснуть остатки пива Натану в лицо. Я сдержался, до боли напрягши мышцы плеч, и произнес тоном ледяного презрения:

– Как человеку определенной национальности, которая на протяжении столетий

подвергалась несправедливым гонениям за то, что ее сыны якобы распяли Христа, вам – да, черт подери, вам! – следовало бы понимать, как непростительно осуждать за что бы то ни было любой народ! – И тут я в ярости выпалил такое, что для евреев в тот далекий смутный год, который отделяло всего несколько месяцев от крематориев, было жгучей обидой, так что я пожалел о сказанном, едва слова успели слететь с моих губ. Но я не взял их назад. – Любой народ, – сказал я, – ей-богу, даже немцев!

Натана передернуло, затем он еще больше покраснел, и я подумал, что вот сейчас мы наконец все скажем друг другу. Но в эту минуту появилась Софи в своем костюме для загородной прогулки, встала между нами и чудом вывела нас из безнадежной ситуации.

– Прекратите этот разговор сейчас же, – потребовала она. – Прекратите! Это есть слишком серьезно для воскресенья. – В ее манере была игривость, но я понимал, что она говорит дело. – Забудьте про Бобби Уида. Надо говорить про веселое. Надо ехать на Кони-Айленд и плавать, и кушать, и прекрасно проводить время! – Она резко повернулась к насупленному голему, и я с облегчением и удивлением увидел, как она быстро сбросила с себя роль затравленного, покорного существа и весело выступила против Натана, стараясь с помощью обаяния, красоты и живости добиться своего. – Ну что ты знаешь про концентрационные лагеря, Натан Ландау? Совсем ничего. Прекрати болтать про такие места. И прекрати кричать на Стинго. Прекрати кричать на Стинго про Бобби Уид. Хватит! Стинго не имеет ничего делать с Бобби Уид. Стинго есть человек милый. И ты есть милый, Натан Ландау, и *vraiment je t'adore*. [53]

Я заметил тем летом, что в определенных обстоятельствах, связанных с таинственными переменами в умонастроении и состоянии Натана, Софи каким-то чудом, словно алхимик, умела так воздействовать на него, что он мгновенно преображался – чудовище демагог становился принцем из «Золушки». Европейские женщины тоже часто верховодят своими мужьями, но делают это так обворожительно и искусно, как многим американкам и не снилось. Вот и Софи легонько чмокнула Натана в щеку и, разведя кончиками пальцев его протянутые руки, посмотрела на него оценивающим взглядом – и злость на меня, окрашивавшая багровым цветом его щеки, начала отступать.

– *Vraiment, je t'adore, cheri!* [54] – мягко произнесла она и, потянув его за запястье, весело запела: – На пляж! На пляж! Строить замки из песка!

И буря миновала, грозовые тучи умчались прочь, и хорошее настроение солнцем затопило яркую комнату, где похлопывали от порывов внезапно налетевшего из парка ветерка занавески. Мы двинулись к выходу, и Натан, несколько напоминавший в своем костюме из старого фильма «Ярмарка тщеславия»

модника игрока, обхватил своей длинной рукой меня за плечи и так искренне и достойно извинился передо мной, что я не мог не простить его основанных на суеверии оскорблений, его предвзятых и совершенно не по адресу направленных обвинений и прочих грехов.



– Старина Стинго, я просто осел, осел! – оглушительно проревел он мне в ухо. – Я вовсе не хочу быть шмоком,[55] но у меня появилась скверная привычка говорить людям все, что на ум придет, не считаясь с их чувствами. Я знаю, что не все на Юге так уж скверно. Вот что – я тебе дам обещание. Обещаю, что никогда больше не буду набрасываться на тебя из-за Юга! О’кей? Софи, ты свидетельница! – И, крепко стиснув меня, ероша мне волосы – пальцы его двигались по моему скальпу, точно месили тесто, а благородный, похожий на ятаган нос тыкался, словно эдакий большущий, дружелюбный терьер, в коралловые глубины моего уха, – он пустился разыгрывать из себя шута, как я мысленно это окрестил.

В самом веселом настроении шагали мы к метро – Софи шла между нами, взяв нас обоих под руку, – и Натан снова заговорил на языке землепашцев и скотоводов, который он с такой фантастической точностью воспроизводил; на этот раз не было ни сарказма, ни намерения уязвить меня, а от его певучести, способной провести уроженца Мемфиса или Мобила, я так и заходился смехом. Но дар Натана не сводился только к мимикрии – смешил он и своей поразительной изобретательностью. По-дурачки, точно у него распухли губы,

еле внятно произнося слова – я не раз слышал, как такие звуки вылетали из носоглотки наших селян, – он пускался в импровизации, столь немислимо забавные, столь точные и непристойные, что, от души веселясь, я совсем забыл: ведь он же подражает тем, кого всего несколько минут назад разил в своем безжалостном, вполне серьезном гневе. Я уверен, до Софи не доходили многие нюансы его представления, но, захваченная общим весельем, она вторила мне, наполняя Флэтбуш-авеню звонким безудержным смехом. Все это, как я смутно начал понимать, было своего рода благостным очищением после мерзкой и страшной бури, разразившейся, словно зловещая гроза, в комнате Софи. На протяжении полутора кварталов, заполненных веселой воскресной толпой, Натан разыгрывал перед нами представление по сценарию, действие которого могло бы разворачиваться в южных Аппалачах и где папа Йокум превращался в похотливого старика-фермера, жаждавшего овладеть собственной дочерью, которую Натан, вечно подходящий ко всему с позиции медика, окрестил Красноглазой. «Тебя когда-нибудь сосала девчонка с заячьей губой?» – очень громко, скрипучим голосом вопрошал Натан, вспугнув пару матрон хадасса, разглядывавших витрины и с мученическим видом быстро проскользнувших мимо нас, в то время как Натан, от души наслаждаясь, изображал теперь мамашу. «Опять ты трахал мою бесценную доченьку!» – чисто по-женски взвыл он, в точности передавая – вплоть до идеального воспроизведения фальцета – голос некой слабоумной, забытой Богом жены и жертвы супружества, истории и генов. Грязная комедия, которую разыгрывал Натан, столь же непередаваемая, как невозможно словами передать подлинное звучание музыкального пассажа, объяснялась неким трансцендентным отчаянием, хотя об этом я только начинал догадываться. А вот о чем я догадался, разражаясь диким хохотом, – это о своеобразном таланте Натана, подобие которого я имел возможность наблюдать через двадцать лет в буффонадах Ленни Брюса.

Поскольку уже перевалило далеко за полдень, Натан, Софи и я решили перенести на вечер наше «гастрономическое» пиршество в рыбном ресторане. А чтобы заморить червячка, мы купили в маленьком киоске чудесные длинные кошерные сосиски с кислой капустой и кока-колу и, забрав все это, сели в метро. В поезде, набитом изголодавшимися по пляжу ньюйоркцами, тащившими с собой большие надутые резиновые круги и орущих детей, мы ухитрились найти свободные места и, усевшись рядком и покачиваясь, принялись за нашу скромную, но вполне удобоваримую еду. Софи принялась сосредоточенно жевать сосиску, а Натан, спустившись с небес, решил, невзирая на грохот поезда, лучше познакомиться со мной. Весьма любезно, не настырно он расспрашивал меня, и я охотно отвечал на его вопросы. Что привело меня в Бруклин? Чем я занимаюсь? На что живу? Казалось, его одновременно и позабавило и поразило то, что я – писатель; что же до моих средств к существованию, то я уже готов был, перейдя на жаргон плантаторов, самым вкрадчивым тоном сказать ему нечто вроде: «Ну, понимаешь, был один такой ниггер – ниггер – у меня в рабах,

его продали...» А потом подумал, что Натан может решить, будто я над ним издеваюсь; тогда он снова заведется, а его монологи становились уже несколько утомительными, поэтому я лишь слабо усмехнулся и, окружая себя атмосферой тайны, произнес:

– У меня есть источник существования.

– Значит, ты писатель? – переспросил он, серьезно и с явным интересом. Помотав головой, словно не веря такому чуду, он перегнулся через Софи и схватил меня за локоть. И мне не показалось ни нелепым, ни слишком эмоциональным, когда он, буравя меня своими черными задумчивыми глазами, выкрикнул: – А знаешь, по-моему, мы станем большими друзьями!



– О, мы все станем большие друзья! – внезапно повторила за ним Софи. Лицо ее дивно засветилось, когда поезд из вызывающего клаустрофобию туннеля выскочил на солнечный свет и помчался по заболоченным приморским пустошам южного Бруклина. Щека Софи, разрумившаяся от удовольствия, была совсем рядом с моей, и, когда она снова подцепила меня и Натана под

руку, я, решив, что у нас уже установились достаточно добрые отношения, осторожно, двумя пальцами снял тоненькую ниточку кислой капусты с уголка ее рта. – О, мы станем наилучшие друзья! – трелью вывела она сквозь грохот поезда и крепко сжала мне руку повыше локтя – в этом жесте, безусловно, не было кокетства, но он означал нечто большее, чем... просто так. Назовем это поощрительным жестом человека, который, будучи крепко влюблен, хочет показать вновь обретенному другу свое доверие и расположение.

«Это, конечно, чертовски жалкий компромисс», – подумал я, имея в виду жестокую несправедливость судьбы, сделавшей Натана хранителем такого дивного сокровища, но лучше вкусная маленькая корочка, чем ничего. Я ответил Софи, сжав ее руку с неловкостью неразделенной любви, и в эту минуту почувствовал, что до боли хочу ее. Раньше Натан упомянул, что на Кони-Айленде обеспечит мне девушку, свою знакомую, «горячую штучку по имени Лесли»; что ж, придется ждать этого утешения, решил я, стойчески мирясь с тем, что вечно прихожу к финишу вторым, и прикрывая небрежно положенной на колени рукой вздутие, образовавшееся под габардином. Несмотря на эти огорчения, я попытался убедить себя – с далеко не полным успехом, – что я счастлив; во всяком случае, таким счастливым я, безусловно, никогда не был.

Словом, я готов был набраться терпения и ждать, какое благо выпадет на мою долю, что принесет мне воскресенье – в ряду других многообещающих дней наступающего лета. Я задремал. Меня воспламеняла близость Софи, ее голая, влажная рука рядом с моей, ее духи – их земной, волнующий аромат, травяной, слегка напоминающий запах тмина. Наверно, какое-то неизвестное польское растение. Уносимый приливной волной желаний, я увидел сон, в котором замелькали видения, возникавшие накануне в моем воображении, когда я слышал, что происходило наверху. Софи и Натан на абрикосовом покрывале. Эту картину я не мог выбросить из головы. И каскадом льющиеся слова, слова ярости и любви!

Затем эротика, окрашивавшая мой сон, потускнела, исчезла, и в моих ушах зазвенели другие слова, побудившие меня резко выпрямиться на сиденье. Неужели вчера, в какой-то момент, среди горячечной мольбы и громких требований, среди криков и сдавленного шепота и уговоров, я действительно слышал из уст Натана слова, которые, весь похолодев, вспомнил сейчас? Нет, понял я, это было позже, во время их, казалось, нескончаемой ссоры, когда его голос проник ко мне сквозь потолок, размеренно, с треском отдаваясь в ушах, словно стук кованых солдатских сапог, и он произнес тоном, который можно было бы счесть пародией на муки жизни, если бы в нем не звучало подлинного, неприкрытого ужаса: «Неужели... ты не видишь... Софи... мы... же... умираем! Умираем!»



Я вздрогнул всем телом, словно кто-то у меня за спиной распахнул среди зимы дверь и оттуда дохнуло просторами Арктики. Меня не посетило то, что можно было бы назвать высоким словом «предчувствие», – я просто весь покрылся потом, и день, вместе с хорошим настроением,

быстро померк; мне вдруг стало настолько не по себе, что отчаянно захотелось бежать, выскочить из поезда. Если бы в пылу владевших мною чувств я так и поступил – выпрыгнул бы из вагона на ближайшей остановке, примчался бы к Етте Зиммермен, упаковал чемоданы – и был таков, рассказ мой был бы о другом, а вернее – вообще нечего было бы рассказывать. Но я продолжал ехать в направлении Кони-Айленда, тем самым позволяя сбыться предсказанию Софи насчет нас троих – что мы станем «наилучшими друзьями».

Четвертое

– Когда я была маленькая, – рассказывала мне Софи, – мы жили в Кракове, в очень старом доме, на старой кривой улочке недалеко от университета. Это был очень древний дом – часть его, я уверена, была построена много веков назад. Знаешь, странно это – за всю свою жизнь я жила в настоящем доме только там да еще в доме Етты Зиммермен. Потому что, понимаешь, я там родилась и там росла и потом, когда вышла замуж, тоже там жила, только когда немцы пришли, я переехала и немного жила в Варшаве. Я обожала тот дом – мы жили высоко, на четвертом этаже, там было так тихо и тенисто, я была совсем маленькая, и у меня была своя комната. Через улицу, напротив, был другой старый дом с такими затейливыми печными трубами, и на них у аистов были гнезда. Я правильно сказала – аистов? Смешно, я всегда путала это слово: говорила вместо «аист» – «айва». В общем, я помню аистов на печной трубе напротив нашего дома, и они были совсем такие, как на картинках в моей книжке «Сказки братьев Гримм» – я ее читала по-немецки. Я помню очень, очень хорошо эти книжки – и какого они были цвета, и картинки животных, и птиц, и люди на обложке. Читать по-немецки я научилась раньше, чем по-польски, и, знаешь, я даже говорила по-немецки, а по-польски еще не умела, так что, когда я пошла в монастырскую школу, меня дразнили за мой немецкий акцент.

Знаешь, Краков – он очень древний город, и наш дом стоял недалеко от главной площади, там посередине такое красивое здание, которое есть построено в средние века: по-польски называется «Сукеннице», это по-моему, по-английски будет «Суконные ряды», там был рынок, где продавали всякие разные материи и ткани. А потом там есть башня с часами на церкви святой девы Марии, Мариакском костеле, очень высокая, и там нет колокола, но настоящие живые люди выходят на такую балюстраду, выходят и трубят каждый час. Ночью это очень красивый звук. Доносится как бы издалека и, знаешь, так печально – совсем как трубы в одной из сюит для оркестра Баха; я всегда в такие минуты думаю про древние времена и какая тайна есть время. Когда я была маленькая, я лежала в темноте в своей комнате и слушала, как цокают копыта лошадей на улице внизу – тогда в Польше ведь не было много автомобилей, – а когда уже совсем засыпала, слышала, как те люди трубят на башне очень печально и так издалека, и думала про время – какая это тайна. Или лежала и думала про часы. В прихожей у нас стояли очень старые часы на такой подставке – они принадлежали еще моим дедушке и бабушке, и один раз я открыла их сзади и заглянула внутрь, а они ходили, и я увидела столько много рычажков, и колесиков, и камней – по-моему, почти все были рубины, – и они так блестели на солнце. И вот ночью я лежала в постели и думала, будто я там, внутри – представляешь себе, такой глупый ребенок! – и будто я лежу, покачиваюсь на часовой пружине и смотрю, как двигаются рычажки, и вращаются колесики, и рубины горят, такие красные и яркие и большие, как моя голова. И потом я

наконец засыпала и видела во сне эти часы.



Ох, я столько много всего помню про Краков, столько много, не знаю, с чего и начать! Такие это были чудесные времена, эти годы между двумя войнами, даже для Польши, а ведь это есть бедная страна, и она, знаешь, очень много страдает от комплекс неполноценности. Натан думает, я преувеличиваю насчет того, как хорошо мы жили, – он столько много смешных историй рассказывает про Польша, – а я говорю ему про наша семья, про то, как чудесно, интеллигентно мы жили, право же, лучше просто нельзя. «А как вы развлекались по воскресеньям? – говорит мне Натан. – Бросали гнилую картошку в евреев?» Знаешь, он про Польшу только и считает, какие там все антисемиты, и разные шуточки про это выдумывает, а мне так больно. Потому что это правда – то есть все знают, что в Польша есть сильный антисемитизм, и мне от этого так ужасно стыдно – так же, как тебе, Язвинка, стыдно от этой *misere*[56] с этими вашими цветными на Юге. Но я говорила Натану, что да, это правда, истинная правда, такое скверное дело есть в Польше, но он же должен понимать... *vraiment*,[57] должен разуместь, что не весь польский народ такой, что есть там хорошие, приличные люди, как мои родители, которые... Ох, такая это мерзкая вещь – говорить не хочется. Мне грустно за Натана, он... это есть у него навязчивая идея, так что лучше, по-моему, переменить тему...

Да, так вот насчет моя семья. Мои мама и папа были оба профессора в университете, поэтому почти все мои воспоминания про университет. Это один из старейших университетов в Европе – занятия там начались очень давно, еще в четырнадцатый век. Я была профессорская дочь – другой жизни я не знала, и,

наверно, потому все мои воспоминания про то время такие приятные, интеллигентные. Надо тебе непременно поехать в Польша, Язвинка, увидеть ее и написать. Она такая есть красивая. И такая печальная. Представляешь, эти двадцать лет, пока я росла, только эти двадцать лет Польша была свободна. То есть столько веков была в рабстве! Наверно, потому я так часто слышала, как мой отец говорил: «Настали для Польши солнечные времена!» Потому что в университетах и школах, знаешь, впервые была полная свобода – можно было изучать что хочешь. И, наверно, то была одна из причин, почему люди получали так много радости от жизни – учились и набирались мудрости и слушали музыку, а весной и летом по воскресеньям выезжали за город. Иной раз мне, право, казалось, что я так много люблю музыку – почти как жизнь. Мы всегда ходили в концерты. Когда я была совсем маленькая, я лежала вечером в кровати в этом доме, этом старинном доме, и слушала, как мама играет внизу на рояле – она играла Шуман или Шопен, или Бетховен, или Скарлатти, или Бах, она была замечательная пианистка, – так вот я лежала и слушала, как музыка замирает, потом так красиво взлетает вверх, разносится по дому, и мне было так тепло и уютно, и спокойно. Я думала, ни у кого на свете нет таких чудесных папы и мамы и самая замечательная жизнь – у меня. И я думала про то, как я вырасту и кем стану, когда уже не буду ребенком, – возможно, выйду замуж и стану учительницей музыки, как моя мама. Это будет такая прекрасная жизнь, думала я, – играть дивную музыку, и преподавать, и иметь мужа, такого же хорошего профессора, как мой отец.



Прежде всего мои родители – оба не из Краков. Мама была из Лодзь, а папа из Люблин. Они познакомились в Вена, когда оба были там студенты. Мой папа

изучал право в Австрийской академии наук, а моя мама в Вене изучала музыку. Они оба были католики, очень религиозные, так что меня воспитали очень верующей, и я всегда ходила к мессе и в церковную школу, но это, знаешь, вовсе не значит, что я была фанатичка, чокнутая. Я очень много верила в бога, но мои мама и папа, знаешь, не были – как же это по-английски будет – *dur*... ах да, жесткие, непреклонные. Они были очень либеральные – даже можно сказать, почти социалисты – и всегда голосовали за рабочую партию или за демократов. Мой отец ненавидел Пилсудский. Он говорил, Пилсудский устроил в Польша такой террор, хуже, чем Гитлер, и в тот вечер, когда Пилсудский умер, выпил на радостях целый графин шнапса. Он был пацифист, мой папа, и, хоть он и говорил, что для Польши настали солнечные времена, я знала, что *au fond*[58] ему не весело и он волнуется. Как-то раз я услышала его разговор с мамой – это было, наверно, году в тридцать втором, – и я услышала, как он сказал этим своим невеселым голосом: «Право же, долго так не может продолжаться. Будет война. Судьба никогда не дарила Польше счастье надолго». Я помню, он произнес это по-немецки. В нашем доме говорили чаще на немецком, чем на польском. *Francais*[59] я выучила в школе и говорила почти безупречно, но еще легче мне было говорить по-немецки. Это, видишь ли, из-за Вены – ведь мои мама и папа столько много там прожили, ну а потом, папа был профессор права, а немецкий в ту пору был язык для ученых. Моя мама замечательно готовила по-венски. О, она готовила и несколько прекрасных польских блюд, но польскую кухню не совсем можно назвать *haute cuisine*,[60] я помню, какие блюда она готовила в этой большой кухне у нас в Кракове: *Wiener Gulaschsuppe* и *Schnitzel*,[61] а особенно я помню – ах! – этот удивительный десерт, который назывался меттернихский пудинг – в нем было столько много орехи, и масло, и апельсиновые корочки.

Я знаю, это, может, скучно, когда все время повторяю одно и то же, но мои мама и папа были чудесные люди. Знаешь, Натан сейчас о'кей, он есть спокойный, у него хорошее время – хороший период, так говорят? Но если у него плохое время – как в тот раз, когда ты впервые увидел его, – если на него налетает *tempête*,[62] как я это называю, он начинает на меня кричать и потом всегда называет меня антисемитка, польская свинья. Ох, какой у него язык и как он меня обзывает, такие говорит слова и на английском, и на идиш, и по-всякому – я таких никогда не слыхала! Но всегда одно и то же: «Ты – грязная польская свинья, несчастная нафка, курва, ты же убиваешь меня, убиваешь – все вы, грязные польские свиньи, всегда убивали евреев!» Я пытаюсь что-то ему сказать, но он не желает слушать – совсем с ума сходит от злости, и я всегда знаю: бесполезно в такое время говорить ему, что есть хорошие поляки, как, например, мой отец. Папа ведь родился в Люблине, когда еще город принадлежал русским, и там было много-много евреев, которые так много страдали от этих ужасных погромов. Как-то раз мама рассказала мне – потому что папа никогда не стал бы такое рассказывать, – что, когда он был молоденький, они с братом – а брат у

него был священник, – рискуя жизнью, спрятали у себя три еврейские семьи и спасли их от погрома, от казаков. Но я знала, скажи я Натану во время его *tempête*, он только еще больше станет на меня кричать и обзывать меня грязная свинья, польская врунья. Ох, в такие минуты мне надо быть так много терпеливой: я ведь знаю, Натан, тогда есть очень больной, он не в порядке, – и я просто отвернусь и молчу, а сама думаю о другом, жду, когда пройдет и он снова будет со мной такой добрый и такой милый, столько много в нем *tendresse*[63] и любви.

Наверно, лет десять назад – за год или за два до война – я первый раз услышала, как отец сказал – *Massenmord*.[64] Это было после того, как в газетах появились рассказы про то, как нацисты в Германии страшно разгромили синагоги и еврейские магазины. Помню, отец сначала что-то сказал про Люблин и какие он там видел погромы, а потом сказал: «Сначала шло с востока, теперь с запада. На этот раз это уже будет *Massenmord*. Я тогда до конца не поняла, что он хотел сказать, наверно, немножко потому, что в Кракове хоть и было гетто, но не так много евреев, как в другие места, и вообще я не считала, что они какие-то другие или что они есть жертвы или их преследуют. Я, наверно, очень мало знала, Язвинка. Я была тогда замужем за Казимеж – я ведь, знаешь, вышла замуж очень, очень молодая, и я, наверно, все еще была совсем девчонка и думала, что эта моя прекрасная жизнь, такая уютная, обеспеченная и спокойная, будет всегда такая. Мама и папа, и Казимеж, и Зося (Зося – это, знаешь, есть ласковое имя для Зофья, то есть Софи) – все будут так счастливо жить в большом доме, есть *Wiener Gulaschsuppe*, учиться и набираться знаний и слушать Баха – о, так будет всегда. Просто не понимаю, как я могла быть такая глупая. Казимеж был преподаватель математики, и я познакомилась с ним на вечеринке, которую моя мама и отец устроили для молодых преподавателей университета. Когда Казимеж и я – мы поженились, у нас были планы поехать в Вену, как мои мама и папа. Мы собирались, как они, учиться там. Казимеж – в Австрийской академии, чтоб получить степень *superieur*[65] по математике, а я – учиться музыке. Я играла на рояле с восьми или девяти лет и собиралась учиться у этой очень знаменитой учительницы, то есть фрау Тайман, которая учила еще мою маму и продолжала давать уроки, хоть и была совсем старенькая. Но в тот год пришел аншлюс, и немцы заняли Вену. Стало очень страшно, и мой отец сказал – наверняка начнется война.

Я так хорошо помню тот последний год, когда мы все вместе были в Кракове. Почему-то я еще не верила, что эта наша жизнь вместе когда-нибудь изменится. Я была такая счастливая с Казимеж – Казик, – и я так много его любила. Он был такой щедрый и ласковый и такой интеллигентный – понимаешь, Язвинка, меня интересуют только интеллигентные мужчины. Не могу сказать, я любила Казика больше, чем Натана, или нет – я люблю Натана столько много, даже сердцу больно, – наверно, и не надо сравнивать одну любовь с другой. Словом, я

любила Казик сильно-сильно, и мне просто невыносимо было думать, что война совсем близко и Казик может стать солдат. Так что мы это выкинули из головы и в тот год слушали концерты, и читали много книг, и ходили в театр, и подолгу гуляли по городу, и во время этих прогулок я начала учиться говорить по-русски. Казик ведь сначала жил в Брест-Литовске, который столько долго был русский, и он говорил на этом языке, как на польском, и совсем хорошо меня научил. Он был не как мой отец, который тоже жил при русских, но так много ненавидел их, что не желал говорить на этом языке, – пользовался им, только когда иначе нельзя. Словом, в то время я не желала думать, что эта наша жизнь кончится. Ну, я понимала, что будут перемены, но знаешь, перемены естественные – например, переезд из дома моих родителей, чтоб иметь свой дом и своя семья. Но это, я думала, случится после войны, если она будет, потому что война, наверное, будет очень короткая и немцев разгромят, и после этого Казик и я – мы скоро поедем в Вена и будем учиться, как все время собирались.

Я была такая глупая думать так, Язвинка. Совсем как мой дядя Станислав, который был брат моего отца и полковник польской кавалерии. Он был мой любимый дядя, такой был жизнерадостный, и так громко смеялся, и так чудесно, наивно считал Польша великая страна – *la gloire, tu comprends, la patrie, etcetera*, [66] – точно Польша никогда не была под пруссаками, и австрияками, и под русскими столько много лет, а имела *continuité*, [67] как Франция или Англия, или другие такие страны. Он приезжал к нам в Краков в своей форма, со своей сабля, и такие у него были гусарские усы, и разговаривал так очень громко, и много смеялся, и говорил, что немцы получают урок, если попытаются воевать с Польшей. Папа, по-моему, был всегда любезный с дядей – знаешь, старался под него подладиться, – но Казик, он имел такой прямой логический ум, и он по-дружески спорил с дядя Станислав и спрашивал, как это может конница одолеть немцев – у них же бронетранспортеры и танки. А мой дядя говорил, что главное тут местность: польская кавалерия умеет маневрировать на знакомой местности, а немцы совсем растеряются, потому что местность им незнакомая, и тогда польские войска заставят немцев повернуть назад. А что произошло, когда они столкнулись, сам знаешь: *une catastrophe totale* [68] меньше чем за три дня. Ох, это было все так глупо, столько много доблести – и все напрасно. Все эти люди и кони! Это есть так грустно, Язвинка, так грустно...

Когда немецкие солдаты вошли в Краков – это был сентябрь тридцать девятого года, – мы все были в шоке и боялись, и, конечно, это все было нам ненавистно, но мы держались спокойно и надеялись на лучшее. В самом деле, Язвинка, это было еще не так плохо – то есть вначале, – потому что мы верили, что немцы будут пристойно обращаться с нами. Они не бомбили наш город, как Варшаву, и потому мы считали, что к нам отношение немножко особенное, что нас оберегают, щадят. Германские солдаты имели очень хорошее поведение, и я помню, мой отец сказал: это подтверждает то, в чем он был давно уверен. То

есть что германский солдат воспитан в традициях старой Пруссии, где такой высокий кодекс чести и порядочности, так что солдаты никогда не причинят зло гражданским людям и не будут с ними жестокие. И потом, мы чувствовали себя спокойно, когда слышали, как эти тысячи солдат говорят по-немецки – ведь в нашей фамилии это был почти родной язык. Так что сначала у нас была паника, а потом все уже казалось не так плохо. Мой отец жестоко переживал то, что происходило в Варшаве, но он сказал: мы должны жить по-прежнему. Он сказал, у него нет иллюзий насчет того, что думает Гитлер про интеллигентов, но он сказал, что в других местах – например, в Вене или Праге – многие преподаватели в университетах продолжают работать, им это разрешили, и он думает, он и Казимеж тоже будут. А когда прошли недели, много недель и ничего не случилось, мы поняли, что на этот раз в Кракове все будет о'кей, то есть жить можно.

Как-то утром в тот ноябрь я пошла в церковь святой девы Марии – ту самую церковь, где, знаешь, трубачи играют. В Кракове я совсем часто ходила к мессе и много ходила, когда пришли немцы, – помолиться, чтоб война кончилась. Может, это покажется тебе, Язвинка, эгоистично и ужасно, но, по-моему, я главным образом молилась, чтоб война кончилась и я могла поехать с Казик в Вене учиться. Ох, натурально был миллион других причин, чтобы молиться, но люди, знаешь ли, они эгоисты, а я была такая счастливая, что мою семью не тронули, оставили в покое, так что я просто хотела, чтоб война кончилась и жизнь была как в старые времена. Но в то утро на месса, когда я молилась, у меня появилось... как это... да, *prémonition* – появилось предчувствие и медленно стал подниматься страх. Я не знала, о чем страх, но вдруг молитва стоит у меня в горле, и в церкви и вокруг меня как ветер пронесся, очень сырой и холодный. И тут я вспомнила – точно меня озарила яркая вспышка, – почему у меня страх. Потому что я вспомнила: новый нацистский генерал-губернатор, человек по имени Франк, велел всем преподавателям университета собраться в то утро на *cour de maison* – то есть, знаешь, университетский двор – и там им скажут новые правила работы во время оккупация. Это было так, ничто. Просто собраться. Они должны быть там утром. Папа и Казик узнали об этом только накануне, и выглядело это, знаешь, вполне нормально, никто об этом даже и не думал. Но теперь, когда меня озарила эта вспышка, я почувствовала: что-то очень, очень нехорошо – и выскочила на улицу.



И – ох, Язвинка! – теперь я могу тебе сказать: никогда больше я не видела ни мой отец, ни Казик, никогда. Я побежала – это было недалеко, – и, когда

добралась до университета, там у главных ворот во двор толпилось так очень много народа. Улица была закрыта для движения, и там стояли эти большущие немецкие фургоны и сотни и сотни немецких солдат с винтовками и пулеметами. И там был *barrière*, [69] и эти немецкие солдаты не пускали меня, и тут я увидела эту пожилую женщину, которую я хорошо знала – госпожа профессорша Вохна, ее муж преподавал *la chimie* – ну, знаешь: химия. Она была в истерике и плакала; она кинулась ко мне на грудь со словами: «Ох, их уже нет никого – всех увезли! Всех-всех!» А я не могла этому поверить, не могла поверить, но тут подошла жена еще одного преподавателя, и она тоже плакала, и она сказала: «Да, это правда. Их увезли, и моего мужа тоже увезли – профессор Смолен». И тогда я начала верить, и я увидела эти закрытые фургоны, которые ехали вниз по улице, на запад, и тут я совсем поверила и заплакала, и у меня тоже началась истерика. И я побежала домой и рассказала маме – мы с ней заплакали и обнялись. Мама сказала: «Зося, Зося, где же они? Куда их увезли?» И я сказала, что не знаю, а узнали мы только через месяц. Моего отца и Казик увезли в концентрационный лагерь Заксенхаузен, и мы узнали, что их обоих расстреляли в Новый год. Убили только за то, что они были поляки и профессора. Там было много преподаватели – по-моему, сто восемьдесят человек, и много из них тоже не вернулись. Скоро мы переехали в Варшава: мне нужно было найти работу...

Много лет потом – в сорок пятом году, когда война кончилась и я была в Швеции, в этом центре для перемещенных лиц, – я вспоминала о том времени, когда моего отца и Казик убили, и думала, сколько я тогда пролила слез, и удивлялась, почему после всего, что было со мной, я больше не могу плакать. И это правда, Язвинка, у меня не было никаких эмоций. Я ничего не чувствовала, точно у меня кончились все слезы. В этом лагере, в Швеции, я подружилась с одной еврейкой из Амстердам – она была со мной очень добрая, особенно после того, как я пыталась убить себя. Наверно, я не очень сильно пыталась – просто порезала себе запястье стеклом, и крови было не так много, но эта еврейка, которая была старше меня, очень со мной подружилась, и в то лето мы с ней много разговаривали. Она была в одном со мной концентрационном лагере и потеряла двух сестер. Я не понимаю, как она выжила, ведь там, знаешь, столько много поубивали евреев, миллионы и миллионы евреев, но она каким-то образом выжила, как и я, – таких нас было всего несколько человек. Кроме немецкого она говорила на очень хорошем английском – так я начала учить английский, потому что знала: скорей всего, я поеду в Америку.

Она была очень верующая, эта женщина; у них там была синагога, и она всегда ходила молиться. Она сказала мне, что очень много верит в бога, и один раз спросила, верю ли я тоже – в христианского Бога, – как она верит в своего бога, бога Авраама. Она сказала: после чуда, которое с ней случилось, она еще сильнее в него поверила, хотя она знает евреев, которые считают, что Бог ушел из этого мира. И я сказала ей: да, я тоже раньше верила в Христос и в Матерь

Божия, но теперь, после всех этих лет, я стала как те евреи, которые считают, что Бог ушел от нас навсегда. Я сказала, я знаю, что Христос отвернулся от меня, и я больше не могу молиться ему, как молилась раньше, в Кракове. Я не могла больше молиться ему, как не могла больше плакать. А когда она спросила меня, откуда я знаю, что Христос отвернулся от меня, я сказала – знаю, и все: только Бог, только Христос, у которого нет жалости и которому я глубоко безразлична, мог допустить, чтоб убили моих любимых, а я осталась жить с таким чувством вины. Ужасно уже и то, что они так умерли, а это чувство вины просто выше моих сил выносить. On peut souffrir,[70] но страдать столько – и не больше.

Возможно, тебе, Язвинка, это кажется совсем маленькая вещь, но это ужасно тяжело – знать, что кто-то умер без прощания – без adieu, без единого слова утешения или понимания. Я написала моему отцу и Казик в Заксенхаузен много писем, но они всегда приходили назад с пометкой «адресат неизвестен». Я только хотела сказать им, сколько много я их люблю, особенно Казик – не потому, что я любила его больше папы, а потому, что в последний раз, когда мы были вместе, мы сильно поссорились, и это было самое страшное. Мы почти никогда не имели ссор, но ведь мы были женаты больше три года, и, наверно, это естественно, когда люди иногда спорят. В общем, накануне того страшного дня мы очень поссорились – я уже не помню даже из-за чего, правда не помню, и я сказала ему: «Spradaj!», что на польском значит «пошел вон», и он выскочил из комнаты и в ту ночь спал в другая комната. И я после этого ни разу больше его не видела. Потому мне и было так тяжело – что мы расстались не по-ласковому, не поцеловались, не обнялись – ничего. Ох, я знаю, Казик знал, что я по-прежнему его любила, и я знала, что он тоже меня любит, но это только еще хуже, потому что он, наверно, тоже страдал оттого, что не мог сказать мне это, что мы не могли сообщить друг другу про наша любовь.

Вот так, Язвинка, я уже долго живу с этим очень, очень сильным чувством вины, от которого не могу избавиться, хоть и знаю, что для этого нет причины, как сказала мне та еврейка в Швеции, она все пыталась мне внушить, что главное – мы же любили друг друга, а не то, что так глупо поссорились. Но во мне все равно сидит это сильное чувство вины. Знаешь, Язвинка, странная вещь – я снова могу плакать, и это, наверно, значит, что я снова стала человек. Наверно, хоть это во мне – человеческое. Кусочек человека, а все-таки человек. Я часто плачу одна, когда слушаю музыку, которая напоминает мне про Краков и про те годы. И знаешь, есть одна музыкальная пьеса – я просто не могу слушать ее без слез: так много плачу, что у меня нос закладывает, я не могу дышать, а из глаз текут ручьи. Это пластинка Генделя, которую я купила на Рождество – «Я знаю, жив мой Искупитель», я плачу потому, что столько на мне вины, и еще потому, что знаю: мой Искупитель не жив и мое тело съедят черви, а мои глаза никогда уже не увидят Бога...

В ту пору, о которой я пишу, в то лихорадочное лето 1947 года, когда Софи многое рассказала мне о своем прошлом и когда мне суждено было попасть, подобно злополучному майскому жуку, в немыслимую паутину разнородных чувств, из которых сплетались отношения между нею и Натаном, она работала на неполной ставке в приемной доктора Хаймана Блэкстока (né[71] Бялысток) в дальнем конце Флэтбуш-авеню. К этому времени Софи находилась в Америке почти полтора года. Доктор Блэксток был хиропрактиком, давно приехавшим в Штаты из Польши. Среди его клиентов было много старых иммигрантов, а также евреев, недавно бежавших из Европы. Софи получила это место в начале прошлого года, вскоре после своего приезда в Нью-Йорк, куда ее привезла международная благотворительная организация. Сначала Блэксток (свободно владевший не только своим мамалашен[72] идиш, но и польским) огорчился, увидев, что агентство прислало ему молодую женщину из гоев, которая знала всего несколько слов на идиш, подхваченных в лагере. Но он был человеком доброй души, да к тому же на него, несомненно, произвела впечатление красота Софи, ее бедственное положение и безукоризненное знание немецкого языка, и он нанял ее, а она отчаянно нуждалась в работе, ибо ничего, кроме легкой одежды, выданной в центре для перемещенных лиц в Швеции, у нее не было. Блэксток мог не волноваться: через несколько дней Софи уже болтала с пациентами на идиш так, будто только что вышла из гетто. Получив место регистратора, она почти сразу сняла дешевую комнатку у Етты Зиммермен – это был ее первый за семь лет настоящий дом. Работала Софи всего три дня в неделю, что позволяло ей, образно говоря, удерживать душу в теле; в то же время наличие свободных дней давало ей возможность посещать бесплатные занятия в Бруклинском колледже, чтобы совершенствоваться в английском и



вообще попривыкнуть к жизни этого оживленного, большого и кипучего района.

Она сказала мне, что никогда не скучала. Она твердо решила забыть о безумии прошлого – в той мере, в какой легкоранимый, обуреваемый воспоминаниями мозг мог ей это позволить, – и огромный город стал для нее олицетворением Нового Света – и фактически, и в плане духовном. Она чувствовала, что физически еще не оправилась, но это не мешало ей получать удовольствие от того, что ее окружало, и она радовалась, как ребенок, которого привели в кафе-мороженое и разрешили брать что угодно. Прежде всего музыка: уже одно то, что можно вволю слушать музыку, сказала она, преисполняло все ее существо несказанным упоением – совсем как в предвкушении роскошного обеда. До встречи с Натаном ей не по средствам был патефон, но это не имело значения: она купила недорогой портативный приемничек и слушала дивную музыку, передаваемую всеми этими станциями со сложными сокращенными названиями, которые она никак не могла запомнить, а какие бархатные мужские голоса объявляли волшебные имена властителей и королей музыки, чьих творений она была так долго лишена; даже такие затасканные произведения, как Неоконченная симфония Шуберта или «Eine kleine Nachtmusik», [73] вновь преисполняли ее восторгом. Ну и конечно, были концерты – в Академии музыки, а летом на стадионе Льюисона в Манхэттене, – дивная музыка, и так дешево, почти даром; например, однажды вечером Иегуди Менухин исполнил на стадионе Концерт для скрипки Бетховена с такою дикой, неумейной страстью и нежностью, что, сидя одна, высоко, почти у края амфитеатра, дрожа от холода под сверкающими звездами, она почувствовала, как на нее нисходит успокоение, некая внутренняя умиротворенность, поразившая ее вместе с осознанием, что есть на свете вещи, ради которых стоит жить, и что она, если хоть немного повезет, сумеет, пожалуй, собрать воедино осколки своей жизни и, склеив их, стать новым существом.



Те первые месяцы Софи много времени проводила одна. Из-за трудностей с языком (вскоре преодоленных) она стеснялась говорить, но в любом случае радовалась, что подолгу бывает одна, даже наслаждалась одиночеством, ибо последние годы страдала от отсутствия

уединения. В те годы она была лишена и книг – всякой печатной продукции вообще – и теперь начала жадно читать: подписалась на американскую газету для поляков и частенько заглядывала в польский книжный магазин недалеко от Фултон-стрит, при котором была большая библиотека, где давали книги на дом. Ее интересовали главным образом переводы американских писателей, и она вспомнила, что первой книгой, которую она прочитала, был «Манхэттен» Дос Пассоса. За этим последовали: «Прощай оружие!», [74] «Американская

трагедия»[75] и «О времени и о реке» Вулфа – последняя книга была так плохо переведена на польский, что Софи поневоле нарушила клятву, которую дала себе в лагере, закаявшись до конца жизни читать что-либо, написанное по-немецки, и прочла немецкий перевод, который сумела достать в филиале публичной библиотеки. Возможно, потому, что перевод оказался хорошим и сочным, или потому, что лирическое, трагическое и в то же время жизнеутверждающее, широкое видение Вулфом Америки было тем, что в тот момент требовалось душе Софи – она ведь была новичком на этих берегах и имела лишь весьма рудиментарное представление о природе страны и ее поистине гаргантюанских излишествах, – роман Вулфа показался ей наиболее интересным из всех книг, какие она прочла в ту зиму и весну. Вообще Вулф настолько завладел ее воображением, что она попыталась прочесть «Взгляни на дом свой, Ангел» по-английски, но быстро отказалась от своей затеи, обнаружив, сколь непосильная это задача. Язык наш нелегок для начинающего – его причудливая орфография и своеобразие стиля выглядят особенно нелепо на печатной странице, а умение Софи читать и писать всегда отставало от ее речи, пестревшей очаровательными, на мой взгляд, ошибками.

Все ее знакомство с Америкой сводилось к Нью-Йорку – главным образом к Бруклину, – и со временем она полюбила этот город, но в не меньшей степени и страшилась его. В своей жизни она знала всего два города: маленький Краков, дремлющий в своей готике, и позже – бесформенную грудку щебня, какой была Варшава после блицкрига. Наиболее сладостные воспоминания – те, что ей хотелось перебирать, – были связаны с ее родным городом, застывшим на века во фризе из старинных кровель, кривых улочек и переулков. Годы между Краковом и Бруклином вынудили Софи – в общем-то чтобы сохранить рассудок – постараться вычеркнуть из памяти то время. Она, к примеру, рассказывала, что в первые дни жизни в меблированных комнатах Етты, проснувшись утром в незнакомой постели, среди странных розовых стен, вслушивалась сквозь дрему в грохот транспорта, слабо доносившийся с далекой Черч-авсню, и долгие секунды не могла ни вспомнить свое имя, ни понять, кто она и где находится, – ей казалось, что она заснула зачарованным сном, точно героиня сказок братьев Гримм, которые она читала в детстве, и за ночь перенеслась в новое, неведомое королевство. Затем, похлопав глазами, она окончательно просыпалась со странной смесью грусти и радости и говорила себе: «Ты не в Кракове, Зося, ты в Америке». И вставала, готовясь к встрече с толпами в метро и с больными доктора Блэкстока. А также с прекрасным, зеленым, и уродливым, и закопченным, и кишащим как муравейник, и непостижимым, огромным Бруклином.

С наступлением весны Проспект-парк, находившийся совсем рядом, стал для Софи излюбленным пристанищем – приятно вспомнить, что в те дни это было вполне безопасное место, где красавица блондинка могла гулять одна. В легкой

дымке от летящей пыльцы, испещренной золотыми пятнышками света, пробивающегося сквозь листву, стояли на полянах и среди высокой травы огромные рожковые деревья и вязы, готовые приютить под своей сенью *fête champêtre*[76] Ватто или Фрагонара, и вот под одним из таких величественных деревьев располагалась Софи в свои свободные дни или в конце недели и устраивала чудесный завтрак-пикник. Она потом призналась мне – не без легкого стыда, – что, приехав в Нью-Йорк, буквально помешалась на еде, совсем перестала владеть собой. А она знала, что есть должна осторожно. Доктор из шведского Красного Креста, лечивший ее в центре для перемещенных лиц, сказал, что столь сильное недоедание, по всей вероятности, вызвало более или менее стабильные и серьезные изменения в ее обмене веществ; он предупредил Софи, что надо есть не спеша и понемногу, особенно жиры, сколь бы ни был силен соблазн. Но это лишь превратило для нее еду в удовольствие, в своего рода игру, когда она в обеденное время по дороге в Проспект-парк заходила в один из великолепных гастрономических магазинов на Флэтбуш-авеню и выбирала себе закуску. Сам этот процесс уже рождал в ней до боли сладостное чувство. Еды было так много, такое обилие и разнообразие, что у Софи всякий раз перехватывало дыхание, глаза от волнения застилали слезы, и она медленно, тщательно и серьезно принималась выбирать из этого ароматного, пышного, грандиозного изобилия вот это маринованное яйцо, вон тот кусок салями, половинку черного ржаного хлеба с чудесной блестящей корочкой. Сосиски. Несколько сардин. Кусочек острой копченой говядины. Копченой семги. Сдобную булочку, пожалуйста. Крепко держа пакет из бурой бумаги, повторяя про себя как литанию: «Помни, что сказал доктор Бергстрем: не наваливаться на еду», она направлялась по обыкновению в один из дальних уголков парка или к заболоченному концу большого озера и там, осторожно пережевывая пищу, как бы заново вкушая ее, открывала 350-ю страницу «Стадса Лонигена».[77]

Софи нащупывала свой путь в жизни. Пережив во всех смыслах слова новое рождение, она чувствовала известную усталость и, вообще-то говоря, немалую беспомощность – была как новорожденная. Она шагала по жизни, точно паралитик, заново учащийся ходить. Разные мелочи, всякая дурацкая ерунда еще ставили ее в тупик. Она не могла застегнуть молнию, когда ей выдали куртку: забыла, что надо соединить две полы. Собственная бестолковость потрясала ее: однажды она даже расплакалась, когда, желая выдавить лосьон из обычного тюбика, нажала, не раздумывая, с такой силой, что содержимое вылетело на нее и, обрызгав с ног до головы, испортило ей новое платье. Но дело налаживалось. Порою, правда, у нее начинали болеть кости, особенно колени и лодыжки, и ступала она еще как-то нерешительно, что, видимо, было связано с депрессией и усталостью, нередко нападавшими на нее, – она отчаянно надеялась, что со временем это пройдет. Но хоть Софи и не цвела будто маков цвет, как принято говорить о пышущих здоровьем людях, она уже находилась на вполне безопасном расстоянии от черной бездны, в которую едва не сверзилась. А ведь

лишь немногим более года тому назад, в только что освобожденном лагере, в последние часы той жизни, о которое она не разрешала себе больше вспоминать, некий голос – низкий баритон, но резкий и такой хриплый, будто горло было обожжено кислотой, проник в ее бред, и, лежа в лихорадке и поту на грязных досках, накрытых жесткой соломой, она услышала, как он бесстрастно произнес по-русски: «По-моему, этой тоже каюк». И тем не менее даже тогда она знала, что ей не каюк – это подтверждалось сейчас, с облегчением говорила она себе (лежа на траве у озера), робкими, однако сладострастными позывами голода, предшествовавшими той блаженной минуте, когда она, поднося еду ко рту, вдыхала пряный аромат маринада и горчицы, и риса с тмином по-еврейски, купленного у Леви.

Но однажды утром, в июне, хрупкое равновесие, которого ей удалось достигнуть, чуть не нарушилось – и притом трагически. Одним из ее отрицательных впечатлений от города было метро. Она ненавидела нью-йорскую подземку за грязь и грохот поездов, но еще больше за вызывавшую клаустрофобию тесноту, когда в часы пик столько человеческих тел втискивается в вагоны, сдавливая друг друга и сводя на нет, если вообще не уничтожая, всякую возможность уединения, которого она так давно жаждала. Она понимала, что подобная реакция – подобная брезгливость, отвращение, вызываемое соприкосновением с чужой кожей, – противоречит всему, через что она прошла. Но так было, она не могла от этого избавиться, это стало частью ее нового, преобразовавшегося естества. В кишевшем людьми шведском центре для беженцев она твердо решила до конца жизни избегать скопления людей – тряские поезда подземки надсмелялись над этой абсурдной мыслью. Как-то ранним вечером, возвращаясь домой из приемной доктора Блэкстока, она попала в вагон, набитый больше обычного, – жаркий сырой вагон, заполненный, как всегда, толпою потных бруклинцев, этих трудяг всех видов и степеней покорности своей доле, в рубашках и открытых платьях, к которым на очередной остановке в центре добавилась шумная группа мальчишек-старшекласников с причиндалами для бейсбола; они принялись грубо и бесшабашно, с такой силой протискиваться внутрь, что давка стала почти невыносимой. Упругие, как резина, торсы и липкие от пота руки безжалостно затолкали Софи в конец вагона; споткнувшись, она перешагнула порожек и очутилась на сырой и темной площадке, соединяющей два вагона, крепко зажата между двумя человеческими существами, которых она – без всякой задней мысли – попыталась разглядеть; в этот момент поезд, вздрогнув, со скрежетом медленно остановился, и свет потух. Софи затошнило от страха. По вагону прокатилось сокрушенное «ох» и легкие вздохи огорчения, почти сразу потонувшие в ликующем хриплом «ура» мальчишек, столь оглушительном и протяжном, что Софи зажата в беспросветной тьме, почувствовав, как чья-то рука лезет сзади ей под юбку, в мгновение ока поняла: кричи не кричи, никто не услышит. Единственным маленьким утешением, потом рассудила она, было то, что она не впала в панику,

а это вполне могло произойти, учитывая тесноту, удушающую жару и стоящий в темноте поезд метро. Она, возможно, даже завздохала бы, как остальные. Но рука с напряженным средним пальцем, орудовавшим с поистине хирургическим умением и поспешностью, до невероятия по-хозяйски искавшим дорогу и, наконец, проникшим, избавила ее от паники, преисполнив возмущения и ужаса, какой охватывает человека, неожиданно подвергшегося насилию. Ибо это было именно так – не случайная неловкая попытка пощупать, а самое настоящее – назовем вещи своими именами – вторжение во влагалище, которое палец парня, как некий злоумышленник, нашел и воткнулся на всю свою длину, вызвав боль, но в еще большей степени – состояние загипнотизированного изумления.

До сознания смутно дошло – чьи-то ногти царапают ее, и она услышала собственный голос: «Пожалуйста, не надо» – и тотчас поняла всю банальность, всю глупость своих слов. Это продолжалось не более тридцати секунд, и наконец мерзкая лапа отодвинулась; Софи стояла дрожа в удушливой тьме, которую, казалось, никогда больше не рассеет свет. Она понятия не имела, сколько прошло времени, пока не вспыхнули лампы, – пять, может быть, десять минут, – но, когда свет зажегся и поезд тронулся, качнув людей, Софи поняла, что так никогда и не узнает своего обидчика среди этой полудюжины мужских спин, и широких плеч, и торчащих животов. На ближайшей остановке она чудом выскочила из поезда.

Подвергшись она обычному грубому изнасилованию, думала потом Софи, это бы не сломило ее духа и самоуважения, не преисполнило бы такого омерзения и ужаса. Зверства, которые она наблюдала последние пять лет, издевательства, через которые ей самой пришлось пройти – а она превыше всякой меры познала и то и другое, – не притупили ее чувств, и она остро переживала такое надругательство над собой. Будь это классическим изнасилованием в открытую, она – при всей омерзительности этого акта – испытывала бы по крайней мере небольшое удовлетворение оттого, что знает в лицо своего обидчика, и он знал бы, что она его знает, не говоря уже о том, что она могла бы гримасой, или иозмущенным взглядом, или даже слезами выразить хоть что-то – ненависть, страх, желание предать проклятию, отвращение, быть может, даже вызов. А этот анонимный наскок в темноте был все равно что удар ножом в спину, нанесенный бессовестным грабителем, который так навсегда и останется тебе неизвестным... То, что произошло с Софи, было само по себе достаточно омерзительно, однако в другой период своей жизни она могла бы перенести это более стойчески. А сейчас отчаяние, в которое повергла ее эта история, нарушило хрупкое равновесие, лишь недавно обретенное ее психикой, ибо это осквернение ее души (а она считала, что наряду с осквернением тела произошло и осквернение души) не только отбросило ее назад, в кошмар, из которого она медленно и осторожно стремилась выбраться, но и по своей преднамеренной жестокости было как бы проявлением самой сути этого кошмарного мира.

Она, столь долгое время чувствовавшая себя в буквальном смысле голой, незащищенной и за эти несколько месяцев в Бруклине так старательно пытавшаяся прикрыться былой броней уверенности и здравомыслия, сейчас поняла, что эта история снова лишила ее всех покровов. И она в очередной раз ощутила, как в душу заползает леденящий холод. Ничем не мотивируя своей просьбы – и не рассказав никому, даже Етте Зиммермен, о том, что произошло, – она попросила доктора Блэкстока отпустить ее на неделю и слегла. День за днем, в самую душистую пору лета, лежала она в постели за приспущенными жалюзи, сквозь которые в комнату проникали лишь тоненькие желтые полосы света. Она не включала радио. Ела мало, ничего не читала и вставала, только чтобы подогреть себе чай на плитке. В полумраке затененной комнаты она слышала удары клюшкой по мячу и крики мальчишек на бейсбольных площадках парка, дремала, а потом вспоминала, как она девчушкой представляла себе, что вот заберется в напольные часы и, улегшись, словно во чреве, на стальной пружине, станет на ней качаться и разглядывать рычаги, рубины, колесики. И всегда где-то на краю сознания грозно маячила вполне определенная тень – видение лагеря, само название которого она почти исключила из своего лексикона и редко употребляла или думала о нем, ибо знала, что стоит дать лагерю завладеть ее воспоминаниями – и жизнь кончена, иначе говоря, придется с ней распрощаться. Если лагерь снова завладеет ею, как это уже было в Швеции, достанет ли у нее сил противостоять искушению, или же она опять схватит что-нибудь острое, и уж на сей раз не оплошает? Этот вопрос часами занимал ее, пока она лежала тогда в своей комнате, уставясь в удручающе розовый потолок, по которому плыли, точно мелкие рыбешки, проникавшие снаружи полосы света.

По счастью, ее и на этот раз, как уже бывало, спасла музыка. На пятый или шестой день – Софи помнила только, что была суббота, – она проснулась после муторной ночи, полной страшных сумбурных снов, и, протянув как бы по привычке руку, включила маленький приемник «Зенит», стоявший у нее на ночном столике. Это был жест бессознательный, чисто рефлекторный: в эти дни тяжелой депрессии она отгородилась от музыки, чувствуя, что ей не вынести контраста между абстрактной, однако же безмерной красотой музыки и своим до боли осязаемым отчаянием. Но, сама того не ведая, она, видимо, способна была воспринять таинственную, исцеляющую силу В. А. Моцарта, этого величайшего лекаря, ибо первые же такты великой *Sinfonia Concertante*[78] ми-бемоль мажор вызвали у нее дрожь неподдельного восторга. И внезапно она поняла, почему, почему эта звучная, благородная, утверждающая музыка, полная своеобразных, вызывающих трепет диссонансов, наполнила ее чувством облегчения и радостью узнавания. Это было не только произведение непреходящей прелести, – оно несло в себе то, что она искала десять лет. Она чуть с ума не сошла тогда, в Кракове, приблизительно за год до аншлюса, когда к ним приезжал струнный ансамбль из Вены. Она сидела в концертном зале и словно в трансе слушала это совсем новое для нее произведение, широко распахнув навстречу дивным,

переплетающимся, журчащим мелодиям, перемежаемым резкими, бесконечно вдохновенными диссонансами, все окна и двери своей души. В пору своей юности, когда она непрестанно открывала для себя сокровища музыки, это было сокровище дивное, как будто только что отлитое. Однако она никогда больше не слышала этой вещи, ибо, как и все прочее, *Sinfonia Concertante*, и Моцарта, и этот сладостный жалобный диалог между скрипкой и виолой с включением флейты и струнных, и басовитых валторн – все унес ветер войны, оставив в Польше голую пустыню, где царили зло и разрушения, так что само понятие музыки выглядело нелепым излишеством.

Словом, за годы хаоса, проведенные Софи в разбомбленной Варшаве и потом – в лагере, это произведение выветрилось из ее памяти, даже название под конец смешалось с названиями других вещей, которые она знала и любила в давно прошедшие времена, и от всего этого осталось лишь смутное, но дивное воспоминание о минутах неповторимого блаженства, пережитых в Кракове, в другую эпоху. Но в то утро, когда у нее в комнате из пластмассового горла дешевенького приемничка весело зазвучали фанфары, сердце у Софи стремительно забилося, и она резко села в постели, чувствуя, как непривычно раздвигаются губы в улыбке. Не одну минуту просидела так Софи, застыв, слушая, улыбаясь, словно зачарованная, возвращая себе, казалось, невозвратимое, и горе ее постепенно начало таять. Затем музыка кончилась, и Софи тщательно записав название произведения, объявленное диктором, подошла к окну и подняла жалюзи. Глядя на бейсбольную площадку на краю парка, она поймала себя на мысли о том, сумеет ли когда-нибудь накопить денег,



чтобы купить патефон и пластинку с *Sinfonia Concertante*, и тут поняла: раз у нее появилась такая мысль, значит, она выбирается из мрака.

Но при этом она сознавала, что ей предстоит еще долгий путь. Музыка оживила ее душу, но погружение во мрак привело к тому, что она ослабла и потеряла силы. Инстинкт подсказывал – это потому, что она так мало ела, чуть не морила себя голодом; все равно она не могла себе объяснить потерю аппетита, усталость, острые боли в ногах, – это ее пугало, а в особенности неожиданно начавшаяся менструация, на много дней опередившая сроки и обильная, словно кровотечение. «А не может так быть, – подумала Софи, – что это последствие

случившегося в метро?» На другой день, выйдя на работу, она решила попросить доктора Блэкстока осмотреть ее и порекомендовать курс лечения. Софи достаточно разбиралась в медицине и понимала всю нелепость своего обращения к хиропрактику, но с предубеждением против его профессии пришлось покончить, раз она получила у него столь необходимую работу. Во всяком случае, она знала, что он практикует вполне легально и что из множества больных, проходящих через его кабинет (в том числе – немало полицейских), некоторым, во всяком случае, казалось, помогли его манипуляции – все эти растяжки, и разминки, и круговые движения, и прочие хитрости, которые он проделывал с больными в святая святых своего кабинета. Главное же, он был одним из немногих, кого она знала достаточно хорошо, чтобы обратиться за советом. Таким образом, не только скромное жалование, а еще и это обстоятельство привязывало ее к нему. А потом, за это время у нее возникла к доктору известная симпатия – она подсмеивалась над ним и мирилась с его недостатками.

Блэксток, крупный, интересный мужчина с благородными залысинами, пятидесяти с лишним лет, был из тех отмеченных богом людей, кому судьба дала возможность выбраться из бедного каменного штетла[79] в находившейся под Россией Польше и приобщиться к радостям жизни, какие может дать в Америке материальный успех. Великий модник, чей гардероб изобилдовал расшитыми жилетами, и широкими, как шарф, галстуками, и гвоздиками в петлицу, большой говорун и рассказчик (главным образом анекдотов на идиш), он, казалось, купался в лучах оптимизма и доброго юмора и сам буквально излучал свет. Вкрадчивый соблазнитель, обожавший дарить безделушки и оказывать услуги, он любил демонстрировать перед пациентами, перед Софи, перед любым зрителем всевозможные занятные трюки и ловкость рук. В этот тяжкий и мучительный для Софи переходный период ее вполне могла привести в ужас его неиссякаемая, бьющая через край веселость, пошловатые шутки и затеи, но за всем этим она видела лишь такое поистине детское желание нравиться, что она просто не в состоянии была возмущаться, а кроме того, Блэксток, несмотря на вполне определенный характер своего юмора, был первым, кому за многие годы удалось ее рассмешить.

Он был поразительно откровенен насчет своего благоденствия. Пожалуй, только бесконечно добродушный человек мог без конца перечислять выпавшие на его долю земные блага и при этом не выглядеть одиозно, а он на своем гортанном гибриде английского и идиш, в котором, как уже различала Софи, преобладал бруклинский акцент, способен был сказать: «Доход – сорок тысяч долларов в год без учета налога; дом стоимостью в семьдесят пять тысяч долларов в самой элегантной части Сент-Олбенс, в Куинсе, не заложенный, весь выстланный мокетом, ярко освещенный; три машины, в том числе «кадиллак» модели «Флитвуд», оборудованный всем, чем только можно, и тридцатидвухфутовый

«Крис-Крэфт», в котором можно удобно разместить на ночь шесть человек. Добавьте к этому замечательную, прелестную жену, какую только может послать господь Бог. И все это у меня – в прошлом голодного еврейского парня, несчастливого неббиша, который высадился на Эллис-Айленде с пятью долларами в кармане, не зная здесь ни одной живой души. Ну, скажите! Скажите мне, почему я не должен чувствовать себя самым счастливым человеком на свете? Почему мне не веселить людей, чтобы они тоже радовались, как я?» «В самом деле, почему – нет?» – подумала Софи, возвращаясь однажды зимой вместе с Блэкстоком в «кадиллаке» из его дома в Сент-Олбенс на работу.

Она ездила помочь ему разобрать бумаги в домашнем кабинете и там впервые увидела жену доктора – пышногрудую крашеную блондинку по имени Сильвия, которая вышла к ней в аляповатых, широких, как у турчанки – исполнительницы танца живота, шелковых шароварах и показала потом свой дом – первый американский дом, в который попала Софи. Воздушные занавеси из органди и обтянутая ситцем мебель поблескивали в этом лабиринте, где среди бела дня царил багровый полумрак мавзолея; розовые купидоны склабились со стен, глядя вниз, на красный, как пожарная машина, рояль; ручки мягких кресел блестели под чехлами из прозрачного пластика, а у фарфоровой ванны были черные краны. Затем, уже в «кадиллаке» с большущей монограммой «Х. Б.» на передних дверцах, Софи в изумлении увидела, как доктор снял трубку телефона, лишь недавно установленного в порядке эксперимента для связи с несколькими избранными клиентами, и воспользовался этим непревзойденным средством общения для излияний в любви. Впоследствии Софи вспоминала этот разговор – во всяком случае, то, что говорил доктор, когда соединился со своим обиталищем в Сент-Олбенс. «Сильвия, лапочка, это Хайми. Ты слышишь меня хорошо – громко, ясно? Я люблю тебя, милая ты моя кисонька. Целую, целую, детка. «Флитвуд» едет сейчас по Либерти-авеню, как раз проезжаем кладбище Бейсайд. Я тебя обожаю, детка. Целую мою детку. (Чмок, чмок!) Через несколько минут позвоню еще, сладость моя.» И немного спустя: «Сильвия, детка, это Хайми. Я тебя обожаю, моя кисонька. «Флитвуд» сейчас у перекрестка – там, где Платановый бульвар пересекает Ютика-авеню. Такая пробка – просто ужас! Целую тебя, моя детка. (Чмок, чмок!) Шлю тебе много-много поцелуйчиков. Что? Ты говоришь, хочешь поехать в Нью-Йорк, походить по магазинам? Купи что-нибудь красивое из одежды для Хайми, сладкая моя красавица. Я тебя люблю, моя детка. Ох, детка, совсем забыл: возьми «крайслер». У «бьюика» испорчен насос. Все, точка, милая моя кисонька.» И, взглянув на Софи, погладил трубку и добавил: «Потрясающее средство общения!» Блэксток был по-настоящему счастлив. Он обожал Сильвию больше жизни. Только одно обстоятельство, признался он однажды Софи, мешает ему быть безусловно счастливейшим человеком на земле – то, что у него нет детей...

Как станет со временем ясно (а это весьма существенно для данного

повествования), Софи в то лето немало от меня скрывала. Возможно, она просто кое-что опускала – не могла об этом говорить, чтобы не растерять спокойствия. Или чтобы не лишиться рассудка. Я, несомненно, не виню Софи, ибо сейчас, задним числом, ее неправда выглядит вполне понятной, не требующей извинений. Пассаж о ее детстве и юности в Кракове, например монолог, который я попытался передать столь точно, сколь мог припомнить, был в основном, я теперь уверен, правдив. Но, как со временем выяснится, в нем есть два-три существенных искажения, равно как и несколько важных лакун. Собственно, перечитывая большую часть написанного, я обнаружил, что Софи солгала мне буквально через несколько минут после того, как мы впервые увидели друг друга. Это было после той страшной ссоры с Натаном, когда она, подняв на меня исполненный отчаяния взгляд, заявила, что Натан «единственный мужчина, с которым я, кроме мужа, спала». Хотя это не столь уж и важно, но она сказала неправду (много позже она призналась мне в этом, заметив, что, когда нацисты убили ее мужа – что было правдой, – у нее был любовник в Варшаве), и я указываю на это не из пуристского стремления к абсолютной достоверности, а чтобы подчеркнуть, что Софи не отличалась распушенностью. Отсюда ясно, что ей непросто было сказать Блэкстоку о своем недомогании, которое, как она считала, было следствием изнасилования в метро.

Она вся внутренне съеживалась при одной мысли о необходимости поведать эту тайну – даже Блэкстоку, профессионалу и к тому же человеку, которому, она знала, можно довериться. То, что с ней произошло, было настолько мерзко, что даже после двадцати месяцев пребывания в лагере – с его повседневным нечеловеческим унижением и незащищенностью – она не чувствовала себя столь запятнанной. В самом деле она чувствовала себя сейчас даже более беспомощной и запятнанной, потому что считала Бруклин «безопасным» местом; чувство стыда усугублялось в ней и тем, что она была католичка, и полька, и дитя своего времени и своей страны – иными словами, была молодой женщиной, воспитанной в пуританской строгости и считавшей, подобно любой девушке-баптистке из Алабамы, всякую половую связь табу. (Надо было появиться в ее жизни Натану, скажет она мне позже, Натану с его свободомыслием и страстным жизнелюбием, чтобы в ней разыграл эротизм, о существовании которого она и не подозревала.) К засевшему в ней чувству стыда примешивалось и то, что она подверглась такому необычному, мягко говоря, гротескному способу изнасилования, – словом, ее смущению при мысли о том, как она все это расскажет Блэкстоку, не было конца.

Однако в следующую свою поездку в «кадиллаке» Софи по пути в Сент-Олбенс сначала сухо и деловито сообщила Блэкстоку о своем беспокойстве по поводу здоровья – о слабости, ломоте в ногах и кровотечении, а потом почти шепотом рассказала об эпизоде в метро. И, как она и предполагала, Блэксток не сразу понял то, что она ему говорила. Тогда заикаясь, давась словами, что лишь много

спустя показалось ей комичным, Софи дала ему понять, что – нет, акт был совершен не обычным путем. Хотя это и было не менее мерзко и унижительно.

– Да неужели вы не понимаете, доктор? – прошептала она уже по-английски. Это же еще более мерзко из-за того, как все происходило, сказала она теперь уже в слезах, – если он, конечно, в состоянии представить себе, что она имеет в виду.

– Вы хотите сказать, – прервал ее Блэксток, – пальцем?... Не пальцем же он... – И деликатно умолк, ибо в вопросах секса Блэксток был очень деликатен. И когда Софи снова подтвердила ему то, что уже сказала, он посмотрел на нее с состраданием и с необычной для него горечью прошептал: «Ох-вей, ну какой же фарштинкенер[80] этот мир».

В результате Блэксток признал, что пережитое ею насилие – при всем его своеобразии – вполне могло вызвать появившиеся у нее болезненные явления, в особенности сильное кровотечение. Если же говорить о диагнозе, то он установил, что полученная ею травма повлекла за собой небольшое смещение крестцового позвонка, которое нельзя игнорировать, ибо это повлекло за собой давление либо на пятый поясничный, либо на первый крестцовый нерв, а возможно, и на оба сразу; во всяком случае этим вполне можно объяснить и потерю аппетита, и усталость, и боли в костях, на которые она жалуется, а кровотечение венчает все эти симптомы. Ей явно необходимо пройти курс позвоночной терапии, чтобы привести в порядок нервную систему и вернуть себе, как выразился доктор (достаточно живописно даже для неискушенного уха Софи), «все полноцветие здоровья». Две недели полечиться методом хиропрактики, заверил он ее, – и она будет как новенькая. Она стала ему совсем как родная, признался он, и он не возьмет с нее ни пенни. И, стремясь совсем уж ее развеселить, он настоял, чтобы она посмотрела его новый фокус: он взметнул вверх руки с букетом разноцветных шелковых платочков, и они исчезли в воздухе, а через мгновение уже вытягивал изо рта нитку с висевшими на ней флажками Объединенных Наций. Софи каким-то образом сумела выдавить из себя одобрителный смешок, но она была в таком отчаянии, так плохо себя

чувствовала, что ей казалось – она сейчас сойдет с ума.



Рассказывая как-то о том, при каких обстоятельствах он познакомился с Софи, Натан заметил, что это было «точно в кино». Он хотел этим сказать, что они познакомились не как большинство людей, которые

сталкиваются, вращаясь в одном кругу, учась в одной школе, на совместной работе или потому, что живут рядом, – они встретились удивительно и случайно, подобно романтическим незнакомцам из голливудских сказок, будущим любовникам, чьи судьбы неразрывно сплетаются после первой же пробежавшей во время случайного знакомства искры: Джон Гарфилд и Лана Тэрнер, были, к примеру, тотчас обречены, как только встретились взглядом в придорожном кафе; или взять более забавный случай, когда Уильям Пауэлл и Кэрол Ломбард стукнулись лбами, ползая на коленях по ювелирному магазину в поисках закатившегося брильянта. Софи же приписывала слияние их дальнейших путей просто тому, что ей не помогла хиропрактика. А ведь могло быть так, иной раз думала потом она, что манипуляции доктора Блэкстока и его молодого помощника доктора Сеймура Катца (приходившего после работы, чтобы помочь справиться с огромным потоком страждущих) подействовали бы; могло быть так, что цепь событий, развязанных пальцем вандала в метро и повлиявших на позвоночник, с последующим ущемлением пятого поясничного нерва и лечением методом хиропрактики, завершилась бы – после двухнедельных стараний Блэкстока и Катца, мнявших, растягивавших и простукивавших ее измученную спину, – не подтверждением того, что этот метод лечения химера, а полным триумфом, вернувшим ей радость и здоровье.

Исцелись тогда Софи, и она, несомненно, никогда не встретилась бы с Натаном. Но вся беда была в том, что после интенсивного лечения она чувствовала себя только хуже. Настолько плохо, что, пересилив нежелание обидеть Блэкстока, сказала ему: ни один из симптомов не прошел, а, наоборот, приступы стали сильнее и неотступнее.

– Но, милая моя девочка, – воскликнул Блэксток, покачивая головой, – вы должны почувствовать себя лучше!

Прошли целые две недели, и, когда Софи весьма осторожно заметила Блэкстоку, что ей, пожалуй, следует показаться настоящему врачу-диагносту, тот пришел чуть ли не в ярость – она еще ни разу не видела этого поистине патологически добродушного человека в таком состоянии.

– Значит, вам понадобился дипломированный медик! Модный газлин[81] с Паркового Спуска, который оберет вас до нитки! Дорогая моя, в таком случае лучше уж идите к ветеринару!

И он предложил, к отчаянию Софи, полечить ее электросенсилатором – недавно выпущенным, сложным на вид прибором, похожим на маленький холодильник со множеством проводов и присосок; этот аппарат, который должен был перестроить молекулярную структуру клеток ее позвоночника, Блэксток только что приобрел («за хорошенькие денежки», – сказал он, пополнив тем самым

запас ее английских идиом) в международном центре хиропрактики где-то и Огайо или Айове – она вечно путала эти штаты.

Утром того дня, когда Софи предстояло отдать себя в объятия этого жуткого электросенсилятора, она проснулась на редкость усталой и больной, чувствуя себя намного хуже, чем когда-либо. В этот день ей не надо было идти на работу и она продремала до полудня. Она отчетливо помнила, что в лихорадочном полусне, из которого тем утром никак не могла выбраться, в событиях, происходивших в далеком Кракове, сначала нелепо и бессмысленно участвовал улыбчивый доктор Блэксток, который вдруг принимался мять ее, как глину, своими руками, а потом с загадочной неизменностью возникал отец. Неулыбчивый, суровый, в крахмальном стоячем воротничке, профессорских очках с овальными, без оправы стеклами и черном шерстяном костюме, пропахшем сигарным дымом, он поучал ее по-немецки, с запомнившимся ей с детства напыщенным упорством; он словно бы предупреждал ее о чем-то – его тревожила ее болезнь? – но всякий раз, как она, точно ныряльщица, выбиралась на поверхность сна, слова отца, будто пузырьки воздуха, улетали из ее памяти и перед мысленным взором оставался лишь тускнеющий облик человека, не способного утешить и сурового, даже почему-то грозного. Наконец – главным образом чтобы избавиться от этого назойливого видения – она заставила себя вылезти из постели и увидела, что за окном стоит пышный и прекрасный летний день. Она еле держалась на ногах и опять-таки совсем не хотела есть. Она уже давно обратила внимание на свою бледность, но в то утро, взглянув в зеркало над умывальником, поистине ужаснулась, чуть ли не пришла в панику: в лице ее не было ни кровинки – словно один из тех выбеленных временем черепов, какие она видела в подземной усыпальнице древних монахов в одной итальянской церкви.

Зимний холод пробежал по ее костям, от пальцев рук – таких тощих, вдруг заметила она, и бескровных – до ледяных ног, и Софи крепко зажмурилась в полной уверенности, что умирает. И она поняла, как называется ее болезнь. «У меня лейкемия, – подумала она, – я умираю от лейкемии, как мой кузен Тадеуш, и все лечение доктора Блэкстока лишь милосердная маскировка. Он знает, что я умираю, и все его врачевание просто для видимости». У Софи началась истерика, в которой горе мешалось со смехом: какая ирония судьбы – умереть от незаметно подкравшегося, необъяснимого недуга после всех болезней, которые она перенесла, и после всего, что она бесчисленное множество раз видела, познала и вынесла. К этой мысли добавилась другая, вполне логическая, хотя и мучительная, вызывавшая отчаяние мысль, что такой конец, быть может, выбран самим ее телом, которое она не сумела уничтожить своей рукой.



Однако ей все же удалось каким-то образом совладать с собой и отогнать мрачные мысли в самый дальний уголок мозга. Немного отстранясь от зеркала, она, словно Нарцисс, уловила знакомый проблеск своей красоты, упорно сохранявшейся под бескровной маской, и на время почувствовала себя уютнее. В тот день у Софи были занятия по английскому в Бруклинском колледже, и, чтобы подкрепить силы перед страшившей ее поездкой в метро и самими занятиями, она заставила себя поест. Тошнота волнами подступала к горлу, но Софи знала, что должна съесть и яйца, и бекон, и булку, и обезжиренное молоко – все, что она рассеянно поставила на стол в полутемной тесной кухоньке. И пока она ела, у нее родилась мысль – в какой-то мере навеянная симфонией Малера, которую как раз передавали в послеполуденном концерте по радио. Суровые аккорды в середине *Andante* почему-то привели Софи на память замечательное стихотворение, которое несколько дней тому назад, по окончании очередных занятий английским, прочел ей преподаватель, мистер Янгстин, как называли его ученики, пылкий толстяк, терпеливый и добросовестный студент последнего курса. Должно быть, благодаря знанию других языков Софи намного опережала остальных, с трудом постигавших науку учащихся – это была разношерстная языковая группа, основную массу которой, правда, составляли беженцы из всех разоренных уголков Европы, говорившие на идиш; успехи, которые делала Софи, бесспорно, привлекли к ней внимание мистера Янгстина, хотя едва ли Софи настолько не знала себе цену, чтобы не понимать, что само ее физическое присутствие не могло не смущать молодого человека.

Восторженный и застенчивый, он был явно покорен ею, но не делал никаких авансов – только всякий раз, запинаясь, предлагал немного задержаться после занятий, чтобы он мог почитать ей «репрезентативную американскую поэзию»,

как он это называл. Читал он взволнованно, медленно, нараспев – из Уитмена, По, Фроста и других поэтов, хрипло и немзыкально, но отчетливо произнося слова, а она старательно слушала, нередко глубоко тронутая этой поэзией, порою вносившей любопытные новые оттенки в значение знакомых слов, и неуклюжим, неуверенным ухаживанием мистера Янгстина, умоляюще смотревшего на нее, точно фавн, сквозь чудовищно толстые стекла очков. Ее одновременно грело и огорчало это чувство неопытного юнца, выражавшееся лишь взглядами, – отклик в ней находила только поэзия, ибо мистеру Янгстину было лет двадцать, значит, он был по крайней мере лет на десять моложе ее и к тому же не отличался привлекательностью: глаза у него смотрели в разные стороны и он был невероятно толстый. Но он искренне, глубоко любил американскую поэзию и стремился донести ее до слушателей – Софи особенно пленили завораживающие строки одного стихотворения, которое начиналось так:

*Раз к Смерти я не шла – она
Ко мне явилась в дом –
В ее коляску сели мы
С Бессмертием втроем.[82]*



Софи обожала слушать, как мистер Янгстин читает это стихотворение, и ей захотелось самой прочесть его на английском – а она значительно преуспела в нем – и выучить вместе с другими произведениями поэта. Но получился небольшой конфуз. Когда преподаватель давал объяснения, Софи не все расслышала. Ей показалось, что это коротенькое стихотворение, эта дивная и одновременно такая простая зарисовка, в которой слышатся гулкие шаги вечности, принадлежит перу американского поэта с такой же фамилией, что и у одного из бессмертных романистов мира. И вот, слушая в тот день в своей комнате у Етты мрачные аккорды Малера, она вспомнила об этом стихотворении

и решила до занятий заглянуть в библиотеку Бруклинского колледжа и полистать произведения этого поразительного художника, которого она по невежеству считала мужчиной. Эта невинная ошибка, как она потом заметила, рассказывая об этом мне, послужила основой для небольшого мозаичного панно, запечатлевшего ее встречу с Натаном.

Софи помнила все так ясно – как она вышла из пышущего жаром удушья ненавистного метро и очутилась на улице залитого солнцем студенческого городка, с его прямоугольниками сочной зеленой травы, высокими деревьями и обсаженными цветами аллеями, по которым текла толпа слушателей летней школы. Софи всегда почему-то было здесь покойнее, чем в других частях Бруклина; хотя этот колледж был так же не похож на Ягеллонский университет, знакомый ей с детства, как сверкающий хронометр на замшелые солнечные часы, однако эти поразительно небрежно одетые и беспечные толпы студентов, это кипение жизни между занятиями, этот академический вид зданий и сама атмосфера благотворно действовали на Софи, она расслаблялась и чувствовала себя как дома. Среди этого беспорядочно бурлящего Вавилона мирным цветущим оазисом лежали сады. В тот день, проходя по их краю к библиотеке, Софи мельком увидела сценку, которая так прочно засела в ее мозгу, что она потом даже думала, не было ли это каким-то таинственным образом связано с Натаном и неизбежностью его появления в ее жизни. То, что она увидела, даже по принятым в Бруклинском колледже нормам благопристойности, бытовавшим в сороковые годы вообще, никак не могло ее шокировать, да, собственно, и не столько шокировало, сколько возбудило: должно быть, подсмотренное ею быстрое и отчаянное слияние двух тел оказалось способно разворошить золу, под которой в ней тлел огонь, а она ведь считала его навсегда угасшим. Достаточно было мимолетного взгляда – и в ее мозгу осталась цветная фотография, на которой два смуглых, поразительно красивых молодых существа стояли, прислонясь к дереву; не выпуская из рук учебников и, однако же, подобно Давиду и Вирсавии,[83] забыв обо всем на свете, они прильнули друг к другу и целовались, словно изголодавшиеся звери, пожирающие друг друга, – сквозь черную завесу волос девушки, волною низвергавшихся на плечи, то и дело проглядывала, мелькая, розовая плоть языка.

Оцепенение прошло. Софи оторвала от них взгляд: у было такое чувство, словно ее ударили ножом в грудь. Она заспешила дальше по заполненной людьми дорожке, ощущая, как лихорадочно горят у нее щеки и сердце бешено бьется в груди. Это было необъяснимо и страшно – такая жажда любви полыхала в ней. После того как она столько времени не чувствовала ничего, после того как столько времени не испытывала желания! А сейчас у нее горели даже кончики пальцев, огонь пробежал по всему ее телу, но главный очаг был внутри, где-то внизу живота – такого страстного желания она не ощущала столько месяцев и лет, что потеряла им счет.

Однако это невероятное волнение быстро испарилось. От него уже не осталось и следа, когда она вошла в библиотеку, – оно исчезло задолго до того, как она обнаружила за стойкой библиотекаря-нациста. Нет, он, конечно, не был нацистом – не только потому, что на белой дощечке черными буквами было выгравировано «мистер Шолом Вайс», но и потому... ну разве мог нацист выдавать книгу за книгой из собрания всей человеческой мудрости, хранившегося в библиотеке Бруклинского колледжа? Но Шолом Вайс, бледный угрюмый мужчина лет тридцати, в роговых очках, придававших ему воинственный вид, и с зеленым козырьком над глазами, был так разительно похож на тупоумного, непробиваемого, лишенного чувства юмора немецкого бюрократа, получеловека-получудовище, каких Софи знавала в прошлом, что у нее вдруг возникло страшное чувство, будто она снова очутилась в оккупированной Варшаве. И, несомненно, это впечатление *déjà vue*, [84] это узнавание и породили в ней мгновенную беспомощность и растерянность. Ей снова стало плохо, и, с трудом преодолевая возникшее от слабости удушье, она застенчиво спросила Шолома Вайса, где находится каталог, в котором она могла бы найти перечень произведений американского поэта девятнадцатого века Эмиля Диккенса.

– В зале каталогов, первая дверь налево, – буркнул Вайс, даже не улыбнувшись, и после долгой паузы добавил: – Но такого вы там не найдете.

– Не найду? – озадаченно повторила Софи. И, помолчав немного, спросила: – А вы не могли бы сказать, почему?

– Чарльз Диккенс – английский писатель. А американского поэта по имени Диккенс – нет. – Голос прозвучал так резко и враждебно, точно полоснул ножом.

Борясь с подступившей вдруг тошнотой и головокружением, чувствуя, что мурашки, покалывая множеством иголочек, побежали по ногам и по рукам, Софи с отрешенным любопытством увидела, как голова Шолома Вайса, с застывшим на лице непреклонно-суровым выражением, оторвалась от шеи и сжимавшего ее воротничка и куда-то поплыла. «До чего же мне ужасно плохо», – мысленно произнесла она, словно обращаясь к невидимому заботливому доктору, и тем не менее сумела выдавить из себя библиотекарю:

– Я уверена, есть такой американский поэт – Диккенс.

Подумав затем, что те строки, те певучие, исполненные печальной музыки строки, говорящие о быстротечности времени и бренности всего живого, должны быть столь же хорошо знакомы американскому библиотекарю, как предметы домашнего обихода, или патриотический гимн, или собственное тело, Софи почувствовала, как губы ее приоткрылись, чтобы произнести: «Раз к Смерти я не

шла...» Отвратительная тошнота подступила к горлу. И Софи не уловила момента, когда где-то в дальнем уголке безжалостного мозга Шолома Вайса произошло осознание того, что она глупо и нахально возражает ему. Она так и не успела произнести первую строку стихотворения – голос библиотекаря прорезал тишину, царящую обычно в библиотеке, так что вдали смутно зашевелились тени голов. Это был хриплый, царапающий по нервам шепот – вздорный, исполненный яда непонятной злобы ответ, в который было вложено все скудоумие и возмущение мелкого, наделенного властью обывателя.



– Послушайте, я же сказал вам, – произнес голос, – нет такого человека! Вы что, хотите, чтоб я вам это нарисовал? Я к вам обращаюсь, вы меня слышите?!

Шолом Вайс вполне мог решить, что сразил ее своими словами. Ибо, когда Софи через несколько мгновений очнулась на полу от глубокого обморока, в ее мозгу все еще рикошетом отдавались его слова, и она смутно поняла, что лишилась чувств как раз в тот момент, когда он умолк. Но в ее сознании все перекошилось, связи порвались, и она толком не соображала, где находится. В библиотеке – да, она, несомненно, находилась в библиотеке, но она неудобно лежала на каком-то диване или на подоконнике, недалеко от стойки, возле которой упала, и она чувствовала такую слабость, и такой омерзительный запах наполнял воздух – кислый запах, который она не могла определить, пока не почувствовала, что блузка у нее спереди вся мокрая; тогда она поняла, что ее стошнило. Влажная пленка блевотины отвратительным грязным слоем покрывала ее грудь.

Но не успела она осознать это, как ее внимание привлекло что-то еще, и она безо всякого интереса повернула голову на звук голоса, мужского голоса, звонкого,

властного, яростно отчитывавшего потного субъекта, который, съежившись, стоял к ней спиной, но в котором она по съехавшему набок зеленому козырьку тем не менее смутно признала Шолома Вайса. А в голосе мужчины, которого она едва видела с того места, где лежала пластом, слабая и беспомощная, было столько суровости, властности и яростного возмущения, что странный приятный холодок пробежал по ее спине.

– Я понятия не имею, что вы собой представляете, Вайс, но вы плохо воспитаны. Я тут стоял рядом и слышал каждое ваше мерзкое слово – все, что вы говорили ей! – гремел голос. – И я слышал, как невероятно грубо и возмутительно вы разговаривали с этой девушкой. Неужели вы не могли понять, что она иностранка, вонючий вы момзер, шмок![85]

Вокруг собралась небольшая толпа, и Софи видела, как трясся, словно под порывами буйного ветра, библиотекарь.

– Вы, Вайс, кайк, настоящее кайк:[86] вот из-за таких, как вы, поганных вырожденков и идет дурная слава о евреях. Эта девушка, прелестная, милая девушка, у которой еще не все ладно с языком, задает вам вполне нормальный вопрос, а вы относитесь к ней так, точно перед вами кусок дерьма, на который вы наступили. Мне бы следовало раскроить вам вашу дурацкую башку! Вам не книгами заниматься, а в водопроводчики идти!

Еще не вполне придя в себя, Софи вдруг, к своему изумлению, увидела, как тот человек дернул вниз зеленый козырек Вайса, и козырек повис у него на шее, точно ненужный целлулоидный придаток.

– Ах ты, мерзкий маленький поц,[87] – продолжал голос, исполненный безразличия и презрения, – да глядя на тебя, кого угодно вырвет!

Тут Софи, должно быть, снова потеряла сознание, ибо дальше помнила уже лишь то, как ласковые, сильные и удивительно заботливые пальцы Натана, перепачканные, к ее великому смущению, ее блевотиной, однако бесконечно утешительные и успокаивающие, легонько прикладывали ей ко лбу что-то влажное и прохладное.

– Все в порядке, детка, – шептал он, – вы будете в полном порядке. Только не надо ни о чем беспокоиться. Ах, какая же вы красавица, и как это вы умудрились родиться такой красивой? Лежите не двигаясь – вы в полном порядке, просто у вас был небольшой обморок. Лежите спокойно, предоставьте доктору позаботиться обо всем. Вот так, а теперь как мы себя чувствуем? Не хотите ли глотнуть водички? Нет-нет, ничего не говорите, лежите спокойно, через минуту почувствуете себя совсем хорошо. – Голос звучал и звучал, тихий монолог,

убаюкивающий, умиротворяющий, наполнявший ее чувством покоя, – мягкий рефрен, снявший напряжение, так что Софи скоро даже перестала стыдиться того, что руки незнакомца перепачканы ее зеленоватой желчью, и лишь почему-то пожалела, что, едва открыв глаза, сказала ему первую пришедшую в голову фразу, невероятную глупость: «Ох, по-моему, я умираю».



Нет, вы не умрете, – твердо и бесконечно терпеливо повторил он сейчас, в то время как его прохладные пальцы освежали ее лоб, – вы не умрете, проживете до ста лет. Как зовут вас, милочка? Нет, не говорите сейчас – лежите спокойно, красотка. Пульс у вас хороший, ровный. Вот так, а теперь глотните немножко воды...

Пятое

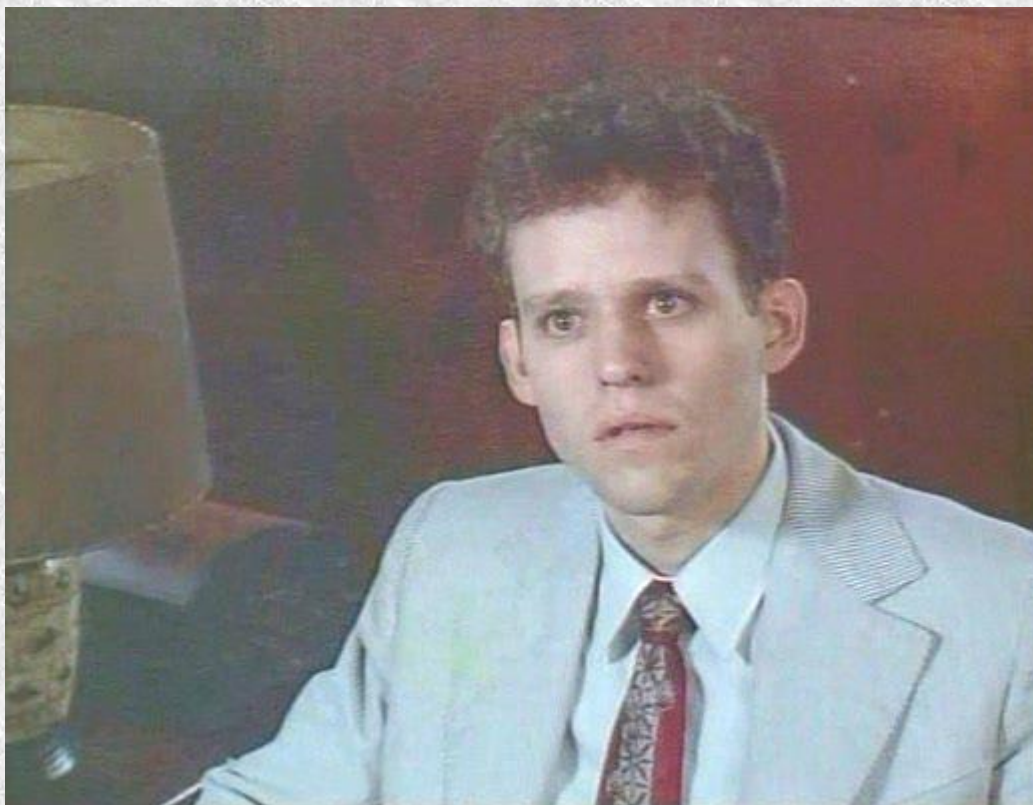
Недели, должно быть, через две после того, как я удобно обосновался в своем розовом обиталище, я получил новое послание от отца. Письмо это уже самим своим содержанием привело меня в восторг, хотя в тот момент я едва ли мог представить себе, как оно со временем повлияет на мои отношения с Софи и с Натаном и на те разнообразные события, которые тем летом произойдут. Как и последнее письмо отца, которое я здесь приводил – то, где он писал про Марию Хант, – это послание тоже было связано со смертью, и в нем, как и в более раннем письме об Артисте, тоже сообщалось о наследстве или о доле в нем. Я привожу здесь письмо почти целиком:

Сынок, десять дней тому назад мой близкий друг и политический, а также идейный противник Фрэнк Хоббс скоропостижно скончался у себя в конторе на верфи. Смерть была быстрой, можно сказать – мгновенной, от тромба в мозгу. Ему было всего 60 лет – я в этом возрасте вдруг со всею силой почувствовал, что вступил буквально в весеннюю пору своей жизни. Смерть Хоббса явилась для меня большим ударом, и я глубоко переживаю эту утрату. Его политические взгляды были, конечно, весьма прискорбны; я бы сказал, он стоял на 10 миль правее Муссолини, но в общем и целом это был «славный старик», как принято говорить среди уроженцев нашего края, и мне будет сильно не хватать этого крупного, щедрого человека, хоть и расиста по убеждениям, с которым мы вместе ездили на работу. Человек он был трагической во многих отношениях судьбы, одинокий вдовец, продолжавший оплакивать смерть своего единственного сына Фрэнка-младшего, который – возможно, ты помнишь – двадцати с небольшим лет (не так давно) утонул во время рыбной ловли в Албемар-Саунде. После Фрэнка-старшего никого не осталось; это обстоятельство и побудило меня написать тебе, оно же объясняет, почему письмо такое длинное.

Несколько дней тому назад мне позвонил адвокат Фрэнка и, к моему величайшему изумлению, сообщил, что я – главный наследник его достояния. У Фрэнка оказалось мало сбережений и не было никаких ценных бумаг – ведь он, как и я, был всего лишь первоклассным профессионалом, трудившимся в чреве или, пожалуй, вернее сказать, на ненадежной спине чудовищного левиафана, именуемого американским бизнесом. Поэтому, к сожалению, я не несу доброй вести о том, что тебе предстоит получить чек на солидную сумму, которая облегчила бы твою жизнь, пока ты возделываешь свой литературный виноградник. Однако Фрэнк на протяжении многих лет был владельцем и хозяином – хоть он там и не жил – небольшой фермы и плантации земляных орехов в округе Саутхемптон – место это принадлежало семейству Хоббсов с Гражданской войны. Эту-то ферму Фрэнк и оставил мне, указав в завещании, что я могу распоряжаться ею, как хочу, однако он горячо надеется, что я, как и он, буду возделывать землю, получая не только скромный доход от продажи земляных орехов с плантации в 60 акров, но и удовольствие от жизни в приятном, зеленом краю, где находится ферма, равно как и кишасей рыбой прелестной речушки. Он, должно быть, знал, как мне нравилось это место, где за эти годы я не раз бывал.

Однако поразительный и трогательный жест Фрэнка, боюсь, поставил меня в несколько затруднительное положение. Мне хотелось бы сделать все, что в моих силах, чтобы выполнить желание Фрэнка и не продавать фермы, но я не уверен, что у меня хватит духу – даже если я, как и Фрэнк, не буду там все время жить – снова, после стольких лет, взяться за сельское хозяйство (правда, мальчишкой в Северной Каролине я отлично владел мотыгой и киркой). Все-таки земля требует

большого внимания и труда, и, хотя Фрэнк очень эту ферму любил, моя стезя – работать здесь, на верфи. Конечно, это во многих отношениях соблазнительное предложение. Там живут два очень толковых и надежных арендатора-негра, и все орудия производства в достаточно приличном состоянии. Основной дом



отлично отремонтирован, и там можно прекрасно проводить субботы и воскресенья, особенно учитывая близость речушки, полной чудесной рыбы. Земляной орех сулит хорошие доходы – особенно с тех пор, как после войны обнаружилось столько возможностей для его использования. Фрэнк, помнится, продавал большую часть своего урожая в Саффолк, компании «Плантерс», которая стремясь удовлетворить неиссякаемую потребность Америки в ореховом масле, поставляет нам его под названием «Скиппи». Есть там у Фрэнка и свиньи, которые, само собой, дают лучшую ветчину во всем христианском мире. Есть и несколько акров под соевыми бобами и хлопком – и то и другое все еще приносит доход, так что, как видишь, помимо соображений эстетических и связанных с отдыхом есть тут и чисто коммерческая сторона, подталкивающая меня – после того как я 40 с лишним лет не бывал ни на гумне, ни в поле – приложить руку к сельским занятиям. Я, безусловно, не разбогатею, хотя, думается, смог бы немного увеличить свой бюджет, серьезно подорванный необходимостью помогать твоим бедным тетушкам в Северной Каролине. Но меня все же останавливают вышеперечисленные серьезные сомнения и оговорки. И тут я подхожу, Стинго, к той роли, которую ты можешь – или потенциально способен – сыграть в этой пока что неразрешенной дилемме.

Вот что я предлагаю: поезжай-ка на ферму и поживи там, будь хозяином в мое отсутствие. Я прямо чувствую, как ты огорчаешься, читая это, и вижу в твоих глазах «да я же понятия не имею, как выращивать земляные орехи». Я отлично понимаю, что это может тебя совсем не устраивать, тем более что ты решил стать литератором среди янки. Но я советую тебе подумать о моем предложении – не потому, что я посягаю на твою независимость и самостоятельную жизнь на этом варварском (в моем понимании) Севере, а потому, что меня по-честному беспокоит неудовлетворенность, сквозящая в твоих последних письмах, ощущение, что ты отнюдь не процветаешь – ни духовно, ни (конечно же) финансово. Но одно могу сказать: обязанности твои будут минимальными, поскольку Хьюго и Льюис, два негра, которые живут там вместе с семьями уже много лет, отлично справляются со всеми практическими делами, так что ты станешь своего рода джентльменом-фермером и будешь заниматься – я уверен – главным образом своим романом, который, по твоим словам, ты уже начал писать. При этом тебе не придется платить за жилье, а я, наверно, смогу выплачивать тебе небольшое дополнительное пособие за те немногочисленные обязанности, которые лягут на тебя. Кроме того (и это я припас напоследок), прошу тебя учесть еще один соблазнительный момент – близость фермы к бывшему обиталищу Старого Пророка Ната, этого непонятного негра, который много лет тому назад нагнал такого страху на злополучную рабовладельческую Виргинию, что она наделала в штаны, или (ты уж меня извини, но есть более точное выражение) обос...лась. Никто лучше меня не знает о твоём увлечении Старым Пророком, а я не могу забыть, как еще школьником ты возился с картами и планами, собирая все скудные сведения, какие только можно найти об этой удивительной личности. Ферма Хоббса всего в трех шагах от тех мест, где Пророк собирал силы, чтобы двинуться для выполнения своей страшной, кровавой миссии, и я думаю, если бы ты поселился там, то в полной мере проникся бы атмосферой и получил бы богатую информацию, необходимую для книги, которую, я уверен, ты со временем напишешь. Пожалуйста, хорошенько обдумай мое предложение, сынок. Нечего и говорить – да и скрывать ни к чему, – я предлагаю тебе это не бескорыстно. Если я намерен оставить за собой ферму, мне необходим там управляющий. Но хотя это так, я не могу скрыть от тебя и той все искупающей радости, какую доставляет мне мысль, что тебе, как будущему писателю, каким я так хотел, но не смог стать, представляется великолепная возможность пожить на земле, которая произвела на свет этого смутно нами представимого, удивительного черного человека, – почувствовать эту землю, увидеть ее, ощутить ее аромат...

В известном смысле предложение отца было очень заманчиво – этого я не мог отрицать. К письму он приложил несколько цветных снимков фермы: вытянутый в длину старый дом середины девятнадцатого века, окруженный раскидистыми тенистыми буками, казалось, вполне мог стать – при условии покраски – уютным пристанищем для того, кто, следуя великой южной традиции, легко мог

превратиться в писателя-фермера. Сладкий, как сорго, покой этого места (гуси бродят по летней, проросшей сорняками траве; сонное крыльцо с качалкой; старик Хьюго или Льюис, широко осклабясь, так, что видны все белоснежные зубы и розовые десны, смотрит в объектив поверх руля заляпанного грязью трактора) на секунду пронзил меня острием ностальгии по сельскому Югу. Искушение было душераздирающе сильное, и оно длилось, пока я еще и еще раз перечитывал письмо и потом долго размышлял, снова глядя на дом с его простой, безыскусственной лужайкой, окутанной идиллическим молочным туманом, который, правда, мог быть следствием слегка засвеченной пленки. Но хотя письмо проникло мне в душу, а изложенные в нем доводы с практической точки зрения были вполне логичны, я понимал, что вынужден отклонить предложение отца. Приди письмо всего на несколько недель раньше, когда меня только что уволили из «Макгроу-Хилл» и я находился в весьма затруднительном положении, я, наверно, ухватился бы за этот шанс. Но теперь обстоятельства в корне изменились, я устроился и был вполне доволен своей средой обитания. Так что я вынужден был ответить отцу: к сожалению, нет. И сейчас, оглядываясь на ту полную надежд пору, я понимаю, что три фактора повинны в родившемся у меня тогда непостижимом чувстве убогостворенности. Это были – отнюдь не в порядке значимости: 1) неожиданное озарение по поводу того, о чем писать роман, который до тех пор никак не шел и представлялся мне весьма туманно; 2) мое открытие Софи и Натана и 3) предвкушение бесспорных плотских радостей в моей дотоле лишенной таких радостей жизни.

Для начала – несколько слов о книге, к которой я все пытался приступить. Как писателя меня всегда привлекали мрачные темы: самоубийство, изнасилование, убийство, армейская жизнь, брак, рабство. Уже в ту раннюю пору я знал, что мое первое произведение будет достаточно мрачным – это глубоко сидело во мне и, видимо, может быть названо «тягой к трагическому», – но, честно говоря, я лишь весьма смутно представлял себе, о чем так лихорадочно собираюсь писать. Правда, в моем мозгу уже засел чрезвычайно важный компонент художественного произведения – место действия. Пейзажи, звуки, запахи, свет и тени, прозрачные глубины и отмели моего родного тайдуотерского побережья настоятельно требовали, чтобы я запечатлел их на бумаге, и я еле сдерживал владевшее мною – поистине яростное – желание все это описать. А вот характеры и сюжет, правдоподобная история, в которую я мог бы вплести эти живые картины моего недавнего прошлого, у меня не вытанцовывались. В двадцать два года я был всего лишь тощим парнем шести футов роста и ста пятидесяти фунтов весом, таким оголенным нервом, которому было еще почти нечего сказать. Мой первоначальный замысел был патетически вторичен: ни плана, ни логического развития сюжета – было лишь аморфное желание прославить маленький южный городок, как это сделал Джеймс Джойс, создав свой поразительный микрокосм. Для молодого человека моего возраста это была вполне достойная цель, беда состояла лишь в том, что даже на скромном уровне,

который я для себя наметил, уже не придумать было диксилендовского двойника Стивена Дидалуса и бессмертного Блума.[88]

Но тут – ох, как же это верно, что большинство писателей рано или поздно начинают использовать чужие трагедии, – появилась (а вернее, ушла из жизни) Мария Хант. Она умерла в тот самый момент, когда мне была особенно необходима чудотворная психическая искра, именуемая вдохновением. И вот через несколько дней после того, как я узнал о смерти Марии и ощущение шока стало проходить, я смог, так сказать, с профессиональной точки зрения посмотреть на ее нелепый конец, и меня вдруг осенило. Я снова и снова сосредоточенно изучал газетную вырезку, присланную отцом, и во мне разгоралось убеждение, что Мария и ее семья могут послужить прототипами героев моего романа. Отчаявшийся неудачник отец, хронический алкоголик и в известной мере бабник; мать – недалекая женщина из сельской глуши, жаждущая занять место в обществе, не слишком уравновешенная, истово верующая, на которую в гостиных средней буржуазии, в загородных клубах и в высших епископальных кругах города все смотрят как на мученицу, терпеливо мирящуюся с тем, что у мужа есть любовница; и, наконец, дочь, покойная бедняжка Мария, с самого начала обреченная на смерть, жертва недоразумений, мелкой ненависти и мстительных обид, из которых складывается жизнь буржуазной семьи и которые способны превратить ее в сущий ад... «Бог ты мой, – подумал я, – это же просто потрясающе, само небо посылает мне подарок!» И, к своему восторгу, я понял, что ненароком уже положил начало конструкции, в которую будет вписана эта трагическая история: мое затрепанное описание поездки в поезде, этот кусок, который был мне так дорог и который я, точно ненормальный, сосредоточенно читал и перечитывал, теперь пойдет в рассказ о том, как в родной город привозят в багажном вагоне тело нашей героини, выкопанное из общей могилы в Нью-Йорке. Просто не верилось – так здорово все получилось. Ох, какими же вурдалаками способны стать писатели!



Еще не успев в последний раз отложить в сторону письмо отца, я со вздохом облегчения почувствовал, что у меня вырисовывается и следующая сцена – казалось, достаточно протянуть руку, и я почувствую на ладони это большущее золотое яйцо, снесенное моим мозгом. Я придвинул к себе мои желтые блокноты, взял со стола карандаш. Поезд прибывает на вокзал, что у реки – жуткий перрон, жаркий, тесный, пыльный. Его прибытия ждут сраженный горем отец, назойливая любовница, катафалк, угодливый гробовщик, быть может, кто-нибудь еще... Верный слуга, какая-то женщина. Старик негр? Скрип, скрип – издавал новенький карандаш «Бархатная

Венера».

Те первые недели у Етты я помню удивительно отчетливо. Во-первых, там произошла дивная вспышка творческой энергии, когда я со всею наивностью молодости всецело погрузился в работу и за короткое время написал первые пятьдесят или шестьдесят страниц. Я никогда не писал быстро и легко, и данный случай не был исключением, ибо я и тогда старался – пусть неумело – найти нужное слово и потел, стремясь добиться нужного ритма и использовать все тонкости нашего великолепного, но отнюдь не милостивого и не гибкого языка; тем не менее мною владела непостижимая, бесстрашная уверенность в себе, и карандаш мой весело строчил, мои герои, казалось, начинали жить собственной жизнью, и влажный воздух тайдуотерского лета слепил глаза, обретая почти осязаемую реальность, словно передо мной разматывалась пленка с цветными трехмерными снимками. Как бережно я храню в памяти воспоминания о тех первых днях, когда я сидел в ярко-розовой комнате, согнувшись над ученическим столиком, шепотом произнося нараспев (как я до сих пор делаю) придуманные мною выражения и фразы, опробуя их на губах, точно какой-нибудь одержимый виршеплет, и все время испытывая величайшее удовлетворение от сознания, что в результате моих радостных трудов – каковы бы ни были их недостатки – на свет появится самый удивительный и значительный из плодов человеческого воображения: Роман. Благословенный Роман. Божественный Роман. Всемогуший Роман. Ох, Язвина, до чего же я завидую тебе той далекой поре, когда ты писал свой Первый Роман (задолго до наступления зрелости, когда сонной волною захлестывает усталость, а необходимость придумывать вызывает мрачную тоску, всплески эгоизма и честолюбия), когда каждое твое тире, каждая точка с запятой были продиктованы стремлением обессмертить себя и ты, как ребенок, верил, что тебе предначертано нести людям красоту.

Еще одно я хорошо помню в связи с этим ранним периодом моего пребывания у Етты: мною владело неведомое прежде чувство раскованности и уверенности в себе, что наверняка тоже было следствием моей дружбы с Софи и Натаном. Это чувство впервые посетило меня в то воскресенье, в комнате Софи. Пока я крутился в улье «Макгроу-Хилл», в моем стремлении уйти от людей в мир вымысла и одиночества было что-то болезненное, схожее с самоистязанием, ведь это было для меня глубоко противоестественно, ибо в общем-то я человек компанейский, искренне склонный к дружбе и испытывающий ужас перед одиночеством, что обычно побуждает людей либо жениться, либо вступить в клуб «Ротари». Там, в Бруклине, я тогда дошел до точки – я остро нуждался в друзьях, и я их нашел; мои подспудные тревоги таким образом улеглись, и я смог засесть за работу. Безусловно, только человек больной или отшельник может без страха думать о том, что он будет изо дня в день трудиться как каторжник, не выходя из своей комнаты, этого вместилища тишины,

окруженного четырьмя пустыми стенами. Запечатлев на бумаге картину горестных похорон, исполненных тоски и отчаяния, я счел, что вполне заслужил несколько стаканов пива и право на общество Софи и Натана.

Прошло довольно много времени – по крайней мере несколько недель, – и мне суждено было вместе с моими новыми друзьями вновь попасть в водоворот страстей такого накала, что они грозили всех нас поглотить – как и в тот раз, когда я впервые столкнулся с ними. Разразившаяся буря была ужасна – намного – страшнее описанных мною мелких стычек и мрачных минут, – и ее взрывная сила поистине ошарашила меня. Но это было потом. А пока, подобно цветку, проросшему из моей розовой комнаты, этакому пышному пиону, распутившему все лепестки, я цвел, наслаждаясь своими творческими достижениями. Еще одно: я мог теперь жить спокойно, не ожидая, что сверху вот-вот донесутся звуки любовных утех. Тот год с небольшим Софи и Натан прожили на втором этаже, не оформляя отношений, не стесняя друг друга, у каждого была своя комната, но спали они вместе – в той постели, где было естественнее или удобнее.



Возможно, тут сказывалась строгая мораль того времени, ибо, несмотря на сравнительно терпимое отношение Етты к проблемам секса, Софи и Натан считали необходимым фактически жить врозь, хотя бы на расстоянии нескольких ярдов выстланного линолеумом холла, а

не съезжаться в одну из своих просторных комнат, где им уже не пришлось бы разыгрывать шараду, изображая двух преданных друзей, которых вовсе не волнует зов плоти. Но в то время за женщиной еще было принято сначала ухаживать, а потом уже по мраморно-холодным канонам закона оформлять брак; кроме того, все это происходило на Флэтбуш-авеню, где соображения приличий и сплетни соседей играли не меньшую роль, чем в самом отсталом городке американской глубинки. О доме Етты пошла бы дурная слава, если бы стало известно, что «неженатая» пара живет вместе. Так что верхний холл был для Софи и Натана чем-то вроде короткой пуповины, соединявшей то, что, по сути дела, было двумя половинами большой двухкомнатной квартиры. Покой же и тишина, наступившие у меня, объяснялись тем, что мои друзья вскоре перенесли

свои спальные принадлежности и шумные любовные утехы на кровать Натана, в комнату менее веселую, чем у Софи, но сейчас, летом, более прохладную, как сказал Натан. «Слава богу, – подумал я, – значит, совокупления с комментариями больше не будут мешать моей работе и нарушать душевное равновесие».

В эти первые недели нашего знакомства я довольно успешно умудрялся скрывать свое увлечение Софи. Я так тщательно ограждал от посторонних взоров костер моей страсти, что уверен: ни сама Софи, ни Натан не могли заметить, как я плавился в ее присутствии. Во-первых, в ту пору я был до смешного неопытен и даже из спортивного чувства или состязания ради никогда не позволил бы себе поухаживать за женщиной, столь явно отдавшей свое сердце другому. А во-вторых, я просто-напросто считал Натана во всем выше себя. И это не было придурью. Когда человеку двадцать, разница в несколько лет выглядит куда большей, чем потом, а Натану тогда было около тридцати, мне же двадцать два, так что он представлялся мне значительно «старее»; эта разница так бы не чувствовалась, будь нам обоим за сорок. Тут следует отметить, что и Софи была примерно одних с Натаном лет. Учитывая все это, а также безразличный вид, какой я на себя напускал, я почти убежден, что ни Софи, ни Натану в голову не приходило считать меня серьезным претендентом на ее расположение. Друг – да. Любовник? Они оба хохотали бы до упаду. Должно быть, поэтому Натан так охотно и оставлял меня наедине с Софи и даже поощрял наше совместное времяпрепровождение в свое отсутствие. Он имел все основания проявлять такое доверие, поскольку мы с Софи в эти первые недели, несмотря на всю мою тягу к ней, лишь иногда обменивались рукопожатием. Я стал прилежным слушателем и уверен, что благодаря своей целомудренной отрешенности узнал со временем о Софи и ее прошлом не меньше (а то и больше), чем Натан.

– Я восхищаюсь твоим мужеством, малыш, – сказал мне как-то Натан, зайдя рано утром ко мне в комнату. – Я, право, восхищаюсь тем, что ты делаешь: надо же взяться писать что-то новое о Юге!

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил я с искренним любопытством. – Почему требуется такое уж мужество, чтобы писать о Юге?

Было это на неделе после нашей поездки на Кони-Айленд, и я в тот момент разливал нам обоим кофе. Презрев привычку, я вот уже несколько дней вставал чуть свет, устремлялся – словно сквозь меня пропустили электрический ток – к столу и писал не отрываясь часа два, а то и больше. Я только что совершил один из фантастических (для меня) спринтов, написав что-то около тысячи слов, – что было характерно для этой стадии моей работы над книгой, – чувствовал себя немного выдохшимся и потому обрадовался, когда Натан по пути на работу

постучал в мою дверь. Он уже несколько дней подряд заглядывал так ко мне по утрам, и мне нравилась эта игра. Эти дни он очень рано встает, объяснил мне Натан, и едет к Пфайзеру в свою лабораторию, где очень важные культуры бактерий требуют его внимания. Он попытался было подробно описать мне свой эксперимент – что-то связанное с амниотической жидкостью и зародышем кролика, в том числе какая-то заумная история насчет энзимов и ионного обмена, – но понимающе расхохотался и махнул рукой, увидев, что я ничего в этом не смыслю и на моем лице появились тоска и скука. В том, что я ничего не понял, виноват был я, а не Натан, ибо он объяснял четко и ясно. Просто я был слишком нетерпелив и не способен воспринимать ученые абстракции, что огорчало меня в такой же мере, в какой я завидовал диапазону и всеохватности ума Натана. Его способности, например, перескочить, как сейчас, с энзимов на достоинства литературного произведения.



– Я не считаю таким уж великим для себя подвигом то, что пишу о Юге, – продолжал я, – я ведь лучше всего знаю именно эти места. Эти старые хлопковые поля в родном краю.

– Я не это имею в виду, – возразил он. – Просто ты взялся за перо, когда южной традиции приходит конец. Ты можешь считать, что я понятия не имею о Юге, судя по тому, как я безжалостно и, должен сказать, непосредственно набросился на тебя в прошлое воскресенье из-за Бобби Уида. Но сейчас я говорю о другом – о литературе. Южная литература как сила через несколько лет кончится. На ее месте неизбежно возникнет другой жанр. Вот почему я и говорю, что надо иметь немало мужества, чтобы писать в изжившей себя традиции.

Эта тирада вызвала у меня немалое раздражение – правда, объяснялось оно не

столько логикой и справедливостью его слов, если считать, что они действительно были логичны и справедливы, сколько тем, что подобный литературный вердикт исходил от биолога, занимающегося научно-исследовательской работой в фармацевтической фирме. В общем-то не его это было дело. Но когда я мягко, не без внутренней усмешки изложил ему стандартные истины литературной эстетики, он снова лихо отмел мои возражения.

– Натан, ты же, черт побери, специалист по клеткам, – сказал я, – ну что ты понимаешь в литературных жанрах и традициях?

– В «De Rerum Natura»[89] Лукреций отмечает основную истину, которую он вынес из своих наблюдений жизни. А именно: ученый, занятый только наукой, не умеющий наслаждаться и обогащаться искусством, – это урод. Неполноценный человек. И я, старина Язвина, этому верю – возможно, поэтому мне и небезразличны ты и твои писания. – Он помолчал и поднес дорогую на вид серебряную зажигалку к сигарете «Кэмел», зажатой у меня в губах. – Да простится мне то, что я потворствую твоей мерзкой привычке – я-то пользуюсь этой зажигалкой для бунзеновских горелок, – шутливым тоном заметил он и продолжал: – Собственно, я кое-что скрыл от тебя. Я сам хотел быть писателем, но курсе на третьем Гарварда понял, что никогда не стану Достоевским, и обратил свой пытливый ум на разгадку тайн человеческой протоплазмы.

– Значит, на самом-то деле ты намеревался стать писателем, – заметил я.

– Не с самого начала. Еврейские мамы всегда очень амбициозны в отношении своих сыновей, и на протяжении моего детства все считали, что я стану великим скрипачом – вторым Хейфецем или Менухином. Но, честно говоря, не было у меня божьего дара, не было гениальности, хотя до сих пор осталась огромная тяга к музыке. Тогда я решил стать писателем – была у нас компания в Гарварде, компания очень увлеченных, помешанных на книгах второкурсников, и мы какое-то время жили исключительно литературой. Этаким забавный детский садик в городе Кеймбридж. Как и мои товарищи, я писал стихи и множество скверных рассказов. Каждый из нас считал, что мы переплюнем Хемингуэя. Но под конец у меня хватило ума понять, что, если я хочу стать писателем, лучше попытаться взять за образец Луи Пастера. Как выяснилось, мой подлинный талант связан с наукой. Поэтому я решил защищать диплом не по английскому, а по биологии. Выбор был сделан правильный – я в этом абсолютно убежден. Сейчас-то я вижу, что единственным моим плюсом было бы то, что я еврей.

– Еврей? – повторил я. – При чем тут это?

– Да лишь при том, что я уверен: в ближайшие годы еврейские писатели станут

существенной силой в американской литературе.

– О, в самом деле? – заметил я, сразу приготовившись к обороне. – Откуда тебе это известно? Ты поэтому сказал, что я человек мужественный, раз взялся писать про Юг?

– Я ведь не говорил, что еврейские писатели будут единственной силой, я только сказал, что они будут существенной силой, – ровным тоном, вежливо возразил Натан, – и я вовсе не намекаю, что ты не способен внести значительный вклад в свою традицию. Просто евреи – в силу своей истории и этнических особенностей – займут положенное им место в послевоенном подъеме культуры. Так будет – только и всего. И есть уже роман, который положил этому начало. Это не событие в литературе – книга маленькая, но великолепная по композиции, и принадлежит она перу молодого, бесспорно блестящего писателя.

– Как же она называется? – спросил я. И весьма угрюмо, по-моему, добавил: – И кто этот блестящий писатель?

– Книга называется «Человек в нерешительности», – сказал он, – и написал ее Сол Беллоу.

– А-а, ерунда, – протянул я и отхлебнул кофе.

– Ты что, читал ее? – спросил он.

– Безусловно, – без зазрения совести соврал я.

– И что ты о ней думаешь?

Я подавил наигранный зев.

– Мне она показалась весьма неглубокой. – Собственно, я знал об этом романе, но мелкая зависть, часто нападающая на еще не публиковавшегося писателя, порождала у меня лишь злость на критиков, вполне обоснованно, как я подозревал, хваливших книгу. – Очень урбанистическая книга, – добавил я, – слишком, знаешь ли, специфическая, многовато уличной вони.

Но, глядя на Натана, привольно развалившегося в кресле напротив, я не мог не признаться себе, что его слова меня взволновали. «А что, если, – думал я, – этот умный мерзавец прав и старая благородная литературная традиция, с которой я решил связать свою судьбу, действительно выдохлась, остановилась, обессилев, и я бесславно погибну под колесами разваливающейся телеги?» Натан виделся мне таким уверенным, таким сведущим в других вопросах, что и в данном случае его предсказание могло оказаться верным, и моему внутреннему взору вдруг

предстала жуткая картина – особенно удручающая из-за того, что это было явное состязание: я увидел, как бегу на литературном треке – бесцветный десятый номер, – задыхаясь от пыли, поднятой ордой скороходов, всеми этими Беллоу, и Шварцами, и Леви, и Мандельбаумами.

А Натан смотрел на меня и улыбался. Улыбка казалась вполне дружеской, без тени иронии, но я на секунду – всего лишь на миг – остро почувствовал в нем то, что уже чувствовал и буду чувствовать еще не раз: приятные, обаятельные стороны его натуры недолго будут уравнивать то необъяснимо злое и коварное, что сидело в нем. Затем это что-то, бесформенно липкое, пересекло комнату и исчезло; чувство, вызвавшее у меня мурашки, прошло, и я улыбнулся Натану в ответ. На нем был палм-бичский – по-моему, это так называется – костюм темно-песочного цвета, великолепно сшитый и явно дорогой, и в этом костюме он даже отдаленно не походил на того разбушевавшегося человека, которого я впервые увидел всего несколько дней назад, растрепанного, в мешковатых штанах, оравшего на Софи в холле. Внезапно весь поднятый им тогда шум, его нелепое обвинение: «...раскладывала свои прелести перед этой дешевкой, этим шарлатаном доктором!» – все это показалось мне столь же неправдоподобным, как реплики главного смутьяна в старом, полузабытом фильме. (Что все-таки скрывалось под этими его безумными словами? Интересно, узнаю ли я это когда-нибудь.) А на лице Натана продолжала играть ироническая улыбочка, и я понял, что личность этого человека – загадка столь таинственная и трудноразрешимая, какой я еще не встречал.

– Ну, ты хоть не говоришь мне, что роман умер, – наконец произнес я как раз в ту минуту, когда из комнаты наверху до нас еле слышно долетела музыкальная фраза, божественная и нежная, и тем самым побудила переменить тему.

– Это Софи поставила пластинку, – сказал Натан. – Я пытаюсь заставить ее поспать подольше, когда ей не надо на работу. А она говорит, что не может спать. Говорит, что после войны так и не научилась долго спать.

– А что это за пластинка? – Это было что-то до боли знакомое, какое-то произведение Баха, которое мне следовало бы знать, потому что оно входит в первоначальный сборник пьес для детей, но я почему-то забыл название.

– Это из Кантаты номер сто сорок семь, той что называется «Иисус, ты наша радость и благодать».

– Завидую я вам, что у вас есть комбайн, – сказал я, – и эти пластинки. Но они такие чертовски дорогие. За симфонию Бетховена мне пришлось бы заплатить изрядную часть моей еженедельной полочки, как я это называю. – Тут я понял, что чувство сродства с Софи и Натаном, которое возникло у меня в эти первые

дни нашей дружбы, в значительной мере объяснялось нашей общей любовью к музыке. Одного только Натана привлекал джаз, я же имею в виду музыку великих традиций, не популярную и после Франца Шуберта почти не создававшуюся, – заметным исключением тут был Брамс. Подобно Софи, да и Натану тоже, я находился в том периоде жизни – было это задолго до появления рока или возрождения народной музыки, – когда музыка для меня была гораздо важнее еды и питья, она была как наркотик или вроде божественного дыхания. (Я забыл упомянуть, сколько времени я проводил, когда работал в издательстве, просиживая в перерывах или после трудового дня в магазинах пластинок и часами наслаждаясь музыкой в душных кабинках, какие существовали в те дни.) В ту пору музыка играла такую важную роль в моей жизни, что, лишись я надолго возможности слушать ту или иную берущую за душу мелодию или на редкость умело сотканный барочный гобелен, я не колеблясь пошел бы на опасное преступление. – Глядя на эти ваши кипы пластинок, я просто истекаю слюной, – сказал я.

– Знаешь, малыш, можешь ставить их и слушать, когда захочешь. – Я заметил, что последние несколько дней Натан то и дело стал называть меня «малыш». Он и предположить не мог, какое мне это доставляло удовольствие. Все больше привязываясь к нему, я, думается, начал видеть в нем что-то вроде старшего брата, которого у меня никогда не было, к тому же такого брата, чье обаяние и теплота значительно перевешивали то непредсказуемое и странное, что было в нем, и я постарался побыстрее забыть про его эксцентрические выходки. – Слушай, – продолжал он, – считай мою берлогу и берлогу Софи парой мест...

– Твою – что? – переспросил я.

– Берлогу.

– А что это?

– Берлога? Ну, знаешь – комната.

Я впервые услышал жаргонное употребление этого слова. Берлога. Мне понравилось, как это звучит.

– В общем, считай, что можешь заходить туда днем, когда мы с Софи на работе, как только захочешь послушать пластинки. У Морриса Финка есть запасной ключ. Я уже сказал ему, чтобы он впускал тебя, как только тебе захочется.

– Ох, право, это уж слишком, Натан, – вырвалось у меня, – но господи... спасибо. – Я был тронут этим широким жестом, нет, буквально потрясен. Хрупкие пластинки той поры еще не стали дешевыми предметами повседневного обихода. И люди не давали просто так пользоваться пластинками.

Они считались ценностью, и я никогда еще не имел такого доступа к музыке, а потому предложение Натана преисполнило меня радостью, близкой к наслаждению. Даже возможность выбрать любое розовое пышное женское тело, о чем я столько грезил, не разожгло бы во мне такого аппетита. – Я безусловно буду с ними очень осторожен, – поспешил я добавить.

– Я тебе доверяю, – сказал он, – хотя прошу тебя быть осторожнее. Этот чертов шеллак так легко бьется. Я предвижу, через пару лет что-то непременно изобретут – появятся небьющиеся пластинки.

– Вот будет здорово! – сказал я.

– Мало того, они будут не только небьющиеся, но еще и компактные... чтобы на одной стороне пластинки помещалась, скажем, целая симфония или целая кантата Баха. Я уверен, это придет, – заключил он, поднимаясь со стула и всего за несколько минут предсказав не только ренессанс еврейской литературы, но и появление долгоиграющей пластинки. – Грядет музыкальное тысячелетие, Язвина.

– Господи, я просто не знаю, как тебя и благодарить, – сказал я, искренне растроганный.

– Прекрати, малыш, – заметил он и поднял взгляд к источнику музыки. – Благодарю не меня, благодарю Софи. Она научила меня любить музыку так, точно это ее изобретение, точно раньше я понятия не имел о музыке. Одеваться научила меня тоже Софи, да и многому другому... – Он умолк, и глаза его, устремленные вдаль, засветились. – Почти всему. Умению жить! Господи, ну не фантастическая женщина? – В его голосе звучало даже чрезмерное преклонение, какое порою вызывают высшие достижения искусства, однако, когда я пробормотал еле слышно: «Да уж, должен сказать», Натану и отдаленно не могло прийти в голову, какая безысходная ревность обурекает меня.

Как я уже говорил, сам Натан подталкивал меня к тому, чтобы я составлял компанию Софи, поэтому без всяких угрызений совести, как только он отбыл на работу, я вышел в холл и окликнул ее. Дело было в четверг – она в этот день не работала у доктора Блэкстока, – и, когда ее голос долетел до меня по лестнице сверху, я спросил, не пообедал ли она со мной в парке после полудня. Она весело крикнула: «О'кей, Язвинка!», и я тотчас забыл о ней. Откровенно говоря, думал я о грудях, животе, бедрах и других желанных частях тела, принадлежавших, в частности, той дикой нимфе, с которой я познакомился на пляже в воскресенье, об этой «горячей штучке», которую так весело подбросил мне Натан.



Несмотря на недавшее меня желание, я все-таки уселся за письменный стол и попытался часок заняться творчеством, совсем или почти отключившись от того, что делают остальные обитатели дома: вот Моррис Финк, что-то злобно бормоча себе под нос, принялся подметать крыльцо; вот Етта Зиммермен грузно спустилась со своего третьего этажа, дабы произвести утренний осмотр дома; вот китоподобный Мойше Маскатблит протопал, спеша в свою ешиву[90] и на удивление музыкально, словно перезвон колокольчиков, насвистывая мотив из кинофильма. Немного погодя я решил прервать мои труды и, подойдя к окну, выходящему в парк, увидел, как возвращается с ночного дежурства в Больнице округа Кингс усталая Астрид Уайнстайн. Не успела она захлопнуть за собою дверь – а она жила в комнате напротив меня, – как из дома выбежала другая медицинская сестра, Лиллиан Гроссмен, спеша на работу в ту же больницу. Трудно сказать, которая из них была уродливее: высоченная костлявая Астрид с плоским красным лицом, на котором застыло плаксивое выражение, или Лиллиан Гроссмен, тощая, как голодный воробей, с ехидно поджатыми губами и такой миной, которая едва ли приносила большое утешение вверенным ее заботам страдальцам. Обе были душераздирающе уродливы. «Но я уже не могу считать себя таким невезучим, – размышлял я, – хоть и живу под такой безнадежной, в плане эротики, крышей. В конце концов, у меня теперь есть Лесли!» Я сразу вспотел, и прерывисто задышал, и почувствовал, как в груди что-то растет, мучительно ширясь, словно надувается воздушный шар.

Итак, я подошел к проблеме удовлетворения сексуального голода, о чем, среди прочего, я упоминал некоторое время тому назад и что считаю немаловажным элементом в осуществлении надежд, связанных с моей новой жизнью в

Бруклине. Сама по себе эта сага или эпизод, или фантазия, не имеет прямого отношения к Софи и Натану, и потому я не был уверен, надо ли описывать все это, считая, что такой материал, пожалуй, лучше использовать в другом повествовании и в другое время. Но эта история настолько вплетена в ткань и настроение того лета, что лишить мой рассказ подобной реальности все равно что отсечь от тела какой-то его член – не такой, без которого оно жить не может, но достаточно важный, как, скажем, один из наиболее нужных пальцев. А кроме того, излагая эти оговорки, я уже чувствую настоятельную потребность описать этот эпизод с его отчаянной эротикой, что по крайней мере позволит мне рассказать хоть что-то существенное об этом периоде, когда все были одержимы сексом.

Так или иначе, в то утро, когда я стоял у окна, оторвавшись от своих трудов и чувствуя, как набухает внизу живота, я считал, что на мою долю выпала бесценная награда за старания и пыл, с какими я занимался моим искусством. Как всякий писатель, заслуживающий такого звания, я готовился принять эту награду, эту необходимую добавку к тяжкому труду – столь же необходимую, как пища и вода, – оживляющую усталый мозг и делающую жизнь более сладкой. Я, конечно, имею в виду то, что после долгих месяцев пребывания в Нью-Йорке мне впервые наконец предстояло спокойно, без особых хлопот попробовать девчонку. На этот раз уж можно было не сомневаться. Все произойдет через каких-нибудь несколько часов: так же несомненно, как то, что весна приносит с собою зеленые листья, или то, что солнце садится по вечерам, мой колышек будет глубоко вбит в тела поразительной красоты, сторонницы свободной любви, двадцатидвухлетней еврейской мадонны по имени Лесли Лапидас (что более или менее рифмуется с «Ах, экстаз!»).

На Кони-Айленде в то воскресенье Лесли Лапидас, по сути дела, обещала мне – как я это вскоре покажу – обладание своим роскошным телом, и мы назначили встречу на четверг вечером. Все эти дни, что оставались до нашей второй встречи – а я ждал ее с таким невообразимым волнением, что даже чуть не заболел и время от времени у меня действительно немного поднималась температура, – меня пьянила прежде всего мысль, что уж на этот-то раз я своего, бесспорно, не упущу. Все заматано. Готово. На этот раз ничто не помешает: безумное слияние с жаркой, изнывающей от страсти еврейской девушкой, у которой бездонные глаза и загорелые, цвета абрикоса с охрой, ноги, многообещающе готовые так меня стиснуть, что дух вон, не пустая фантазия, это *fait accompli*, по сути дела, свершившийся факт, если не считать тягостного ожидания до четверга. В моей короткой, но беспорядочной половой жизни я еще ни разу не знал уверенности о победе (в то время редко можно было встретить молодого человек, который бы это испытал), а чувство это оказалось необычайно приятным. Можно говорить о флирте, о лихорадке преследования, о радостях и опасностях тяжело добытого обольщения – все имеет свою награду. Однако

ничто не сравнимо с неспешным предвкушением, которому сопутствует сознание, что почва подготовлена и тебя ждут – кошечка, так сказать, в мешке. Словом, когда я не был поглощен моим романом, я раздумывал о Лесли и о скором свидании с нею, представляя себе, как припаду к этим «тяжелым, точно дыни», грудям еврейки, столь дорогим сердцу Томаса Вулфа, и буду гореть н лихорадке, как блуждающий огонь.

К тому же меня переполняло сознание, что мне воздается по справедливости. Каждый преданный своему делу художник, считал я, какой бы он ни был нищий, уж этого-то по крайней мере заслуживает. Более того, очень было похоже, что, если я правильно разыграю свои карты, до конца останусь холодным чужестранным кавалером, которого Лесли при нашем первом знакомстве нашла таким до одурения притягательным, если я не совершу никаких злополучных промашек, этот Богом или Иеговой посланный мне подарок может стать предметом постоянного, даже ежедневного, обладания. У нас будут утренние и предвечерние безумные «встречи на сеновале», что лишь улучшит качество моей литературной продукции, невзирая на широко распространенную мрачную доктрину насчет сексуальной «сублимации». Да, я сомневался, что мои отношения с Лесли приведут к высокой любви, ибо мое влечение к ней по природе своей было примитивным, в нем не было поэзии и идеализации, отличавших мою тайную страсть к Софи. Просто Лесли даст мне впервые в жизни спокойно вкусить все многообразие плотской любви, дотоле существовавшее лишь в моем мозгу в виде этакой большой энциклопедии разнузданной похоти, которую я то и дело листал. С помощью Лесли я наконец утолю тот исконный голод, который я столь долго и безжалостно подавлял. И пока я ждал этого судьбоносного четверга, ее образ стал все больше олицетворять для меня вероятность полного слияния, способного покончить с ледяным бесплодием лунной пустыни, через которую в 40-е годы я нес свое плохо обихоженное, неудовлетворенное, разбухшее естество.

Думается, настало время сделать краткий обзор этого десятилетия, чтобы показать, на каком фоне произошла моя встреча с Лесли, и объяснить, почему это оказало на меня столь губительное воздействие. Немало желчных воспоминаний, связанных с сексом, написано теми, кто пережил пятидесятые годы, причем значительная часть их сетований вполне законна. Но в сороковые годы дело обстояло куда хуже, это было особенно страшное время для Эроса – время наведения шатких мостов между пуританством прадедов и появлением публичной порнографии. Секс выходил из-под замка, но все пребывали в растерянности, не зная, как тут быть. В том, что олицетворением этого периода стала Мисс Крошка-Дразнилка – эта развязная девчонка, доводившая до белого накала целое поколение своих изнемогавших от желания одногодок, разрешавшая известные вольности, но с железной непреклонностью не подпуская к главному призу и, победно всхлипывая, убегавшая к себе в

общезитие... – в этом не виноват никто, так исторически сложилось, однако это было серьезным недостатком тех лет. В ретроспекции эта ересь представляется абсолютно ужасной и неумолимо абсолютной. Впервые на памяти человечества общество позволяло – даже поощряло – близость полов, но по-прежнему запрещало доводить дело до совокупления. Впервые появились автомобили с широкими мягкими задними сиденьями. Это создавало беспрецедентную напряженность в отношениях между полами и порождало досаду. Словом, время было жестокое для жаждущего побед меченосца, особенно если он был молод и нищ.

Можно было, конечно, – да так и делали – пойти к «профессионалке», и большинство молодых людей моего поколения бывали там – как правило, только раз. Лесли же, помимо всего прочего, привела меня в восторг еще и своим недвусмысленным обещанием: она как бы сразу заверила меня, что я буду вознагражден за те жалкие тисканья, которые я однажды испробовал и которые – если не придерживаться точности выражений – можно было бы назвать сексуальным борением, но я-то в глубине души знал, что это совсем не так. Просто мерзкая копуляция. И самым ужасным было то, что, хотя, согласно медицинскому термину, я проник до конца, мне не дано было испытать того экстаза, какого с помощью рукоблудия я так часто добивался, начиная с четырнадцати лет. Короче говоря, я представлялся самому себе буквально уродом, настоящим *demi-vierge*. [91] При этом никакой патологией я не страдал – у меня не было ничего похожего на мрачную психическую депрессию, что могло бы побудить меня обратиться к врачу. Нет, оргазм не наступал просто от страха, а также от удушающего *Zeitgeist*, [92] когда секс в Америке середины века считался Саргассовым морем [93] греха и страхов. Я дебютировал в колледже, когда мне было семнадцать лет. Комедия, разыгравшаяся между мною и усталой старой проституткой с табачных полей в городе Шарлотт, Северная Каролина, в гостинице-клоповнике, где номер стоил два доллара за ночь, окончилась ничем не только из-за ее издевок над моей медлительностью – «да ты двигаешься хуже черепахи с перебитыми ногами», – не только потому, что я до бесчувствия накачался пивом, дабы притупить волнение, но, признаюсь, еще и потому, что из-за всех приготовлений – тактики откладывания и боязни подхватить заразу – я каким-то образом умудрился нацепить два презерватива, что, к своему великому смущению, обнаружил, когда она наконец отпихнула меня.

За исключением этой злополучной истории, к тому времени, когда я встретил Лесли Лапидас, мой опыт в области любви был весьма условным и бесплодным. Иными словами, типичным для сороковых годов. Мне довелось потискаться, как это тогда называлось, на балконе нескольких киношек; был такой случай, когда в затененной листвою аллее, таинственном темном туннеле, прибежище местных влюбленных, я изловчился – с бешено бьющимся сердцем – и в течение нескольких секунд гладил дрожащими пальцами голый сосок, а однажды, уже

предвкушая близость победы и чуть не теряя сознание от напряжения, я ухитрился сорвать лифчик, под которым обнаружил лишь пару подушечек и жалкую мальчишечью грудь, плоскую, как стол для пинг-понга. Воспоминания, в которые я погружался в те месяцы в Бруклине, когда в одиночестве открывал ворота шлюзов, сводились к осложнявшей дело темноте, запаху пота, шепотом произнесенным укорам, круглым и плоским, упорно не поддающимся резинкам, острым маленьким крючкам и кнопкам, хрипло произнесенным запретам, болезненным вздутьям внизу живота, непослушным «молниям» и теплоте, насыщенному миазмами запахи, выделяемому воспаленными железами.

Целомудрие было моей, внутренне навязанной самому себе, Голгофой. Будучи единственным ребенком, я не мог наблюдать своих сестер раздетыми и еще ни разу не видел голых женщины – в том числе и та старая проститутка в Шарлотте на протяжении всей процедуры оставалась в нечистой, дурно пахнущей сорочке. Я уже забыл, как именно представлял себе в мечтах мою первую любовницу. Я не идеализировал женщину, как это было принято по глупой традиции того времени, и потому, уверен, не думал, что лягу в постель с целомудренной девственницей, сошедшей с рекламы табака «Суит брайер», лишь после того, как постою с ней у алтаря. Когда-нибудь, в безмятежные мирные дни, должно быть, рассуждал я, мне встретится любвеобильная веселая девчонка, которая с радостными вскриками возьмет и сграбастает меня, не задумываясь над запретом, наложенным на плоть маленькими паршивыми протестантками, так изводившими меня на задних сиденьях десятка машин. Но об одном обстоятельстве я даже не подозревал. Мне и в голову не приходило, что у девушки моей мечты не будет сдерживающих барьеров и в языке, – девчонки, с которыми я общался до сих пор, не могли бы произнести слово «грудь», не залившись румянцем. Собственно, я сам внутренне съеживался, когда женщина говорила «черт подери». Поэтому вы можете представить себе, что я испытал, когда Лесли Лапидас через каких-нибудь два часа после нашего знакомства вытянула, словно молодая львица, на песке свои роскошные ноги и, глядя мне в лицо своими миндалевидными глазами, светившимися таким безграничным, поистине языческим, как у блудницы вавилонской, распутством, о каком я и мечтать не мне, предложила мне в немыслимо скабрёзных выражениях пуститься в долгожданную авантюру. Трудно описать, в каком я был шоке – страх, неверие и щекочущий восторг бурным потоком захлестнули меня. Не будь я слишком молод для закупорки сосудов, мне не избежать бы инфаркта, ибо сердце мое на несколько секунд перестало биться.

Но не только поразительная откровенность Лесли зажгла пожар в моей крови. Весь воздух вокруг маленького песчаного треугольника, который приятель Натана Морти Хэйбер предоставлял по воскресным дням для светских встреч, был насыщен сквернословием, какого я еще ни разу в смешанной компании не слышал. Это было уже нечто посерьезнее и посложнее. А знойный взгляд Лесли,

в котором были и вызов и ожидание, – взгляд, открыто приглашавший взять ее, – туго затягивал лассо похоти, накинутое на мои уши. Она явно призывала к действию, и, придя в себя от неожиданности, я ответил на ее призыв в лаконичной неспешной манере виргинского джентльмена, что, насколько я понимал (или тщеславно полагал), и полонило ее:

– Что ж, сладость моя, раз ты этого хочешь, я, пожалуй, мог бы погорячить тебе кровь под простынкой.

Она, естественно, не могла знать, как, сначала опасно замерев, снова заколотилось мое сердце. И выражения и акцент были лихо мною подобраны, но это лишь позабавило Лесли и явно помогло мне завоевать ее. Нарочито напыщенные обороты речи, которые я употреблял, валяясь рядом с Лесли на песке, вызывали у нее то взрывы смеха, то изумление. Дочь фабриканта пластмассовых изделий, только что окончившая колледж и из-за превратностей судьбы и войны не выезжавшая из Бруклина дальше озера Уиннипесоки, штат Нью-Гэмпшир (она со смехом заявила мне, что целых десять лет ездила туда в лагерь Нихок), Лесли, оказывается, впервые разговаривала с южанином или, наоборот, слушала его.

Начало того воскресного дня сохранилось приятнейшим, хоть и потускневшим, воспоминанием среди множества других, потускневших с годами эпизодов. Кони-Айленд. Семьдесят девять градусов по Фаренгейту,[94] золотистый, искрящийся воздух. Запах сладкой кукурузы, яблок из марципана и тушеной капусты – и Софи, тянущая за рукав меня, а потом Натана, требующая, чтобы мы испробовали все самые дикие аттракционы, что мы и делали. Американские горы! Мы чуть не свернули себе шею, не однажды, а дважды прокатившись по «Мертвой петле», и еле стояли на ногах после страшного аттракциона «Хват», где железная рука выбросила гондолу с нами тремя в пространство и мы с криком понеслись по кругу, то и дело меняя орбиту. Софи получала не просто удовольствие от этих катаний, а нечто куда большее. Я никогда еще не видел, чтобы подобные развлечения вызывали у кого-либо – даже у ребенка – такое ликование, такой неподдельный ужас, такой простодушный, нутряной восторг. Она восклицала в упоении, прелестно вскрикивала от какого-то дикарского восторга, куда более сильного, чем сладостное чувство опасности. Софи хваталась за Натана, зарывалась головой в сгиб его руки и смеялась, и визжала до слез. Что до меня, то я ни в чем не уступал им до определенного момента: когда дело дошло до прыжка с парашютом с двухсотфудовой вышки, сохранившейся со времен Всемирной выставки 1939 года, я уперся: хотя это, наверно, было абсолютно безопасно, но у меня начинала кружиться голова при одном взгляде на вышку.

– Трусикашка, Язвинка! – крикнула Софи и потянула меня за руку, но даже ее

уговоры не заставили меня сдвинуться с места.

Слизывая с палочки мороженое-эскимо, я наблюдал, как Софи и Натан в своих старомодных одеждах становились все меньше и меньше по мере того, как их поднимали на канатах вверх, под вздувшийся на ветру тент; они помедлили наверху, задержались на душераздирающую, перехватывающую дух секунду – так бесконечное тиканье времени словно приостанавливается перед тем, как осужденный проваливается в разверзшийся люк и повисает на виселице, – и в свисте воздуха заскользили вниз, к земле. Крик Софи, пронесшийся над пляжем, кишевшим отдыхающими, вполне могли услышать далеко в море, на судах. Прыжок был для нее последней каплей опьянения, и она рассказывала о своих переживаниях, пока у нее не перехватило дух, и безжалостно издевалась надо мной за мою бесхребетность («Язвинка, ты просто не понимаешь, что такое веселье!»), шагая по доскам к пляжу, среди толкавшихся и пихавшихся костлявых, плотных, стройных, веснушчатых и пышных человеческих тел, участвовавших в этом причудливом спектакле.



За исключением Лесли Лапидас и Морти Хэйбера, остальные пять-шесть человек, лежавших на песке вокруг будки спасателя, были так же незнакомы Натану и Софи, как и мне. Морти – неумно дружелюбный, рослый, волосатый, типичный спасатель – познакомил нас с тремя загорелыми молодыми людьми по имени Ирв, Шерли и Берт в плавках из ластекса и тремя очаровательными кругленькими, медвяно-загорелыми девушками, которых я стал называть

Сандра, Шерли и затем – ах! – Лесли. Морти был более чем любезен, остальные же держались неуловимо отчужденно, даже враждебно (я, как южанин, тут же полез к ним с рукопожатиями, тогда как они явно к этому не привыкли и брали мою руку, точно скользкую рыбину), отчего мне стало определенно не по себе. Окинув взглядом компанию, я к тому же почувствовал и легкое, но подлинное смущение – такой я был тощий и от рождения бледный. Белокожий, как издолщик, с розовыми локтями и ободранными коленями, я чувствовал себя бледной немочью среди этих гладких, загорелых, словно обитатели Средиземноморья, тел, поблескивающих, как дельфины, под слоем загарного масла «Коппертон». Как я завидовал такой способности кожи, когда торс мог стать цвета мореного ореха.

Несколько пар очков в роговой оправе, общее направление разговора и разбросанные вокруг книги (в том числе «Функция оргазма») привели меня к выводу, что я нахожусь среди людей ученых, и я оказался прав. Все они либо только что окончили Бруклинский колледж, либо так или иначе были связаны с ним. Правда, Лесли училась в колледже Сары Лоурснс. Исключение она составляла и в том, что не была холодна ко мне, как все остальные. В смелом (по тем временам) белом нейлоновом купальном костюме – лифчике и трусиках, – обнажавшем, как я тотчас обнаружил при беглом взгляде, впервые увиденный мною в натуре женский пупок, только она – из всех, кому представил меня Морти Хэйбер, – окинула меня теплым, а не озадаченно-недоверчивым взглядом. Она улыбнулась, оглядела меня без утайки с ног до головы и поманила лапкой, предлагая сесть рядом. Она сильно вспотела на жарком солнце, и от тела ее исходил резкий мускусный запах, который мгновенно приковал меня к ней, как шмеля. Не в силах произнести ни слова, я смотрел на нее голодными глазами. Право же, передо мной была Мириам Букбайндер, предмет моей детской любви, превратившаяся в женщину с аппетитными, идеально пропорциональными формами. Грудь ее были созданы для пиршества. Ложбинку между ними – таинственную прорезь, которой я никогда еще не видел так близко, – усеивали крошечные росинки. Мне хотелось зарыться носом в эту влажную пышную грудь еврейки и стенать от радости приобщения.

Затем, когда мы с Лесли разговорились (помнится, насчет литературы – после того как Натан весьма к месту вставил, что я писатель), я почувствовал, как срабатывает принцип притяжения противоположностей. Еврейку и гою, точно магнитом, тянуло друг у другу. Ошибиться тут было невозможно – таким теплом почти сразу повеяло от нее, так стремительно и ощутимо возник ток взаимопонимания, а это не столь часто встречается в жизни. Но была между нами и другая, менее сложная общность. Как и я, Лесли окончила колледж по английской словесности; ее выпускная работа была посвящена Харту Крейну,[95] и она прекрасно разбиралась в поэзии. Но суждения ее отличались неакадемической свежестью и свободой. Поэтому мы легко, без трений

обменивались мнениями, хотя мое внимание то и дело привлекали ее потрясающие груди и пупок, этакий малюсенький, идеальной формы кубок, к которому, как мне вдруг на долю секунды привиделось, я мог бы припасть и вылизать лимонад или какой-нибудь нектар. Беседа перескочила на другого лауреата Бруклинского колледжа – Уолта Уитмена, и тут мне уже легко было не слишком вслушиваться в то, что говорила Лесли. В колледже да и в других местах я не раз и вполне серьезно разыгрывал эту маленькую шараду на культурные темы и знал, что это лишь прелюдия, предварительное прощупывание друг друга, когда важнее авторитетный тон, каким произносятся слова, чем смысл того, что говорится. Короче, этот ритуальный брачный танец позволяет отвлекаться мыслью – не только, как в данном случае, на пышные тела Лесли – и дает возможность попытаться проникнуть в подтекст. Поскольку я не очень вникал в слова, то сначала подумал, что ослышался, что это какая-то новая словесная игра, и лишь потом понял, что это говорится не в шутку, что в разговоре назойливо присутствует некая мрачная нота – ведь почти каждая фраза начинается со ссылки: «Как сказал мой аналитик...»

То и дело прерывавшийся, заиклившийся на одной теме, наш разговор озадачивал меня и в то же время пленял, а кроме того, он был предельно откровенен, и это было настолько для меня внове, что я почувствовал, как у меня горят уши – такого со мной не бывало с восьми лет. В общем и целом эта беседа пополняла мой жизненный опыт, она произвела на меня столь сильное впечатление, что в тот вечер, у себя в комнате, я по памяти дословно записал ее, – эти записи, выцветшие и пожелтевшие, я извлек сейчас из прошлого вместе с письмами отца. Хотя я дал себе слово не перегружать читателя чрезмерным обилием заметок, которые я в то лето в великом множестве набросал (это утомляет и отнимает время, а кроме того, указывает на спад в работе воображения), в данном случае я делаю исключение, вставляя в текст свою маленькую запись без всяких изменений в качестве достоверного образчика разговора, какой вели люди в 1947 году – году зарождения психоанализа в послевоенной Америке.

Девушка по имени Сандра: «Мой аналитик сказал, что моя способность передавать телу приказы из антагонистической стадии перешла в стадию благожелательную. Он сказал, это обычно означает, что аналитику придется преодолевать меньше барьеров и репрессий».

Долгое молчание. Слепящее солнце, чайки на фоне лазурного неба. На горизонте – перышко дыма. Чудесный день, ждущий своего гимна, вроде оды «К радости» Шиллера. Что же, черт подери, гнетет эту молодежь? В жизни не видал такого мрака, такого отчаяния, такой оцепенело-тупой серьезности. Наконец кто-то нарушает долгую тишину.»

Парень по имени Ирв: «Не переживай по части благожелательности, Сандра. А

то доктор Бронфман живо засадит в тебя свою пушку».

Никто не смеется.

Сандра: «Это не смешно, Ирвинг. Собственно, то, что ты сейчас сказал, – возмутительно. В способности человека передавать телу приказы нет ничего смешного.»

Снова надолго воцаряется тишина. Я совершенно оглушен. Ни разу в жизни не слышал, чтобы в смешанном обществе употребляли такие слова. Как никогда не слышал и о способности передавать телу приказы. Я чувствую, как съеживается все мое пресвитерианское нутро. Эти люди чувствуют себя действительно совершенно раскрепощенными. Но если так, то почему же здесь царит такой мрак?

«А мой аналитик говорит, что способность передавать телу приказы – дело серьезное, независимо от того, делаешь ли ты это с чувством антагонизма или благожелательности. Она говорит, это свидетельство того, что ты не преодолел в себе эдипов комплекс.» Всё это произносит девчонка по имени Шэрли, не такая первоклассная, как Лесли, но с большими титьками. Как отмечал Т. Вольф, у еврейских девчонок потрясающе развиты груди. Но у всех девчонок, кроме Лесли, такой вид, будто они пришли на похороны. Вижу: Софи на самом краю песчаной площадки прислушивается к разговору. Чистое счастье, которым она вся светила, катаясь на дурацких аттракционах, исчезло. Красивое лицо ее насуплено, помрачнело – она молчит. До чего же она хороша, даже в плохом настроении. Время от времени она бросает взгляд на Натана – словно хочет удостовериться, что он тут, – и снова сдвигает брови, а вокруг продолжается болтовня.

Говорят, что попало:

«Мой аналитик сказал, мне потому так трудно кончить, что у меня прегенитальная фиксация.» (Сандра).

«Девять месяцев я занимался психоанализом и только тогда понял, что хочу спать не с матерью, а с тетей Сэиди.» (Берт) (Легкий смешок.)

«До того, как я стала заниматься психоанализом, я была абсолютно фригидна, можете представить себе такое? А сейчас только и думаю, с кем бы переспать. Вильгельм Райх превратил меня в нимфоманку, я хочу сказать – у меня один секс в мозгах!»

Эти последние слова, которые произнесла Лесли, переворачиваясь на живот, так повлияли на мое либидо, что меня на всю жизнь перестали занимать слова

«половое бессилие». Мною овладело не просто желание – меня поистине подхватил ураган похоти. Неужели Лесли не понимала, что сделала со мной своими речами, как эти ее бесценные откровенности пронзили острыми копьями бастион моих христианских принципов, требовавших воздержания и самоограничения? Меня охватило такое волнение, что весь залитый солнцем морской берег – купальщики, волны с белыми барашками, даже самолет, который гудел в небе, таща за собой полотнище: КАЖДЫЙ ВЕЧЕР СЕНСАЦИЯ НА БЕГАХ У АКВЕДУКА, – вдруг приобрел порнографическую окраску, словно увиденный сквозь мертвенно-голубой фильтр. Я не мог оторвать глаз от Лесли в ее новой позе – длинные загорелые ноги переходили в крепкие ягодицы, крупные, симметрично расположенные округлости, за которыми в свою очередь следовала выемка и снова подъем к медно-красной спине с легкой россыпью веснушек, гладкой, как у тюленя. Она, должно быть, догадывалась, что мне неодолимо захочется погладить эту спину (а то и ждала прикосновения моей потной ладони, которой я мысленно уже массировал ее прелестный зад), ибо вскоре повернул голову и спросила:

– Эй, не смажете ли меня? А то я изжарюсь.

Все, что было после этой минуты интимной близости, когда я размазывал лосьон по ее плечам и вниз, по спине, до расщелины между ягодиц, укромной складочки, соблазнительно более светлой, а затем пальцы мои, пролетев по воздуху, двинулись дальше, к таинственным областям между ее ног, блестящих от пота, – все события того дня подернуты в моей памяти дымкой, подцвеченной наслаждением.

По рукам ходили банки с пивом из бара на пляже, и это, конечно, поддерживало по мне эйфорию; даже когда Софи и Натан, простившись со мною, ушли – вид у Софи был изнуренный и несчастный, и она сказала, что плохо себя чувствует, – я не спустился на землю с заоблачных высот, куда забрался в своем восторге. (Я припоминаю, однако, что после ухода Софи и Натана в группе, сидевшей на песке, воцарилось на миг неловкое молчание – молчание, нарушенное чьим-то вопросом: «А вы видели этот номер у нее на руке, эту татуировку?») Через полчаса болтовня про психоаналитиков отчаянно мне надоела, и, осмелев от выпитого и от всего этого загула, я предложил Лесли перейти куда-нибудь в другое место, где мы могли бы посидеть и поговорить наедине. Она согласилась, тем более что набежали облачка, и мы приютились в кафе на краю пляжа, где Лесли пила лимонад, а я заливал мой все нараставший пыл «Будвейзером», опустошая банку за банкой. Но пусть разыгравшуюся в тот день оперетту дополнят еще несколько строк из лихорадочно набросанных мною записей:

Мы с Лесли сидим в баре ресторана под названием «У Виктора», я слегка опьянел. Никогда в жизни я еще не был так наэлектризован. У этой еврейской

дриады больше секса в одном экспрессивном мизинчике, чем у всех моих знакомых девственниц из Виргинии и Северной Каролины, вместе взятых. К тому же она чрезвычайно умна, что подтверждают слова Генри Миллера насчет того, что секс идет от головы, то есть нудные девчонки нудны и в постели. Наша беседа течет волнами, точно море, то вздымаясь, то опадая: Харт Крейн – секс, Томас Харди – секс, Флобер – секс, Шопенгауэр и Ницше – секс, Гекльберри Финн – секс. Я включил горелку моего интеллекта и обратил весь огонь на Лесли. Не будь мы в общественном месте, она тут же стала бы моей. Я держу через столик ее руку – рука влажная, словно омытая чистым экстрактом желания. Говорит она быстро, с бруклинским акцентом, характерным, как я уже понял, для высших слоев местного общества, схожим с тем, на каком говорят в Манхэттене. У нее прелестные ужимки, и она так мило то и дело улыбается. Очаровательна! Но что меня по-настоящему забирает, так это словечки, которые на протяжении этого неспешного часа по разным поводам слетают с ее уст, – таких слов я никогда еще от женщины не слышал. Впрочем, как только я к ним привыкаю, они уже не кажутся мне грязными... Говорит в основном она, хотя и я вношу свою лепту и даже с таким наигранным равнодушием и невероятным внутренним возбуждением впервые в жизни произношу в присутствии женщины стопроцентную непристойность. Когда мы выходим из кафе, я уже основательно назюзюкался и настолько расхрабрился, что обхватил рукой крепкую голую талию Лесли. По пути я погладил ее по бедрам, и она в ответ прижала к себе мою руку, а в ее черных восточных глазах сверкнул такой огонек, они так озорно посмотрели на меня, что я уже не сомневался: наконец-то я чудом нашел женщину, свободную от омерзительных условностей и благочестия, которые так влияют на нашу лицемерную культуру...

Мне немного стыдно, что в вышеприведенном куске почти нет и следа иронии (а ведь я был способен на «этакый оттеночек»!) – это лишь указывает на то, как действительно повлияла на меня встреча с Лесли или как я поглупел от захватившей меня страсти... или же просто – как работал мой легко поддающийся внушению мозг в возрасте двадцати двух лет. Так или иначе, когда мы с Лесли вернулись на пляж, песок вокруг будки спасателя был залит предвечерним светом, в котором все еще дрожали волны зноя; унылые объекты психоанализа отбыли, оставив после себя полузансенный песком экземпляр журнала «Партизан ревью», пустые тюбики из-под мази для носа и бутылки из-под кока-колы. Мы посидели там еще с часок, согретые и словно зачарованные нашим сродством, связывая обрывки незавершенного разговора, оба прекрасно понимая, что в тот день сделали первый шаг в наших намерениях пуститься в странствие по неосвоенной и не нанесенной на карту местности. Мы лежали рядышком на животе. Я нежно чертил кончиками пальцев овалы на пульсирующей шее Лесли – она вдруг протянула руку и погладила меня.

– Мой аналитик сказал, – заметила она, – что человечество будет вечным себе

врагом, пока не поймет, что каждому человеческому существу enfin[96] необходимо фантастически потрахаться.

И я услышал словно издалека собственный голос, прерывисто, но искренне произнесший:

– Твой аналитик, должно быть, очень мудрый человек.

Она долго молчала, затем повернулась и, глядя мне прямо в лицо, наконец произнесла, не скрывая желаний, лениво и откровенно, то, от чего у меня остановилось сердце, а разум и чувства пришли в полное смятение:

– Держу пари, ты мог бы фантастически потрахать девчонку.

После чего мы условились об очередной встрече в четверг вечером.

Настало утро четверга с его, как я уже говорил, предвкушением наслаждения, с почти невыносимым ожиданием обещанного. Сидя за моим розовым письменным столом, я сумел, однако, подавить в себе болезненную лихорадку, обуздать свою фантазию и часа три-четыре посвятить серьезному письму. Вскоре после полудня я почувствовал, что у меня засосало под ложечкой. Сверху, от Софи, за все утро не раздалось ни звука. По всей вероятности, она почти все время просидела, уткнувшись в книгу, прилежно занимаясь самообразованием. За год, прошедший после ее встречи с Натаном, она научилась читать английские тексты если и не вполне свободно, то, во всяком случае, неизмеримо более бегло: она уже не пользовалась польскими переводами и сейчас была всецело поглощена однотомником Фолкнера, составленным Малколмом Коули, – книга эта, насколько мне известно увлекала ее и одновременно ставила в тупик. «Какие у него фразы, – говорила она мне, – тянутся и тянутся, точно рехнувшаяся змея!» Но Софи была достаточно тонким читателем и не могла не поражаться замысловатому построению сюжета и могучей силе Фолкнера. Я почти наизусть знал этот томик, который в колледже побудил меня изучить все творчество Фолкнера, и это по моему совету – в метро или где-то еще в то памятное воскресенье, когда мы познакомились, – Натан купил книжку и в начале недели подарил ее Софи. С тех пор во время наших посиделок мне доставляло большое удовольствие помогать Софи в понимании Фолкнера, не только разъясняя своеобразные обороты принятого на Миссисипи языка, но и показывая ей пути проникновения в изумительные рощи и камышовые заросли риторики мастера.

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась Софи, ее волновала и впечатляла та неистовая сила, с какою проза Фолкнера воздействовала на ее сознание.

– Понимаешь, он пишет как одержимый! – сказала она мне и добавила: – Вот уж очень ясно, что он никогда не занимался психоанализом.

При этом она с отвращением наморщила носик, явно намекая на загоравших с нами молодых людей, которые так возмутили ее в прошлое воскресенье. Я тогда этого не понял, но как раз та фрейдистская болтовня, которая так заинтересовала и, уж во всяком случае, позабавила меня, показалась Софи омерзительной и побудила ее бежать вместе с Натаном с пляжа.

– Какие странные, жуткие люди – все так ковыряют эти свои маленькие... болячки, – заметила она как-то мне, когда Натана не было с нами. – Терпеть не могу такой тип, – и тут она употребила выражение, показавшееся мне настоящей жемчужиной, – пустопорожного горя!

Хотя я отлично понял, что она имеет в виду, меня поразила пылкость ее неприятия, и я подумал, поднимаясь к ней, чтобы вместе отправиться на пикник, не сказывается ли тут непримиримость, сохранившаяся у нее от той суровой религии, которую она исповедовала, но от которой, я знал, отвернулась.



Я не собирался застичь Софи врасплох, но дверь в ее комнату была приоткрыта, и, поскольку я увидел, что она одета – «в приличном виде», как говорили в ту пору девушки, – я вошел, не постучав. Она стояла на другом конце большой комнаты в таком широком одеянии, или халате, и причесывалась перед зеркалом. Повернувшись ко мне спиной, она явно не догадывалась о моем присутствии и продолжала водить щеткой по блестящим длинным светлым

волосам, так что они слегка потрескивали в полуденной тишине. Все еще находясь во власти остатков похоти – вернее, моих мечтаний о похождениях с Лесли, – я чуть было не подкрался сзади к Софи, до того мне вдруг захотелось уткнуться носом ей в шею, взять в ладони полушария ее груди. Но эта мысль была сама по себе бессовестна, и, молча стоя в дверях, я нехотя вынужден был признать, что вообще нехорошо нарушать вот так ее уединение, и потому решил возвестить о себе легким покашливанием. Софи испуганно вскрикнула и обернулась – я увидел лицо, которое мне никогда не забыть. Я был потрясен: передо мной – по счастью, всего лишь миг – стояла старая развалина с ввалившейся нижней половиной лица и дырой, окруженной морщинистой кожей вместо рта. Это была маразматическая маска, поблекшая и жалкая.

Я чуть не закричал, но не успел: Софи, охнув, прикрыла рот руками и кинулась в ванную. Я долго стоял в смущении, с бьющимся сердцем, прислушиваясь к звукам, глухо долетавшим из-за двери в ванную, только сейчас поняв, что на диске крутится пластинка и тихо звучит соната для фортепьяно Скарлатти. Затем до меня донесся голос Софи, скорее игривый, чем раздраженный:

– Язвинка, когда же ты научишься постучать, а потом войти к даме?

И тут – только тут – я понял, что я видел. Я был благодарен Софи за то, что она на меня не рассердилась, и тронут широтой ее души – интересно, как бы я реагировал, подумал я, если бы меня кто-то застал без зубов. В эту минуту Софи появилась из ванной – на щеках ее все еще играл легкий румянец, но она была спокойна, даже весела, и лицо ее – хвала американским дантистам! – было снова прекрасно.

– Пошли в парк, – сказала она, – я упадаю в обморок от голода. Я... аватар голодна!

«Аватар» было, конечно, заимствовано у Фолкнера, и в восторге от того, как Софи употребила это слово, а также от того, что к ней вернулась прежняя красота, я – к полной для себя неожиданности – вдруг разразился громким хриплым смехом.

– Брауншвейгские сосиски с рисом и горчицей, – сказал я.

– Горячие пастрамы![97] – воскликнула она, вторя мне.

– Саями и швейцарский сыр на черном хлебе, – продолжал я, – с маринованным огурчиком.

– Прекрати, Язвинка, ты убиваешь меня! – воскликнула она, заливаясь смехом. – Пошли же!

И мы пошли в парк, заглянув по пути в дорогой гастрономический магазин Хаймелфарба.

Шестое

Натану удалось сделать Софи такие великолепные вставные зубы с помощью своего старшего брата Ларри Ландау. И хотя не кто иной, как сам Натан, вскоре после встречи с Софи в библиотеке Бруклинского колледжа поставил пусть непрофессиональный, но точный диагноз ее болезни, именно брат помог ему найти способ покончить и с этой проблемой. Ларри, с которым я познакомился в конце лета при чрезвычайно сложных обстоятельствах, был хирургом-урологом с большой и богатой практикой в Форест-Хиллз. Брату Натана было тридцать с небольшим, и он уже успел прославиться в своей области: ему довелось участвовать – а он тогда преподавал в колледже по подготовке врачей и хирургов при Колумбийском университете – в весьма оригинальном и ценном научном исследовании функций почек, что привлекло к нему заинтересованное внимание профессионалов, когда он был еще совсем молодым. Натан как-то с большим восхищением рассказал мне об этом, явно необычайно гордясь братом. Ларри весьма отличился и на войне. Он был старшим лейтенантом медицинской службы на флоте и провел под огнем камикадзе на борту обреченного авианосца у берегов Филиппин несколько смелых и необыкновенно удачных хирургических операций; за это он получил Военно-морской крест – награду, к которой не слишком часто представляют медика (а тем более еврея на антисемитски настроенном флоте), что потом, в 1947 году, когда еще живы были воспоминания о войне и доблести, давало Натану лишний повод распускать перья и гордиться.

Софи рассказала мне, что узнала имя Натана лишь через много часов после того, как он спас ей жизнь в библиотеке. От того первого дня – да и от последующих – у нее остались неизгладимые воспоминания о его поистине поразительной заботливости. Вначале – возможно, потому, что она помнила, как он склонился над нею и тихо произнес: «Разрешите доктору позаботиться обо всем», ей и в голову не пришло, что это было сказано в шутку; поэтому и позже, когда он, властно, но мягко прижав ее голову к своему плечу и нашептывая слова утешения, вез ее к Етте на такси, она продолжала считать, что он в самом деле врач. «Надо будет вас подправить, – по воспоминаниям Софи, произнес он тогда таким полушутливым тоном, вызвавшим у нее впервые после обморока тень улыбки. – Нельзя же, чтобы вы хлопались в обморок в библиотеках Бруклина и до полусмерти пугали людей».

Столько дружелюбия, поддержки и доброты, столько заботливости было в его голосе, да и вообще все в нем мгновенно внушало такое доверие, что, когда они вошли к ней в комнату (нагретую до духоты послеполуденным солнцем, так что

Софи снова ненадолго потеряла сознание и привалилась к Натану), она без малейшего стеснения позволила ему осторожно расстегнуть и снять с нее перепачканную одежду, а потом деликатно, но решительно уложить в постель, на которой она и растянулась в одних трусиках. Она чувствовала себя гораздо лучше, тошнота прошла. Но хоть она и лежала пластом, глядя в потолок, пытаясь ответить улыбкой на вопрошающую, грустную улыбку незнакомца, она по-прежнему чувствовала сонливость и гнетущее бессилие. «Почему я такая усталая? – услышала она свой слабый голос. – Что со мной?» Она по-прежнему считала, что он врач и так пристально, молча, с легким состраданием смотрит на нее, потому что пытается профессионально поставить диагноз, а потом вдруг поняла, что взгляд прикован к номеру, выжженному на ее руке. Она резко дернулась, пытаясь накрыть номер ладонью (что было странно, ибо она давно уже перестала стесняться этой меты), но не успела – он мягко взял ее за запястье и, как в библиотеке, стал считать пульс. Какое-то время он молчал, и ей было так спокойно и хорошо – она чувствовала его уверенные пальцы и начала засыпать, а в ушах звучали слова, придавая силы, успокаивая благословенной веселостью тона: «Доктор считает, надо проглотить такую большую таблетку, чтобы эта красивая белая кожа чуточку порозовела». Снова – доктор! Тут Софи мирно погрузилась в сон без видений, а когда – всего через несколько минут – проснулась и открыла глаза, доктора уже не было.

– Ох, Язвинка, я так хорошо все помню – я давно не чувствовала такую страшную панику. И это было, знаешь, так странно! Я ведь даже не знала его. Я даже не знала его имя! Я была с ним всего час, думаю, даже меньше, и вот он ушел, а у меня такая паника, такая сильная паника и страх, что он никогда больше не придет, что он ушел навсегда. Это все равно как потерять очень близкий человек.

Следуя некоему неодолимому романтическому порыву, я спросил, неужели она вот так сразу и влюбилась. Может, это один из примеров, поинтересовался я, чудесного мифа насчет «любви с первого взгляда»?

Софи сказала:

– Нет, не совсем – по-моему, тогда это не была любовь. Но в общем, пожалуй, близко. – Она помолчала. – Просто не знаю. Глупо как-то, когда такое случается. Ну как это может быть – знать человека всего сорок пять минут и почувствовать такая пустота, когда он ушел? Absolument fou! [98] Тебе не кажется? Я с ума сходила без него.

Мы устроили передвижной пикник, останавливаясь то в солнечных, то в тенистых уголках Проспекта-парка. Я уже не могу припомнить, сколько раз мы с Софи прикладывались к еде – наверняка раз пять, а то и больше. Не очень помню

я и где мы пристраивались – на траве, среди каменистых осыпей, и в лощинках, и на уединенных дорожках – с нашими промасленными бумажными мешочками и поллитровыми пакетами молока, а также с засаленной и рваной «Антологией американской поэзии» Оскара Уильямса, с помощью которой я пытался продолжить образование Софи, начатое много месяцев тому назад толстяком Янгстином. Впрочем, одно место я живо помню – заросший травой мысок, вдававшийся в озеро и обычно пустынный в этот час по рабочим дням; туда приплывал секстет крупных, драчливых на вид лебедей, которые высаживались, словно гангстеры, из тростников и, шагая вперевалку по траве, агрессивно шипя своим безголосым горлом, оспаривали друг у друга кусочки наших булочек с маком и прочие остатки еды.



Один из лебедей, маленький самец, значительно менее проворный и боевитый, чем остальные, был ранен в глаз – должно быть, при встрече с каким-нибудь диким двуногим бруклинцем – и остался с бельмом; это бельмо напоминало Софи о ее кузене Тадеуше из Лодзи, который умер давно, в тринадцать лет, от лейкемии.

Я не в состоянии был перекинуть этот антропоморфический мостик и представить себе, как лебедь может походить на человека, но Софи клялась, что они похожи как две капли воды, стала звать лебедя Тадеушем и, что-то нашептывая по-польски, прищелкивая и причмокивая языком, принялась вываливать ему остатки нашей еды из мешка. Я редко видел, чтобы Софи теряла самообладание, но то, как властно, по-хозяйски повели себя другие лебеди, такие откормленные и алчные, привело ее в ярость, и она принялась кричать на этих

здоровенных нахалов, осыпая их польскими ругательствами, и уж постаралась, чтобы Тадеуш получил побольше еды. Меня поразило, с какой злостью действовала Софи. Я тогда не связал – потому что еще не мог – энергичную защиту увечного существа (точнее, птицы!) с событиями ее прошлого, но ее кампания за справедливое отношение к Тадеушу была забавна и необычайно трогательна. И тем не менее у меня есть другая, личная причина изобразить Софи среди лебедей. Теперь, покопавшись как следует в памяти, я вспомнил, что именно здесь, на этом маленьком мыске, ближе к концу лета, во время одной из наших посиделок, затянувшейся до заката, когда солнце уже начинало садиться далеко позади нас, за грядой Бей-Ридж и Бенсонхерстом, Софи поведала мне – то с отчаянием, то с надеждой, но в основном с отчаянием, – каким неровным был тот год, прожитый ею с Натаном, которого она обожала, но в котором видела уже тогда (говоря мне об этом) – да, конечно! – своего спасителя и одновременно человека, несущего ей гибель...

А в тот день, к ее безграничному облегчению, он через полчаса вернулся, подошел к ее кровати, снова посмотрел на нее такими ласковыми глазами и сказал:

– Сейчас поедem к моему брату. О'кей? Я тут договорился кое с кем по телефону.

Софи растерялась. Он сел подле нее.

– Зачем вы хотите везти меня к вашему брату? – спросила она.

– Мой брат – доктор, – ответил он, – один из лучших практикующих врачей. Он вам поможет.

– Но ведь вы же... – начала она и умолкла. – Я думала...

– Вы думали, что я врач, – сказал он. – Нет, я биолог. А как вы себя чувствуете?

– Лучше, – сказала она, – много лучше.

И это была правда, причем в значительной степени, поняла Софи, благодаря его ускользающему присутствию.

Он принес с собой большой пакет и теперь, открыв его, быстро и ловко принялся извлекать содержимое и раскладывать на широком столе, стоявшем в ногах ее кровати и служившем для кухонных нужд.

– Какое мешугас![99] – донеслось до нее.

Она захихикала – такую он принялся разыгрывать дешевую комедию: с неожиданно колоритным, ярко выраженным еврейским акцентом, сильно наморщив лоб, совсем как пожилой, загнанный, подслеповатый, вечно трясущийся скупердяй – хозяин магазинчика на Флэтбуш-авеню, – он стал перечислять бутылки, и банки, и картонные коробочки, появляющиеся из пакетика. Этой своей забавной, поразительно ритмичной инвентаризацией он напоминал ей Дэнни Кэя (она не раз видела его, это был один из немногих любимых ею киноактеров), и она все еще сотрясалась от беззвучного смеха, когда он вдруг, прервав перечисление и повернувшись к ней, показал банку с белой этикеткой, осыпанную капельками ледяной росы.

– Бульон-мадрилен, – своим обычным голосом произнес Натан. – Я обнаружил магазин, где это держат на льду. Я хочу, чтоб вы поели бульона. Потом вы, как Эстер Уильямс, сможете проплыть пять миль.

Софи почувствовала, что хочет есть и от голода у нее сводит желудок. Натан вылил бульон в одну из ее дешевых пластмассовых мисочек, и она, приподнявшись на локте, с удовольствием принялась есть холодный желеобразный суп с терпким привкусом. Покончив с едой, она сказала Натану:

– Спасибо. Теперь я чувствую много лучше.

Она снова ощутила на себе его пристальный взгляд, а он сидел рядом и так бесконечно долго молчал, что при всем доверии к нему ей стало чуточку неприятно. Наконец он произнес:

– Готов поспорить на сто долларов, что у вас тяжелая анемия из-за недостатка витаминов. Очевидно, фолиевой кислоты или В-двенадцать. Но скорее всего – железа. Послушайте, крошка, вы последнее время нормально питались?

Софи сказала, что, за исключением короткого периода в несколько недель, когда она, по сути дела, сама довела себя до такого состояния, что не могла есть, последние полгода она питалась куда здоровее и лучше, чем когда-либо в жизни.

– У тебя есть такая проблема, – пояснила она. – Я не могу кушать много животный жир. А все остальное – о'кей.

– Значит, у вас не хватает железа, – сказал Натан. – Судя по вашим словам, вы получали более чем достаточно фолиевой кислоты и витамина В-двенадцать. А вам и того и другого нужно немного. С железом же дело обстоит куда сложнее. У вас могла получиться нехватка железа, и вы не сумели ее восполнить. – Он помолчал, затем, очевидно заметив тревогу на ее лице (ибо то, что он говорил, озадачило и взволновало ее), ободряюще ей улыбнулся. – Такие вещи лечить

ничего не стоит, как только ты их пригвоздил.

– Пригвоздил?

– Понял, в чем беда. Тогда вылечить очень просто.

Ей почему-то неловко было спросить, как его зовут, хотя она умирала от желания узнать его имя. Он сидел подле нее и она, украдкой бросив взгляд на его лицо, решила, что он на редкость интересный мужчина – бесспорно еврей, с точеным симметричным лицом, на котором выдавался сильный крупный нос, весьма его красивший, как и светящиеся умом глаза, в которых сострадание так быстро, легко и естественно сменялось насмешкой – и наоборот. И снова она почувствовала, что от одного его присутствия ей становится легче – правда, усталость и сонливость еще владели ею, но тошнота и сильное недомогание прошли. Потом, пока она лежала так, в голову ей вдруг пришла блестящая мысль. Просматривая утром в «Таймс» программу радиопередач, она с великим огорчением обнаружила, что из-за занятий английским не сможет послушать Пасторальную симфонию Бетховена, которую будут передавать в середине дня. Она вновь открыла для себя эту симфонию – совсем так же, как Sinfonia Concertante, только с одним отличием. Софи отчетливо помнила Пасторальную симфонию по прошлому – опять-таки по концертам в Кракове, – но здесь, в Бруклине, поскольку у нее не было патефона и в нужное время она всегда оказывалась не там, где надо, ей ни разу не удалось послушать Пасторальную, о которой то и дело напоминало, дразня, название, – Софи словно преследовала в темном лесу дивную птицу, но та молча улетала при ее приближении.

А сейчас Софи поняла, что из-за случившегося несчастья она по крайней мере сможет послушать музыку; это показалось ей куда важнее, чем беседа на медицинские темы, пусть даже самая утешительная, и потому она спросила:

– Вы не против, если я включу радио?

Не успела она договорить, как он протянул руку и включил приемник за секунду до того, как Филадельфийский оркестр, прошелестев скрипками, сначала нерешительно, потом с нарастающим ликованием заиграл этот опьяняющий гимн цветущей земле. Ощущение красоты было столь острым, что Софи показалось – она умирает. Она закрыла глаза и не открывала их до самого конца симфонии, а когда снова открыла, то застеснялась слез, струившихся по щекам, но ничего не могла с собой поделать, как и не могла сказать ничего здорового или членораздельного самарянину, который по-прежнему смотрел на нее заботливо, серьезно и терпеливо. Он слегка дотронулся до тыльной стороны ее руки.

– Вы плачете, потому что эта музыка звучит так прекрасно? – спросил он. – Даже

по этому паршивому маленькому радио!

– Я сама не знаю, почему я плачу, – ответила она после долгой паузы, сумев все-таки справиться с собой. – Возможно, я плачу потому, что сделала ошибку.

– Какую ошибку? – спросил он.

Она снова долго молчала, потом сказала:

– Сделала ошибку, что стала слушать музыку. Я думала, в последний раз я слышала эту симфонию в Кракове, когда была очень совсем маленькая. А сейчас я слушала и поняла, что еще раз слышала ее потом – в Варшаве. Нам запрещали иметь радио, но один раз вечером я слушала ее по этому запрещенному радио – из Лондон. И сейчас я вспомнила: это последняя музыка, которую я слышала до того, как поехала... – И она умолкла. Зачем она все это говорит чужому человеку? Какое ему до этого дело? Она вытащила из ящика ночного столика бумажную салфетку и промокнула глаза. – Это не есть хороший ответ.

– Вы сказали: «до того, как поехала...» – подхватил он. – Поехали куда? Вы имеете в виду то место, где вам сделали это? – И он многозначительно посмотрел на ее татуировку.

– Я не могу про это говорить, – вырвалось у нее, и она тут же пожалела о своих словах, потому что он покраснел и взволнованно пробормотал:

– Извините. Право же, извините! Я бываю ужасно назойливым... А иногда – настоящим ослом. Ослом!

– Пожалуйста, не говорите так, – поспешно сказала она, устыдившись, что своим тоном поставила его в неловкое положение. – Я не хотела быть такой... – Она умолкла, пытаясь найти нужное слово и найдя его по-французски, по-польски, по-немецки и по-русски, но только не по-английски. Тогда она сказала лишь: – Извините.

– Такая уж у меня манера совать мой длинный шноц куда не следует, – сказал он, и она заметила, что румянец смущения стал исчезать с его лица. – Послушайте, – вдруг сказал он, – мне надо идти. У меня назначена встреча. Но вот что: можно прийти вечером? Не отвечайте! Я все равно вернусь сегодня.

Она была не в силах ответить. Потеряв почву под ногами (не фигурально, а буквально: ведь именно так произошло два часа тому назад – он сгреб ее в библиотеке в охапку и, выйдя с ней на тротуар, остановил такси), она смогла лишь кивнуть, и сказать «да», и улыбнуться, – улыбка все еще блуждала на ее губах, когда он уже сбегал по лестнице. После его ухода время потянулось

мучительно долго. Она сама удивлялась тому, с каким волнением ждала звука его тяжелых шагов, но вот около семи вечера он вернулся – снова с большим пакетом еды и двумя дюжинами чарующе прекрасных чайных роз на длинных стеблях – она в жизни таких не видела. Она уже встала и принялась суетиться, чувствуя себя почти поправившейся, но он приказал ей отдыхать:

– Пожалуйста, разрешите Натану обо всем позаботиться.

Тут она впервые услышала его имя. Натан. Натан! Натан, Натана!

Никогда, никогда, рассказывала она мне, ей не забыть этого их первого ужина, который он так красиво приготовил из самых обычных продуктов – телячьей печенки с пореем.

– Полно железа, – объявил он; на лбу его выступил пот, когда он нагнулся над шипящей раскаленной сковородкой. – Ничего нет лучше печенки. А лук-порей – он же пропитан железом! От него у вас даже тембр голоса станет лучше. Вам известно, что император Нерон велел подавать ему каждый день порей, чтобы голос был звонче? Чтобы он мог распевать, когда будут четвертовать Сенеку? Да сядьте же. Перестаньте суетиться! – приказал он. – Это мое шоу. Вам нужно железо. Железо! Вот почему у нас будет также шпинат со сметаной и салат без ничего. – Она была покорена тем, как Натан, внимательно следя за приготовлением пищи, пересыпал свои замечания по части гастрономии всякими учеными данными о правильном питании. – Печенка с репчатым луком – это, конечно, стандарт, а вот с пореем, сладость моя, это нечто особое. Порей очень трудно найти – я купил его на итальянском рынке. А вам – это так же ясно, как то, что на вашем хорошеньком, но невероятно бледном личике есть носик, – необходимы массированные дозы железа. Значит – шпинат. Недавно провели одно исследование, в результате которого было сделано интересное открытие: оказывается, щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, нейтрализует кальций, в котором вы, наверное, тоже нуждаетесь. Это скверно, но все равно в шпинате столько железа, что вы получите отличное вливание. Ну и салат тоже...

Сам по себе превосходный ужин был все же главным образом нацелен на восстановление сил, зато вино было настоящей амброзией. В юности, в Кракове, Софи привыкла к вину: ее отец отличался известным гедонизмом и настаивал (в таком краю, где, как в Монтане, не было ни одного виноградаря), чтобы обильные и часто по-венски элегантные застолья регулярно орошались хорошими винами из австрийских или венгерских долин. Однако вместе с войной, унесшей столь многое из жизни Софи, исчезло и такое простое удовольствие, как вино, и с тех пор она не прикладывалась к нему, даже если у нее и возникал соблазн побаловаться сухим вином с пределов Флэтбуша, где все были привержены «Моген-Довиду» – сладкому вину. Но она понятия не имела о

существовании такого... напитка богов! Вино, которое принес Натан, было высочайшего качества, и Софи захотелось вновь открыть для себя природу вкуса: она понятия не имела о тайнах французских вин, и потому Натан мог не говорить ей, что это «шато-марго», или что оно урожая 1937 года – последнего из хороших довоенных урожаев, – или что он выложил за это вино фантастическую сумму в четырнадцать долларов (грубо говоря, половину ее недельного жалованья, что она, не веря глазам своим, увидела на ценнике), или что оно выиграло бы в букете, если бы перелить его в графин. Натан рассказывал и рассказывал, стараясь ее развлечь. Она же понимала лишь, что, отхлебнув этого вина, преисполнилась ни с чем не сравнимого наслаждения и отваги, по ее телу побежало сладостное роскошное тепло – вниз, до самых кончиков пальцев, целиком оправдывая весьма своеобразные утверждения древних о лечебных свойствах вин. Повеселев, чувствуя легкое головокружение, она в конце ужина услышала собственный голос, произнесший:

– Знаете, когда человек хорошо прожил жизнь, как святой, и умер, ему, наверно, дают в раю выпивать такое вино.

Натан откликнулся на это не напрямую, хотя и сам явно размяк; он посмотрел на нее серьезно и задумчиво поверх остатков красного вина в своей рюмке.

– Не «выпивать», – мягко поправил он ее, – а просто – пить. – И добавил: – Вы уж меня простите. Я убежденный несостоявшийся учитель.

Затем, покончив с ужином и вымыв вместе посуду, они уселись друг против друга на неудобных стульях с высокими спинками, которые в ту пору стояли в комнате. Внезапно внимание Натана привлекли книги, стоявшие рядком на полке над кроватью Софи: польские переводы Хемингуэя и Вулфа, и Драйзера, и Фаррелла. Поднявшись со стула, он с любопытством принялся их рассматривать. И по его отрывочным замечаниям Софи поняла, что он знает этих писателей; особенно восторженно говорил он о Драйзере: рассказал, что в колледже прочел за один присест всю огромную «Американскую трагедию» – «чуть глаза себе не испортил», а затем посреди рапсодийного описания «Сестры Кери», романа, который она еще не читала, но который, по его мнению, должна непременно прочесть (он утверждал, что это шедевр Драйзера), Натан вдруг умолк на полуслове и, вытаращив, как клоун, глаза – что вызвало у Софи взрыв смеха, – сказал:

– Знаете, а я ведь понятия не имею, кто вы. Что вы делаете в жизни, польская крошка?

Она долго молчала, прежде чем ответить:

– Я работаю у доктора, часть дня. Регистратором.

– У доктора? – переспросил он с явным интересом. – Какого доктора?

Она чувствовала, что ей будет очень трудно произнести это слово. Но в конце концов все-таки сказала:

– Он... он хиропрактик.

Софи увидела, как его передернуло при этом слове.

– Хиропрактик. Хиропрактик! Неудивительно, что у вас нелады со здоровьем!

Она попыталась неуклюже и глупо оправдаться.

– Он очень славный... – начала она. – Он, как вы сказали бы... – И, внезапно прибегнув к помощи идиш, добавила: – ...менш. Его фамилия Блэксток.

– Менш-шменш, – произнес он с невыразимым отвращением, – такая девушка – и работает у какого-то шарлатана...

– Это есть единственное место, которое я могла получить, когда сюда приехала, – перебила она его. – Я же больше ничего не умею!

Она почувствовала, что сказала это с известным раздражением и запалом, и либо ее слова, либо неожиданно резкий тон заставили его поспешно пробормотать извинение.

– Я знаю, – сказал он, – мне не следовало так говорить. Это ведь не мое дело.

– Я бы хотела иметь что-то получше, но у меня нет талантов. – Она произнесла это уже гораздо спокойнее. – Знаете, я ведь начинала учиться тогда, давно, но ничего не окончила. Я, знаете, есть очень недоделанная. Я, в общем, хотела учить люди, учить музыке, стать учителем музыки... но это оказалось невозможно. Так что теперь я регистратор у этого доктора. Это не так уж плохо, vraiment[100]... правда, я хотела бы делать что-то более интересное.

– Извините, не следовало мне так говорить.

Софи посмотрела на него, тронутая его смущением. Насколько ей помнилось, она еще не встречала человека, к которому ее бы сразу вот так потянуло. В Натане было столько притягательного, он был такой напористый, энергичный и разный: как он спокойно, но твердо брал ситуацию в руки, как умел передразнить, как забавно перескакивал в разговоре с кулинарии на медицину –

она, правда, чувствовала, что за этим скрывается подлинная озабоченность ее состоянием. И наконец, эта странная уязвимость и самобичевание – он почему-то напомнил ей в тот миг маленького мальчика. На секунду ей захотелось, чтобы он снова дотронулся до нее, потом это желание ушло. Оба долго молчали – по улице под мелким дождем прошуршала машина, и на далекой церкви широко раскинувшегося Бруклина пробило в гулкой летней тишине девять раз. Вдали, над Манхэттеном, еле слышно прокатился гром. Стемнело, и Софи включила свою единственную настольную лампу.

Возможно, благодаря поистине божественному вину или потому, что Натан держался спокойно и ненавязчиво, но только Софи захотелось не останавливаться на сказанном, а продолжить разговор о себе, и, продолжая, она почувствовала, как почти беспрепятственно, почти свободно, льется у нее по-английски речь, а она и не знала, что обладает такими замечательными способностями.

– У меня ничего не осталось от прошлого. Совсем ничего. Это, знаете, одна из причин, почему я чувствую, что я недоделанная. Все, что есть в этой комнате, оно есть американское, новое: книги, моя одежда, все; ничего не осталось от Польши, от времени моей юности. У меня нет даже ни одной фотографии. Больше всего я жалею, что потеряла тот альбом с фотографиями. Если бы я сумела его сохранить, я бы столько много интересного вам показала – как мы жили в Краков до войны. Мой отец был профессор в университете, но он был тоже очень талантливый фотограф-любитель, очень, понимаете, хороший, так все тонко чувствовал. У него была очень дорогая, фантастическая «лейка». Я помню одну его фотографию – она была в том альбоме, – это был один из лучших его снимков, я так жалею, что ее у меня нет: там мы с мамой сидели за роялем. Мне было тогда лет тринадцать. Мы, должно быть, играли в четыре руки. И мы обе, я помню, были такие счастливые, мама и я. И теперь сама память об этой фотографии для меня есть как бы символ – символ того, что было, и как могло быть, и как уже не может быть. – Она умолкла, гордясь в душе тем, что так свободно владеет, временами глаголов, и подняла взгляд на Натана, а он сидел, слегка ссутулясь, всецело поглощенный ее неожиданными излияниями. – Вы ясно видите – я себя не жалею. Есть вещи и похуже, чем те, что человек не смог доучиться, не стал тем, кем хотел быть. Если бы только это я потеряла, я бы не огорчалась. Было бы замечательно стать музыкантшей, как я думала. Но не получилось. Уже семь, нет, восемь лет я не читала ноты, и я даже не знаю, сумею ли их теперь разобрать. Словом, поэтому я и не могу теперь выбирать себе работа – занимаюсь тем, что нашлось.

Через некоторое время он спросил с обезоруживающей прямоотой, которая ей стала даже нравиться:

– Вы ведь не еврейка, нет?

– Нет, – ответила она. – А вы думали, что да?

– Сначала я, пожалуй, решил, что да. Не так много блондинок-гойим можно встретить у Бруклинского колледжа! Потом, в такси, я повнимательнее присмотрелся к вам. Тут я подумал, что вы датчанка, может быть, финка – словом, из восточной Скандинавии. Но вообще-то у вас широкие славянские скулы. Так что под конец я пришел к выводу, что вы, прошу прощения, паненка – словом догадался, что вы польских корней. Ну а когда вы упомянули Варшаву, тут уж я больше не сомневался. Очень вы красивая паненка, вернее – полячка.

Она улыбнулась, чувствуя, как запылали щеки.

– Pas de flatterie, monsieur.[101]

– А потом, – продолжал он, – начались эти дурацкие несоответствия. Что, ради всего святого, прелестная польская шикса делает в приемной хиропрактика по имени Блэксток и где, черт подери, вы научились говорить на идиш? И последнее – придется вам, черт возьми, примириться с тем, что я сую нос не в свои дела, но меня, понимаете ли, действительно беспокоит ваше состояние, и я должен такие вещи знать! – последнее: откуда у вас этот номер на руке? Вы не хотите об этом говорить, я понимаю. Мне неприятно спрашивать, но я считаю, вы должны мне об этом сказать.

Она откинула голову на грязную спинку скрипучего розового стула. Если, подумала она не без отчаяния, но все же решаясь, – если объяснить ему сейчас основное, терпеливо и ясно, может, и удастся поставить на этом точку и при удаче избежать дальнейших расспросов о вещах более мрачных и сложных, которые она не в силах ни поведать кому-либо, ни описать. Быть может, даже нелепо или оскорбительно с ее стороны наводить такой туман, столь явно держать в тайне то, что в конце концов теперь уже, наверно, знают все. Правда, вот что странно: люди здесь, в Америке, несмотря на множество опубликованных фактов и фотографий, несмотря на кинохронику, по-прежнему, похоже, не знают, что творилось, а если и знают, то поверхностно. Бухенвальд, Бельзен, Дахау, Аушвиц – для них просто какие-то дурацкие названия. Неспособность американцев реально осознать, что же происходило, была еще одной из причин, объяснявшей, почему Софи так редко говорила об этом, помимо того, что вспоминать эту часть своего прошлого ей было мучительно больно. Кстати, про боль: еще не начав говорить, она уже знала, что это причинит ей физические мучения – все равно как если бы она сковырнула не вполне зажившую болячку или попыталась пройти на еще не сросшейся сломанной ноге; однако Натан ведь уже достаточно убедительно показал, что

лишь пытается ей помочь – а она знала, что нуждается в помощи, и весьма отчаянно, – и потому она обязана хотя бы вкратце описать ему события последних лет.

И через какое-то время она заговорила, радуясь тому, что в состоянии рассказывать бесстрастно, поистине прозаически.



– В апреле сорок третьего года меня отправили в концентрационный лагерь на юг Польши – он назывался Аушвиц-Биркенау. Это рядом с таким городком – Освенцим. Я тогда жила в Варшава. Я жила там уже три года – с начала сорокового года, когда мне пришлось уехать из Краков. Три года – это много, но до конца войны оставалось еще два года. Я часто думала, что прожила бы эти два года благополучно, если бы не сделала страшную *meprise* – извините, промашку. Эта промашка была правда очень глупая – я просто ненавижу себя, как об этом подумаю. Знаете, я была такая осторожная. Такая осторожная, что даже немножко стыдно признаться. То есть до того, как это случилось, я, знаете, была в полном порядке. Я не еврейка, я не жила в гетто, так что по этой причине забрать меня не могли. И в подполье я тоже не работала. *Franchement*, [102] мне это казалось слишком опасным: ведь я бы очутилась в таком положении, из которого... Но я не стану говорить об этом. Словом, я не работала для подполья, так что и по этой причине меня забрать не могли. А забрали меня по причине, которая может показаться вам очень глупой. Меня забрали за то, что я тайком везла мясо в Варшаву от одного знакомого из деревни, недалеко от города. А иметь мясо совсем не разрешалось – оно все шло для германская армия. Но я

рискнула и попыталась провезти тайком мясо для мамы, чтобы она выздоровела. Моя мама была очень больная – как же это слово? – la consommation.

– Туберкулез, – подсказал Натан.

– Да. У нее был туберкулез много лет назад, в Краков, и прошел. А потом, понимаете, в Варшава снова вернулся: там было так холодно зимой, дома не топились, и так ужасно – почти нечего есть, все шло немцам. В общем, мама была такая больная – все думали, она умирает. Я жила не с ней – она жила рядом. И вот я подумала, если бы я могла добыть для нее мясо, может быть, ей стало бы лучше, и в воскресенье я отправилась в ту деревню и купила запрещенный окорок. Потом я поезжаю назад в город, и меня останавливают два полицейские из гестапо, и они находят окорок. Они ставят меня под арест и везут в тюрьму гестапо в Варшава. Мне не разрешили вернуться, где я жила, и я больше никогда не видела маму. Много потом я узнала, что она через несколько месяцев умерла.

Воздух в комнате застоялся, стало нечем дышать, и, пока Софи говорила, Натан подошел к окну и широко распахнул его, впустив свежий ветерок, от которого закачались принесенные им чайные розы и комната наполнилась звуком хлещущего дождя. Легкая морось перешла в ливень, и совсем близко, в парке, на том краю лужайки, молния высветила белой вспышкой то ли дуб, то ли вяз, и почти тотчас раздался раскат грома. Натан стоял у окна, заложив руки за спину, глядя на внезапно разбушевавшуюся стихию.

– Продолжайте же, – сказал он, – я слушаю.

– Много дней и ночей я была в тюрьме гестапо. Потом меня на поезде отправили в Освенцим. Целых два дня и одну ночь мы туда ехали, а в нормальное время на поезде это только шесть-семь часов. Там в Освенциме, было два лагеря – один назывался Аушвиц-Освенцим, и несколько километров от него еще был лагерь, который назывался Бжезинка-Биркенау. Между этими лагерями была разница, и ее надо понимать: Освенцим был для рабочих, рабов, а Бжезинка только для одного – для уничтожения. Когда я вышла из поезда, меня отобрали идти не... не... не в Бжезинку, а в... – К своему огорчению, Софи почувствовала, что тонкая маска бесстрастия, которую она наложила на лицо, начинает съеживаться, давать трещины и самообладание изменяет ей; она услышала, что и в голосе появились фистулы. Она стала заикаться. Но быстро снова сумела взять себя в руки. – Отобрали идти не в Бжезинку, не в газовые камеры, а в Освенцим, на работы. Это из-за возраста и тоже из-за хорошего здоровья. Двадцать месяцев я была в Освенциме. Когда я туда приехала, всех, кого отбирали на смерть, отправляли в Бжезинку, но очень скоро в Бжезинке стали убивать только евреев. Это было место, где много-много уничтожали евреев. Было еще одно место

недалеко – большой usine,[103] где делали искусственный, *synthétique cautchouc*, то есть резину. Узники Освенцима работали там тоже, но главное, чем занимались узники Освенцима, было уничтожать *les juifs*[104] в Бжезинке. Так что в Освенциме держали главным образом тех, кого немцы называли «арийцы», и они работали в крематориях Бжезинки. Помогали уничтожать евреев. Но надо понимать: этих узников-арийцев тоже потом истребляли. Когда у них уже не было в теле сил, ни *santé*[105] они становились *inutiles*,[106] их тоже отправляли на смерть – расстреливали или увозили в газовые камеры Бжезинки.



Софи говорила недолго, однако в речи ее все заметнее становился французский акцент, и она чувствовала непонятную страшную усталость, которую уже нельзя было объяснить болезнью, какова бы она ни была, поэтому Софи решила еще больше сократить свой рассказ. Она сказала:

– Только вот я не умерла. Наверно, мне больше повезло, чем другим. Одно время мое положение было лучше, чем у многих других заключенных, потому что я знала немецкий и русский, особенно немецкий. Знаете, это было мое преимущество, и в это время я лучше ела, и немножко лучше была одета, и больше имела сил. Это дало мне такие нужные силы, чтоб выжить. Но так было, правда, недолго, и под конец я стала как все. Я была голодная, и потому что голодная, у меня начался *le scorbut* – по-английски это, по-моему, называется «цинга», – а потом у меня был тиф и еще *la scarlatine*. [107] По-английски, по-моему, это тоже так называется. Я уже говорила, я пробыла там двадцать месяцев, но я выжила. Если бы я пробыла там двадцать месяцев и один день, я знаю, я была бы мертвая. – Она помолчала. – Теперь вы говорите, у меня анемия,

и я думаю, вы, наверно, правы. Потому что, когда меня освободили из того места, один доктор – доктор из Красного Креста – сказал мне, что надо осторожно относиться к здоровью, потому что у меня может появиться такая болезнь. То есть анемия. – Измученный голос ее умолк, она тяжело вздохнула. – Но я про это забыла. У меня все болело, так что я про это просто забыла.



Оба долго молчали, слушая, как свистит порывистый ветер и дробно стучит дождь. Омытый грозой воздух прохладой проникал в раскрытое окно, принося из парка запах мокрой земли, свежий и чистый. Ветер начал стихать, и гром погромыхивал уже на востоке, на далеких просторах Лонг-Айленда. Вскоре из тьмы за окном стала доноситься лишь прерывистая дробь капель, веял легкий ветерок да мягко шуршали по мокрому асфальту шины.

– Вам надо спать, – сказал Натан, – а я пошел.

Но он тогда, как она вспоминала потом, не ушел – во всяком случае, в ту минуту. По радио звучал финал «Свадьбы Фигаро», и они вместе молча слушали его – только Софи теперь лежала на кровати, а Натан сидел на стуле подле нее, и над ними, вокруг тусклой лампочки, кружили и мелькали летние мотыльки. Софи закрыла глаза и задремала, погружившись в какой-то чудной, но спокойный сон, где веселая целительная музыка мягко переплеталась с ароматом травы и дождя. Был момент, когда она почувствовала на своей щеке прикосновение его пальцев, нежное и легкое, как крылышко мотылька, но это длилось всего секунду-другую, а потом она уже не чувствовала ничего. Она спала.

Тут снова необходимо заметить, что Софи, рассказывая о событиях прошлого, не

была до конца откровенна – даже в том, намеренно усеченном, варианте. Я узнаю об этом позже, когда она признается мне, что опустила много существенных подробностей в своем рассказе Натану. Она не лгала ему (как солгала мне, видоизменив два-три важных аспекта своего детства в Кракове). Она ничего не присочинила и существенно не исказила – почти все, что она рассказала Натану в тот вечер, легко подтверждается. Ее краткое описание того, как функционировал лагерь Аушвиц-Биркенау, – хотя, конечно, весьма упрощенное – в общем было правильно, и она не преувеличивала, но и не преуменьшала степень своих многочисленных заболеваний. Что же до остального, то это не вызывает ни малейших сомнений: наличие матери, болезнь матери и смерть; последовательность событий, начиная с попытки провезти окорок и кончая арестом и дальнейшей депортацией в Аушвиц. Почему же в таком случае она опустила некоторые моменты и подробности, которые любой человек, естественно, ожидал бы от нее услышать? В тот вечер это, безусловно, объяснялось усталостью и депрессией. А потом для этого могли быть сотни причин, но, как я обнаружил в то лето, слово «вина» часто преобладало в ее словаре, и теперь мне ясно, что отвратительное чувство вины неизменно преобладало над всем, когда она переосмысливала свое прошлое. Я понял также, что Софи склонна была смотреть на свою жизнь за последние годы сквозь фильтр отвращения к себе – явление, судя по всему, не столь редко наблюдаемое у тех, кто прошел через схожие муки. Симона Вейль[108] писала о подобных страданиях: «Эта болезнь поражает душу до самой глубины презрением к себе, отвращением и даже ненавистью – чувствами, которые логически должны бы рождаться вследствие совершенного преступления, а рождаются от другого». Вполне возможно, что такой комплекс чувств – это разъедающее душу чувство вины, а также простая, но вполне объяснимая сдержанность – и побуждал Софи умалчивать о некоторых вещах. Софи вообще отличалась скрытностью – скрытностью, доходившей до маниакальности, – и не слишком распространялась о своем пребывании во чреве ада, и коль скоро она хотела, чтобы так было, то, ей-богу, ее решение следовало уважать.

Тут, однако, необходимо пояснить – хотя это, безусловно, и так станет ясно в ходе нашего повествования, – что Софи могла поведать мне то, чего никогда в жизни не рассказала бы Натану. И по весьма простой причине. Она была безумно, до умопомрачения, влюблена в Натана, а именно от любимого человека чаще всего и скрывают наиболее болезненные факты своей биографии, хотя бы из чисто гуманных соображений: чтобы избавить его от ненужной боли. В то же время в прошлом Софи были события и обстоятельства, о которых следовало рассказать; мне кажется, сама того не сознавая, она искала человека, который мог бы заменить ей исповедника в церкви, от чьих услуг она решительно отказалась. И вот я, Стинго, подвернулся ей под руку. Оглядываясь назад, я вижу, что она, безусловно, не выдержала бы, разум ее помутился бы, если бы она продолжала замыкаться в себе, – это становилось все яснее по мере того, как шло

лето, с его мерзкими взрывами необузданных страстей, и отношении между Софи и Натаном близились к разрыву. И вот когда покров терпения Софи истончился и она почувствовала, что закричит, если не изольет своей муки, не расскажет о своей вине, у нее под рукой, тут, рядом, оказался я, всегда готовый, она знала, с поистине собачьим обожанием без усталости слушать ее. При этом я начал понимать, что если самые страшные места того кошмара, который она пережила, казались непостижимыми и настолько нелепыми, что побуждали усомниться в их правдоподобии даже столь легковверного человека, как я – хотя, конечно, я не мог это опровергнуть, – то Натан ни за что бы ей не поверил. Он считал бы Софи либо лгуньей, либо сумасшедшей. Он даже мог бы попытаться убить ее. Откуда, к примеру, ей было взять силы, чтобы рассказать ему о том, что произошло между нею и Рудольфом Францем Хессом, оберштурмбанфюрером СС, комендантом Аушвица?



Давайте отвлечемся на минуту и, прежде чем вернуться к Натану и Софи и к первым дням и месяцам их совместной жизни, а также к прочим событиям, поговорим о Хессе. В качестве одного из героев – главного злодея – Хесс появится в нашем повествовании позже, а сейчас, пожалуй, самое время рассказать о том, какая среда породила этого современного готического уродца. Софи, по ее словам, долго не вспоминала о нем, и тут – надо же так случиться – за несколько дней до моего поселения в Розовом Дворце, как все мы его прозвали, Хесс вдруг снова всплыл в ее сознании. В поезде метро, глубоко под улицами Бруклина, ужас снова охватил Софи. Она листала старый экземпляр журнала «Лук», как вдруг со страницы на нее глянул Хесс – от неожиданности она глухо вскрикнула, так что сидевшая рядом женщина вздрогнула в ответ. Хесс был снят за несколько секунд до последней расплаты. Бывший комендант

лагеря стоял в наручниках, худой и небритый, в мятой тюремной робе, с застывшим, как маска, лицом, готовясь шагнуть туда, откуда нет возврата. Вокруг его шеи обвивалась петля, свисавшая с металлической виселицы, вокруг которой хлопотали польские солдаты, готовя его переход в небытие. Взгляд Софи устремился мимо жалкой фигуры с уже мертвым, отрешенным – как у актера, изображающего на сцене воскресшего покойника, – лицом; она искала, нашла и затем узнала размытые, но такие знакомые очертания приземистого, закопченного крематория Освенцима. Она швырнула журнал на пол и вышла на ближайшей остановке – зловещие воспоминания, пробужденные этой фотографией, настолько выбили ее из колеи, что она несколько часов бесцельно бродила по залитым солнцем дорожкам вокруг музея и ботанического сада, прежде чем явиться на работу, где доктор Блэксток, заметив, что она не в себе, спросил: «Вы что, увидели привидение?» Однако через день-другой Софи сумела стереть фотографию из своей памяти.

А Рудольф Хесс – неведомо для Софи, да и для мира вообще – за месяцы, предшествовавшие его суду и казни, был занят составлением документа, показывающего – в той мере, в какой сравнительно небольшая работа способна показать, – насколько человеческий ум может быть полонен идеей тоталитаризма. Пройдут годы, прежде чем перевод этой работы появится на английском языке (блестяще выполненный Константином Фицгиббоном). Сейчас она вошла в том под названием «Концентрационный лагерь Освенцим глазами эсесовцев», изданный Польским государственным музеем, который открыт ныне в лагере, и с этой анатомией психики Хесса может ознакомиться всякий, у кого возникнет желание познать подлинную природу зла. Ее, бесспорно, должны прочесть во всем мире преподаватели философии, священнослужители, несущие слово Господне, раввины, шаманы, все историки, писатели, политические деятели и дипломаты, активисты освободительных движений независимо от пола и убеждений, юристы, судьи, специалисты-пенологи, актеры, кинорежиссеры, журналисты – короче, все, кто хотя бы отдаленно влияет на сознание своих сограждан, в том числе и наши любимые дети, которые уже в восьмом классе считают себя будущими лидерами Америки и которые должны изучать этот труд наряду с Конституцией, а также такими произведениями, как «Над пропастью во ржи» и «Хоббит».[109] Дело в том, что, читая признания Хесса, мы обнаруживаем, что в действительности понятия не имеем о подлинном зле: зло, выведенное в большинстве романов, пьес и кинофильмов, примитивно, если не вообще фальшиво, такая низкопробная смесь жестокости, выдумки, невропатических ужасов и мелодрамы.

Это «надуманное зло, – цитируем Симону Вейль, – романтично и многообразно, тогда как подлинное зло – мрачно, однотонно, уныло, нудно». Все эти определения, несомненно, применимы к Рудольфу Хессу и работе его ума, столь сокрушительно банального, что он мог послужить основанием для

красноречивого высказывания Ханна Арендт через несколько лет после того, как Хесс был повешен. Хесс едва ли был садистом, не был он и человеком жестоким или даже особенно опасным. Можно даже сказать, что он был достаточно благопристойен. Ведь у Ежи Равича, польского издателя автобиографии Хесса, который сам был узником Освенцима, хватило же разума опровергнуть показания своих товарищей по несчастью, утверждавших, что Хесс бил их и пытал. «Хесс никогда не унизил бы себя подобными вещами, — утверждает Равич. — Перед ним стояли более важные задачи». Комендант, как мы дальше увидим, был домосед, но из тех, кто слепо выполняет свой долг и следует намеченной цели; это был своего рода служебный механизм с вакуумом вместо морали, из которого было высосано все, вплоть до последней молекулы сомнения и угрызения совести, потому-то чудовищные преступления, которые Хесс ежедневно совершал, часто выглядят в его описаниях чем-то не имеющим отношения или причастности ко злу, такими выдумками наивного кретина. А ведь этот робот был, как и мы с вами, из плоти и крови; он был воспитан в христианской вере, чуть не стал католическим священником, и угрызения совести, даже раскаяние время от времени нападали на него, как бы возвещая о некоей странной болезни, — вот эта-то уязвимость, что-то человеческое, появляющееся в неумолимом и послушном роботе, и делает его мемуары столь поразительными, столь страшными и поучительными.

О его предшествующей жизни достаточно будет нескольких слов. Сын германского полковника в отставке, Хесс родился в 1900 году — в том же году и под тем же знаком зодиака, что и Томас Вулф («О, унесенный ветром, скорбный призрак...»). Отец хотел послать сына в семинарию, но тут разразилась первая мировая война, и хотя Хесс был всего лишь шестнадцатилетний сопляк, он вступил в армию. Он участвовал в боях на Ближнем Востоке — в Турции и Палестине — и в семнадцать лет стал самым молодым унтером в германских вооруженных силах. После войны он вступил в военизированную националистическую организацию, а в 1922 году встретил Адольфа Гитлера, человека, который на всю жизнь прикует его к себе. Хесс мгновенно воспринял идеалы национал-социализма и его лидера и стал одним из первых *bonafide*[110] обладателей членского билета нацистской партии. Не стоит, пожалуй удивляться тому, что он довольно скоро совершил свое первое убийство, был осужден и отправлен в тюрьму. Он рано понял, что его обязанность в жизни — убивать. Жертвой его был учитель по имени Кадов, возглавлявший либеральную политическую группировку, которую нацисты считали враждебной своим интересам. Отсидев в тюрьме шесть лет из пожизненного срока, Хесс стал фермером в Мекленбурге, женился и со временем произвел на свет пятерых детей. Годы, проведенные близ штормовой Балтики, среди зреющего ячменя и пшеницы, тянулись для Хесса бесконечно долго. Его стремлению заняться чем-то более заметным суждено было сбыться в середине тридцатых годов, когда он встретил приятеля юности по *Bruderschaft*,[111] Генриха Гиммлера, и тот без

труда убедил его оставить плуг и мотыгу и воспользоваться благами, которые может предложить СС. Гиммлер, чья биография говорит о том, что (помимо всего прочего) он обладал исключительным чутьем на убийц, несомненно, угадал в Хессе человека, созданного для того дела, к осуществлению которого он собирался приступить, ибо в последующие шестнадцать лет Хесс либо был непосредственно комендантом концентрационных лагерей, либо занимал высокие посты, связанные с их управлением. До Аушвица он служил в Дахау.

Со временем у Хесса возникли, можно сказать, плодотворные – или по крайней мере близкие к симбиозу – отношения с Адольфом Эйхманом, человеком, долгие годы остававшимся его ближайшим начальником. Эйхман способствовал развитию дарований Хесса – именно ему обязана *die Totentechnologie*[112] своими наиболее крупными достижениями. К примеру, в 1941 году еврейская проблема стала вызывать у Эйхмана все большее раздражение – не только из-за огромности предстоящей задачи, но и из-за чисто практических трудностей, связанных с «окончательным решением проблемы». До тех пор массовые убийства, осуществляющиеся эсэсовцами в сравнительно скромных масштабах, производились либо путем расстрела – что создавало проблемы из-за отсутствия снаровки, неумелости и просто обилия крови, – либо путем отравления угарным газом в наглухо закрытом помещении, что тоже было недостаточно эффективно и требовало времени. Делу помог Хесс, который, наблюдая на крысах и прочих паразитах в Аушвице действие паров кристаллического гидроцианида под названием «циклон-Б», предложил Эйхману производить ликвидации с помощью этого газа, – Эйхман тогда, по словам Хесса, ухватился за его предложение, хотя позже это отрицал. (Трудно понять, почему все экспериментаторы были такими отсталыми. Цианистый газ применялся для казни в некоторых местах Америки уже свыше пятнадцати лет). Хесс отобрал девятьсот русских военнопленных в качестве подопытных кроликов и выяснил, что газ великолепно подходит для уничтожения человеческих существ; с тех пор его стали широко применять, и от него погибло бесчисленное множество узников и поступавших в лагерь людей самых разных национальностей – правда, с начала апреля 1943 года им пользовались исключительно для истребления евреев и цыган. Хесс был также инициатором применения таких технических средств, как миниатюрные минные поля, на которых подрывались случайно сошедшие с дороги узники или беглецы, а также проволочных заграждений, через которые был пропущен ток высокого напряжения, сжигавший людей, и, наконец – это было предметом его особой гордости, – своры злющих овчарок и доберман-пинчеров, именовавшихся *Hundestaffel*;^[113] эти последние и радовали и огорчали Хесса (через все его мемуары назойливым лейтмотивом проходит забота и беспокойство о них), поскольку псы, хоть и натасканные до адской жестокости и раздиравшие узников на куски, иногда становились вялыми и непослушными и, отыскав какой-нибудь дальний закоулок, забивались туда и спали. Однако по большому счету предложения Хесса приносили свои плоды и

были настолько изобретательны и успешны, что Хесса можно в кавычках назвать человеком, который, подобно Коху, Эрлиху, Рентгену и другим ученым, изменившим лик медицинской науки во имя великого расцвета Германии во второй половине прошлого столетия, надолго оставил след в истории, произведя существенные изменения в концепции массовых убийств.

Во имя исторической и социологической правды следует отметить, что среди тех, кто вместе с Хессом предстал после войны перед судом в Польше и Германии, среди всех этих сатрапов и второразрядных палачей, из которых состояли отряды эсесовцев в Аушвице и других лагерях, кадровых военных была лишь горстка. Но ничего удивительного тут нет. Военные способны на страшные преступления – вспомните (в одно только последнее время) хотя бы Чили, Ми-Лай,[114] Грецию. Но это еретики-«либералы» отождествляют военных с подлинным злом, считая его безраздельной вотчиной лейтенантов или генералов, тогда как военные часто способны творить вторичное зло – агрессивное, романтическое, мелодраматичное, увлекательное, доводящее до оргазма. Подлинное же зло, зло Аушвица, от которого захватывает дух, – зло мрачное, однообразное, унылое, неприкрытое – осуществлялось почти исключительно гражданскими лицами. Соответственно мы обнаруживаем, что среди эсэсовцев в Аушвице-Биркенау почти не было профессиональных солдат, зато там были представлены все слои германского общества. Там были официанты, булочники, плотники, владельцы ресторанов, врачи; был там бухгалтер, почтовый служащий, официантка, банковский клерк, медицинская сестра; слесарь, пожарник, таможенник, юрисконсульт, фабрикант музыкальных инструментов, специалист-машиностроитель, лаборант, владелец компании грузовых перевозок... список этот может быть продолжен перечислением прочих, обычных и знакомых, гражданских профессий. В качестве примечания следует только добавить, что величайший в истории ликвидатор евреев, тупоголовый Генрих Гиммлер, был фермером, разводившим цыплят.

Никаких открытий тут нет: в наше время большинство безобразий приписывается военным по совету и с ведома гражданских властей. Что же до Хесса, то он являет собой некую аномалию, поскольку до Аушвица он сочетал занятия сельским хозяйством с военной профессией. По свидетельствам очевидцев, он был на редкость предан своему делу, и как раз эта его нестигаемость и ригоризм – представления о долге и необходимости повиновения, крепко сидящие в голове всякого хорошего солдата, – и придают мемуарам Хесса безысходную достоверность. Читая эту тошнотворную хронику, убеждаешься в том, что Хесс вполне искренен, когда он выражает свои сомнения, даже тайное нежелание отправлять того или иного человека в газовую камеру или в печь или подвергать «селекции», и что действия, которые он вынужден совершать, сопровождаются мрачными опасениями. Такое чувство, что за спиной Хесса, когда он писал свои мемуары, стоял призрак

семнадцатилетнего юноши, блестящего, многообещающего молодого Unterfeldwebel[115] из армии тех времен, когда представления о чести, гордости и незыблемых моральных устоях были прочно вплетены в Прусский кодекс, и что этот юноша потрясен до немоты невыносимой безнравственностью, в которой погряз взрослый мужчина. Но этот призрак явился из другого времени и места, из другого рейха, и юношу отгоняют в самый дальний темный угол, – ужас отступает и исчезает вместе с ним, а обреченный бывший обер-штурмбанфюрер без усталости пишет и пишет, оправдывая свои скотские дела тем, что они осуществлялись по приказу бесчувственных властей, по долгу службы, из слепого повиновения.

Вас в общем-то убеждает его спокойное утверждение: «Должен подчеркнуть, что я лично никогда не питал ненависти к евреям. Правда, я смотрел на них как на врагов нашего народа. Но именно по этой причине я не видел разницы между ними и другими узниками и относился ко всем одинаково. Я никогда не делал различия между ними. Так или иначе, ненависть чужда моей натуре». Для мира крематориев ненависть – слишком буйное и спонтанное чувство, никак не сочетающееся с однообразием выполняемых изо дня в день обязанностей. Особенно если человек умудрился избавиться от всех мешающих ему чувств и у него не возникает даже мысли оспорить или подвергнуть сомнению приказ – он повинует, и все: «Когда летом 1941 года сам рейхсфюрер СС (Гиммлер) отдал мне приказ подготовить в Аушвице установки для массового уничтожения узников и лично осуществлять эти операции, я не имел ни малейшего представления об их масштабах и последствиях. Это был, безусловно, чрезвычайный и чудовищный приказ. Тем не менее основания для программы уничтожения представлялись мне правильными. В ту пору я над этим не размышлял: мне был дан приказ, и я обязан был его выполнять. Я не способен был составить собственное мнение относительно того, было ли необходимо это массовое уничтожение евреев, так как не обладал необходимой широтой кругозора».

И вот под пристальным, бдительным и бесстрастным оком Хесса начинается истребление: «Я обязан был холодно и безразлично взирая на то, от чего, наверно, разрывалось сердце у всякого обладающего человеческими чувствами. Я старался даже не отворачиваться – из опасения, как бы вполне естественные чувства не взяли надо мной верх. Я должен был холодно смотреть на то, как матери шли со смеющимися или плачущими детьми в газовые камеры...

Был такой случай, когда двое маленьких детишек, разыгравшись, никак не давали матери себя увести. Даже евреи из зондеркоманды не решались их забрать. Я никогда не забуду молящего взгляда матери, которая, безусловно, понимала, что их ждет. А газовая камера была уже заполнена, и люди там начинали волноваться, так что я не мог медлить. Все смотрели на меня. Я кивнул

дежурному младшему унтер-офицеру, он подхватил на руки кричащих, отбивающихся детей и понес в газовую камеру; за ними следом шла мать и плакала так, что сердце разрывалось. Мне стало до того ее жаль, что хотелось провалиться сквозь землю, однако я не мог высказать ни капли владевших мною чувств. [Арендт пишет: «Проблема состояла в том, чтобы совладать не столько со своей совестью, сколько с животной жалостью, какую испытывают все нормальные люди при виде физического страдания. При этом пускался в ход трюк... очень простой и, видимо, очень эффективный – перевернуть эти чувства и направить их на себя. Таким образом вместо того, чтобы говорить: «Какие ужасы я творил с людьми», убийцы могли сказать: «Какие ужасы мне пришлось наблюдать при исполнении моих обязанностей, до чего же тяжкое бремя лежало у меня на плечах!»] Я должен был видеть все. Час за часом, днем и ночью я вынужден был смотреть, как увозили и сжигали трупы, вырывали зубы, срезали волосы – всю эту бесконечно повторяющуюся мерзкую процедуру. Мне приходилось часами стоять среди жуткой вони, пока раскапывали общие могилы, вытаскивали оттуда трупы и сжигали.

Я вынужден был смотреть в «глазок» газовых камер и наблюдать, как умирают люди, потому что врачи просили меня об этом... Рейхсфюрер СС не раз присылал в Аушвиц высокопоставленных партийных лидеров и офицеров СС, чтобы они могли собственными глазами видеть, как уничтожают евреев... Меня не раз спрашивали, как я и мои люди можем без конца смотреть на это, как мы это выдерживаем. Я неизменно отвечал, что железной решимости, с какою мы обязаны выполнять приказы Гитлера, можно добиться, лишь подавив в себе все человеческое».

Но даже гранит не мог бы остаться равнодушным к таким сценам. И вот по мере того, как процесс убийства набирает скорость, на Хесса спорадически накатывает подавленность, уныние, тревога, леденящее душу сомнение, внутренняя дрожь – словом, непонятная Weltschmerz.[116] Он падает в бездны, непостижимые для разума, превосходящие представления о достоверности, здравом смысле, Сатане. Однако пишет он об этом в жалобном, элегическом тоне: «Я не знаю радости с тех пор, как в Аушвице начались массовые истребления людей... Если что-то особенно глубоко задевало меня, я не в силах был идти домой, к своей семье. Я садился на лошадь и скакал, пока мне не удавалось прогнать страшную картину. Ночью я часто приходил в конюшню и старался найти успокоение среди моих любимых животных. Глядя на моих весело играющих детей или наблюдая, как восторгается моя жена нашим малышом, я часто думал: «Долго ли продлится наше счастье?» Моя жена не понимала, почему я вдруг впадал в мрачное настроение, и приписывала это неприятностям, связанным с работой. Моя семья, само собой разумеется, была хорошо обеспечена в Аушвице. Любое желание моей жены или детей выполнялось. Дети пользовались неограниченной свободой. У моей жены был райский, полный цветов сад. Узники всячески

старались сделать что-то приятное моей жене или детям и таким образом привлечь к себе их внимание. Ни один узник никогда не скажет, что в нашем доме с ним когда-либо плохо обращались. Моей жене доставляло большое удовольствие сделать подарок узнику, работавшему у нас. Дети вечно кланчили у меня для них сигареты. Особенно они привязались к тем, кто работал у нас в саду. Вся моя семья очень любила заниматься сельским хозяйством и в особенности возиться со всякими животными. Каждое воскресенье они требовали, чтобы я шел с ними через поле в конюшни, при этом мы никогда не забывали заглянуть на псарню, где держали собак. Особенно дети любили наших двух лошадок и жеребенка. У детей в саду всегда были разные зверюшки – узники вечно кого-нибудь им приносили. Черепахи, куницы, кошки, ящерицы – там всегда можно было увидеть что-нибудь новое и интересное. Летом дети плескались в пруду у нас в саду или в реке Сола. Но больше всего они любили купаться с папочкой. Только у него было так мало времени на эти детские развлечения...»



В этот-то зачарованный приют и попала Софи в начале осени 1943 года, в ту пору, когда по ночам из труб крематориев Биркенау вырывалось такое яркое пламя, что местное германское военное командование, расквартированное километрах в ста от Кракова, стало опасаться, как бы эти огни не навлекли воздушных налетов противника, а днем голубоватая пелена от горящей человеческой плоти застилала золотистый осенний свет, окутывая тошнотворно-сладковатым, всепроникающим кладбищенским туманом и палисадник, и гребной пруд, и фруктовый сад, и конюшню, и живую изгородь. Я не помню, чтобы Софи говорила мне о подарках, когда-либо полученных от фрау Хесс, но то, что – как утверждает Хесс – с Софи за время ее недолгого пребывания под

крышей коменданта, да и с другими узниками, никто плохо не обращался, укрепляет уверенность в правдивости Хесса. Хотя в конечном счете даже и за это, право же, не стоит испытывать к нему благодарность.

Седьмое

– Словом, ты, наверно, понимаешь, Язвинка, – сказала мне Софи в тот первый раз, когда мы гуляли с ней в парке, – что Натан спас мне жизнь. Сказка! Вот я такая больная – падаю, теряю сознание, и тут является он – как это у вас называется? – принц и спасает мне жизнь. И все, знаешь, получается так легко – точно по волшебству, как будто у него была волшебная палочка: он взмахнул ею надо мной, и мне очень скоро стало совсем хорошо.

– Сколько же это заняло времени? – спросил я. – Сколько времени прошло между тем...

– Ты хочешь сказать, с того дня, когда он подобрал меня? О, право, сущая ерунда. Две-три недели, что-то вроде этого. Allez! Пошел вон! – Она швырнула камешек в самого крупного и задиристого лебедя, вздумавшего вторгнуться в наше расположение на берегу озера. – Пошел вон! Какой мерзкий, правда? Un vrai gonif.[117] Иди сюда, Тадеуш. – И она принялась пощелкивать языком, подзывая своего растрепанного любимца, соблазняя его остатками булочки. Отщепенец с встопорщенными перьями и грустью в единственном глазу нерешительно, вперевалку подошел к нам и стал склеивать крошки, а Софи продолжала говорить. Я внимательно слушал, хотя у меня назревали и другие предметы для раздумий. Наверно, предстоящее свидание с божественной Лапидас преисполнило меня, с одной стороны, такого восторга, а с другой – такого страха, что я попытался залить пожар чувств несколькими банками пива, тем самым нарушив мною же установленное правило не пить спиртного днем или в рабочие часы. Но мне требовалось что-то, дабы унять все возраставшее нетерпение и успокоить бешеное биение пульса.

Взглянув на наручные часы, я обнаружил – и у меня заныло под ложечкой, – что всего шесть часов отделяют меня от того момента, когда я позвоню в дверь Лесли. Облака, похожие на сгустки крема, радужные, как в фильмах Диснея, тихо плыли к океану, испещряя пятнами света и тени наш маленький травянистый мысок, где Софи рассказывала мне про Натана, а я слушал под прерывистый грохот транспорта, слабо доносившийся, словно безобидная пальба по поводу какого-то торжества, с далеких бруклинских улиц.

– Брата Натана зовут Ларри, – продолжала она. – Он чудесный человек, и Натан его обожает. Натан повез меня к Ларри на другой день, туда, где он принимает, в Форест-Хиллз. Он меня долго осматривает и, помню, пока осматривает, все время повторяет: «По-моему, Натан прав насчет вас – просто поразительно,

какое у него природное чутье в медицине». Но Ларри не был уверен. Он думал, что Натан, наверно, прав и что у меня авитаминоз. Я тогда была ужасно бледная. Когда я рассказывала ему про мои симптомы, он подумал, что все именно так. Но, естественно, ему надо было знать наверняка. И вот он устроил мне встречу со своим приятелем, специалистом в больнице Колумбийского университета – Пресвитерианской больнице. Это был доктор по авитаминозу... нет...

– Специалист по витаминной недостаточности, – отважился я сделать логическое предположение.

– Да, точно так. Этого доктора звали Уоррен Хэтфилд, он изучал медицину с Ларри до войны. Словом, в тот же день мы вместе с Натаном едем в Нью-Йорк к доктор Хэтфилд. Натан взял у Ларри машина и перевез меня через мост в больница Колумбийского университета. Ох, Язвинка, я так хорошо помню, как мы ехали с Натаном в ту больница. У Ларри машина decapotable – ну, знаешь, со складным верхом, – а я всю жизнь, с самого детства в Польша, хотела покататься на такой машине – я их видела на картинках и в кино. Такое глупое желание, вот именно, прокатиться в открытой машине, и вот я еду с Натаном в такой прекрасный летний день, и солнце светит, и ветер треплет мне волосы. Все было так странно. Я была, знаешь, еще больная, но я чувствовала себя распрекрасно! То есть я каким-то образом знала, что меня сделают в порядке. И все благодаря Натану.

Помню, это было в середине дня. Раньше я приезжала на Манхэттен только вечером, на метро, а теперь я в первый раз видела из машины реку при дневном свете, и эти невероятные небоскребы, и самолеты в ясном небе. Все было так величественно и красиво, и волнующе, что я чуть не заплакала. И краешком глаза я посматривала на Натана, а он быстро-быстро говорил про Ларри и сколько много он, как доктор, сделал всяких чудес. А потом он говорил про медицину и про то, как он готов держать пари на что угодно, что он прав насчет моего здоровья, и как меня можно вылечить и так далее. И я не знаю, как описать это чувство, которое у меня было, когда мы ехали по Бродвею и я смотрела на Натана. Наверно, можно назвать это – как? – есть такое хорошее слово: трепет. Трепет оттого, что появился такой ласковый, нежный друг и он так заботится обо мне и серьезно хочет, чтобы я поправилась. Он был мой спаситель, Язвинка, именно так, а у меня никогда раньше не было спасителя...

И, конечно же, знаешь, он был прав. В Колумбийской больнице я стою три дня, и доктор Хэтфилд делает анализы, и они показывают, что Натан прав. Мне очень глубоко не хватает железо. О, мне не хватает и разное другое тоже, но это не так важно. Главное – железо. И пока я эти три дня там, в больнице, Натан каждый день приходит навестить меня.

– И что же ты в связи с этим чувствовала? – спросил я.

– В связи с чем?

– Ну, я не хочу выпытывать, – продолжал я, – но ты описала мне встречу, после которой тебя закрутило в самом приятном и дичайшем вихре, о каком я только слышал. В конце концов, в тот момент вы ведь еще были совсем чужими друг другу. Ты по-настоящему не знала Натана, не знала, что двигало им, если не считать того, что его, мягко выражаясь, явно к тебе потянуло. – Я помолчал, затем медленно произнес: – Опять-таки, Софи, останови меня, если я немного лезу не в свое дело, но меня всегда интересовало, что происходит в уме женщины, когда в ее жизнь – я снова употребляю этот образ – вихрем врывается этакий потрясающий, сильный, привлекательный мужчина и она теряет голову.



Софи с минуту молчала, лицо ее было задумчиво и прелестно. Потом сказала:

– По правде, я была очень много смущена. Я так давно – ох, так очень давно – не имела – как это говорят?... – Тут она снова помолчала, не находя нужных слов. – ...никакие отношения с мужчиной, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Меня это не очень заботило, эта часть моей жизни не имела для меня такое большое значение – мне ведь важно было снова склеить мою жизнь. И прежде всего мое здоровье. Так что в тот момент я понимала только, что Натан спасает мне жизнь, и я не думала много, что будет потом. О, я, наверное, все-таки думала, сколько я за все это должна Натану, но, понимаешь – и это есть так смешно сейчас, Язвинка, – думала я тогда только про деньги. Это больше всего смущало меня. Деньги. Ночью я лежу в больнице, не сплю и снова думаю: «Ведь я нахожусь в отдельной палате. И услуги доктора Хэтфилд, наверное, стоят сотни долларов. Как я смогу за все заплатить?» У меня были безумные фантазии. Самая плохая,

что вот я прихожу к доктору Блэксток и прошу у него займы, а он спрашивает, зачем мне деньги, и мне приходится объяснить, что я должна заплатить за лечение, а доктор Блэксток становится такой на меня сердитый, что я лечилась у медика. Не знаю почему, но я очень тепло отношусь к доктору Блэкстоку, а Натан это не понимает. Словом, мне не хотелось его обижать, и мне все время виделись такие страшные сны про деньги...

Ну, мне незачем от тебя что-то скрывать. Под конец Натан заплатил за все – кто-то должен ведь был заплатить, – но, когда он заплатил, я уже могла не стесняться и не стыдиться. В общем, мы полюбили друг друга, да ему и платить особенно много не пришлось, потому что Ларри, конечно, ничего не взял, ну и доктор Хэтфилд тоже ничего не требовал. Мы полюбили друг друга, и я снова становилась здоровая – я ведь столько много глотала эти таблетки с железом, а мне только это и было нужно, чтобы расцвести, как роза. – Она запнулась и весело хихикнула. – Проклятый совершенный вид глагола! – весело произнесла она и добавила назидательным тоном Натана: – Не расцветать, а расцвести!

– Просто невероятно, как он взялся за твоё лечение, – сказал я. – Натану следовало быть доктором.

– А он хотел, – пробормотала она после недолгого молчания, – он очень хотел быть доктор. – Она еще помолчала, и беспечность, владевшая ею всего минуту назад, сменилась грустью. – Но это уже другая история, – добавила она, и лицо ее потускнело, стало на миг напряженным.

Я тотчас почувствовал эту перемену в ее настроении, словно счастливые воспоминания о тех первых днях их совместного существования застала (возможно, из-за моих слов) некая тень – мысль о чем-то тревожном, болезненном, зловещем. И в эту минуту по драматической случайности, которую сидевший во мне начинающий писатель вполне оценил, ее изменившееся лицо почти исчезло в густой тени – одно из пухлых, причудливо окрашенных облаков на короткое время заслонило солнце, и на нас дохнуло осенним холодком. Софи конвульсивно вздрогнула и поднялась, затем повернулась ко мне спиной, крепко обхватив ладонями голые локти, словно легкий ветерок пронизал ее до костей. Ее помрачневшее лицо и этот жест невольно снова напомнили мне тягостную сцену, свидетелем которой я нечаянно оказался всего пять вечеров тому назад, – сколько еще оставалось для меня неясного в этой их безумно мучительной связи. Сколько было в ней непонятных моментов и ситуаций. Взять хотя бы Морриса Финка. Чем объяснить этот мерзкий театр марионеток, который он видел и описал мне, – эту подсмотренную им жестокость: как Натан бил Софи, лежавшую на полу? Как это укладывается в общую картину? Как совместить это с тем, что во все последующие дни, когда я видел Софи и Натана вместе, даже выражение «безумно влюбленные» было бы слишком слабым для описания их

отношений? И как мог этот человек, о чьей нежности, доброте и любви Софи вспоминала в разговорах со мной с таким волнением, что у нее глаза порой наполнялись слезами, – как мог этот святой, исполненный такого сострадания человек превратиться в ходячий ужас, с которым я недавно столкнулся на пороге дома Етты?

Я предпочел не раздумывать над этим, тем более что многоцветное облако ушло на восток, дав солнцу снова залить нас своим светом; Софи улыбнулась, словно солнечные лучи развеяли овладевшие ею на миг мрачные мысли, и, швырнув последние крошки Тадеушу, сказала, что нам пора возвращаться в Еттин дом. Натан, несколько взволнованно объявила она, купил к ужину бутылку знаменитого бургундского, и ей надо зайти в «Эй энд Пи» на Черч-авеню, чтоб к вину был хороший бифштекс; после этого, добавила Софи, она свернется калачиком и продолжит свою титаническую борьбу с «Медведем».

– Мне б хотелось встретить этого мистера Уи-лли-ама Фолкнера, – заметила она, когда мы не спеша пошли назад, к дому, – и сказать ему, что это очень трудно для польских людей, когда он не кончает фразу. Но, ох, Язвинка, как этот человек пишет! Я чувствую, что я – в Миссисипи. Язвинка, ты свезешь меня и Натана как-нибудь на Юг?

Едва я вошел к себе в комнату, как меня снова оглушила мысль о Лесли Лапидас, так что сердце замерло и влияние живого присутствия Софи потускнело, а затем и вовсе стерлось. Я был настолько глуп, что подумал, будто при моей дисциплинированности и умении отрешаться я смогу провести часы, остававшиеся до нашего свидания, в обычных занятиях – напишу письма друзьям на Юге, сделаю записи в блокноте или просто поваляюсь на кровати и прочитаю. А я был погружен в «Преступление и наказание», и, хотя понимал, что мне никогда не написать книги такого потрясающего масштаба и сложности, уже несколько дней, изумляясь и восторгаясь, упорно продвигался по ее страницам, прежде всего поражаясь мастерству, с каким выписан образ Раскольникова, чья тяжелая и жалкая жизнь в Санкт-Петербурге казалась столь схожей (за исключением убийства) с моей жизнью в Бруклине. Влияние этой книги на меня было действительно столь сильным, что я принялся раздумывать – причем не между прочим, а со всей серьезностью, и это весьма напугало меня, – какие возникли бы для меня физические и моральные последствия, если бы я тоже – из метафизических соображений – совершал небольшое убийство, скажем всадил бы нож в грудь какой-нибудь ни в чем не повинной старухи, вроде Етты Зиммермен. Видение, навеянное книгой, жгло меня, отталкивая и притягивая, тем не менее каждый день роман снова неудержимо засасывал меня в свой омут. И тут нельзя не воздать должное Лесли Лапидас, которая настолько завладела моим интеллектом и моей волей, что в тот день я к нему не прикоснулся.

Не написал я и писем и не начертал в своем блокноте ни единого афоризма – от саркастического до апокалипсического, выдержанного в стиле наихудших образцов прозы Сирила Коннолли и Андре Жида,[118] – а именно таким путем я пытался сделать себе карьеру в качестве мемуариста. (Я давно уничтожил большую часть того, что выбрасывала из себя моя юная психика, оставив лишь около сотни страниц, представляющих ностальгическую ценность, в том числе то, что связано с Лесли, а также трактат в девятьсот слов, на редкость остроумный для дневника, в целом перегруженного страхами и глубокомысленными рассуждениями о сравнительных достоинствах различных смазочных веществ, уничтожающих раздражение, запах и тому подобное, которыми я пользовался, предаваясь «тайному пороку»; бесспорным победителем тут оказалось снадобье «Хлопья цвета слоновой кости», растворяемое в воде при комнатной температуре.) Нет, вопреки всем диктатам сознания и кальвинистской этике труда, хотя я вовсе не чувствовал усталости, я улегся на спину и долго лежал неподвижно, в состоянии, близком к прострации, пораженный тем, что лихорадка, снедавшая меня все эти дни, вызвала мышечные судороги и что, оказывается, можно действительно заболеть, и даже, наверное, серьезно, от восторга сладострастия. Я превратился в этакого распластанного шестифутового Эроса. Стоило мне представить себе, что через несколько часов обнаженная Лесли будет извиваться в моих объятиях – и сердце у меня отчаянно подпрыгивало, а это, как я уже говорил, могло бы плохо кончиться, будь я старше.



Пока я лежал так в своей леденцово-розовой комнате и минуты медленно ползли, к одолевшей меня немощи добавилось какое-то полубезумное неверие в себя. Вспомните, мое целомудрие было ведь почти первозданно. Это увеличивало ощущение, что все происходящее мне снится. Я не только стоял на пороге

познания плотских радостей – я готовился отплыть в Аркадию, землю обетованную, в бархатно-черные, звездные выси далеко за Плеядами. Я снова вспомнил (сколько раз уже я вызывал в памяти эти звуки?) откровенные непристойности, которые произносила Лесли, и, вспоминая их – а мой

внутренний видеоискатель при этом воспроизводил мне каждую складочку ее влажных и сочных губ, блестящие, идеальной формы, благодаря искусству зубных врачей, резцы, даже хитро застрявшую в просвете между зубами полоску зубной пасты, – я думал: это же глупейшая пустая мечта – считать, что этот рот сегодня вечером, еще прежде, чем солнце завершит свой путь и снова встанет над заливом Шипсхед, будет... нет, не мог я позволить себе думать о том, что будет делать этот влажный и сладкий рот и что за сим воспоследует. Сразу после шести я скатился с кровати и принял душ, а потом в третий раз за день побрился. Наконец я надел мой единственный костюм из легкой ткани в полоску, достал из моего казначейства в виде коробочки фирмы «Джонсон энд Джонсон» бумажку в двадцать долларов и вышел из комнаты навстречу моему величайшему приключению.

В холле (важные события в моей жизни память часто сопровождает ярко высвеченными картинками-сателлитами) Етта Зиммермен и этот бедный слон Мойше Маскатблит отчаянно из-за чего-то ссорились.

– И вы еще называете себя благочестивым молодым человеком и так себя со мной ведете? – чуть не кричала Етта, и в голосе ее было больше глубокой боли, чем подлинного гнева. – Вас, значит, обокрали в метро? Я дала вам пять недель отсрочки, чтоб вы расплатились со мной за квартиру, – пять недель по щедрости и доброте моего сердца, – а вы теперь меня бабушкиными сказками кормите! Да за кого вы меня принимаете – я что, наивная маленькая файгеле,[119] так я и поверю вашим рассказам! Ха-ха! – Это «ха-ха!» было произнесено столь величественно, было исполнено такого презрения, что Мойше – толстый и весь взмокший в своем черном, как положено будущим священнослужителям, одеянии – буквально съежился.

– Но это же правда! – настаивал он. Я впервые услышал, как он говорит, и этот юношеский фальцет показался мне вполне соответствующим его крупному, трясущемуся, как желе телу. – Это же правда: у меня действительно вытащили деньги из кармана на станции Бергенстрит. – Казалось, он сейчас заплачет. – Это был цветной, такой совсем маленький цветной человечек. Ох, он так быстро все проделал! Я и рта не успел раскрыть, а он уже – вверх по лестнице и на улицу. Ох, миссис Зиммермен...

От нового «ха-ха!» могли бы треснуть панели тикового дерева.

– Я что же, должна верить этим рассказам? Должна верить, потому что мне это говорит без пяти минут раввин? На прошлой неделе вы мне сказали... вы поклялись мне на прошлой неделе всем, что для вас свято, что в четверг днем у вас будет сорок пять долларов. А теперь вы потчуете меня сказочкой про то, что вас обокрали! – Етта стояла в боевой позе, наклонив вперед свой квадратный

торс, но мне снова показалось, что это были скорее громкие слова, чем угрозы. – Тридцать лет я держу это заведение и никого отсюда не выселяла. Я горжусь тем, что ни разу никого не вышвырнула, кроме одного придурка-ойсворфа в тридцать восьмом году, когда застала его в дамских панталонах. А теперь вот, после этой истории, я вынуждена буду – да простит меня бог! – выселить почти раввина!

– Ну пожалуйста! – пропищал Мойше, глядя на нее умоляющими глазами.

Вовсе не желая вмешиваться в чужие дела, я попытался пройти бочком мимо их внушительной массы и только было пробормотал извинение, как услышал голос Етты:

– Так, так!. И куда же это вы направляетесь свои стопы, Ромео?

Я понял, что обязан этим, должно быть, моему костюму из легкой ткани, свежeweыстиранному и слегка подкрахмаленному, моим прилизанным волосам, но прежде всего, несомненно, лосьону «Ройял лайм», которым, как я вдруг понял, с такою щедростью полил себя после бритья, что теперь от меня пахло, точно от тропической рощи. Я улыбнулся, ничего не сказал и заспешил дальше, стремясь побыстрее выбраться из сложной ситуации и одновременно уйти от слегка похотливого внимания Етты.

– Могу поспорить, у какой-то счастливой девчонки сбудется сегодня мечта! – сказала она, басовито хихикнув.

Я дружески помахал ей рукой и, бросив взгляд на съежившегося, несчастного Маскатблита, нырнул в приятную атмосферу июньского вечера. Быстро шагая по улице к метро, я все еще слышал его слабенькие писклявые оправдания и перекрывавший их хриплый раскатистый женский голос; Етта еще какое-то время в ярости высмеивала его, потом в ее голосе зазвучала терпеливая снисходительность, и я понял, что Мойше едва ли выставят из Розового Дворца. Етта, как я уже уразумел, в глубине души была славным малым или, иначе говоря, настоящей балбеш.[120]

Однако некоторые особенности этой сценки, смахивавшей на речитатив из какой-нибудь еврейской комической оперы, породили во мне определенные опасения насчет предстоящей встречи с Лесли. Покачиваясь в приятно пустом вагоне метро, я пытался читать бруклинский «Игл», где главное место занимали приходские проблемы, потом плюнул и стал думать о Лесли – вот тут-то мне и пришло в голову, что я еще никогда в жизни не переступал порога еврейского дома. Как это выглядит? – спрашивал я себя. И внезапно заволновался – правильно ли я одет, и почему-то вскользь подумал, не следовало ли мне быть в

шляпе. Да нет, принялся уверять я себя, они, конечно, ходят так только в синагогу (а может быть, нет?), и перед моим мысленным взором мелькнул невзрачный желтый кирпичный храм, где в моем родном городе в штате Виргиния собиралась паства Родефа Шолема. Этот храм стоял наискосок от пресвитерианской церкви, равно невзрачного сооружения из песчаника ужасного землистого цвета, крытого шифером во вкусе, принятом в архитектуре американских церквей тридцатых годов, куда я ребенком, а затем подростком исправно ходил по воскресеньям, и молчаливая, наглухо закрытая от глаз синагога, с ее мрачными чугунными дверьми и резным изображением звезды Давида, представлялась мне в своей пугающей тишине олицетворением отъединенности, тайны и даже чего-то сверхъестественного, что окружает евреев, их обычаи и их дымную, кабалистическую религию.

Как ни странно, но в самих евреях я не видел ничего таинственного. В нашем шумном южном городе евреи были тепло приняты и вполне ассимилировались среди деловых кругов населения – торговцев, врачей, юристов, буржуазии самого разного толка. Заместитель мэра (вице-мэр) был еврей; большая местная школа чрезвычайно гордилась своими вечно побеждавшими командами и этой *gaga avis*[121] – отчаянным и грозным евреем – спортивным тренером. Но я видел и то, как евреи становятся другими, словно обретая другую сущность. Происходит это вдали от дневного света и делового шума, когда они укрываются у себя в доме или уходят в изоляцию своей мрачной азиатской веры с ее дымными курениями, и бараньими рогами, и жертвоприношениями, и бубнами, когда женщины обязаны закрывать лицо, когда звучат скорбные песнопения и плач по усопшим на мертвом языке – вот это уже было недоступно пониманию одиннадцатилетнего пресвитерианца.

Я, наверное, был слишком юн и слишком невежественен, чтобы провести параллель между иудаизмом и христианством. Не в состоянии был я и понять всю нелепость очевидного мне сейчас парадокса: ведь когда, выйдя из воскресной школы, я стоял и, шурясь от яркого солнца, смотрел на мрачный и зловещий храм на другой стороне улицы (мой маленький умишко еще спал, убаюканный поразительно нудным эпизодом из Книги Левит, который заставил меня выслушать этот скопец, банковский кассир по имени Макджиги, чьи предки во времена Моисея поклонялись деревьям на острове Скай и были на луну), мне и в голову не приходило, что ведь я только что познал одну из глав древней, нетленной, открывающей все новые свои страницы истории того самого народа, на чей молельный дом я смотрел с таким глубоким подозрением и дрожью необъяснимого страха. Очень мне было жалко Авраама и Исаака. Бог ты мой, какие немыслимые вещи творятся в этом языческом капище! И к тому же по субботам, когда все добропорядочные гои косят траву на своих лужайках или занимаются покупками в универсальном магазине Сола Нахмена. Я только еще начал изучать Библию и знал уже достаточно много и одновременно слишком

мало об иудеях, поэтому и не мог по-настоящему представить себе, что же делала паства Родефа Шолема. В моем детском воображении они дули в рога, и резкие, немелодичные звуки эхом отдавались в этом вместилище вечного мрака, где гниет старый ковчег и лежат груды скрижалей. Громко рыдают кошерные женщины во власяницах, с наброшенным на голову покрывалом. Никаких поднимающих дух песнопений – лишь монотонные причитания, в которых с настырным упорством повторяется какое-то слово, похожее на «аденоиды». Призрачные, костяные амулеты-филактерии взлетают в полумраке, будто доисторические птицы, и по всему храму раввины в шапочках завывают гортанными голосами, исполняя свои дикие обряды – кастрируя коз, заживо сжигая быков, вспарывая животы новорожденным ягнятам и вытаскивая внутренности. Что еще мог представить себе маленький мальчик, прочитав Книгу Левит? Я просто не в состоянии был понять, как моя обожаемая Мириам Букбайндер или Джули Конн, легкомысленная школьная учительница гимнастики, которую все обожали, могли существовать в атмосфере таких суббот.

Сейчас, десять лет спустя, я более или менее избавился от подобных заблуждений, но не настолько, чтобы слегка не опасаться того, что ждало меня chez[122] Лапидас, где мне предстояло впервые познакомиться с еврейским домом. Еще в поезде, везшем меня на Бруклин-Хайтс, я обнаружил, что раздумываю над физическими особенностями дома, в который я направлялся и который, в моем представлении, как и синагога, был чем-то темным и мрачным. Конечно, моя фантазия уже не отличалась детской эксцентричностью. Я едва ли ожидал увидеть нечто столь же унылое, как неопрятные квартиры у железной дороги, про которые я читал в рассказах из жизни городских евреев в двадцатых и тридцатых годах, – я знал, что семейство Лапидас отделяет от трущоб и штетла несколько световых лет. Тем не менее такова уж сила предрассудков и предубеждений, что их обиталище рисовалось – как я уже говорил – гнетуще темным, даже мрачным. Я видел затененные комнаты, обшитые панелями из темного ореха, обставленные громоздкой дубовой мебелью раннеиспанского стиля; на одном столе стоит менора с полным набором свечей, но ни одна не зажжена, а на другом, рядом, лежит Тора, или Ветхий завет, а может быть, Талмуд, раскрытый на странице, которую только что благоговейно изучал старший Лапидас. Хотя и тщательно выскобленное, жилище будет непроветренное, с застоявшимся воздухом; запах жарящейся фаршированной рыбы будет нестись из кухни, где, если туда заглянуть, можно обнаружить старуху в платке – бабушку Лесли, – которая беззубо улыбнется, подняв склоненную над сковородой голову, но ничего не скажет, ибо не говорит по-английски. В гостиной мебель будет почти вся металлическая, отчего сразу возникнет сходство с частной лечебницей. Я ожидал, что мне нелегко будет вести беседу с родителями Лесли: мать, необъятных размеров, как все еврейские мамочки, робкая, стеснительная, будет почти все время молчать; отец, человек

более бывалый и достаточно приятный, говорит, однако, только о своем деле – изделиях из пластмассы – с взрывными придыханиями, свойственными его родному языку. Мы будем потягивать «манишевиц» и поклевывать халву, тогда как мои вкусовые рецепторы будут алкать шлица.[123] Тут мои размышления на главную, прежде всего заботившую меня тему – где, в какой комнате, на какой кровати или диване в этой суровой пуританской обстановке мы с Лесли сможем победно соединиться? – внезапно прервало прибытие нашего поезда на станцию «Кларк-стрит – Бруклин-Хайтс».

Не хочу пережимать в описании моей реакции, когда я увидел дом Лапидасов и сопоставил с тем, каким его рисовало мое предубеждение. А дело в том, что дом, в котором жила Лесли (а он и после многих лет сохранился в моей памяти, столь же четко отчеканенный, как новенькая медная монета), был такой поразительно роскошный, что я несколько раз прошел мимо него. У меня никак не укладывалось в голове, что здание на Пирпонт-стрит действительно то самое, номер которого дала мне Лесли. Когда я наконец уверился, что это так, то остановился и в полном восторге принялся его рассматривать. Изящный, тщательно реставрированный кирпичный дом в стиле греческого ренессанса возвышался в некотором удалении от улицы, посреди небольшой зеленой лужайки, окаймленной полукружием гравийной подъездной аллеи. Сейчас на этой аллее стоял сверкающий чистотою, надраенный «кадиллак» цвета темно-красного вина – он выглядел настолько безупречно, словно находился в демонстрационном зале.

Я приостановился на тротуаре этой благопристойной, обсаженной деревьями улицы, упиваясь ее вдохновенной элегантностью. Окна дома мягко светились в ранних сумерках, создавая впечатление гармонии, так что мне сразу вспомнились величественные здания на Монумент-авеню в Ричмонде. Затем в голову мне пришла низменная, вульгарная мысль, и я подумал, что эту картину вполне можно было бы использовать для рекламы рыбного филе, шотландского виски, бриллиантов или чего-то не менее изысканного и сверхдорогого на гляцевитых страницах больших журналов. Но все же главным образом это напомнило мне элегантную и по-прежнему прекрасную столицу Конфедерации – сравнение, которое могло возникнуть только у южанина и было, пожалуй, притянута за уши, но точность его довольно быстро подтвердилась сначала угодливо согнувшимся чугунным негром-жокеем, который улыбался возле портика, обнажая розовые десны, а затем нагловатой маленькой горничной, открывшей мне дверь. Она была блестяще-черная, вся в рюшках и оборочках, и говорила с таким акцентом, в котором мое безошибочно настроенное ухо сумело распознать уроженку верхней восточной части Северной Каролины, что находится между рекой Ронок и округом Карритак, чуть южнее границы с Виргинией. Девушка это и подтвердила, сказав в ответ на мой вопрос, что она родом из деревни Саут-Миллз – «приятенького», по ее словам, уголка среди

Непролазных болот. Хихикнув и тем самым давая понять, что оценила мою проницательность, она закатила глаза и сказала:

– Пожалте! – Потом, считая, что так оно приличнее, поджала губы и произнесла, слегка подражая произношению янки: – Мисс Лау-пии-дас счас выдет к вам.

А я уже заранее слегка захмелел в предвкушении дорогого иностранного пива. Тем временем Минни (ибо, как я выясню позже, так звали горничную) провела меня в огромную, кремово-белую гостиную, уставленную роскошными софами, монументальными оттоманками и до порочности покойными креслами. Все это стояло на толстом ковре, застилавшем весь пол, тоже безупречно белом, без единого пятнышка или соринки. Книжные шкафы ломились от книг – настоящих книг, новых и старых, многие из них были явно читаны. Я опустил в обтянутое оленьей кожей кремовое кресло, которое стояло между дивным Боннаром и картиной Дега, изображавшей музыкантов во время репетиции. Картина Дега сразу показалась мне знакомой, но я не мог сказать, где именно я ее видел... пока вдруг не вспомнил, что эта картина связана с моим юношеским увлечением филателией: она же была воспроизведена на марке Французской Республики. «Великий боже!» – промелькнуло у меня в голове.



Я, конечно, весь день пребывал в состоянии эротического возбуждения. В то же время я никак не был подготовлен к тому, что окажусь среди такого богатства – мои глаза провинциала видели нечто подобное лишь на страницах журнала

«Нью-Йоркер» или в кино, но еще ни разу в действительности. Этот шок – словно мне внезапно впрыснули либидо вместе с пониманием, что передо мной всего лишь ценности, разумно приобретенные на презренный металл, – вызвал во мне смятение и целую кучу эмоций: пульс у меня участился, на щеках запылал лихорадочный румянец, рот вдруг наполнился слюной и, наконец, в моих трусах вдруг налился непомерно большой и твердый желвак, который потом весь вечер будет мне мешать, в каком бы положении я ни находился – сидел ли, стоял ли или даже когда, ковыляя, пробирался среди посетителей ресторана «У Гейджа и Толнера», куда повез Лесли ужинать. Мое состояние распаленного жеребца объяснялось, конечно, моей крайней молодостью и впоследствии редко проявлялось (во всяком случае после тридцати – ни разу так надолго). Со мной уже и раньше не раз случалось такое, но я редко бывал так напряжен и ничего подобного ни разу не возникало в обычных, не интимных условиях. Особенно запомнился тот случай, когда мне было около шестнадцати и я танцевал в школе с одной из тех искусных маленьких кокеток, о которых я упоминал и которым Лесли является драгоценной противоположностью, – девчонка проказила тогда со мной, как могла: она и дышала мне в шею, и щекотала пальчиком мою потную ладонь, и терлась своим шелковистым передком о мою пушку с таким преднамеренным и в то же время деланным распутством, что только благодаря силе воли – после не одного часа подобного испытания – мне удалось оторваться от маленького вампира и уйти, унося с собой в ночь мое взбухшее естество. В доме Лапидасов особых стимуляторов мне не потребовалось. Достаточно было мысли, что вот сейчас ко мне выйдет Лесли, а также сознания – признаюсь в этом без стыда, – что меня окружают такие деньги. Я поступил бы нечестно, если б не покался, что к сладостной перспективе слияния с Лесли добавилась теперь перспектива бракосочетания, при удачном стечении обстоятельств.

Вскоре я между прочим узнал – от Лесли и от пожилого друга Лапидасов, некоего мистера Бена Филда, прибывшего в тот вечер со своей женой практически следом за мною, – что Лапидасы разбогатели на одной штучке из пластика, размером с указательный пальчик ребенка или червячок-аппендикс у взрослого, на который, кстати, этот предмет и походил. Бернард Лапидас, рассказывал мистер Филд, грея в руке стакан виски «Чивас регал», начал процветать в тридцатые годы, во время депрессии, занявшись выпуском штампованных пластмассовых пепельниц. Эти пепельницы (как потом пояснила мне Лесли) были такие, к каким все привыкли: черные, круглые, с фирменными названиями: «СТОРК-КЛУБ-21», «ЭЛЬ МОРОККО» или для более плебейского вкуса – «УГОЛОК БЕТТИ» и «В БАРЕ У ДЖО». Многие берут эти пепельницы в качестве сувенира, поэтому на них всегда есть спрос. За эти годы мистер Лапидас выпустил сотни тысяч пепельниц и благодаря маленькой фабричке в Лонг-Айленд-Сити мог вполне уютно жить со своим семейством сначала в Краун-Хайтс, а потом в одном из наиболее фешенебельных кварталов Флэтбуша.

Собственно, переход от благосостояния к роскоши принесла с собой последняя война, когда Лапидасы перебрались в заново отремонтированный кирпичный особняк на Пирпонт-стрит и приобрели Боннара и Дега (а также, как я вскоре обнаружил, пейзаж кисти Писсарро – заброшенный проселок среди чащобы, окружавшей в девятнадцатом веке Париж; было в этом столько покоя и прелести, что у меня комок встал в горле).

Как раз перед Перл-Харбором, продолжал мистер Филд спокойным тоном хроникера, федеральное правительство устроило конкурс среди фабрикантов пластмассовых изделий на изготовление весьма миниатюрного предмета – неправильной формы стержня в два дюйма длиной с ребристым шариком на конце, который должен был точно входить в такое же ребристое отверстие. Стоило изготовление стержня меньше пенни, но, поскольку контракт, который подписал мистер Лапидас, предусматривал производство десятков миллионов таких червячков, получилась настоящая Голконда:[124] эта штучка была ведь основным компонентом запала в каждом семидесятипятимиллиметровом артиллерийском снаряде, выпущенном армией и флотом в течение второй мировой войны. В поистине дворцовой ванной, которую мне через какое-то время пришлось посетить, на стене под стеклом висел этот кусочек полимерной смолы (а именно из нее, как сказал мне мистер Филд, и производилось изделие), и я, как зачарованный, долго смотрел на него, думая о том, какие бесчисленные легионы япошек и краутов[125] взлетели на воздух благодаря существованию этой штуки, созданной из черной вязкой массы в тени моста Куинсборо. Висевший под стеклом экземпляр был сделан из восемнадцатикаратного золота, и его присутствие тут было единственным проявлением дурного вкуса во всем доме. Впрочем, в тот год, когда в воздухе Америки еще был свеж запах победы, это было вполне простительно. Лесли потом называла эту штуку «червячком» и спрашивала, не напоминает ли мне стерженек «этакого толстенького сперматозоида» – впечатляющий, но страшноватый по противоположности смысла образ, если учесть, для чего применялся Червячок. Мы весьма философично поговорили об этом, а под конец – причем с самым невинным видом – Лесли небрежно заметила, говоря об источнике семейного богатства: «Все-таки благодаря Червячку мы сумели приобрести несколько фантастических картин французских импрессионистов».

В тот вечер, когда Лесли наконец вышла ко мне – раскрасневшаяся, хорошенькая, – на ней было черное как уголь, облегающее трикотажное платье, до боли прельстительно струившееся по ее колышущимся округлостям. Она чмокнула меня влажными губами в щеку, обдав ароматом невинной туалетной воды, источавшим свежесть нарцисса и почему-то возбудившим меня вдвое больше, чем душные мускусные духи, которыми обливались, точно одалиски, эти глупые девственницы, развращенные девчонки, проводившие со мной время в Тайдуорте. Вот это класс, подумал я, настоящий еврейский класс. Девчонка,

достаточно уверенная в себе, чтобы душиться одеколоном «Ярдли», несомненно, знает, что такое секс. Вскоре к нам присоединились родители Лесли: гладкий, загорелый, с приятным хитровато-лисьим лицом отец лет пятидесяти с небольшим и очаровательная женщина с золотистыми волосами, такая моложавая, что она вполне могла сойти за старшую сестру Лесли. Глядя на нее, я едва мог поверить, что она, как сказала мне потом Лесли, окончила Барнард в 1922 году.



Мистер и миссис Лапидас пробыли с нами совсем недолго, так что у меня осталось от них лишь поверхностное впечатление. Но этого впечатления – об их несомненной образованности, неброских, хороших манерах, утонченности – было достаточно, чтобы я весь съезжился от сознания своего невежества и косности, побудивших меня простодушно представить себе в метро, какая меня ждет грязь, и мрак, и отсутствие культуры. Как же мало я знал о мире городов, расположенных за рекой Потомак, с их этническими загадками и сложностями. И как ошибался, ожидая увидеть стереотип вульгарности. Представлял себе Лапидаса-пере[126] в виде эдакого Шлеппермена – еврея-комика из радиопрограммы Джека Бенни, с акцентом обитателя Седьмой авеню и неисправимыми ошибками в речи, а увидел патриция, вкрадчивого, не кичащегося своим богатством, с приятной манерой четко, неспешно произносить слова, как этому учат в Гарвардском университете, который, как я обнаружил, он окончил по химии *summa cum laude*, [127] получив знания, позволившие ему создать несравненный Червячок. Я потягивал поданное нам отличное датское пиво. И, уже немного захмелев, чувствовал себя таким счастливым – счастливым и ублаженным превыше всех моих ожиданий. Затем выяснилась еще одна удивительно приятная новость. Из разговоров, жужжавших в душистом

вечернем воздухе, я начал понимать, что мистер и миссис Филд намерены вместе с родителями Лесли отправиться на весь уик-энд в летний дом Лапидасов на побережье Нью-Джерси. Собственно, вся компания немедленно отбывала в бордовом «кадиллаке». Стало быть, как я понял, мы с Лесли остаемся в доме одни и можем резвиться, сколько душе угодно. Счастье переполнило меня. О, оно выплеснулось на безупречно чистый ковер, выбежало за дверь на Пирпонт-стрит и растеклось по всем тускло освещенным закоулкам, где в Бруклине предаются земным утехам. Целый уик-энд наедине с Лесли...

Но прошло, пожалуй, еще с полчаса, прежде чем Лапидасы и Филды залезли в «кадиллак» и двинулись в Эсбери-Парк. А до отъезда болтали о том о сем. Как и наш хозяин, мистер Филд коллекционировал произведения искусства, и разговор зашел о приобретениях. Мистер Филд положил глаз на некую картину Моне в Монреале и дал понять, что, если немного повезет, ему, наверное, удастся завладеть ею за тридцатку. По спине моей прошел приятный холодок. Я понял, что впервые слышу, чтобы кто-то живой (а не герой на экране) сказал «тридцатка», имея в виду «тридцать тысяч». Но меня ждал еще один сюрприз. В этот момент упомянули про Писсарро, и, поскольку я этого полотна не видел, Лесли живо вскочила с софы и заявила, что я должен немедленно посмотреть картину. Мы отправились в глубь дома, где в столовой нам предстало дивное видение, освещенное последними косыми лучами летнего солнца, – в приглушенном свете воскресного дня сплетались воедино светло-зеленый дикий виноград, облупленные стены и вечность. Это нашло во мне мгновенный отклик.

– Какая красота! – услышал я собственный шепот.

– Это что-то, правда? – отозвалась Лесли.

Мы стояли рядом и смотрели на пейзаж. Лицо Лесли было в тени и так близко от моего, что я чувствовал сладкий, тягучий запах хереса, который она пила, и не успел я опомниться, как ее губы уже прильнули к моим. По правде говоря, я вовсе этого не ожидал – я повернулся, просто чтобы посмотреть на ее лицо, ожидая увидеть на нем тот же эстетический восторг, какой испытывал я. Но я даже не успел заметить, какое было у нее лицо, – таким мгновенным и страстным был ее поцелуй. Язык ее, словно этакая верткая морская тварь, проник в мою раскрытую пасть и, продвигаясь к какой-то недостижимой цели, поистине лишил меня всякого соображения; он извивался, он пульсировал, он судорожно обследовал своды моего рта – я уверен, что уж по крайней мере один раз он действительно перевернулся. Скользкий, как дельфин, не столько мокрый, сколько дивно слизкий и отзывающийся «Амонтильядо», он обладал такою силой, что я невольно попятился или, вернее, привалился к дверному косяку и беспомощно замер, крепко зажмурясь, зачарованный этим языком. Сколько это продолжалось не знаю, но, когда мне наконец пришлось в голову ответить или

попытаться ответить и я, захлебываясь слюною, с булькающим звуком начал разворачивать собственный язык, я почувствовал, как она поспешно убрала свой, сразу съежившийся, точно из него выпустили воздух, оторвалась от моего рта и прижалась щекою к моей щеке.

– Сейчас нельзя, – прерывающимся голосом произнесла она.

Мне показалось, что по телу ее прошла дрожь, но я не был в этом уверен, – уверен же я был лишь в том, что она тяжело дышала и я крепко прижимал ее к себе. Я пробормотал:

– Боже, Лесли... Лес...

Это было все, что я сумел из себя выжать, и тут она высвободилась из моих объятий. Усмешка, появившаяся на ее лице, как-то не очень соответствовала кипевшим в нас страстям, а голос звучал нежно, весело, даже чуточку игриво, однако же то, что она произнесла, возбудило во мне безудержное желание – я чуть с ума не сошел. Мотив был знакомый, но исполненный на этот раз более сладкой свирелью.

– Трахаться, – сказала она, подняв на меня взгляд, и голос ее звучал еле слышно, – трахаться – это же фантастика.

Затем она повернулась и пошла назад в гостиную.



А я мгновение спустя нырнул в ванную, достойную Габсбургов, с высоким, как в

соборе, потолком и золотыми кранами в стиле рококо, порылся в бумажнике, обнаружил кончик заранее смазанного «Трояна», торчавший из фольги, и, чтобы он был под рукой, сунул его в боковой карман пиджака, затем постарался привести себя в порядок перед большим, во всю стену, зеркалом, по краю которого ползли золотые херувимы. Мне удалось стереть следы помады с лица – лица, которое, к моему огорчению, было красным, как вишня, отчего казалось, будто со мной случился солнечный удар. Тут уж я ничего не мог поделать, зато я с облегчением увидел, что мой несколько старомодный пиджак из легкой ткани достаточно длинен и более или менее успешно скрывает ширинку на брюках и неисчезающий ком под ней.

Не следовало ли мне кое-что заподозрить, когда несколькими минутами позже, прощаясь с Лапидасами и Филдами на гравийной подъездной аллее, я увидел, как мистер Лапидас нежно поцеловал Лесли в лоб и тихо произнес:

– Будь умницей, моя маленькая принцесса, хорошо?

Пройдут годы, прежде чем, изучая еврейскую социологию и прочитав такие книги, как «Прощай, Коламбус» и «Марджори Морнингстар», [128] я узнаю о существовании образа еврейской принцессы, ее *modus operandi* [129] и значении в системе ценностей. Но в тот момент слово «принцесса» я воспринял лишь как милую шутку и внутренне усмехнулся этому «будь умницей», глядя, как «кадиллак», мигая красными хвостовыми огнями, скрылся в темноте. Тем не менее, когда мы остались одни, я почувствовал в манере Лесли что-то – пожалуй, это можно назвать своеобразным кокетством, – что подсказало мне: необходима передышка, невзирая на то что мы себя невероятно взбудоражили, невзирая на ее набег на мой рот, которому вдруг снова отчаянно захотелось почувствовать ее язычок.

Как только мы вернулись в дом, я сразу пустил в ход руки и обхватил Лесли за талию, но она звонко рассмеялась и, ловко вывернувшись, заметила – слишком иносказательно, чтобы до меня мог дойти смысл:

– Поспешишь – людей насмешишь.

Однако я безусловно готов был отдать в руки Лесли руководство нашей общей стратегией – пусть она установит распорядок и ритм нашего вечера и даст событиям нарастать постепенно, набирая крецендо; при всей своей пылкости и жажде чувственных радостей Лесли, хоть и была зеркальным отражением с недавнего меня желания, в конце-то концов отнюдь не принадлежала к числу вульгарных шлюх, и я не мог с ходу взять ее прямо тут, на этом огромном, во весь пол ковре. Невзирая на ее нетерпение и готовность отдаться – а я это инстинктивно угадывал, – ей, как всякой женщине, хотелось, чтобы за ней

поухаживали, польстили, постарались понравиться, побаловали, и я отнюдь не был против, поскольку Природа создала такую систему отношений, чтобы и мужчина получал удовольствие. Словом, я вполне готов был проявить терпение и подождать. Поэтому я довольно чопорно сидел рядом с Лесли под картиной Дега и меня ничуть не огорчило появление Минни с шампанским и свежей белужьей икрой (еще одним из моих «открытий» за этот вечер). Мы обменялись с Минни шуточками в стиле, принятом у южан, что явно показалось Лесли прелестным.

Как я уже отмечал, за время моего пребывания на Севере я, к своему изумлению, обнаружил, что ньюйоркцы часто склонны смотреть на южан либо крайне враждебно (как смотрел на меня вначале Натан), либо с насмешливой снисходительностью, словно южане – своеобразная порода шутов-менестрелей. Хотя я и знал, что Лесли пленила моя «серьезность», тем не менее я был включен в эту категорию. Я почти забыл – пока снова не появилась Минни, – что в глазах Лесли я представлял собою нечто новое и экзотическое, что-то вроде Ретта Батлера; [130] принадлежность к Югу была самым сильным моим козырем, и я тут же пустил это в ход и всю использовал потом целый вечер. К примеру, следующий диалог с Минни (просто немыслимый двадцать лет спустя) так развеселил Лесли, что она в восторге принялась хлопать себя по восхитительным, обтянутым трикотажем бедрам.

– Минни, я подыхаю – до того соскучился по нашей тамошней еде. Настоящей, какую едят цветные. Ну кому нужны эти рыбы яйца, что нам шлют коммунисты.

– Угу! И я тоже. Ух, соленой барабульки бы сейчас. Соленой барабульки с овсянкой. Вот это, я вам скажу, еда!

– А как насчет вареной требухи, Минни? Требухи с зеленым горошком!

– Да ну вас! – Дикие взвизги. – Заговорили тут про требуху – мне так есть захотелось, я сама сейчас сдохну!

Позже в ресторане «У Гейджа и Толнера», где мы с Лесли ужинали при свете газовых рожков, лакомясь морскими моллюсками и королевскими крабами, я познал такое наслаждение от слияния чувственного и духовного, как никогда потом в жизни. Мы сидели бок о бок за угловым столиком, вдали от стрекочащей толпы. Мы пили удивительное белое вино, оживившее мой мозг и развязавшее язык, и я рассказывал Лесли подлинную историю моего деда по отцу, который лишился глаза и коленной чашечки в битве при Чанселлорсвилле, и выдуманную – моего двоюродного деда со стороны матери, которого якобы звали Мосби и который был одним из знаменитых вождей партизан-

конфедератов в Гражданскую войну. Я говорю «выдуманную», потому что Мосби, виргинский полковник, никогда не был моим родственником; связанная же с ним история выглядела достаточно достоверно и была достаточно яркой, да и, рассказывая ее, я так красиво растягивал слова, делал такие милые отступления и упоминал такие подчеркивавшие доблесть Мосби детали, так смаковал каждый драматический момент, а под конец так незаметно включил на средний вольтаж все свое обаяние, что Лесли с горящими глазами потянулась через столик и схватила мою руку, как это было на Кони-Айленде, и я почувствовал, что ладонь у нее стала влажной от желания – во всяком случае, так мне показалось.

– А дальше что? – услышал я ее вопрос, когда для большего эффекта многозначительно умолк.

– Ну, мой двоюродный дед, то есть Мосби, – продолжил я, – под конец сумел окружить в долине бригаду Союза. Дело было ночью, и командир их спал в своей палатке. Мосби вошел в темную палатку, ткнул генерала под ребра и разбудил. «Генерал, – говорит он, – вставайте, я принес вам весть о Мосби!» Генерал, услышав незнакомый голос, но решив, что это один из его солдат, вскочил в темноте и воскликнул: «Мосби?! Вы захватили его?» А Мосби отвечает: «Нет, сэр! Это он захватил вас!»

Отклик Лесли вознаграждал меня: раздалось грудное, удовлетворенное, вырвавшееся из самого нутра «ура!», так что сидевшие за соседними столиками повернули головы, а пожилой официант бросил на нас укоризненный взгляд. Когда Лесли вдоволь насмеялась, мы оба с минуту сидели молча, глядя в наши рюмки с коньяком. Потом наконец она – а не я – коснулась предмета, который, я знал, больше всего занимал ее, как и меня.

– Знаешь, смешное это было время, – задумчиво произнесла она. – Я хочу сказать – девятнадцатый век. Ведь в голову не приходит, что они тоже трахались. Столько всяких книг и историй, и нигде ни слова про траханье.

– Викторианская эпоха, – сказал я. – Это все из напускной скромности.

– Я хочу сказать, я не так уж много знаю про Гражданскую войну, но когда я думаю о тех временах... я хочу сказать, с тех пор как я прочитала «Унесенные ветром», я стала придумывать всякие истории про этих генералов, этих роскошных молодых генералов-южан, с рыжеватыми усами и бородками, с вьющимися – в колечках – волосами, верхом на лошади. И про этих прелестных девушек в кринолинах и панталончиках. Можно подумать, что они никогда не трахались – ведь об этом нигде ничего не говорится. – Она помолчала и сжала мою руку. – Я хочу сказать, неужели ты не заводишься, стоит представить себе,

как такая восхитительная девчонка лежит с задранной кринолином и один из этих шикарных молодых офицеров... словом, я хочу сказать, как они трахаются, точно сумасшедшие?

— О да, — сказал я, а самого так и затрясло, — о да, завожусь. Это расширяет представление об истории.

Было уже больше десяти, и я снова заказал бренди. Мы посидели еще с часок, и Лесли снова — как на Кони-Айленде — мягко, но необоримо завладела штурвалом разговора и направила нас в илистые заводы и жутковатые лагуны, куда я, во всяком случае, еще ни разу не забредал с женщиной. Лесли часто упоминала о своем аналитике, который, сказала она, раскрыл ее первородную сущность и — что гораздо важнее — заложенную в ней сексуальную энергию: достаточно было вынуть затычку и высвободить эту энергию, чтобы Лесли стала здоровым животным (по ее собственному выражению), каким она сейчас является. Она говорила, а я, осмелев под благостным воздействием бренди, обводил кончиками пальцев ее выразительные, ярко-малиновые, с серебристым отливом губы.

— Я были такая маленькая недотепа, пока не занялась психоанализом, — со вздохом произнесла она, — заикленная интеллектуалка, вообще не думала о своем теле, о том, как это тело может меня просветить. Весь этот дивный нижний этаж для меня не существовал — я вообще ни о чем не думала. Ты читал Д. Г. Лоуренса? «Любовника леди Четтерлей»?

Я вынужден был сказать «нет». Мне очень хотелось прочесть эту книгу, но она — точно сумасшедший убийца-душитель — была посажена за решетку в запертых на ключ шкафах университетской библиотеки, и я не мог ее получить.

— Прочти ее, — сказала Лесли, и голос ее зазвучал теперь хрипло и напряженно, — достань и прочти ради твоего же блага. Одна моя подруга привезла экземпляр из Франции — я тебе его дам. Лоуренс знает ответ — о, он так понимает траханье. Он говорит, когда ты трахаешься, то попадаешь во власть темных богов. — Произнося эти слова, она сжала мою руку, а рука моя, переплетенная с ее пальцами, лежала всего в каком-нибудь миллиметре от вздутия внизу моего живота, и глаза Лесли смотрели на меня с такою страстью и убежденностью, что мне пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы тут же, при всех, по-животному не наброситься на нее. — Ох, Язвинка, — повторила она, — я в самом деле считаю: трахаться — это значит попасть во власть темных богов.

— Так давай отправимся к этим темным богам, — сказал я, по сути дела уже не владея собой, и усиленно замахал официанту, требуя счет.



Несколькими страницами раньше я упомянул об Андре Жиде и его дневниках, которым я пытался подражать. В университете Дьюка я старательно читал этого мастера по-французски. Я безмерно восхищался его дневниками и считал честность Жиде и его неустанное самоанатомирование частью тех поистине великих побед, которые одержал цивилизованный ум в двадцатом веке. В моем

дневнике, в начале последней части моей хроники, связанной с Лесли Лапидас, — Страстной недели, как я понял впоследствии, начавшейся в то счастливое воскресенье на Кони-Айленде и закончившейся моим распятием на кресте на Пирпонт-стрит на заре в пятницу, — я довольно много размышлял о Жиде и приводил по памяти некоторые его типичные мысли и наблюдения. Я не буду здесь долго на этом останавливаться, отмечу лишь мое восхищение не только тем, с какою стойкостью Жид переносил невероятные унижения, но также мужеством и добросовестностью, с какими он, казалось, был исполнен решимости их описывать, — и чем сильнее было унижение или разочарование, тем, как я подметил, самоочистительнее и яснее давал Жид отчет об этом в своих «Дневниках»; это был катарсис, в котором мог принять участие и читатель. Хотя сейчас я уже точно не помню, но, наверно, такого же катарсиса пытался достичь и я в этой последней части моего рассказа о Лесли — вслед за размышлениями о Жиде, которые я и включаю сюда. Но должен добавить: что-то у меня с этими страницами получилось странное. Записав свои мысли, я вскоре, видимо, в отчаянии вырвал страницы из гроссбуха, в котором вел дневник, и сунул как попало в конец, а потом лишь случайно на них напал, когда восстанавливал в памяти развязку этого дурацкого маскарада. Что меня тут поражает, так это почерк — не мой обычный ровный, старательный, четкий почерк школьника, а какие-то дикие каракули, показывающие, с какой головокружительной скоростью я писал и в каких растрепанных пребывал чувствах. Стил, однако, как я сейчас вижу, оставался гладким, насмешливо ироническим, с элементами самоанализа, который мог бы прийтись по душе Жиду, если бы ему когда-либо попались на глаза эти унижительные страницы.

Я мог бы обо всем догадаться, когда, выйдя из ресторана «У Гейджа и Толнера», мы сели в такси, естественно, я к тому времени уже настолько потерял

голову от самой обычной, древней, как мир, похоти, что просто схватил Лесли в охапку еще прежде, чем такси сдвинулось с места. И сразу повторилось то, что произошло у картины Писсарро. Ее язык оказался у меня во рту и заметался, как бешеная рыба, рвущаяся, ради спасшим жизни, вверх по течению. Никогда раньше я не знал, что поцелуй может играть такую важную роль, быть таким неумемным. Но теперь явно настал момент отвечать мне, что я и сделал. Мы едем по Фултон-стрит, и я «выдаю ей язык», что ей явно нравится, так как в ответ раздаются тихие стоны и по ее телу пробегает дрожь. К тому времени я так распаляюсь, что делаю то, чего мне всегда хотелось, когда я целовался с девчонкой в Виргинии, но тогда я на это не отваживался, так как слишком уж ясен намек. А делаю я вот что: медленно и ритмично то всуну язык ей в рот, то уберу – *ad libitum*. [131] От этого Лесли снова застонала и, оторвавшись от моего рта, прошептала: «Боже! Твой сам-знаешь-что и – во мне!» Но меня уже не сбить с пути этой непонятной застенчивостью. Я полубезумен. Мое состояние в ту минуту почти невозможно описать. Еще мало-мальски контролируя свое неистовство, я решаю, что наступило время сделать первый по-настоящему решительный шаг. И вот я очень осторожно скольжу рукой вверх по ее телу, чтоб взять в ладонь ее роскошную левую грудь – а может быть, правую? – я забыл какую. В эту минуту, к моему почти полному изумлению, Лесли твердо и решительно – столь же твердо и решительно, сколь я был деликатен, – выставляет вперед локоть и прикрывает грудь локтем, явно давая понять: «Ничего не выйдет». Это меня совершенно огорошивает, полностью огорошивает, и я решаю, что кто-то из нас допустил ошибку, не понял сигнала, что она дурачится (просто дурацкая шутка) или что-то еще. Тогда немного погодя, по-прежнему задвинув язык ей в глотку, так что она тихонько постанывает, я делаю попытку продвинуться к ее другому шару. Р-раз! Опять то же самое: защитное движение – рука взлетела и опустилась, точно шлагбаум у железнодорожного переезда. «Стой!» Нет, это просто выше всякого понимания.

(Сейчас пятница, восемь часов вечера, и я заглядываю в «Пособие по медицине Мерка». Согласно «Мерку», я, видимо, страдаю от «тяжелого острого глоссита» – травматического воспаления поверхности языка, несомненно усугубленного бактериями, вирусами и разного рода интоксикацией, явившейся следствием пяти- или шестичасового слюнообмена, беспрецедентного в истории моего рта, да, уверен, и чьего-либо другого. «Мерк» сообщает мне, что это пройдет и через несколько часов; если дать языку отдохнуть, наступит облегчение, о чем я с великой радостью узнаю, поскольку что-либо съесть или выпить больше нескольких глотков пива равносильно самоубийству. Уже почти ночь, и я пишу, сидя в полном одиночестве в доме Етты. Я не могу даже показаться Софи или Натану. По правде говоря, я чувствую себя опустошенным и обманутым, как никогда прежде, – мне и в голову не приходило, что такое возможно.)

Но вернемся к тому, как продвигались дела у Язвины. Естественно – хотя бы

для того, чтобы не рехнуться, – я должен был придумать какое-то объяснение странному поведению Лесли. Разумеется, подумал я, Лесли просто – что весьма логично – не хочет никаких непристойностей в такси. Вполне понятно. В такси – дама, в кровати – девка. Придя к такому выводу, я довольствуюсь тем, что еще усерднее обследую языком лабиринты ее рта, пока такси не подъезжает к кирпичному особняку на Пирпонт-стрит. Мы высаживаемся и входим в темный дом. Открывая парадную дверь, Лесли замечает, что сегодня, в четверг, Минни обычно уходит на ночь, и я заключаю, что мы будем предоставлены сами себе. Невзирая на слабый свет в вестибюле, я вижу, как воинственно стоит в брюках мой член. И вижу влажное пятнышко – словно у меня на коленях наделал щенок.

(Oh, Andre Gide, prie pour moi![132] Мне, право, становится невыносимым об этом рассказывать. Ну как описать все муки последующих нескольких часов, как сделать, чтобы это выглядело достоверно, а тем более по-человечески понятно? На ком лежит вина за эту ничем не спровоцированную пытку – на мне, на Лесли, на Zeitgeist? На психоаналитике, которого посещала Лесли? Бесспорно, кто-то ответственен за то, что бедняжка Лесли бредет одна на своем голом «уровне». Ибо именно так – «мой уровень» – называет она это преддверие ада, где она бродит одинокая и замерзшая.)

Около полуночи мы снова занялись делом на диване, под картиной Дега. Где-то в доме есть часы, которые отбивают время, и в два часа я продвинулся к цели не дальше, чем в такси. К этому времени мы уже вели отчаянную, но в основном молчаливую войну, и я испробовал все виды общепринятой тактики... Воинственный дух разыграл во мне, и вскоре я повел в полутьме более агрессивные атаки – добрался до верха ее бедра и даже попытался просунуть руку между ее сжатых колен, но она лишь оторвалась от моего рта и прошептала: «Потише, полковник Мосби!», а потом: «А ну отступи, Джонни Реб!» Все это произносилось с моим южным акцентом, весело, с легким прихихикиваньем, однако тоном Я ГОВОРЮ ВСЕРЬЕЗ, так что меня словно окатывало ледяной водой. Я же на протяжении этой шарады, право, не мог поверить тому, что происходило, просто не мог примириться с тем, что после таких авансов, от которых у меня дух перехватывало, после всех этих недвусмысленных приглашений и пылких «приди – я жду» она отступила и устраивает такие возмутительные трюки. Уже после двух, доведенный до безумия, я решаюсь на отчаянный шаг, понимая, что это может вызвать со стороны Лесли энергичный отпор – хотя насколько энергичный, я едва ли мог предугадать. Мы по-прежнему предавались нашей титанической борьбе, и оба чуть не задохнулись, когда она, не отрываясь от моего рта, вскрикнула, почувствовав в руке... Она ринулась с дивана, точно ее подожгли, и в этот момент весь вечер и все мои злополучные фантазии и мечты превратились в груду пылающей соломы.

(Oh, Andre Gide, cotte toi, je croi gue je deviendrai pédéraste! [133])

Потом она садится рядом со мной и, всхлипывая, как маленькая, пытается все объяснить. Она такая жутко милая, такая беспомощная, так удручена и так раскаивается, что это каким-то образом помогает мне совладать с бушующей во мне яростью. Сначала мне хотелось выпороть ее так, чтоб дух вон... схватить бесценного Дега и шмякнуть картиной ей по башке, прорвав полотно, чтобы оно хомутом повисло у нее на шее, а теперь я чуть не плачу вместе с ней, чуть не плачу от горя и разочарования, но также и от жалости к Лесли, которой этот ее психоанализ помог так крепко меня надуть. А узнаю я об этом по мере того, как часы отстукивают время, оставшееся до зари, и сердито выкладываю ей мои сетования и протесты. «Я не хочу быть нахалом или человеком безрассудным, – лепечу я ей в полутьме, держа ее за руку, – но ты же намекала на совсем другое. Ты сказала – и я в точности тебя цитирую: «Держу пари, ты мог бы фантастически потрахаться с девчонкой». – Я долго молчу, лишь выдыхаю в темноту голубой дымок. Потом говорю: – Что ж, мог бы. И намеревался. – Помолчал. – А теперь все». Снова наступает долгая пауза, и, пошмыгав носом, она говорит: «Я знаю, я так сказала, и если я тебя завела, извини, Язвинка. – Хлюп-хлюп. Я даю ей бумажную салфетку. – Но я ведь не говорила, что хочу, чтоб ты это со мной. – Новый взрыв всхлипываний. – Я ведь сказала «с девчонкой». И не сказала со мной». Тут у меня вырывается такой стон, что, наверно, мертвые зашевелились в могилах. Мы оба бесконечно долго молчим. В какой-то момент я слышу, как издалека, из Нью-Йоркской гавани, плывет сквозь ночь жалобный похоронный гудок парохода. Он напоминает мне о доме и преисполняет неизъяснимой печалью. Этот звук и печаль, которую он с собою принес, почему-то делают совершенно невыносимым присутствие этой пылкой, цветущей, словно растение из джунглей, Лесли, которая стала вдруг такой недостижимой... Неужели Иоанн Креститель так же страдал? Или Тантал? [134] Или святой Августин? Или Крошка Нелли? [135]

Лесли – в буквальном и фигуральном смысле слова – языкатик. Вся ее половая жизнь сосредоточена в языке. Недаром воспалительный процесс, которым она одарила меня с помощью своего сверхактивного органа, так сочетается с не менее воспаляющими, но абсолютно лживыми словами, которые она любит произносить. Пока мы сидим в гостиной, мне вдруг приходит на память название дурацкого явления, о котором я читал в учебнике по патопсихологии, когда учился в университете Дьюка, – «копролалия», или злоупотребление грязными словами, часто наблюдаемое у молодых женщин. И вот наконец, нарушив наше молчание, я как бы между прочим упоминаю, что, возможно, у Лесли развилась эта болезнь, – ее это не столько обижает, сколько задевает, и она снова начинает тихонько всхлипывать. Похоже, что я вскрыл болезненную рану. Да нет, утверждает она, не а этом дело. Через какое-то время она перестает плакать. И произносит то, что несколько часов тому назад я воспринял бы как шутку, а

сейчас принимаю спокойно и без удивления, как голую мучительную правду. «Я – девственница», – говорит она печальным тоненьким голоском. После долгого молчания я говорю: «Никаких претензий, я понимаю. Но, по-моему, ты очень больная девственница». Произнося эти слова, я чувствую всю их колкость, но почему-то не жалею об этом. Снова у входа в гавань раздается хриплый гудок парохода, преисполняя меня такой тоской и ностальгией, и отчаянием, что мне кажется, я сейчас же расплачусь. «Ты мне очень нравишься, Лес, – выдавливаю я из себя, – просто я считаю, нехорошо с твоей стороны дергать меня, точно куклу на веревочке. Это для парня тяжело. Ужасно. Ты и представить себе не можешь как».

После этого я уже просто не в состоянии понять, можно ли счесть ее слова *non sequitur*[136] или это что-то другое, но только она полным отчаяния голосом произносит: «А ты, Язвинка, и представить себе не можешь, что значит расти в еврейской семье». И сразу умолкает, не развивая дальше этой мысли.

Когда же забрезжил рассвет и глубокая усталость разлилась по моим костям и мускулам – включая доблестный мускул любви, который после упорного бдения наконец обмяк и сник, – Лесли поведала мне мрачную одиссею своего психоанализа. И, конечно, своей семьи. Своей жуткой семейки. Семейки, которая, по словам Лесли, несмотря на внешне цивилизованный и спокойный облик, является настоящим собранием восковых чудовищ. Безжалостный и честолубивый отец, который молится на свою пластмассу и с самого детства едва ли сказал дочери двадцать слов. Гадкая младшая сестра и старший брат-идиот. А главное – людоедка мать, которая хоть и окончила Барнард, но ведет себя по отношению к Лесли как мстительная сука, с тех пор как застала ее, трехгодовалую крошку, за самообследовани^{ем}, после чего руки Лесли для профилактики на долгие месяцы заковали в шину. Все это Лесли поспешно изливает мне, точно я вдруг стал одним из череды непрестанно сменяемых лекарей, которые на протяжении более четырех лет занимались ее горестями и бедами. Солнце уже окончательно взошло. Лесли пьет кофе, я пью «Будвейзер», а на двухтысячедолларовой радиоле «Магнавокс» играет Томми Дорси. Водопад слов, исходящих от Лесли, достигает моего слуха будто сквозь толстый слой ваты, и я пытаюсь – без особого успеха – связать воедино ее обрывистую исповедь, пересыпаемую самыми разнородными терминами, вроде рейхианство[137] и юнгианство, адлерианство, ученик Карен Хорни, сублимация, Gestalt, фиксации, гигиена тела и многое другое, что я знал, но ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил об этом в таких приподнятых выражениях, какими у нас, на Юге, могли бы изъясняться только Томас Джефферсон,[138] Дядюшка Ремус[139] и святая Троица. Я настолько устал, что с трудом сознаю, куда клонит Лесли, когда она заводит речь о своем нынешнем психоаналитике, уже четвертом враче, «рейхианце», некоем докторе Пулвермахере, а затем упоминает о своем «уровне». Я усиленно моргаю, давая понять, что сейчас засну. А она все говорит

и говорит, эти влажные прелестные губы еврейки, навсегда потерянные для меня, двинутся и двинутся, и я вдруг осознаю, что мое бедное бесценное сокровище впервые за многие часы улеглось, съжившееся и маленькое, как Червячок, копия которого висит за моей спиной, в родительской ванной. Я зеваю, зверски, громко, но Лесли не обращает на это ни малейшего внимания, видимо всецело занятая тем, чтобы я не ушел с дурным чувством, чтобы я постарался каким-то образом ее понять. А я, право, не знаю, хочется ли мне ее понимать. Она все говорит, я же в полной безнадежности думаю лишь об иронии судьбы: в общении с холодными маленькими гарпиями в Виргинии меня подводил главным образом Христос, а в случае с Лесли свинью не менее жестоко подложил мне знаменитый доктор Фрейд. Ловкие два еврея, уж вы мне поверьте.

«Пока я не достигла уровня вокализации, – слышу я голос Лесли в сюрреалистическом исступлении навалившейся на меня усталости, – я никогда не смогла бы произнести тех слов, которые говорила тебе. А сейчас я вполне способна вокализировать. Я имею в виду – произносить слова из трех букв; их все должны уметь произносить. Мой аналитик – доктор Пулвермахер – говорит, что степень репрессивности общества прямо пропорциональна репрессиям, которым подвергается язык секса».

Отвечая ей, я так глубоко и широко зеваю, что издаю нечто вроде медвежьего рева. «Понятно, понятно, – реву я, зевая, – «вокализировать» означает, что ты можешь произнести «трахаться», но не можешь этим заниматься!» Мой мозг весьма несовершенно реагирует на ее ответ в виде набора звуков длительностью в несколько минут, и из всего этого я выношу лишь впечатление, что Лесли сейчас серьезно занимается чем-то именуемым «сенсорной депривацией»: в ближайшие дни ее посадят в какой-то ящик, где ей придется терпеливо вбирать в себя волны энергии из эфира, что позволит ей шагнуть на ступеньку выше – на следующий уровень. Я почти засыпаю и, снова зевнув, беззвучно желаю ей успеха. И *mirabile dicti*, [140] отбываю в страну сна, а она все лепечет насчет того, что когда-нибудь... когда-нибудь! Мне снится странный муторный сон, в котором намеки на блаженство пронизаны непереносимой болью. Дремал я, должно быть, всего несколько минут. Проснувшись, я посмотрел сквозь припущенные ресницы на Лесли, находившуюся в самом разгаре своего монолога, и вдруг понял, что сижу на собственной руке, которую и поспешил вытащить из-под себя. Все пять пальцев сплющились и ничего не чувствуют. Это может служить объяснением моего бесконечного скорбного сна, в котором я, снова слившись с Лесли в жарком объятии на этом самом диване, умудрился все-таки ухватить ее за голую грудь, но в руке у меня оказался шар из влажного теста, оплетенный этаким убийственной жесткой сеткой из полыни и проволоки.

Сейчас, много лет спустя, я вижу, как мило выглядит история с неподатливой

Лесли – собственно, история ее неприступной девственности – на фоне того более обширного повествования, которое я считаю необходимым создать. Одному богу известно, что могло бы произойти, будь Лесли на самом деле той распутной и многоопытной девчонкой, какую она из себя изображала: это был такой спелый плод, такой желанный, что я не представляю себе, как я мог бы не стать ее рабом. Это, несомненно, побудило бы меня проводить меньше времени в земной, безалаберной атмосфере Розового Дворца Етты Зиммермен, и таким образом я не стал бы свидетелем той цепи событий, которые и послужили основой для данного повествования. Однако разрыв между тем, что наобещала мне Лесли и что она мне позволила, настолько глубоко ранил меня, что я заболел. В общем-то, ничего серьезного – всего лишь тяжелый грипп в сочетании с глубоким упадком духа, – но я пролежал в постели четыре или даже пять дней (нежно опекаемый Натаном и Софи, которые приносили мне томатный суп и журналы) и решил, что моя жизнь зашла в критический тупик. Этим тупиком была неприступная скала секса, о которую я непостижимо, но бесспорно расшибся.

Я знаю, что вполне пристойно выглядел, обладал обширными познаниями, добрым умом и даром южанина молотить языком, что, как я прекрасно понимал, сладостно (но не приторно-сладко) околдовывало. И несмотря на все эти мои дарования и немалые усилия, какие я употреблял, используя их, я никак не мог найти девушку, которая согласилась бы отправиться со мной к темным богам; это казалось мне сейчас, когда я лежал в постели, горя в лихорадке, листая «Лайф» и кипя от возмущения при воспоминании о том, как Лесли Лапидас болтала со мной в неверном свете зарождавшейся зари, ситуацией патологической, которую, сколь бы это ни мучительно, следовало рассматривать как отчаянное невезение – так люди смиряются с ужасным, но в конце концов терпимым недостатком, вроде неизлечимого заикания или заячьей губы. Просто мне, Язвине, был заказан секс, и надо было на этом успокоиться. Но зато, рассуждал я, передо мной стояли куда более возвышенные цели. В конце концов, я – писатель, художник, а теперь уже общеизвестно, что большинство величайших в мире произведений искусства было создано людьми, всецело посвятившими себя этому делу, умеющими экономить энергию, не разрешая нижнему этажу главенствовать над более высокими истинами красоты и правды. Итак, вперед, Язвина, сказал я себе, собирая в кулак мои растрепанные чувства, – вперед, за работу. Отбрось похоть и используй всю свою страсть для воссоздания на бумаге дивных видений, которые таятся в тебе и только ждут, чтобы родиться. Эти призывы к монашеской жизни привели к тому, что на следующей неделе я встал с постели, чувствуя себя посвежевшим, очистившимся и почти бесплотным, готовым смело продолжать схватку с сонмом волшебниц, демонов, олухов, клоунов, прелестных девиц и истерзанных матерей и отцов, которые начали заполнять страницы моего романа.

Я больше никогда не видел Лесли. Мы расстались в то утро по-дружески – торжественно, хотя и печально, и она попросила меня через какое-то время позвонить ей, но я так и не позвонил. Правда, она часто являлась мне потом в моих эротических мечтах и на протяжении многих лет не раз занимала мои мысли. Несмотря на пытку, которой она подвергла меня, я желал ей только счастья, куда бы она ни направила свои стопы и кем бы в конечном счете ни стала. Я всегда надеялся, что после своего пребывания в ящике она поднимется на более высокий уровень, чем «вокализация», и познает наслаждение, к которому так стремилась. Но если это ничего не дало, как не дали ранее другие формы лечения, я не сомневаюсь, что последующие десятилетия, с их поразительным прогрессом в науке разжигания и поддержания либидо, позволили Лесли познать наслаждение в полной мере. Возможно, я ошибаюсь, но почему интуиция подсказывает мне, что Лесли все-таки была вознаграждена полной мерою счастья? Право, не знаю; во всяком случае, вот какой я вижу ее сейчас: умиротворенной, холеной, все еще красивой женщиной с элегантной сединой, спокойно приемлющей переход к зрелому возрасту, очень следящей теперь за употреблением грязных слов, счастливой в браке, чадолюбивой и (я почти в этом убежден) часто испытывающей оргазм.

Восьмое

В то лето погода была в основном хорошая, но время от времени по вечерам становилось жарко и парно, и тогда мы с Натаном и Софи отправлялись за угол на Черч-авеню в «коктейль-гостиную» – господи, что за странный термин! – именуемую «Кленовый двор», где были установлены воздушные кондиционеры. В этой части Флэтбуша было сравнительно мало настоящих баров (что удивляло меня, пока Натан не пояснил, что серьезная выпивка не слишком принята у евреев), однако этот наш бар сравнительно неплохо преуспевал, и среди его посетителей, по преимуществу служащих, бывали ирландцы-швейцары, скандинавы-таксисты, немцы – управляющие на стойках и «белая англосаксонская кость» – люди неопределенных занятий, вроде меня, каким-то образом оказавшиеся в этом районе. Встречалось там, как мне казалось, и небольшое вкрапление евреев, причем у некоторых был слегка вороватый вид. «Кленовый двор» был большой, обшарпанный и плохо освещенный, в нем всегда пахло тухлой водой, но нас троих – особенно в знойные летние вечера – привлекал здесь охлажденный кондиционерами воздух, а также то, что нам стала в общем-то нравиться эта неряшливо-бесшабашная атмосфера. К тому же цены там были низкие, и пиво по-прежнему стоило десять центов стакан. Я узнал, что бар был построен в 1933 году в ознаменование отмены сухого закона и с целью нажиться на этом обстоятельстве, и в его просторном, даже несколько похожем на пещеру, зале первоначально предполагалось устроить и танцплощадку. Однако сделать из этого заведения, как хотели первые владельцы, место увеселений, достойных богини Кибелы,[141] так и не удалось, поскольку алчные

предприниматели по невероятному недосмотру не поняли, что открыли свое заведение в районе, где царит не меньший порядок и благопристойность, чем у баптистов или меннонитов. Синагоги сказали «нет», как и Голландская реформаторская церковь.



Таким образом, «Кленовому двору» было отказано в лицензии на кабаре, и вся блестящая хромированная и позолоченная отделка зала, включая люстры в виде вращающихся солнц, которые, подобно сверкающим сооружениям в каком-нибудь фильме Руби Килера, должны были освещать разошедшихся танцоров, пришла в негодность и покрылась паутиной грязи и копоти. Приподнятая площадка в центре овального бара, где стройные длинноногие девицы, покачивая бедрами, должны были делать стриптиз перед сидящими полукругом, вытарашив глаза, остолопами, теперь была облеплена пыльными афишами и уставлена большущими бутфорскими бутылками с рекламой различных сортов виски и пива. Еще печальнее ныглядела большая фреска в стиле Art Deco на одной из стен – отличный образец своего времени, созданный рукою мастера, где на фоне очертаний Манхэттена вырисовывались силуэты музыкантов джаз-банда и кордебалетных девочек, высоко бросающих ножки: под ней никогда не кружились веселые танцоры, она потрескалась, покрылась подтеками, и длинная грязная полоса горизонтально пересекала ее там, где целое поколение местных пьяниц упиралось в стену затылком. Как раз под одним из углов этой фрески, в дальней части злополучной танцплощадки, мы и сидели с Натаном и Софи в те душные вечера.

– Жаль, что ты не сумел поладить с Лесли, малыш, – сказал мне Натан в один из вечеров после моего провала на Пирпонт-стрит. Он был явно разочарован и

несколько удивлен тем, что из его стараний ничего не вышло. – Я считал, что вы нашли общий язык, просто созданы друг для друга. Тогда, на Кони-Айленде, мне казалось, что она тебя сейчас съест. А теперь ты говоришь, что все лопнуло. В чем дело? Я просто поверить не могу, чтобы она устояла.

– Да нет, по части секса все было в порядке, – соврал я. – Во всяком случае, она меня впустила.

По целому ряду не вполне понятных причин я не мог заставить себя сказать правду о нашем злосчастном противостоянии, об этом поединке двух царапающихся девственников. Слишком уж это было позорно – и для

Лесли, и для меня. И я принялся раскручивать весьма малоубедительный рассказ, но сразу понял, что Натан раскусил мой обман – плечи его тряслись от смеха, – и я поспешил закончить мое повествование, украсив его двумя-тремя фрейдистскими деталями, главной из которых было то, что, по словам Лесли, она якобы способна была познать блаженство лишь с огромным, мускулистым, черным как уголь негром. Натан улыбался, поглядывая на меня с видом человека, чувствующего, что его по-дружески водят за нос, и, когда я умолк, он положил руку мне на плечо и сказал тоном все понимающего старшего брата:

– Жаль, что у тебя не получилось с Лесли, малыш, какие бы там ни были причины. Я-то думал, это будет не девчонка, а мечта. Но иногда что-то просто не срабатывает.

Мы оставили Лесли в покое. В те вечера я пил больше всех, заглатывая по полдюжине стаканов пива. Иной раз мы заходили в бар до ужина, чаще – потом. В те дни в баре не принято было заказывать вино – особенно в таком паршивом, как «Кленовый двор», – но Натан, во многих отношениях шедший впереди своего времени, всегда добивался бутылки «шабли», которую он держал охлажденной в ведерке возле стола и которой ему и Софи хватало на те полтора часа, что мы обычно проводили там. «Шабли» лишь немного и приятно расслабляло обоих – смуглое лицо Натана начинало слегка поблескивать, а на лице Софи появлялся нежнейший, как цветы кизила, румянец.

Натан и Софи казались мне теперь давно женатой парой, мы были неразлучны, и я порой подумывал, не кажемся ли мы наиболее многоопытными из завсегдатаев «Кленового двора» таким *menage à trois*. [142] Натан был великолепен, очарователен, настолько безупречно «нормален» и так приятен, что, если бы не жалобные обмолвки Софи (которые она иной раз неосторожно роняла во время наших пикников в Проспект-парке) о том, что ей пришлось пережить за год их совместной жизни, я бы начисто забыл о бурной сцене, свидетелем которой я был, когда впервые увидел их дерущимися, а также о других намеках на более

мрачные стороны натуры Натана. Да и разве могло быть иначе в присутствии этого зажигательного, сильного человека – то мага-волшебника, то старшего брата, наперсника и гуру, – который так великодушно извлек меня из моей изоляции? Натан не был дешевым лицедеем. Он был мастером-исполнителем, даже когда рассказывал самые пустячные из своих анекдотов, которые были почти сплошь на еврейские темы и которых он знал неистощимое множество. Были среди его рассказов и настоящие шедевры. Однажды, помнится, когда я был еще мальчиком, мы сидели с отцом в кинотеатре в Тайдуотере – смотрели фильм У. К. Филда (по-моему, он назывался «Мой маленький цыпленочек»), и я увидел в жизни то, о чем обычно говорят фигурально, а если описывают, то в пошлых романах: я увидел, как мой отец, захлебываясь утробным смехом, вдруг соскользнул с кресла и грохнулся в проходе. Бог ты мой, прямо так и растянулся! Так вот, почти то же самое случилось со мной в «Кленовом дворе», когда Натан рассказывал еврейский анекдот из сельской жизни.

Натан так изображал эту историю, что создавалось впечатление, будто перед тобой не один, а два актера. Первый – Шапиро, пытающийся на банкете деревенского клуба снова предложить в члены своего друга, не раз уже получавшего черные шары. Голос у Натана становился маслянистый, когда, идеально передавая акцент идиш, запинаясь, он воздаст хвалу Максу Танненбауму: «Чтобы рассказать вам, какой великий человек Макс Танненбаум, мне придется воспользоваться алфавитом – иначе не перечислить его достоинств! От А до Я всех букв не хватит, чтобы вам о нем рассказать!» Голос у Натана становится как шелк. Шапиро знает, что среди членов клуба есть человек – сейчас он кивает и дремлет, – который подаст за Танненбаума черный шар. Шапиро надеется, что этот враг Танненбаума – Гинзберг – вообще не проснется. Натан-Шапиро говорит: «А – Танненбаум авторитетный. Б – бдительный. В – высокочтимый. Г – гуманный. Д – даровитый. Е – ерник. Ж – живчик. З – затейник и весельчак.» (Натан безупречно высокопарным тоном излагает всю эту чушь, так что у меня начинает болеть горло от смеха, а глаза застилают слезой.) «Тут Гинзберг просыпается – указательный палец Натана яростно пронзает воздух, голос звучит по-судейски безапелляционно, невыносимо, но торжествующе враждебно. И голосом Натана устрашающий, негибимый Гинзберг вещает: «Одну минуточку! (Величественная пауза.) К – он красный. Л – левак. М – мерзость. Н – невежда. О – обманщик. П – пройдоха. Р – разбирайтесь с ним, как хотите. С – спустите его в помойную яму. Т. У. Ф. Х. Ц. Ч. Ш. Щ. Э. Ю. Я. – я за этого шмука кладу черный шар!»

Это было грандиозное представление: Натан по ходу действия так высмеивал нечеловеческую, безмерную, величайшую глупость, что я, подобно моему отцу, охнул и бессильно повалился на бок, на засаленную банкетку. Софи, задыхаясь от смеха, то и дело прикладывала платочек к глазам. Я чувствовал на себе насупленные взгляды местных завсегдатаев, недоумевавших, с чего это мы так

веселимся. Придя в себя, я не без благоговения посмотрел на Натана. Вызвать такой смех может лишь человек, обладающий божьим даром, благословением.

Но будь Натан всего лишь клоуном, будь он все время таким утомительно «заведенным», он бы, несмотря на все свое дарование, стал невыносимо скучен. Он же обладал слишком тонким чутьем, чтобы вечно разыгрывать из себя шута, да и слишком широки и серьезны были его интересы, чтобы он во время наших совместных вылазок только дурачился, хотя и весьма изобретательно. К этому следует добавить, что я всегда отдавал Натану должное – возможно, опять-таки, это объяснялось его «старшинством», а быть может, просто наэлектризованностью создаваемой им атмосферы, но тон в нашей беседе задавал он, хотя внутренний такт и чувство меры не позволяли ему захватывать сцену. Я тоже был не шляпа – умел рассказывать, и он слушал. Мне кажется, его можно было бы назвать энциклопедистом – человеком, который много знает почти обо всем; однако он был настолько теплым и остроумным и так между прочим выказывал свою ученость, что я ни разу в его присутствии не задохнулся от злости, какую порой испытываешь, слушая человека, распространяющегося о своих широких познаниях, а на деле нередко являющегося всего лишь эрудитом-ослом. Широта познаний Натана была поразительна, и мне то и дело приходилось напоминать себе, что я говорю с ученым, биологом (я не раз вспоминал о таком чуде, как Джулиан Хаксли,[143] чьи эссе я читал в колледже), ибо этот человек свободно оперировал литературными цитатами и аллюзиями как из классики, так и из современных произведений и в течение какого-нибудь часа мог без особого напряжения говорить о Литтоне Стрейчи,[144] «Алисе в Стране чудес», [145] обете безбрачия, данном Мартином Лютером,[146] «Сне в летнюю ночь» [147] и особенностях сокоупления у орангутангов на Суматре – все это складывалось в поразительную, точно шкатулка из драгоценных камней, лекцию, где он остроумно, но с обертонем серьезности, исследовал взаимосвязь между подглядыванием в замочную скважину и эксгибиционизмом.

Его высказывания звучали для меня очень убедительно. Он столь же блестяще рассуждал о Драйзере, как и о философии органической жизни Уайтхеда.[148] Или на тему о самоубийстве, которая, видимо, в известной мере занимала его и которой он касался не однажды, хотя и опуская чисто патологические моменты. Из романов, говорил Натан, выше всего он ставил «Госпожу Бовари» – не только из-за совершенства формы, но и из-за того, как в нем решен мотив самоубийства: смерть Эммы от принятого ею яда выглядит столь прекрасной и неизбежной, что это считается высшим достижением в описании состояния человека в западной литературе. А однажды, рассуждая о перевоплощении (к чему, по его словам, он относится вовсе не скептически и не исключает такой возможности), он в виде экстравагантной шутки заявил, что был в прошлом единственным евреем среди альбигойских монахов,[149] блистательным святым отцом по имени Натан Добрый, который в одиночку пропагандировал безумную склонность этой секты

к самоуничтожению, основанную на убеждении, что, если жизнь порочна, надо ускорять ее конец.

– Единственное, чего я не предвидел, – заметил он, – это что я вернусь к жизни в никчемном двадцатом веке.



Однако, хотя это занимавшее его обстоятельство и вызывало легкую тревогу, я ни разу на протяжении этих искрометных вечеров не заметил в нем ни малейшего намека на депрессию или мрачное отчаяние, на которые ссылалась Софи, как и взрывов ярости, от которых она в первую очередь и страдала. Натан был поистине олицетворением всего притягательного в человеке, тех черт, которым я даже завидовал, поэтому я невольно заподозрил, что его вздорность и обреченность. – плод богатой фантазии польки, склонной к мрачному взгляду на жизнь. Типично польские штучки, решил я.

Нет, я считал, что Натан слишком мягкий и внимательный человек, чтобы представлять собой угрозу, на какую она намекала. (Хотя я и знал о его отвратительных вспышках.) Взять, к примеру, мою книгу, мой расцветающий роман. Я никогда не забуду, каким дружеским, неоценимым для меня было суждение о нем Натана. Хотя раньше он и утверждал, что литература Юга перестает интересовать читателей, он неизменно дружески осведомлялся, как идет у меня работа, и ободрял. Однажды утром за кофе он попросил меня показать что-нибудь из написанного.

– Почему нет? – настаивал он, насупясь и сдвинув брови, так что улыбка на смуглом лице сразу становилась похожей на сердитый оскал. – Мы же друзья. Я не буду вмешиваться, не буду комментировать, не буду даже делать никаких

предложений. Мне просто очень хотелось бы на это взглянуть.

Я перепугался – перепугался по той простой причине, что ни одна живая душа еще не видела моих захватанных желтых страниц с полями, испещренными жирными пятнами, а кроме того, я настолько высоко ставил ум Натана, что понимал: если у него вырвется – пусть случайно – хотя бы слово недовольства моим трудом, это серьезно притушит мой пыл и даже приостановит дальнейшее продвижение. И все же однажды вечером я решил пойти ва-банк, и, нарушив собственное романтическое и благородное решение не давать никому рукописи, пока не будет написана последняя фраза, да и тогда дать ее лишь самому Альфреду А. Кнопфу, я вручил Натану страниц девяносто, которые он и принялся читать в Розовом Дворце, пока мы с Софи сидели в «Кленовом дворе», где она рассказывала мне о своем детстве в Кракове. Сердце у меня заколотилось неровно и бешено, когда часа через полтора Натан, весь взмокший, так что на лбу блестели капельки пота, стремительно вынырнул из темноты и плюхнулся на стул рядом с Софи, напротив меня. Взгляд его был спокоен и ничего не выражал – я начал опасаться худшего. «Молчи! – чуть не взмолился я. – Ты же сказал, что не будешь комментировать!» Но его суждение висело в воздухе как неизбежный удар грома в грозу.

– Ты читал Фолкнера, – медленно, ровным голосом произнес он, – ты читал Роберта Пенна Уоррена. – Он помолчал. – Я уверен, что ты читал Томаса Вулфа и даже Карсон Маккалерс. Я нарушаю данное тебе слово не выступать в роли критика.

И я подумал: «А, черт, все, мне крышка: моя работа – вторичная чушь». Мне захотелось провалиться сквозь ребристо-шоколадные, обведенные хромом плитки «Кленового двора» и исчезнуть среди крыс в канализационных трубах Флэтбуша. Я крепко зажмурился, а в голове промелькнуло: «Не следовало мне показывать рукопись этому мерзавцу: сейчас он начнет поучать меня по поводу того, как делают литературу евреи», и тут, обливаясь потом и чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота, я вздрогнул, ибо он схватил меня за плечи своими ручищами и губы его коснулись моего лба небрежным, влажным поцелуем. Я распахнул веки, ошалев, почти физически ощущая тепло его сияющей улыбки.

– Всего двадцать два года! – воскликнул он. – И, бог ты мой, как пишет! Конечно, ты читал всех этих писателей – ты не мог бы писать, если бы их не читал. Но ты их впитал в себя, малыш, впитал и освоил. Говоришь же ты собственным голосом. Такой волнующей сотни страниц, написанных никому не известным писателем, еще никто не читал. Давай мне дальше!

Софи, зараженная восторгом Натана, вцепилась ему в локоть и, сияя как мадонна, смотрела на меня, точно я был автором «Войны и мира». Я глупо

захлебнулся невысказанным комком слов, чуть не теряя сознание от удовольствия и чувствуя себя – по-моему, это будет лишь небольшим преувеличением – счастливее, чем когда-либо в жизни, полной памятных достижений, хотя в общем-то и не выдающихся. На протяжении всего остального вечера Натан превозносил мою книгу, зажигая меня своим поощрением, которого – в глубине души я это признавал – мне отчаянно недоставало. Ну как я мог после этого не питать самой пылкой любви к такому щедрому, такому широкому наставнику души и сердца, товарищу, спасителю, колдуну? Натан был бесконечно, фатально обаятелен.

Настал июль, принес с собой самые неожиданные перемены погоды – то стояла жара, то наступали непонятно прохладные, сырые дни, когда гуляющие в парке натягивали куртки и свитера, а потом несколько дней подряд по утрам угрожающе громыхало, но гроза так и не разразилась. Мне казалось, я смогу прожить во Флэтбуше, в Розовом Дворце Етты всю жизнь или, уж во всяком случае, те месяцы и даже годы, которые потребуются, чтобы закончить мой шедевр. Трудновато было только держать мою благородную клятву: я ведь все еще огорчился по поводу моего холостяцкого существования, но, помимо этого, считал, что установленный мною образ жизни в обществе Натана и Софи был таким, какого только может пожелать любой начинающий писатель. Приободренный восторженными заверениями Натана, я писал как дьявол, все время сознавая, что если устану от трудов, то всегда смогу найти где-нибудь поблизости Софи и Натана, порознь или вместе, и поделиться с ними своими мыслями, заботами, какой-нибудь шуткой или воспоминаниями, послушать Моцарта, съесть сандвич, выпить кофе, пива. Чувство одиночества временно отступило, творческие силы мои были в полном расцвете, и я чувствовал себя бесконечно счастливым...

Я чувствовал себя бесконечно счастливым до тех пор, пока не началась цепь неприятностей, нарушивших мое благоденствие и побудивших меня понять, как неладно все было (и продолжало быть) у Натана с Софи, насколько неприкрашенными были предчувствия Софи и ее страхи, равно как и намеки на их отчаянные ссоры. Потом выяснилось кое-что еще более зловещее. Впервые с того вечера, когда больше месяца назад я приехал в дом Етты, я начал замечать, что из Натана так и рвется наружу – словно запах ядовитых выделений – глубоко запрятанная способность бушевать и крушить. А кроме того, я начал понимать, что раздиравшие их обоих бури чувств происходили, пожалуй, в равной мере как от мрачного раздражителя, глубоко засевшего в Натане, так и от еще не изжившей себя реальности недавнего прошлого Софи, оставившего за собой страшный дымный след, словно тянувшийся из самих печей Аушвица, – тревогу, смятение, самообман и прежде всего чувство вины...

Однажды вечером, часов около шести, я сидел за нашим обычным столиком в

«Кленовом дворе», потягивал пиво и читал нью-йоркскую «Пост». Я подждал Софи, которая должна была с минуты на минуту явиться после работы, и Натана, который сказал мне утром за кофе, что присоединится к нам около семи, после, как он предвидел, на редкость долгого и трудного дня в лаборатории. Я чувствовал себя немного припараженным и официальным, сидя в чистой рубашке, в галстук и в костюме, который надел впервые после моих злоключений с принцессой, обитающей на Пирпонт-стрит. Не без огорчения я обнаружил с внутреннего края лацкана пятнышко от помады Лесли, немного потускневшее, но все еще ярко-малиновое, и с помощью слюны, а также легкого перекося в одежде сумел сделать так, что оно стало почти незаметно, так что едва ли бросится в глаза отцу. Я ведь разделся, чтобы встретить его на Пенсильванском вокзале, куда он приезжал на поезде из Виргинии поздно вечером. Около недели тому назад я получил от него письмо, в котором он сообщал, что собирается ненадолго навестить меня. Причина его приезда была милая и весьма простая: он говорил, что скучает по мне и, поскольку мы давно не виделись (по моим подсчетам, месяцев девять, а то и больше), ему захотелось побыть со мной, чтобы мы могли посмотреть друг другу в глаза и восстановить нашу любовь и сродство душ. Был июль, у отца был отпуск, и он решил приехать. В этом было что-то бесспорно южное, до того старомодное, почти доисторическое, тем не менее я преисполнился к отцу – хотя и без того питал к нему подлинную привязанность – еще большего тепла.

К тому же я знал, что поездка в большой город, который отец терпеть не мог, будет стоить ему больших душевных усилий. Правда, его ненависть южанина к Нью-Йорку не носила такого примитивного, фатально-солипсистского характера, как у отца моего приятеля по колледжу, уроженца одного из самых мажоритарных округов Южной Каролины; этот сельский житель не желал посещать Нью-Йорк из-за фантастического и поистине апокалипсического сценария, который он сам придумал: вот он сидит в кафе на Таймс-сквере, погруженный в свои мысли, и вдруг обнаруживает, что соседним стулом завладел огромный, склабящийся, дурно пахнущий негр (вежливо завладел или грубо – неважно; единственно, что занимает отца моего приятеля, – близость негра), тогда он хватает бутылку кетчупа «Хайнц» и разбивает ее о голову черного мерзавца – он просто не может не совершить этого преступления. После чего отправляется на пять лет в Синг-Синг. У моего отца не было таких диких представлений о городе, хотя он и основательно его не любил. Воображение моего отца – человека благородных кровей и свободолюбивых взглядов, демократа джексоновского толка – не терзали подобные чудовищные вымыслы и расистские представления о людях. Он терпеть не мог Нью-Йорк хотя бы за его, как он это называл, «варварство» – отсутствие учтивости, полнейшее неумение вести себя в общественных местах. Лающий голос полицейского-регулирующего, оскорбляющий слух рев клаксонов, без нужды громкие голоса ночных обитателей Манхэттена – все это действовало ему на нервы, оседало

кислотой в кишечнике, било по его самообладанию и воле. Мне очень хотелось увидеться с ним, и я был чрезвычайно тронут его готовностью совершить эту долгую поездку на Север, вытерпеть грохот огромного города и необходимость продираться сквозь кишашую на улицах беспокойную и грубую толпу с единственной целью – посетить своего отпрыска.

Я начинал терять терпение, поджидая Софи. Тут мой взгляд упал на нечто, всецело приковавшее к себе мое внимание. На третьей странице «Пост» в тот вечер была напечатана статья, снабженная весьма нелестной фотографией известного миссисипского расиста и демагога, сенатора Теодора Гилмора Билбо. В статье говорилось, что Билбо, чья физиономия и высказывания изрядно надоели средствам массовой информации за годы войны и сразу после нее, лег в Окснерскую клинику в Новом Орлеане на операцию по поводу рака рта. Из напечатанного явствовало, что Билбо осталось совсем немного жить. На фотографии он уже выглядел трупом. В том, что с ним произошло, была, конечно, большая ирония: рак поразил именно тот орган, которым больше всего пользовался этот «великий человек», заслуживший презрение всех «правильно мыслящих» людей даже на Юге своими откровенно расистскими выступлениями, в которых он, не стесняясь, сыпал словечками вроде «ниггер», «вонючка», «джигабу». То, что этот мелкий тиран из сосновых лесов, назвавший мэра Нью-Йорка Ла Гуардию «даго»[150] и сказавший конгрессмену-еврею «милый мой жид», получил полноценную карциному, которая навсегда заткнет его мерзкую пасть и заставит умолкнуть злобный язык, было уж слишком здорово, и «Пост» иронизировала по этому поводу вовсю. Прочитав статью, я издал глубокий вздох облегчения и подумал, до чего же я рад, что старого черта не станет. Из всех, кто предательски очернил облик современного Юга, он был главным закоперщиком, отнюдь не типичным среди политиков-южан, но занимаемое им высокое положение и хорошо подвешенный язык делали его в глазах доверчивых и даже не столь уж доверчивых людей прототипом южного государственного деятеля; таким образом, он испоганил все, что было на Юге доброго, порядочного и даже достойного подражания, столь же несомненно и злобно, как те анонимные антропоиды, которые недавно убили Бобби Уида. И я снова сказал себе: «Я рад, что ты сгинешь, злой дух, старый грешник».

Однако, по мере того как этот некрепкий отвар потихоньку просаливал меня и я раздумывал об участи Билбо, во мне возникло еще одно чувство – пожалуй, его можно было бы назвать жалостью, легкой жалостью, но все-таки жалостью. «Какая отвратительная смерть», – подумал я. Рак такого рода, должно быть ужасен – эти чудовищные клетки, расползающиеся метастазами так близко от мозга; отвратительные микроскопически маленькие образования, заполняющие щеку, скулу, глазную впадину, челюсть, наводняющие рот своим грозным вирусом, захватывающие и язык, пока он не сгниет и не омертвеет. По телу моему пробежала легкая дрожь. Но этот странный приступ угрызений совести,

напавший на меня, объяснялся не только смертельным ударом, который был нанесен сенатору. Тут было нечто другое – абстрактное и далекое, неуловимое, однако будоражившее душу. Про Билбо я знал немало – больше, чем обычный американский гражданин, даже немного интересующийся политикой, и, уж несомненно, больше, чем редакторы нью-йоркской «Пост». Мои познания были, безусловно, неглубоки, но даже при всей их поверхностности я чувствовал, что мне приоткрылись такие грани в характере Билбо, которые облекали в плоть и кровь эту плоскую карикатуру из ежедневной прессы. То, что я знал о Билбо, не так уж обеляло его – он останется перворазрядным мерзавцем, пока опухоль не задушит его или ее отростки не заполнят его мозг, – но по крайней мере давало мне возможность увидеть человека и его масштабы под картонным обликом злодея из Диксиленда.

В колледже, где помимо «творческих занятий письмом» – единственного предмета, которым я по-академически серьезно занимался, – была история американского Юга, я состряпал длинную работу об этом странном и провалившемся политическом движении, известном под названием «популизм», особо остановившись на демагогах-южанам и зачинщиках беспорядков, которые так часто являли нам изнанку этого движения. Работу мою, насколько я помню, едва ли можно было назвать по-настоящему оригинальной, но я вложил в нее немало мыслей и труда, если учесть, что мне было тогда всего двадцать лет, и получил блистательное «А»[151] в такое время, когда «А» почти никому не ставили. Сильно заимствуя из блестящей работы К. Вэнна Вудворда о Томе Уотсоне из Джорджии и сосредоточив внимание на других «народных героях», занимавшихся охотой на ведьм, вроде Бена Острые Вилы Тиллмена, Джеймса К. Вардеймена, Эда Хлопкороба Смита и Хьюи Лонга, я показал, что демократические идеалы и искренняя озабоченность судьбами простого люда были теми качествами, которые связывали этих людей, по крайней мере в начале их карьеры, равно как и бескомпромиссная и громогласная оппозиция монополистическому капиталу, промышленным и деловым толстосумам и «большим деньгам». Отталкиваясь от этого постулата, я описывал, как эти люди, первоначально вполне порядочные и бывшие даже провидцами, пали жертвой собственной роковой слабости перед лицом расовой трагедии Юга, ибо каждый из них в конце концов был вынужден в той или иной степени играть на исконном страхе и ненависти белых бедняков к неграм, эксплуатируя эти чувства во имя того, что выродилось в жалкие амбиции и жажду власти.

Хотя я не занимался Билбо всерьез, тем не менее я выяснил из моих не слишком глубоких исследований (причем, к немалому моему удивлению, поскольку в сороковые годы он являл собою поистине омерзительный образчик общественного деятеля), что и он тоже принадлежал к этой классически парадоксальной категории людей; подобно многим другим, Билбо начинал с приверженности просвещенным принципам и действительно, как я обнаружил,

был в числе общественных деятелей, предлагавших реформы и вносивших существенный вклад в общее благосостояние. Возможно, этот вклад был и не таким уж большим – особенно если сопоставить его с тошнотворными высказываниями, которые заставили бы отшатнуться даже самых узколобых виргинских реакционеров, – но все же он имел место. Один из самых злобных глашатаев омерзительной догмы, бытовавшей ниже линии Мейсона – Диксона,[152] он одновременно показался мне, пока я в задумчивости смотрел на изможденную фигуру человека, которого уже коснулась рука смерти, хотя он еще и шел, согнувшись, в мешковатом белом палмбичском костюме мимо растрепанной пальмы, направляясь в новоорлеанскую клинику, – он показался мне также одной из ее главных и самых несчастных жертв, а потому я с легким вздохом жалости прошептал ему «прощай». Внезапно, пока я думал о Юге, думал о Билбо и опять-таки о Бобби Уиде, на меня навалилось глубочайшее уныние. Сколько же это будет продолжаться, о господи? – воззвал я к закопченным недвижимым люстрам.

Тут я увидел Софи – она как раз открывала грязную стеклянную дверь в бар, и косой луч золотого солнца упал под очень точным углом на прелестный изгиб ее скулы под миндалевидным глазом, напоминавшим своим затуманенно-томным взглядом об Азии, и на все ее широкое, столь гармонично вылепленное лицо, включая – или мне следовало бы сказать: подчеркивая – красивый тонкий, чуть вздернутый «польский шноц», как любил называть его Натан, оканчивавшийся такой милой кнопочкой. Порой достаточно было одного небрежного жеста: вот она открывает дверь, расчесывает волосы, бросает хлеб лебедям в Проспект-парке (зависело это, видимо, от движения, позы, наклона головы, взмаха руки, покачивания бедром), – и возникала картина захватывающей дух, бесконечной красоты. Наклон головы, взмах руки, покачивание бедра – все это принадлежало только Софи, и никому больше, и, ей-богу, от этого буквально захватывало дух. Я хочу сказать – буквально, ибо я смотрел на нее потрясенный, пока она стояла в дверях и, щурясь, всматривалась в полумрак, а ее льняные волосы затоплял золотой вечерний свет, и вдруг услышал, как, задохнувшись, икнул – тоненько, но вполне различимо. Я был все еще без ума от нее.

– Язвинка, куда это ты идешь, так разоделся – даже нацепил баллончик, ты такой симпатичненький, – скороговоркой выпалила она и, вспыхнув до корней волос, расхохоталась и поправилась, одновременно со мной произнеся: «Бабочку!» Она так хохотала, что, опустившись рядом со мной на банкетку, уткнулась лицом мне в плечо. – *Quelle horreur!*[153]

– Слишком ты давно общаешься с Натаном, – сказал я, расхохотавшись в свою очередь.

Я знал, что все жаргонные словечки она, безусловно, подцепила у Натана. Я это

понял еще в тот момент, когда, рассказывая о пуритански настроенных отцах Кракова, которые приделали к копии «Давида» Микеланджело фиговый листок, Софи сказала, что они хотели «прикрыть его шлонг».

– Неприличные слова на английском или на идиш не так грубые, как на польском, – сказала она, справившись с приступом смеха...

Тем не менее этот обмен репликами взбудоражил меня и даже немного возбудил (она не только научилась у Натана непристойностям, но и манере произносить их с невиннобезмятежным видом, к чему я никак не мог привыкнуть), и я постарался переменить тему. Я напустил на себя безразличие, хотя ее присутствие по-прежнему волновало меня до самых кишок, я весь горел, чему немало способствовали ее духи – это был все тот же травяной запах, резковатый, земной и возбуждающий, породивший во мне такое страстное влечение в тот первый вечер, когда мы ездили на Кони-Айленд. Сейчас этот запах шел из ложбинки между ее грудями, которые, к моему великому изумлению, были выставлены напоказ, аппетитно обрамленные низким вырезом шелковой блузки. Блузка была – я уверен – новая и не вполне в ее стиле. На протяжении этих недель нашего знакомства Софи одевалась удручающе консервативно и неинтересно (если не считать тяги к маскараду, которую она разделяла с Натаном, но это было нечто совсем другое) и носила вещи, которые никак не могли привлечь внимание к ее телу, особенно к верхней его половине; она была необычайно скромна даже по нормам того времени, когда женская фигура сильно недооценивалась, просто сбрасывалась со счетов. Я видел ее колышущуюся грудь под шелком и шерстью и под нейлоновым купальным костюмом, но ни разу не видел ее четко обрисованной. Я мог только предполагать, что в психике Софи остался неизгладимый след той стыдливости, с какою она, очевидно, одевалась в суровой католической среде довоенного Кракова, и сейчас ей, видимо, трудно было от этого отказаться. А кроме того – в меньшей степени – ей, думается, не хотелось показывать миру, что сделали с ее телом лишения прошлых лет. Время от времени у нее соскакивали вставные челюсти. На шее еще остались некрасивые морщинки, на внутренней стороне руки провисала мешочками кожа.

Но к этому времени кампания по восстановлению здоровья Софи, которую уже год вел Натан, начала давать свои плоды, и Софи стала обрывать телом – во всяком случае, сама Софи, видимо, начала так думать, ибо она обнажила – насколько благовоспитанная дама могла себе это позволить – свои прелестные, чуть присыпанные веснушками полушария, и я поглядывал на них, давая им чрезвычайно высокую оценку. «Грудкам, – подумал я, – оказалось достаточно хорошего американского питания». Они побудили меня несколько сместить фокусировку моих эротических мечтаний, ранее сосредоточенных на ее до боли желанных, гармонично пропорциональных, как персик «Эльберта», ягодицах.

Вскоре я обнаружил, что Софи разоделась в эти вызывающие вожделение одежды ради предстоящего вечера с Натаном. Он собирался сообщить нам, Софи и мне, нечто удивительное про свою работу.

– Это будет, – сказала Софи, цитируя Натана, – настоящая «бомба».

– Что ты имеешь в виду? – спросил я.

– Его работа, – ответила она, – его исследование. Он сказал, что сегодня вечером расскажет нам про свое открытие. Им наконец удалось совершить прорыв, сказал Натан.

– Но это же замечательно, – воскликнул я, искренне взволнованный. – Ты хочешь сказать, что эта штука, по поводу которой он напускал... такого туману? Наконец он ее доконал, – ты это хочешь сказать?

– Он так сказал, Язвинка! – Глаза ее сияли. – Он нам сегодня все расскажет.

– Господи, это просто здорово! – сказал я, преисполняясь живейшего, но не такого уж великого восторга.



Собственно, я почти ничего не знал о работе Натана. Хотя он и рассказывал мне довольно подробно (но в общем малопонятно) о технической стороне своего исследования (энзимы, передачи ионов, проницаемые мембраны и т. д., а также о зародыше этого несчастного кролика), он никогда не открывал мне – да я из застенчивости и не спрашивал, – к чему ведет этот сложный – и, бесспорно,

крайне дерзкий – биологический эксперимент. Знал я также – из намеков Софи, – что и от нее он держал свой проект в тайне. Я довольно скоро предположил – и это было весьма прозорливо для такого невежды по части науки (а я тогда уже начинал жалеть о лиловых *fin de siècle*[154] часах моего пребывания в колледже, где я был всецело поглощен метафизической поэзией и Высокой Литературой с их позевывающим презрением к политике и грубому грязному миру, с их повседневной данью «Кеньон ревью», новой критике и этому пророку, г-ну Элиоту), – что Натан работает над созданием жизни в пробирке. Возможно, Натан выводил новую расу гомо сапиенса, которая будет лучше, порядочнее, проворнее, чем проклятые страдальцы сегодняшнего дня. Я даже представлял себе этакое крошечного, эмбрионоподобного супермена, которого Натан, видимо, создает у Пфайзера, гомункулуса с квадратным подбородком, высотой с вершок, в плаще и с буквой «С», вышитой на груди, готового занять свое место среди цветных репродукций журнала «Лайф» в качестве нового чуда нашего века. Но это были беспочвенные выдумки, а на самом деле я был в полном неведении. И неожиданное сообщение Софи о том, что скоро нас просветят, было подобно электрическому шоку. Мне хотелось лишь побольше узнать.

– Он позвонил мне сегодня утром на работу, – пояснила она, – к доктору Блэкстоку, и сказал, что хочет со мной пообедать. Хочет что-то сказать. Голос у него был такой взволнованный – я просто не могла представить себе, в чем дело. Он звонил из своей лаборатории, и, знаешь, Язвинка, это так необычно: мы ведь почти никогда вместе не обедаем. Мы работаем так очень далеко друг от друга. А кроме того, Натан говорит, мы столько много времени проводим вместе, что еще и обедать вместе – это, может быть, немного... *de trop*. [155] Ну, в общем, он позвонил сегодня утром и так настаивал, таким взволнованным голосом, ну и мы встретились в том итальянском ресторанчике около Лафайет-сквера, куда мы прошлый год ходили, когда только познакомились. Ох, Натан был такой взволнованный – просто вне себя! Я подумала, у него температура. А когда мы пообедали, он стал рассказывать. Вот послушай, Язвинка. Он сказал, сегодня утром он и его команда – все эти исследователи – наконец сделали последний прорыв, которого все так ждали. Он сказал, они теперь уже просто на пороге открытия. Ох, Натан прямо есть не мог – такой он был счастливый. И знаешь, Язвинка, Натан мне это рассказывал, а я вспомнила, что год назад за этим самым столиком он первый раз рассказал мне про свою работу. Он тогда сказал: то, что он делает, – это тайна. Чем именно он занят, он не может сказать, даже мне. Но я помню, как он сказал: если дело пойдет успешно, это будет одно из величайших медицинских открытий всех времен. Это его точные слова, Язвинка. Он сказал, это не только его работа – там есть и другие. Но он очень гордился своим вкладом. И потом снова сказал: это один из величайших прорывов в медицине всех времен! Он сказал, за это дадут Нобелевская премия.

Она умолкла, и я увидел, что у нее самой лицо порозовело от волнения.

– Господи, Софи, – сказал я, – это же чудесно. А как ты думаешь, что это? Он даже не намекнул?

– Нет, он сказал – надо подождать до сегодняшнего вечера. Он не мог рассказать мне секрет во время обеда – они ведь тогда только сделали прорыв. Просто в этих компаниях, как «Пфайзер», где делают лекарства, очень много есть секретов, поэтому Натан иногда напускает на себя такой таинственный вид. Но я все понимаю.

– Два-три часа едва ли что-либо меняют, – сказал я. Я был раздосадован и сгорал от нетерпения.

– Да, но он сказал, что меняют. А вообще, Язвинка, мы очень скоро все узнаем. Как это все есть невероятно, как замечательно! – Она так сжала мою руку, что у меня омертвели пальцы.

А я, пока Софи произносила свою маленькую тираду, думал: «Это связано с раком!» И чуть не лопался от счастья и гордости, радуясь и сияя не меньше, чем Софи. «Средство от рака, – думал я, – этот невероятный мерзавец, этот ученый гений, которого я вправе называть другом, нашел средство от рака». Я знаком попросил бармена подать еще пива. «Черт подери, средство от рака!»

Но именно в эту минуту, как мне показалось, в настроении Софи произошла слегка настораживающее изменение. Приподнятость и радость растаяли, и в голосе появилась некоторая озабоченность... опасение. Точно она делала грустную и малопривлекательную приписку к письму, специально выдержанному в веселом тоне из-за зловещего постскриптума (P.S. Я требую развода).

– Потом мы вышли из ресторана, – продолжала она, – и он сказал, что хочет до работы что-то мне купить, чтобы отпраздновать. Отпраздновать его открытие. Чтоб я это надела вечером, когда мы будем праздновать вместе. Чтоб это было что-то шикарное и такое сексуальное. И вот мы пошли в такой очень замечательный магазин, где мы с ним раньше уже были, и он покупает мне эту блузку и юбку. И туфли. И шляпки, и сумочки. Тебе она нравится, эта блузка?

– Сногсшибательная, – сказал я, значительно занижая то впечатление, какое она на меня произвела.

– Она очень... есть смелая, по-моему. В общем, Язвинка, мы еще были в магазине, и Натан уже заплатил за вещи, и мы собрались уходить, и тут я вижу – что-то с ним есть странное. Я уже и раньше такое видела, но не очень часто и всегда немножко пугаюсь. Он вдруг говорит – у него голова заболела, сзади, затылок. И он вдруг становится тоже очень бледный, и пот сразу выходит – понимаешь, он становится весь потный. Я, знаешь, подумала, это все оттого, что

слишком много волнения, это у него такая реакция, ему плохо. Я сказала: надо идти домой, к Етте, и лечь, не работать больше; а он сказал: нет, ему надо назад, в лабораторию, там еще столько много дела. А голова, сказал он, страшно болит. Я так очень хотела, чтобы он пошел домой и отдохнул, но он сказал: нет, надо назад, к «Пфайзер». Он взял у леди – хозяйки магазина – три аспиринки и сразу стал такой спокойный, больше не нервный. Такой тихий, даже *melancolique*. [156] Очень нежно поцеловал меня на прощанье и сказал: увидимся вечером, здесь... вместе с тобой, Язвинка. Он хочет, чтобы мы все трое пошли в ресторан «У Ланди» и отпраздновали – съели замечательный рыбный ужин. Отпраздновали, что он получит Нобелевская премия за сорок седьмой год.

Я вынужден был сказать, что не смогу с ними пойти. Я ужасно огорчился, что из-за приезда отца не могу участвовать с ними в веселом пиршестве – такая жалость! Потрясающая новость о предполагаемом открытии распаляла мое воображение – мне просто не верилось, что о ней будет рассказано без меня.

– Ты и поверить, Софи, не можешь, как мне жаль, – сказал я, – дело в том, что я должен встретить отца на Пенсильванском вокзале. Но знаешь, прежде чем я туда поеду, может быть, Натан все-таки расскажет мне про свое открытие. А дня через два, когда мой старик уедет, мы можем как-нибудь вечером еще раз это отпраздновать.

Она, казалось, не очень внимательно меня слушала, и, когда снова заговорила, в ее приглушенном голосе звучало предчувствие беды:

– Я только надеюсь, что он в порядке. У него так бывает: когда он очень много разволнуется и очень много радуется, у него начинает страшно болеть голова, и он так много потеет – вся одежда промокает насквозь, как от дождя. И тогда вся радость уходит. Ах, Язвинка, это, конечно, не есть всегда так. Но иногда он бывает такой очень, очень странный! Он делается *tellement agité* [157], такой счастливый – точно самолет поднимается выше и выше, забирается в стратосферу, а там воздух такой много разреженный – он не может больше лететь и падает вниз. То есть на самый низ, Язвинка! Ох, я так надеюсь, что с Натаном все в порядке.

– Послушай, он в полном порядке, – не вполне уверенно стал успокаивать я ее. – Да кто угодно на месте Натана, когда тебя так и распирает от желания поделиться такой новостью, имеет право вести себя немного странно. – Хоть я и не мог разделить с Софи ее опасения, но должен признаться, ее слова несколько насторожили меня. Тем не менее я выбросил это из головы. Мне хотелось только, чтобы Натан поскорее приехал с вестью о своей победе и раскрыл эту невыносимую дразнящую тайну.

Загремел музыкальный автомат. Бар начал наполняться усталыми вечерними завсегдатаями – по большей части мужчинами среднего возраста, с серыми даже среди лета, опухшими лицами, гоями из Северной Европы, с набрякшими под глазами мешками и неутолимой жаждой, – теми, кто управляет лифтами и ликвидирует засоры в канализации уродливых десятиэтажных еврейских поселений из бежевого кирпича, что тянутся квартал за кварталом позади парка. Лишь немногие женщины, не считая Софи, отваживались заходить сюда. Я ни разу не видел тут ни одной девицы легкого поведения – консервативный район и усталые посетители в заношенной одежде исключали даже мысль о подобных развлечениях, – но в тот вечер туда явились две улыбчивые монахини и, гремя монетами в оловянной чаше, предстали перед нами с Софи и тихим голосом попросили подать сестрам святого Иосифа. Говорили они на немыслимом, ломаном английском. С виду они походили на итальянок, причем на редкость уродливых, особенно одна, с огромной бородавкой в углу рта, размером, формой и цветом напоминавшей тараканов, какие ползали в Клубе и резиденции университетов, да к тому же с торчавшим из нее пучком волос. Я отвел от нее взгляд, но пошарил в кармане и извлек оттуда два десятицентовика; Софи же так решительно произнесла «нет!» протянутой чаше с монетами, что монахини, дружно ахнув, отступили и поспешно двинулись дальше, а я в изумлении повернулся к Софи.

– Это к несчастью – две монашки, – с недовольным видом сказала она, затем, помолчав, добавила: – Я их ненавижу! Такие страшилища!

– А я-то считал, что тебя воспитали доброй милой католичкой, – сказал я, подтрунивая над ней.

– Меня так и воспитывали, – подтвердила она, – но это было давно. А я все равно ненавидела бы монахинь, даже если б осталась верующей. Дуры, идиотки-девственницы! И такие уродины! – Она вздрогнула и покачала головой. – Ужас! Ох, до чего же я ненавижу эту дурацкую религию!

– А знаешь, Софи, это все-таки странно, – вставил я. – Я же помню, как ты недели две-три назад рассказывала мне, в какой религиозной обстановке ты росла, как ты верила и все такое прочее. Что же в таком случае...

Но она снова резко мотнула головой и положила тонкие пальцы на тыльную сторону моей руки.

– Пожалуйста, Язвинка: когда я вижу монахинь, я чувствую себя такой роугги – испорченной. Противной. Эти монахини так пластываются... – Она озадаченно умолкла.

– Ты, наверно, хочешь сказать – распластываются, – подсказал я.

– Да, распластываются перед Богом, а ведь он, если есть, такое чудовище, Язвинка. Чудовище! – Она помолчала. – Я не хочу говорить про религию. Я ненавижу религию. Это, понимаешь, для *analphabètes*[158] – глупых людей! – Она взглянула на свои часики и заметила, что уже больше семи. Голос ее зазвенел тревогой. – Ох, я надеюсь, с Натаном все в порядке.

– Не волнуйся, с ним все будет хорошо, – повторил я как можно убедительнее. – Послушай, Софи, Натан действительно был очень занят этим своим исследованием, он изо всех сил старался сделать этот прорыв, какой он там ни есть. А когда человек находится под таким стрессом, он не может не вести себя, ну, скажем, неровно... ты понимаешь, что я хочу сказать? Не волнуйся за него. У меня бы тоже разболелась голова, если б я прошел через такую мясорубку – особенно если в итоге такая невероятная победа. – Я умолк. Почему-то меня все время так и тянуло добавить: «какая она там ни есть». Я в свою очередь потрепал Софи по руке. – А теперь, пожалуйста, расслабься. Я уверен, он с минуты на минуту будет здесь. – Тут я снова упомянул о моем отце и его приезде в Нью-Йорк (тепло отозвался о его щедрой заботе обо мне и моральной поддержке, но ни звуком не обмолвился о рабе Артисте и его роли в моей судьбе, сомневаясь, что Софи достаточно знает американскую историю – во всяком случае, пока – и потому едва ли сумеет уловить всю сложность моего долга перед этим чернокожим юношей) и стал распространяться о том, как везет молодым людям, у которых, как у меня – а таких совсем немного, – столь терпимые и бескорыстные родители, готовые верить, слепо верить в сына, а он, безрассудный, вздумал попытаться сорвать листик-другой с лавровой ветки искусства. Я чуточку захмелел. Отцы, обладающие такой широтой видения и щедростью духа, – редкость, сентиментально разглагольствовал я, чувствуя, как губы у меня начинают пощипывать от пива.

– Ох, ты есть такой счастливый, что еще имеешь отца, – сказала Софи голосом, звучавшим словно издалека. – Я так много скучаю по моему отцу.

Мне стало слегка стыдно – нет, не стыдно, скорее, я почувствовал несоизмеримость наших судеб, внезапно вспомнив, что она рассказала мне несколько недель тому назад, как ее отца под дулами нацистских автоматов загнали вместе с другими краковскими профессорами, точно свиней, в душные фургоны, отвезли в Заксенхаузен, а потом расстреляли в холодных снегах Германии. «Господи, – подумал я, – американцам все-таки многого удалось избежать в наш век. О да, мы сыграли свою доблестную и необходимую роль в качестве воинов, но до чего же ничтожны наши потери отцов и сыновей в сравнении со страшным мученичеством, которое приняли бесконечное множество европейцев. Таким нашим везением впору поперхнуться».

– Теперь прошло уже большое время, – продолжала Софи, – так что я больше не горюю по нему, но скучаю. Он был такой хороший – вот что самое страшное, Язвинка! Подумать только, сколько много есть плохих людей – и поляки, и немцы, и русские, и французы, и люди всех национальностей; а сколько много скверных людей спаслись – людей, которые убивали евреев, они и сейчас живут. В Германии. И в разных местах, как Аргентина. А мой отец – такой хороший человек – умер! Разве после этого можно верить в Бога? Кто может верить в Бога, который отворачивается от таких хороших людей?

Она выпалила эту свою маленькую тираду так быстро, что застигла меня врасплох; пальцы ее слегка дрожали. Потом она успокоилась. И снова – точно забыв, что однажды мне это уже рассказывала, а возможно, ей становилось легче после очередного горестного рассказа, – она принялась описывать, каким был ее отец в Люблине много лет назад, когда, рискуя жизнью, спасал евреев от русских погромщиков.

– L'ironie – это как будет по-английски?

– Ирония, – сказал я.



– Да, вот такая ирония судьбы: такой человек, как мой отец, рисковавший жизнью ради евреев, – погибает, а те, кто убивал евреев, – живут, и еще столько много, их живет.

– Я бы не сказал, Софи, что это ирония судьбы, просто так уж устроен мир, – несколько нравоучительно, но достаточно глубокомысленно заключил я наш разговор, почувствовав потребность облегчиться.

Я поднялся из-за стола и направился в мужскую комнату, чуть пошатываясь, разгоряченный темным «Рейнголдом», чудесным терпким пивом, которое качают из бочек в «Кленовом дворе». Я вдоволь наслаждался пребыванием в мужской комнате: слегка согнувшись над унитазом, я глядел на прозрачную струю и размышлял, а за стеной, из музыкального автомата, погромыхивал не то Ги Ломбардо, не то Сэмми Кэй, не то Шеп Филдс, не то еще кто-то из исполнителей липучей, но безвредной джазовой музыки. Все же замечательно, когда тебе двадцать два года, ты немного навеселе и знаешь, что дела за письменным столом идут хорошо, по телу пробегает дрожь счастья от собственного творческого рвения и «великой уверенности», которую всегда воспевал Томас Вулф, – уверенности, что родники молодости никогда ее иссякнут и наградой за волнения и муки, испытанные в горниле искусства, будет вечная слава, почитание и любовь прелестных женщин.

С наслаждением опорожняясь, я разглядывал рисунки и надписи, нацарапанные вездесущими гомосексуалистами (ей же богу, не завсегдатаями «Кленового двора», а заезжими профессионалами, которые умудряются расписывать стены в самых немыслимых местах, где только мужчины расстегивают ширинку), и снова и снова возвращался восторженным взглядом к потускневшей от дыма, но все еще яркой карикатуре на стене – двоюродной сестре наружной фрески, шедевру наивного озорства 30-х годов, – изображавшей Микки Мауса и Утенка Дональда, которые, изогнувшись всем телом, хихикая, подглядывали в щелку забора за крошкой Бетти Глазастиком, присевшей, сверкая прельстительной ножкой и бедром, чтобы пописать. Внезапно я встрепенулся, почувствовав жутковатое и противоестественное присутствие чего-то хлопающего, черного и хищного – это две нищенствующие монахини вошли не в ту дверь. Они вылетели стрелой, отчаянно кудахча по-итальянски, и я подумал, что они, наверно, все-таки успели увидеть мою мужскую статью. Это они своим вторичным появлением, усилившим дурное предчувствие, которое незадолго до этого посетило Софи, предсказали мрачный поворот событий в ближайшие четверть часа?

Еще подходя к столику, я услышал голос Натана, перекрывавший струящиеся ритмы Шеп Филдса. Голос звучал не то чтобы громко, но невероятно безапелляционно и, точно ножовкой, перепиливал мелодию. Голос возвещал беду, и хотя первым моим побуждением было бежать, я не посмел, почуяв в воздухе что-то очень серьезное, заставившее меня идти на голос и к Софи. А Натан был так погружен в свою гневную отповедь, так настроен на эту волну, что я не одну минуту простоял у столика, испытывая величайшую неловкость от

того, как Натан оскорблял и терзал Софи, не обращая внимания на мое присутствие.

– Разве я не говорил тебе, что решительно требую только одного – верности! – говорил он.

– Да, но... – Она не успевала ничего больше произнести.

– И разве я не говорил тебе, что, если когда-нибудь замечу тебя с этим Катцем – еще хоть раз не на работе – и если ты когда-либо пройдешь рядом с этой дешевкой хотя бы десять футов, я отоблю тебе задницу?

– Да, но...

– А сегодня днем он опять привез тебя домой на своей машине! Финк видел. Мало того, ты этого дешевого любителя развлечений пригласила к себе в комнату. И проторчала с ним там целый час. Он разика два трахнул тебя, да? О, могу поклясться, этот хиропрактик Катц – большой мастак по части всяких штук!

– Натан, дай же мне объяснить! – взмолилась Софи. Самообладание ее быстро таяло, и голос сорвался.



– Заткни свое чертово хайло! Нечего тут объяснять! Ты бы и это от меня скрыла, если бы мой старый дружок Моррис не сказал мне, что видел, как вы вдвоем поднимались наверх.

– Я бы не скрыла, – простонала она. – Я бы сказала тебе сейчас! Ты же не дал мне возможности, милый!

– Заткнись!

Он говорил не так уж и громко, но ледяным, властным, язвительно-агрессивным тоном. Мне очень хотелось уйти, но я продолжал стоять позади Натана,

колеблясь, выжидая. Мое легкое опьянение испарилось, и я чувствовал, как кровь бьется у меня в кадыке.

А Софи все пыталась его урезонить:

– Натан, милый, послушай! Я привела его в комнату только из-за комбайна. Ты же знаешь, эта штука, которая меняет пластинки, не работала, и я ему про это говорила, а он сказал, что, наверно, сможет починить. Он сказал, он есть эксперт. И он правда починил, милый, вот и все! Я покажу тебе, когда вернемся домой и поставим пластинки...

– О, я не сомневаюсь, что старина Сеймур – он эксперт, – прервал ее Натан. – А когда он тебя трахает, он бегает пальцами быстро-быстро по твоей спинке? Приводит этими своими скользкими руками твой позвоночник в порядок? Жулик, дешевка...

– Натан, прошу тебя! – взмолилась она. И пригнулась к нему. В ее лице не было ни кровинки, на нем застыло выражение бесконечной муки.

– О да, ты штучка лакомая, лакомая, – тихо и медленно, с бесконечной иронией, звучавшей невыносимо грубо, произнес он.

Он явно уже побывал после работы в их жилище у Етты: я понял это не только по его ссылке на возмутительного сплетника Морриса Финка, но и по одежде, а он надел свой самый нарядный кремовый полотняный костюм, и массивные золотые овальные запонки поблескивали в манжетах его сшитой на заказ рубашки. От него приятно пахло легким изысканным одеколоном. В этот вечер он явно хотел одеться под стать Софи и заехал домой, чтобы превратиться в модную картинку, которая была сейчас передо мной. Однако в доме он узнал о предательстве Софи – или о том, что ему показалось предательством, – и теперь было ясно, что праздник потерпел крах, более того: грядет беда неведомой силы.

Я стоял, кипя от возмущения, и, затаив дыхание, слушал Натана, а он продолжал:

– Настоящее польское отродье – вот ты кто. Я скрепя сердце разрешил тебе уронить себя и работать у этих шарлатанов, этих коновалов. Мало того, что ты берешь у них деньги, которые они зарабатывают, разминая спину невежественным, доверчивым старым евреям, только что приплывшим из Данцига, – у них болит спина, может, от ревматизма, а может, от карциномы, но они не идут к врачу, чтобы поставить диагноз, потому что эти сомнительные деятели знахари внушают им, будто достаточно просто помассировать спину змеиной мазью, и вы снова станете цветущим и здоровым. Мало того, что я поддался на твои уговоры и согласился, чтобы ты продолжала свое позорное сотрудничество с этой парой медиков-шарлатанов. Но, черт подери, чтобы ты за

моей спиной позволяла кому-то из этих грязных людишек забираться к тебе... этого я терпеть не намерен...

– Натан! – попыталась она прервать его.

– Заткнись! Мне уже обрыдла и ты и твоё блудливое поведение. – Он говорил негромко, но было что-то дико-беспощадное в его приторможенной ярости, казавшейся куда более грозной, чем если бы он ревел: это была холодная, остро отточенная ярость бюрократа, да и такие слова, как «блудливое поведение», звучали на редкость неестественно, словно их произносил раввин. – Я думал, ты очухаешься, откажешься от своих привычек после той эскапады с доктором Катцем, – он подчеркнул слово «доктор» с величайшей издевкой, – я думал, я тебя как следует предупредил после той истории, когда вы тискались в машине. Так нет же, слишком тесные ты, видно, носишь штаны – они тебе все время натирают между ног. Так что, когда я поймал тебя на шашнях с Блэкстоком, я не удивился – при твоей своеобразной склонности к хиропрактикам; я говорю: не удивился, но, когда я тебе как следует выдал и положил этому конец, я считал, ты получила достаточное предупреждение и перестань трахаться с кем попало – это же недостойно, унизительно. Но нет, я снова ошибся. Эта польская похоть, которая так бешено мчится по твоим жилам, не оставляет тебя в покое, и вот сегодня ты снова соизволила предаться нелепому блуду с доктором Сеймуром Катцем, – нелепому, если бы он, право же, не был таким гнусным и позорным.

Софи начала тихонько хлюпать носом, уткнувшись в платок, который она крепко зажала в побелевших от напряжения пальцах.



– Нет-нет, милый, – услышал я ее шепот, – это просто неправда.

Высокопарная, назидательная речь Натана могла бы показаться при других обстоятельствах весьма комичной – своего рода бурлеском, – но сейчас в ней чувствовалась такая подлинная угроза, ярость и ожесточенная убежденность, что по телу у меня пробежал озноб и я

почувствовал за своей спиной – словно услышал шаги палача, направляющегося к виселице, – страшный и безымянный призрак судьбы. Я услышал собственный тяжкий вздох, раздавшийся достаточно громко, несмотря на царивший в ресторане шум, и тут мне пришло в голову, что этот отвратительный наскок на Софи чем-то напоминает ту ссору, когда я впервые увидел непримиримую враждебность Натана, – сцены отличались друг от друга лишь по тону: в тот

вечер, несколько недель тому назад, его голос звучал фортиссимо, а сейчас на редкость бесстрастно и сдержанно, но не менее зловеще. Внезапно я понял, что Натан осознает мое присутствие.

– В чем дело – садись же рядом с *première putaine*[159] на Флэтбуш-авеню. – Он произнес это ровным голосом, с легким налетом враждебности, не поднимая на меня глаз.

Я сел без звука – во рту у меня пересохло, и я был нем.

Как только я сел, Натан поднялся.

– Мне кажется, сейчас в самый раз выпить немного «шабли», чтоб отметить событие.

Я в изумлении уставился на него, услышав это торжественное, без тени издевки, заявление. Я вдруг увидел, что он огромным усилием воли держит себя в руках, словно боится, что его высокая статная фигура может разлететься на куски или что он может рухнуть, как марионетка, которую перестали держать на веревочке. Только тут я заметил, что по лицу его, поблескивая, струится пот, хотя из вентилятора в нашем углу тянуло холодом; да и глаза у него были какие-то странные, хотя что в них было странного – я в тот момент не мог сказать. Мне казалось, будто под каждым квадратным миллиметром его кожи шла лихорадочная нервная деятельность и кипение, какая-то ненормальная, неистовая пляска нейронов в их хаотических синапсах. Он был предельно взвинчен, словно забрел в магнитное поле и получил заряд электричества. Однако все это таилось под огромным внешним спокойствием.

– Очень жаль, – сказал он снова тоном мрачной иронии, – очень жаль, друзья мои, что наше сегодняшнее пиршество не может продолжаться на волне восторженного чествования, как я это намечал. Чествования тех, кто посвятил немало часов достижению благородной научной цели и как раз сегодня добился триумфа. Чествования группы ученых, которые дни и годы бескорыстно вели исследования, завершившиеся наконец победой над одной из величайших бед, обрушившихся на страдающее человечество. Очень жаль, – повторил он после долгой паузы, невыносимо отяжелившей прокручивавшиеся в тишине секунды, – очень жаль, что наше пиршество будет носить менее возвышенный характер. А именно: будет посвящено неизбежному и оздоравливающему разрыву отношений между мною и сладкоголосой сиреной из Кракова, этой неподражаемой, этой несравненной, этой трагически неверной дочерью наслаждения, жемчужиной Польши и ее даром сластолюбцам-хиропрактикам Флэтбуша, – Софи Завистовской! Но стойте – надо добыть «шабли», чтоб выпить за это!

Словно перепуганное дитя, хватящееся в давке за папу, Софи стиснула мне пальцы. Мы оба проводили взглядом Натана, который, расправив плечи, двинулся к бару, обходя островки сбросивших пиджаки посетителей. Тут я повернулся и посмотрел на Софи. В глазах ее читалась полнейшая растерянность – выражение, о котором нельзя не помнить в связи с угрозой, брошенной Натаном. С тех пор слово «обезумела» в моем представлении навсегда будет связано с тем неприкрытым ужасом, который я увидел в глазах Софи.

– Ох, Язвинка, – простонала она, – я знала, что так будет. Я просто знала: он станет винить меня, что я ему изменила. Он всегда это говорит, когда на него находят такие странные *tempetes*. [160] Ох, Язвинка, я просто не могу выносить, когда он есть такой. Я просто знаю: в этот раз меня бросит.

Я попытался утешить ее.

– Не тревожься, – сказал я, – у него это пройдет. – Правда, сам я в это мало верил.

– Ах, нет, Язвинка, будет что-нибудь страшное, я знаю! Он всегда так. Сначала такой возбужденный, радостный. Потом он весь опускается вниз, и когда он так опускается, всегда говорит, что я ему изменила, и потом еще, что хочет от меня уйти. – Она снова так стиснула мне руку, что казалось, ее ногти до крови вопьются мне в тело. – А ведь я сказала ему правду, – захлебываясь словами, поспешила добавить она. – То есть про Сеймура Катца. Ничего не было, Язвинка, совсем ничего. Этот доктор Катц – он ничего для меня не значит, я просто работаю вместе с ним у доктора Блэкстока. И я правду сказала: он чинил комбайн. Только это он делал в комнате – чинил комбайн, ничего другое, я тебе клянусь!

– Я верю тебе, Софи, – заверил я ее, ужасно смущенный этим потоком слов, с помощью которых она старалась убедить того, кого не надо было убеждать. – Успокойся же наконец, – безуспешно воззвал к ней я.

То, что почти сразу за этим последовало, показалось мне невообразимо бессмысленным и ужасным. Теперь-то я понимаю, сколь ложны были мои умозаключения, как неуклюже я вел себя, с каким отсутствием соображения, как неудачно держался с Натаном в такой момент, когда следовало проявить величайшую деликатность. Ибо подстройся я под Натана, начни я ему поддакивать – и я, возможно, увидел бы, как иссякает его гнев – сколь бы он ни был необоснован и страшен, – и просто от усталости он пришел бы в такое состояние, когда с ним можно было бы сладить, и ярость его улеглась бы или хотя бы ослабла. Словом, возможно, мне удалось бы удержать его в руках. Но я понимаю и то, что в ту пору и во многих отношениях был еще поразительно, по-

детски неопытен: мне и в голову не приходило, что Натан опасно болен, а ведь в голосе его были маниакальные интонации, речь была сбивчивая, застывшее лицо с тяжелым взглядом блестело от пота и крайнего напряжения – словом, весь облик говорил о том, что его нервная система целиком и полностью, вплоть до мельчайших нервных узелков, воспалена. Я же считал, что он всего лишь грандиозный мерзавец. Как я уже сказал, такой вывод в значительной мере объяснялся моей молодостью и искренним простодушием. Мне не доводилось сталкиваться с обезумевшими, впавшими в буйство людьми – не столько из-за дурацкого старорежимного воспитания, принятого на Юге, сколько потому, что меня окружали благонравные, умеющие вести себя люди, – и потому я приписывал эти вспышки Натана возмутительному неумению держать себя в руках, отсутствию представления о благопристойности, а не помрачению рассудка.

А ведь все было именно так – и сейчас, и в тот первый вечер много недель тому назад, в холле у Етты, когда он кричал на Софи, а меня попрекал линчеваниями и обзывал в лицо Голодранцем, – я ведь и тогда заметил в его бездонных глазах что-то дикое, тень внутреннего разлада, отчего у меня кровь застыла в жилах. И вот, сидя в баре рядом с Софи, онемев от смущения, сокрушаясь по поводу страшной трансформации, происшедшей с этим человеком, который стал мне дорог и которым я так восхищался, я почувствовал, что меня до боли ранит то, как он мучает Софи, и я принял решение: хватит, больше я не позволю Натану терзать ее. Не дам ему изводить Софи, решил я, и, черт подери, пусть попридержит свой язык и со мной. Это было бы вполне разумным решением, имей я дело с любимым другом, который просто дал волю дурному нраву, но едва ли разумным – с человеком (а в моем мозгу даже и тогда не забрезжила искорка понимания), который внезапно оказывается во власти всесокрушающей паранойи.

– Ты не заметила, какие странные у него глаза? – тихо произнес я, обращаясь к Софи. – Не мог он перебрать аспирина, который ты дала ему, или чего-то еще? – Наивность этого вопроса, как я сейчас понимаю, была поистине непостижимой, при том что мне лишь впоследствии стало известно о причине, вызывающей расширение зрачков до размера десятицентовой монеты, но, надо сказать, много нового открылось мне и в те дни.

Натан вернулся с откупоренной бутылкой вина и сел. Официант принес бокалы и поставил их перед нами. Я с облегчением увидел, что выражение лица Натана несколько смягчилось – это уже не была злобная маска, как несколько минут назад. Но мускулы щек и шеи были предельно напряжены, точно на нем была смирительная рубашка, и он продолжал потеть – капельки пота усеивали его лоб, совсем такие же (почему-то подумалось мне), как те, что выступили мозаикой на запотевшей бутылке «шабли». И тут я впервые заметил большие влажные

полукружия на белой ткани у него под мышками. Он стал разливать вино, и я увидел, как подрагивает рука Софи, протянувшая ему бокал, – в лицо ей я боялся смотреть. Я допустил серьезную ошибку, оставив на столике развернутый номер «Пост» с фотографией Билбо, который сейчас лежал под моим локтем. Я увидел, как Натан взглянул на снимок и ехидно, с недобрым удовлетворением, усмехнулся.

– Я только что прочитал эту статью, когда ехал в метро, – сказал он, поднимая бокал. – Предлагаю выпить за медленную, долгую, мучительную смерть сенатора от Миссисипи Билбо Блевотины.

Я с минуту молчал. Не поднял я и бокала, в противоположность Софи. Она же, я уверен, подняла свой чисто автоматически, из тупого повиновения. Наконец как можно обыденнее я сказал:



– Натан, я хочу предложить тост за твой успех, за твоё великое открытие, в чём бы оно ни заключалось. За то чудесное средство, над созданием которого, как сказала мне Софи, ты работал. Поздравляю. – Я протянул руку и легонько, дружески похлопал его по плечу. – А теперь давайте прекратим всю эту

мерзость, – попытался я внести веселую, примирительную нотку, – давайте расслабимся, и ты все нам расскажешь – ну, возьми и расскажи, ради всего святого, что именно мы должны отмечать! Сегодня, дружище, мы хотим пить только за тебя!

Намеренно резким движением он дернулся в сторону и сбросил мою руку – я почувствовал, что холодею.

– Это абсолютно невозможно, – произнес он, впери в меня горящий взгляд, – мое радостное настроение серьезно подорвано, если вообще не уничтожено, предательством со стороны некоей особы, которую я в одно время любил. – Я услышал, как судорожно всхлипнула Софи, но взглянуть на нее по-прежнему не мог. – Сегодня никто не будет пить за победу Гигиеи.[161] – Он держал бокал, уперев локоть в стол. – Вместо этого мы выпьем за мучительное отбытие в мир иной сенатора Билбо.

– Это ты выпьешь, Натан, а я не буду, – сказал я. – Я не стану пить ни за чью смерть – мучительную или немучительную, – и тебе тоже не следовало бы. Кому-кому, но только не тебе. Разве не ты лечишь людей? Не очень это, знаешь ли, забавная шутка. Непристойно это, черт побери, пить за смерть. – Явно не сумев сдержаться, я произнес это неожиданно назидательным тоном. И поднял бокал. – За жизнь, – провозгласил я, – за твою жизнь, за нашу, – я обвел рукою столик, включив в это число и Софи, – за здоровье. За твое большое открытие. – Я сам услышал в своем голосе молящие интонации, но Натана это ничуть не тронуло, он продолжал сидеть с мрачным видом и не желал пить. Моя затея сорвалась, и, чувствуя, как сердце сжимается от отчаяния, я медленно опустил бокал. Я тоже – впервые в жизни – почувствовал, как где-то под ложечкой зашевелился гнев: злость медленно разгоралась, как против возмутительной диктаторской манеры Натана, его подлого отношения к Софи, так и (сейчас я с трудом могу поверить, что действительно такое чувствовал) против его отвратительных, подлых слов по адресу Билбо. Поскольку Натан никак не откликнулся на мой контртост, я поставил бокал на стол и произнес со вздохом: – Ну и черт с ним в таком случае.

– За смерть Билбо, – стоял на своем Натан, – за его предсмертные крики.

Кровь яркой пеленой на миг застлала мне глаза, и сердце начало нелепо биться. Мне стоило немалых усилий контролировать свой голос.

– Натан, – сказал я, – не так давно я сделал тебе небольшой комплимент. Я сказал, что, невзирая на глубоко враждебное отношение к Югу, у тебя по крайней мере хватает ума с юмором относиться к нему, чего нельзя сказать о многих. Чего не скажешь о стандартных нью-йоркских ослах либералах. Но сейчас я начинаю думать, что был не прав. У меня нет никаких отношений с Билбо и никогда не было, но, если ты считаешь, что в таком зубоскальстве по поводу его смерти есть что-то забавное, ты ошибаешься. Я вообще не желаю пить за смерть кого бы то ни было.

– Значит, ты не стал бы пить и за смерть Гитлера? – быстро перебил он меня, и в глазах его появился подленький блеск.

Я сразу спохватился.

– Конечно, я выпил бы за смерть Гитлера. Но это же, черт возьми, совсем другое! Билбо – не Гитлер! – Еще отвечая Натану, я уже с отчаянием понимал, что мы повторяемся, правда, не в тех выражениях, но, по сути, повторяем тот яростный обмен репликами, когда мы сцепились в первый день нашего знакомства в комнате Софи. За время, прошедшее с этой громкой ссоры, чуть не закончившейся дракой, я пришел к ошибочному выводу, что Натан отказался от

своей возмутительной *idée fixe*[162] по поводу Юга. А сейчас в его манере держаться появились, словно внезапно вырвавшись на волю, ярость и злоба, которые так напугали меня в тот яркий воскресный день – день, долгое время казавшийся мне благополучно канувшим в прошлое. Я снова испугался, сейчас даже больше, чем в тот раз, ибо у меня возникло мрачное предчувствие, что дело не кончится милым примирением, извинениями, шутками и дружескими объятиями. – Билбо – не Гитлер, Натан, – повторил я. И услышал, как дрожит у меня голос. – Позволь тебе кое-что сказать. Насколько я тебя знаю – хотя, безусловно, мы знакомы не так уж давно и у меня могло сложиться неверное мнение, – ты действительно представляешься мне одним из самых утонченных, самых знающих людей, каких я когда-либо встречал...

– Не старайся меня смутить, – перебил он меня. – Лесть ничего тебе не даст. – Голос его звучал хрипло, неприятно.

– Это не лесть, – продолжал я, – а всего лишь правда. И веду я вот к чему. Твоя ненависть к Югу, которую нередко можно принять за ненависть или по крайней мере неприязнь ко мне, воистину поразительна для человека столь знающего и здравомыслящего во многих других отношениях. Это же примитивно, Натан, быть таким слепым к природе зла...

В полемике, особенно когда спор становится жарким, перегруженным эмоциями и исполненным злонамеренности, я всегда теряюсь. Голос у меня срывается, делается пронзительным; я обливаюсь потом. На лице появляется кривая ухмылка. Хуже того, мысль моя начинает блуждать, а потом я и вовсе теряю нить, и логика, которой я в достаточной мере обладаю в более спокойных условиях, убегает из моего мозга, как неблагодарный ребенок. (Одно время я ведь подумывал стать юристом. Юридическая профессия и суд, где я в течение недолгого времени лелеял мечту разыгрывать спектакли в стиле Кларенса Дэрроу,[163] потеряли всего лишь бестолкового тупицу, когда я решил заняться литературой.)

– Такое впечатление, что у тебя отсутствует понимание истории, – поспешно продолжал я голосом, звучавшим на октаву выше обычного, – его нет вообще! Может, это оттого, что вы, евреи, прибыли сюда совсем недавно, живете главным образом в больших северных городах и потому действительно слепы, вы не осознаете и ни в коей мере не понимаете трагического стечения обстоятельств, породивших у нас это расовое безумие, это вас просто не интересует! Ты же читал Фолкнера, Натан, и тем не менее упорно продолжаешь с возмутительным высокомерием относиться к нашему краю и не в состоянии понять, что Билбо не столько злодей, сколько злополучный продукт всей системы мракобесия! – Я помолчал, передохнул и добавил: – Мне жаль тебя – до чего же ты слеп. – И если бы я тут умолк и поставил на этом точку, я бы мог

считать, что нанес Натану несколько ощутимых ударов, но, как я уже сказал, в подобных горячих спорах здравый смысл обычно покидал меня, да к тому же я находился на грани истерики, которая и толкнула меня на еще большую глупость. – А кроме того, – не унимался я, – ты абсолютно не понимаешь, какой человек был Теодор Билбо, сколько он сделал за свою жизнь. – Воспоминания о диссертации, которую я писал в колледже, промелькнули у меня в голове со скоростью, с какой мы просматриваем карточки в картотеке. – В бытность губернатором Билбо провел в Миссисипи целый ряд важных реформ, – заявил я, – в частности, была создана комиссия по шоссейным дорогам и совет по амнистии. При нем был построен первый туберкулезный санаторий. Он ввел в школьную программу ручной труд и знакомство с сельскохозяйственной техникой. И, наконец, при нем началась программа борьбы с клещами... – Я умолк.

– При нем началась программа борьбы с клещами, – повторил Натан.

Я вздрогнул, поняв, что Натан точно и талантливо передразнил меня: он произнес это педантично, напыщенно, безапелляционно.

– У коров в Миссисипи вдруг вспыхнула так называемая «техасская лихорадка», – продолжал я, уже не в силах остановиться. – Билбо помог...

– Идиот, – прервал меня Натан, – глупый клуц. Техасская лихорадка! Паяц! Ты что, хочешь, чтобы я сказал, что «третий рейх» мог гордиться своей системой шоссейных дорог, которую никто в мире не мог переплунуть, а у Муссолини поезда ходили вовремя?

Он припер меня к стенке – мне следовало бы понять это, едва я произнес слово «клещи» и увидел улыбочку, промелькнувшую на лице Натана, сардонический блеск зубов и огонек, который загорелся в его глазах от сознания, что я разбит в пух и прах, и тут же погас в тот миг, когда он решительно поставил на столик бокал.

– Ты закончил свою лекцию? – спросил он излишне громким голосом. Лицо его угрожающе помрачнело, и страх мурашками побежал у меня по телу. Внезапно он поднял бокал и одним глотком осушил его. – Это, – ровным голосом объявил он, – в честь моего окончательного разрыва с вами, двумя вонючками.

Меня пронзила острая боль утраты. В груди нарастало тяжкое стеснение, словно я собирался оплакивать покойника.

– Натан... – умиротворяюще начал я и протянул к нему руку. Я услышал, как снова всхлипнула Софи.

А Натан и внимания не обратил на мой жест.

– Разрыва, – сказал он и чуть наклонил бокал в сторону Софи, – с тобой, Вонючая Задница, Утешительница Хиропрактиков из Округа Кингс. – И, обращаясь ко мне, добавил: – И с тобой, Унылый Опивок из Диксиленда.

Глаза его были безжизненны, как бильярдные шары, но лицу текли, высыхая, ручейки пота. Я отчетливо видел, с одной стороны, эти глаза и лицо под блестящей прозрачной пленкой пота, а с другой – на чисто слуховом уровне, до предела натянутыми – казалось, сейчас лопнут! – барабанными перепонками воспринимал голос сестер Эндрюс, грохотавшие из музыкального автомата: «Не загоняй меня в угол!»

– А теперь, – произнес Натан, – может, вы позволите мне прочесть лекцию вам обоим. Возможно, она немного счистит ржавчину с вашего нутра.

Я приведу здесь лишь самое страшное из его тирады. Это заняло всего несколько минут, а казалось, прошли часы. Наиболее чудовищная часть его выпадов предназначалась Софи, и ей было куда труднее это вынести, чем мне – я ведь только слушал и смотрел, как она страдает. Я же отделался сравнительно легко: Натан лишь немного поиздевался надо мной, да и то в самом начале. Он сказал, что в общем не питает ко мне дурных чувств – только презрение. Да и презрение-то едва ли относится ко мне лично, продолжал он, поскольку я же не могу отвечать за то, как меня воспитали или где я родился. (Все это он произнес с издевательской полуулыбочкой, тихим, сдержанным голосом, в котором то и дело проскальзывал негритянский акцент, сохранившийся у меня в памяти с того далекого воскресенья.) Долгое время, сказал Натан, он считал меня хорошим южанином, человеком свободомыслящим, сумевшим каким-то образом избежать проклятия фанатизма, которым история наградила этот край. Не настолько он-де глуп и слеп (невзирая на мои обвинения), чтобы не знать, что есть на свете хорошие южане. И до недавнего времени он считал меня именно таким. Но мое нежелание присоединиться к осуждению Билбо только подтвердило, что я «прирожденный» и «неисправимый» расист, о чем он догадался еще в тот вечер, когда прочел первую часть моей книги. Сердце у меня при этих словах сжалось.

– Как это понять? – спросил я, чуть не плача. – Мне казалось, тебе понравилось...

– Ты пишешь довольно живо, в традиционном южном стиле. Но в то же время все старые клише налицо. Я, наверное, просто не хотел ранить твои чувства. Но эта старуха негритянка в начале книги – та, что ждет вместе с другими поезда. Это же карикатура, прямиком скопированная из «Эмоса и Энди».[164] У меня было такое впечатление, будто я читал роман, автор которого воспитан на

старинных шоу, пародировавших негров. Эта негритянка-травести была бы забавной, если б не была описана с таким высокомерием. Ты, видимо, решил создать первую книжку южных комиксов.

Господи, до чего же я был тонкокожий! Меня мгновенно затопило отчаяние. Если бы это сказал кто угодно, только не Натан! Но этими словами он окончательно уничтожил бурлившую во мне радость и уверенность в успехе, которые пустили во мне ростки раньше, когда он так поощрительно отозвался о моем труде. Удар был столь сокрушителен, Натан так неожиданно грубо все перечеркнул, что я почувствовал, как ломаются и рассыпаются в прах очень важные частицы моей души. Задыхаясь, я пытался найти слова для ответа, но, сколько ни старался, не в состоянии был их вымолвить.

– Ты глубоко пропитан этим пороком, – продолжал он. – Ты тут ни при чем. Ни тебя самого, ни твою книгу это не делает более привлекательным, но по крайней мере чувствуется, что ты скорее пассивный сосуд, принявший в себя яд, чем добровольный... какое бы употребить тут слово?... добровольный его распространитель. Как, к примеру, Билбо. – Тут его голос вдруг перестал напоминать гортанные голоса негров; размытый южный акцент поблек и исчез, вместо него появились шипящие польские согласные, с помощью которых Натан почти точно воспроизводил речь Софи. И вот тут, как я уже говорил, из грубого обличителя он превратился в настоящего карателя. – *Peut-être*, [165] после всех этих месяцев, – сказал он, глядя в упор на Софи, – ты можешь объяснить эту тайну – почему ты здесь, почему именно ты, а не другая разгуливаешь по этим улицам, душишься будоражащими духами и втихую занимаешься развратом не с одним, а с двумя – загнившие два пальца, леди и джентльмены, – двумя



хиропрактиками. Словом, как говорится в старой поговорке, куешь железо, пока горячо, а тем временем в Аушвице призраки миллионов мертвецов тщетно пытаются понять – за что. – Неожиданно он перестал пародировать Софи. – Ты мне

скажи, красотка Завистовская, почему – о, почему – именно ты обитаешь в стране живых. С помощью каких это хитроумных трюков и уловок, родившихся в твоей прелестной головке, ты умудрилась дышать свежим воздухом Польши, тогда как толпы узников Аушвица погибали медленной смертью, задыхаясь от газа? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос.

Страшный стон вырвался из груди Софи, такой громкий и мучительный, что его слышали бы все в баре, если бы не исступленный визг сестер Эндрюс. Дева Мария, увидев своего сына на крестном пути, и та, наверное, не издала бы в муках такого вопля. Я повернулся посмотреть на Софи. Она уткнулась в столик лицом, так что его нельзя было разглядеть, и тщетно пыталась зажать уши побелевшими от напряжения, стиснутыми кулаками. Слезы ее стекали на грязную пластиковую крышку стола. Мне показалось, я услышал приглушенное:

– Нет! Нет! *Menteur!*[166] Это все есть ложь!

– Совсем недавно, – продолжал Натан, – когда в Польше еще шла война, несколько сот евреев, бежавших из одного лагеря смерти, попытались укрыться в домах добропорядочных польских граждан, вроде тебя. Так эти милые люди отказали евреям в убежище. Мало того. Они перебили всех, до кого сумели добраться. Я уже раньше доводил это до твоего сведения. Так что, будь любезна, ответь мне снова. Это что же, значит, антисемитизм, которым Польша прославилась во всем мире, – этот самый антисемитизм и сыграл решающую роль в твоей судьбе, все время помогал тебе, так сказать, ограждал, и ты попала в ту горстку людей, которые выжили, тогда как миллионы погибли? – Его голос звучал сурово, жестоко, резал как ножом. – Прошу объяснить!

– Нет! Нет! Нет! Нет! – рыдала Софи.

Тут я услышал собственный голос.

– Натан, ради бога, отвяжись от нее! – Я вскочил на ноги.

Но его уже было не остановить.

– Какие ты изобрела уловки, чтоб твоя шкура осталась целой, а другие исчезли в дыму? Как ты изгилялась, ластилась, раскладывалась...

– Нет! – услышал я стон, вырвавшийся из самых глубин ее естества. – Нет! Нет!

Тут я повел себя необъяснимо и, боюсь, малодушно. Поднявшись во весь рост, я был на грани того (я чувствовал, как все мое тело завибрировало), чтобы нагнуться и, схватив Натана за ворот, рывком поднять его на ноги, на один уровень со мной, – я много раз видел, как это делал Богарт[167] в моем и его

прошлом. Я больше ни секунды не мог терпеть такого обращения с Софи. Однако, поднявшись во вест рост под влиянием порыва, я каким-то таинственным образом из победителя превратился в куриное дерьмо. Колени у меня затряслись, из пересохшего рта вырвалось несколько бессвязных слов, и я ринулся в мужскую уборную, благословенное убежище, где передо мной не будет этого зрелища ненависти и жестокости, а я и помыслить не мог, что когда-либо стану свидетелем такого. «Я побуду здесь с минуту, – подумал я, пригнувшись к унитазу. – Мне необходимо собраться с мыслями, чтобы разделаться с Натаном». В поистине сомнамбулической оторопи я вцепился в ручку для спуска воды, показавшуюся мне таким ледяным кинжалом, и снова и снова дергал за нее, обрушивая потоки воды в унитаз и в сотый раз разглядывая надписи на стене, которые безумной клинописью врезались мне в мозг. Я не плакал со смерти мамы и знал, что сейчас тоже не заплачу, хотя эти каракули на кафеле, исполненные тоски по любви, и расплывались у меня перед глазами. Глубоко несчастный, замерзший, я провел в колебаниях минуты три или четыре, Наконец я решил вернуться в бар и попытаться как-то сладить с ситуацией, хотя я не выработал никакой стратегии и страх пронизывал меня. Но когда я снова открыл дверь, я увидел, что Софи и Натан исчезли.

Меня шатало от горя и отчаяния. И я не представлял себе, что же делать в ситуации, где возникло такое непримиримое противостояние. Мне явно следовало обдумать, как быть дальше, наметить, как выправить дело – надо каким-то образом успокоить Натана, а пока убрать Софи с места действия, чтобы она не могла служить мишенью для его слепого и губительного гнева; но я был настолько перепуган, что голова у меня почти отказывалась работать – я просто не могу думать. Я решил, чтобы собраться с духом, побыть еще немного в «Кленовом дворе» и за это время разработать разумный и здравый план действий. Я знал, что, если отец, приехав на Пенсильванский вокзал, не увидит меня там, он прямиком направится в гостиницу «Макэлпин» на Бродвее, возле Тридцать четвертой улицы. (В те дни все обитатели Тайдуотера, принадлежавшие, как мой отец, к людям среднего достатка, останавливались либо в «Макэлпине», либо в «Тафте»; очень немногие, из числа более состоятельных, неизменно предпочитали «Уолдорф-Асторию».) Я позвонил в «Макэплин» и попросил передать отцу, что встречу с ним позже вечером. Затем я вернулся к столику («Еще один скверный знак», – подумал я: либо Натан, либо Софи, в спешке покидая зал, опрокинули бутылку «шабли» – она, правда, не разбилась, а лежала на боку, и остатки вина капали из нее на пол) и просидел там целых два часа, размышляя о том, как собрать и склеить осколки нашей дружбы. Я подозревал, что это будет нелегко, учитывая грандиозные размеры, которые принял гнев Натана.



С другой стороны, я припомнил, как в то воскресенье, после такой же вот «бури», он так тепло, так рьяно старался наладить нашу дружбу, что я даже засмущался, и, по сути дела, извинился передо мной за свое поведение, так что я подумал, возможно, он будет рад любому жесту примирения с моей стороны. Ей-богу, размышлял я, мне ужасно неохота это делать: сцены вроде той, участником которой я только что был, калечат мне душу, лишают сил – мне так хотелось свернуться калачиком и заснуть. Встреча с Натаном скоро после случившегося пугала меня: в ней таилась потенциальная опасность; меня замутило, и я почувствовал, что, подобно Натану, весь покрываюсь потом. Стремясь набраться храбрости, я не спешил покинуть бар и выпил четыре-пять, а может быть, и шесть стаканов «Рсйнголда» среднего размера. Перед моим мысленным взором то и дело возникала Софи, жалкая, растрепанная, в полном смятении, и всякий раз к горлу у меня подступала тошнота. Наконец, когда на Флэтбуш опустилась темнота, я, слегка пошатываясь, направился сквозь душный сумрак к Розовому Дворцу и со смесью страха и надежды увидел мягкий винно-розовый свет, который сочился из-под ставни, закрывавшей окно Софи, указывая, что она там. Я услышал музыку – значит, у нее включено либо радио, либо проигрыватель. Сам не знаю почему, когда я подошел к дому, мне стало одновременно радостно и грустно от дивных и печальных звуков концерта Гайдна для виолончели, нежно разливавшихся в летнем вечере. С площадки на краю парка доносились голоса детей, и их крики, тоненькие, как птичий писк, перемешиваясь с ласкающими, мечтательными звуками виолончели, пробудили во мне чувство глубокого сожаления, напомнив обо всем, что осталось в памяти, но чего уже не вернешь.

При виде зрелища, представшего мне на втором этаже, у меня от тревоги перехватило дыхание. Пройди по Розовому Дворцу тайфун, он и то, наверное, не произвел бы большего опустошения и разгрома. В комнате Софи все было перевернуто вверх дном: ящики из комода вытащены и опустошены; с кровати сдернуты все постельные принадлежности; из шкафа вынуты вещи. На полу валялись газеты. На полках не осталось ни одной книги. Пластинки исчезли. Ничего, кроме обрывков бумаги и газет. Единственное исключение составлял комбайн. Явно слишком большой и громоздкий, чтобы его можно было утащить, он стоял на столе, и звуки Гайдна, несшиеся из его динамиков, наполняли меня суеверным ужасом, словно я слушал музыку в концертном зале, из которого почему-то бежали слушатели. На расстоянии нескольких шагов, в комнате Натана, все выглядело точно так же: все вещи были вынесены или по крайней мере упакованы в коробки, которые можно было мгновенно увезти. В холле стояла влажная духота – было слишком жарко, даже для летнего вечера, и к горю, затопившему меня, добавилось недоумение: на секунду я даже подумал, нет ли пожара за розовыми стенами, пока вдруг не увидел Морриса Финка, который, скрючившись, возился в углу с дымящимся радиатором.

– Кто-то, видно, случайно повернул кран, – пояснил он, распрямляясь, когда я подошел к нему. – Наверно, Натан случайно повернул, когда бегал тут со своим чемоданом и вещами. Будешь меня знать, мерзавец, – огрызнулся он на радиатор и пнул его ногой, – хватит выпускать пар из кишок. – Струйка пара с легким шипением исчезла, и Моррис Финк обратил на меня взгляд своих мрачных тусклых глаз. Выпирающие передние зубы, которых я раньше как-то не замечал, придавали ему сходство с грызуном. – Тут у нас одно время было ну прямо-таки как в сумасшедшем доме.

– Что случилось? – спросил я, холодея от мрачного предчувствия. – Где Софи? Где Натан?

– Уехали – оба. Наконец-таки вырубались насовсем.

– Что значит – насовсем?

– А то и значит, – ответил он. – Конечно. Навсегда. Уехали навсегда и – скатертью дорога, говорю я. У нас же тут просто страшно было жить при этом чертовом големе Натане, я хочу сказать – ненормально. Вечно драки, крики. Хотите знать мое мнение – скатертью им дорога.

Я спросил, чувствуя, как от отчаяния пронзительнее зазвучал голос:

– А куда же они уехали? Они тебе сказали куда?

– Нет, – сказал он, – они поехали в разные стороны.

– В разные стороны? Ты хочешь сказать...

– Я видел, как они вошли в дом часа два тому назад – я как раз шел по улице. В кино. Он уже-таки рычал на нее, как горилла. Я сказал себе: «А, черт, снова драка, а ведь столько недель было спокойно. Может, все-таки попытаться снова спасти ее от этого мешунгенер». Но когда я вернулся в дом, вижу – он заставляет ее паковать вещи. То есть я хочу сказать, понимаете, он пакуется у себя в комнате, а она – у себя. И все время орет на нее как сумасшедший – ой, и какими же грязными словами он ее только не обзывал!

– А Софи...

– А она – она все глаза выплакала: оба они пакуются, и он орет на нее и обзывает проституткой и шлюхой, а она ревет, как младенец. Прямо-таки тошно от всего этого! – Он помолчал, глотнул воздуха и уже медленнее возобновил свой рассказ: – Я-то не понимал, что они пакуются, чтоб уехать совсем. А потом он перегнулся через перила, увидел меня и спросил, где Етта. Я сказал, она уехала к сестре на Статен-Айленд. Он швырнул мне тридцать долларов в уплату за жилье – за Софи и за себя. Вот тут я понял, что они уезжают насовсем.

– Когда же они все-таки уехали? – спросил я. Чувство утраты комком удушья подступило к горлу, откуда-то из глубины поднялась блевотина. – Адреса они не оставили?

– Я же сказал: они уехали в разные стороны, – теряя терпение, повторил он. – Все свое барахло упаковали и спустились вниз. Это было всего минут двадцать назад. Натан дал мне деньги, чтоб я снес вниз багаж и присмотрел за комбайном. Сказал, что потом вернется и заберет его вместе с коробками. Потом, когда мы вынесли весь багаж, он попросил меня пойти на угол и остановить пару такси. Когда я вернулся вместе с такси, он все на нее орал, а я сказал себе: «Ну, хоть на этот раз он ее не бьет, и вообще». Но орать он на нее так орал – все больше насчет Оусвича. Вроде именно так – Оусвич.

– Что-что?

– Оусвич – так он говорил. Обзывал ее шлюхой и все снова и снова задавал какой-то непонятный вопрос. Спрашивал, как это она сумела выжить в Оусвиче. Это он про что?

– Обзывал ее... – беспомощно, едва владея даром речи, прерывающимся голосом повторил я. – А потом что?...

– А потом дал ей пятьдесят долларов – похоже, именно такую бумажку – и велел шоферу отвезти ее куда-то в Нью-Йорк, на Манхэттен, по-моему, в какой-то

отель – не помню какой. Сказал что-то насчет того, как он будет счастлив, что никогда больше не увидит ее. Тут Софи зарыдала – никогда я не слышал, чтобы кто-то так рыдал. Ну, в общем, когда она уехала, он положил свои вещички в другое такси и поехал в противоположную сторону – вверх, к Флэтбуш-авеню. Думаю, наверное, к своему брату в Куинс.

– Значит, уехали, – шепотом произнес я, теперь уже сраженный горем.

– Уехали насовсем, – откликнулся он, – скатертью дорога, говорю я. Этот малый – это же настоящий голем! А Софи... вот Софи мне жалко. Софи, знаете ли, по-настоящему славная девчонка!

С минуту я не мог произнести ни слова. Нежные звуки Гайдна, пронизанные тоской, заливали покинутую комнату своими мягкими симметричными задумчивыми каденциями, усугубляя разраставшееся во мне чувство пустоты и невосполнимой утраты.

– Да, – произнес я наконец, – знаю.

– Так что же это все-таки – Оусвич? – спросил Моррис Финк.

Девятое

Мало кто из многочисленных исследователей, занимавшихся нацистскими концентрационными лагерями, писал о них с большим проникновением и страстью, чем критик Джордж Стайнер. Я напал на книгу Стайнера «Язык и молчание» в 1967 году, когда она только вышла, – этот год был для меня во многих отношениях крайне важным, не считая одного весьма банального обстоятельства, а именно: прошло двадцать лет с того лета в Бруклине. Бог ты мой, сколько же утекло времени с тех пор, как были в моей жизни Софи, Натан и Лесли Лапидас! Семейная трагедия, которой я пытался разродиться в доме Етты Зиммермен, давно уже опубликована (с большим успехом, намного превзошедшим мои юношеские надежды); с тех пор я написал и другие произведения, а также некоторое количество не слишком энергичных, нейтральных статей в духе шестидесятых годов. Однако сердце у меня по-прежнему больше лежало к романистике, которую считали умирающей или даже – господи, спаси нас! – мертвой, как чурбан, и я был счастлив, когда в 1967 году сумел опровергнуть (по крайней мере к собственному удовлетворению) слухи о ее кончине, опубликовав книгу, которая не только явилась выражением моих философских и эстетических взглядов в романистике, но и нашла сотни тысяч читателей – правда, как выяснилось впоследствии, не все были очень этим обстоятельством довольны. Но это уже другое дело, и да будет мне дозволено просто сказать, что тот год принес мне вообще немалое удовлетворение.

Такого рода оценка объясняется тем, что, как обычно бывает после нескольких лет тяжких трудов над сложным произведением, у автора наступает спад – серый, унылый спад, депрессия, кризис воли: не знаешь, что делать дальше. Многие писатели испытывают такое чувство по завершении важной для них работы – это как бы своего рода смерть: хочется залезть назад во влажное чрево и стать яйцом. Но долг зовет, и снова – как уже не раз до того – я подумал о Софи. В течение двадцати лет Софи и ее жизнь – ее прошлая жизнь и то время, что мы провели вместе, – а также Натан и удручающие сложности его взаимоотношений с Софи, все связанные с этим и непрерывно ухудшавшиеся обстоятельства, приведшие эту несчастную прелестную польку с льняными волосами прямиком к гибели, то и дело, как неизлечимый тик, возникали в моей памяти. Место действия и люди того лета виделись мне – по мере того как время не спеша разматывалось, подводя меня к середине жизни, – все менее отчетливо, словно припорошенные пылью, как на побуревшей фотографии, обнаруженной среди хрупких, потемневших страниц старого альбома, однако то мучительное лето по-прежнему взывало к объяснению. И вот в конце 1967 года я начал всерьез раздумывать над печальной участью Софи и Натана; я знал, что со временем мне придется ими заняться, как много лет до того я занялся – так успешно и так споро – описанием участи другой молодой женщины, в которую я был когда-то безнадежно влюблен, – обреченной Марии Хант. По многим причинам пройдет еще не один год, прежде чем я начну рассказ о Софи в том виде, как он изложен здесь. Но, готовясь в ту пору к этой работе, я вынужден был пройти через настоящую пытку: мне пришлось вобрать в себя всю литературу о *univers concentrationnaire*, [168] какую я сумел найти. И, читая Джорджа Стайнера, я почувствовал, что меня пронзает током узнавания.

«Один из моментов, которые я никак не могу постичь, хотя часто писал об этом, пытаясь выстроить приемлемую для понимания перспективу, – пишет Стайнер, – это связь времен». Перед этим Стайнер описал жестокую смерть двух евреев в лагере Треблинка. «В тот самый час, когда приканчивали Меринга и Лангнера, подавляющее большинство человеческих существ – на польских фермах в двух милях оттуда или в Нью-Йорке в пяти тысячах миль оттуда – спали или ели, или шли в кино, или занимались любовью, или с тревогой думали о предстоящем визите к дантисту. Вот тут мое воображение заходит в тупик. Эти два вида деятельности осуществляются одновременно и столь отличны друг от друга, столь несопоставимы с любым обычным представлением о человеческих ценностях, их сосуществование являет собою столь мерзкий парадокс, а ведь в Треблинке они наличествуют оба, поскольку какие-то люди построили этот лагерь, а почти все остальные позволяют ему существовать, – все это побуждает меня задумываться над тем, что же такое время. Или же, как утверждают научные фантасты и гностики, в нашем мире есть разные виды времени: «доброе время» и опутывающее человека «бесчеловечное время», которое увлекает людей в медленно крутящиеся жернова ада для живых?»

Пока я не прочел этого высказывания, я по наивности считал, что только мне приходили в голову такие мысли, что только меня занимала проблема связи времен – до такой степени, что я, к примеру, попытался более или менее точно припомнить, что я делал первого апреля 1943 года, в тот день, когда Софи попала в Аушвиц, в «медленно крутящиеся жернова ада для живых». В какой-то момент, в конце 1947 года – через совсем немного лет после того, как начались муки Софи, – я принялся перерывать мою память в попытке установить, что же я делал в тот день, когда Софи вошла в ворота ада. Первого апреля 1943 года – в день, когда никому нельзя верить, – я с помощью мнемоники, а также просмотрев письма отца, которые могли служить указателем моих передвижений, выяснил, что в тот день, когда Софи ступила на железнодорожную платформу в Аушвице, я, как ни нелепо, находился в Роли, штат Северная Каролина, было прелестное весеннее утро, и я объедался бананами. Я наелся бананов до тошноты по той простой причине, что через час должен был проходить медицинский осмотр для поступления в морскую пехоту. Мне было семнадцать лет, ростом я был уже выше шести футов, а весил 122 фунта и понимал, что мне не хватает трех фунтов для минимального веса. Я стоял на весах, выпятив раздутый, точно с голодухи живот, перед дюжим старым сержантом, который взглянув на мои тощие юношеские тела, презрительно фыркнул: «Господи Иисусе!» За этим последовала грубая шутка насчет первого апреля, и я был зачислен, лишь на несколько унций превысив требуемый вес.

В тот день я не слышал ни о массовых уничтожениях евреев в Европе, ни об Аушвице, ни о концентрационных лагерях вообще, и даже не так уж много слышал о нацистах. Для меня врагом в этой всемирной войне были японцы, и я абсолютно ничего не знал о горе, гибельным серым туманом застилавшем места с такими названиями, как Аушвиц, Трешлинка, Берген-Бельзен. Но разве не так же обстояло дело с большинством американцев, да, собственно, и с большинством человеческих существ, живших за пределами тех земель, где господствовал ужас нацизма? «То, что одновременно существовали разные порядки времени, между которыми нельзя провести аналогию или установить связь, – продолжает Стайнер, – наверное, необходимо знать всем нам, кто там не был, кто жил словно бы на другой планете». Совершенно верно, особенно если учесть (а об этом обстоятельстве часто забывают), что для миллионов американцев олицетворением зла в ту пору были не нацисты, как бы мы их ни презирали и ни боялись, а легионы японских солдат, которые, словно раскосые бешеные обезьяны, наводнили джунгли островов Тихого океана и угрожали американскому континенту, что представлялось куда более опасным, если не сказать – мерзким, учитывая скверные привычки этих желтокожих. Но даже если бы враждебные чувства американцев и не были сосредоточены на восточном противнике, все равно большинство людей едва ли могли знать о нацистских лагерях смерти, что делает тем поучительнее размышления Стайнера. Связующим звеном между этими «разными порядками времени» – для тех, кто

там не был, — является, конечно, тот, кто там был, и это снова приводит меня к Софи. К Софи и в особенности к отношениям между Софи и обер-штурмбанфюрером СС Рудольфом Францем Хессом.



Я уже не раз упоминал о нежелании Софи говорить об Аушвице, о ее твердом и непреклонном молчании по поводу этой зловонной сточной ямы ее прошлого. Поскольку сама она (как она однажды мне призналась) сумела столь успешно изгнать из памяти картины своего пребывания в этой бездне, неудивительно, что ни Натан, ни я так толком и не узнали о ее повседневной жизни (особенно в последние месяцы), — не узнали ничего, кроме совершенно очевидного факта, что она чуть не умерла от недоедания и инфекционных болезней. Таким образом, пресыщенный читатель, уже объевшийся на непрерывном пиршестве жестокостей в нашем веке, будет избавлен здесь от детальной хроники убийств, умерщвления газом, избиений, пыток, преступных медицинских экспериментов, лишений, приводящих к медленной смерти, надругательств над людьми, захлебывавшимися в экскрементах, криков потерявших рассудок и прочих описаний, вошедших в анналы истории благодаря перу Тадеуша Боровского, Жан-Франсуа Стейнера, Ольги Лендьел, Ойгена Когона, Андре Шварца-Барта, Эли Визеля и Бруно Беттельхайма — я называю лишь немногих из тех, кто попытался отобразить этот ад, запечатленный в их сердцах. Мое представление о пребывании Софи в Аушвице получилось фрагментарным и, возможно, несколько искаженным, но в этом нет никакой предвзятости. Даже если бы Софи решила открыть Натану или мне мрачные подробности двадцати месяцев, проведенных в Аушвице, я, наверное, вынужден был бы опустить над ними завесу, ибо, как замечает Джордж Стайнер, неясно, «не опасно ли тому, кто сам этого не испытал, касаться этих ужасов». Должен признаться, меня преследовало чувство, что я вторгаюсь в область испытаний, бесконечно унижающих

человека, абсолютно необъяснимых и по праву неотъемлемо принадлежащих лишь тем, кто это выстрадал и погиб или выжил. Один из выживших, Эли Визель, писал: «Новеллисты весьма вольно обращались с материалом, используя (массовое истребление) в своих трудах... В результате они превращали это явление в дешевку, выхолащивали его суть. Массовое истребление людей стало злободневной темой, модой, гарантирующей внимание и мгновенный успех...» Не знаю, насколько в конечном счете это так, но я понимаю, что иду на риск.

Однако я не могу повторить вслед за Стайнером, что молчание – наилучшее решение вопроса, что самое правильное – «не добавлять к неопишуемому тривиальности литературных и социологических рассуждений». Не могу я согласиться и с тем, что «при определенных реальностях искусство становится тривиальным или дерзким». Я вижу в этом оттенок ханжества, тем более что сам-то Стайнер не молчал. И, конечно же, сколь бы ни казался Аушвиц явлением поистине космическим в непостижимости того, что там творилось, он останется непознанным олицетворением зла лишь до тех пор, пока мы не попытаемся проникнуть в него – пусть даже с негодными средствами; да и сам Стайнер тут же добавляет, что лучше все-таки «попытаться понять». И вот я подумал, что, пожалуй, можно сделать шаг к пониманию того, что творилось в Аушвице, попытавшись понять Софи – этот, мягко говоря, сгусток противоречий. Не будучи еврейкой, она выстрадала не меньше любого еврея, пережившего те же испытания, а – как, я надеюсь, станет ясно – в определенном глубоком смысле выстрадала больше многих других. (Многим евреям чрезвычайно трудно представить себе картину в целом, заглянуть за пределы ожесточенного геноцида, проводившегося нацистами, вот почему то, что Стайнер, еврей, лишь вскользь упоминает о великом множестве людей нееврейской национальности – о сотнях тысяч славян и цыган, попавших в жернова лагерной машины и истреблявшихся там столь же неуклонно, как евреи, хотя порой, быть может, менее методично, – представляется мне не столько недостатком, сколько простительным упущением с его стороны.)

Будь Софи просто жертвой – беспомощной, как сорванный с дерева лист, человеческой крупинкой, безвольной, как множество ее обездоленных товарищей по несчастью, – ее было бы просто жаль, это был бы еще один обломок кораблекрушения, выброшенный бурей на берега Бруклина, без каких-либо тайн, сокрытых в душе. Но в Аушвице (а в этом на протяжении того лета она постепенно мне призналась) она была жертвой, да, жертвой и одновременно сообщницей, соучастницей – пусть случайной, и не прямой, и не планировавшей для себя такой участи – в массовых убийствах, тошнотворный дымный след которых, спиралью уходящий в небо из труб Биркенау, она видела всякий раз, как смотрела вдаль, на выжженные солнцем осенние луга, из мансардных окон дома своего поработителя Рудольфа Хесса. И в этом одна из главных (хотя и не единственная) причин того чувства вины, которое разъедало ее, – чувства вины,

которое она скрывала от Натана и которое, понятия не имея о его природе или существовании, он так часто и жестоко в ней разжигал. А дело в том, что Софи не могла высвободиться из-под удушающего бремени того, что в ее жизни был период, когда она играла роль соучастницы в преступлении. Роль человека одержимого и отравленного антисемитизмом – страстной, рьяной ненавистницы евреев, тупо заклиненной на этой мысли.

В жизни Софи за время ее пребывания в Аушвице произошло лишь два крупных события, о которых она рассказала мне и ни разу словом не обмолвилась Натану. О первом, происшедшем в день ее поступления в лагерь, я уже упоминал, но она рассказала мне об этом лишь в последние часы, которые мы провели вместе. О втором событии – ее очень недолгих отношениях с Рудольфом Хессом в том же году и об обстоятельствах, приведших к этому, – Софи рассказала мне тем дождливым августовским днем, когда мы сидели в «Кленовом дворе». Точнее было бы сказать – дождливым днем и вечером. Хотя Софи изложила мне эпизод с Хессом с лихорадочной поспешностью и в то же время так старательно, с такими деталями, что у меня создалось поистине зримое о нем представление, словно я только что видел это в кино, и затем вдруг беспомощно разрыдалась от воспоминаний, а также от эмоциональной усталости и напряжения, мне пришлось потом по кусочкам складывать ее рассказ. День, когда она встретилась с Хессом в его унылой мансарде, – как и первое апреля, когда начались ее страдания, – тотчас запомнился мне и остался в памяти, ибо в тот день родились трое моих героев: мой отец, любитель осени Томас Вулф и неистовый Нат Тернер, этот дьявол-фанатик, чей призрак опалял мое воображение в детстве и юности. Произошло это третьего октября, и дата эта запечатлелась в памяти Софи, потому что в этот день она сочеталась браком с Казимежем Завистовским в Кракове.

А чем, спрашивал я себя (продолжая разрабатывать теорию Джорджа Стайнера о существовании некоего зловещего метафизического отклонения в синхронности времен), занимался старина Стинго, рядовой корпуса американской морской пехоты, в тот момент, когда прах 2100 евреев из Афин и с греческих островов страшной полупрозрачной пеленой пыли, такой густой, что, по словам Софи, «она чувствовалась на губах, как песок», застилал вид, открывавшийся ранее ее взору, укутав очертания пасторальных, мирно пасущихся овец полосой тумана, словно принесенной ветром с болот Вислы? Ответ на этот вопрос поразительно прост. Я писал поздравление с днем рождения – письмо это я недавно без труда выпросил у отца, который бережно хранит мои самые пустяковые записки (даже времен моего детства) в убеждении, что меня ждет литературная слава. Я привожу здесь главное из моего письма, следующее за теплыми поздравлениями. Сейчас я поистине потрясен его школярской глупостью, но, думается, стоит все-таки привести его, чтобы еще больше подчеркнуть кричащий и, пожалуй, даже страшный контраст между жизнью одних и других. Впрочем, если посмотреть на

мои писания в исторической перспективе, то можно проявить снисходительность. Мне ведь было всего семнадцать лет.

Отряд морской пехоты. Учебное подразделение Военно-морского флота США В-12

Университет Дьюка, Дарем, Северная Каролина

3 октября 1943 года

...словом, пап, завтра Дьюк играет с Теннесси, и у нас царит настоящая (но, правда, сдержанная) истерия. Мы, конечно, очень надеемся на победу, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, уже станет ясно, будет ли у Дьюка шанс выступить в состязании на звание чемпиона, а может быть, даже и оспаривать кубок, так как, если мы побьем Теннесси – а это наш самый сильный противник, – проблем у нас до конца сезона уже не будет. Похоже, конечно, что у Джорджии сильная команда, и многие ставят на то, что она выйдет на первое место в стране. Но ведь это как на скачках, верно? Кстати, слышал ли ты, что Розовый кубок, возможно, будет снова разыгрываться в Дьюке (независимо от того, будем мы № 1 или нет), потому что правит-во наложило запрет на большие сборища в Калиф. под открытым небом. Видно, боятся вылазки со стороны япошек. Эти маленькие обезьяны подпортили жизнь многим американцам, верно? Все равно здорово, если Розовый кубок будет разыгрываться здесь – может, ты сумеешь приехать из Виргинии на главную игру, независимо от того, будет Дьюк участвовать или нет. Я наверняка уже рассказывал тебе, что из чисто алфавитных соображений (в армии все строится на алфавите) я живу в одной комнате с Питом Стромайеров и Чаком Штутцем. Все мы учимся быть бесстрашными офицерами морской пехоты. Штутц в прошлом году играл во второй Всеамериканской команде от Оберна, а кто такой Стромайер, я уверен, тебе говорить не надо. В нашей комнате, точно мыши, все время шныряют репортеры и фотографы. [С малых лет привык пользоваться метафорой.] Может, ты видел на прошлой неделе в «Тайм» фото Стромайера и статью про него, где его называют самым фантастическим бегуном по пересеченной местности – во всяком случае, со времен Тома Хармена и, пожалуй, Реда Грейнджа. При этом он чертовски славный парень, пап, и я, наверно, поступил бы нечестно, если б не признался, что мне нравится купаться в отсвете его славы, тем более что вокруг Стромайера вьется масса молодых (и прехорошеньких) леди, так что всегда что-то перепадает и твоему сыну Язвине, юноше, пользующемуся не слишком большим успехом. В прошлый уик-энд после игры мы устроили тут настоящий бал...

Когда я писал эти строки, в газовых камерах были умерщвлены и затем кремированы 2100 греческих евреев, но, как сообщила мне Софи, это была

отноудь не рекордная цифра, ибо массовое уничтожение людей в Аушвице продолжалось: на другой год под личным наблюдением Хесса, вернувшегося после нескольких месяцев отсутствия в лагерь для координации действий по истреблению евреев – операция эта, которой с нетерпением ожидал Эйхман, так и называлась «Aktion Höss», [169] – было уничтожено гораздо больше узников, венгерских евреев. Но это было огромное – для того периода эволюции Аушвица-Биркенау – массовое истребление людей, одно из самых крупных, какие проводились до сих пор; к этому следует добавить сложности с материально-техническим обеспечением и нехватку места для захоронения – ведь до сих пор подобные акции не проводились в таких масштабах. Обычно Хесс сообщал рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру военной воздушной почтой с пометкой «streng geheim» – «совершенно секретно» – статистические данные о количестве людей, подвергшихся «селекции», их физическом состоянии и характере проведенной операции; такого рода депеши отправлялись ежедневно (иногда по несколько раз в день), и соответственно евреев, которых привозили поезда, делили на две категории: на годных, то есть достаточно здоровых, чтобы какое-то время поработать, и негодных, которых сразу обрекали на уничтожение. Среди евреев, поступавших в Аушвиц из разных стран, было немало малолеток и стариков, а также калек, людей, заболевших в пути или страдавших от последствий перенесенных ранее болезней, поэтому лишь немногих признавали годными для работы; однажды Хесс сообщил Эйхману, что из прибывших всего двадцать пять-тридцать процентов оставлено еще пожить. Но хуже всего почему-то приходилось греческим евреям. Эсэсовские врачи, производившие «селекцию» на станционной платформе, находили евреев, приезжавших из Афин, настолько истощенными, что лишь одного-двух из десяти посылали направо – туда, где собирались те, кого оставляли жить и работать.

Хесса это обстоятельство озадачивало, глубоко озадачивало. В сообщении, направленном Гиммлеру в тот третий день октября – а день этот Софи запомнила потому, что несмотря на всепроникающий едкий дым и запах, притуплявший восприятие и мешавший осознать смену времен года, в воздухе впервые почувствовался резкий осенний холод, – Хесс высказывал предположение, что греческих евреев вытаскивают из товарных вагонов или вагонов для перевозки скота в столь плачевном состоянии, многих уже трупами или близкими к смерти, в силу одной из четырех причин, а возможно, и всех четырех причин сразу: плохого питания в родных местах; чрезвычайно долгого путешествия, да еще по скверным югославским железным дорогам (а депортированных приходилось везти через Югославию); резкой смены климата – переезда из сухого, жаркого средиземноморского климата в сырую, болотистую атмосферу верхней Вислы (при этом Хесс добавлял с весьма нехарактерным для него отступлением от официального тона, что и это странно, так как летом в Аушвице «жарче, чем в двух адах»); и, наконец, черты характера – Ratlosigkeit, [170] обычно наблюдавшейся у обитателей южных стран, которые

потому и не отличаются моральной стойкостью: когда их отрывают от родной земли и везут в неизвестном направлении, для них это настоящий шок и они не в состоянии вынести его. Своим скудоумием они-де напоминают ему цыган – правда, те привыкли к разъездам. Он диктовал свои мысли Софи размеренно, не спеша, спокойным, резким голосом, выделяя шипящие, как это делают – о чем давно знала Софи – северные немцы с берегов Балтики, и прерывался лишь для того, чтобы закурить сигарету (а он был заядлым курильщиком, и Софи заметила, что пальцы на его правой, небольшой и довольно пухлой для такого стройного человека руке совсем порыжели) или подумать несколько секунд, приложив руку ко лбу. Время от времени он поднимал на нее взгляд и вежливо осведомлялся, не слишком ли быстро он диктует. «Nein, mein Kommandant».[171]

Прославленный германский метод стенографирования (метод Габельсбергера), который она освоила в шестнадцатилетнем возрасте в Кракове и которым часто пользовалась, помогая отцу, с удивительной легкостью восстановился в ее памяти, хотя она и не стенографировала несколько лет; собственная скорость и техника поразили самое Софи, и она вознесла благодарственную молитву отцу, уже лежавшему в земле Заксенхаузена и тем не менее обеспечившему ей спасение. Она думала об отце – «профессоре Веганьском», как она часто мысленно называла его, настолько официальными и далекими были всегда их отношения, – пока Хесс, остановившись на полуслове, затягивался сигаретой, хрипло, прокуренно кашлял и смотрел из окна на пожухлую октябрьскую лужайку, а его загорелое, костистое, довольно красивое лицо застилал синий табачный дым. Ветер дул в противоположную от труб Биркенау сторону, и воздух был чист. Хотя на улице чувствовалось дыхание мороза, здесь, в мансарде комендантского дома, под резко скошенной крышей, было достаточно тепло и даже уютно: тепло, удерживаемое под скатами, приятно дополнялось теплом яркого послеполуденного солнца. Несколько крупных синих мух, попав в плен между рамами, мягко, клейко жужжали в недвижимом воздухе или, совершив небольшой набег в одну, в другую сторону, возвращались на прежнее место, угрожающе жужжали и затихали. Было там и две-три заблудившихся вялых осы. Побеленная комната сверкала, словно лаборатория, стерильной белизной – в ней не было ни пылинки, она была голая, строгая. Здесь находился личный кабинет Хесса, его святилище и укрытие, а также место, где он выполнял свои сугубо секретные и важные работы. Даже обожаемым деткам, свободно носившимся по всем трем этажам дома, не разрешалось сюда заглядывать. Это было логово бюрократа с душой священнослужителя.



В комнате было мало мебели: простой сосновый стол, стальной шкаф с выдвижными ящиками, четыре стула и раскладная кровать, на которой Хесс иногда отдыхал, пытаясь справиться с мигренями, то и дело одолевавшими его. Был там и телефон, но его, как правило, отключали. На столе аккуратными стопками лежали официальные бланки, стояли в боевом порядке ручки и карандаши, а также громоздкая черная пишущая машинка марки «Адлер». На протяжении минувших полутора недель Софи ежедневно по многу часов отстукивала письма на этой машинке или на другой (которую обычно держали под столом), поменьше, с польским шрифтом. Иногда – вот как сейчас – она сидела на другом стуле и писала под диктовку. Хесс выстреливал фразы быстрыми очередями, а потом бесконечно долго молчал – и в этих паузах, казалось, слышно было, как, стуча каблуками, шагают его мысли, сгустки средневековой логики; Софи во время перерывов смотрела на стены, ничем не украшенные, кроме этого грандиозного китча, который она уже видела раньше, – цветного героического портрета Адольфа Гитлера, закованного, словно рыцарь Грааля, в кольчугу из золингенской нержавеющей стали. Висеть же в такой монашеской келье следовало бы изображению Христа. Хесс думал, почесывая свой выдающийся, словно мыс, подбородок; Софи ждала. Он сбросил китель, ворот его рубашки был расстегнут. Здесь, на самом верху, тишина была неземной, почти нереальной. Только два звука нарушали ее, да и те доносились еле слышно, – приглушенные звуки, неразрывно связанные с существованием Аушвица, ритмичные, как дыхание моря: пыхтенье паровозов и отдаленный грохот сцепляемых и расцепляемых товарных вагонов.

– Es kann kien Zweifel sein... – возобновил было диктовку Хесс и вдруг умолк. –

«Нет ни малейшего сомнения в том...» – нет, это слишком сильно. Следовало бы выразиться менее определенно? – Это был вопрос и не вопрос. Он уже и раньше говорил так раза два или три, со странной вопросительной интонацией в голосе, точно хотел знать мнение Софи и в то же время боялся подорвать свой авторитет. Собственно, это был вопрос, обращенный к ним обоим. В разговоре Хесс чрезвычайно четко формулировал свои мысли. А вот его эпистолярный стиль, как заметила Софи, хоть и был вполне приемлем и безусловно отнюдь не неграмотен, однако часто страдал громоздкими, недостаточно ясными, запутанными, как лабиринт, построениями – это были ритмически неровные банальные писания армейского человека, вечного адъютанта. Пауза Хесса по обыкновению затягивалась.

– *Aller Wahrscheinlichkeit nach...* – довольно неуверенно предложила Софи, хотя несколько дней тому назад она произнесла бы это еще менее уверенно. – Так будет менее определенно.

– «По всей вероятности...» – повторил за ней Хесс. – Да, очень хорошо. Это даст рейхсфюреру больше возможности сформировать собственное суждение. Так и напишите, а затем...

Софи зарделась от удовлетворения, даже удовольствия. Она почувствовала, что барьер, стоявший между ними на протяжении долгих часов, когда Хесс держался с ней по-деловому, с железным безразличием и диктовал с ледяным равнодушием автомата, дал трещину, пусть совсем незначительную. Только раз – накануне и то на краткий миг – он опустил этот барьер. Софи не могла бы сказать наверняка, но ей даже показалось, что она почувствовала сейчас теплый оттенок в его голосе, словно он вдруг обратился к ней, к определенному человеческому существу, а не к работнице-рабыне – *eine schmutzige Polin*, [172] отобранной из скопища больных и умирающих муравьев благодаря немислимому везению (или божьей милости, как Софи иной раз благочестиво думала) и в силу того, что она одна из очень немногих, а может быть, и единственная среди узниц свободно владела двумя языками, польским и немецким, умела печатать на обоих языках и стенографировать по методу Габельсбергера. Вот сейчас она как раз и стенографировала предпоследний абзац донесения Хесса Гиммлеру:

– «В таком случае надо, по всей вероятности, заново продумать проблему перевозки греческих евреев, если в ближайшем будущем предполагается дальнейшая их депортация из Афин. Поскольку механизм для осуществления Особой акции в Биркенау оказался сверх ожидания серьезно перегружен, почтительно предлагаю пересмотреть вопрос о размещении греческих евреев, направляя их в такие места на оккупированных Восточных землях, как к. л. Треблинка или к. л. Собибур».

Тут Хесс умолк, прикуривая новую сигарету от старой. Он смотрел – с налетом мечтательности – в полуоткрытое, с частым переплетом, окно. Внезапно он слегка вскрикнул, так что Софи подумала: «Что-то неладно». Но по его лицу разлилась улыбка, и Софи услышала, как он выдохнул: «Ах-х-х!» – и нагнулся, чтобы лучше видеть примыкающее к дому поле.

– Ах-х-х! – восхищенно повторил он, втягивая в себя воздух, и шепотом позвал ее: – Быстро! Иди сюда!

Она встала и, подойдя к нему, остановилась рядом, так близко, что кожей почувствовала прикосновение его суконных форменных брюк, и вместе с ним посмотрела вниз, на поле.

– Арлекин! – воскликнул он. – Ну, не красавец ли!

Великолепный белоснежный арабский жеребец скакал как одержимый по полю, выписывая длинные овалы; весь мускулы и скорость, он слегка задевал высоко поднятым, развевающимся, словно султан дыма, белым хвостом ограду загона. То и дело вскидывая благородную голову с беззаботностью и высокомерным наслаждением, он был весь струящаяся грация – лепные мускулы скачущих передних и задних ног придавали ему сходство с живой скульптурой, приведенной в движение отчаянно здоровой энергией и силой. Софи и раньше видела этого жеребца, но еще ни разу в таком поэтическом полете. Это был польский конь, один из военных трофеев, и принадлежал он Хессу.

– Арлекин! – снова услышала она восклицание Хвеса, замороженного этим зрелищем. – Вот чудо!

Жеребец скакал один – вокруг не было ни души. Лишь несколько овец пощипывали траву. За полем до самого горизонта тянулись смешанные, неухоженные, заросшие кустарником леса, уже начинавшие приобретать свинцовый оттенок галицийской осени. Несколько заброшенных ферм торчало на опушке. Хотя зрелище это было унылое и однообразное, Софи предпочитала его тому виду, что открывался из других окон комнаты, выходивших на шумную, запруженную людьми железнодорожную платформу, где производили «селекцию», и на закопченные бурые кирпичные бараки за нею; все это венчала металлическая арка с надписью, обращенной как раз в ту сторону: ARBEIN MACHT FREI.[173] Софи вздрогнула, почувствовав шеей дуновение сквозняка и одновременно легкое прикосновение пальцев Хесса к своему плечу. Он никогда прежде до нее не дотрагивался; она снова вздрогнула, хотя его жест был вполне безучастным.

– Ты только посмотри на Арлекина, – шепотом произнес он. Величавое

животное мчалось вдоль загородки, оставляя за собой маленькие воронки охристой пыли. – Лучшие лошади в мире, эти выращенные в Польше арабские скакуны, – заметил Хесс. – Арлекин – это же триумф!

Жеребец исчез из виду. А Хесс, указав Софи на стул, вернулся к диктовке.

– На чем я остановился? – спросил он.

Она прочла ему последний абзац.



– Ага, – подытожил он, – закончим так: «Однако, впредь до получения дальнейшей информации, надеемся, что решение командования лагеря использовать большую часть трудоспособных греческих евреев в Биркенау на работах в зондеркоманде будет одобрено. Направление столь истощенных людей на работы, связанные с Особой акцией, представляется оправданным обстоятельствами». Конец абзаца. «Heil Hitler!» Подпись как обычно, и напечатай немедленно.

Спеша выполнить его приказание, Софи пересела за машинку, вставила в нее бланк и пять страниц для копий и склонилась над работой, успев, однако, заметить, что через стол от нее Хесс сразу взял какую-то брошюру и начал читать. Краешком глаза Софи видела ее. Это был не зеленый справочник СС, а серо-голубое интендантское пособие, название которого занимало всю обложку: «Новые методы определения и предвидения коррозии танков при

неблагоприятных почвенно-климатических условиях». «Хесс совсем не тратит времени зря! – подумала она. – Прошло всего две-три секунды с тех пор, как он произнес последние слова, а он уже схватил это пособие и всецело погрузился в него». Софи, казалось, еще чувствовала его пальцы на своем плече. Она опустила глаза на машинку, печатая письмо, нимало не ошарашенная той информацией, которая таилась в последних словах Хесса: «Особая акция», «зондеркоманда». Лишь немногие обитатели лагеря не имели представления о том, что скрывалось под этими эвфемизмами, а получи они доступ к сообщению Хесса, несомненно, могли бы вольно перевести его так: «Поскольку греческие евреи являют собой такое жалкое зрелище и в любом случае находятся на грани смерти, мы надеемся, что правильно будет назначить их в отряд смертников, работающий при крематориях, где они будут загружать трупы, вытаскивать золотые коронки и отправлять трупы в печи, пока, окончательно изможденные, сами не будут готовы для умерщвления газом». В мозгу Софи звучало это истолкование хессовских писаний, пока она печатала слова, из которых складывалась определенная концепция; концепция эта всего полгода тому назад, когда Софи только поступила в лагерь, показалась бы ей чудовищной, уму непостижимой, теперь же ее сознание воспринимало это как обычное явление в новом мире, где она жила, – явление самое обыденное, такое же, как, например, то, что в другом мире, который она когда-то знала, люди идут в булочную за хлебом.

Она без единой ошибки напечатала письмо и с такой силой ударила по клавише, ставя после германского приветствия восклицательный знак, что машинка даже слегка зазвенела. Хесс поднял глаза от своей брошюры и жестом приказал подать письмо и ручку, что Софи быстро и сделала. Она стояла и ждала, пока Хесс на листке бумаги, который она пришила к концу оригинала, писал от руки постскрипtum, по привычке размеренно произнося вслух слова:

– «Дорогой старина Хайни, весьма сожалею, что не смогу увидеть Вас завтра в Позене,[174] куда посылаю это письмо авиапочтой. Желаю успешного выступления перед ветеранами СС. Руди. – И он вернул письмо Софи со словами: – Это надо быстро отправить, но сначала напиши священнику.

Она вернулась к своему столу и, с трудом опустив на пол тяжелую немецкую машинку, поставила вместо нее ту, что с польским шрифтом. Машинка была сделана в Чехословакии, выпущена позднее немецкой и была намного легче; кроме того, на ней можно было развивать большую скорость, и Софи не так отбивала себе пальцы. Она принялась печатать, на ходу переводя на польский то, что продиктовал ей накануне днем Хесс. Речь шла о небольшой, но досадной проблеме, осложнявшей отношения с местной общиной. Это чем-то отдаленно напоминало «Отверженных» Гюго, книгу, которую Софи помнила... о, так хорошо. Хесс получил письмо от священника из находившейся поблизости

деревни – поблизости, но за пределами окружающей лагерь зоны, откуда были выселены все поляки. Священник жаловался, что несколько пьяных охранников лагеря (точное число неизвестно) проникли ночью в церковь и унесли из алтаря два бесценных серебряных подсвечника – предметы действительно невозполнимые, так как это подсвечники ручной работы семнадцатого века. Софи устно перевела Хессу горестное, не очень связное письмо священника. Читая его, она чувствовала, как смело, даже дерзко оно написано – только смелость или дерзость, а может быть, просто глупость могли побудить ничтожного приходского священника обратиться с таким письмом к коменданту Освенцима. Однако составлено оно было не без хитринки: местами тон был подобострастен до раболепия («не желая быть назойливым и отнимать у достопочтенного коменданта его бесценное время»), местами же чрезмерно деликатен («и мы можем понять, что излишнее употребление алкоголя способно привести к подобной эскападе, в которой, несомненно, вовсе нет злого умысла»), однако факт был налицо: бедный священник написал письмо, хоть и сдерживаясь, но теряя голову от отчаяния, как если бы у него и у его паствы отняли самое дорогое, чем наверняка и были украденные подсвечники. Переводя вслух письмо, Софи тщательно передала его подобострастный тон, как бы подчеркивавший поистине безумное отчаяние священника, и по окончании слышала раздраженный хриплый вздох Хесса.

– Подсвечники! – произнес он. – Ну почему я должен заниматься еще и подсвечниками?

Подняв взгляд, Софи увидела на его губах ироническую усмешку и поняла: за многие часы, в течение которых она ощущала лишь его механическое, безликое присутствие, когда он если и спрашивал ее о чем-то, то исключительно в связи со стенографией или ее переводом, его риторический, произнесенный слегка шутливым тоном вопрос был в какой-то мере обращен и к ней. Софи так растерялась, что карандаш вылетел у нее из руки. Она почувствовала, как у нее раскрылся рот, но не произнесла ни слова и не смогла заставить себя ответить улыбкой на его улыбку.

– Церковь, – сказал он ей, – мы должны быть вежливы по отношению к церкви – даже в маленькой деревне. Это правильная политика.

Софи молча нагнулась и подняла с пола карандаш.

А он, обращаясь теперь уже напрямую к ней, заметил:

– Ты, конечно, католичка, да?

Он произнес это без малейшего сарказма, и все-таки она долго молчала, не в

состоянии ничего ответить. Наконец она ответила утвердительно и, к немалому своему смущению, вдруг добавила:

– А вы?

Кровь прихлынула к ее лицу – она сама почувствовала крайнюю глупость такого вопроса.

К своему удивлению и облегчению, она увидела, что лицо его не изменилось, и он ответил ей бесстрастным, деловитым тоном:

– Я был католиком, но теперь я Gottgläubiger.[175] Я верю, что где-то есть божество. В свое время я верил в Христа. – Он помолчал. – Но я порвал с христианством.

И точка. Он произнес это таким безразличным тоном, словно говорил о поношенной одежде, которую сбросил. И больше ни слова о личном; став снова воплощением деловитости, он велел Софи написать распоряжение штурмбанфюреру СС Фрицу Хартъенштайну, командиру гарнизона СС, провести обыск в солдатских казармах и принять все меры к выявлению виновных в похищении подсвечников, а затем передать их начальнику военной полиции лагеря для дисциплинарных взысканий. Машина заработала: распоряжение печатать в пяти экземплярах, одну из копий направить обер-шарфюреру СС Курту Книттелю, начальнику VI отдела (Kulturabteilung[176]) и ответственному за обучение и политическое образование в гарнизоне; другую копию – штурмбанфюреру СС Конраду Моргену, возглавлявшему специальную комиссию СС по расследованию нарушений в концентрационных лагерях. Затем Хесс вернулся к посланию убитого горем приходского священника и продиктовал Софи письмо, которое велел перевести на язык священника и которое теперь, на следующий день, она и печатала на машинке, радуясь, что может из сухой немецкой прозы Хесса сплести прозрачные золотые нити столь выразительного польского письма:

«Дорогой отец Хыбиньский, нас огорчил и потряс акт вандализма, совершенный в Вашей церкви. Ничто не может причинить нам больше горя, чем осквернение священных предметов, и мы постараемся принять все имеющиеся в нашем распоряжении меры, дабы вернуть Вам эти драгоценные подсвечники. Хотя солдатам данного гарнизона были, конечно, привиты высочайшие принципы дисциплины, которые обязан соблюдать каждый член СС – да, собственно, и каждый немец, служащий на оккупированных территориях, – грехопадения неизбежно случаются, и мы можем лишь горячо надеяться, что Вы поймете...»

Машинка Софи щелкала в тишине мансарды, в то время как Хесс размышлял над

графиками своей выгребной ямы, жужжали непоседливые мухи, а вдали маневрировали товарные вагоны, непрерывно грохоча, словно летний гром.

Лишь только Софи отпечатала письмо (снова по обыкновению с треском поставив восклицательный знак после «Heil Hitler!»), сердце ее еще раз бешено подскочило, ибо Хесс что-то сказал, и, подняв на него взгляд, она увидела, что он смотрит ей прямо в глаза. Хотя треск машинки заглушил его слова, она была почти уверена, что он сказал: «У вас очень хорошенький платочек».

Рука Софи жестом кокетки, завершающей туалет, машинально поднялась к макушке, легким касанием пальцев поправила на голове платок. Этот кусок материи в зеленую клетку, состроченный в тюрьме из дешевого муслина, прикрывал забавные колечки и немыслимые вихры, какими закручивались отраставшие волосы после того, как полгода тому назад ее наголо обрили. К тому же это была редкая привилегия – иметь платок: только тем, кому посчастливилось работать в Haus Höss,[177] разрешено было таким образом скрывать позорно оголенный череп, какой являли глазу в той или иной мере все – как мужчины, так и женщины – в этом герметически запечатанном мире за колючей проволокой, сквозь которую был пропущен электрический ток. Возможность сохранить таким образом пусть каплю достоинства преисполняла Софи подлинной – хотя и не такой уж великой – благодарностью.

– Danke, mein Kommandant.[178] – Она услышала, как сорвался ее голос. Сама мысль о возможности разговора с Хессом – разговора любого рода, возвышавшего ее и изымавшего из категории секретарей-стенографисток, – преисполняла Софи опасениями, доводя чуть ли не до нервной кишечной спазмы. Причем нервозность ее возрастала оттого, что она в самом деле страстно жаждала поговорить с Хессом. В животе у нее забурчало от страха – страха не перед самым комендантом, а перед тем, что могут сдать нервы; страха, что у нее может не хватить умения, дара импровизации, искусности, актерского таланта, наконец, завораживающей убедительности – всех этих качеств, с помощью которых ей так отчаянно хотелось сделать его уязвимым и, быть может, даже заставить выполнить ее скромные требования. – Danke schön![179] – произнесла она нелепо, непростительно громко и тотчас подумала: «Идиотка, тише ты, он же сочтет тебя жуткой дурочкой!» Она поблагодарила его уже тише и, с расчетом похлопав ресницами, скромно опустила глазки. – Это мне Лотта дала, – пояснила она. – Ей фрау Хесс дала два платка, и она поделилась со мной. Он отлично прикрывает голову. – «Да успокойся же, – мысленно одернула она себя. – Не болтай так много, вообще не болтай – пока».

А Хесс взял письмо священнику и стал его просматривать, хотя, по его же признанию, ни слова не знал по-польски. Софи, внимательно смотревшая на коменданта, услышала, как он озадаченно сказал: «...diese unerträgliche Sprache»,

скривил рот, чтобы произнести какие-то упорно не получавшиеся слова этого «немыслимого языка», но быстро отказался от своих попыток и поднялся со стула.

– Хорошо, – сказал он, – надеюсь, мы этим успокоим несчастного маленького патера.



С письмом в руке он направился к двери, распахнул ее и, невидимый для Софи, закричал вниз своему адъютанту, унтер-штурмфюреру Шеффлеру, обычно сидевшему на площадке лестницы, дожидаясь, когда раздастся очередное приказание. Софи вслушивалась в голос Хесса, приглушенный стенами: Шеффлеру было велено немедленно отправить нарочного с письмом в церковь.

До Софи донесся снизу раздавшийся в ответ слабый голос Шеффлера, почтительный, но едва различимый. Он сказал что-то вроде:

– Я сейчас поднимусь к вам за письмом, mein Kommandant!

– Не надо, я сам спущусь и объясню вам! – услышала она нетерпеливый отклик Хесса.

Вышло какое-то недоразумение, и комендант, стараясь его выправить, бурча что-то себе под нос и стуча кожаными, подкованными сапогами для верховой езды, пошел вниз объясняться со своим адъютантом, унтер-штурмфюрером из Ульма,

с хриплым голосом и ничего не выражающим лицом, которого Хесс только начал дрессировать. Голоса их продолжали доноситься снизу невнятными репликами, певучим неясным бормотом. И тут сквозь их слова – а может быть, поверх слов – Софи на миг услышала нечто само по себе несущественное и тотчас исчезнувшее, но впоследствии твердо сохранившееся в ее памяти среди бесчисленных обрывков воспоминаний о том месте и том времени. Как только Софи услышала музыку, она поняла, что играет массивная электрорадиола, царившая в заставленной мягкой мебелью, обтянутой дамаском гостиной четырьмя этажами ниже. На протяжении тех полутора недель, что Софи провела под крышей Хесса, радиолоа играла днем почти непрерывно – во всяком случае, Софи слышала музыку всякий раз, как находилась в радиусе действия динамика, будь то в углу сырого, тесного подвала, где она спала на соломенном матрасе, будь то здесь, наверху, в мансарде, где, как только открывалась дверь, мимо ее ушей к скату потолка начинали плыть звуки музыки.

Софи редко вслушивалась в мелодии, по большей части старалась даже вообще отключиться, ибо, как правило, это были лишь шумные немецкие дворовые песни, тирольские шуточные песенки, йодли, хоры с колокольцами и аккордеонами – все это, пронизанное патокой Trauer[180] и слезливыми излияниями из репертуаров берлинских кафе и мюзикхоллов, вроде таких криков души, как «Nur nicht aus Liebe weinen»[181] в исполнении любимой птички певчей Гитлера Зары Леандер, – эту пластинку с безжалостным и монотонным упорством снова и снова ставила на радиолу владелица замка, крикливая и вульгарная, увешенная драгоценностями жена Хесса Гедвига. Софи так бы хотелось иметь такую радиолу – хотелось до боли в груди; путь ее из подвала в мансарду и обратно непременно лежал через гостиную, и она всякий раз бросала на радиолу алчные взгляды. Комната походила на иллюстрацию к польскому изданию «Лавки древностей», которую когда-то видела Софи: набитая до отказа французским, итальянским, русским и польским антиквариатом всех эпох и стилей, она казалась творением некоего сумасшедшего декоратора, вывалившего на сверкающий паркет (в большой, просторной, но всего лишь одной комнате) столько диванчиков, кресел, столов, письменных столиков, козеток, вольтеровских кресел и оттоманок, что ими можно было бы обставить десяток комнат маленького дворца. Но радиолоа выделялась даже среди этой отвратительной свалки – она была вишневого цвета, отделанная под старину. Софи никогда еще не видела электрорадиолы – она пользовалась патефонами с ручным заводом, – и ее приводило в отчаяние то, что на такой прекрасной машине звучит только Dreck.[182] Приглядевшись, Софи обнаружила на ней марку «Стромберг-Карлсон» и считала, что это шведская фирма, пока Бронек – простодушный с виду, на самом же деле хитрющий узник-поляк, главный разносчик сплетен и информации, выполнявший всякую мелкую работу в доме коменданта, – не сказал ей, что это американская машина, ее забрали то ли в притоне, принадлежавшем какому-то богачу, то ли в каком-то западном

посольстве и перенесли сюда, где она заняла свое место среди тонн трофейного добра, которое с поистине лихорадочной маниакальностью свозили из разграбленных жилищ со всей Европы. Вокруг радиолы высились горы толстых альбомов с целлулоидными карманами, где лежали пластинки, а на самой машине стояла толстая баварская кукла из розового целлулоида и, надув щеки, дула в золотой саксофон. «Евтерпа, – подумала Софи, – сладкоголосая покровительница музыки», – и быстро прошла мимо...

Die Himmel erzählen die Ehre

Gottes,

Und seiner Hände Werk

Zeigt an das Firmament! [183]

Божественный хор, донесшийся до Софи неразборчивое бормотанье Хесса и его адъютанта внизу, преисполнил ее таким изумлением и восторгом, что она, трепеща и словно воздавая дань прекрасной музыке, невольно поднялась со своего стула за машинкой. Что, черт подери, случилось? Какой дурак или псих поставил эту пластинку? Или, может быть, Гедвига Хесс внезапно сошла с ума? Софи не знала, да это было и неважно (потом ей пришло в голову, что это вторая дочь Хесса Эмми, одиннадцатилетняя блондиночка с совершенно круглым, надутым, веснушчатым лицом вознамерилась – от безделья и послеобеденной скуки – послушать что-то новенькое и заморское), – неважно. Торжественная осанна покрыла холодком восторга кожу Софи, словно ее коснулись руки божества, – волны озноба следовали одна за другой; прошла не одна секунда, прежде чем туман и мрак, сквозь которые она, спотыкаясь, брела как сомнамбула, исчезли, будто растопленные лучами жаркого солнца. Софи подошла к окну. В стекле приоткрытой створки она увидела свое отражение: бледное лицо под клетчатым платочком, а ниже – белая с синим полосатая роба узницы; усиленно моргая, чтобы прогнать слезы, она смотрела сквозь собственное расплывшееся изображение и снова увидела волшебного белого коня, который пасся теперь на лугу, за ним – овец, а еще дальше – словно на самом краю света – скобу унылого, серого осеннего леса, превратившегося под влиянием музыки в высокий фриз из поблекшей, но все еще величественной листвы, исполненной вечной грации, невыразимо прекрасной.

– Отче наш... – начала она по-немецки. Захлестнутая, унесенная ввысь торжественным хоралом, она закрыла глаза, а трио архангелов пело, вознося свою таинственную хвалу вечному кружению Земли:

Dem kommenden Tage sagt es der

Tag.

Die Nacht, die verschwand,

der folgenden Nacht. [184]

– Тут музыка остановилась, – продолжала рассказывать мне Софи. – Нет, не

сразу, но скоро. Она прервалась посередине последнего пассажа – может быть, ты его знаешь? – по-английски там, по-моему, такие слова: «И по всем землям прокатилось Слово...» Музыка вдруг сразу остановилась, так что я почувствовала в себе такую полную пустоту. Я не дочитала «Отче наш», то есть молитву, которую начала. Теперь я уже не знаю, но думаю, в тот момент я, наверно, и начала терять веру. Но только я уже больше не знаю, когда Бог ушел от меня. Или я ушла от него. В общем, я почувствовала в себе эту пустоту. Так бывает во сне: находишь что-то ценное, и все кажется совсем реальным – вот нашел что-то или кого-то, то есть, я хочу сказать, невероятно ценное, – а потом проснешься и понимаешь, что ценный для тебя человек исчез. Навсегда! Я столько раз в моей жизни просыпалась с чувством потери! И вот когда та музыка остановилась, было так же, и я вдруг поняла – такое у меня было предчувствие, – что никогда больше не услышу такую музыку. Дверь все стояла открытая, и я слышала, как Хесс и Шеффлер разговаривали внизу. А потом уже на самом низу Эмми – я уверена, что это была Эмми, – поставила на радиолу – догадайся что. Польку «Пивная бочка». Я тогда так разозлилась. Маленькая толстая дрянь с лицом как белая луна из маргарина. Я готова была убить ее. Она включила эту польку «Пивная бочка» так громко – ее, наверно, слышно было и в саду, и в бараках, и в городе. В Варшаве. Пели по-английски – так это было глупо.

Но я понимала: надо держать себя в руках, забыть про музыку, думать про другие вещи. А потом, знаешь, я понимала, что мне нужно использовать каждую крошечку ума, какой у меня есть, каждую крошечку смекалки – по-моему, так говорят, – чтобы добиться от Хесса, чего я хотела. Я знала, он ненавидел поляков, но это было неважно. Я ведь уже сделала эту – comment dit-on: fêlure[185]... да, трещина! – трещину в его маске, и теперь мне надо идти дальше, потому что время было l'essence.[186] Бронек, этот малый на все руки, шепнул нам, женщинам, которые жили в подвале, что он слышал: Хесса скоро переведут в Берлин. Мне надо было действовать быстро, если я хотела... да, именно так: соблазнить Хесса, хотя мне становилось тошно, как про это подумаю: я надеялась, что мне удастся соблазнить его умом, без тела. Надеялась, что мне не придется использовать мое тело, если я смогу ему кое-что доказать. О'кей, Язвинка, – доказать, что Зофья Мария Беганьская-Завистовская, может, – о'кей! – в самом деле eine schmutzige Polin, понимаешь, tierisch – животное, просто раба, Dreck Polack[187] и так далее, но она все же такая крепкая, хорошая национал-социалистка, как и сам Хесс, и потому меня надо освободить из этого жестокого, несправедливого заточения. Voilà![188]

Ну, и наконец Хесс снова стал подниматься по лестнице. Я слышала стук его сапог по ступеням и звуки польки «Пивная бочка». И вот я принимаю такое решение: буду стоять тут и в общем могу показаться ему завлекательной, так – у окна. Понимаешь, сексуально завлекательной. Извини меня, Язвинка, но ты понимаешь, что я хочу сказать: то есть выглядеть так, будто я хочу лечь с ним в

постель. Такой сделать вид, будто я хочу, чтоб он предложил мне с ним лечь. Но, боже, мои глаза! Иисусе Христе, глаза! Я же знала, они у меня красные от слез и слезы у меня еще не высохли, и я испугалась, что это может поломать мой план. Но я сумела заставить себя больше не плакать и вытерла мои глаза тыльной стороной руки. И я снова посмотрела в окно, чтобы видеть красоту этих лесов, как тогда, когда слышала Гайдна. Но ветер, понимаешь, вдруг переменялся, и я увидела над полями и лесами пелену дыма из печей Бжезинки. Тут в комнату вошел Хесс.

Софи повезло. Как ни поразительно, но в ту пору своего пребывания в лагере – а со времени ее поступления туда прошло полгода, – она была не только относительно здорова, но и не знала самых страшных мук голода. Это вовсе не означало, что она ела вдоволь. Вспоминая об этом периоде своей жизни (она не любила подробно рассказывать о нем, так что, слушая ее, я ни разу не почувствовал, что она жила в аду – хотя именно такое впечатление возникает, когда читаешь рассказы очевидцев, – а Софи, безусловно, видела ад, ощущала его, дышала его воздухом), она давала понять, что питалась вполне прилично, но лишь по сравнению с рядовыми узниками, которые ежедневно терпели настоящий голод; ей же все-таки давали какую-то еду. К примеру, в течение десяти дней, пока она жила в подвале у Хесса, она ела кухонные отбросы и объедки с Хессова стола, главным образом остатки овощей и мясные хрящи, но и за это была благодарна судьбе. Она умудрялась существовать, получая лишь немногим больше того, что требуется, чтобы человек не умер с голоду, – и то лишь потому, что ей повезло. Во всех рабских формациях очень скоро возникает иерархия, порядок допуска к кормушке, разные степени влиятельности и привилегированности; Софи благодаря своей счастливой звезде оказалась в числе немногочисленной элиты.

Эта элита, насчитывавшая, пожалуй, лишь несколько сотен человек – а узников в Аушвице в каждый данный момент были тысячи, – состояла из тех, кто путем маневрирования или опять-таки благодаря удаче сумел устроиться и выполнял те функции, которые эсэсовцы считали необходимыми или по крайней мере существенно важными. (А применительно к человеческим существам, заключенным в Аушвице, слово «необходимые» означало – *non sequitur*. [189]) Выполнение таких обязанностей влекло за собой возможность пожить еще какое-то время, и даже довольно долгое – безусловно, по сравнению с великим множеством обитателей лагеря, которые в силу своего переизбытка и взаимозаменяемости служили лишь одной цели: трудились до полного изнеможения, а затем умирали. Как и все искусные профессионалы, элита, к которой принадлежала Софи (а в нее входили прекрасные портные из Франции и Бельгии, которые шили изысканные вещи из модных тканей, отобранных на станционной платформе у обреченных евреев; первоклассные сапожники и кожевники, умеющие работать с тонкими кожами; искусные садовники;

техники и инженеры, обладавшие познаниями в специальных областях, и горстка людей вроде Софи, имевших лингвистический дар и навыки секретарской работы), была избавлена от уничтожения по той весьма прагматической причине, что эти люди обладали почти бесценными способностями, если подобный термин мог иметь какое-то значение в лагере. Таким образом, эту элиту по крайней мере не сбрасывали мгновенно в общий котел, что было уделом почти всех остальных, но это могло случиться при любом жестоком повороте судьбы, грозившем им постоянно и ежедневно.



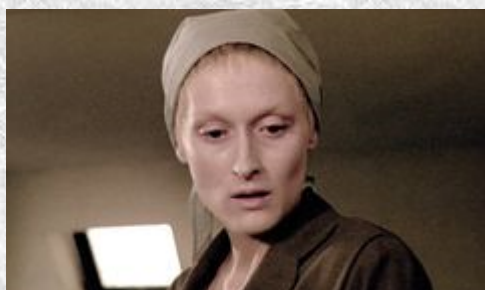
То, что произошло между Софи и Рудольфом Хессом, возможно, станет яснее, если мы попытаемся проанализировать, что представлял собою Аушвиц вообще и как он функционировал, особенно на протяжении полугода после того, как Софи поступила туда в начале апреля 1943 года. Я особо подчеркиваю время, потому что это важно. Многое может быть объяснено той метаморфозой, какую претерпел лагерь в результате приказа (первоисточником которого был, бесспорно, фюрер), полученного Хессом от Гиммлера в первых числах апреля. Приказ был самым поразительным и радикальным со времени зарождения идеи «окончательного решения проблемы» в плодотворных умах нацистских чудотворцев, а именно: предлагалось использовать недавно построенные газовые камеры и крематории Биркенау исключительно для уничтожения евреев. Этот приказ отменял действовавшее ранее правило, допускавшее умерщвление в газовых камерах неевреев (преимущественно поляков, русских и прочих славян), исходя из того же принципа «селекции» по здоровью и возрасту, который

применялся к евреям. Новая директива объяснялась технической необходимостью и потребностями тыла; она возникла не из внезапно зародившегося у немцев желания сохранить жизнь славянам и прочим неевреям «арийцам», а из навязчивой идеи, появившейся у Гитлера и принявшей теперь у Гиммлера, Эйхмана и их собратьев – главарей СС характер мании: довести уничтожение евреев до того, чтобы в Европе не осталось ни одного человека этой национальности. Собственно, новый приказ расчищал дорогу для действий в этом направлении: возможности Биркенау, хоть и были гаргантюанскими, имели, однако, определенные пределы как в смысле емкости камер, так и в смысле температуры, и евреи, поставленные теперь безусловно и бесспорно во главе списков для Massenmord, получили таким образом неожиданный приоритет. За немногими исключениями (одним из которых были цыгане), Биркенау стал целиком и полностью лагерем по истреблению евреев. При одной мысли о том, сколько их тут, «у меня по ночам ныли зубы», писал Хесс, подразумевая под этим, что он до боли стискивал зубы, а он, несмотря на полное отсутствие воображения, иногда все-таки выдавал одну-две примитивные метафоры.

Словом, в тот период Аушвиц выполняет двойную функцию: является местом массовых убийств, а также огромным загонем для рабов. Однако это было рабство нового порядка: контингент рабов непрерывно пополнялся, а старых отправляли в расход. Эта двойная функция Аушвица часто упускается из виду. «Большая часть литературы о лагерях склонна подчеркивать их роль в качестве мест истребления, – говорит Ричард Л. Рубенштейн в своей небольшой, но мастерски написанной книжке «Коварство истории». – К сожалению, лишь немногие из теоретиков, занимающихся вопросами этики, или религиозных мыслителей обратили внимание на тот весьма существенный в политическом отношении факт, что лагеря стали, по сути, новой формой человеческого сообщества». Работа американского профессора-теолога невелика, но это мудрая и дальновидная по своим конечным выводам книга (уже по одному подзаголовку – «Массовые убийства и будущее Америки» – можно судить о дерзкой и леденящей душу попытке автора предсказать ход событий и исторически их сопоставить); мы здесь не в состоянии ни проанализировать ее во всей глубине и сложности, ни перечислить те моральные и религиозные ассоциации, какие она вызывает, но она, несомненно, останется одним из главных пособий по эпохе нацизма, до ужаса точно ее раскрывающих и настоятельно заставляющих задуматься над нашим собственным неопределенным завтра. Новая форма человеческого сообщества, которую создали нацисты и о которой пишет Рубенштейн (развивая тезис Ханны Арсндт), представляет собой «общество тотального подчинения», развившееся непосредственно из института крепостнического рабства, какое существовало в великих странах Запада и было доведено до деспотического апофеоза в Аушвице благодаря новой концепции, по сравнению с которой старорежимное рабство плантаторов – даже в своих

наиболее варварских формах – представляется куда более милосердным; эта свежеиспеченная концепция вытекала из простой, но незыблемой истины: человеческая жизнь ровным счетом ничего не стоит.

Эта теория развеивала все сомнения, которые возникали ранее по поводу расправ. Сколько бы традиционные рабовладельцы Западного мира не терзались порой вопросом о том, что делать с избытком населения, они обязаны были соблюдать христианские нормы, запрещавшие прибегать к чему-либо похожему на «окончательное решение», чтобы избавиться от лишних рабочих рук: нельзя было пристрелить дорогостоящего непроизводительного раба; приходилось терпеть Старого Сэма, когда он становился немощным и слабым, и дать ему возможность спокойно умереть. (Впрочем, так было не всегда. К примеру, есть доказательства того, что в Вест-Индии в середине XVIII века хозяева-европейцы одно время без зазрения совести загоняли рабов в гроб работой. Но в общем и целом сказанное выше соответствует действительности.) С появлением национал-социализма исчезли последние крохи благочестия. Нацисты, указывает Рубенстайн, были первыми рабовладельцами, которые полностью уничтожили остатки гуманного отношения к самой жизни; они были первыми, кто «сумел превратить человеческие существа в инструменты, всецело покорные их воле, даже когда им приказывали лечь в вырытые ими могилы, где их и приканчивали».



Те, кто поступал в Аушвиц, сообразно дифференцированным методам подсчета стоимости их содержания и прочим передовым методам учета затраченных сил и выпущенной продукции, должны были просуществовать лишь определенный период времени: три месяца. Софи осознала это через день или два после своего поступления в лагерь, когда стояла на плацу

вместе с несколькими сотнями других таких же вновь прибывших – в большинстве поляками всех возрастов, походившими в своем старье, с блестящими, только что наголо остриженными головами, на общипанных и растрепанных кур на скотном дворе, – и до ее травмированного сознания дошли слова эсэсовского чиновника, некоего гауптштурмфюрера Фрича, формулировавшего предназначение этого Града Скорби и предлагавшего тем, кто вошел в него, оставить надежды навсегда.

– Я помню его слова совсем точно, – рассказывала мне Софи. – Он сказал: «Вы прибыли в концентрационный лагерь, а не в санаторий, и единственный выход отсюда – в воздух, через трубу». Он сказал: «Все, кому это не нравится, могут покончить с собой на колючей проволоке. Если в группе есть евреи, знайте: вам дано право жить не больше двух недель». Потом он спросил: «Есть тут

монахини? Вам, как и священникам, дано жить месяц. Всем остальным – три месяца».

Таким образом, нацисты с непревзойденным мастерством создали смерть при жизни, более страшную, чем сама смерть, и намеренно более жестокую, так как лишь немногие из обреченных с самого начала – в тот первый день – могли знать, что ожидающая их пытка – кабала, болезни и голод – будет лишь страшным подобием жизни, неудержимо идущей к смерти. Как пишет в заключение Рубенстайн: «Словом, лагеря представляли собой куда более долговременную угрозу для будущего человечества, чем если бы они существовали лишь для массовых убийств. Центр уничтожения может выдавать лишь трупы; общество же тотального подчинения создает мир живых мертвецов...»

Или как сказала Софи:

– Большинство тех, кто попал туда, если бы знали, что их ждет, молились бы, чтоб их убили газом.

Узников, поступавших в Аушвиц, тут же раздевали и обыскивали, так что им редко удавалось сохранить что-либо из своих вещей. Однако происходило это столь беспорядочно и часто небрежно, что бывали случаи, когда вновь прибывшему удавалось оставить какую-нибудь мелкую, ценную для него безделушку или одежду. К примеру, Софи благодаря собственной изобретательности и недосмотру одного из эсэсовских охранников сумела оставить себе весьма поношенную, но еще прочную пару кожаных сапожек, в которых она ходила со времени отъезда из Кракова. В одном из сапожков, в подкладке, был кармашек, и в тот день, когда она стояла в ожидании коменданта у окна его мансарды, в этом кармашке лежала захватанная, грязная, сильно помятая брошюра в двенадцать страниц и четыре тысячи слов, которую еще вполне можно было прочесть; на заглавном листе значилось: «Die polnische Judenfrage: Hat der Nationalsozialismus die Antwort?» Иными словами: «Еврейский вопрос в Польше – дает ли национал-социализм на него ответ?» Это было, пожалуй, самым существенным из того, что утаила от нас Софи (и ее самой странной ложью): раньше она ведь не раз утверждала, что росла в необычайно либеральной и терпеливой атмосфере; таким образом, она не только обманывала меня, как, я уверен, обманывала и Натана, но и до и последней минуты скрывала от меня правду – теперь же ей пришлось все раскрыть, чтобы объяснить ситуацию с комендантом: брошюра эта была написана ее отцом, профессором Збигневом Беганьским, известным профессором юриспруденции Ягеллонского университета в Кракове, доктором права *honoris causa*[190] Карлова, Бухарестского, Гейдельбергского и Лейпцигского университетов.

Нелегко ей рассказывать об этом, призналась она мне, кусая губы и нервно почесывая серую кожу запавшей щеки, – особенно трудно признаваться во лжи, искусно создав идеальную маленькую каменную, изображавшую высоконравственного и добропорядочного отца, прекраснородного социалиста, главу семьи, мучимого предчувствием надвигающегося террора, человека на созданном ею портрете, осененного нимбом высоких добродетелей, бесстрашного свободолюбца, который рисковал жизнью, спасая евреев во время жестоких русских погромов. В ее голосе, когда она мне об этом говорила, слышалось смятение. Так наврать! Она понимала, что теперь ей и в другом не станут верить, после того как совесть вынудила ее признать, что она все это просто выдумала про своего отца. Но ничего тут не изменишь: эта выдумка, эта злополучная ложь, эта сказочка служила хрупким барьером, безнадёжной, осыпающейся линией обороны, которую она воздвигала между теми, кто был ей дорог, вроде меня, и душившим ее чувством вины. Неужели я не прощу ее, сказала она, теперь, когда я знаю правду и знаю, почему она вынуждена была лгать? Я погладил ее по руке и, естественно, сказал, что, конечно, прощаю.

Ведь я же не сумею понять всю ситуацию с Рудольфом Хессом, продолжала она, если не буду знать правды о ее отце. Она не во всем лгала мне раньше, заявила Софи, когда описывала свое идиллическое детство. Их дом в мирном Кракове был во многих отношениях местом необычайно теплым и в период между двумя войнами – покойным. В нем царила атмосфера уютной безмятежности, в значительной мере благодаря матери, пышной даме с высоким бюстом, женщине любящей, чью память Софи всегда будет бережно хранить, хотя бы в знак признательности за любовь к музыке, которой мать наделила свою единственную дочь. Постарайтесь представить себе неспешно текущую жизнь почти любой семьи ученого на Западе в те двадцатые и тридцатые годы – с традиционными чаями, и музыкальными вечерами, и выездами летом на природу, где среди сонных холмов устраивались пикники, и ужины со студентами, и поездки на зимние каникулы в Италию, а в годичный отпуск в Берлин и Зальцбург, – и вы поймете, как жила Софи в ту пору, в какой интеллигентной атмосфере, как ровно, даже весело, текла ее жизнь. Однако над всем этим постоянно висела мрачная туча – подавляющее и удушающее присутствие человека, отравлявшего сами источники, которые питали детство и юность Софи. Этой неизменной, все заслоняющей реальностью был ее отец, человек столь твердо и, однако же, столь хитро и ловко, поистине тиранически правивший своим семейством, и особенно Софи, что, лишь став взрослой, вполне самостоятельной женщиной, она поняла, как несказанно ненавидит его.

Бывают в жизни редкие минуты, когда глубоко запрятанное чувство к другому человеку – подавляемая враждебность или безумная любовь – неожиданно со всей ясностью всплывает на поверхность сознания; иногда это обрушивается как катаклизм, который уже не забыть. Софи сказала, что никогда не забудет тот

миг, когда ее словно опалило страшным огнем и она поняла, что ненавидит отца, – у нее пропал голос, и ей показалось, что она сейчас лишится сознания.

Отец Софи был высокий, крупный мужчина, ходивший обычно в сюртуке и рубашках со стоячим крахмальным воротничком и широким мягким галстуком. Одевание старомодное, но в Польше той поры не выглядевшее нелепым. У него было классическое польское лицо: широкое, с высокими скулами, голубые глаза, довольно пухлые губы, крупный, чуть вздернутый нос, непомерно большие, как у карлика, уши. Он носил бакенбарды, и его красивые светлые волосы были всегда тщательно зачесаны назад. Два серебряных зуба слегка портили впечатление, но только когда он широко раскрывал рот. Коллеги считали его щеголем, хотя в пределах разумного: солидная академическая репутация спасала его от насмешек. Он пользовался уважением, несмотря на крайность взглядов – сверхконсервативных даже с точки зрения остальных преподавателей правого толка. Не только читая лекции по праву, но и занимаясь время от времени юридической практикой, он создал себе имя в области международного права по внедрению патентов – главным образом германских патентов в странах Восточной Европы, – и гонорары, которые он за эту свою побочную деятельность получал, ни в чем не нарушая этики, позволяли ему жить несколько лучше многих его университетских коллег, в атмосфере не кричащей, скромно дозированной элегантности. Он был знатоком мозельских вин и упмановских сигар. Кроме того, профессор был практикующим католиком, далеким, однако, от фанатизма.

То, что Софи рассказывала мне раньше о его молодости и образовании, было, видимо, правдой: юность, проведенная в Вене во времена Франца Иосифа, разожгла в нем огонь приверженности тевтонам и навсегда воспламенила идеей о том, что Европу спасет лишь пангерманизм и дух Рихарда Вагнера.[191] Это была любовь столь же чистая и прочная, как и его ненависть к большевизму. Разве может бедная, отсталая Польша (часто слышала от него Софи), терявшая с размеренностью часового механизма своеобычность под пятой одного угнетателя за другим – особенно под пятой этих варваров-русских, которые сами теперь оказались во власти коммунистического антихриста, – обрести спасение и развивать собственную культуру, если за нее не вступится Германия, сумевшая столь блистательно объединить историческую традицию светносных миров с ультрасовременной техникой двадцатого века, создать пророческий синтез, примеру которого могли бы следовать малые нации? Что может быть лучше для такой разодранной и несобранной страны, как Польша, чем целеустремленный и в то же время эстетически одухотворенный национализм национал-социалистов, для которых опера «Мейстерзингеры» имеет не меньшее и не большее значение, чем широкие современные автостреды?

Профессор не только не был либералом или даже в отдаленной степени

социалистом, как сначала говорила мне Софи, а, наоборот, был одним из основателей отъявленно реакционной политической группы, известной под названием национал-демократическая партия, или сокращенно – эндек, одной из основных заповедей которой был воинствующий антисемитизм. Движение это, фантастически отождествлявшее евреев с международным коммунизмом и наоборот, было особенно влиятельно в университетах, где в начале двадцатых годов начались повальные физические расправы над студентами-евреями. Принадлежа тогда к умеренному крылу этой партии, тридцатилетний профессор Беганьский, молодая восходящая звезда среди преподавателей университета, написал в одном из ведущих варшавских политических журналов статью с осуждением такого поведения; эта статья много лет спустя, когда Софи случайно набрела на нее, вызвала у нее мысль, не написал ли ее профессор в приступе радикально-утопического гуманизма. Софи, конечно, по глупости ошибалась, как ошибалась – а возможно, хитрила (и таким образом еще раз солгала мне), – утверждая, что ее отец ненавидел деспотическое правление маршала Пилсудского, этого бывшего радикала, за то, что он в конце двадцатых годов установил в Польше, по сути дела, тоталитарный режим. Отец Софи действительно ненавидел маршала – как она впоследствии выяснила, отчаянно ненавидел, – но главным образом из-за непоследовательности, какою отличаются диктаторы и с какою Пилсудский издавал указ за указом в защиту евреев. Словом, профессор, так сказать, закусил удила, однако после смерти Пилсудского в 1935 году законы, гарантировавшие права евреев, перестали соблюдаться, и польские евреи снова оказались во власти террора. Снова – во всяком случае, вначале – профессор Беганьский призывал к умеренности. Вступив в возродившуюся фашистскую группу, известную под названием партии национал-радикалов, которая начала играть господствующую роль среди студентов польских университетов, профессор, обладавший теперь уже немалым авторитетом, призывал к сдержанности, снова предупреждая против развязывания драк и избиения евреев, которое началось не только в университетах, но и на улицах. Однако его порицание жестокости объяснялось не столько идеологическими соображениями, сколько своеобразной чувствительностью; внешне заламывая руки, он твердо держался идеи, которая уже давно безраздельно владела всем его существом: он начал систематически выступать за изгнание евреев из всех сфер жизни, начиная со сферы академической.

Профессор без устали писал об этой проблеме – на польском и немецком языках, – рассылая бесчисленное множество статей в солидные политические и юридические журналы Польши, а также в такие центры культуры, как Бонн, Мангейм, Мюнхен и Дрезден. Одной из его главных тем был вопрос о «переизбытке евреев», и он многословно изливал на бумаге свои соображения по поводу «переселения» и «экспатриации». Он был в числе тех, кого правительство посылало на Мадагаскар для выяснения возможности создания там еврейских

поселений. (Он привез оттуда Софи африканскую маску – она помнила, каким загорелым он приехал). Хотя профессор все еще воздерживался от призывов к насилию, однако он начал колебаться и все решительнее и решительнее настаивал на необходимости немедленного практического решения проблемы. Какая-то одержимость вошла в его жизнь. Он стал одним из ведущих деятелей движения за сегрегацию и одним из родоначальников идеи выделить «скамьи гетто» для еврейских студентов. Он весьма проницательно анализировал экономический кризис. Выступал в Варшаве с подстрекательскими речами. В условиях, когда в экономике царит депрессия, какое право имеют чужаки евреи, которым место в гетто, возмущался он, оспаривать у честных поляков рабочие места? К концу 1938 года, дойдя до апогея в своем исступлении, он начал работать над своим *magnum opus*[192] – вышеуказанной брошюрой, где он впервые – очень осторожно, то и дело отступая и проявляя осмотрительность, граничащую с двусмысленностью, – выдвинул идею «тотального выдворения». Она была высказана двусмысленно, в порядке гипотезы – но была высказана. Выдворение. Не жестокость. Но тотальное выдворение. К тому времени – собственно, в течение уже нескольких лет – Софи писала отцу под диктовку и терпеливо и безропотно, как батрачка, выполняла любую секретарскую работу, какая была ему нужна. Трудясь на этой ниве покорно и усердно, как, по сути дела, все благонравные польки, повязанные традицией абсолютного послушания отцу, она дожила до того, что в один из зимних дней 1938 года села печатать и редактировать рукопись: «Еврейский вопрос в Польше – даст ли национал-социализм на него ответ?» В тот момент Софи поняла – или следует, пожалуй, сказать: начала понимать, – к чему клонит ее отец.



По ходу рассказа я без конца приставал к Софи с вопросами, тем не менее мне трудно было составить точное представление о ее детстве и юности, хотя отдельные вещи и выявились предельно ясно. К примеру, ее покорность отцу была абсолютной – столь же абсолютной, как у пигмеев каменного века,

обитавших в тропических лесах, где от беспомощного потомства требовалась полнейшая вассальная преданность. Софи, по ее словам, никогда не подвергала сомнению свою преданность отцу, это было у нее в крови – настолько, что, подрастая, она почти не испытывала желания взбунтоваться. Все это было

связано с польским католицизмом, который она исповедовала и в котором почитание отца считалось само собой разумеющимся и вообще необходимым. Собственно, призналась Софи, ей было даже приятно такое поистине рабское подчинение, все эти «Да, папочка» и «Нет, спасибо, папочка», которые она ежедневно произносила, все эти услуги и знаки внимания, которые она вынуждена была ему оказывать, это традиционное уважение, это непереносимое подобострастие, с каким она – вместе с матерью – относилась к отцу. Вполне возможно, допускала Софи, это был чистый мазохизм. В конце концов, она не могла не признать, что по ее воспоминаниям, даже в самые неприятные минуты отец никогда не был жесток ни с ней, ни с ее матерью; он отличался хоть и грубоватым, но веселым юмором и, несмотря на свое безразличие к окружающим и самомнению, иногда все-таки снисходил до небольших наград. Домашний тиран, чтобы жить счастливо, не может совсем уж не проявлять доброты.

Возможно, эта спорадическая снисходительность отца (благодаря ей Софи в совершенстве овладела французским языком, хотя отец считал его декадентским, а ее мать могла наслаждаться не только музыкой Вагнера, но и такими легкомысленными композиторами, как Форе, Дебюсси и Скарлатти) и побуждала Софи принимать без возмущения то, что ее жизнь после замужества была всецело подчинена ему. Софи знала, что она дочь известного, хотя и придерживающегося весьма спорных взглядов профессора (а многие – правда, далеко не все – коллеги профессора разделяли его крайние этнические взгляды), но в общем лишь смутно представляла себе политические взгляды отца, его одержимость. Эти свои интересы профессор не смешивал с семейными, хотя в ранней юности Софи не могла не видеть его неприязни к евреям. Но в ту пору в Польше отец-антисемит не был исключением. Что же до самой Софи, то она была поглощена своими занятиями, церковью, друзьями и скромными



вечеринками, которые устраивались в те времена, книгами, фильмами (десятками фильмов, главным образом американских), упражнениями с мамой на рояле и даже двумя-тремя невинными флиртами, и ее отношение к евреям, большинство которых жило в краковском гетто и которые лишь мелькали на улицах как тени, было более чем безразличным.

Софи настаивала на этом – я до сих пор верю ей. Они просто не занимали ее мыслей – по крайней мере пока она, прикованная секретарскими обязанностями к отцу, не начала догадываться о глубине и масштабах его бешеного исступления.

Профессор заставил Софи научиться печатать на машинке и стенографировать, когда ей было всего шестнадцать лет. Он уже тогда, очевидно, планировал использовать ее. Возможно, он предвидел, что наступит время, когда ему потребуется ее умение, а то обстоятельство, что она его дочь, будет, несомненно, дополнительным удобством, обеспечив хранение его материалов в тайне. Так или иначе, хотя Софи в течение нескольких лет нередко трудились по выходным дням, печатая на двух языках большую часть его корреспонденции, имевшей отношение к патентам (иногда он пользовался английским диктофоном, который она терпеть не могла, так как голос отца звучал до жути далеко и был каким-то зловеще металлическим), однако до Рождества 1938 года он ни разу не давал ей печатать ни одного из своих многочисленных эссе – этим до тех пор занимались его ассистенты в университете. Таким образом, ей в лицо словно ударил яркий свет взойшедшего солнца, когда отец велел ей сначала застенографировать по системе Габельсбергера, а потом отпечатать на машинке на польском и немецком языках весь текст своего шедевра: «Еврейский вопрос в Польше...» – и так далее, квинтэссенцию своей пропитанной ненавистью философии. Софи помнила, какое лихорадочное волнение время от времени появлялось в его голосе, когда он, жуя сигару, мерил шагами сырой и прокуренный кабинет, а она покорно выводила в своем блокноте скелетообразные знаки, отображая его логически сформулированные, точно, хоть и витиевато, выраженные по-немецки мысли.

Стиль у него был плавный, но своеобразный, прорезаемый искорками иронии. Он мог быть одновременно язвительным и пленительно задушевым. Немецкий язык профессора Беганьского был необычайно богат, что в значительной степени помогло ему получить признание в таком крупном центре пропаганды антисемитизма, как «Вельт-динст» в Эрфурте. Его манера письма зачаровывала. (Как-то раз тем летом в Бруклине я дал Софи томик Г. Л. Менкена,[193] который был тогда – как и сейчас – одним из моих увлечений, и я просто воспроизвожу здесь ее слова, а она тогда сказала, что едкая ирония Менкена напоминает ей стиль ее отца.) Софи старательно писала под диктовку, но он диктовал так быстро, с таким пылом, что, лишь печатая текст для типографии, она стала замечать в этом вареве из исторических аллюзий, и диалектических гипотез, и религиозных императивов, и юридических прецедентов, и антропологических данных зловещее, дымное присутствие одного – многократно повторенного – слова, которое потрясло ее, и озадачило, и напугало в этом во всех прочих отношениях убедительном, дельном тексте, в этой умной полемике, где исподволь излагались пересыпаемые бранью и издевкой пропагандистские

идейки, которые она не раз краем уха слышала за обеденным столом Беганьских. Но это встревожившее ее слово было чем-то новым. Ибо отец несколько раз заставил ее изменить «тотальное выдворение» (vollständige Abschaffung) на «Vernichtung».

Уничтожение. Вот так – просто и недвусмысленно. Тем не менее даже в таком виде – введенное профессором без нажима, утопленное в приятно подперченной мешанине забавной и в то же время злой критики – это слово во всей его силе и значении (а его значение представляло собой самую суть эссе) было столь ужасно, что Софи на протяжении всего этого холодного зимнего уик-энда, когда она трудилась над пылкими разглагольствованиями отца, старалась упрятать это слово в самый отдаленный уголок своего сознания. Она была всецело занята тем, чтобы в точности передать ярость отца, не сместить ни одного акцента, не опустить ни одной буквы. И она не думала о значении «Vernichtung» до той минуты в воскресенье вечером, когда под морозящим дождем побежала с рукописью под мышкой на встречу с отцом и своим мужем Казимежем в кафе на Рыночной площади и ее вдруг пронизал ужас при мысли о том, что сказал и написал ее отец, а она, его соучастница, напечатала.

– Vernichtung, – произнесла она вслух. «Это что же, – по глупости запоздало подумала она, – он, значит, хочет всех их умертвить».

Как дала понять сама Софи, ее образ, наверное, выиграл бы, если б можно было сказать, что осознание ненависти к отцу не только совпало у нее с осознанием, что он хотел бы перебить всех евреев, но и объяснялось этим. И хотя то и другое произошло почти одновременно, Софи сказала мне (и тут я поверил ей, как часто интуитивно верил), что она, видимо, была внутренне подготовлена к непостижимому отвращению, какое вдруг почувствовала к отцу, и что оно вполне могло возникнуть у нее, даже если бы профессор и не упоминал о массовом уничтожении, которого так жаждал. По ее словам, она не могла бы поручиться, что это не так. Мы рассказываем здесь главную правду о Софи, и мне кажется, то обстоятельство, что, подвергаясь на протяжении стольких лет воздействию злобной, уродливой, неблагозвучной, навязчивой идеи, владевшей ее отцом, она выплыла, не утонув, хоть и попала в самый омут, питаемый ядовитым родником его веры, убедительно свидетельствует о том, что это была за натура, а также что у нее достало человеческих качеств почувствовать изумление и ужас, когда она, прижимая к груди омерзительную рукопись, спешила по туманным извилистым сумеречным улочкам Кракова туда, где все должно было открыться.



– В тот вечер отец ждал меня в одном кафе на Рыночной площади. Я помню, было очень холодно и сыро, с неба немного падала крупа, ну, понимаешь, как будто вот сейчас пойдет снег. Мой муж, Казик, сидел за столиком рядом с отцом и тоже ждал. Я совсем опоздала, потому что весь день работала – печатала рукопись – и это взяло у меня много больше времени, чем я думала. Я ужасно боялась, что отец рассердится, что я такая поздняя. Это ведь была, знаешь, такая большая спешка. По-моему, вы это называете «срочная работа», и печатник – тот человек, который печатал брошюру на немецком и польском, – должен был встретиться с отцом в кафе в определенный час и взять рукопись. До его прихода отец еще собирался посидеть за столиком и выправить рукопись. Он будет править немецкий, а Казик проверит польский. Так они собирались, но я очень опоздала, и, когда я пришла туда, печатник уже явился и сидел с моим отцом и Казиком. Отец был очень злой, и я извинилась, но я видела, он очень сердитый, и он быстро схватил у меня рукопись и велел сесть. Я села и почувствовала такую сильную боль в животе – очень я боялась, что он такой сердитый. Странно, Язвинка, как человек помнит некоторые подробности. К примеру, я помню, мой отец пил чай, а Казик пил сливовицу, а печатник – я этого человека уже раньше встречала, его звали Роман Сенкевич, да-да, как знаменитого писателя, – пил водку. Я уверена, я все точно помню, потому что отец пил чай. То есть, понимаешь, я работала весь день и ужасно устала, и мне хотелось только одного – чашечку чаю, как пил отец. Но я никогда в жизни не посмела бы заказать сама – никогда! Помню, я смотрела на его чайник и его чашку, и мне так хотелось такого горячего чая. И если бы я так не опоздала, отец предложил бы мне чай, но сейчас он очень на меня был сердитый и ничего не сказал про чай, так что я просто сидела там и смотрела вниз на мои ногти, а отец и Казик стали читать

рукопись.

Мне казалось, прошло несколько часов. Тот печатник, Сенкевич – он был такой толстый человек с усами и, помню, часто так хмыкал, – я разговаривала с ним про погоду, про разные всякие вещи, но главным образом я просто сидела за этим холодным столом, молчала и помирала от жажды – так мне хотелось чай. Наконец отец поднял глаза от рукописи, глядит прямо на меня и говорит: «Кто такой этот Невилл Чемберлен, который так любит Рихарда Вагнера?» И глядит на меня в упор, а я просто не понимаю, что он хочет, только понимаю, что он страшно недоволен. Недоволен мной. А я не понимаю, и сказала: «О чем ты, папа?» И он снова повторил свой вопрос – на этот раз *avec l'accent*[194] на Невилл, и тут я поняла, что сделала очень плохую ошибку. Потому что, понимаешь, был такой английский писатель Чемберлен,[195] которого отец много упоминал в своем эссе, чтобы подкрепить свою философию; не знаю, слышал ли ты о нем, он написал книжку под названием «Die Grundlagen des...». Ну, в общем, по-английски она, по-моему, называется «Основы девятнадцатого столетия», и в ней столько много любви к Германии, и такое преклонение перед Рихардом Вагнером, и такая злобная ненависть к евреям – он говорит, они испоганили всю европейскую культуру. Отец очень высоко восхищался этим Чемберленом, и я только там поняла: когда он мне диктовал, я машинально печатала везде «Невилл», потому что про Невилла Чемберлена все говорили из-за Мюнхена, а того, который ненавидел евреев, звали Хустон Чемберлен. И теперь я помирала от страха, потому что везде повторила эту ошибку – и в примечаниях, и в библиографии, везде.

Ах, Язвинка, это был такой позор! Потому что мой отец – он был как помешанный на совершенстве, и эта ошибка – он не мог на нее *fermer les yeux*,[196] не мог ее пропустить, он должен был тут же устроить целый спектакль, и я услышала, как он при Казике и Сенкевиче сказал вот так... я это никогда не забуду, столько много было там презрения: «У тебя вместо мозгов – каша в голове, как у твоей матушки. Не знаю, от кого ты унаследовала свое тело, но голову, во всяком случае, ты унаследовала не от меня». И я слышу, Сенкевич хмыкает – скорее, наверное, от смущения, и я поднимаю глаза на Казика, а у него на лице такая улыбочка – только я не удивилась, что он как бы разделял презрение моего отца. Теперь уж я признаюсь тебе, Язвинка, что тогда, много недель назад, я тебе соврала. Я и тогда нисколько не любила Казика – я совсем не любила моего мужа, он был для меня как чужой человек с каменным лицом, совсем-совсем чужой. Сколько же всякой лжи я тебе наговорила, Язвинка! Я просто настоящая *menteuse*...[197]

Отец все говорил и говорил про мои умственные способности или отсутствие их, и я чувствовала, как горит у меня лицо, но я заткнула уши и выключила слух. «Папа, папа, – помню, твердила я про себя, – пожалуйста, одну только чашечку

чаю!» Потом отец перестал на меня нападать и снова принимается читать рукопись. А я сидела и смотрела на свои руки, и вдруг мне стало очень страшно. Было холодно. Это кафе – оно было как преддверие ада. Вокруг меня, я слышала, шептались люди, и все было в таком болезненном ключе глубокого минора, понимаешь, совсем как один из последних квартетов Бетховена, будто у всех горе, а кроме того... кроме того, на улице был такой холодный сырой ветер, и я вдруг поняла: все вокруг меня шепчутся, что будет война. Мне казалось, я чуть ли не слышу где-то вдали, за городом, на горизонте, грохот пушек. Я почувствовала очень сильный страх, и мне захотелось подняться и убежать, но я не могла и продолжала сидеть. Наконец я услышала, как отец спросил Сенкевича, сколько времени займет печатанье брошюры, если срочно, и Сенкевич сказал – послезавтра будет готово. Потом я поняла, что отец говорит с Казиком – надо будет распространить брошюру среди преподавателей университета. Большую часть он намеревался разослать в разные места в Польше, Германии и Австрии, но две-три сотни брошюр на польском языке он хотел раздать преподавателям университета. И я поняла, что он велит Казик – велит, говорю я, потому что Казик, как и я, был у него под башмаком, – велит лично раздать брошюры в университете, как только их напечатают. Только ему, конечно, понадобится помощь. И я услышала, как отец сказал: «Софи поможет тебе распространить их».



И тут я поняла, что почти единственная вещь на свете, которую я не хочу, чтобы меня заставили делать, – это быть и дальше *impliquée*[198] к этой брошюре. И мне так тошно стало при одной мысли, что надо будет ходить по университету со стопкой этих книжонок и раздавать их преподавателям. Но раз отец сказал: «Софи поможет тебе распространить их», я поняла: значит, я буду там вместе с Казиком раздавать эти брошюры, я же всегда делала все, что велел отец, с тех пор как была совсем маленькая, – бегала по его

поручениям, приносила то, что он просил, научилась печатать на машинке и стенографировать, чтобы он мог использовать меня, когда захочет. И такая страшная пустота стала во мне, когда я поняла, что ничего не могу тут поделать, не могу сказать «нет», просто невозможно сказать: «Папа, я не стану помогать и разносить эту штуку». Но тут, понимаешь, Язвинка, я должна сказать тебе правду, которую я до сих пор не могу ухватить или сделать по-настоящему

ясной. Наверно, так бы много лучше выглядело, если бы я сказала, что не хотела помогать распространять это произведение моего отца просто потому, что наконец поняла: он говорит там – «убивайте евреев». Я знала: это плохо, ужасно, и все равно даже тогда я просто не могла поверить, что именно так он написал.

Но, по правде, тут было и еще кое-что. Мне наконец стало ясно, что этот человек, мой отец, этот мужчина, который дал мне плоть и дыхание, ничего не чувствует ко мне – я для него только служанка, вроде крестьянки или рабыни, и сейчас он даже не поблагодарил меня за всю мою работу и хочет, чтобы я... низко кланяться?... – да, низко кланялась по коридорам университета, точно продавщица газет, снова делала то, что он велел, только потому, что он так велел. А ведь я была уже взрослая женщина и хотела играть Баха, и в тот момент я просто подумала: лучше умереть, то есть умереть не оттого, что он заставляет меня делать, а оттого, что я не могла сказать ему «нет». Не могла сказать, знаешь, Язвинка: «Пошел ты, папа, подальше». Тут он вдруг говорит: «Зося», и я подняла на него глаза, а он так чуть-чуть улыбается мне – я увидела, как блестят два вставных зуба, – и улыбка была такая милая, и он говорит: «Зося, не хочешь чашечку чаю?» И я сказала: «Нет, спасибо, папа». Тогда он говорит: «Послушай, Зося, тебе надо выпить чаю, ты такая бледная и, видно, совсем замерзла». Вот если бы у меня были крылья – так мне хотелось оттуда улететь. Я сказала: «Нет, спасибо, папа, я правда не хочу чаю». И чтобы удержать себя в руках, я так закусилась изнутри губу, что кровь брызнула и я почувствовала ее вкус – соленый, как морская вода. А отец повернулся и стал говорить с Казиком. И тут это случилось: острие ненависти вонзилось в меня. Оно пронзило меня мгновенной болью, и у меня закружилась голова – мне показалось, я сейчас грохнусь на пол. Я стала вся такая жаркая, точно была на костре. Я сказала себе: «Я ненавижу его» – и сама удивилась этой ненависти, которая вошла в меня. Просто невероятно – так неожиданно появилась эта ненависть и с такой страшной болью, точно в сердце мне вошел нож мясника.

Польша – душераздирающе, до боли красивая страна, во многих отношениях похожая (такой она предстала мне в то лето, увиденная глазами Софи и благодаря ее воспоминаниям, а потом увиденная и мной самим) на американский Юг – по крайней мерс Юг, каким он был в другие, не столь отдаленные времена, – и вызывающая в памяти его картины. Такую часто возникающую схожесть создают не только очаровательно дикие, печальные места, вроде топкого, но западающего в душу однообразия болот у реки Нарев, так напоминающих и видом своим, и атмосферой мрачную саванну на побережье Каролины, или вроде какого-нибудь грязного проулка в галицийской деревне, погруженного в воскресную тишину, – достаточно капли воображения, и эти ветхие, выбеленные непогодой, плохо сколоченные домишки, стоящие на голых участках глинистой земли, где бродят, что-то поклевывая, тощие куры, окажутся в арканзасской деревушке, одиноко стоящей на скрещении дорог, – эту схожесть создает дух

нации, ее исстрадавшаяся от междоусобиц, скорбная душа, в муках ставшая такою – подобно душе нашего старого Юга – под влиянием превратностей судьбы, лишений и поражений.

Представьте себе, если угодно, страну, где стервятники, жаждущие наживы, орудовали не десяток, а тысячу лет, и вы поймете всего один аспект того, что представляет собою Польша, которую с регулярностью метронома давил сапог французов, шведов, австрийков, пруссаков, русских и даже таких алчных злых духов, как турки. Подобно Югу, разграбленная и истощенная, и, подобно ему, нищая, аграрная, феодальная страна, Польша, как и старый Юг, защищалась от несказанных унижений с помощью одного – своей гордости. Гордости и памяти о минувшей славе. Гордости своими предками и своим родовым именем, а также – о чем не следует забывать – в значительной степени такой фикцией, как аристократия или дворянство. Имена Радзивилл и Равенель произносятся с равно напыщенным, и следовательно, пустопорожним высокомерием. И в Польше, и на американском Юге поражения рождали яростный национализм. Но даже если оставить в стороне это чрезвычайно сильное сходство, действительно подлинное и вытекающее из схожих исторических источников (к ним следует добавить глубоко укоренившуюся гегемонию религии, авторитарной и пуританской по своему духу), есть более поверхностные, однако бросающиеся в глаза совпадения в культурах: страсть к лошадям и воинским званиям, господство мужчины над женщиной (в сочетании с угрюмым тайным развратом), традиционная любовь развлекать общество рассказами, пристрастие к благословенной «огненной воде». А также умение мириться с ролью мишени для издевок.

Наконец, у Польши и американского Юга есть одна мрачная сходная черта, которая – при всей своей поверхностности – настолько сближает обе культуры, что они в этом своем безумии кажутся поистине одинаковыми, и касается это расовой проблемы, которая и в том мире, и в нашем порождает затяжные, длившиеся столетиями, всеохватные, кошмарные вспышки шизофрении. Постоянное присутствие расовой проблемы и в Польше, и на американском Юге привело к возникновению одновременно жестокости и страдания, фанатизма и понимания, враждебности и чувства товарищества, эксплуатации и жертвенности, жгучей ненависти и безнадежной любви. Хотя более мрачные и уродливые из этих противоположных тенденций обычно, так сказать, одерживали верх, однако во имя правды можно привести длинный перечень фактов, когда порядочность и благородство торжествовали над безраздельно царившим злом, причем, как правило, в ситуациях весьма серьезных – так было, например, в Познани или в Язу-Сити.

Поэтому, когда Софи сочинила свою сказку о том, как ее отец рисковал жизнью, укрывая каких-то люблинских евреев, она, безусловно, знала, что не потчует

меня рассказами, которым нельзя верить: поляки и в недалеком и в отдаленном прошлом множество раз рисковали жизнью, спасая евреев от того или иного угнетателя, – это просто неоспоримый факт, и, хотя в ту пору я почти ничего не знал о подобных вещах, я не склонен был сомневаться в словах Софи, которая, сражаясь с демоном своей шизофренической совести, решила выставить фигуру профессора в ложно благостном и даже героическом свете. Но если тысячи поляков давали приют евреям, скрывали их, жертвовали ради них жизнью, то они же порою и преследовали их с неослабной жестокостью, терзаемые своими внутренними раздорами; к этой категории поляков принадлежал и профессор Беганьский, и Софи вернула его для меня в эту среду, чтобы я мог понять то, что произошло в Аушвице...

О последующей судьбе брошюры профессора тоже стоит здесь рассказать. До конца повинувшись отцу, Софи вместе с Казиком распространяла ее в университетских аудиториях и коридорах, но это обернулось полнейшим провалом. Во-первых, преподаватели университета, как и все в Кракове, были слишком поглощены страхом перед близящейся войной, до которой тогда оставалось лишь несколько месяцев, и потому не слишком заинтересовались призывом Беганьского. Перед ними начинал разверзаться ад. Немцы требовали присоединения Гданьска, упирая на необходимость «коридора»; пока Невилл Чемберлен продолжал колебаться, «гунны» уже бряцали оружием на Западе, сотрясая хлипкие ворота Польши. Древние, мощенные брусчаткой улицы Кракова ежедневно наполнял гул еле сдерживаемой паники. До хитроумной ли полемики, затеянной профессором, было в таких обстоятельствах даже самым отъявленным расистам в университете? Воздух слишком был насыщен бедой, чтобы кто-то мог попасться на такой потерявший товарный вид крючок, как расправа над евреями.

В то время вся Польша чувствовала себя на грани расправы. Более того, профессор серьезно просчитался: его высказывания были настолько несозвучны духу времени, что возникало сомнение в его здравомыслии. И дело не только в том, что он выдвинул этот подлый тезис о Vernichtung – а даже у наиболее ограниченных в своем миропонимании преподавателей не хватило бы духу проводить в жизнь такой принцип, в какой бы Свифтовой, едко-издевательской манере он ни был преподнесен, – но в том, что преклонение перед «третьим рейхом» и увлечение профессора пангерманизмом сделало его слепым и глухим к вспыхнувшему в его коллегам нутряному патриотизму. Софи в какой-то момент поняла, что, случись это всего на несколько лет раньше, когда в Польше возродились фашистские настроения, ее отец мог бы обратить кое-кого в свою веру; сейчас же, когда вермахт грозно нацелился на восток, когда тевтоны орали, требуя Гданьск, когда они то и дело провоцировали инциденты на границе, только величайший глупец способен был задать вопрос, может ли национал-социализм дать ответ для решения той или иной проблемы, – на повестке дня

стояло уничтожение Польши! И хотя в разраставшемся хаосе ни сам профессор, ни его брошюра не привлекли к себе внимания, тем не менее ему дважды неожиданно крепко досталось. Двое молодых студентов-выпускников, резервисты польской армии, избили его в университетском вестибюле и даже сломали ему палец, а однажды вечером Софи услышала в столовой звон разбитого стекла: в окно влетел здоровенный булыжник с намалеванной на нем черной паучьей свастикой.

Однако профессор, будучи патриотом, едва ли заслуживал такое отношение, и уж по крайней мере одно можно сказать в его защиту. Он не создавал своей проповеди (и Софи сказала, что она в этом убеждена) с намерением снискать расположение нацистов. Эссе было написано с точки зрения представителя польской культуры, и, кроме того, профессор в собственных глазах был человеком слишком принципиальным, слишком преданным высоким философским истинам, а потому ему и в голову не могло прийти, что он со временем может использовать эту брошюру для своего продвижения, не говоря уже о том, чтобы спасти себе жизнь. (Соображения, связанные с близившимся конфликтом, помешали появлению эссе в какой-либо форме в Германии.) Не был профессор Беганский и настоящим квислингом, коллаборационистом в ныне принятом значении этого слова, хотя, когда его страна была оккупирована в сентябре и Краков, по сути дела совсем не пострадавший, стал местопребыванием всепольского правительства, профессор, вовсе не намереваясь предавать свою родину, попытался предложить свои услуги генерал-губернатору и другу Гитлера Хансу Франку (еврею, *mirabile dictu*, – хотя лишь немногие, включая профессора, знали об этом, – и притом столь же известному юристу, как и он сам), правда лишь в качестве советника и эксперта в области, где у поляков и немцев был общий враг и общий интерес – в *Judenfrage*. [199] Профессором тут, несомненно, руководил даже известный идеализм.

Ненавидя теперь своего отца и почти в такой же степени ненавидя его приспешника – своего мужа, Софи тихонько проскальзывала мимо них, когда они шептались в передней перед тем, как профессору, облаченному в отлично сшитый сюртук, красиво подстриженному, чтобы все могли любоваться его седеющими кудрями, благоухающему *Kölnischwasser*, [200] отправиться просителем в очередной поход. Но только он, должно быть, давно не мыл голову, Софи помнила, что его широкие плечи усыпала перхоть. В его шепоте слышались опасения и надежда. Голос как-то странно свистел. Уж конечно, сегодня – хотя генерал-губернатор и отказался принять его накануне, – уж конечно, сегодня он будет тепло встречен (особенно учитывая его блистательное владение немецким) шефом *Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei*, [201] к которому у него было письмо от их общего друга в Эрфурте (социолога, ведущего нацистского теоретика по еврейскому вопросу) и на которого не могут не

произвести впечатления все эти почетные дипломы (на настоящем пергаменте) из Гейдельберга и Лейпцига, том избранных эссе профессора, изданный в Майнце, – «Die polnische Judenfrage» и так далее и тому подобное. Уж конечно, сегодня...

Увы, хотя профессор подавал прошения, домогался встреч и толкался в приемных, побывав за двенадцать дней в двенадцати учреждениях, все его лихорадочные усилия ни к чему не привели. И то, что ему не уделили ни минуты внимания, то, что ни один бюрократ не выслушал его, было для профессора жестоким ударом. Но профессор прискорбно просчитался и в другом. По своим чувствам и интеллекту он был романтиком, впитавшим в себя германскую культуру другого столетия, эпохи, безвозвратно отошедшей в прошлое и исчезнувшей, и, следовательно, он даже не представлял себе, как нелепо он выглядел бы в своем допотопном костюме в коридорах этой современной державы, стального мамонта в высоких сапогах, первого технократического государства с его *Regulierungen und Gesetzverordnungen*, [202] его электрифицированными картотеками и классификаторами, его безликой системой управления и механическими методами обработки информации, с его дешифрующими устройствами, подслушиванием телефонов, прямой связью с Берлином – и все это работало с молниеносной быстротой, в этой машине не было места для безвестного польского преподавателя права с его кипой бумаг, обильной перхотью, сверкающими клыками, допотопными гетрами и гвоздикой в петлице. Профессор стал одной из первых жертв нацистской военной машины просто потому, что не был «запрограммирован», – почти поэтому. Можно сказать «почти», однако не совсем, ибо другой важной причиной являлось то, что он был *Polack*, полячишка – слово, звучащее по-немецки с такой же издевкой и презрением, как и по-английски. Поляк, да к тому же ученый, с таким взволнованным, широко улыбающимся, жадно молящим лицом едва ли мог быть радушно принят в штаб-квартире гестапо, где все видели в нем прежде всего разносчика инфекции, но профессор явно понятия не имел, как он отстал от жизни.

И хотя он этого не знал, бегая по городу в те первые дни осени, часы отстукивали время, неумолимо приближая его конец. Для безучастного ока нацистского молоха он был еще одним подлежащим уничтожению нулем. Так что, когда в то мокрое серое ноябрьское утро Софи, одиноко молившаяся в церкви святой девы Марии, почувствовала, как она уже говорила, что-то неладное и, вскочив с колен, бросилась к университету, а там обнаружила, что прекрасный средневековый двор оцеплен немецкими солдатами, державшими под прицелом винтовок и автоматов сто восемьдесят преподавателей и профессоров, ее отец и Казик были среди этих несчастных, которые стояли, дрожа от холода, воздев руки к небесам. Но больше она никогда их не видела. В более поздней, видоизмененной (и, я уверен, более правдивой) версии она

сказала мне, что не почувствовала настоящего горя, увидев, что фашисты забрали и ее отца, и мужа – к тому времени она уже слишком отдалилась от них, и это не могло глубоко задеть ее, – но она всем существом ощутила шок другого порядка: леденящий страх и опустошающее чувство утраты. Она перестала ощущать себя человеком, личностью. Ведь если немцы могли так нагло повести себя с десятками и десятками беззащитных, ничего не подозревавших преподавателей, это говорит о том, что в ближайшие годы Польшу ждут бог весть какие ужасы. И уже по одной этой причине, не считая ничего прочего, она бросилась, рыдая, в объятия матери. А вот ее мать была по-настоящему сломлена горем. Мягкая, ни над чем не задумывавшаяся, покорная женщина, она до конца сохранила преданную любовь к мужу, и Софи, разыгрывая ради нее отупелое горе, не могла не страдать оттого, что так страдала мать.

Что же до профессора, которого, словно личинку, засосало в огромный могильник концлагеря Заксенхаузен, зловещий отросток бесчувственного левиафана, средоточие человеческой скорби, созданное за годы до него в концлагере Дахау, все его усилия выбраться оттуда оказались тщетны. Ирония же ситуации состоит в том, что немцы явно по чистой случайности засадили и обрекли на смерть человека, которого со временем могли бы счесть величайшим пророком, эксцентричного славянского философа, который еще до Эйхмана и его сообщников (пожалуй, даже до Адольфа Гитлера, выносившего и задумавшего все это) предвидел «окончательное решение» и имел при себе вещественное тому доказательство. «Ich habe meine Flugschrift, – жалобно писал он матери Софи, сумев каким-то образом переправить письмо, единственную весточку, которую они от него получили. – Моя брошюра при мне. Ich verstehe nicht, warum... я не в состоянии понять, почему я не могу пробиться к местному начальству и доказать...»

Власть мертвой плоти, как и мертвой любви, поразительно сильна, она особенно цепка, когда любовь запечатлена в памяти ребенка: вот отец идет рядом с ней, вот гладит ее спутанные льняные волосы; а вот они едут в двуколке, запряженной пони, летним утром, среди благоухания и птичьего пения в садах под замком Вавель. Софи помнила это, и ее пронзила острая боль, когда пришла весть о его смерти и она мысленным взором увидела, как он падает, падает – до последнего мгновения протестуя, твердя, что они ошиблись, он не тот человек, – под градом пуль у стены Заксенхаузена.

Десятое

Глубоко утопленный в земле подвал с толстыми каменными стенами, где в Доме Хесса ночевала Софи, был одним из немногих мест в лагере, куда не проникал запах паленого человеческого мяса. Этим в известной мере объяснялось то, что Софи при малейшей возможности укрывалась там, хотя у стены, где лежал ее

соломенный тюфяк, было сыро, темно, пахло гнилью и плесенью. Слышно было, как где-то за стенами непрерывно бежит по трубам вода из раковин и туалетов наверху, а по ночам Софи порою просыпалась, разбуженная мелькнувшей как тень крысой. И тем не менее это сумрачное чистилище было куда лучше любого барака – даже того, где она в течение полугода жила с несколькими десятками других относительно привилегированных узниц, работавших в конторах лагеря. Хотя они не подвергались там жестокостям и унижениям, которые были участью остальных рядовых обитателей лагеря, в бараке вечно стоял шум и не было возможности уединиться, поэтому Софи больше всего страдала от почти постоянного недосыпания. А кроме того, она не в состоянии была держать себя в чистоте. Здесь же она делила жилье лишь с горсткой узников. И одним из райских удобств этого подвала было соседство с прачечной. Софи с благодарностью использовала эту возможность – да, собственно, ей это было бы вменено в обязанность, поскольку владелица поместья Гедвига Хесс, как все домохозяйки Вестфалии, маниакально не терпела грязи и следила за тем, чтобы узники, живущие под ее крышей, содержали себя и свою одежду не просто опрятно, а в гигиенической чистоте: им предписывалось пользоваться при стирке сильными стерилизующими средствами, и потому от всех, кто жил в Доме Хесса, исходил запах бактерицида. Была для этого и еще одна причина: фрау Хесс смертельно боялась подцепить в лагере какую-нибудь заразу.

Другим достоинством погреба, которое вскоре обнаружила Софи и очень оценила, было то, что там она спала или могла спать. Именно сна – после нехватки еды и отсутствия уединения – больше всего недоставало узникам в лагере; все алкали его с жадностью, близкой к вожделению, ибо сон был единственным верным средством избежать неизбывной муки и, как ни странно (а может быть, и не так уж странно), обычно приносил с собой приятные сновидения, иначе, заметила мне как-то Софи, люди, находившиеся на грани безумия, просто сошли бы с ума, если бы, стремясь бежать от кошмара своей жизни, попадали в другой кошмар во сне. Таким образом, благодаря тишине и изолированности хессовского подвала Софи впервые за многие месяцы обрела сон и возможность погружаться в грезы.

Подвал был разделен на две более или менее равные части. Человек семь или восемь узников-мужчин жили по другую сторону деревянной перегородки; это были главным образом поляки, которые выполняли разные работы по дому или мыли посуду на кухне, а двое работали садовниками. Мужчины и женщины общались редко – разве что мимоходом. На женской половине, помимо Софи, жили еще три узницы. Две из них – пожилые сестры-еврейки – были портнихами из Льежа. Живые доказательства соображений целесообразности, которыми часто руководствовались в своей деятельности немцы, сестры избегли газовой камеры исключительно благодаря умению быстро и весьма искусно орудовать иглой и ниткой. Они пользовались особой благосклонностью фрау Хесс, которая

вместе со своими тремя дочерьми поставила себе на службу их таланты: целыми днями они шили, укорачивали и переделывали наиболее модное из того, что отбиралось у евреев перед тем, как их отправляли в газовые камеры. Сестры уже много месяцев жили при доме, успокоились и раздобрили: от сидячей работы у них появился жирок, что выглядело странно среди окружающей иссохшей плоти. Находясь под покровительством Гедвиги, они, казалось, совсем перестали опасаться за свое будущее и, такие спокойные, в отличном, на взгляд Софи, настроении строчили вовсю в солнечной комнате второго этажа, предварительно срезав ярлыки с маркой Коэна, Ловенстайна и Адамовича с дорогих мехов и свежевывищенных тканей, которые всего несколько часов тому назад были извлечены из товарных вагонов. Сестры говорили мало и притом с бельгийским акцентом, который казался странным и резал слух Софи.



Четвертой обитательницей подземной темницы была тоже немолодая женщина по имени Лотта, свидетельница Иеговы из Кобленца, страдавшая астмой. Подобно портнихам-еврейкам, она тоже была любимицей фортуны и не погибла от инъекции или какой-то другой медленной пытки, которой ее подвергали в так называемой «больнице», благодаря случаю, сделавшему ее воспитательницей младших детей Хесса. Сухопарая, высокая и плоская, с выступающей челюстью и огромными руками, она походила на жестоких надзирательниц, присланных в Аушвиц из концлагеря Равенсбрюк, – одна из них налетела, как коршун, на Софи, когда та только поступила в лагерь. Но Лотта была приветливая, добрая и вовсе не выглядела грозной. Она держалась с Софи как старшая сестра: давала необходимые советы, как вести себя в доме, и делилась ценными сведениями о коменданте и его семействе. Особенно, сказала она, будь осторожна с экономкой Вильгельминой. Женщина подлая, Вильгельмина, хоть и немка, сама была

узницей, отбывавшей заключение за подлог. Она жила в двух комнатах наверху. «Льсти ей, – посоветовала Лотта Софи, – подлизывайся хорошенько, и никаких неприятностей у тебя не будет. Что же до самого Хесса, то он тоже любит лести, но тут надо действовать тоньше: он не дурак».

Простодушная, глубоко верующая, по сути неграмотная, Лотта, точно грубо обтесанный, крепкий корабль, стойко выдерживала страшные бури, сотрясавшие Аушвиц. Она не пыталась обратить Софи в свою веру, только говорила, что за свои страдания в лагере будет полностью вознаграждена в царстве Иеговы. А все остальные, в том числе и Софи, несомненно, пойдут в ад. Но в этих ее речах не было мстительности, как не было мстительности и в то утро, когда она, остановившись по дороге на работу вместе с Софи на площадке первого этажа, чтобы перевести дух, уловила в воздухе всепроникающий запах погребального костра в Биркенау и прошептала, что и поделом им, этим евреям. Они вполне заслужили эту напасть. В конце-то концов, разве не евреи первыми предали Иегову?

– Все зло от них, die Hebräer,[203] – прохрипела она.

Утром того дня, который я уже начал описывать, десятого дня с начала работы Софи на коменданта у него в мансарде – дня, когда она решила попытаться соблазнить его или если не буквально соблазнить (что можно толковать по-разному), то каким-то образом побудить исполнить ее волю и задуманный план, – она сквозь сон, еще не открыв глаз в мрачном, оплетенном паутиной подвале, услышала, как мучительно хрипит, задыхаясь от астмы, Лотта на своем матрасе у противоположной стены. Софи стряхнула с себя сон и, с трудом разодрав отяжелевшие веки, увидела в трех футах от себя крупное тело, горой возвышавшееся под изъеденным молью шерстяным одеялом. В обычное время Софи толкнула бы Лотту под ребро, как не раз уже делала, но сегодня, хотя наверху, на кухне, уже кто-то шаркал, возвещая, что настало утро и пора им всем быть на ногах, она подумала: «Пусть еще поспит». И словно пловец, ныряющий в благодатную водную глубину, попыталась вновь погрузиться в тот сон, который она видела перед тем, как проснуться.

Вот она маленькой девочкой, лет двенадцать тому назад, лазает со своей кузиной Кристиной по Доломитовым Альпам – болтая по-французски, они ищут эдельвейсы. Вокруг высятся темные, подернутые туманом пики. Видение это, хоть и пронизанное чувством опасности, как часто бывает во сне, щемяще сладостно. Вот на скалах над ними возник, призывно маня, молочно-белый цветок, и Кристина, опередив Софи на крутой дорожке, кричит ей: «Зося, я сейчас его сорву!» Тут Кристина поскользнулась, из-под ног ее посыпались камни: казалось, она сейчас полетит в пропасть, – от страха у Софи нее поплыло перед глазами. Она стала молиться о спасении Кристины, как молилась бы за

себя: «Ангел Божий, ангел-хранитель, приди ей на помощь...» Она бормотала молитву снова и снова. «Ангел, милый, не дай ей упасть!» Внезапно яркое альпийское солнце залило все, и Софи раскрыла глаза. Девочка спокойно и победоносно сидела на мшистом выступе скалы в золотом ореоле света и, сжимая в руке пучок эдельвейсов, смотрела с улыбкой вниз, на Софи. «Зоя, je l'ai trouve!»[204] – крикнула Кристина. И радость, испытанная во сне оттого, что девочка избежала беды, что она спасена, что молитва дошла до бога и произошло чудо, была до боли острой, так что Софи, проснувшись и услышав, как хрипит Лотта, почувствовала, что глаза защищало от соленых слез. Она снова закрыла веки и уронила голову на подушку в тщетной попытке вернуть призрак счастья, но тут Бронек грубо затряс ее за плечо.

– Я принес вас сегодня, дамочки, неплохую жратву, – сказал Бронек.

Следуя немецкой пунктуальности, царившей в доме, Бронек прибыл точно по графику. Он принес еду в побитой медной миске – это были, как обычно, остатки от вчерашнего ужина Хессов. Еда была неизменно холодная (каждый вечер кухарка выставляла миску у двери на кухню – точно для кошек, – а Бронек на заре забирал ее) и обычно состояла из покрытой жиром горки костей с волокнами мяса и хрящей на них, кусочков хлеба (в благоприятные дни слегка смазанных маргарином), остатков овощей, а иной раз огрызков яблока или груши. По сравнению с тем, что ели узники в лагере, еда была роскошная: собственно, с точки зрения количества настоящее пиршество, и поскольку к этому завтраку, случалось, вдруг добавлялись такие лакомства, как консервированные сардины или кусок польской колбасы, можно было предположить, что комендант заботился о том, чтобы его обслуга не голодала. Более того, хотя Софи ела из одной миски с Лоттой – так же ели и сестры-еврейки, сидя лицом друг к другу, точно у корытца на псарне, – каждой из них давали по алюминиевой ложке, что было поистине неслыханной роскошью для узников, находившихся за колючей проволокой.

Софи услышала, как со стоном проснулась Лотта, бормоча похоронным голосом, с рейнским акцентом, какие-то обрывки слов – возможно, утреннее обращение к Иегове. Бронек подсунул им под нос миску.

– Вы только взгляните, – сказал он, – тут целая свиная нога, и на ней столько мяса. И хлеба полно! И отличные остатки капусты. Я как услышал вчера, что к ужину будет Шмаузер, сразу понял, что вам, девочки, неплохая перепадет еда. – Лысый и бледный в проникавшем сюда серебристом свете, сплошь острые локти и колени, как лапки у богомола, подручный ради Лотты то и дело перескакивал с польского на будто специально, для смеху, исковерканный немецкий, одновременно подталкивая Лотту локтем. – Aufwecken, Lotte! – хриплым шепотом взывал он. – Aufwecken, meinc schöne Blume, mein kleiner Engel![205]

Будь Софи расположена посмеяться, эта пантомима между Бронекком и слонихой воспитательницей, явно получавшей удовольствие от его внимания, внесла бы в ее жизнь разрядку своим комизмом.

– Да проснись же, библейский червячок, – не отступался Бронек, и тут Лотта проснулась и села. Ее отекавшее от сна, тяжелое лицо было чудовищно уродливо, однако оно было такое спокойное и безмятежное, как у статуй с острова Пасхи. Ни секунды не медля, она тотчас принялась поглощать пищу.

А Софи не спешила. Она знала, что Лотта, добрая душа, съест лишь то, что ей положено, и выжидала, с наслаждением предвкушая, как станет есть свою порцию. Она почувствовала, как при виде слизкой массы в миске рот ее от удовольствия наполняется слюной, и благословила Шмаузера. Это был обер-группенфюрер СС, что соответствует генерал-лейтенанту вермахта, и начальник Хесса из Вроцлава – слухи о его прибытии ходили по дому уже несколько дней. Значит, Бронек в своих предположениях оказался прав: стоит, твердил он, появиться в доме большой, шишке, и Хесс такое устроит пиршество, что от остатков обожрут даже тараканы.

– Как там на улице, Бронек? – спросила Лотта перед тем, как отправить очередную порцию в рот. Как и Софи, она знала, что у него крестьянский нюх на погоду.

– Прохладно. Западный ветер. Временами проглядывает солнце. Но много низких облаков. Так что они прижимают воздух к земле. И сейчас здорово воняет, но, может, пройдет. Больно много евреев отправляют на тот свет. Софи, миленькая, ешь, пожалуйста. – Последнюю фразу он произнес по-польски и осклабился, обнажив красноватые десны, из которых, точно белые сырые щепки, торчали пеньки трех-чтырех зубов.

Карьера Бронекка в Аушвице по времени совпадала с историей существования лагеря. Так случилось, что он был одним из первых тамошних послушников и вскоре после своего прибытия начал работать в Доме Хесса. Это был крестьянин из окрестностей Мястко, что далеко на севере. Зубы он потерял, очутившись среди тех, на ком проводили опыт по авитаминозу: его, словно крысу или морскую свинку, систематически лишали аскорбиновой кислоты и других существенно важных для человека элементов, пока, как и ожидалось, у него не начали выпадать зубы; вполне возможно, он даже повредился рассудком. Так или иначе, ему сверхъестественно повезло – такое счастье, без всяких оснований, выпадает порой на долю некоторых узников словно гром среди ясного неба. После проведенного над ним опыта его должны были бы по всем правилам пустить в расход – сделать укол в сердце и вышвырнуть на свалку, как шелуху. Но Бронек обладал крестьянской жизнестойкостью и поистине удивительным

запасом бодрости. Если не считать зубов, никаких других симптомов цинги, которые должны были бы появиться: вялости, слабости, потери в весе и так далее, – у него не наблюдалось. Он был по-прежнему вынослив как козел, что сделало его для эсэсовских врачей предметом озадаченного изучения, а затем кружным путем привлекло к нему и внимание Хесса. Коменданту предложили взглянуть на этот феномен, и Бронек во время этой краткой встречи – возможно, своим говором (а он говорил на смешанном, полуграмотном немецком, на каком говорят необразованные поляки в Померании) – заинтересовал Хесса. Он перевел Броника под крышу своего дома, где тот теперь и работал, пользуясь некоторыми мелкими привилегиями, возможностью ходить по лагерю и собирать сплетни, благо он не находился под постоянным наблюдением, как и положено любимцу или фавориту, а такие фавориты есть во всяком рабовладельческом обществе. Он был мастер прихватить, что плохо лежит, и иной раз появлялся с удивительными сюрпризами в виде еды, обычно добытой из таинственных источников. Куда более важным, как выяснила Софи, было то, что, несмотря на свою внешность дурачка, Бронек, имея возможность ежедневно бывать в самом лагере, служил доверенным лицом и информатором одной из наиболее сильных групп польского Сопротивления.

В темном углу у противоположной стены зашевелились портнихи.

– Bonjour, mesdames! [206] – весело обратился к ним Бронек. – Сейчас подам вам завтрак. – И снова повернулся к Софи. – У меня тут есть для тебя немного инжира, – сказал он, – настоящий инжир, представляешь!

– Инжир! Где ты его раздобыл? – спросила Софи. Дрожь восторга прошла по ее телу, когда Бронек вручил ей это неопишемое сокровище – сушеные, завернутые в целлофан ягоды чудесным теплом легли ей в руку, и, поднеся пакетик к лицу, она увидела потеки сока, застывшие на серовато-бурой коже, вдохнула роскошный аромат, еле уловимый, но по-прежнему сладкий, призрачное напоминание о зрелом плоде. Когда-то давно она однажды пробовала свежий инжир в Италии. В желудке у нее весело забурлило. Она уже многие месяцы – нет, годы – и не мечтала о такой роскоши. Инжир! – Бронек, просто не верится! – воскликнула она.

– Оставьте на потом, – сказал он, передавая другой пакетик Лотте, – не ешьте все сразу. Сначала съешьте то, что дали сверху. Помои, конечно, но ничего похожего вы долго не получите. Я такими свиней в Поморье кормил.

Бронек любил поговорить. Софи слушала его болтовню, жадно вгрызаясь в холодную жилистую свиную ножку. Мясо было пережаренное, скверное, со множеством хрящей. Но Софи получала такое наслаждение от кусочков шкурки и жира, которого требовал ее организм, точно во рту у нее была разлита

амброзия. Она могла бы заглотать любое сало. Она мысленно представила себе это пиршество, на котором вчера сновал с тарелками Бронек: роскошный молочный поросенок, печеные яблоки, дымящийся картофель, тушеная капуста с каштанами, варенья, желе и соусы, сладкий крем на десерт, и все это эсэсовцы запивали большими бутылками венгерского вина «Бычья кровь», еда подавалась (когда присутствует столь высокий сановник, как обер-группенфюрер) на роскошном царском серебре, вывезенном с Восточного фронта, из какого-нибудь разграбленного музея. Об этом кстати, вдруг доходит до сознания Софи, Бронек сейчас и рассказывает, гордясь своей причастностью к такому необычайному событию.

– Уж очень они старались быть веселыми, – говорит он, – и какое-то время вроде, правда, веселились. А потом как перешли на войну, так одно ведь горе горькое. К примеру, Шмаузер сказал вчера, что русские вот-вот возьмут назад Киев. И вообще много плохих вестей с русского фронта. Да и в Италии тоже дело дрянь – так сказал Шмаузер. Англичане и американцы здорово там продвигаются, люди мрут как вши. – Бронек поднялся с корточек, чтобы отнести другую миску двум сестрам. – Но настоящая большая новость, дамочки, вы, может, и не поверите, да только это правда... Руди уезжает! Руди переводят назад в Берлин!

Софи при этих словах чуть не подавилась хрящеватым мясом, которое было у нее во рту. Уезжает? Хесс уезжает из лагеря! Быть не может! Она выпрямилась, вцепилась Бронеку в рукав.

– Ты уверен? – спросила она. – Бронек, ты в этом уверен?

– Я рассказываю вам то, что Шмаузер сказал Руди, когда другие офицеры ушли. Сказал, что Руди отлично поработал, а теперь он нужен в Берлине, в центральной конторе. Так что пусть готовится немедленно перебираться туда.

– Что значит – немедленно? – не отступалась Софи. – Сегодня, в будущем месяце – когда?

– Не знаю, – ответил Бронек, – только уж явно скоро. – Голос его зазвучал глуше от дурного предчувствия. – Сам я, прямо скажу, совсем этому не рад. – Он угрюмо помолчал. – Ведь кто знает, кого посадят на его место? Может, и садиста какого. Какого-нибудь убийцу-гориллу! Тогда, может, и Бронека тоже...? – Он закатил глаза и провел указательным пальцем по горлу. – Он ведь тоже мог со мной покончить, мог дать мне газу, как евреям, – они ведь, знаете, тогда так делали, – а он взял меня сюда и обращался со мной как с человеком. Так что не думайте, что я не пожалею, когда Руди уедет.

Но Софи, занятая своими мыслями, уже не слышала Бронека. Весть об отъезде Хесса повергла ее в панику. Она поняла, что надо действовать быстро, не тянуть, если она хочет, чтобы комендант обратил на нее внимание, и тогда с его помощью ей, возможно, удастся осуществить задуманное. Весь последующий час, стирая рядом с Лоттой белье Хессова семейства (а узники, жившие в доме, были избавлены от до смерти изнурительных бесконечных построений, обязательных для всего остального лагеря; по счастью, Софи стирала лишь груды одежды и белья, поступавшие сверху – правда, в ненормальных количествах из-за помешательства фрау Хесс на грязи и микробах), Софи рисовала себе различные скетчи и сценки между нею и комендантом, благодаря которым у них наконец установятся достаточно интимные отношения, чтобы она могла рассказать ему свою историю и искупить свою вину. Но время уже начало



работать против нее. Если она немедленно, быть может даже нахально, не примется за дело, он может уехать, и все ее планы рухнут. Она волновалась до потери сознания и почему-то особенно остро чувствовала голод.

Пакетик с инжиром она запрятала под отпоровшуюся подшивку своей полосатой куртки. Незадолго до восьми, когда уже пора было идти на четвертый этаж, в мансарду, где находился кабинет, Софи почувствовала, что не в силах дольше сдерживаться – так ей захотелось инжира. Она нырнула под лестницу, где было достаточно просторно и где ее не могли увидеть другие узницы. И там лихорадочно разорвала целлофан. Слезы застлали ей глаза, когда нежные комочки инжира (влажно вязкие и божественно сладкие, с

архипелагами зернышек) один за другим заскользили по ее пищеводу; ошалев от счастья, не стыдясь своей алчности и того, что сладкая слюна течет по пальцам и подбородку, она съела весь инжир. Глаза ее все еще застилал туман, и она

задыхалась от наслаждения. Затем, постояв немного, чтобы инжир осел в желудке, а лицо приняло спокойное выражение, она медленно пошла наверх. Подъем длился всего несколько минут, но за это время возникло два памятных обстоятельства, которые жуткой явью вплелись в ее страшную, как галлюцинации, утреннюю, послеполуденную и вечернюю жизнь в Доме Хесса...

На лестничных площадках – как раз над подвалом и под самой мансардой – были окошки, выходившие на запад, и Софи обычно старалась отвести от них взгляд, хотя это и не всегда ей удавалось. Вид, открывавшийся оттуда, был ничем не примечателен: на переднем плане – бурый лысый плац, низкий деревянный барак, проволочная изгородь под электрическим током, окружающая такую неуместную тут кушу изящных тополей, но вдали видна была железнодорожная платформа, где происходили «селекции». И там неизменно стояли, вытянувшись в ряд, железнодорожные вагоны, служившие таким серовато-коричневым задником, на фоне которого разыгрывались смазанные, ошарашивающие картины жестокости, насилия и безумия. Платформа находилась слишком близко, чтобы ее не заметить, и слишком далеко, чтобы отчетливо видеть то, что там происходит. Возможно, рассказывала потом Софи, то, что она сама прибыла на этой цементный quai,[207] и ассоциации, которые он вызывал, побуждали ее избегать смотреть туда, отводить взгляд, не пускать в поле зрения мимолетно промелькнувшую картину, которая с этого наблюдательного поста представляла ей весьма несовершенной, напоминая зернистые тени-призраки в старой немой кинохронике: высоко занесенный приклад; трупы, вытаскиваемые из товарных вагонов; человек, точно кукла из папье-маше, втоптываемый в землю.

Иногда ей казалось, что дело обходилось без жестокости – оставалось лишь страшное впечатление от железного порядка и людских толп, которые, покорно передвигая ноги, исчезали из глаз. Платформа находилась слишком далеко, и звуки сюда не долетали: полоумный грохот оркестра из узников, встречавшего каждый поезд; окрики охранников, лай собак – все это не достигало Дома Хесса, хотя при случае нельзя было не услышать треска револьверного выстрела. Таким образом, драма как бы разыгрывалась в милосердном вакууме, откуда были изъяты горестные стоны, крики ужаса и прочие звуки этого ада. Наверное, этим и объясняется, думала Софи, взбираясь по лестнице, то, что она время от времени уступает неудержимому желанию взглянуть туда, – вот и сейчас она увидела лишь цепочку только что прибывших, еще не разгруженных товарных вагонов. Охранники-эсесовцы, в облачках пара, окружали поезд. Из накладных, накануне полученных Хессом, Софи знала, что это второй из двух составов с 2100 евреями из Греции.

Удовлетворив свое любопытство, она отвернулась от окна и открыла дверь в гостиную, которую ей следовало пересечь, чтобы попасть на лестницу, ведущую наверх. С радиолы фирмы «Стромберг-Карлсон» звучало контральто, наполняя

комнату любовным страданием, и экономка Вильгельмина стояла и слушала, достаточно громко подпевая и роясь в груди шелкового женского белья. Она была одна. Комнату заливал солнечный свет.

На Вильгельмине (как заметила Софи, спеша побыстрее пройти через комнату) был халат с хозяйского плеча и розовые ночные туфли с большими розовыми помпонами; ее крашенные хной волосы были закручены на бигуди. Нарумяненное лицо горело как огонь. Подпевала она на редкость фальшиво. Когда Софи проходила мимо, она повернулась и впилась в нее отнюдь не неприязненным взглядом, что не очень вязалось с невероятно отталкивающим лицом этой женщины. (Сейчас это может показаться навязчивым и, наверно, недостаточно убедительным, но я не могу удержаться, чтобы не повторить манихейского высказывания Софи в то лето и на этом поставить точку: «Если ты когда-нибудь станешь писать об этом, Язвинка, скажи, что Вильгельмина была здесь единственная красивая женщина – нет, она была не по-настоящему красивая, а интересная, с таким жестким лицом, какое бывает у женщин с панели – единственная интересная женщина, которую сидевшее в ней зло сделало абсолютно отталкивающей, – я таких больше не видела. Лучше описать ее я не могу. Это было что-то бесконечно отвратительное. Я как видела ее – у меня кровь застывала в жилах».)

– Guten Morgen,[208] – прошептала Софи, спеша мимо.

Однако резкий оклик Вильгельмины неожиданно заставил ее остановиться:

– Подожди-ка! – Немецкий язык вообще звонкий, а у Вильгельмины к тому же был громкий голос.

Софи повернулась к экономке – как ни странно, хотя они часто виделись, они еще ни разу не разговаривали. Несмотря на свой вполне мирный вид, женщина внушала опасение: Софи почувствовала, как у нее в обоих запястьях забился пульс, во рту мгновенно пересохло. «Nur nicht aus Liebe weinen», – рыдал жалобный плаксивый голос; щелчки царапин на пластинке, усиленные динамиками, эхом отдавались от стен. Искристая галактика пылинок плавала в косом луче раннего солнца то вверх, то вниз по просторной комнате, заставленной шкафами и столиками, золочеными диванчиками, и комодиками, и креслами. «Это даже не музей, – подумала Софи, – это какой-то чудовищный склад». Неожиданно Софи почувствовала в гостиной тяжелый острый запах дезинфектанта – совсем такой же, как от ее робы. Экономка повела себя жутковато и прямолинейно.

– Я хочу тебе кое-что дать, – зазывно произнесла она, улыбаясь и продолжая перебирать стопку белья.

Воздушная гора шелковых трусиков, на вид только что выстиранных, лежала на мраморной доске комода с инкрустацией из разноцветного дерева, украшенного полосками и завитушками из бронзы, – большой и громоздкий, он бросался бы в глаза даже в Версале, откуда, наверное, и был выкраден.

– Бронек принес это вчера вечером прямо от прачек, – продолжала вещать пронзительным голосом экономка. – Фрау Хесс любит раздавать вещи узникам. А я знаю, тебе не давали белья, да и Лотта жаловалась, что казенная юбка натирает ей поясницу.

Софи внутренне охнула. В мозгу ее – это не было внезапным прозрением: она не почувствовала ни боли, ни шока – воробушком промчалась мысль: «Это же все вещи с мертвых евреев».

– Они совсем, совсем чистые. Некоторые из отличного, настоящего шелка – я не видела ничего подобного с начала войны. Какой у тебя размер? Могу поклясться, ты даже и не знаешь. – В глазах экономки вспыхнул мерзкий огонек.

Все разворачивалось слишком быстро – так неожидан был этот благожелательный дар, что Софи не сразу почувствовала неладное, но вскоре до нее дошло, в чем дело, и она по-настоящему встревожилась – встревожилась и оттого, что Вильгельмина, затаясь, поджидала, когда она появится из своего подвала, и ринулась на нее, словно тарантул (а сейчас Софи поняла, что именно так оно и было), и то ее неожиданного предложения, поистине нелепого по своей щедрости.

– Неужели эта материя не натирает тебе зад? – услышала она вопрос Вильгельмины, произнесенный тихо, слегка вибрирующим голосом, что выдало ее еще больше, чем глаза или эта фраза, которая сразу насторожила Софи: «Могу поклясться, ты даже и не знаешь».

– Да... – произнесла Софи, чувствуя себя до крайности не в своей тарелке. – Нет! Не знаю.

– Иди сюда, – пробормотала экономка, указывая Софи на нишу. Это было темное углубление в стене за плейелевским концертным роялем. – Иди сюда, давай померим вот эти. – Софи, не противясь, шагнула в нишу и тотчас почувствовала пальцы Вильгельмины на борту своей куртки. – Ты меня очень заинтересовала. Я слышала, как ты разговаривала с комендантом. Ты прекрасно говоришь по-немецки, как будто это твой родной язык. Комендант говорит, что ты полька, но я, право, не верю. Ха! Слишком ты для польки красивая. – Судорожно выбрасывая слова, Вильгельмина подталкивала Софи к зловеще темному углублению в нише. – Все польки тут такие простые и некрасивые, такие

lumpig,[209] такие на вид паршивые. А вот ты – ты, наверно, шведка, да? Шведских кровей? Ты больше всего похожа на шведку, а я слыхала, на севере Польши у многих шведская кровь. Ну вот, здесь нас никто не увидит, и мы можем померить парочку трусиков. Так что теперь твой милый задок будет снова беленьким и нежным.

До этой минуты Софи, надеясь на чудо, говорила себе, что, вполне возможно, авансы этой женщины безобидны, теперь же, когда Вильгельмина стояла так близко, все признаки снедавшей ее похоти: сначала прерывистое дыхание, потом краска, залившая, словно сыпью, по-скотски красивое лицо наполовину валькирии, наполовину низкопробной проститутки, – уже не оставляли сомнения в ее намерениях. Шелковые трусики – это была неуклюжая приманка. И в приступе странной веселости Софи подумала, что в этом психопатически упорядоченном доме с таким размеренным течением жизни несчастная женщина могла урвать для секса лишь несколько бесценных, незапрограммированных минут – и то мимоходом, стоя в нише за роялем, после завтрака, в промежутке, когда дети только что отбыли в гарнизонную школу, а дневные дела еще не начались. Все остальные часы дня – вплоть до последнего тик-така – были учтены, – так обстояло дело с отчаянными попытками урвать немного любви Сафо под крышей регламентированных СС.

– Schnell, schnell, meine Süsse![210] – шептала – уже с напором – Вильгельмина. – Приподними-ка юбку, милочка... нет, выше!

Чудовище пригнулось к Софи, и она чуть не задохнулась в красной фланели и крашеных хной волосах – красноватом аду, пахнувшем французскими духами. Экономка трудилась как безумная. Она секунду-другую поводила своим жестким, липким языком вокруг уха Софи, быстро поласкала ее груди, крепко сжала ягодички и, откинувшись с похотливым выражением, словно мукой исказившим ее лицо, принялась за более серьезное дело – рухнула на колени, крепко обхватив руками бедра Софи. «Nur nicht am Liebe weinen...»[211]

– Шведская кошечка... прелесть, – бормотала она. – Ах, bitte,[212] выше!

Софи решила несколько мгновений тому назад не сопротивляться и не протестовать – она как бы самозагипнотизировала себя и не чувствовала отвращения, в любом случае понимая, что беспомощна, как мошка с оборванными крылышками, – она покорно позволила экономке раздвинуть ей ноги, уткнуться своей мордой в нее и погрузить свой язык в сушь ее нутра, обезвоженного (тупо, не без удовлетворения подумала Софи) и лишеного животворных сил, как песок пустыни. Она качнулась на пятках и вяло, неспеша подняла руки, понимая, что экономка уже отчаянно орудует в себе – огненная грива ее, закрученная на бигуди, так и подпрыгивала под большим облетевшим

маком.

Внезапно с другого конца огромной комнаты донесся топот, дверь распахнулась, и голос Хесса позвал:

– Вильгельмина! Ты где? Фрау Хесс ждет тебя в спальне.

Комендант, который в это время должен был бы находиться в кабинете наверху, ненадолго нарушил свое расписание, и страх, который его неожиданное появление вызвало внизу, мгновенно передался Софи: она испугалась, что сейчас грохнется на пол вместе с судорожно вцепившейся в нее Вильгельминой... Несколько секунд потрясенная неожиданностью Вильгельмина стояла, застыв, точно парализованная; лицо ее искажал испуг. Затем наступило благословенное облегчение. Хесс снова крикнул, помолчал, тихо ругнулся и поспешно протопал к лестнице, ведущей в мансарду. А экономка, оторвавшись от Софи, рухнула в темноте на пол, точно тряпичная кукла.

Только немного спустя, уже поднимаясь по лестнице наверх, Софи почувствовала реакцию: ноги у нее обмякли как ватные, и она вынуждена была сесть. Силы оставили ее, и не только из-за атаки Вильгельмины – тут не было ничего нового: ее уже чуть не изнасиловала надзирательница несколько месяцев тому назад, вскоре после поступления в лагерь, – и не из-за слов обезумевшей экономки, попытавшейся обезопасить себя после того, как Хесс поднялся наверх. («Не вздумай рассказать коменданту, – прорычала она, а потом, прежде чем ринуться из комнаты, умоляюще повторила в припадке малодушного страха: – Он убьет нас обеих».) На миг Софи показалось, что эта ситуация каким-то образом дает ей возможность держать экономку в руках. Если... если, конечно (от этой второй мысли у нее перехватило дыхание, и она дрожа, опустилась на ступеньки), эта преступница, осужденная за подлог и приобретающая такую власть в доме, не решит отомстить Софи за то, что ей не удалось довести дело до конца, и, не добившись удовлетворения своей похоти, не перейдет от любви к ненависти и не кинется к коменданту с доносом (например, сказав, что Софи приставала к ней), чем разобьет на мелкие кусочки хрупкие надежды Софи на будущее. Зная, как ненавидит Хесс гомосексуалистов, Софи понимала, что ее ждет, если будет сфабрикована подобная версия, и вдруг почувствовала – это чувство было знакомо всем ее товарищам по заключению, работавшим в доме и задыхавшимся от страха в этом преддверии ада, – как смертоносная игла вонзается ей в сердце.

Сжавшись в комок, она пригнулась и зарылась лицом в ладони. Столько мыслей роилось у нее в голове, вызывая невыносимую тревогу. Улучшились ли ее шансы теперь, после истории с Вильгельминой, или же она оказалась в еще большей опасности? Софи не знала. Звук горна – пронзительный, певучий, в си-

бемоль миноре, всякий раз напоминавший Софи о полузабытом, жалобно-печальном, нестройном аккорде из «Тангейзера», – разорвал утреннюю тишину, возвещая восемь часов. До сих пор она никогда не опаздывала в мансарду, а сейчас вот опаздывает, и мысль о том, что она задерживается, а Хесс, который мерит дни миллисекундами, ждет ее, наполнила Софи ужасом. Она поднялась на ноги и пошла дальше наверх, чувствуя, что вся горит и плохо владеет собой. Слишком много всего разом обрушилось на нее. Слишком во многом надо было разобраться, слишком много было неожиданностей и страхов. Если она не возьмет себя в руки, не мобилизует все силы, чтобы сохранить спокойствие, она просто рухнет сегодня, как марионетка, которая, отплясав на веревочках, падает безжизненной грудой, покинутая кукловодом. У Софи заныло внизу живота, и она вспомнила, как елозила по нему головой экономка.

Задохнувшись от подъема, Софи добралась до площадки, находившейся под мансардой коменданта, где из приоткрытого окна снова виден был голый плац на западе, спускающийся к унылой куще тополей, за которой однообразной чередой тянулись бесчисленные товарные вагоны, покрытые пылью Сербии и венгерских степей. Пока она сражалась с Вильгельминой, охранники распахнули двери вагонов, и теперь новые сотни обреченных путешественников из Греции заполняли платформу. Хотя Софи и спешила, она не могла не задержаться и, снедаемая ужасом и болезненным любопытством, с минуту смотрела на этих людей. Тополя и свора эсэсовцев заслоняли большую часть картины. Софи не могла разглядеть лица греческих евреев. Не могла она сказать и как они были одеты – в основном во что-то тускло-серое. Но на платформе вспыхивали и мелькали и другие краски – зеленые, и голубые, и красные, то тут, то там вдруг заклубится и расцветет что-то яркое, средиземноморское, пронзая ее острой тоской по этой стране, которой она никогда не видела, разве что на картинках в книжках да в мечтах, и Софи пришел на память детский стишок, который она выучила еще в монастырской школе: тощая сестра Барбара нараспев читала его на своем забавном французском языке с перекатами славянского акцента:

*Ô gue les îles de la Grèce sont belles!
Ô contempler la mer à l'ombre d'un haut figuier
et écouter tout autour les cris des hirondelles
voltigeant dans l'azur parmi les oliviers!*[213]

Софи казалось, что она уже давно привыкла к запаху – во всяком случае, примирилась с ним. Но в тот день сладковатый, тлетворный запах горящей плоти впервые ударил ей в нос сильным, резким зловонием бойни; это так на нее подействовало, что перед ее глазами все поплыло и толпа на отдаленной платформе – в последний раз показавшаяся ей издалека гурьбой селян, пришедших на деревенский праздник, – исчезла в тумане. С возрастающим ужасом и отвращением Софи невольно прижала кончики пальцев к губам. ...la mer à l'ombre d'un haut figuier...

Тогда одновременно с осознанием того, откуда Бронек добыл инжир, ягодная масса горечью подкатила к ее горлу и выплеснулась, пенясь, на пол ей под ноги. Софи со стоном уткнулась головой в стену. Она долго стояла у окна, тяжело дыша и сдерживая позывы рвоты. Затем, еле передвигая ослабевшие ноги, она бочком обогнула блевотину и упала на четвереньки на плиты пола, раздираемая горем, терзаясь своей отъединенностью и чувством утраты, какого она еще не испытывала.

Я никогда не забуду ее рассказа об этой минуте: она вдруг поняла, что не может вспомнить собственного имени.

– О боже, помоги мне! – громко произнесла она. – Я не знаю, кто я!

Она не сразу поднялась, продолжая стоять на четвереньках и дрожа словно от арктического холода.

Часы-кукушка в спальне лунолицей дочки Эмми, находившейся всего в нескольких шагах от Софи, прокуковали, точно оглашенные, восемь раз. «Отстают по крайней мере на пять минут», – сосредоточенно, не без интереса и странного чувства удовлетворения подумала Софи. И она медленно поднялась во весь рост и пошла наверх по последнему маршу лестницы, в прихожую, где единственным украшением были фотографии Геббельса и Гимmlера, висевшие на стене, и – еще выше, к приоткрытой двери в мансарду с вырезанным по притолоке священным девизом братства: «В моей преданности – моя честь», за которой в своем орлином гнезде, под изображением своего властелина и спасителя, ждал ее Хесс, – ждал в этом холостяцком убежище с побеленными стенами такой незапятнанной чистоты, что Софи, с трудом державшейся на ногах, показалось при свете сияющего осеннего утра, будто сами стены источают слепяще белый, поистине сакраментальный свет.

– Guten Morgen, Herr Kommandant,[214] – сказала она.

Весь тот день Софи никак не могла выбросить из головы ошеломляющую весть, которую принес Бронек, а именно что Хесса переводят назад, в Берлин. Ведь это означало, что ей придется спешно осуществить задуманное, если она вообще собирается это делать. И вот во второй половине дня она решила попробовать, моля бога, чтобы он послал ей самообладание, необходимое хладнокровие для выполнения намеченного. Ведь был же момент – пока она ждала в мансарде возвращения Хесса, чувствуя, как все в ней постепенно успокаивается и буря, вызванная в ее душе коротеньким отрывком из «Сотворения мира» Гайдна, утихает, – когда она заметила любопытные изменения в поведении коменданта. Во-первых, он расслабился; затем неуклюже пытался завести с ней разговор, а потом прикоснулся к ее плечу (или, может быть, она придала этому слишком

большое значение?), когда они смотрели на арабского скакуна, – все это, казалось, говорило о том, что в маске его неприступности наметились трещинки.

Ну а потом он продиктовал ей это письмо к Гиммлеру о ситуации с греческими евреями. До сих пор она печатала лишь бумаги по-польски, имевшие отношение к польским делам, официальной же перепиской с Берлином обычно занимался шарфюрер с деревянной мордой, который сидел этажом ниже и, громко топая, регулярно появлялся наверху, где отстукивал на машинке послания Хесса различным эсэсовским главным проектировщикам и прочим шишкам. Сейчас Софи с несколько запоздалым изумлением вспомнила о письме Гиммлеру. Одно то обстоятельство, что Хесс приобщил ее к такому секретному материалу, разве не указывает... на что? По крайней мере на то, что он по каким-то причинам доверил ей секретную переписку, о чем лишь немногие узники – даже те, кто вроде нее был на привилегированном положении, – могли вообще мечтать, и ее уверенность в том, что ей удастся до конца дня пробить броню коменданта, непрерывно росла. У нее было такое ощущение, что ей, пожалуй, даже не придется воспользоваться брошюрой (как не вышло у отца, так не выйдет и у дочери), которую она в день отъезда из Варшавы засунула себе в сапожок и с тех пор не вынимала.

Хесс не обратил внимания на то, что, как опасалась Софи, могло увести в сторону от задуманного ею разговора, – на ее красные от слез глаза, – когда, с треском распахнув дверь, влетел в комнату. До слуха Софи донесся снизу ритмический грохот польки «Пивная бочка». Хесс держал в руке письмо, видимо врученное его адъютанту на нижнем этаже. Лицо коменданта было красно от гнева, у самого края коротко остриженных волос пульсировала похожая на червячка вена.

– Вот треклятый народ, они же знают, что надо писать по-немецки. Но вечно нарушают правила! Сгори они в аду, эти польские недоумки! – Он протянул Софи письмо. – Что тут сказано?

– «Уважаемый комендант»... – начала Софи. И быстро перевела послание (составленное в характерно льстивой форме) от местного субподрядчика, поставлявшего немцам гравий на работавший в лагере цементный завод: субподрядчик просил коменданта о снисхождении и сообщал, что не в состоянии поставить нужное количество гравия в нужное время из-за того, что земля вокруг его карьера до крайности промокла и это не только привело к нескольким серьезным обвалам, но и замедляет работу машин. Таким образом, если уважаемый комендант (продолжала читать Софи) окажет милость и готов подождать, то график поставок будет по необходимости изменен следующим образом... Тут Хесс, потеряв терпение, прикурил сигарету от окурка, который был у него в руке, хрипло закашлялся и неожиданно резко перебил Софи

сиплым: «Хватит!»

Письмо явно вывело коменданта из себя. Он поджал губы – так обычно рисуют на карикатурах поджатый, искривленный от напряжения рот, – буркнул: «Verwünscht!», [215] затем быстро приказал Софи перевести письмо для хауптштурмфюрера СС Вайцмана, возглавлявшего строительное подразделение лагеря, и припечатать следующее соображение: «Строитель Вайцман, подогрей на огоньке этого волокитчика и заставь его шевелиться».

И тут – как раз когда Хесс произносил последние слова – Софи увидела, как страшная головная боль с невероятной быстротой обрушилась на него, словно удар молнии, нашедший благодаря письму торговца гравием путь в эту крипту или лабиринт и запалившей под черепом токсины мигрени. Лицо коменданта покрылось потом, он беспомощно взмахнул, словно балерина, рукой с побелевшими костяшками, пальцы взлетели к виску, губы вывернулись, обнажив стиснутые в приливе боли зубы. Софи уже наблюдала такое несколько дней тому назад, но тогда приступ был куда слабее; сейчас же на Хесса снова напала мигрень, притом в полную силу. От боли Хесс издал тоненький свист.

– Пилюли, – произнес он, – ради бога, где мои пилюли!

Софи быстро подошла к столу рядом с койкой Хесса, где он обычно держал бутылочку с эрготамином, помогавшим ему в таких случаях. Она налила в стакан воды из графина и протянула коменданту вместе с двумя таблетками эрготамин; он проглотил их и обратил к ней полудикий взгляд, словно пытался глазами выразить всю безмерность своих мук. Затем прижал руку ко лбу, со стоном опустился на койку и, растянувшись на ней, уставился в белый потолок.

– Позвать доктора? – спросила Софи. – Последний раз, я помню, он говорил вам...

– Помолчи, – сказал он. – Мне сейчас от всего больно. – Голос звучал испуганно, плаксиво, точно подвывал ушибленный щенок.

Во время последнего припадка, дней пять или шесть тому назад, Хесс велел ей уйти в подвал, точно не хотел, чтобы кто-либо – пусть даже узница – был свидетелем его страданий. Однако сейчас он повернулся на бок и застыл не шевелясь, только грудь под рубашкой вздымалась и опускалась. Поскольку никаких приказаний от него больше не поступало, Софи вернулась к своей работе: начала печатать на немецкой машинке полный перевод письма субподрядчика, снова безразлично, даже без особого интереса подумав, что сообщение поставщика гравия («Неужели такая малость, – мелькнуло у нее в голове, – могла вызвать у коменданта столь катастрофическую мигрень?»)

означало еще одну серьезную задержку в строительстве нового крематория в Биркенау. Прекращение работ или задержка – иными словами, явная неспособность Хесса удовлетворительно наладить снабжение, разработку проекта и обеспечение рабочей силой строительства этого нового комплекса печей и газовых камер, завершение которого задерживалось уже на два месяца – были главной его болячкой, и сейчас явно этим объяснялись нервозность и волнение, которые замечала у него в последние дни Софи. И если, как она подозревала, это было причиной его головной боли, то не могла ли задержка со строительством крематория быть каким-то образом связана и с его внезапным переводом назад, в Германию? Софи печатала последнюю строчку письма и одновременно раздумывала над этими вопросами, как вдруг голос Хесса, испугав ее, ворвался в ее мысли. А когда она взглянула в его сторону, то поняла, со смесью надежды и страха, что он, должно быть, уже давно смотрит на нее со своей койки. Он поманил ее – она встала и подошла к нему, но, поскольку он не предложил ей сесть, продолжала стоять.

– Мне лучше, – приглушенным голосом произнес он. – Этот эрготамин просто чудо. Не только притупляет боль, но и ликвидирует тошноту.

– Я очень рада, mein Kommandant, – сказала Софи.

Она чувствовала, как у нее дрожат колени, и почему-то не смела посмотреть вниз, ему в лицо. Вместо этого она впилась взглядом в наиболее заметный предмет, находившийся в поле ее зрения, – героический портрет фюрера в сверкающих стальных доспехах, устремившего из-под нависшей пряди волос уверенный и безмятежный взгляд на Валгаллу и в беспроблемное, на ближайшие тысячу лет, будущее. Он казался таким безупречно благостным. Софи вдруг вспомнила про инжир, которым несколько часов тому назад ее вырвало на лестнице, и желудок у нее заныл от голода, а ноги еще больше задрожали и стали подкашиваться. Хесс долго молчал. А она не могла заставить себя взглянуть на него. Он что, молчит, потому что оценивает ее, все взвешивает? «Мы откроем бочку веселого пивка», – вопил внизу хор; тут игла на пластинке с отвратительной эрзац-полькой застряла, и аккордеон зазвучал снова и снова, жирно растягивая ноты.

– Как ты сюда попала? – наконец спросил Хесс.

– Из-за łapanka, – вырвалось у нее, – или – как мы, люди, которые говорят по-немецки, называем это – Zusammenreiben, то есть из-за облавы. Это было в начале прошлой весны. Я ехала на поезде в Варшаву, когда гестапо устроило такую облаву. Они нашли у меня мясо – окорок, а это запрещено иметь...

– Нет-нет, – перебил он ее, – не то, как ты попала в лагерь. А как ты выбралась из

женских барачков. Я хочу сказать, как ты оказалась в стенографическом бюро. Ведь большинство наших машинисток – люди гражданские. Польские граждане. Немногим узникам выпадает счастье вытаскать такой билет – работать стенографисткой. Можешь сесть.

– Да, мне очень повезло, – сказала Софи садясь. Она сама почувствовала, что голос ее звучит уже менее напряженно, и посмотрела на него. Она заметила, что он по-прежнему отчаянно потеет. Он лежал неподвижно, на спине, прикрыв глаза, весь мокрый, в луже солнечного света. Вид у коменданта, купавшегося в собственном поту, был странно беспомощный. Его рубашка защитного цвета насквозь промокла, крошечные капельки пота усеивали лицо. Но так сильно он, видимо, уже не страдал, а прежде всем своим естеством ощущал несказанную муку – даже светлые спиральки волос на животе, круто завивавшиеся вверх, вылезая между пуговками рубашки, были влажные, как и шея, и светлые волосы на запястьях. – Мне действительно очень повезло. Я думаю, так уж распорядилась судьба.

Помолчав, Хесс спросил:

– Что значит – распорядилась судьба?

Она тотчас решила рискнуть, воспользоваться подвернувшимся случаем – пусть даже ее слова покажутся ему до нелепого дерзким намеком. После всех этих месяцев жизни в лагере она понимала, что упустить такую возможность было бы самоубийством – хватит быть оцепенелой косноязычной рабыней, уж лучше показаться самонадеянной, пусть даже он сочтет ее нахалкой. «Так что выкладывай», – подумала она. И она наконец произнесла, стараясь, чтобы голос звучал не напряженно и в то же время достаточно жалобно, как у человека, терпящего несправедливость:

– Судьба свела меня с вами, – и добавила, отлично сознавая всю мелодраматичность своей фразы: – А я знала: только вы все поймете.

Он снова не произнес ни слова. Внизу польку «Пивная бочка» сменил Liederkrantz[216] из тирольских йодлей. Молчание Хесса тревожило Софи, и вдруг она почувствовала, что он с великим подозрением разглядывает ее. Возможно, она совершает страшную ошибку. Ее замутило. От Бронека (да и по собственным наблюдениям) она знала, что Хесс ненавидит поляков. Откуда, черт побери, она взяла, что может стать исключением? В отгороженной закрытыми окнами от тлетворной вонь Биркенау, нагретой солнцем комнате стоял характерный для чердачного помещения запах штукатурки, кирпичной пыли и пропитанного сыростью дерева. Софи впервые по-настоящему заметила этот запах – словно учуяла грибы. В воцарившемся неловком молчании она слышала

жужжание попавших в неволю навозных мух, их удары о потолок, похожие на мягкий звук вытаскиваемой пробки. Грохот товарных вагонов на запасных путях доносился издалека, еле слышно.

– Пойму – что? – наконец сухо спросил Хесс, открывая ей тем не менее еще одну маленькую лазейку, в которую она могла попытаться просунуть крючок.

– Поймете, что произошла ошибка. Что я ни в чем не виновата. То есть я хочу сказать – ни в чем по-настоящему серьезном. И что меня надо немедленно выпустить.

Вот, она это совершила, сказала все быстро и гладко; с пылкой убежденностью, поразившей даже ее самое, она произнесла слова, которые целыми днями без конца повторяла, сомневаясь, достанет ли у нее храбрости вымолвить их. И теперь сердце у нее билось так отчаянно и безумно, что даже стало больно в груди, но в ней ярко разгоралась гордость оттого, как она сумела сладить с голосом. Она черпала уверенность и в своем благозвучном, приятном для слуха венском акценте. Эта маленькая победа над собою побудила ее продолжить:

– Я знаю, вы можете счесть это безрассудством с моей стороны, mein Kommandant. Должна признать, на первый взгляд это кажется немыслимым. Но я думаю, вы согласитесь, что в таком месте, как это – таком большом, где такое множество людей, – могут ведь быть просчеты, даже серьезные ошибки. – Она умолкла, прислушиваясь к биению своего сердца, думая о том, не слышит ли он, как оно трепещет, и однако же сознавая, что голос у нее тем не менее не дрожит. – Mein Kommandant, – продолжала она, слегка подбавив в голос мольбы, – я очень надеюсь, что вы мне поверите, когда я говорю, что нахожусь в лагере по страшной несправедливости. Вы же видите, я полька, и я действительно совершила в Варшаве проступок – везла контрабанду: продукты питания. Но разве вы не понимаете, это же мелкое преступление – я только пыталась подкормить маму: она была очень больна. Умоляю вас, постарайтесь понять – это же сущая ерунда, если учесть мое происхождение, мое воспитание. – Она помедлила, страшно разволновавшись. Не слишком ли она нажимает? Не остановиться ли на этом, чтобы дать ему возможность сделать следующий шаг, или же продолжать? Она мгновенно решила: «Дойди до главного, будь краткой – и продолжай». – Видите ли, mein Kommandant, дело вот в чем. Я сама из Кракова, и все мои родные были страстными сторонниками немцев, многие годы они находились в первых рядах бесчисленных поклонников «третьего рейха», которые восторгались национал-социализмом и принципами фюрера. Мой отец был judenfeindlich до глубины души...

Хесс прервал ее с легким стоном.

– Judenfeindlich, – сонным голосом пробормотал он. – Judenfeindlich. Когда я перестану слышать это слово – «антисемит»? Господи, до чего мне это надоело! – Он хрипло вздохнул. – Евреи. Евреи! Да неужели мне всю жизнь придется возиться с этими евреями!

Взрыв его возмущения заставил Софи отступить: она поняла, что ее тактический маневр дал осечку – она все-таки перебежала сама себе дорогу. Хесс был далеко не глуп, но на редкость лишен воображения и прямолинеен: он почти без отклонений, словно нос муравьеда, устремлялся к цели. Когда секунду назад он спросил: «Как ты сюда попала?» – и затем уточнил: пусть просто скажет как, ничто другое его больше не интересовало, никакие рассуждения о судьбе, несправедливости и вопросах, связанных с Judenfeindlichkeit. От его слов Софи словно пронизало северным ветром, и она изменила курс, подумав: «Сделай, как он говорит, а потом скажи ему всю правду. Говори коротко, но скажи правду. Он ведь и так, если захочет, без труда может все выяснить».

– Хорошо, mein Kommandant, я объясню, как я попала в стенографическое бюро. Из-за ссоры с Vertreterin в женском бараке, когда я в апреле поступила в лагерь. Она была младшей надзирательницей блока. Честно говоря, я ужасно боялась ее, потому что... – Софи запнулась, побаиваясь говорить о делах, связанных с сексом, хотя и понимала, что уже намекнула на это своей интонацией. Но Хесс, который слушал теперь Софи, открыв глаза и впившись в нее взглядом, предугадал то, что она пыталась сказать.

– Это была, несомненно, лесбиянка, – произнес он. Голос у него звучал устало, но тон был едкий и раздраженный. – Из числа этих шлюх, этих подлых свиней из гамбургских трущоб, которых засадили в Равенсбрюк, а потом начальство послало сюда, следуя ошибочной идее, что они наведут среди вас – среди узниц – дисциплину. Какой фарс! – Он помолчал. – Она была лесбиянка, да? И я прав: она приставала к тебе? Ничего удивительного. Ты очень красивая молодая женщина. – Он опять помолчал, а Софи осмысливала его последнюю фразу. (Она что-то значит?) – Я презираю гомосексуалистов, – продолжал он. – При одной мысли о том, как это происходит – точно между животными, – мне становится тошно. Я никак не мог заставить себя даже посмотреть на таких, будь то женщина или мужчина. Но в местах заключения такая практика существует – от этого никуда не уйти.

Софи усиленно заморгала. Перед ней, словно на киноленте, движущейся рывками через допотопный проекционный аппарат, возникли утренние события: она увидела огненные волосы Вильгельмины, стремительно отодвинувшиеся от ее бедер, изголодавшиеся влажные губы, в ужасе застывшие идеальным овалом в восклицании «О», вспыхнувшие страхом глаза; видя отвращение на лице Хесса и вспоминая экономку, Софи чувствовала, что на сейчас либо закричит, либо

расхохочется.

– Отвратительно! – добавил комендант, скривив губы, словно ему в рот попало что-то мерзкое.

– Она не просто приставала ко мне, mein Kommandant. – Софи почувствовала, что краснеет. – Она пыталась меня изнасиловать. – Софи не могла припомнить, чтобы она когда-либо произносила слово «изнасиловать» при мужчине, и румянец у нее разгорелся жарче, потом стал остывать. – Это было так противно. Я не представляла себе, что женщина... – она помедлила, – ...чтобы женщина могла испытывать к другой женщине такое... такое бурное влечение. Но я познала это на себе.

– В условиях лишения свободы люди ведут себя иначе, более странно. Расскажи мне, как это было. – Но прежде чем она начала отвечать, он сунул руку в карман кителя, висевшего на спинке стула, который тоже стоял возле койки, и достал плитку шоколада в фольге. – Любопытная штука – эти головные боли, – по-медицински отвлеченно произнес он. – Сначала у меня появляется страшная тошнота. А потом, как только лекарство начинает действовать, я ужасно хочу есть.

Он развернул фольгу и протянул Софи плитку. Она помедлила, растерявшись от удивления – он ведь впервые делал такой жест, – затем, волнуясь, отломил кусочек и сунула в рот, чувствуя, что, хоть и старалась держаться небрежно, выдала себя поспешностью. Неважно.

Она продолжила рассказ, быстро разматывая нить повествования, наблюдая за тем, как Хесс приканчивает остатки шоколада, и сознавая, что недавняя атака со стороны экономки, которой так доверяет этот человек, позволяет ей достаточно красочно – и даже живо – все описать.

– Да, эта женщина – проститутка и лесбиянка. Я не знаю, из какой она части Германии – по-моему, с севера, потому что она говорит на Plattdeutsch,[217] – но она огромная, и она пыталась изнасиловать меня. Она много дней не спускала с меня глаз. И однажды ночью подошла ко мне в уборной. Сначала она держалась спокойно. Обещала мне и еду, и мыло, и одежду, и деньги – что угодно. – Софи на минуту умолкла, глядя прямо в голубые, с сиреневым отливом глаза Хесса, смотревшего на нее со вниманием, замороженно. – Я была ужасно голодная, но, как и вам, mein Kommandant, мне отвратительны гомосексуалисты, поэтому мне нетрудно было отказать ей, сказать «нет». Я пыталась отпихнуть ее. Тогда Vertreterin рассвирепела и бросилась на меня. Я сначала закричала на нее, потом стала умолять, а она прижала меня к стене и стала щупать, но тут появилась старшая надзирательница блока. Надзирательница положила этому конец, –

продолжала Софи свой рассказ. – Она отослала Vertreterin, а мне велела прийти в ее каморку в конце барака. Эта женщина была неплохая – тоже проститутка, как вы правильно сказали, mein Kommandant, но неплохой человек. В общем, даже добрый для... для людей такого типа. Она слышала, сказала она, как я кричала на Vertreterin, и удивилась, потому что все поступившие в барак – польки, и ее заинтересовало, откуда я так превосходно знаю немецкий. Мы немного поговорили, и я почувствовала, что понравилась ей. По-моему, она не лесбиянка. Родом она из Дортмунда. Ее покорило мое знание немецкого. И она намекнула, что, пожалуй, могла бы мне помочь. Она дала мне чашку кофе и отослала назад. Я потом несколько раз ее видела и чувствовала, что она симпатизирует мне. Дня через два она снова позвала меня к себе в каморку, и там был один из ваших унтеров, mein Kommandant, хауптшарфюрер Гюнтер из администрации лагеря. Он немного порасспрашивал меня о том, что я умею, а когда я сказала, что могу печатать и профессионально стенографирую на польском и немецком, он сказал, что, возможно, сумеет использовать меня в машинописном бюро. Он слышал, что там не хватает квалифицированных работников, знающих языки. Через несколько дней он пришел и сказал, что меня переводят. Вот так я и попала...

Хесс к этому времени покончил с шоколадом и, приподнявшись на локте, собирался закурить сигарету.

– То есть я хочу сказать, – завершила свое повествование Софи, – стала работать стенографисткой в бюро, а десять дней назад мне сказали, что я требуюсь для выполнения специальной работы здесь. И вот...

– И вот ты здесь, – перебил он ее. И вздохнул. – Тебе повезло.

Последующее пронзило ее электрическим током удивления. Он протянул свободную руку и с величайшей деликатностью снял что-то с ее верхней губы – она поняла, что это была крошка от съеденного шоколада; он подержал ее между большим и указательным пальцами, и потрясенная Софи увидела, как он медленно поднес свои будто вымазанные дегтем пальцы к губам и положил светло-коричневую крошку в рот. Софи закрыла глаза, взволнованная этим гротескным и своеобразным причащением, – сердце у нее отчаянно застучало и мысли смешались.

– Что случилось? – услышала она его вопрос. – Ты побелела как полотно.

– Ничего, mein Kommandant, – возразила она. – У меня просто немного закружилась голова. Это пройдет. – Но глаз она не открывала.

– Что я сделал не так? – Возглас прозвучал на крике, до того громко, что Софи, испугавшись, приоткрыла глаза и увидела, что Хесс скатился с койки, резко

выпрямился и, сделав несколько шагов, подошел к окну. Мокрая от пота рубашка прилипла к его спине, и Софи показалось, что он дрожит всем телом. Софи в растерянности глядела на него: она-то считала, что немая сценка с шоколадной крошкой могла быть прелюдией к более интимным отношениям. Но, возможно, так оно и есть, и он жалуется ей сейчас, как если бы знал ее многие годы. Он ударил ладонью по сжатому кулаку. – Представить себе не могу, что им показалось не так. Эти люди в Берлине – они просто невозможны. Они требуют сверхчеловеческого от обычного человека, который на протяжении трех лет лишь старался делать все как лучше. Они не принимают в расчет ничего! Они понятия не имеют, что приходится мириться с существованием подрядчиков, которые не выдерживают графика, лентяев посредников, поставщиков, запаздывающих или вовсе срывающих поставки. Они никогда не имели дела с этими идиотами поляками! Я же преданно служил – и вот она, благодарность. Делают вид, будто это повышение! Меня повышают, отсылая пинком в Ораниенбург, а сюда – и я вынужден терпеливо это наблюдать, – сюда, на мое место, сажают Либехеншеля – Либехеншеля, этого невероятного эгоцентрика с раздутой репутацией толкового администратора. От всего этого тошнит. Ни у кого не осталось ни капли благодарности. – Странно: голос Хесса звучал скорее обиженно, чем по-настоящему гневно или возмущенно.

Софи поднялась со стула и подошла к нему. Она почувствовала, что чуть-чуть приоткрылась еще одна щелочка.

– Извините меня, mein Kommandant, – сказала она, – и простите, если я ошибаюсь. Но ведь вполне возможно, что таким образом вам воздают должное. Возможно, там, наверху, отлично понимают ваши трудности, то, как вам тяжело и как вы устали от вашей работы. Извините меня еще раз, но за эти несколько дней, что я нахожусь у вас, я не могла не заметить, в каком напряжении вы постоянно находитесь, какое поразительно тяжелое бремя... – Как же она старалась пораболепнее выразить свое сочувствие. Голос ее замер, но она продолжала упорно смотреть в его затылок. – Право же, это вполне может быть наградой за все ваши... за всю вашу преданность.

Она умолкла и вслед за Хессом устремила взгляд на поле внизу. Капризно-изменчивый ветер отнес в сторону дым из Биркснау – во всяком случае, на время, – и большой великолепный белый жеребец, озаренный ясным солнечным светом, скакал вдоль ограды загона, встряхивая хвостом и гривой и взвихряя пыль. Даже сквозь закрытые окна до них доносились глухие удары его копыт. Комендант со свистом втянул в себя воздух и полез в карман за новой сигаретой.

– Хотелось бы мне, чтобы ты была права, – сказал он, – но сомневаюсь. Если бы они хоть понимали размах, сложность работы! Такое впечатление, что они понятия не имеют о том, к какому невероятному множеству людей применяют

Особую акцию. Их ведь бесконечно много! Это евреи – они поступают и поступают из всех стран Европы, несчетными тысячами, миллионами, точно сельди, заполняющие весной Мекленбургский залив. Я никогда не представлял себе, что в мире столько этого erwähltes Volk.

«Избранный народ». Этот термин давал ей возможность продвинуться чуть дальше, расширить щель, а теперь Софи была уверена, что сумела хоть и непрочной, но все же накинуть крючок.

– Das erwählte Volk... – она повторила слова коменданта с оттенком презрения в голосе. – Избранный народ, если позволите, mein Kommandant, пожалуй, только сейчас наконец расплачивается по справедливости за ту наглость, с какой он выделил себя из всей человеческой расы в качестве единственного народа, достойного вечного спасения. Честно говоря, я не вижу, как евреи могли надеяться, что им удастся избежать возмездия – ведь они столько лет богохульствовали на глазах у всего христианского мира. – (Внезапно перед ее глазами возник образ отца – чудовищный.) В волнении она помедлила, затем продолжала накручивать ложь, несясь вперед, словно щепка на поверхности бурлящего потока измышлений и обмана. – Я перестала быть христианкой. Подобно вам, mein Kommandant, я отвернулась от этой жалкой религии, с ее оговорами и недомолвками. Однако нетрудно понять, почему евреи вызвали такую ненависть у христиан и у людей вроде вас – Gottgäubiger, как вы сами сказали мне только сегодня утром, – людей правильных, с идеалами, жаждущих лишь создать новый порядок в новом мире. Евреи ставят этот порядок под угрозу, и только сейчас они наконец страдают за это. И поделом, говорю я.

– Ты изложила это с большим чувством, – ровным тоном произнес он, продолжая стоять к ней спиной. – Хоть ты и женщина, но говоришь так, точно в какой-то мере знаешь о преступлениях, на которые способны евреи. Мне это любопытно. Так мало женщин информированы или разбираются в чем бы то ни было.

– Да, но я разбираюсь, mein Kommandant! – сказала она и увидела, как он слегка, точно на шарнирах, развернул плечи и посмотрел на нее – впервые – с подлинным вниманием и участием. – Я познала это сама, на собственном опыте...

– Каким образом?

Тогда она порывисто нагнулась – она понимала, что это риск, ставка на удачу, – и, покопавшись, вытащила из кармашка в сапожке потрепанную, выцветшую брошюру.

– Вот! – сказала она, взмахнув перед ним брошюрой и разглаживая титульный лист. – Я сохранила это вопреки правилам – я сознаю: я искушала судьбу. Но я хочу, чтобы вы знали: на этих нескольких страницах – все, во что я верю. Я знаю теперь, поработав с вами, что «окончательное решение» держится в тайне. Но это один из первых польских документов, в котором предлагается «окончательно решить» еврейский вопрос. Я помогала отцу – я говорила вам о нем раньше – писать эту брошюру. Естественно, я не рассчитываю, что вы станете ее всю читать: у вас сейчас столько новых забот и хлопот. Но я горячо прошу вас по крайней мере принять ее во внимание... Я понимаю, мои проблемы вас не касаются... но если бы вы только просмотрели эту брошюру... быть может, вы увидели бы всю несправедливость того, что я здесь нахожусь... Я могла бы рассказать вам и о том, как я работала в Варшаве на благо рейха: я же сообщила, где прячутся евреи, еврейские интеллигенты, которых вы давно разыскивали...

Язык у нее начал заплетаться, речь стала менее связной: она поняла, что надо остановиться, и остановилась. Она боялась, что не удержит себя в руках. Вспотев под лагерной робой от смеси надежды и волнения, она понимала, что наконец проникла в его сознание, стала для него реальностью из плоти и крови. Хотя не очень умело и ненадолго, но она установила с ним контакт – это было ясно по сосредоточенному, пронизывающему взгляду, каким он посмотрел на нее, беря из ее рук брошюру. Застеснявшись, она кокетливо отвела взгляд. И по какой-то глупой ассоциации ей вспомнилась поговорка галицийских крестьян: «Я влезаю ему в ухо».

– Значит, ты утверждаешь, что невиновна, – сказал он. Голос его звучал с легким оттенком дружелюбия, и это приободрило ее.

– Mein Kommandant, я повторяю, – быстро произнесла она, – я полностью признаю, что виновата в том мелком преступлении, из-за которого я попала сюда, в этой истории с окороком. Я только прошу, чтобы, рассматривая мой поступок, вы приняли во внимание, что я не только полька, симпатизирующая национал-социализму, но что я активно и убежденно выступала за священную войну против евреев и еврейства. Это легко проверить по брошюре, которую вы держите в руке, mein Kommandant, она подтверждает мои слова. Я умоляю вас – ведь в вашей власти проявить милосердие и даровать свободу, – пересмотрите вопрос о моем заключении с учетом моего прошлого и дайте мне возможность вернуться к моей прежней жизни в Варшаве. Я прошу вас о такой малости – вы же хороший, справедливый человек, и у вас есть власть помиловать.

Лотта говорила Софи, что Хесс падок на лесть, но сейчас Софи подумала, не пережала ли она, особенно заметив, как сузились его глаза, и услышав его слова:

– Любопытно, откуда у тебя такая одержимость. Такая ярость. Что все-таки

побуждает тебя ненавидеть евреев с такой... с такой силой?

Эту историю она тоже припасала для такой вот минуты, исходя из предложения, что если прагматический ум Хесса способен абстрактно оценить яд ее антисемитизма, то более примитивная сторона этого ума получит удовольствие от мелодрамы.

– В этом документе, mein Kommandant, изложены философские обоснования моего отношения – те, что развились у меня под влиянием отца в Краковском университете. Я хочу подчеркнуть, что мы не стали бы скрывать нашей нелюбви к евреям даже и в том случае, если бы наша семья не пострадала от них.

Хесс с бесстрастным видом курил и ждал продолжения.

– Хорошо известно, до чего распутны евреи – это одна из их наиболее мерзких черт. Мой отец – еще до того, как у нас случилась эта неприятная история, – так вот, мой отец именно по этой причине был большим поклонником Юлиуса Штрейхера:[218] он восхищался тем, как поучительно герр Штрейхер высмеивал эту еврейскую похотливость. И наша семья получила жестокое подтверждение проницательности герра Штрейхера. – Софи умолкла и, словно под гнетом тяжелых воспоминаний, уставилась в пол. – У меня была младшая сестра – она ходила в монастырскую школу в Кракове, на один класс младше меня. Однажды вечером, зимой, лет десять тому назад, она проходила мимо гетто и на нее напал еврей – как выяснилось, это был мясник; он затащил ее в проулок и там несколько раз изнасиловал. Физически сестра осталась жива, но морально она была уничтожена. Два года спустя она совершила самоубийство – трагически утонула, а ведь была совсем ребенком. Эта страшная история, несомненно, лишний раз подтверждает, насколько глубоко Юлиус Штрейхер понимал чудовищную жестокость, на какую способны евреи.

– Kompletter Unsinn! – Хесс словно выплевывал слова. – С моей точки зрения, это сущий вздор! Чушь!

У Софи было такое ощущение, будто она шла по спокойной лесной дороге и вдруг почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног и она проваливается в темную дыру. Что она сказала не так? У нее невольно вырвался легкий всхлип.

– Я ведь только хотела сказать... – начала она.

– Вздор! – повторил Хесс. – Теории Штрейхера – чистейшая чушь. Терпеть не могу его порнографические бредни. Нет человека, который оказал бы более дурную услугу партии и рейху, а также мировому общественному мнению своими рассуждениями насчет евреев и их сексуальной одержимости. Ничего он в этом не понимает. Да любой, кто знает евреев, подтвердит, что, во всяком

случае, по части секса они вялы, сдержанны и вовсе не агрессивны, а, наоборот, даже патологически подавлены. Случай с твоей сестрой – несомненное исключение из правил.

– Но это же было! – солгала она, в ужасе от этой непредвиденной загвоздки. – Клянусь.

– Я не сомневаюсь, что это имело место, – перебил он ее, – но то был выродок, исключение из правил. Евреи творят зло самого разного рода, но они не насильники. То, что Штрейхер печатал все эти годы в своей газетенке, только выставляло его в глупейшем свете. А вот если бы он последовательно говорил правду, изображая евреев такими, каковы они на самом деле: как они стремятся прибрать к рукам и монополизировать экономику всего мира, как они отравляют мораль и культуру, как пытаются с помощью большевизма и другими средствами сбросить цивилизованные правительства, – вот тогда он выполнял бы нужную функцию. Но, изображая жида таким дьяволом-дебоширом с огромным орудием производства – Хесс употребил жаргонное словцо «Schwanz», так что Софи вздрогнула от неожиданности, тем более что при этом он развел руки, показывая метровую длину этого орудия, – он тем самым лишь бездоказательно превозносил еврейскую мужскую силу. По моим же наблюдениям, большинство евреев ведут себя как презренные кастраты. Точно бесполое. Какие-то расслабленные. Weichlich.[219] И оттого еще более омерзительные.

По недомыслию Софи явно совершила тактическую ошибку, сославшись на Штрейхера (она знала, что ничего не понимает в национал-социализме, но откуда было ей догадаться, что между членами партии разных рангов и категорий существует такая глубокая зависть, и обиды, и ссоры, и внутренняя борьба, и разногласия?), однако сейчас это, казалось, уже не имело значения: окутанный лавандовым дымом сороковой за этот день сигареты «Ибар», Хесс легонько щелкнул по брошюре кончиками пальцев и сказал такое, от чего у Софи на месте сердца возник раскаленный свинцовый шар.

– Этот документ ровно ничего для меня не значит. Даже если бы ты могла убедительно доказать, что принимала участие в его написании, все равно это ни о чем не говорит. Разве лишь о том, что ты презираешь евреев. На меня это не производит впечатления, тем более, что, мне кажется, многие испытывают такие чувства. – Глаза у него стали как льдинки, взгляд устремился куда-то вдаль, на железнодорожный тупик за ее кудрявой, повязанной платком головой. – А кроме того, ты, видимо, забываешь, что ты полька и, следовательно, враг рейха, и ты была бы нашим врагом, даже если бы не совершила уголовного преступления. Собственно, среди нашего высшего руководства есть люди – к их числу принадлежит и рейхсфюрер, – которые ставят тебя и тебе подобных, да и всю

вашу нацию, на одну доску с евреями – Menschentiere,[220] такие же никчемные, такие же нечистые с расовой точки зрения, в такой же мере заслуживающие праведную ненависть. Поляков, живущих в Германии, стали помечать буквой «П» – это зловещий для вас знак. – Он помолчал. – Сам я не полностью разделяю эту точку зрения, однако, честно говоря, общение с некоторыми твоими соотечественниками вызвало у меня великую горечь и досаду, и потому мне часто думалось: есть основания для такого безграничного презрения. Особенно по отношению к мужчинам. Есть в них какая-то врожденная неотесанность. А большинство женщин – настоящие уродины.

Софи разрыдалась, хотя и не от его слов. Она не собиралась плакать – это меньше всего входило в ее планы: к чему выказывать такую противную слабость, – но просто не смогла удержаться. Слезы покатались из глаз, и она уткнулась лицом в ладони. Все – все! – провалилось: хрупкий крючок сорвался, и у нее было такое чувство, точно она летит вниз с горы. Она нисколько не продвинулась, никуда не проникла. Теперь ей конец. Безудержно рыдая, она стояла, чувствуя, как слезы сочатся сквозь пальцы, – роковой час уже недалек. Она смотрела в темноту своих сомкнутых мокрых ладоней и слышала пронзительные голоса тирольских миннезингеров, доносившиеся снизу, из гостиной, – точно на заднем дворе кудахтали куры на фоне нудно грохочущих синкопами труб, тромбонов, гармоник.

Und der Adam hat Liebe erfunden,
Und der Noah den Wein, ja![221]

Тут дверь в мансарду, почти никогда не закрывавшаяся, медленно, постепенно, словно нехотя, со скрипом захлопнулась. Софи поняла, что закрыть дверь мог только Хесс; к тому же до ее сознания дошел стук его сапог, подсказавший, что он снова подходит к ней, и, еще не успев отнять руки от лица, она почувствовала, как его пальцы крепко стиснули ей плечо. Она сумела справиться с рыданиями. Закрытая дверь приглушила вопли тирольских певцов.

Und der David hat Zither erschall...[222]

– Ты бессовестно кокетничаешь со мной, – услышала Софи его нетвердый голос.

Она открыла глаза. И увидела его безумный взгляд – он так вращал глазами, явно не владея собой, по крайней мере в тот краткий миг, что Софи стало страшно, тем более что ей показалось, будто он сейчас занесет кулак и ударит ее. Но он огромным усилием воли сумел овладеть собой, взгляд его стал почти нормальным, а когда он заговорил, то речь отличалась обычной солдатской твердостью. Правда, дышал он часто, хотя и глубоко, а дрожащие губы выдавали внутреннее напряжение, которое Софи с еще большим страхом могла истолковать лишь как гнев, нараставший против нее. Гнев за то, в частности, чего она не сумела уразуметь: за эту ее дурацкую брошюру, за ее кокетство, за

похвалу Штрейхеру, за то, что она родилась грязной полькой, а может быть, за все вместе. Потом, к своему удивлению, Софи вдруг поняла, что, хотя что-то взбесило его, породив вспышку гнева, этот гнев был направлен не против нее, а против кого-то или чего-то другого. Он так сдвинул ей плечо, что стало больно. Из горла его вырвался хрип, словно он задыхался.

Затем, слегка разжав пальцы, он заговорил – в его словах, подсказанных этническими страхами, она услышала до нелепости смешное повторение того, что озадачивало утром Вильгельмину.

– Трудно поверить, что ты полька: такой великолепный немецкий язык да и весь твой вид – эта белая кожа и черты лица, типично арийские. Ты куда красивее, чем большинство славянских женщин. И тем не менее, как ты говоришь, ты – полька. – Софи отметила, что речь Хесса стала прерывистой и сумбурной, словно мысли его неуверенно кружили, облетая суть того, что он пытался и страшился выразить. – Понимаешь, я не люблю кокетства: ведь это всего лишь способ добиться моего расположения, попытаться на этом немножко выиграть. Я всегда терпеть не мог это качество в женщинах, это беззастенчивое стремление сыграть на сексе – так бесчестно, так откровенно. Ты очень осложнила мне жизнь, породила во мне дурацкие мысли, побудила отвлечься от моих обязанностей. Это твоё кокетство чертовски портит мне жизнь, и однако же... однако же не все тут твоя вина: ты чрезвычайно привлекательная женщина.

Много лет назад я поехал со своей фермы в Любек – я был тогда совсем молодой – и увидел там немой вариант фильма «Фауст»; актриса, игравшая Гретхен, была необычайно хороша и произвела на меня глубокое впечатление. Такая беленькая, такое идеально белое лицо и прелестная фигура – я думал о ней потом целыми днями, неделями. Она посещала меня в моих снах, преследовала меня. Звали ее, эту актрису, Маргарета – фамилию я сейчас уже забыл. В моих мыслях она была просто Маргарета. Я представлял себе, как она говорит: мне казалось, что, если я услышу ее, она будет говорить на чистейшем немецком. Вроде как ты. Я смотрел этот фильм раз десять. Потом я узнал, что она умерла очень молодой – по-моему, от туберкулеза, – и меня это ужасно огорчило. Шло время, и постепенно я ее забыл – по крайней мере ее образ больше не преследовал меня. Совсем забыть ее я не смог.

Хесс умолк и снова крепко, до боли сжал ей плечо, и она с удивлением подумала: «А ведь он, как ни странно, причиняя мне боль, пытается выразить нежность...» Тирольцы внизу умолкли. Софи невольно крепко зажмурилась, стараясь не кривиться от боли, и одновременно где-то в темных глубинах сознания улавливала звуки лагерной симфонии смерти: лязг металла, далекий грохот сталкивающихся товарных вагонов и слабый, плачущий свисток паровоза, печальный и пронзительный.

– Я прекрасно сознаю, что во многих отношениях я не похож на большинство людей моей профессии, – людей, воспитанных в военной среде. Она никогда не была органически моей. Я всегда держался в стороне. В одиночестве. Я никогда не общался с проститутками. В публичном доме я был всего раз в жизни, совсем молодой, в Константинополе. Это оставило во мне лишь отвращение: меня тошнит от распутства шлюх. Есть что-то в чистой красоте, которую излучают некоторые женщины – белокожие, светловолосые, хотя настоящие арийки могут быть, конечно, и брюнетками, – что побуждает меня поклоняться такой красоте, поклоняться до обожествления. Такой была та актриса, Маргарета, а потом женщина, с которой у меня несколько лет была связь в Мюнхене, чудесный человек, мы страстно любили друг друга, и у нас даже был внебрачный ребенок. Вообще-то я сторонник моногамии. Я всего два-три раза изменял жене. Но та женщина... она была восхитительнейшим олицетворением такой красоты – тонкие черты лица и чистая нордическая кровь. Меня тянуло к ней так сильно, это было гораздо сильнее грубого сексуального влечения с его так называемыми «радостями». Тут речь шла о вещах гораздо более серьезных – о продолжении рода. Самая мысль, что мое семя попадет в столь прекрасный сосуд, преисполняла меня восторгом. Такое желание вызываешь во мне и ты.

Софи слушала, закрыв глаза, этот поток нелепых, пропитанных нацистским духом фраз; чужеродные, перегруженные эмоциями образы и это звучное тевтонское словоблудие, проникая в мозг, грозили затопить рассудок. Внезапно в нос ей ударил зловонием протухшего мяса запах его потного торса, и она услышала собственное «ох», когда он притянул ее к себе. Она почувствовала его локти, колени, жесткую, как терка, щетину. Он был не менее пылок, чем экономка, но только более неловок; к тому же казалось, ее обнимали не две, а множество рук, точно он был этакой большой заводной мухой. Софи затаила дыхание, а тем временем его руки массировали, мяли ей спину. А его сердце – какой неистовый галоп устроило его сердце! Она и не представляла себе, что сердце может так бешено стучать от романтических чувств: под влажной рубашкой коменданта словно бил барабан. Весь дрожа, будто очень больной человек, он не отваживался даже поцеловать ее, хотя она явно чувствовала, как то ли его язык, то ли нос терся о ее закрытое платком ухо. Тут в дверь внезапно постучали, и он быстро отскочил от нее, тихо жалобно буркнув:

– Scheiß![223]

Это снова был его адъютант Шеффлер. Остановившись на пороге, Шеффлер попросил у коменданта извинения, но у фрау Хесс есть вопрос к коменданту – она ждет на площадке этажом ниже. Она собралась в гарнизонный центр отдыха на кинофильм и хочет знать, можно ли ей взять с собой Ифигению. Старшая их дочь Ифигения еще не вполне оправилась от гриппа, которым болела целую неделю, и мадам хотела выяснить, может ли, по мнению коменданта, девочка

пойти с ней на утренник. Или следует посоветоваться с доктором Шмидтом? Хесс что-то рывкнул в ответ – Софи не разобрала, что именно. Но во время этого короткого разговора она с отчаянием интуитивно почувствовала, что это ворвавшееся в комнату дыхание скучной домашней атмосферы не могло не развеять магию минуты, когда комендант, подобно оказавшемуся между чувством и долгом Тристану, не устоял и позволил себе поддаться соблазну. И когда Хесс снова повернулся к ней, она сразу поняла, что ее предчувствие было верно и то, что она затеяла, находится под величайшей угрозой срыва.

– Когда он снова подошел ко мне, – рассказывала Софи, – лицо у него было еще более искаженное и страдальческое. Опять у меня появилось такое странное чувство, что он сейчас меня ударит. Но он так не сделал. Он только очень близко подошел ко мне и сказал: «Я очень хочу иметь с тобой сношение» – он употребил слово «Verkehr», которое по-немецки так же звучит, как этот глупый медицинский термин «сношение»; он сказал: «Если я буду иметь с тобой сношение, я дам себе волю и смогу забыться, смогу расслабиться». Но тут лицо его вдруг изменилось. Точно фрау Хесс в одно мгновение все изменила. Лицо у него стало такое очень спокойное и, знаешь, как бы безразличное, и он сказал: «Но я не могу на это пойти и не пойду – слишком большой риск. Это непременно кончится бедой». Он повернулся ко мне спиной и отошел к окну. Я услышала, как он сказал: «Ну и забеременеть тебе тут нельзя». Язвинка, я думала, я сейчас упаду в обморок. Я была такая слабая после всех моих волнений и этого напряжения – и потом, наверно, от голода: я ведь ничего не ела после того инжира, которым меня вырвало утром, да еще кусочка шоколада, который он мне дал. А он снова повернулся ко мне лицом и заговорил. Он сказал: «Если бы я отсюда не уезжал, я б рискнул. Несмотря на твое происхождение, я чувствую, что духовно у нас с тобой есть общее. Я многим готов рискнуть, чтобы иметь связь с тобой». Я подумала, он сейчас меня приласкает или снова к себе прижмет, только он ничего такого не сделал. «Но они избавляются от меня, – сказал он, – и я должен отсюда уехать. Уйдешь отсюда и ты. Я отсылаю тебя назад, в барак номер два, откуда ты сюда поступила. Ты уйдешь завтра». И снова отвернулся от меня.

– Я была в ужасе, – продолжала Софи. – Понимаешь, я же так старалась найти к нему подход, и вот ничего не вышло: он отсылает меня назад и всем моим надеждам конец. Я хотела что-то сказать ему, но в горле у меня так сжалось, и слова не хотели идти. Он собирался бросить меня снова в черную пропасть, а я ничего сделать не могла, совсем ничего. Я все смотрела на него и пыталась что-то сказать. Этот красавец арабский конь все скакал вниз по полю, и Хесс, прислонившись к оконной раме, смотрел вниз на него. Дым из Бжезинки разогнало. Я слышала, как Хесс снова что-то пробурчал насчет своего перевода в Берлин. Он говорил с большой горечью. Я помню, там были такие слова: «неумение оценить» и «неблагодарность», а в какой-то момент он очень так

отчетливо произнес: «Я-то знаю, как хорошо и выполнял свои обязанности». Потом он долго молчал – только смотрел на тот конь, и наконец я услышала, как он сказал – я почти уверена, что именно такие были его слова: «Вырваться из плена человеческой оболочки, но продолжать существовать в Природе. Стать таким вот конем, жить в таком животном. Вот это была бы свобода». – Она секунду помолчала. – Я навсегда запомнила эти слова. Они были такие... – И Софи умолкла, взгляд ее затуманился воспоминанием, обращенным в то фантазмагорическое прошлое, которое вызывало у нее сейчас изумление.

(«Они были такие...») Какие?

Софи долго молчала, закончив свой рассказ. Она прикрыла глаза пальцами и низко пригнулась к столику, погруженная в мрачные раздумья. На протяжении всего долгого рассказа она крепко держала себя в руках, а сейчас влага заблестела между ее пальцами, и я понял, что она горько плачет. Я дал ей выплакаться в тишине. Тем дождливым августовским днем мы немало часов просидели в «Кленовом дворе», опершись локтями о столик с крышкой из пластика. Было это через три дня после решительного разрыва между Софи и Натаном, описанного мною много страниц назад. Читатель, возможно, вспомнит, что когда они оба исчезли, я собирался встретиться с отцом на Манхэттене. (Это была важная для меня встреча – собственно, я тогда принял решение вернуться с ним в Виргинию, – и я намерен позже подробно ее описать.) После нашей встречи с отцом я понуро вернулся в Розовый Дворец в полной уверенности, что никого там не застаю и что меня ждет то же запустение, как в тот вечер... и, уж конечно, я никак не ожидал увидеть там Софи, а она, к моему удивлению, оказалась у себя в комнате, где царил полный разгром, и запихивала последние мелочи в старенький чемодан. Натана же нигде не было видно – что я почел за счастье, – и после горестной, но все же теплой встречи мы с Софи побежали под летним проливным дождем в «Кленовый двор». Нечего и говорить, в каком я был восторге, заметив, что Софи так же искренне рада видеть меня, как я был рад просто любоваться ее лицом и фигурой. Насколько я знал, помимо Натана и, пожалуй, Блэкстока, я был единственным на свете человеком, который мог считать себя по-настоящему близким Софи, и я чувствовал, что она цепляется за меня поистине как за источник жизни.

Она еще явно не оправилась от шока, вызванного уходом Натана (она сказала – не без жутковатого юмора, – что не раз подумывала о том, чтобы выброситься из окна этой крысиной норы, гостиницы в верхней части Западной стороны Нью-Йорка, где она прозябала эти три дня), но если горе, несомненно, подкосило ее, то это же горе, как я чувствовал, побудило ее широко раскрыть врата памяти и дать излиться могучему потоку, несущему с собой катарсис. Правда, одно небольшое обстоятельство терзает меня. Не следовало ли мне насторожиться, увидев нечто такое, чего я раньше ни разу за Софи не замечал? Она начала пить

– не много: выпитое никак не отражалось на ее речи, которая текла без запинки, – но три или четыре стакана виски с водой, которые она проглотила за этот серый мокрый день, не могли не удивить меня – ведь она, как и Натан, отличалась воздержанием. Пожалуй, мне следовало больше взволноваться или забеспокоиться, видя эти стаканы с виски «Шенлиз» у ее локтя. Я же держался моего обычного пива и лишь время от времени мысленно отмечал это новое пристрастие Софи. Да я в любом случае, несомненно, не мог обратить внимание на то, что Софи стала пить, ибо она возобновила свой рассказ (а она вытерла глаза и ровным и бесстрастным тоном – насколько это возможно при данных обстоятельствах – стала завершать хронику того дня, когда она говорила с Рудольфом Францем Хессом) и поведала мне такое, что буквально сшибло меня с ног, и я почувствовал, как загорелось лицо, словно на него наложили ледяную маску. У меня перехватила дыхание, и ноги стали точно соломенные. И, дорогой читатель, тогда по крайней мере я понял, что она не лжет...

– Язвинка, у меня в Освенциме был ребенок. Да, ребенок. Мальчик Ян – его забрали у меня, когда мы туда приехали. Его поместили в такое место, оно называлось Детский лагерь; ему тогда было только десять лет. Я понимаю, тебе странно, что все это время, как ты меня знаешь, я ни разу не говорила тебе про моего ребенка, но я просто никому не могла про это говорить. Это очень трудно – мне даже думать про это много тяжело. Да, один раз я рассказала Натану – много месяцев назад. Очень быстро так рассказала, а потом сказала, что мы никогда больше не будем про это говорить. И никому не расскажем. И вот я теперь тебе это рассказываю, только потому, что, если ты не будешь знать про Яна, ты никогда про меня и про Хесса ничего не поймешь. А после я никогда больше не буду говорить про моего мальчика, и ты никогда не должен меня спрашивать. Нет, больше никогда...

В общем, в тот день, когда Хесс стоял у окна и смотрел вниз, я заговорила с ним. Я знала, надо сыграть последней картой, надо раскрыть ему то, что я au jour le jour[224] хоронила даже от себя – я так боялась, что умру от горя, – все сделать: просить, кричать, вопить, чтобы он сжалился, в надежде, что мне как-то удастся растрогать этого человека и он проявит немножко милосердия – если не ко мне, то к тому единственному существу на свете, ради которого мне стоило жить. И вот я постаралась совладать с моим голосом и сказала: «Herr Kommandant, я понимаю, я не могу много просить для себя, а вы должны поступить по правилам. Но я вас умоляю, сделайте для меня одну вещь, а потом отсылайте назад. У меня мальчик в лагере «Д» – там, где держат других мальчиков. Его зовут Ян Завистовский, ему десять лет. Я запомнила его номер – я скажу его вам. Он был со мной, когда нас сюда привезли, но с тех пор – вот уже полгода – я не видела его. А мне так хочется его увидеть. Я боюсь за его здоровье, ведь скоро зима. Я умоляю вас, постарайтесь найти способ выпустить его. У него слабое здоровье, и он еще совсем маленький». Хесс молчал, только смотрел на меня не

мигая. Нервы у меня начали немножко сдавать, я чувствовала, что сейчас сорвусь. Я протянула руку и дотронулась до его рубашки, потом вцепилась в нее и сказала: «Пожалуйста, если мое общество, я сама хоть немного вам приятны, умаляю вас, сделайте это ради меня. Не выпускайте меня – выпустите моего мальчика. Есть возможность это сделать – я расскажу вам как... Пожалуйста, сделайте это ради меня. Пожалуйста. Пожалуйста!»



Я сразу поняла, что снова стала для него лишь червяком, куском польского Dreck. Он схватил мою руку, оторвал ее от своей рубашки и сказал: «Хватит!» Никогда не забуду, с каким бешенством в голосе он произнес: «Ich kann es unmöglich tun!» То есть: «Я никоим образом не могу это

сделать». Он сказал: «Это незаконно – я не могу освободить ни одного узника без соответствующего разрешения». Я вдруг поняла, что задела в нем какой-то страшный нерв даже тем, что про это заговорила. Он сказал: «Это же возмутительно – на что ты меня подбиваешь! Да за кого ты принимаешь меня – за какого-то Dümmling,[225] которого ты рассчитываешь дергать за веревочки? И все только потому, что я выказал к тебе особые чувства? Ты считаешь, что можешь заставить меня пойти против властей только потому, что ты мне приглянулась?» И потом еще сказал: «Я это нахожу отвратительным!»

Ты сможешь понять меня, Язвинка, если я тебе скажу, что не сдержалась, кинулась к нему, обхватила его руками и стала снова умолять: «Ну пожалуйста» – все твердила, снова и снова. Но он точно застыл, по всему его телу прошла дрожь, и я поняла, что он поставил на мне крест. Все равно я не могла остановиться. Я сказала: «Тогда хоть позвольте мне взглянуть на моего мальчика, позвольте пойти к нему, позвольте увидеть всего один разок – пожалуйста, сделайте это для меня. Неужели вы не понимаете? У вас же есть дети. Разрешите мне посмотреть на него, обнять его хоть раз, а потом я вернусь в лагерь». И когда я все это сказала, Язвинка, я не выдержала и упала перед ним на колени. Упала перед ним на колени и прижалась лицом к его сапогам.

Софи умолкла, снова надолго обратив взгляд в то прошлое, которое сейчас, казалось, так всецело, так неотвратимо завладело ею; она несколько раз отхлебнула виски и раза два судорожно глотнула, погруженная в воспоминания. А я вдруг осознал, что она уже давно крепко вцепилась в мою руку, словно таким путем старалась поддерживать контакт с действительностью.

– Столько много всего рассказывали про людей в таких местах, как Освенцим, и про то, как они там себя вели. Когда я была в Швеции, в том центре для перемещенных лиц, мы все, кто был в Освенциме или в Бжезинке, куда меня потом отвезли, – мы часто рассказывали, как вели себя разные люди. Почему один человек стал злобный капо, жестоко обращался со своими товарищами-узниками, так что многие по его вине умерли. И почему другой мужчина или другая женщина делали такие храбрые вещи, даже иногда жертвовали жизнью, чтобы другой остался жить. Отдавали свой хлеб, или немного картошки, или жиденький суп какому-нибудь голодному, хотя сами голодали. А были и такие – и мужчины, и женщины, – которые могли убить или предать другого узника из-за куска хлеба. Люди по-разному вели себя в лагере: одни – как трусы и эгоисты, другие – мужественно и красиво, все по-разному. Все. Но это было такое страшное место, этот Освенцим, Язвинка, такое страшное, что поверить трудно, поэтому, право же, нельзя сказать – как в другом большом мире, – что вот такой человек должен был в этом случае поступить красиво и благородно. Если он или она делали благородный поступок, ими можно было, как везде, восхищаться, но ведь нацисты – они были убийцы, а если не убивали, то превращали людей в больных животных, так что, если люди делали что-то не такое благородное или даже поступали как животные, это надо понимать; можно ненавидеть их за это, но в то же время жалеть, потому что ты понимал: ты тоже можешь поступить как животный.

Софи немного помолчала, крепко сомкнув веки, думая свою жестокую думу, затем снова уставилась в многотрудную даль.

– И вот для меня одна вещь остается тайной. И эта тайна такая: я же все это знаю, и я знаю, что нацисты меня тоже, как всех остальных, превратили в больное животное, – почему же я чувствую такую вину за то, что я делала в лагере. Просто за то, что осталась жива. От этой вины я никак не могу избавиться, да, думаю, и никогда не избавлюсь. – Она снова помолчала, потом сказала: – Это, наверное, потому... – Она умолкла, не сумев додумать мысль до конца, а когда снова заговорила, я услышал, как дрогнул ее голос – скорее всего от усталости: – Я знаю, я никогда от этого не избавлюсь. Никогда. И потому, что я никогда от этого не избавлюсь, это, может быть, самое плохое, с чем немцы оставили меня жить.

Наконец она выпустила мою руку, повернулась ко мне и, глядя мне прямо в лицо, продолжала:

– Я обхватила сапоги Хесса руками. Я прижалась щекой к их холодной коже, точно эти сапоги были из меха или чего-то теплого и могли согреть меня. И знаешь что? По-моему, я даже лизала их, лизала сапоги этого нациста. И знаешь, что еще? Если бы Хесс дал мне нож или пистолет и велел убить кого-то – еврея,

поляка, неважно, – я бы это сделала, не раздумывая, даже с радостью, только бы на минутку увидеть моего мальчика, обнять его.

Тут я услышала голос Хесса: «Вставай! Такие выходы оскорбляют меня. Вставай же!» А когда я стала подниматься, он уже много мягче сказал: «Ты, безусловно, сможешь увидеть своего сына, Софи». Я заметила, что он впервые назвал меня по имени. А потом... о господи, Язвинка, он снова обнял меня, и я услышала, как он сказал: «Софи, Софи, ты безусловно сможешь увидеть своего мальчика». Он сказал: «Неужели ты думаешь, что я тебе в этом откажу? Glaubst du, dab ich ein Ungeheuer bin? Неужели ты считаешь меня чудовищем?»

Одиннадцатое

– Сынок, на Севере убеждены, что у них есть патент на добродетель, – изрек мой отец, осторожно поглаживая указательным пальцем свежий синяк под глазом. – Но Север, конечно, ошибается. Неужели ты считаешь, что для негра трущобы Гарлема – это шаг вперед по сравнению с наделом в округе Саутхемптон, где он выращивал земляной орех? Неужели ты думаешь, негр удовольствуется жизнью в таком немыслимом убожестве? Со временем, сынок, Север горько пожалеет о своих лицемерных попытках проявить великодушие, об этих своих хитроумных и прозрачных жестах, именуемых «терпимостью». Со временем – попомни мои слова – всем станет ясно, что Север так же пропитан предрассудками, как и Юг, если не больше. По крайней мере на Юге предрассудки у всех на виду. А тут... – Он помолчал и снова потрогал покалеченный глаз. – Меня прямо дрожь пробирает при одной мысли о ненависти и насилии, которые скапливаются в этих трущобах.

Будучи почти всю жизнь южанином-либералом, сознающим царящие на Юге несправедливости, мой отец никогда не склонен был безосновательно винить Север в бедах расизма, от которых страдает Юг, поэтому я не без удивления внимал ему, еще не подозревая – в то лето 1947 года, – какими пророческими окажутся его слова.

Было далеко за полночь, и мы сидели в полутьме наполненного дружескими перешептываниями бара в отеле «Макэлпин», куда я привез отца после его роковой схватки с шофером по имени Томас Макгуайр, водительские права № 8608, которая произошла всего через час после его приезда в Нью-Йорк.

Старик (я пользуюсь этим словом только потому, что так принято обозначать отца, он же в свои пятьдесят девять лет выглядел поразительно бодро и молодо) пострадал не сильно, но шум был поднят изрядный, а из разбитого – без особого для него ущерба – надбровья вытекло ужасающее количество яркой крови. Пришлось наложить на рану повязку. Наведя порядок, мы сели выпить (он – бурбон,[226] а я – мое извечное питье для несовершеннолетних: «Рейнголд») и

принялись беседовать, главным образом о пропасти, разделяющей это исчадие дьявола – урбанистическую заразу, распространенную к северу от Чесапикского залива, – и райские луга Юга (тут мой отец оказался куда меньшим пророком, не предвидев роста Атланты); мне за это время не раз приходила в голову невеселая мысль, что схватка старика с Томасом Макгуайром по крайней мере на время вывела меня из отчаяния, в которое я был погружен.



Следует вспомнить, что все это, как нельзя кстати, произошло всего через несколько часов после того, как я в Бруклине решил, что Софи и Натан навсегда исчезли из моей жизни. Я был, безусловно, убежден – поскольку у меня не было оснований думать иначе, – что никогда больше не увижу Софи. А потому меланхолия, напавшая на меня, когда я вышел из дома Етты Зиммермен, сел на метро и отправился в Манхэттен на встречу с отцом, грозила перейти в тяжкую болезнь, какой я не знал со времени смерти мамы. Мною владела смесь горя и волнения, безысходных и

озадачивающе глубоких. То одно, то другое чувство брало во мне верх. Тупо глядя из окна вагона метро на мельканье пронесившихся мимо ярко освещенных и темных пространств подземного тоннеля, я чувствовал на своих плечах как бы огромный гнетущий груз боли – такой тяжелый, что мне сдавило грудную клетку и я дышал прерывисто и хрипло. Я не плакал – или не мог плакать, – но несколько раз мне казалось, что меня вот-вот стошнит. Точно я стал свидетелем внезапной бессмысленной смерти, точно Софи (да и Натан тоже, ибо, несмотря на ярость, обиду и смятение, которые этот человек во мне породил, он неразрывно входил в нашу триаду и я не мог так сразу вырвать из своего сердца любовь и преданность ему) погибла в дорожной катастрофе, какие происходят в мгновение ока, когда оставшиеся в живых настолько потрясены, что не в состоянии даже проклинать небо. Сидя в поезде, с грохотом мчавшемся по сырым катакомбам под Восьмой авеню, я понимал лишь, что меня вдруг отрезало от двух людей, к которым я в своей жизни больше всего привязался, и что возникшее в связи с этим примитивное чувство утраты породило муки, схожие с теми, какие, наверное, испытывает человек, заживо погребенный под тонной шлака.

– Я чрезвычайно восхищаюсь твоим мужеством, – сказал мне отец во время

позднего ужина в ресторане «У Шраффта». – Большинство смертных из цивилизованного мира едва ли способно выдержать здесь больше семидесяти двух часов, а именно столько я намерен провести в этом городе. Просто не понимаю, как ты тут выдерживаешь. Наверное, благодаря твоей молодости, удивительной приспособляемости твоего возраста этот город-спрут привлекает тебя, но не сжирает. Я никогда не был в Бруклине, но неужели, как ты писал мне, некоторые части Бруклина могут напоминать Ричмонд?

Несмотря на долгую поездку на поезде из такой глубины, как Тайдуотер, отец был в отличном настроении, что помогло мне отвлечься от событий, которые привели меня в такое смятение. Отец заметил, что не был в Нью-Йорке с конца 30-х годов и по своему распутству и богатству город еще больше прежнего стал похож на Вавилон.

– Это результат войны, сынок, – сказал этот инженер, участвовавший в строительстве таких морских бегемотов, как авианосцы «Йорктаун» и «Энтерпрайз», – все в этой стране стало богаче. Потребовалась война, чтобы вывести ее из кризиса и превратить в самую могучую державу мира. Если что-то и поможет нам еще многие годы продержаться впереди коммунистов, так это деньги, а у нас их прорва. – (Из этих высказываний моего отца вовсе не следует, что он хоть в какой-то мере принадлежал к тем, кто преследовал красных. Как я уже говорил, он держался заметно левых для южанина взглядов: шесть или семь лет спустя, в разгар истерии маккартизма, он в бешенстве подал в отставку с поста президента Виргинского отделения Сыновей американской революции – членом которой на протяжении четверти века состоял главным образом по генеалогическим причинам, – когда эта крайне консервативная организация выступила в поддержку сенатора от Висконсина.[227]) Но сколь бы ни были искушены по части экономики приезжие с Юга (или вообще откуда-либо из глубинки), их почти всех потрясали нью-йоркские преysкурanty и цены, и мой отец не явился исключением, мрачно забурчав при виде счета за ужин на двоих: по-моему, он составлял – вы только подумайте! – около четырех долларов. Едва ли это было чрезмерным по столичным стандартам того времени, тем более что «У Шраффта» расценки были весьма умеренные.

– Дома за четыре доллара, – посетовал отец, – можно было бы пировать весь уик-энд.

Правда, спокойствие духа довольно быстро вернулось к нему, пока мы шли на спеша сквозь душистый вечер по Бродвею на север, через Таймс-сквер; при виде этого места на лице старика появилось выражение озадаченности и благочестивого созерцания, хотя он никогда не отличался благочестием и его реакция, по-моему, была следствием не столько неодобрения, сколько неожиданности, словно от пощечины, – так оглушило его это причудливо-

фантастическое вульгарное место.

Мне представляется, что по сравнению с этим гадючником Содомом, в какой впоследствии превратился Таймс-сквер, в то лето там можно было обнаружить не большую торговлю телом, чем на унылой бурой площади какого-нибудь богобоязненного городка, вроде Омахи или Солт-Лейк-Сити; тем не менее даже и тогда на Таймс-сквере было предостаточно хлыщей сутенеров и кричаще одетых выроdkов, прогуливавшихся в ярких радужных полосах и пятнах неоновомго света, и меня на какое-то время вытащили из бездны мрака тихие восклицания отца – а он все еще мог произнести «Иисусе Христе!» с непосредственностью героя Шервуда Андерсона, – а также то, как он провожал взглядом обтянутые блестящим нейлоном покачивающиеся бедра какой-нибудь мулатки-проститутки и в остекленелом от изумления взоре вдруг появлялось неодолимое желание. «Он когда-нибудь знал такого рода женщин?» – подумал я. Вот уже девять лет, как он овдовел и вполне мог иметь женщину, но, как большинство южан (или в данном случае американцев) его возраста, он был сдержан, даже скрытен по части секса, и его интимная жизнь была для меня тайной. Я искренне надеялся, что, будучи человеком уже зрелым, он не принес себя, подобно своему злосчастному отпрыску, в жертву на алтарь Онана, а может быть, я просто неверно истолковал его взгляд и он милостиво навсегда избавлен от этой лихорадки?

На Коламбус-серкл мы остановили такси и двинулись назад, к «Макэлпину». Должно быть, я снова погрузился в свои невеселые думы, ибо вдруг услышал, как он сказал:

– В чем дело, сынок?

Я пробормотал что-то насчет болей в животе – не тем накормили «У Шраффта» – и на этом поставил точку. Хотя мне страшно хотелось излить душу, я не считал возможным раскрыть отцу что-либо из того, что недавно перевернуло мою жизнь. Ну разве я сумею достаточно точно обрисовать размеры моей потери, а тем более рассказать о сложном переплетении событий, которые привели к этой потере: о моей страсти к Софи, замечательной дружбе с Натаном, безумной вспышке Натана несколько часов назад и, наконец, о том, как я вдруг остался в мучительном одиночестве? Мой отец не читал русских романов (которые этот сценарий своей мелодраматичностью в известной мере напоминал), и потому вес случившееся было бы выше его понимания.

– Ты не запутался с деньгами, нет? – осведомился он, добавив, что прекрасно понимает: деньги от продажи юного раба Артиста, которые он выслал мне несколько недель назад, не могли тянуться вечно. Затем мягко, ненавязчиво он завел речь о том, не стоит ли мне снова перебраться на Юг. Он едва успел

коснуться этой темы, коротко и мимоходом, как такси подкатило к «Макэлпину» и я не сумел даже ответить ему.

– Не думаю, чтоб это было так уж безопасно для нравственности, – заметил он, – жить в одном городе с людьми вроде тех, которых мы только что видели.

Тут-то и произошел инцидент, показавший яснее любого произведения искусства или социологического трактата, какая печально-глубокая пропасть разделяет Север и Юг. И связан он был с двумя весьма огорчительными и взаимно непростительными ошибками, каждая из которых объяснялась культурными традициями, столь же далекими одна от другой, как Саскатун от Патагонии.[228] Первую ошибку, безусловно, допустил мой отец. Хотя на Юге – по крайней мере до того времени – оставлять чаевые в принципе было не принято, вернее, никто не придавал этому серьезного значения, отцу все-таки следовало бы знать, что не стоило давать Томасу Макгуайру пять центов – разумнее было бы не давать ничего. Ошибкой же Макгуайра было то, что он в ответ рявкнул отцу: «Чертова задница!» Из этого вовсе не следует что шофер-южанин, не привыкший получать чаевые или, во всяком случае, привыкший получать небольшие чаевые и притом от случая к случаю, не почувствовал бы себя немного уязвленным такой подачкой, однако, как бы он в душе ни кипел, он бы промолчал. Не означает это также, что уши ньюйоркца не загорелись бы от образного выражения, употребленного Макгуайром, – правда, подобные слова – ходячая монета на улицах и среди таксистов, и большинство обитателей Нью-Йорка проглотили бы обиду и тоже не стали бы раскрывать рот.

Отец уже почти вылез из машины, потом вдруг просунул нос в отверстие в стекле, отделяющем пассажиров от шофера, и недоверчивым тоном произнес:

– Что это, я слышал, вы сказали?

В этой фразе важно каждое слово; он не сказал: «Что вы сказали?» или: «Что это вы сказали?», а сделал упор на «слышал», давая понять, что его слуховой аппарат никогда прежде не осквернялся такими непристойными словами – даже по отдельности, не говоря о том, чтобы вместе. В темноте видно было лишь, что у Макгуайра толстая шея и рыжие волосы. Лица его я не разглядел, но голос был достаточно молодой. Умчись он в ночь, на этом все бы и кончилось, но, хотя я заметил, что он слегка колеблется, почувствовал я и его непримиримость, чисто ирландскую обидчивость, возмущение тем, что отец дйл ему пятицентовик, оно было ничуть не меньше той ярости, какую вызвала у старика ничем не оправданная грубость. Макгуайр ответил отцу, грамматически более четко оформив свою мысль:

– Я сказал: сразу видно, что вы чертова задница.

Стремясь поквитаться с ним, отец изрек чуть не на крике – не столько громким, сколько дрожащим от гнева голосом:

– А я считаю, сразу видно, что вы – из тех подонков, которых мечет, как икру, этот отвратительный город, – вы и вся ваша порода сквернословов! – При этом он со скоростью света перешел на неумирающую риторику своих предков. – Презренный подлец – вот вы кто, культуры у вас не больше, чем у крысы из сточной канавы! Да в любом пристойном месте Соединенных Штатов такого, как вы, отравляющего воздух своим мерзким зловонием, вывели бы на площадь и выпороли бы! – Он слегка повысил голос; под ярко освещенным тентом «Макэлпина» стали останавливаться прохожие. – Но это место нельзя назвать ни пристойным, ни культурным, и тут вы вольны выливать помои на своих сограждан...

Поток его речи был прерван поспешным бегством Макгуайра, который, рванув машину, помчался вверх по проспекту. А отец, хватаясь за воздух, развернулся к тротуару, и я понял, что лишь сила завихрения толкнула его, как слепого, прямо на стальной столб с надписью «Стоянка запрещена», раздался глухой удар головы о столб – совсем как в мультфильме – и гулкое «бу-ум!». Но это было совсем не забавно. У меня мелькнула мысль, что дело может кончиться трагически.

Однако полчаса спустя он уже потягивал чистый бурбон и поносил «патент на добродетель», которым хвастается Север. Отец потерял немало крови, но по счастливой случайности «гостиничный врач» как раз бродил по вестибюлю «Макэлпина», когда я ввел туда жертву. С виду врач походил на жалкого алкоголика, но он знал, что надо делать, когда рассечена голова. С помощью холодной воды и пластыря кровотечение удалось наконец остановить, но не удалось стереть обиду, нанесенную старику. Переживая свое ранение, он сидел в сумеречном баре «Макэлпина» и по мере того, как опухоль закрывала ему глаз, все больше и больше походил на собственного отца, лишившегося глаза в Чанселлорсвилле лет восемьдесят тому назад; при этом он безостановочно, словно читая безнадежно унылую литанию, разносил Томаса Макгуайра. При всей образности его языка это становилось несколько утомительным, и я вдруг понял, что ярость старика вызвана не снобизмом и не стыдливостью – ведь он же работал в доках, а до того служил в торговом флоте, и слух его, уж конечно, привык к площадной брани, – а простым убеждением, что надо благовоспитанно и прилично вести себя на людях. «Ведь все мы – сограждане!» По сути дела, это было проявлением своего рода несостоявшегося эгалитаризма, чем, насколько я начинал понимать, в значительной мере и объяснялось то, что отец держался так обособленно. Попросту говоря, с его точки зрения, люди, неспособные общаться на человеческом языке, перечеркивают свое равенство друг с другом. Поуспокоившись, он наконец отвязался от Макгуайра и со всей силой своей

предубежденности стал поносить многогранные пороки и недостатки Севера вообще: его самонадеянность, его ханжескую претензию на моральное превосходство. Я вдруг понял, что Реконструкция еще почти не коснулась этого типичного южанина, и был поражен, что это, похоже, никак не противоречило его исконному либерализму.

Наконец он выдохся – возможно, не только от диатрибы, но и от шока, причиненного хоть и легким, но все же ранением, – побледнел, и я стал уговаривать его подняться к себе и лечь. Он нехотя повиновался и, придя в номер, который он заказал для нас двоих на пятом этаже этого здания, выходящего на шумный проспект, вытянулся на одной из двух кроватей. Мне предстояло провести там две бессонных и (в значительной степени из-за не покидавшего меня отчаяния по поводу исчезновения Софи и Натана) испорченных ночи, когда я обливался потом под жужжащим черным жуком-вентилятором, обдававшим меня тоненькими струйками воздуха. Несмотря на усталость, отец продолжал разглагольствовать про Юг. (Позднее я понял, что он, по крайней мере частично, предпринял эту поездку с тайной целью вырвать меня, из когтей Севера: хотя старый хитрец ни разу впрямую мне этого не высказал, но безусловно потратил немало времени, стремясь помешать моему переходу на сторону янки). В ту первую ночь, прежде чем отойти ко сну, он все же выразил надежду, что я расстанусь с этим сумасшедшим городом и вернусь в глубинку, где мне и место. Уже затухающим голосом он что-то пробормотал насчет «достойных человека мерил».

Эти несколько дней мы провели именно так, как и следовало ожидать, когда двадцатидвухлетний молодой человек коротает время летом в Нью-Йорке с вечно всем недовольным папой-южанином. Мы посетили два туристских объекта, где, как мы признались друг другу, ни один из нас до сих пор не бывал: съездили к статуе Свободы и поднялись на Эмпайр стейт билдинг. Мы объехали вокруг Манхэттена на прогулочном пароходике. Мы сходили в мюзик-холл Рэдио-Сити, где продремали на комедии с участием Роберта Стэка и Эвелин Кейз. (Помню, как во время этой пытки меня, словно саваном, накрыло горе по поводу исчезновения Софи и Натана.) Мы заглянули в Музей современного искусства – я несколько высокомерно считал, что тамошние экспонаты могут возмутить старика, а он, наоборот, вроде пришел в полный восторг: четкие яркие прямоугольники Мондриана особенно порадовали его глаз технаря. Мы ели в поразительном кафе-автомате Хорна и Хардарта, ели «У Недика» и «У Штоуфера» и, решив попробовать того, что я в те дни считал *haute cuisine*, – в центре города, в ресторане «Лоншан». Мы посетили один-два бара (случайно забрели и в притон для гомиков на Сорок второй улице, где я увидел, как лицо моего отца, когда перед ним предстали расфранченные видения, сначала посерело, став цвета овсянки, а потом исказилось гримасой неверия), но спать укладывались каждый вечер рано, предварительно поговорив о ферме,

гнездящейся среди плантаций земляного ореха под Тайдуотером. Мой отец храпел. О боже, как он храпел! В первую ночь я раза два все-таки засыпал, несмотря на могучий храп и присвисты. Но теперь я припоминаю, как этот внушительный храп (следствие искривления носовой перегородки, что всю жизнь было проклятием для отца: летними вечерами канонада его всхрапов вылетала в открытые окна, будя соседей) в последнюю ночь стал основой моей бессоницы, вихрями контрапункта прорезая сумбурный поток моих мыслей – мимолетный, но горький приступ вины, спазм эротомании, навалившейся на меня как всепожирающий дьявол, и, наконец, переворачивающие душу, невыносимо сладкие воспоминания о Юге, которые в предрассветные часы продержали меня без сна.



Чувство вины. Лежа тогда в постели, я вдруг понял, что отец никогда строго не наказывал меня в детстве – исключение он сделал только раз, да и то в связи с проступком, за который я безусловно заслуживал величайшего возмездия. Связано это было с мамой. За год до смерти – мне тогда было двенадцать лет – снедавший ее рак начал проникать ей в кости. Однажды у нее подвернулась нога – а ноги у нее уже ослабли, – она упала и сломала нижнюю косточку, тибию, которая так и не срослась. Маме надели на ногу металлическую скобу, и с тех пор она неуверенно передвигалась, опираясь на палочку. Она не любила лежать и, когда была в состоянии, предпочитала сидеть. Сидела она,

положив больную ногу на стул или на оттоманку. Ей было в ту пору всего пятьдесят лет, и я понимал, что она знает о своем скором конце: в ее глазах я видел порою страх. Мама непрерывно читала – книги были для нее наркотиком до той поры, пока не начались невыносимые боли, и тогда настоящие наркотики сменили Перл Бак;^[229] от этого последнего периода ее жизни у меня осталась в памяти седая голова и мягкое высохшее лицо в очках, склоненное над «Домой возврата нет» (она была преданной поклонницей Вулфа задолго до того, как я прочел хоть одно написанное им слово, но читала она и бестселлеры с витиеватыми названиями, вроде «Моим уделом будет прах», «Солнце – моя погибель»), – образ женщины, погруженной в спокойное созерцание и по-своему заурядно домашней, словно на портрете Вермеера, если бы не лежавшая на стуле нога в металлических скобах. Помню я и почтенный, изношенный узорчатый шерстяной платок, который в холодную погоду она набрасывала на колени и на

больную ногу. Настоящие холода почти никогда не посещали этой части виргинского Тайдуотера, но в скверные месяцы могло ненадолго стать жутко холодно, и, поскольку холод бывал редко, он всегда заставлял врасплох. В нашем крошечном домике на кухне стояла весьма маломощная угольная плита, а в гостиной был игрушечный камин.

Вот перед этим-то камином мама обычно и читала в зимние дни, лежа на диване. Единственный ребенок в семье, я был классически, хотя и не чрезмерно, избалован; в зимние месяцы я должен был, не задерживаясь в школе, побыстрее возвращаться домой, и одной из моих обязанностей было поддерживать хороший огонь в камине, поскольку мама, хоть и могла еще двигаться, все же была не в состоянии подбрасывать дрова. В доме был телефон, но он находился в соседней комнате, куда вели ступеньки, которых маме было не одолеть. Уж, наверно, ясно, какого рода проступок я совершил: в один из дней я предоставил маму самой себе. Меня соблазнила возможность прокатиться со школьным товарищем и его взрослым братом в новом «паккарде» модели «Клиппер», одной из шикарнейших по тем временам машин. Я с ума сходил по этой машине. Ее вульгарная элегантность опьяняла меня. Мы с идиотской хвастливостью разъезжали по прихваченной морозцем сельской местности; вечерело, и вместе с угасанием дня опускался и ртутный столбик термометра; часов около пяти «Клиппер» остановился в сосновом лесу, далеко от дома, и я почувствовал, как вдруг налетел ветер, сопровождаемый пронизывающим холодом. Только тут я впервые подумал о камине и моей брошенной маме – мне стало плохо от волнения. Иисусе Христе, как же я виноват...

Десять лет спустя, лежа в кровати на пятом этаже отеля «Макэлпин» и слушая храп отца, я с болью раздумывал о моей вине (до той минуты не стершейся), но к боли примешивались странная нежность и благодарность к отцу за то, как он воспринял мой проступок и как себя повел. Вообще-то (по-моему, я об этом не говорил) он ведь был христианин, причем из милосердных. Тем хмурым вечером – я помню, как заплясали снежинки на ветру, когда «паккард» помчался домой, – отец вернулся с работы за полчаса до меня и сидел подле мамы. Когда я вошел, он что-то бормотал себе под нос и массировал ей руки. Зима, как подлый мародер, проникла сквозь штукатурку стен скромного домика. Огонь много часов тому назад погас, и, когда отец вернулся, мама беспомощно дрожала под своим шерстяным платком, губы у нее помертвели, лицо побелело как мел от холода, но также и страха. В комнате клубился дым от головешки, которую она тщетно пыталась задвинуть своей палкой обратно в камин. Одному богу известно, какие льдистые эскимосские видения окружили ее, когда она откинулась в кресле среди своих бестселлеров, всех этих разрекламированных «лучших книг месяца», с помощью которых она пыталась отгородиться от смерти, рывком, обеими руками вздернув ногу на табурет – я так хорошо помню этот жест, – и постепенно почувствовала, какими холодными, словно настоящие

сталактиты, становятся металлические скобы на ее злополучной, никчемной, изъеденной карциномой ноге. Помню, я влетел в комнату и увидел в ней только одно, пронзившее меня до глубины души: ее глаза. Эти карие глаза за стеклами очков и то, как ее потрясенный, все еще перепуганный взгляд встретился с моим и метнулся в сторону. Стремительность, с какой он метнулся в сторону, и будет отныне определять мою вину – так мачете одним ударом отсекает руку. И я с ужасом понял, насколько мне в тягость бремя ее болезни. Тут она заплакала, и я заплакал, но плакали мы порознь и слышали, как плачет другой, словно на дальнем берегу большого пустынного озера.

Я уверен, что отец – обычно такой мягкий и сдержанный – сказал в тот момент что-то резкое, обидное. Но я запомнил на всю жизнь не его слова, а только холод – холод, от которого стыла кровь, и темноту сарая, куда он меня отвел и где продержал долго – во всяком случае, над деревней уже давно спустилась ночь и в щели моей темницы стал сочиться мертвенный лунный свет. Как долго я там дрожал и плакал, не помню. Я лишь сознавал, что страдал не меньше мамы и что наказание для меня было придумано вполне соответствующее – ни один злоумышленник не переносил своей кары с меньшей озлобленностью. Я пробыл в заключении, наверное, не больше двух часов, но я готов был пробыть там до зари или до тех пор, пока не замерз бы, – лишь бы искупить свой проступок. А не мог отец наказать меня чисто инстинктивно, действуя из чувства справедливости, понимая, что мне это необходимо? Так или иначе, он поступил спокойно, без лишней суеты и, с его точки зрения, наиболее правильно, но я все равно не познал искупления, ибо мой проступок всегда будет связан в моем сознании с подлым, животным актом – маминой смертью.

Она умерла страшно, в невероятных муках. Жарким июльским днем, семь месяцев спустя, она ушла из жизни, отупевшая от морфия, а накануне я всю ночь вспоминал чахлый огонь в холодной дымной комнате и с ужасом думал о том, что мое небрежение тогда резко ухудшило ее состояние и она потом так и не оправилась. Чувство вины. Омерзительное чувство вины. Чувство вины, разъедающее, как соляная кислота. Токсин вины может сидеть в человеке всю жизнь, подобно микробам тифа. Ворочаясь на влажном шишковатом матрасе в «Макэлпине», я чувствовал, как ледяное копье горя вонзается мне в грудь, стоит мне вспомнить испуг в глазах мамы и снова подумать, не ускорило ли то испытание ее конца, подумать, простила ли она меня. «А, к черту», – решил я. Звуки, донесшиеся из-за стены, направили мои мысли на другое: я стал думать о сексе.

Воздух, втягиваемый отцом через искривленную носовую перегородку, исполнял дикую рапсодию джунглей – тут были и крики обезьян, и вопли попугая, и трубные звуки толстокожих животных. Сквозь, так сказать, прорехи в ткани этих звуков я слышал, как в соседней комнате развлекаются двое –

совокупляются, заявил бы на своем архаичном языке мой старик. Тихие вздохи, скрип кровати, вскрик стремительно наступающего наслаждения. «Бог ты мой, – думал я, ворочаясь в постели, – неужели я всю жизнь буду вот так, в одиночестве, лишь слушать эти звуки и никогда, никогда не буду сам в этом участвовать?» Терзаясь этой мукой, я вспомнил, что впервые узнал о существовании Софи и Натана именно так, – незадачливый Язвина, соглядатель. И тут мой отец, словно решив усугубить мои мучения, вдруг тяжело вздохнул, повернулся на другой бок и мгновенно умолк, дав возможность моему слуху ловить малейший нюанс божественного действия, происходившего за стеной. Звук был объемный, невероятно близкий, почти осязаемый – радость-моя-радость-моя-радость-моя, на одном дыхании говорила женщина... я прижался ухом к стене... Он спросил: ты кончила? Она сказала: не знаю... Потом вдруг наступила тишина (очевидно, подумал я, переменили позу), и мой мысленный кинескоп воспроизвел Эвелин Кейз и Роберта Стэка в захватывающем дух слиянии, – правда, я скоро отказался рисовать себе эту картину дальше, так как логика требовала заполнить мизансцену другими людьми, более подходящими для клиентуры «Макэлпина»: двое эротоманов; преподаватели танца – мистер и миссис Вселенная; пара неустомимых новобрачных из Чаттануги и тому подобное, – порнографические картинки, замелькавшие в моем мозгу, то распалили, то умерщвляли мою плоть. (Я не мог и представить себе тогда – да и не поверил бы, если бы мне предсказали наступление такого золотого века, – что всего через каких-нибудь два-три десятка лет я смогу выйти на проспект и в душных киношках за пять долларов, без всяких сложностей, сколько угодно взирая на секс, подобно тому как конкистадоры взирали на Новый Свет...)



Я размечтался о милой Лесли Лапидас, так любившей употреблять нецензурные слова. Унижение, перенесенное мною в тщетных попытках овладеть ею, побудило меня в эти последние недели вычеркнуть ее из моих мыслей. Но сейчас я вызвал в памяти ее женские чары... О господи, как я желал ее, рисуя себе бурные объятия не только с нею, но и с двумя другими чаровницами, которые разожгли

во мне страсть. Это были, конечно, Мария Хант и Софи. Думая об этих трех женщинах, я внезапно осознал, что одна из них была чистокровной белой южанкой, другая – еврейкой и последняя – полькой; их отличало не только то, что они были такие разные, но и то, что все три умерли. Нет, не на самом деле (только одна из них, милая Мария Хант, отбыла к своему создателю), но исчезли

из моей жизни, умерли для меня, капут.

А не может моя тяга к ним, раздумывал я среди своих идиотских фантазий, объясняться сознанием, что все эти фарфоровые куколки прошли у меня между пальцами из-за какой-то моей трагической несостоятельности или ущербности? Или же то, что они мною навек утрачены – понимание, что они навсегда от меня ушли, – является подлинной причиной сжигавшего меня адского огня желания? У меня заломило руку. Я был потрясен собственной испорченностью и безрассудством. В воображении я быстро сменил партнерш. И Лесли каким-то образом превратилась в Марию Хант... А теперь я уже обнимал призрак Софи – я тотчас перестал владеть собою и в упоении громко произнес ее любимое имя. Отец мгновенно заворочался в своем темном углу. Я почувствовал, как он протянул руку и дотронулся до меня.

– Ты в порядке, сынок? – взволнованно спросил он. Я прикинулся спящим и пробормотал что-то, намеренно малопонятное. Но оба мы уже совсем проснулись.

Вместо обеспокоенности в голосе его прозвучала смешинка.

– Ты вскрикнул: «...сопли», – сказал он. – Видно, дурацкий был сон. Должно быть, ты задышался от насморка.

– Право, не знаю, что там было, – солгал я.

Он помолчал. Электровентилятор продолжал жужжать – звук его время от времени перекрывали ночные шумы города. Наконец отец произнес:

– Что-то тебя тревожит. Я это вижу. Ты не хочешь мне сказать, в чем дело? Вдруг я смогу помочь. Дело в девушке – я хочу сказать, в женщине?

– Да, – немного помолчав, сказал я, – в женщине.

– Не хочешь мне рассказать? У меня в свое время были сбои по этой части.

Я начал ему рассказывать и сразу почувствовал известное облегчение, хотя мое повествование было туманным и обрывочным: безымянная полька-эмигрантка, на несколько лет старше меня, невероятно красивая, жертва войны. Я смутно намекнул на Аушвиц, но ничего не сказал про Натана. У меня был с ней недолгий роман, продолжал я, но по ряду причин дело не сложилось. Я быстро прокрутил детали: детство она провела в Польше, приехала в Бруклин, поступила на работу, не может избавиться от недомогания. А в один прекрасный день, поведал я ему, она взяла и исчезла, и я не надеюсь, что вернется. С минуту я молчал, затем добавил стоическим тоном:

– Думаю, через какое-то время я с этим справлюсь.

Я дал ясно понять, что хочу переменить тему. Говоря о Софи, я почувствовал, как меня снова пронзила спазма боли, по телу волнами побежали мурашки.

Отец пробормотал несколько традиционно сочувственных слов, затем умолк.

– А как идет работа? – наконец произнес он. Я до сих пор всячески обходил эту тему. – Как продвигается эта твоя книжка?

Я почувствовал, что меня отпускает.

– Все шло вполне хорошо, – сказал я, – я смог неплохо поработать в Бруклине. Во всяком случае, до истории с этой женщиной – я имею в виду, до разрыва наших отношений. С тех пор все, по сути дела, застопорилось, по сути дела, остановилось. – Это было, конечно, не совсем так. Меня начинало мутить от страха при одной мысли, что вот я вернусь к Етте Зиммермен и возобновлю работу в душном вакууме, образовавшемся после исчезновения Софи и Натана, буду что-то писать в этом месте, наполненном мрачным эхом воспоминаний о том, как мы славно проводили вместе время и вот теперь ничего этого больше нет. – Думаю, я довольно скоро возобновлю работу, – вяло добавил я. Я чувствовал, что наш разговор начинает затухать.

Отец зевнул.

– Ну, если ты действительно хочешь снова засесть за свой труд, – пробормотал он сонным голосом, – та старая ферма в Саутхемптоне ждет тебя. Я знаю, это было бы отличным местом для работы. Надеюсь, ты подумаешь об этом, сынок.

Он снова захрапел, на сей раз не подражая обитателям зоопарка, а выдавая мощную канонаду, вроде той, что можно услышать в документальном фильме об осаде Сталинграда. Я в отчаянии зарылся головой в подушку.

Тем не менее я умудрился задремать и даже ненадолго заснул. Мне снился мой призрачный благодетель, юный раб Артист, и во сне его образ как-то слился с образом другого раба, о котором я узнал на много лет раньше, – Ната Тернера. Я проснулся с тяжким вздохом. Заря уже занялась. Я смотрел в потолок, освещенный опаловым светом, и слушал прерывистый вой полицейской сирены внизу на улице – звук становился все громче, все уродливее, все безумнее. Я слушал с легкой тревогой, которую всегда вызывает этот пронзительный звук беды, он постепенно исчез среди кроличьих садков Адовой Кухни, издав напоследок тонкую дьявольскую трель. «Боже мой, боже мой, – думал я, – как могут в нашем веке сосуществовать Юг и этот большой город с его воплями? Уму непостижимо».

Утром отец занялся приготовлениями к отъезду в Виргинию. Возможно, Нат Тернер породил поток воспоминаний, наполнивших меня поистине лихорадочной ностальгией по Югу, пока я лежал в разгоравшемся утреннем свете. А быть может, просто предложение отца бесплатно пожить в Тайдуотере на ферме показалось мне сейчас куда более привлекательным, поскольку любимых мною людей в Бруклине уже не было. Так или иначе, отец разинул от удивления рот, когда пережевывая резиновые блины в кафе «Макэлпина», я сказал ему, чтобы он купил второй билет и ждал меня на Пенсильванском вокзале. Я еду с ним на Юг и поселюсь на ферме, объявил я с неожиданным чувством облегчения и радости. Ему надо только отпустить меня на два-три часа, чтобы я мог упаковать вещи и расстаться с Еттой Зиммермен.

Однако, как я уже упоминал, все получилось иначе – во всяком случае, в то время. Я позвонил отцу из Бруклина и был вынужден сказать ему, что все-таки решил остаться в городе. Дело в том, что утром я увидел в Розовом Дворце Софи – она стояла одна посреди разбросанных вещей в той самой комнате, которую, как я думал, навсегда покинула. Я понимаю сейчас, что по таинственному совпадению явился тогда в решающий момент. Каких-нибудь десять минут спустя она уже собрала бы свои вещички и исчезла, и я, безусловно, никогда больше не увидел бы ее. Глупо строить догадки, что могло бы быть в прошлом. Но даже и сегодня я не могу не думать, не сложилось ли бы все лучше для Софи, не появился я тогда. Кто знает, может быть, ей удалось бы выкарабкаться, может быть, удалось бы выжить где-нибудь – где-то вне Бруклина или даже вне Америки. Или в любом другом месте.

Одной из наименее известных, но чрезвычайно гнусных операций, проводившихся нацистами по их генеральному плану, была программа под названием Lebensborn. Плод безумного увлечения нацистов филогенезом, Lebensborn (буквально – родник жизни) была создана для пополнения людского контингента Нового порядка, первоначально путем проведения систематизированной программы воспроизводства, затем путем организованного выявления на оккупированных территориях расово «подходящих» детей, которых потом отправляли в фатерланд и размещали в домах преданных приверженцев фюрера, где они росли в стерильно чистой национал-социалистской атмосфере. Теоретически детей должны были отбирать из числа чистокровных немцев. Однако многие из этих южных жертв были поляками, что лишний раз указывает на частые нарушения, цинично допускавшиеся нацистами в вопросе расовой принадлежности. Ведь поляки наряду с прочими славянскими народами считались недочеловеками, которые вслед за евреями подлежали истреблению, тем не менее по своим физическим данным дети во многих случаях удовлетворяли установленным нормам: лицом часто походили на представителей нордической расы и были светозарными блондинами, что наиболее отвечало эстетическому вкусу нацистов.

Lebensborn не достигла того размаха, на который рассчитывали нацисты, но она проводилась не без успеха. В одной только Варшаве десятки тысяч детей были отобраны у родителей, и подавляющее их большинство, став Карлами и Лизель, Генрихами и Труды, были поглощены рейхом и так никогда и не воссоединились со своими семьями. А кроме того, бесчисленное множество детей, прошедших первоначальный отбор, но потом не удовлетворивших более строгим расовым требованиям, было истреблено – некоторые в Аушвице. Осуществление этой программы, конечно, должно было держаться в тайне, как большинство омерзительных планов Гитлера, но подобные противозаконные действия едва ли могли остаться совсем уж нераскрытыми. В конце 1942 года пропал хорошенький светловолосый пятилетний сынишка подружки Софи, которая жила в соседней квартире их частично разбомбленного дома в Варшаве, и она никогда больше его не видела. Хотя нацисты старались прикрывать такие преступления дымовой завесой, всем, включая Софи, было ясно, кто их совершал. Впоследствии Софи не раз думала о том, как эта программа, которая в Варшаве наполняла ее таким ужасом, что она, заслышав тяжелые шаги на лестнице и холодея от страха, часто прятала своего сына Яна в шкаф, – как эта программа стала потом, в Аушвице, пределом ее мечтаний и лихорадочных надежд. А уговорила Софи прибегнуть к Lebensborn приятельница, такая же, как она, узница, – о ней мы расскажем позже, – и теперь Софи увидела в этом единственную возможность спасти жизнь Яну.

В тот день, когда у нее произошел разговор с Рудольфом Хессом, рассказывала мне Софи, она намеревалась завести речь об этой программе. Упомянуть о ней надо было умно, не впрямую, но это было возможно. В предшествовавшие дни Софи достаточно логично рассудила, что Lebensborn, пожалуй, единственный путь выволить Яна из Детского лагеря. Это было бы тем легче осуществить, что Ян, как и она сама, вырос, владея двумя языками: польским и немецким. Тут она рассказала мне то, о чем до сих пор умалчивала. Добившись расположения коменданта, она намеревалась просить его использовать свой огромный авторитет и отослать хорошенького маленького блондинчика-поляка, говорящего по-немецки, с присущими кавказской расе веснушками, синими, как васильки, глазами и точеным профилем маленького пилота люфтваффе, в какое-нибудь административное подразделение в Кракове, или Катовице, или Вроцлаве, или где-либо еще неподалеку, с тем чтобы его переправили оттуда в благополучное и безопасное место в Германии. Она не станет спрашивать, куда его пошлют; она даже поклянется никогда не выяснять, где он находится и какое его ждет будущее, – лишь бы быть уверенной, что он живет где-то в сердце рейха в надежном укрытии, ибо там он, скорей всего, выживет, тогда как в Освенциме, несомненно погибнет. Но в тот день все, конечно, пошло наперекосяк. В своем смятении и панике Софи напрямик стала умолять Хесса освободить Яна, а непредсказуемая реакция коменданта – его ярость – совершенно сбила ее с толку, и она уже не могла бы заговорить с ним о

Lebensborn, даже если бы вспомнила об этой программе. Тем не менее еще не все было потеряно. Надо было дожидаться новой возможности предложить Хессу этот невыразимо тяжкий для нее путь спасения сына; в результате странная мучительная сцена произошла между ним и Софи на другой день.

Но все это Софи рассказала мне не сразу. В тот день, в «Кленовом дворе», описав, как она упала перед комендантом на колени, она вдруг умолкла и, отвернувшись к окну, долго молчала. Потом неожиданно извинилась и ушла в дамский туалет. Заиграл музыкальный автомат – снова сестры Эндрюс. Я поднял глаза на засиженные мухами пластмассовые часы с рекламой виски «Карстэйрз»: было почти половина шестого, и я не без удивления понял, что Софи проговорила со мной почти весь день. Я никогда прежде не слышал о Рудольфе Хессе, но в своем простом, бесхитростном рассказе она обрисовала его так живо, что мне показалось, будто он явился мне в кошмарнейшем сне.



Однако было совершенно ясно, что она не может без конца говорить о таком человеке и о таком прошлом, и, значит, настоятельно требовался перерыв. Поэтому, хоть у меня и осталось ощущение недосказанности и тайны, я не собирался проявлять бестактность и просить ее продолжить рассказ. Мне хотелось отключиться от всего этого, хотя я еще никак не мог прийти в себя от сделанного открытия, что у Софи был сын. Ей явно дорого стоило выложить все это мне: я это понял, на мгновение увидев ее потусторонний взгляд, в котором таилась бездонная боль воспоминаний, таких мрачных, что ее рассудок был на грани срыва. Вот я и сказал себе, что эта тема – по крайней мере на время – закрывается.

Я велел неряшливому ирландцу-официанту принести пива и стал ждать Софи. Завсегдатаи «Кленового двора» – полицейские, отслужившие смену, лифтеры, производители строительных работ и всякие залетные птицы – начали заполнять бар, принося с собой легкие облачка пара после летнего ливня, продолжавшегося несколько часов. Над дальними границами Бруклина еще погромыхивал гром, но легкое постукивание дождя, напоминавшее дробные переборы одинокого чечеточника, подсказало мне, что ливень прекратился. Я слушал вполуха разговоры о том, как уклониться от уплаты налога – в то лето эта проблема доводила людей до помешательства. Внезапно мной овладело отчаянное желание напиться, и я стал накачиваться пивом. Отчасти это объяснялось рассказом Софи об Освенциме, оставившим у меня в носу ощущение смрада, схожего с тем, что исходил от прогнивших саванов и груды мокрых,

рассыпающихся костей на нью-йоркском кладбище для бедняков и бродяг, куда я однажды попал, – место на уединенном островке, о существовании которого я недавно узнал, что-то вроде Аушвица, где сжигают мертвецов и где, как и там, обитают узники. Я недолго находился на этом острове в конце моей военной карьеры. Сейчас я снова буквально ощутил этот запах склепа и, стремясь прогнать его, отхлебнул пива. Отчасти же причиной моего состояния была Софи, и я с внезапной тревогой посмотрел на дверь в дамский туалет – а что, если она сбежала, что, если исчезла? Я был не в силах сообразить, как справиться с этой новой ситуацией, в которую Софи вовлекла меня, или с этой тягой к ней, которая терзала меня, словно дурацкий патологический голод, и почти парализовала мою волю. Мое пресвитерианское воспитание, безусловно, не подготовило меня к таким переживаниям.

Самое страшное было, что я вроде бы только что вновь нашел Софи, и в тот момент, когда ее присутствие уже стало оказывать на меня свое благостное воздействие, она вроде бы снова намеревалась исчезнуть из моей жизни. Еще утром, когда я увидел ее в Розовом Дворце, она первым делом сказала мне, что уезжает. Она вернулась, только чтобы забрать оставленные вещи. Доктор Блэксток, как всегда внимательный: узнав о ее разрыве с Натаном, нашел ей крошечную, но вполне подходящую квартирку в центре Бруклина, гораздо ближе к его приемной, и она переезжала туда. Сердце у меня оборвалось. Было и без слов ясно, что, хотя Натан окончательно ушел от нее, Софи по-прежнему от него без ума: малейшее упоминание его имени заволакивало горем ее глаза. Но даже и без этого у меня не достало бы мужества сказать ей о своих чувствах; не мог я и последовать за ней в ее новое обиталище, отстоявшее на много миль от Розового Дворца, не показавшись полным идиотом, – не мог, даже если б у меня были на то средства. В этой ситуации я чувствовал себя связанным, с подрезанными крыльями, хотя Софи явно выходила из орбиты моего существования, оставляя меня с этой моей нелепой неразделенной любовью. Надвигавшаяся утрата представлялась мне настолько зловещей, что меня замутило. И необъяснимая тревога свинцовой тяжестью навалилась на меня. Поэтому, когда Софи бесконечно долго не появлялась из туалета (хотя на самом деле прошло, наверное, всего несколько минут), я встал с намерением ворваться в эти интимные покои, чтобы найти ее, и тут она – ах! – вышла из двери. К моему восторгу и удивлению, она улыбалась. Даже сейчас я часто вспоминаю Софи, какой увидел ее на другом конце «Кленового двора». Так или иначе – то ли случайно, то ли следуя высшему промыслу, – золотистый сноп крутящихся пылинок, прорвавшись сквозь последние тучи уходящей бури, на секунду лег на ее голову, образовав безупречный нимб, как на картинах Кватроченто.[230] Я весь горел желанием, и мне едва ли нужен был ангел, но именно в таком облике явилась она мне. Затем нимб исчез, и она уже шла ко мне в волнах шелковой юбки, сладострастно колыхавшейся на ее пышных бедрах, и я положительно слышал, как некий раб или осел в соляных копиях моей души

издал слабый, сдавленный вздох. Сколько же может так длиться, Язвина, сколько может так длиться, браток?

– Извини, что я так долго пропадала, Язвинка, – сказала она, садаясь рядом со мной. Ее оживление казалось невероятным после услышанной мною хроники. – В туалете я встретила старую русскую *bohémienne*[231] – ну, знаешь, *disease de bonne aventure*. [232]

– Кого-кого? – переспросил я. – А, ты хочешь сказать – гадалку. – Я уже несколько раз видел эту старуху в баре, одну из бесчисленных бруклинских цыганок-попрошайек.

– Да, она гадала мне по руке, – весело сказала Софи. – Она говорила со мной по-русски. И знаешь, что она сказала? Она вот так. Она сказала: «У тебя недавно было несчастье. Это связано с мужчиной. Несчастливая любовь. Но не бойся. Все устроится». Ну, не чудесно, Язвинка? Это же просто великолепно!

Я подумал тогда, как думаю и сейчас, – и да простится мне сексизм! – что самые здравомыслящие женщины способны стать легкой жертвой подобных безобидных оккультных *frissons*, [233] но я не задержался на этом мыслью и промолчал: предсказание явно обрадовало Софи, и я не мог не разделить ее радостного настроения. («Но что же это может значить? – заволновался я. – Натана ведь больше нет».) Тут по «Кленовому двору» заходили зябкие тени, а мне хотелось солнца, и я предложил пройтись по вечерним улицам. – Софи быстро согласилась.

Дождь вымыл Флэтбуш-авеню, и проспект сверкал чистотой. Где-то поблизости, видимо, ударила молния: на улице стоял запах озона, заглушавший даже ароматы кислой капусты и багелей. В глаза мне словно насыпало песку. Я усиленно моргал на слепящем солнце – после мрачных воспоминаний Софи и сумеречного «Кленового двора» доходные дома, обрамляющие Проспект-парк, казались неземными, ослепительно великолепными, почти как на Средиземноморье, как на зеленых пространствах Афин. Мы дошли до Уголка отдыха и засмотрелись на детишек, игравших в бейсбол на песке. Над нами в исполосованном тучками ультрамарине гудел неизменно появлявшийся в то лето над Бруклином самолет, за которым летело полотнище, рекламировавшее вечерние радости на ипподроме «У акведука». Довольно долго мы сидели на корточках, в заросшей сорняками, мокрой от дождя, пахнущей сыростью траве, пока я объяснял Софи правила игры в бейсбол; она серьезно слушала и с милым интересом внимательно на меня глядела. Я настолько увлекся собственной дидактикой, что все сомнения и недоумения по поводу прошлого Софи, возникшие в моем мозгу после ее долгого рассказа, наконец испарились – в том числе даже и самое страшное, покрытое тайной и недосказанностью: что же все-

таки было дальше с ее мальчиком?



Этот вопрос снова начал мучить меня, когда мы пошли к дому Етты, а нас отделял от него лишь короткий квартал. Я думал, сможет ли Софи когда-нибудь рассказать до конца про Яна. Но эти раздумья вскоре отошли на задний план. У меня появилась другая забота: я начал сильно беспокоиться по поводу самой Софи. Мои муки усилились, когда она снова упомянула, что вечером переедет на новую квартиру. Сегодня вечером! Было совершенно ясно, что «сегодняшний вечер» уже наступил.

– Мне будет не хватать тебя, Софи, – вырвалось у меня, когда мы поднимались по ступенькам Розового Дворца. Я слышал, как возмутительно дрожит у меня голос, звеня от отчаяния. – Мне действительно будет тебя не хватать!

– О, мы будем видеться, не волнуйся, Язвинка. Непременно будем! И потом, я ведь уезжаю не куда-то далеко. Я по-прежнему буду в Бруклине.

Тон, каким были произнесены эти слова, вселял некоторую уверенность, но хрупкую и анемичную: он означал преданность, даже известную любовь и желание (твердое желание) поддерживать связь. Но тон был далеко не тот, что вызывает вскрики и шепот. Дружеские чувства Софи ко мне питала – в этом я был уверен, – но не страсть, нет. А я на это, можно сказать, надеялся, хоть и не строил особых иллюзий.

– Мы часто будем вместе ужинать, – сказала она, пока я следом за нею поднимался на второй этаж. – Не забудь, Язвинка: мне тоже будет тебя не хватать. В конце концов, ведь ты есть мой единственный лучший друг, ты и еще доктор Блэксток.

Мы зашли к ней в комнату. Она уже выглядела как помещение, откуда съезжают жильцы. Меня поразило то, что комбайн все еще стоял там: Моррис Финк ведь вроде бы говорил, что Натан намеревался вернуться за ним, но явно этого не сделал. Софи включила радио, и из динамика полились звуки увертюры к «Руслану и Людмиле». Мелодия была романтически-помпезной, что мы оба с трудом выносили, но Софи не стала выключать радио, и в комнате загрохотали литавры, зацокали копыта татарских коней.

– Я сейчас напишу тебе мой адрес, – сказала Софи, роясь в сумочке. Сумка была дорогая – по-моему, марокканского производства, – из красивой тисненой кожи; я обратил на нее внимание только потому, что вспомнил, как несколько недель назад Натан с подчеркнутой любовью и гордостью подарил Софи эту сумку. – Ты будешь часто приходить ко мне, и мы будем вместе где-нибудь ужинать. В

том районе множество хороших и недорогих ресторанчиков. Интересно, где же эта бумажка с адресом? Я ведь даже не помню номера дома. Это где-то на улице под названием Камберленд, вроде бы недалеко от парка Форт-Грин. Мы сможем по-прежнему гулять вместе, Язвинка.

– Ох, но мне будет так одиноко, Софи, – сказал я.

Оторвавшись от созерцания радио, она проказливо подмигнула мне, явно не замечая моей неприкрытой софимании, да к тому же сказав такое, что я меньше всего хотел от нее услышать:

– Ты найдешь себе какую-нибудь красивую девушку, Язвинка, и очень скоро, я уверена. Такую очень сексуальную. Вроде этой хорошенькой Лесли Лапидас, только не такую кокетку, более *complaisante*...[234]

– О господи, Софи, – вздохнул я, – избавь ты меня от всех этих Лесли.

Тут вдруг что-то в происходящем – скорый отъезд Софи, а также эта сумка и опустевшая комната, напоминавшая о Натане и совсем недавнем прошлом, когда мы слушали музыку, и было так весело, и мы так замечательно проводили вместе время, – все это настолько выбило меня из колеи, преисполнило таким гибельным мраком, что у меня снова вырвался вздох, достаточно громкий, и я у видел, как в глазах Софи вспыхнуло и рассыпалось бисером удивление. Уже не владея собой, я вдруг крепко схватил ее за плечи.



– Натан, – воскликнул я. – Натан! Натан! Что, ради всего святого, между вами произошло? Что произошло, Софи? Скажи мне? – Я стоял так близко к ней, нос к носу, и увидел, как две-три капельки моей слюны попали ей на щеку. – Сегодня этот невероятный человек в тебя

безумно влюблен, этот принц из сказки обожает тебя – я же видел это по его лицу, Софи, он тебя просто боготворит, – и вдруг он вычеркивает тебя из своей жизни! И не говори мне, что это из-за какого-то ерундового подозрения, будто ты была неверна ему, как он сказал в тот вечер в «Кленовом дворе». Тут должен быть какой-то более глубокий смысл, какая-то более глубокая причина. А как он поступает со мной? Со мной? Со мной! – Я принялся бить себя в грудь, стремясь подчеркнуть свою причастность к трагедии. – Как он со мной обошелся, этот малый? Я хочу сказать, Софи, господи, мне же не надо тебе это объяснять,

верно? Натан стал мне как брат, как брат, черт бы его подрал. За всю жизнь я никогда еще не встречал такого, как он, – более умного, более щедрого, более смешного и веселого, более... о Господи, просто такого замечательного. Я же любил этого малого! Я хочу сказать, ведь, по сути дела, это Натан, прочитав мой первый опус, вселил в меня уверенность и наставил на писательский путь. Я-то считал, что он поступил так из любви. И вдруг, непонятно почему – без всяких, черт побери, оснований, Софи, – он налетает на меня, точно пес на кроликов. Налетает, говорит, что все мое писание – дерьмо, ведет себя со мной так, точно я самый последний из мерзавцев. И потом вырубает меня из своей жизни так же решительно и окончательно, как и тебя. – Голос у меня, как всегда, когда я не владею собой, на несколько октав взмыл вверх, превратившись в меццо-сопрано. – Мне это невыносимо, Софи! Что же нам теперь делать?

По лицу Софи текли, блестя, ручьи слез, и я понял, что не следовало мне так выплескивать свои чувства. Надо было крепче держать себя в руках. Я понял, что причинил бы ей меньшую боль, даже если бы безжалостно сорвал швы с воспалившейся на ее теле раны, так что в руках у меня остался бы жуткий комок ниток и поврежденной кожи. Но я ничего не мог с собой поделать: я чувствовал, как ее горе, сливаясь с моим, бьет мощной струей и течет дальше, а я продолжаю бесноваться.

– Нельзя принимать любовь, а потом так оплевать ее. Это несправедливо! Это... это... – Я начал заикаться. – Ей-богу, это бесчеловечно!

Софи зарыдала и отвернулась от меня. Свесив руки, она, словно сомнамбула, прошла через комнату к кровати. И вдруг рухнула на покрывало, зарывшись лицом в ладони. Она не издавала ни звука – только плечи ее сотрясались. Я подошел к кровати и остановился, глядя на Софи.

– Софи, – сказал я, стараясь справиться с голосом, – прости меня за все. Но я просто ничего не понимаю. Я совсем не понимаю Натана и, наверное, совсем не понимаю тебя. Хотя в тебе мне, пожалуй, легче разобраться, а вот в нем разобраться я никогда не смогу. – Я умолк. Я понимал, что снова раню ее, упомянув о том, о чем она явно не желала говорить – да разве она сама собственными устами не предупредила меня об этом? – но я не мог не сказать того, что считал нужным. Я протянул руку и легонько положил ладонь на ее голый локоть. Кожа была очень теплая и словно пульсировала под моими пальцами, как горлышко испуганной птицы. – Софи, в тот вечер... в тот вечер в «Кленовом дворе», когда он... когда он выбросил нас из своей жизни. В тот страшный вечер. Ведь он же знал, что у тебя там был сын: ты мне только что сказала, что посвятила его в эту тайну. Как же он мог быть таким жестоким, как мог так зло тебя попрекать, спрашивать, как ты выжила, когда стольких людей... – слова не шли у меня с языка, в горле стоял ком, но я сумел все же вытолкнуть

их: — ...удушили газом. Разве можно так с тобой поступать? Разве можно любить и быть таким невероятно жестоким?

Она какое-то время хранила молчание — просто лежала, зарывшись лицом в ладони. Я сел подле нее на край кровати и принялся поглаживать ее приятно-теплую — даже, пожалуй, горячую — руку, старательно обходя метину от прививки. С этого места мне отчетливо видна была мрачная иссиня-черная татуировка, удивительно ровный ряд цифр — этакая маленькая колючая проволока из аккуратных знаков, среди которых была семерка со старательно проставленной на европейский манер черточкой. Пахло духами с травяным ароматом, какими часто пользовалась Софи. Неужели такое возможно, Язвина, спрашивал я себя, — неужели она когда-нибудь полюбит тебя? Я вдруг подумал, осмелюсь ли я сейчас обнять ее. Нет, решительно нет. Она лежала такая до ужаса незащищенная, да и мои излияния измотали меня, лишили душевного равновесия и не оставили ни грана желания. Передвинув пальцы выше, я коснулся прядей ее светлых, как масло, волос. Наконец я понял, что она перестала плакать. И услышал ее слова:

— Он не виноват. В нем всегда сидел этот демон, этот демон, который вылезает наружу, когда у него начинается такая *tempête*. И тогда демон берет над ним верх, Язвинка.



Не знаю, какой образ в эту минуту — а оба они возникли почти одновременно на

краю моего сознания – вызвал у меня дрожь: черное чудовище Калибан[235] или страшный голем Морриса Финка. Но я почувствовал, как вздрогнул всем телом, и, еще не вполне успокоившись, спросил:

– Что значит «демон», Софи?

Она ответила не сразу. Долго молчала, потом подняла голову и сказала тихо, деловитым тоном, повергшим меня в полное изумление – настолько он не вязался с ее характером и принадлежал совсем другой Софи, которой до этого дня я не знал.

– Язвинка, – сказала она, – я не могу вот так взять и уехать отсюда. Слишком много воспоминаний. Окажи мне большую услугу. Пожалуйста. Сходи на Черча-авеню и купи бутылку виски. Я очень хочу напиться.

Я принес ей виски – почти литровую бутылку, – и оно помогло ей рассказать мне про тяжелые минуты, что бывали у нее с Натаном в течение этого бурного года до моего появления на сцене. Все это, наверное, не было бы необходимости здесь пересказывать, если бы Натан не вернулся и снова не завладел нашими жизнями.

В Коннектикуте, на красивом, вьющемся среди деревьев шоссе, которое протянулось с севера на юг вдоль реки между Нью-Милфордом и Кейнаном, стоит старая деревенская гостиница с покатыми дубовыми полами, а в ней есть залитая солнцем белая спальня с вышивками на стене; внизу тяжело дышат, высунув язык, два мокрых ирландских сеттера и пахнет яблоневым деревом, горящим в камине, и там, рассказала мне в тот вечер Софи, Натан пытался лишить ее жизни, а потом и себя в так называемом «пакте самоубийства». Было это осенью, когда уже пламенели листья, через несколько месяцев после того, как судьба свела их в библиотеке Бруклинского колледжа. Софи сказала, что она запомнила бы этот страшный эпизод по многим причинам (к примеру, Натан тогда впервые по-настоящему повысил на нее голос), но никогда не сможет вычеркнуть из памяти главное – его яростное требование (опять-таки впервые за то время, что они были вместе) представить ему удовлетворительное объяснение, каким образом она выжила в Аушвице, тогда как «все остальные» (как он выразился) погибли.

Когда Софи описала мне, как он ее запугивал, а затем рассказала скорбную хронику последующих событий, я, конечно, сразу вспомнил дикое поведение Натана в тот вечер в «Кленовом дворе», когда он так непреклонно, так недобро распрощался с нами. Я хотел было указать Софи на сходство в его поведении и спросить, что она об этом думает, но она в этот момент запихивала в рот спагетти, дымящиеся горы которых подают в итальянском ресторанчике на

Кони-Айленд-авеню, куда они с Натаном часто ходили, и была настолько поглощена хроникой их совместной жизни, что я заколебался, беспомощно дрогнул и промолчал. Я подумал о виски. То, как Софи обращалась с виски, озадачивало – озадачивало и удручало. Она пила, точно польский гусар, – можно было лишь удивляться, глядя, как эту уравновешенное, прелестное и обычно невероятно корректное существо поглощает алкоголь: целая четверть бутылки «Сиграма», которую я купил ей, была опустошена к тому времени, когда мы отправились на такси в ресторан. (Она настояла на том, чтобы взять с собой бутылку, к которой я – необходимо добавить – не прикоснулся, держась, как всегда, пива.) Я приписал это ее новое пристрастие горю, вызванному уходом Натана.

Но и в таком случае меня больше поражало не столько количество выпитого, сколько то, как Софи пила. А дело в том, что этот крепкий, восьмидесятишестипроцентный, напиток, лишь немного разбавленный водой, никак не влиял ни на речь Софи, ни на ход ее мыслей. Во всяком случае, так было, когда я впервые заметил ее новое увлечение. Внешне вполне владея собой – ни один ее светлый локон не был растрепан, – Софи опрокидывала стакан за стаканом, широко улыбаясь, точно барменша из романов Хогарта. «Интересно, – подумал я, – может, у нее какая-то генетическая или культурная адаптация к алкоголю, свойственная славянским народам, кажется, в такой же мере, как кельтам». Помимо нежного румянца, «Сиграм-7» только в двух отношениях повлиял на нее и на ее манеру держаться. Он превратил ее в неумную болтунью. Заставил все выложить. Правда, она ничего от меня не утаивала и прежде, рассказывая о Натане, или о Польше, или о прошлом. Но виски преобразило ее речь в поток слов, изливавшийся в неспешных каденциях. Дикция Софи стала мягче, и многие из характерных для польского языка шипящих звуков магически сгладились. Повлияло на нее виски и в другом отношении – невероятно соблазнительном. Соблазнительном и в то же время безумно огорчительном: вся ее скрытность по части секса рухнула. Я смущенно ерзал от неловкости и одновременно восторга, когда она стала рассказывать мне о своей интимной жизни с Натаном. Это было так очаровательно откровенно, безыскусно, произносилось таким веселым голосом, словно говорил ребенок, научившийся непристойной латыни.

– Он говорил, что у меня роскошная задница, – с оттенком ностальгии объявила она и, чуть помолчав, сообщила: – Мы обожали заниматься любовью перед зеркалом.

Боже, если бы она только знала, какие сладкие видения роились в моей голове, пока ее язычок произносил эти дивные слова.

Но по большей части настроение у нее было похоронное, и она упорно говорила

о Натане в прошедшем времени, словно рассказывала о человеке, давно умершем и похороненном. А когда она поведала мне об этом их «пакте самоубийства» в тот уик-энд в морозном Коннектикуте, меня это огорчило и удивило. Мне казалось, после этой мрачной истории уже ничто не могло меня больше удивить, однако, рассказав мне об этом несостоявшемся свидании со смертью, Софи вскоре сообщила еще одну зловещую новость.

– Ты знаешь, Язвинка, – несколько нерешительно сказала она, – знаешь, Натан ведь всю жизнь принимал наркотики. Я не знаю, ты мог это заметить или нет. В общем, я почему-то не была до конца честной с тобой. Я не могла про это даже намекнуть.



«Наркотики, – подумал я, – великий боже!» Мне, право, было очень трудно этому поверить. Современный читатель, скорее всего, уже догадался обо всем из моего рассказа, но я в ту пору, безусловно, ни о чем не догадывался. В 1947 году я был так же наивен по части наркотиков, как и по части секса. (О, эти кроткие сороковые и пятидесятые годы!) Наша нынешняя наркомания даже еще и не брезжила на горизонте, и мое представление о наркоманах (если я вообще когда-либо думал о подобных вещах) ограничивалось «потребителями наркотиков»: сумасшедшими, сидящими, выкатив глаза, в смиренных рубашках в отгороженных от мира больницах; сладкоголосыми растлителями малолетних;

зомби, блуждающими по закоулкам Чикаго; коматозными китайцами в прокуренных норах, и тому подобными. Употребление наркотиков считалось пределом падения, чем-то почти столь же порочным, как определенные половые акты, которые, пока я не достиг по крайней мере тринадцати лет, представлялись мне в виде грубого насилия, когда этакий пьяный верзила, небритый беглый каторжник, не снимая ботинок, набрасывается в темном углу на крашеную блондинку. Что же до наркотиков, то я, безусловно, понятия не имел, что существуют разные их типы с тонкими градациями между ними. Думается, я не мог бы назвать ни одного наркотика, кроме опиума, и то, что Софи открыла мне про Натана, подействовало на меня так, как если бы я услышал, что он совершил преступление. (Испытанный мною шок и объяснялся тем, что это было преступление.) Я сказал Софи, что такого не может быть, но она заверила меня, что это правда; несколько оправившись от шока, я тогда почувствовал любопытство и спросил Софи, что же он употреблял, – тут я впервые услышал слово «амфетамин».

– Он принимал такую штуку – называется бензедрин, – сказала она, – и еще кокаин. Но такие огромные дозы. Иногда он делался совсем сумасшедший. Он легко достает все это у «Пфайзера», в лаборатории, где он работает. Хотя, конечно, тайно.

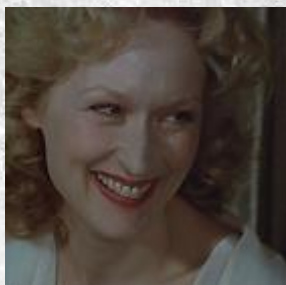
«Так вот, значит, что, – в изумлении подумал я, – вот что стоит за всеми этими вспышками ярости, взрывами жестокости и паранойей. До чего же я был слеп!»

Да, продолжала Софи, она теперь понимает, что большую часть времени Натан, несмотря на свое пристрастие, умел держать себя в руках. Он всегда был легковозбудимым, живым, разговорчивым, взволнованным; поскольку в первые пять месяцев их связи (а они все время были вместе) он редко на ее глазах принимал эту дрянь, она далеко не сразу связала наркотики со взвинченностью Натана, считая это просто обычным его поведением. Она сказала далее, что весь прошлый год он своим отношением – будь то под влиянием наркотиков или без них, – своим присутствием в ее жизни, самым своим существованием подарил ей счастливейшие дни. Она поняла тогда, какой была беспомощной, как плыла по течению, когда приехала в Бруклин и поселилась в меблированных комнатах Етты; пытаясь опереться на рассудок, пытаясь отбросить прошлое подальше от границ памяти, она считала, что вполне владеет собой (ведь разве доктор Блэксток не говорил ей, что она самая толковая секретарь-регистратор из всех, какие у него были?), а на самом деле она была на грани эмоционального срыва и распорядилась своим будущим не больше, чем щенок, брошенный в водоворот.

– Тот мерзавец, который щупал меня в тот день в метро, заставил меня это понять, – сказала Софи.

Хотя Софи и быстро оправилась от этой травмы, она понимала, что катится вниз – катится с фатальной стремительностью, – и ей невыносимо было даже подумать о том, что было бы с ней, если бы Натан (который, как и она, забрел в тот памятный день в библиотеку в поисках давно раскупленной книги рассказов Эмброза Бирса – да будет благословен Бирс! Хвала Бирсу!), – если бы Натан не появился из ниоткуда, словно рыцарь-освободитель, и не вернул ее к жизни.

Вернул к жизни. Только и всего. Он фактически подарил ей жизнь. Он восстановил ей (с помощью своего брата Ларри) здоровье, поместив в Колумбийскую пресвитерианскую больницу, где ее вылечили от этого кровососа, анемии, а талантливый доктор Хэтфилд нашел еще несколько хворей, объясняемых недостатками питания. Во-первых, он обнаружил, что даже после стольких месяцев пребывания на воле она страдала от остаточных цинготных явлений. И прописал ей большущие пилюли. Вскоре уродливые синяки, покрывавшие все ее тело, исчезли, но самая удивительная перемена произошла с волосами. Красивые золотистые волосы, которые неизменно были предметом ее гордости, побывав в Гадесе,[236] претерпели, как и все ее тело, изменения – посекались, стали тусклыми, ломкими. Лечение доктора Хэтфилда все изменило, и довольно скоро – месяца через полтора – Натан уже урчал, как голодный кот, уткнувшись в их пышное изобилие, поглаживая их и утверждая, что Софи надо сниматься для рекламы шампуней.



В самом деле, под наблюдением Натана великолепная американская медицина сделала из Софи почти совсем здоровую, улыбающуюся жизни женщину – в той мере, в какой это возможно, когда человек прошел через такие страшные испытания, – и дала ей роскошные новые зубы. На месте временных зубов, поставленных врачами Красного Креста в Швеции, появились резак, как именовал их Натан, творения рук второго друга и коллеги Ларри – одного из лучших практикующих протезистов Нью-Йорка. Это были зубы незабываемые. Поистине равные творениям Бенвенуто Челлини. Зубы сказочные, отливавшие льдистым перламутром: всякий раз, как Софи широко раскрывала рот, я вспоминал о крупных планах Джин Харлоу в момент поцелуя, а когда однажды памятным солнечным днем Софи рассмеялась, эти ее зубы осветили всю комнату.

Словом, вернувшись в страну живых, Софи не могла не ценить то чудесное время, которое она провела с Натаном тем летом и ранней осенью. Его щедрость не знала границ, и, хотя жажда роскоши не была свойственна Софи, ей нравилась красивая жизнь, и она принимала дары Натана с удовольствием – удовольствием, которое ей доставляли не только сами вещи, но и то, с какой радостью он дарил их ей. А он дарил ей и делил с нею все, что могло бы прийтись ей по вкусу: альбомы с прекрасными пластинками, билеты на концерты, польские, и

французские, и американские книги, божественные обеды и ужины в ресторанах самой разной этнической принадлежности, разбросанных по всему Бруклину и Манхэттену. Натан обладал не только нюхом на вино, но и изощренным вкусом – то была реакция, как он говорил, на губчатый креплах и фаршированную рыбу, которыми его кормили в детстве, и ему доставляло несомненную радость приобщать Софи к невероятному и многообразному нью-йоркскому пиру.

Деньги, казалось, никогда не были для него проблемой: ему явно хорошо платили у «Пфайзера». Он покупал Софи красивые платья (в том числе забавные маскарадные костюмы, в которых я впервые их обоих увидел), кольца, серьги, браслеты на запястья и на щиколотки, бусы. Потом они ходили в кино. Во время войны Софи скучала по фильмам почти так же сильно, как по музыке. Бывало время, когда в довоенном Кракове она буквально не вылезала из кино, увлеченная американскими фильмами – откровенно наивными, романтическими историями тридцатых годов, где играли такие звезды, как Эррол Флинн и Мэри Оберон, Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард. А еще Софи обожала Диснея, в особенности «Микки Мауса» и «Белоснежку». И – о боже! – какими были Фред Астер и Джинджер Роджерс в «Цилиндре»! И вот в Нью-Йорке, этом театральном раю, они с Натаном иной раз целые уик-энды просиживали в кино – смотрели до покраснения глаз по пять, шесть, семь фильмов с вечера пятницы и до последнего сеанса в воскресенье. Почти все, что имела Софи, появилось у нее щедротами Натана, включая даже (сказала она со смешком) колпачок. Отправив Софи еще к одному из коллег Ларри, чтобы он вставил ей колпачок, Натан, так сказать, завершил и, пожалуй, искусно добавил определенный символический штрих к своей программе восстановления здоровья Софи; она никогда раньше не пользовалась колпачком и приняла его с чувством благодарности и раскрепощения, видя в этом свой окончательный разрыв с церковью. Но колпачок раскрепостил ее и в другом смысле.

– Язвинка, – сказала она, – я в жизни не думала, что два человека могут столько много заниматься любовью. И получать от этого такое удовольствие.

Единственным шипом в этом букете роз, сказала мне Софи, была ее работа. То, что она продолжала работать у хиропрактика доктора Хаймана Блэкстока. Для Натана, брата первоклассного врача, молодого человека, который считал себя настоящим ученым (и для которого каноны медицинской этики были столь же священны, как если бы он давал клятву Гиппократу), сама мысль, что Софи работает на этого шарлатана, была почти невыносима. Он напрямик заявил ей, что, с его точки зрения, это равноценно проституции, и умолял бросить работу. Долгое время он просто подшучивал над всем этим, придумывая разные анекдоты и истории про хиропрактиков и про то, как они околпачивают народ, – Софи слушала его и не могла не смеяться: шуточный тон его рассказов позволил ей прийти к выводу, что его возражения не следует принимать всерьез. Но даже

и тогда, когда его протесты зазвучали громче, а критика стала серьезнее и резче, Софи решительно отказывалась даже думать о том, чтобы уйти с работы, как бы Натану это ни было неприятно. В этом случае – а таких насчитывалось немного – она не в состоянии была подчиниться ему. И твердо стояла на своем. В конце концов, она же не замужем за Натаном. Ей необходима хоть какая-то независимость. Как она могла лишиться заработка, когда заработок в том году было так дьявольски трудно получить, особенно молодой женщине, которая (как Софи неоднократно указывала Натану) не обладала «никакими талантами». А кроме того, ей было там очень спокойно – она могла говорить со своим хозяином на родном языке, да и вообще она искренне привязалась к Блэкстоку. Он был для нее как крестный или любимый дядюшка, и она этого не скрывала. Увы, она со временем поняла, что эти абсолютно невинные теплые отношения, в которых не было ничего романтического, Натан толковал превратно и она своими объяснениями только подливала масла в огонь, разжигая его враждебность. Все это выглядело бы, пожалуй, даже комично, если бы в ревности Натана не было зерен жестокости и даже кое-чего похуже...

Некоторое время назад произошла нелепая трагедия, которая косвенно затронула Софи и о которой следует здесь рассказать хотя бы потому, что она в известной мере поясняет все предшествующее. Связано это с женою Блэкстока Сильвией, которая была «тяжелой алкоголичкой»; само же страшное событие случилось через четыре месяца после того, как Софи и Натан стали в начале осени встречаться...



– В глубине души я знал, что она алкоголичка, – в отчаянии жаловался потом Блэксток Софи, – но понятия не имел, насколько это серьезно. – Терзаясь

чувством вины, он признался в своей преднамеренной слепоте: из вечера в вечер, возвращаясь из своего кабинета домой в Сент-Олбенс, он старался не замечать, как у Сильвии после одного-единственного коктейля – обычно «Манхэттена», – который он готовил для них обоих, начинает заплетаться язык; он объяснял ее путаную речь и нетвердую походку просто тем, что она плохо переносит алкоголь. Тем не менее он понимал, что обманывает себя и в своей отчаянной любви к жене бежит от правды, которая наглядно выявилась через несколько дней после ее смерти. В шкафу в ее гардеробной – святая святых, куда Блэксток никогда не заходил, – было найдено свыше семидесяти пустых кварт из-под «Сазер комфорт», которые бедная женщина, видимо, боялась даже выбросить, хотя явно без труда покупала крепкое сладкое питье ящиками и прятала у себя. Блэксток понял – вернее, позволил себе понять, хотя было уже слишком поздно, – что жена пила многие месяцы, а может быть, и годы.

– Если бы только я ее так не баловал, – сокрушался он, изливая душу Софи. – Если бы только я посмотрел фактам в лицо: она же была... – он помолчал, не решаясь произнести слово, – пьяницей. Ведь можно было бы полечить ее психоаналитической терапией, она бы выздоровела. – Страшно было слушать, как он казнил себя. – Это моя вина, целиком моя! – рыдал он. И главным в его горе было то, что, подозревая в общем о ее страшной беде, он разрешал ей водить машину.

Сильвия была его любимой зверюшкой. Он так и называл ее – моя зверюшка. Ему не на кого было больше тратить деньги, и потому он никогда не жаловался, как все мужья, а фактически поощрял ее частые выезды в Манхэттен за покупками. В компании подруг – таких же полных и румяных бездельниц, как и она, – Сильвия совершала налеты на большие модные магазины «Алтмен», «Бергдорф» и «Бонуит», а также с полдюжины других поменьше и возвращалась в Куинс с горою коробок на заднем сиденье; содержимое большинства из них так и лежало нетронутым в ее ящиках или висело в необъятных шкафах, где Блэксток потом обнаружил десятки и десятки ни разу не надеванных туалетов и платьев с легким налетом плесени. Блэксток, однако, не знал – и узнал, лишь когда это прискорбное обстоятельство уже невозможно было исправить, – что после оргии приобретательства Сильвия напивалась с очередной подругой; она стала завсегдатаем комнаты отдыха в отеле «Уэстбери» на Мэдисон-авеню, где бармен был доброжелательный, снисходительный и неболтливый. Но умение поглощать «Сазерн комфорт», который и в «Уэстбери» оставался ее излюбленным напитком, стало быстро изменять ей, и беда настигла ее неожиданно, страшно и, как я уже сказал, до неприличия нелепо.

Возвращаясь однажды днем в Сент-Олбенс по мосту Триборо, она потеряла управление машиной – а ехала она на дикой скорости (полиция сообщила, что спидометр стоял на отметке 85 миль в час), – врезалась сзади в грузовик, и ее

«крайслер» отбросило к перилам моста, где он мгновенно разлетелся на куски, превратившись в груды стальных и пластмассовых обломков. Подруга Сильвии миссис Браунстайн умерла в больнице через три часа. А у Сильвии оторвало голову, что было уже само по себе ужасно; к поистине же безумному горю Блэкстока добавилось то, что голова от страшного удара катапультировалась в воды Ист-Ривер. (Бывают в жизни каждого из нас странные случаи, когда встречаешь человека, связанного с событием, которое ты воспринял как нечто абстрактное, не имеющее к тебе отношения: весной я с дрожью прочел в «Дейли миррор» заголовок «В реке продолжают поиски женской головы», едва ли думая, что вскоре буду отдаленно связан с супругом жертвы.)

Блэксток буквально был на грани самоубийства. Его горе было безбрежно, как разлившаяся Амазонка. Он прервал на неопределенный срок практику, отдав пациентов в руки своего помощника Сеймура Катца. Он жалобно объявил, что, возможно, никогда больше не станет врачевать, а отойдет от дел и уедет в Майами-Бич. У доктора не было близких родственников, и горе его было столь неумным и жгучим, что не могло не тронуть Софи, и она попыталась стать для него как бы родственницей, младшей сестрой или дочерью. В течение нескольких дней, пока шли поиски головы Сильвии, Софи почти все время находилась возле Блэкстока, в его доме в Сент-Олбенс: давала ему успокоительное, готовила чай, терпеливо выслушивала его плач по жене. Десятки людей приходили и уходили, но главной опорой Блэкстока была она. Надо было решать проблему похорон: Блэксток не желал хоронить жену без головы; крепко взяв себя в руки, Софи вынуждена была выслушивать его жуткие теоретизирования на сей счет. (А что будет, если ничего не найдут?) Но, по счастью, голова вскоре была обнаружена: ее выбросило на берег на острове Райкера. Именно Софи ответила на звонок из городского морга, и именно ей – по настоятельному совету эксперта-медика удалось (хотя и с большим трудом) убедить Блэкстока отказаться от последнего взгляда на останки своей жены. Тело Сильвии, собранное наконец воедино, упокоилось на еврейском кладбище на Лонг-Айленде. Софи была поражена, увидев, сколько друзей и пациентов доктора пришло на похороны. Среди тех, кто оплакивал уход Сильвии из жизни, был личный представитель мэра Нью-Йорка, высокопоставленный инспектор полиции, а так же Эдди Кантор, знаменитый радиосатирик, чью спину лечил Блэксток.

Возвращаясь в Бруклин в лимузине похоронного бюро, Блэксток приткнулся к Софи и отчаянно зарыдал, повторяя по-польски, как много она для него значит, совсем как родная дочь: ведь у них с Сильвией не было детей. Никаких принятых у евреев бдений Блэксток не устраивал. Он предпочел одиночество. Софи поехала с ним в Сент-Олбенс и помогла немного привести в порядок дом. Под вечер Блэксток, невзирая на все возражения Софи, твердившей, что она поедет на метро, отвез ее в Бруклин на своем похожем на баржу «Флитвуде» и

высадил у дверей Розового Дворца в осенних сумерках, начинавших опускаться над Проспект-парком. Блэксток казался много спокойнее и даже позволил себе одну-две шуточки. Он проглотил также один или два стакана сильно разбавленного виски, хотя вообще был человеком непьющим. Но, стоя с Софи у дома в сгущающихся сумерках, он вдруг опять сломался, судорожно припал к ней и уткнулся носом ей в шею, что-то бессвязно бормоча на идиш и всхлипывая, — она еще ни разу не слышала, чтобы так натужно всхлипывал мужчина. Он с такой силой, в таком горе прильнул к ней, так всецело с нею слился, что Софи подумалось, не стремится ли он в своем отчаянии обрести что-то большее, а не просто утешение и дочернюю поддержку — она чувствовала, как он всем телом прижался к ней с почти сексуальной страстью. Но она тотчас выбросила эту мысль из головы. Он ведь такой пуританин. И, если на протяжении всего этого времени, что она работала у него, Блэксток ни разу не пытался к ней пристать, едва ли он станет это делать сейчас, в таком горе. Это предположение впоследствии подтвердится, хотя у Софи будет основание пожалеть о том долгом, влажном и довольно неуклюжем объятии. Дело в том, что по чистой случайности Натан сверху все это наблюдал.

Софи до смерти устала утешать доктора в его горе и собиралась пораньше лечь. А кроме того, с возрастающим волнением подумала она, надо пораньше лечь еще и потому, что наутро, в субботу, они с Натаном решили отправиться в Коннектикут. Софи уже много дней нетерпеливо ждала этой экскурсии. Хотя ребенком, в Польше, она слышала об удивительном пожаре красок, расцветивающих в октябре листву в Новой Англии, Натан еще больше подогрел ее любопытство, описав в своей чудесной экстравагантной манере то, что она увидит: он сказал ей, что это поразительное зрелище, этот уникальный костер



природы — явление чисто американское и из эстетических соображений его никак нельзя пропустить. Он сумел снова выпросить у Ларри машину на уик-энд и заказал номер в пользующейся известностью деревенской

гостинице. Одного этого было бы уже достаточно, чтобы разжечь аппетиты Софи, да к тому же она еще ни разу не выезжала за пределы Нью-Йорка, если не

считать поездки на кладбище и одного-единственного дня, проведенного с Натаном летом в Монтоке. Таким образом, это новое познание Америки, сулившее буколические улады, наполняло ее восторгом и радостным предчувствием, каких она не испытывала с детства, когда поезд, пыхтя, отходил летом от краковского вокзала в направлении Вены и Альто-Адидже и покрытых клубящимся туманом Доломитовых Альп.

Поднимаясь на второй этаж, Софи раздумывала о том, что ей надеть: погода стала прохладной, и она пыталась прикинуть, какой из ее затейливых туалетов будет наиболее подходящим для прогулок по октябрьскому лесу, затем вдруг вспомнила, что всего две недели тому назад Натан подарил ей легкий твидовый костюм от «Эйбрахам энд Штраус». Ступив на площадку, она услышала Триумфальную песню Брамса, звучащую на комбайне, и низкий ликующий голос Мариан Андерсон, победно струившийся, вырвавшись из бездны отчаяния. Может быть, от усталости, а может быть, как следствие похорон, но только музыка стиснула ей горло спазмой, и глаза ее наполнились слезами. Софи ускорила шаг, и сердце у нее забилося сильнее, так как она знала: раз звучит музыка, значит, Натан тут. Но, открыв дверь со словами: «Вот я и дома, дорогой!», она, к своему удивлению, никого в комнате не обнаружила. А она ожидала увидеть Натана. Он же сказал, что будет дома после шести, но вот ушел.

Она прилегла, решив вздремнуть, но была так измучена, что проспала, хоть и беспокойно, достаточно долго. Проснувшись в темноте, она увидела по мутно-зеленым стрелкам будильника, что уже больше десяти, и тотчас всерьез встревожилась. Натан! Это было так непохоже на него – он всегда приходил вовремя или по крайней мере оставлял записку. Она в ужасе подумала, что он ее бросил. Она вскочила с кровати, включила свет и бесцельно зашагала из угла в угол. Она думала лишь о том, что он, наверно, вернулся с работы, затем вышел за чем-то и на улице с ним случилось какое-то страшное несчастье. Она вспомнила, что во сне не раз слышала полицейскую сирену – верный знак беды. Какая-то частица разума подсказывала ей, что глупо паниковать, но она ничего не могла с собой поделать и выкинуть такие мысли из головы. Ее любовь к Натану была столь всеобъемлющей и одновременно она столь по-детски во многом зависела от него, что ужас, вызванный его необъяснимым отсутствием, совершенно лишал ее рассудка – девочкой она часто испытывала подобный удушающий страх, страх, что родители могут ее бросить. Как и тогда, она понимала, что этот страх неразумен, но спасения от него не было. Она включила радио, пытаясь отвлечься новостями. Шагая по комнате, она представляла себе самые жуткие несчастья и уже готова была разрыдаться, как вдруг дверь с шумом распахнулась, и вошел Натан. В этот миг Софи испытала такое блаженство, точно ее вдруг озарило светом, точно она возродилась из мертвых. Она помнила, что подумала тогда: «Это же невероятно, чтобы можно было так

любить».

Он чуть не задушил ее в объятиях.

– Пошли в постельку, – шепнул он ей на ухо. И тут же спохватился: – Нет, подождем. У меня для тебя сюрприз.

Она дрожала в его медвежьих объятиях, слабея от чувства облегчения и покачиваясь, как стебель цветка.

– Ужин... – совсем не к месту произнесла было она.

– Не говори мне про ужин, – перебил он ее и выпустил из объятий. – Есть занятия поинтересней.

Он, пританцовывая, обошел вокруг нее, и она заглянула ему в глаза; странный их блеск в сочетании со слишком громким, слишком властным голосом – почти неистовым, маниакальным – сразу подсказал ей, что он наглотался своей «дряни». Хотя Софи еще ни разу не видела его таким экстравагантно возбужденным, тем не менее она не встревожилась. Почувствовав огромное облегчение, она забавлялась, но не была встревожена. Она ведь уже видела его на взводе.

– Мы идем пошуметь к Морти Хэйберу, – объявил он и, точно влюбленный лось, потерся носом о ее щеку. – Надевай пальто. Пошумим, праздновать будем!



– Праздновать что, милый? – спросила она. Ее любовь к нему и сознание, что она спасена, были столь огромны, что прикажи он – и она отправилась бы с ним вплавь через Атлантику. Тем не менее она была озадачена и покорена его лихорадочной возбужденностью (к тому же ее все больше терзал голод), и в тщетном, робком усилии утихомирить его она прикоснулась к нему. – Что праздновать? – снова спросила она.

Заражаясь его шумной восторженностью, она не выдержала, хихикнула и поцеловала его в шноц.

– Помнишь, я рассказывал тебе про наш опыт? – сказал он. – Определение состава крови, из-за чего у нас все застопорилось на прошлой неделе. Я еще тебе рассказывал, что вся загвоздка была в энзимах сыворотки.

Софи кивнула. Она ничего не понимала в его лабораторных исследованиях, но, выполняя роль галерки из одной внимательной зрительницы, преданно выслушивала его сложные рассуждения о физиологии и химических лагадках человеческого тела. Будь Натан поэтом, он читал бы ей свои дивные стихи. Но он был биологом и пленял ее макроцитами, электрофорезом на гемоглобине и ионообменными смолами. Из всего этого она ровным счетом ничего не понимала. Но любила слушать, потому что любила Натана, и сейчас в ответ на его чисто риторический вопрос сказала:

– О да.

– Так вот, сегодня мы совершили прорыв. Решили проблему. Я серьезно: решили, Софи! Это самый высокий барьер, какой мы до сих пор брали. Теперь нам надо только повторить весь эксперимент для Управления стандартов и контроля – в общем, сушая формальность, – и мы, как воры, проникнем в святая святых. Перед нами откроется гладкая дорога к самому важному в истории медицинскому открытию!

– Ур-ра! – крикнула Софи.

– Поцелуй меня. – Он губами прошелся по краю ее губ, затем проник в рот, осторожно двигая языком, наступая, отступая, как бы совокупляясь. И вдруг резко отстранился от нее. – Так что поедem праздновать к Морти. Поехали!

– Я есть хочу! – воскликнула она. Это не было возражением, но она не могла промолчать, чувствуя, как подводит живот.

– А мы и поедим у Морти, – весело возразил он, – не волнуйся. Еды там будет предостаточно, и притом дармовой... Поехали!

«Специальное сообщение». Оба разом замерли, услышав голос диктора с отработанными ритмическими модуляциями. Софи увидела, как лицо Натана на долю секунды утратило всю свою подвижность, застыло, а потом она увидела в зеркале себя – челюсть у нее нелепо перекосилась, будто вышла из пазов, в глазах появилась боль, точно она сломала зуб. Диктор объявил, что бывший рейхсмаршал Германии Геринг обнаружен мертвым в своей камере в Нюрнбергской тюрьме – самоубийство. Смерть наступила от отравления цианистым калием, капсулу или таблетку которого он каким-то образом умудрился спрятать на себе. До конца презирая своих врагов (продолжал бубнить голос), нацистский лидер, приговоренный к смертной казни, избег таким образом смерти от их рук – так же как опередившие его Йозеф Геббельс, Генрих Гиммлер и главный стратег Адольф Гитлер... Софи почувствовала, как по телу ее прошла дрожь, а у Натана лицо разгладилось, снова стало

оживленным, и он, слегка задыхаясь, произнес:

– Бог ты мой! Он же его опередил. Опередил своего палача. Ну и умен же был этот жирный мерзавец!

Он подскочил к радио и, пригнувшись к аппарату, принялся крутить ручку. Софи бестолково шныряла по комнате. Она решительно и методично постаралась изгнать из своего сознания почти все связанное с прошедшей войной и полностью игнорировала Нюрнбергский процесс, о котором весь год кричали газетные заголовки. Собственно, нежелание знать о том, что происходило в Нюрнберге, служило для нее самым разумным объяснением, почему она избегала читать американскую журналистику, хотя таким путем могла бы существенно улучшить – или по крайней мере расширить – свои познания в английском. Она выкинула Нюрнбергский процесс из головы, как и почти все относящееся к своему недавнему прошлому. Собственно, в последние недели она вообще не думала о финальной сцене «гибели богов», развертывавшейся в Нюрнберге, и даже не знала, что Геринга приговорили к виселице, – почему-то ей было глубоко безразлично, что он расстроил планы палача всего на несколько часов до назначенной казни.

Некто по имени Г. В. Кальтенборн многозначительным тоном читал бесконечный некролог – среди прочего там говорилось, что Геринг был наркоманом, – и Софи захихикала. Хихикала она над устроенной Натаном клоунадой, контрапунктом прорезавшей жуткую биографию:

– Где, черт бы его подрал, он прятал эту капсулу с цианистым калием? В заднице, что ли? Но туда, безусловно, заглядывали. Десятки раз! Впрочем, когда такие горы жира – можно и проглядеть. Где же еще? В пупке? В дупле зуба? Неужели эти слабоумные армейцы не заглядывали ему в пуп? Может, в одной из складок кожи! Под подбородком! Держу пари, у этого толстяка все время при себе была капсула. Он глядел с усмешечкой на Шоукросса, на Телфорда Тейлора, глядел с усмешечкой на весь этот безумный процесс, а у самого в складках подбородка лежала капсула...

Затрещали помехи. Софи услышала, как комментатор произнес: «Многие информированные обозреватели считают, что именно Геринг – в большей мере, чем кто-либо другой из немецких лидеров, – ответствен за появление концепции концентрационных лагерей. Этот добродушный жирный весельчак, напоминавший многим шута из комической оперы, был, судя по всему, злым гением, подлинным прародителем таких мест, как Дахау, Бухенвальд, Аушвиц, которые навсегда останутся позорным пятном в истории...»

Софи исчезла за китайской ширмой и принялась возиться у раковины. Ей стало

ужасно не по себе от этой болтовни о том, что она больше всего хотела забыть. И почему только она не выключила это чертово радио? Сквозь ширму она слышала нескончаемый монолог Натана. Это уже не казалось ей забавным, ибо она знала, как может взвинтиться Натан, как он может расстроиться и расшуметься, – пытаюсь – когда на него найдет – постичь всю глубину страданий прошлого. Порой на него нападала такая всепоглощающая ярость, что Софи становилось страшно – так быстро из веселого, бесшабашного, раскованного человека он превращался в существо, снедаемое отчаянием и болью.

– Натан! – окликнула она его. – Натан, милый, выключи радио и давай поедem к Морти. Я в самом деле есть хочу. Пожалуйста!

Но она понимала, что он не слышит ее или не обращает внимания на ее слова, и она подумала, не может ли так быть, чтобы эта его заклиненность на том, что творили нацисты, на всей этой непереносимо тяжелой истории, которую она пыталась перечеркнуть столь же отчаянно, как он жаждал постичь, началась с некоего документального фильма, который они вместе видели всего несколько недель назад. Дело в том, что в кинотеатре «Олби», куда они пошли посмотреть фильм с Дэнни Кэем (ее самым любимым на свете клоуном), веселое настроение, рожденное его дурачествами, было мгновенно сметено коротким документальным фильмом о Варшавском гетто. Софи захлестнула волна воспоминаний – она все узнавала. Пейзаж гетто – даже такого, лежавшего в развалинах, точно после извержения вулкана, – был хорошо ей знаком (она ведь жила на его краю), и она прикрыла глаза, оставив лишь щелочки, как делала всякий раз, когда в кино показывали разоренную войной Европу, словно хотела посмотреть как бы сквозь фильтр, превратить изображение в расплывчатое, нейтральное пятно. Но тут до ее сознания дошло, что на экране происходит некий обряд: группа евреев сбрасывает покров с монумента памяти погибшим и их страданиям, а тенор, словно ангел, пронзенный кинжалом в сердце, выводит на иврите реквием над мрачной картиной опустошения. В темноте кинотеатра Софи услышала, как Натан пробормотал незнакомое слово: «Kaddish», [237] а когда они вышли на солнечный свет, он в волнении провел пальцами по глазам, и она увидела, что по его щекам текут слезы. Она была потрясена, так как впервые видела, чтобы Натан – ее собственный Дэнни Кэй, собственный прелестный клоун – выказывал такого рода эмоции.

Софи вышла из-за китайской ширмы.

– Поедем же, милый, – позвала она его чуть просительным тоном, хотя и понимала, что его не оторвать от радио. Она услышала, как он сардонически, с издевкой хмыкнул.

– Тупицы – упустили толстяка, как и всех остальных!



Подкрашивая губы, Софи не без удивления подумала, что за последние два месяца Нюрнбергский процесс и то, что вскрылось на нем, всецело завладели мыслями Натана. А ведь так было не всегда: первые дни, когда они были вместе, он, казалось, едва замечал жестокую правду пережитого ею, хотя последствия этого пережитого – ее истощение, ее анемия, ее выпавшие зубы – были предметом его постоянных и преданных забот. Он, безусловно, что-то слышал о лагерях; возможно, думала Софи, чудовищность их существования была для Натана, как и для многих американцев, частью слишком далекой, слишком абстрактной, слишком чуждой (и потому труднопостижимой) драмы, и он не вполне ее признавал. А потом, можно сказать, за один день в нем произошла перемена, стремительный переворот: во-первых, документальный фильм о Варшавском гетто совершенно сразил его, и почти сразу вслед за этим внимание его привлекла серия статей в «Геральд трибюн» – глубокий анализ одного из наиболее сатанинских «открытий» Нюрнбергского процесса, показавшего масштаб уничтожения евреев в Трешлинке, нечто почти невообразимое, судя просто по цифрам.

Вскрывалось все это медленно, но с полной достоверностью. Первые сообщения о зверствах, творившихся в лагерях, стали достоянием публики, естественно, весной 1945 года, сразу по окончании войны в Европе; с тех пор прошло полтора года, но дождь отравляющих душу подробностей, нагромождение фактов, выявлявшихся на Нюрнбергском и других процессах и образующавших немыслимые горы навоза, говорили людям такое, чего совесть многих не могла вынести, – даже больше, чем первые ошарашивающие кинокадры одеревенелых трупов, сгребаемых бульдозерами. Наблюдая за Натаном, Софи поняла, что перед ней человек, до которого только сейчас все дошло и который находится в сильнейшем шоке. До сих пор он просто не разрешал себе верить. Но сейчас

поверил, сполна. Нагоняя упущенное время, он поглощал все, что только можно было найти о лагерях, о Нюрнберге, о войне, об антисемитизме и истреблении евреев в Европе (многие последние вечера – вместо того чтобы идти в кино или на концерт, как они с Софи собирались, – Натан посвятил лихорадочным розыскам материалов в главном бруклинском отделении Нью-Йоркской публичной библиотеки, где в отделе периодики сделал десятки выписок из «открытий» Нюрнбергского процесса, которые он пропустил, и взял для чтения немало книг, в том числе «Евреи и человеческие жертвы», «Новая Польша и евреи» и «Гитлер выполнил свое обещание»), и при своей поразительной способности к восприятию стал таким же специалистом по саге нацизма и евреев, каким был и в других областях знания. А нельзя ли, спросил он однажды Софи – и добавил, что говорит как биолог, специалист по клеткам, – нельзя ли феномен нацизма в человеческом обществе сравнить с крупной и важной колонией клеток, которая вдруг обезумела, – разве нацизм не столь же опасен для тела человечества, как злокачественная опухоль для тела одного человека? На протяжении всего конца лета и потом осенью Натан в самое необычное время задавал ей подобные вопросы и вел себя как человек не вполне нормальный, одержимый.

«Подобно многим другим нацистским главарям, своим коллегам, Герман Геринг всячески выказывал любовь к искусству, – говорил Г. В. Кальтенборн своим старческим скрипучим голосом, – но это была любовь, не знающая меры, любовь типично нацистского образца. Именно Геринг в большей мере, чем кто-либо другой из немецкого верховного командования, ответствен за ограбление музеев и частных коллекций в таких странах, как Голландия, Бельгия, Франция, Австрия, Польша...» Софи хотелось заткнуть уши. Неужели нельзя эту войну, эти годы положить на полку в каком-то уголке памяти и забыть? Снова решив отвлечь Натана, она сказала:

– Это же замечательно – про твой опыт, милый. Неужели ты не хочешь поскорее отпраздновать?

Ответа не последовало. Скрипучий голос продолжал изливать свою сухую мрачную эпитафию. Ну, по крайней мере уж ее-то он не затащит в эту мерзкую паутину, подумала Софи, имея в виду одержимость Натана. Как и во многом другом, когда дело касалось ее чувств, он и здесь вел себя пристойно и внимательно. А она в этом единственном вопросе держалась непреклонно и твердо, ясно дав ему понять, что не будет и не может говорить о том, через что прошла в лагере. Рассказала она ему лишь о некоторых мелких деталях в тот вечер, который она вспоминает так тепло, – это было здесь, в этой самой комнате, в день их знакомства. Только из ее отрывочных слов Натан и мог составить себе представление о том, что она пережила. С тех пор ей уже не надо было говорить ему, что она не хочет касаться этого отрезка своей жизни: он

отличался поразительной чуткостью, и она была уверена – он просто по наитию догадался о ее решении не вытаскивать всего этого на свет божий. Таким образом, за исключением тех моментов, когда он возил ее на медицинские обследования или проверки в Колумбийскую больницу и для установления диагноза было совершенно необходимо выяснить, в чем именно состояло дурное обращение с ней или как она питалась, они никогда не касались Аушвица. Но даже и тогда она отвечала очень кратко, а он все понимал. И за это его понимание она тоже благословляла его.

Она услышала щелчок выключаемого радио, и через мгновение Натан появился за ширмой и привлек ее в объятия. Она уже привыкла к подобным стремительным ковбойским наскокам. Глаза у Натана ярко блестели; она чувствовала, на каком он взводе, по тому, как пульсировало все его тело, словно в нем был заключен некий новый таинственный источник энергии. Он снова поцеловал ее, и снова его язык обследовал все закоулки ее рта. Всякий раз, наглотавшись пилюль, он становился, как бык, напористым и бескомпромиссным в своем желании – от его кожи исходил такой жар, что кровь в ее жилах устраивала бешеный галоп и она была готова тут же отдаться ему. Рука ее уже потянулась к его молнии. Она почувствовала влагу между ног. Он положил ее руку на свой член – такой прямой и твердый под влажной фланелью, точно ручка метлы. Она почувствовала слабость в ногах. В такие минуты между ее заходившей вверх и вниз рукой и его благодарным членом всякий раз возникала знакомая нежная связь, такая дивно естественная, – протягивая к нему руку, она неизменно вспоминала ребенка, который тянется к манящему его пальцу.

Но он вдруг резко отстранился.

– Лучше поедem сейчас, – услышала она его слова. И затем: – Лучше побалуемem после. Такие устроим танцы!

И она знала, что под этим подразумевалось. Когда Натан находился под действием амфетамина, любовь с ним была уже не просто удовольствием – это было нечто безбрежное, необъятное, как океан, потустороннее. И длилось без конца...



– Я не думала ни о чем таком страшном – это случилось в самом конце, – рассказывала мне Софи. – На той вечеринке у Морти Хэйбера. Натан никогда еще не давал мне такого страха. Морти Хэйбер жил в такой большой мансарде в доме недалеко от Бруклинского колледжа, и там была эта вечеринка. Морти – ты познакомился с ним тогда на пляже, – он преподаватель биологии в колледже и один из близких друзей Натана. Морти мне нравился, но, если быть очень честной, Язвинка, многие друзья Натана – и мужчины, и женщины – не очень мне нравились. С некоторыми у меня не сложились отношения, я знаю, по моей вине. Во-первых, я очень застенчивая, а потом мой английский тогда был не так очень хороший. Правда-правда, я по-английски лучше говорила, чем понимала, и я совсем была такая потерянная, когда все они начинали говорить так очень быстро. И потом, они всегда говорили про такие вещи, которые я не знала или которые меня не интересовали: про Фрейда и психоанализ, и про то, кто кому завидует по части секса, и все такое прочее – может, это меня бы и заинтересовало немножко, если б они не говорили все время так торжественно и серьезно. О, ты, конечно, должен понимать – я с ними ладила. Просто я выключалась и думала о другом, когда они принимались обсуждать теорию оргазма, сенсорную энергию и всякое такое. *Quel ennui!*[238] И, по-моему, они ко мне тоже хорошо относились, хотя немножко подозрительно и с любопытством, потому что я никогда много про свою жизнь не рассказывала и держалась чуточку в стороне. А потом, я ведь была единственная среди них шикса и к тому же полячка. Я думаю, я казалась им странной и такой непонятной.

В общем, мы приехали на вечеринку поздно. Понимаешь, я пыталась отговорить Натана, а он перед уходом принял еще одну таблетку бензедрина – он звал их «бенни», – и, когда мы сели в машину его брата, чтобы ехать на вечеринку, он

был уже на взводе, на таком невероятно высоком взводе – был так высоко, точно он птица, точно орел. В машине по радио передавали «Дон Жуан» – Натан наизусть знал либретто, он очень хорошо пел оперу по-итальянски, – и он стал подпевать во весь голос и так увлекся этой оперой, что пропустил поворот к Бруклинскому колледжу и проехал по Флетбуш-авеню чуть не до самого океана. Ехал он очень быстро, и я стала немного волноваться. Так что из-за этого пения и разездов мы пришли к Морти поздно – наверное, уже после одиннадцати. Это была очень большая вечеринка – человек, наверное, было сто, не меньше. И там была эта очень известная джазовая группа – я забыла фамилию того, который играл на кларнете, – и я сквозь дверь услышала музыку. Я еще подумала, что ужасно громко. Я не очень так люблю джаз, хотя немножко уже начала любить перед тем... перед тем, как ушел Натан.

Почти все люди были из Бруклинского колледжа – студенты старших курсов, преподаватели и прочие, но было много и других, из самых разных мест, такая очень смешанная компания. Несколько довольно красивых девушек с Манхэттена, которые работали моделями, много музыкантов, довольно много негров. Я никогда раньше не видела так много негров вблизи – они казались мне такими очень экзотическими, и мне нравилось слушать, как они смеются. Все пили, и всем было весело. А потом там был такой дым со странным запахом – мой нос первый раз чувствовал такой дым, – и Натан сказал мне, что это марихуана; он это назвал «чаек». Почти все люди были такие счастливые, и сначала вечеринка была совсем неплохая, она была хорошая, я еще не чувствовала, что будет страшное. Когда мы вошли, Морти стоял у двери. И Натан первым делом сказал ему про свой эксперимент – прямо выкрикнул новость. Я слышала, как он сказал: «Морти, Морти, мы совершили прорыв! Мы вскрыли эту проблему энзимов в сыворотке!» Морти уже слышал про это – я ведь говорила: он преподавал биологию – и крепко так хлопнул Натана по спине, предложил тост за его открытие, и они выпили пива, и еще другие люди подошли и тоже поздравили Натана. Я помню, какой я чувствовала себя удивительно счастливой: ведь я была такая близкая этому замечательному человеку, который навсегда останется в истории медицинских исследований, я хочу сказать – он так меня любил. И тут, Язвинка, я чуть не упала в обморок. Потому что он обнял меня, крепко так к себе прижал и объявил всем: «И все это благодаря преданности и дружбе этой прелестной дамы, самой прекрасной женщины, какая родилась в Польше со времени Марии Склодовской-Кюри, и эта женщина собирается навеки осчастливить меня, став моей невестой!»

Ах, Язвинка, как мне хотелось бы описать тебе, что я чувствовала. Представляешь! Выйти замуж! Я была как во сне. Я и поверить такому не могла, а вот ведь все было так. Натан поцеловал меня, и все стали подходить, улыбались, поздравляли. Мне казалось – все это во сне. Потому что, понимаешь, ведь это было совсем так неожиданно. О, он и раньше говорил, что мы

поженимся, но так легко, вроде в шутку, и, хотя меня это всегда волновало – волновала сама такая мысль, – я никогда не считала это серьезно. И вот я была как во сне – такая мечта, я не могла поверить.

Софи умолкла. Всякий раз, как она пыталась проанализировать свое прошлое или свои отношения с Натаном, проникнуть в тайну самого Натана, она закрывала лицо руками, словно пыталась найти ответ или разгадку в темноте ладоней. Она поступила так и сейчас, и прошло немало секунд, прежде чем она подняла голову и продолжила свой рассказ.

– Сейчас так очень легко понять, что это... это объявление он сделал только потому, что наглотался таблеток, этой дряни, был на таком взводе, поднимался все выше и выше, точно орел на крыльях. Но в тот момент я просто не могла связать одно с другим. Я думала, он это серьезно – насчет того, что мы поженимся, и я не могу вспомнить, когда еще я была такая счастливая. Я выпила немного вина, и все так замечательно смешалось. Натан наконец куда-то от меня отошел, и я стала разговаривать с его друзьями. Они все поздравляли меня. Там был один негр, приятель Натана, который мне всегда нравился, он художник. Какой-то там Ронни. Я вышла на крышу с Ронни и очень такой сексуальной восточной девушкой – я забыла, как ее звали, – и Ронни спросил меня, не хочу ли я «чайку». Я сначала не поняла. Натурально сначала я подумала, что он предлагает мне, понимаешь, такое питье, куда кладут сахар и лимон, но он сделал такую широкую улыбку, и тогда я поняла: он говорит про марихуану. Я немножко боялась ее – меня всегда пугает, что я могу потерять контроль, – но в общем я была такая счастливая и подумала: я могу что угодно взять и ничего не бояться. Ну и Ронни дал мне сигаретку, и я закурила – глубоко так вдохнула дым и очень скоро поняла, почему люди так делают для удовольствия – это было чудесно!

От марихуаны внутри у меня будто загорелся такой мягкий свет. На крыше было холодно, а мне вдруг стало тепло, и вся земля, и эта ночь, и будущее казались икими прекрасными, что лучше быть не может. *Une merveille, la nuit!*[239] Далеко внизу – Бруклин с миллионом огней. Я долго была на крыше – разговаривала с Ронни и его девушкой-китайкой и слушала джаз, смотрела вверх на звезды, и мне было так хорошо – я не помню, чтоб мне было так хорошо. Я, наверное, не понимала, сколько много прошло времени, потому что, когда я снова вошла в дом, я увидела, как поздно – почти четыре часа утра. А вечеринка, понимаешь, продолжалась вовсю, и все еще много было музыки, но некоторые уже ушли, и я стала искать Натана, но не могла его найти. Я спросила про него несколько гостей, и они показали мне на комнатку в конце мансарды. Я туда пошла, и там был Натан и еще человек шесть или семь. Там уже веселья никакого не было. Было так тихо. Будто с кем-то только что случилось страшное несчастье и они обсуждали, как быть. Там было сильно темно, и, когда я туда

вошла, вот тут, по-моему, я начала немножко тревожиться, так чувствовать себя неуютно. Начала понимать – что-то очень серьезное, очень плохое случится с Натаном. Это было ужасное чувство, точно меня накрыло ледяной океанской волной. Худо, очень худо – такое у меня было чувство.

Понимаешь, они все слушали радио про казни в Нюрнберге. Это была специальная передача на коротких волнах, но документальная – понимаешь, прямо с места событий, – и я слышала, как этот репортер Си-Би-Эс – голос его пробивался сквозь помехи и звучал так далеко – рассказывал все, как оно было в Нюрнберге, как их вешали. Он сказал, что фон Риббентропа уже нет и, по-моему, Йодля, и потом, по-моему, он сказал, что следующий – Юлиус Штрейхер. Штрейхер! Я не могла это слушать! Я вдруг почувствовала, что вся покрылась потом, мне худо, ужасно. Трудно описать, как мне было худо, потому что, конечно, можно было только радоваться без ума оттого, что всех этих людей вешают, – мне было худо совсем не из-за них, но просто все это снова напомнило мне про то, что я так очень хотела забыть. У меня было такое же чувство прошлой весной – я тебе говорила, Язвинка, – когда я увидела в журнале ту фотографию Рудольфа Хесса с веревкой на шее. Вот так же и в той комнате, где все эти люди слушали про казни в Нюрнберге, мне вдруг захотелось, понимаешь, бежать, и я все твердила себе: «Неужели я никогда не избавлюсь от прошлого?» Я смотрела на Натана. Он был по-прежнему на невероятном взводе, я это видела по его глазам, но он вместе со всеми слушал про казни, и лицо у него было такое очень мрачное, и много в нем было боли. Что-то было в его лице не так, что-то такое страшное. И у остальных тоже. Все настоящее веселье, весь загул – все исчезло, во всяком случае в той комнате. Точно мы были на заупокойной мессе. Наконец передача остановилась, или, может быть, выключили радио, или случилось что еще, и все заговорили – так очень серьезно и с таким вдруг пылом.

Я их всех немножко знала – это были друзья Натана. Особенно хорошо я помню одного его приятеля. Я раньше с ним разговаривала. Его звали Гарольд Шенталь, он был, кажется, одних лет с Натаном и, по-моему, преподавал философию в колледже. Он был такой очень серьезный и одержимый, но мне он нравился немножко больше других. Я считала, что он очень чувствующий. Мне всегда казалось, он много мучается и такой несчастный, очень стесняется, что он еврей, и он так много говорил, а в ту ночь, помню, он был даже еще больше взвинченный и взволнованный, хотя я уверена, он ничего не принимал, как Натан, не пил даже пива или вина. Он был, в общем, такой очень бросающийся в глаза: лысый и с висячими усами, точно – не знаю, как назвать это животное по-английски, – morse на айсберге, и с таким большим животом. Да, вспомнила: морж. Он безостановочно шагал туда-сюда по комнате со своей трубкой и начал так говорить – а когда он говорил, люди всегда его слушали: «Нюрнберг – это же фарс, и эти казни – фарс. Это же только видимость мести, спектакль!» Он сказал:

«Нюрнберг – это отвлекающий маневр, чтоб была видимость правосудия, а на самом деле смертельная ненависть к евреям по-прежнему отравляет немецкий народ. Надо уничтожить сам немецкий народ – тех, кто позволял этим людям командовать собой и убивать евреев. А не только этих, – он именно такие слова и говорил, – не только эту горстку карнавальных шутов». Потом он еще сказал: «А как будет с Германией в будущем? Мы что же, позволим, чтобы этот народ снова разбогател и стал уничтожать евреев?» Он был очень сильный оратор, этот человек. Я слышала, говорили, что он прямо гипнотизирует своих студентов, и, помню, я тоже была как в трансе, когда смотрела и слушала его. У него в голосе была такая страшная *angoisse*, [240] когда он говорил про евреев. Он спросил: где на всей земле евреи сегодня в безопасности? И сам же ответил, сказал – нигде. *Alors*, [241] спросил он, а где на земле евреи когда-либо были в безопасности? И сказал – нигде.

Тут я вдруг поняла, что он говорит про Польшу. Он рассказывал, как на одном суде – в Нюрнберге или где-то еще – выступал один свидетель про то, как во время войны из одного лагеря в Польше бежали евреи и они попытались спастись у местных жителей, но поляки отвернулись от евреев и не помогли им. Они поступили много хуже. Они их всех убили. Эти польские люди просто убили всех евреев. Это страшный факт, сказал Шенталь, и он доказывает, что евреям везде грозит опасность. Он прямо выкрикнул это слово – везде. Даже в Америке! *Mon Dieu*, [242] я помню, в какой он был ярости. Когда он говорил про Польшу, мне стало даже совсем плохо, и сердце у меня так начало колотиться, хотя не думаю, чтобы у него была мысль именно про меня. Он сказал, что Польша – это, наверно, самый плохой пример, пожалуй, даже хуже, чем Германия, или по крайней мере такой же плохой: разве не в Польше после смерти Пилсудского, который защищал евреев, люди, как только получили возможность, сразу кинулись преследовать евреев? Он сказал, разве не в Польше молодых беззащитных студентов-евреев отделили от других, посадили на отдельные скамьи и относились к ним хуже, чем к неграм в Миссисипи? Почему же такое не может произойти в Америке, то есть чтобы были такие «скамьи гетто» для студентов? И когда Шенталь говорил так, я, конечно, не могла не подумать про отца. Моего отца, который помог создать такую концепцию. У меня было такое чувство, будто отец, *l'esprit* [243] моего отца вошел в комнату и стоит ко мне очень так близко, и мне захотелось провалиться сквозь пол. Я этого не могла больше вынести. Я столько долго отодвигала от себя эти вещи, похоронила их, скрывала – наверное, я трусиха, но так мне хотелось, – и вот теперь Шенталь выливает на меня все это, и я просто не могла это вынести. *Merde*, [244] не могла!

И вот пока Шенталь говорил, я на цыпочках подошла к Натану и шепнула ему, что нам пора домой – не забудь, мы завтра уезжаем в Коннектикут. Но Натан не шевельнулся. Он был точно... ну, точно загипнотизированный, как один из этих

студентов Шенталья, про которых я слышала, – смотрел на него не отрываясь и слушал каждое слово. Наконец он шепотом ответил мне, что остается, а я пусть еду домой сама. Глаза у него были такие сумасшедшие – я испугалась. Он сказал: «Я теперь до Рождества не засну». Он сказал с таким безумным взглядом: «Поезжай сейчас домой и ложись спать, а я приеду утром и тебя заберу». И я очень быстро так ушла, заткнув уши, чтобы не слышать Шенталья: его слова, можно сказать, убивали меня. Я взяла такси и поехала домой – чувствовала я себя ужасно. Я совсем забыла, что Натан сказал – мы поженимся, так мне было плохо. Каждую минуту мне казалось – вот сейчас я закричу.

Коннектикут.

Капсула с цианистым натрием (крошечные кристаллики, такие же ничем не примечательные, как «бромозелцер», сказал Натан, и так же растворяющиеся в воде, почти мгновенно, хотя и без шипения) была действительно совсем маленькой, намного меньше других капсул с медикаментами, которые до сих пор видела Софи, и была такая же металлически блестящая, так что, когда он поднес капсулу к самому ее лицу – а она лежала на подушке – и покрутил ее, держа большим и указательным пальцами, отчего розовый овал заплескался, делая пируэты в воздухе, Софи увидела на ее поверхности миниатюрную вспышку, которая была всего лишь отражением осенних листьев, горевших огнем в лучах заката. Еще не вполне проснувшись, Софи почувствовала запах пищи, донесшийся из кухни двумя этажами ниже – аромат хлеба и, как ей показалось, капусты, – и все смотрела на капсулу, медленно плясавшую в руке Натана. Сон полностью накатывался на нее – убаюкивающе вибрировали свет и звуки, стирая страх, – это был транс, в который ее погружал нембутал. Только не надо сосать капсулу. Ты должна раскусить ее, сказал ей Натан, но не волнуйся: во рту ненадолго появится сладковатая горечь, как от миндаля, запах, немного похожий на запах персика, потом – ничего. Полнейшая чернота, ничего – *rien nada*, черт подери, ничего! – погружение столь мгновенное и столь полное, что даже не почувствуешь боли. Может быть, сказал он, только лишь, может быть, на долю секунды возникнет отчаяние – вернее, состояние дискомфорта, – но столь же краткое и преходящее, как икота. *Rien nada niente*, черт подери, – ничего!

– И тогда, Ирма, любовь моя, тогда... – Он икнул.

Не глядя на него, уставясь куда-то мимо, на пожелтевшую фотографию чьей-то бабушки в платке, застыло смотревшей из сгустившихся на стене теней, она пробормотала:

– Ты же сказал, что больше не будешь. Сегодня уже давно сказал, что больше не будешь...

– Не буду – что?

– Не будешь так меня называть. Не будешь больше говорить «Ирма».

– Софи, – бесцветным голосом произнес он. – Софи, любовь моя. Не Ирма. Конечно. Конечно. Софи. Любовь моя. Софи-любовь-моя.



Он казался сейчас гораздо спокойнее: неистовство, владевшее им утром, безумие и ярость, владевшие им днем, улеглись или по крайней мере на время затихли под действием того же нембутала, который он дал и ей, – благословенного барбитурата, который – в ужасе казалось им обоим – он никогда не найдет, но который всего два часа тому назад все-таки нашел. Он стал спокойнее, но Софи понимала: он еще не в себе; любопытно, думала она, как в этом более спокойном состоянии, хоть и еще не в себе, но уже не кажется таким страшным и грозным, несмотря на то что раскачивает эту капсулу с цианидом всего в шести дюймах от ее глаз. Крошечная торговая марка «Пфайзер» четко отпечатана на желатине, хотя капсула малюсенькая. Эту капсулу, пояснил он, специально изготавливают для ветеринаров – в нее закладывают антибиотики для котят и щенят; он решил взять ее, потому что она как раз вмещает нужную дозу, но из-за технических формальностей было куда труднее добыть вчера саму капсулу, чем десять гранул цианистого натрия – пять гранул для нее и пять для него самого. Софи понимала, что это не шутка, – в другое время и в другом месте она отнеслась бы к этому как к одному из его страшноватых трюков: в последнюю минуту блестящая розовая капсула лопнула бы между его пальцами и из нее выпал бы крошечный цветочек, кристаллик граната, шоколадка. Но не сейчас, после того как он целый

день был так бесконечно исступлен. Софи ничуть не сомневалась, что в крошечном гробике лежит смерть. Все-таки странно. Она видела, как Натан поднес капсулу к губам, просунул ее между зубов и прикусил, чуть вдавив оболочку, но не прорвав, и не чувствовала ничего, кроме разливавшейся по телу апатии. Это из-за нембутала или потому, что интуитивно она понимает: он по-прежнему придушивается? Он ведь уже такое вытворял. А он тем временем вынул капсулу изо рта и улыбнулся.

– Rienada – черт побери, ничего.

Она вспомнила, что он такое уже проделывал, всего два часа тому назад, в этой самой комнате, хотя ей казалось, что прошла неделя, месяц. И она подивилась, с помощью какого чуда алхимии (нембутала?) он вдруг прекратил свои безостановочные словоизлияния. Слова-слова-слова... Этот поток приостанавливался лишь дважды или трижды с той минуты, как около девяти часов утра он взлетел по лестнице Розового Дворца и разбудил ее...

...Еще не раскрыв глаз, еще вся во власти сна, она слышит иронический смешок и голос Натана:

– Вперед, и – на них!

– Шенталь прав, – слышит она его слова. – Если там это могло случиться, то почему не может случиться здесь? Казаки идут! И один еврейчик уносит ноги в деревню!

Она просыпается. Она знает, что он тут же придет к ней, задается вопросом, вставила ли она колпачек перед тем, как лечь, вспоминает, что вставила, и теперь лениво поворачивается к нему, сонно улыбаясь, готовая принять его. Она вспоминает, какая невероятная, ненасытная страсть овладевает им, когда он вот так, на взводе. Вспоминает со сладострастием и восторгом все – не только его изначальную изголодавшуюся нежность, его пальцы на ее груди и их легкое упорное продвижение по ее телу, но и все остальное, особенно столь долго ожидаемый изголодавшейся, наконец свободной (*adieu*, [245] Краков!), ничем не стесняемой, всецело поглощенной собою плотью миг блаженства, эта поразительная способность Натана доводить ее до кульминации – не раз и не два, а снова и снова, пока она окончательно и чуть ли не губительно не утратит себя, не полетит в бездонные глубины, словно засасываемая воронкой смерти, уже не зная, существует ли она сама по себе или в нем, и чувствуя лишь, как черный вихрь закручивает ее в неразделимую плоть... Теперь она уже вся трепещет от желания. Перекатываясь по постели, потягиваясь, как кошка, она манит его к себе. Он молчит. А затем она с удивлением слышит, как он повторяет:

– Вставай! Вперед и – на них! Этот еврейчик повезет тебя в путешествие по деревне!

– Но, Натан... – произносит она.

Он перебивает ее – голос его звучит настойчиво и оживленно:

– Вставай же! Вставай! Пора в путь!

Досада затопляет ее, и одновременно воспоминание об утраченном чувстве приличий (*bonjour*, [246] Краков!) наполняет ее стыдом: как же можно было так открыто, так настойчиво выказывать свою похоть.

– Вставай же! – командует он.

Она вылезает нагая из постели и видит, как Натан, щурясь на пегий от теней солнечный свет, глубоко вдыхает с долларовой бумажки порошок, в котором она мгновенно узнает кокаин...

...В сумерках Новой Англии, глядя мимо его руки с ядом, она видит адское переплетение листьев – одно дерево все малиновое, другое рядом – ослепительно золотое. За окном вечерний лес застыл, весь в крупных пятнах, словно цветная карта, ни один лист не шелохнется, озаренный закатным солнцем. Вдали по шоссе мчатся машины. Ей хочется спать, но она не стремится уснуть. Теперь она видит, что у него в пальцах две капсулы, два розовых близнеца.

– Его и ее – одна из самых хитрых современных концепций, – слышит она его слова. – Его и ее предметы – в ванной, по всему дому, почему не может быть его и ее цианистого натрия, его и ее бездонного ничто? Почему нет, Софи-любовь-моя?

В дверь постучали, и рука Натана слегка дрогнула.

– Да? – произнес он тихим ровным тоном.

– Мистер и миссис Ландау, – раздалось из-за двери, – это миссис Райлендер. Мне ужасно неприятно беспокоить вас! – Голос звучал безмерно льстиво, старательно слащаво. – Вне сезона кухня закрывается в семь. Мне так неприятно нарушать ваш сон, но я просто хотела сказать вам. Вы у нас единственные гости, так что можете не спешить – я просто хотела вам сказать. Мой муж готовит сегодня свое фирменное блюдо – солонину с капустой!

Тишина.

– Большое спасибо, – сказал Натан, – мы скоро спустимся.

Она протопала вниз по шаткой, устланной ковром лестнице, ступеньки стонали, как раненые животные. Слова-слова-слова-слова-слова. Он договорился до хрипоты.

– Подумай, Софи-любовь-моя, – говорил он ей теперь, поглаживая капсулы, – подумай, как тесно жизнь и смерть переплетаются в природе – повсюду в ней семена нашего блаженства и нашего исчезновения. К примеру, цианистый водород распространен в матушке-природе в великом изобилии в виде гликозидов, иначе говоря, в соединениях сахара. Сладкого, сладкого сахара. В горьковатом миндале, в зернах персиков, в некоторых из этих осенних листьев, в обычных грушах, в земляничном дереве. Так что, представляешь себе, когда твои идеально-белые фарфоровые зубки откусывают кусочек миндального печенья, ты чувствуешь вкус, лишь на молекулу отличный от того, который...

Она выключила его голос и снова стала смотреть на поразительную листву, на это огненное озеро. Снизу поносился запах капусты – острый, пронзительный. В памяти возник другой голос – голос Морти Хейбера, исполненный взволнованного сочувствия: «Не считайте вы себя виноватой. Ничего вы тут сделать не могли – ведь он уже задолго до того, как вы впервые его увидели, пристрастился к этим вещам. Можно ли это как-то контролировать? Да. Нет. Наверно. Я не знаю, Софи! Ей-богу, хотел бы знать! Никто толком ничего не знает про амфетамины. До известного момента они относительно безвредны. Но они явно могут быть опасны, к ним можно пристраститься, особенно если их смешивать с чем-то еще – вроде кокаина. Натан любит нюхнуть кокаин после своих «бенни», и я думаю, это чертовски опасно. Тогда он может выйти из-под контроля и впасть – ну, не знаю – в состояние психоза, из которого его никому не вытащить. Я проверил все данные и – да, это опасно, очень опасно... Ах, Софи, черт с ним совсем, не хочу я больше об этом говорить, но, если Натан сорвется, тотчас дайте мне знать – мне или Ларри...» Она смотрела мимо Натана на листья и чувствовала, как у нее дрожат губы. Нембутал? Впервые за несколько последних минут она шевельнулась. И тотчас почувствовала резкую боль в ребрах, куда он пнул ее ногой...

... – Верность больше подошла бы тебе, – произнес он вдруг, прервав свое стремительное словоизлияние. Его голос доносится до нее сквозь рев ветра, обтекающего ветровое стекло машины. Хотя прохладно, Натан едет с опущенным верхом. Она сидит рядом с ним, натянув на себя плед. Не вполне расслышав, что он сказал, она кричит ему:

– Что ты сказал, милый?

Он поворачивается, и на секунду перед ней возникают его глаза, совсем безумные, зрачки почти исчезли, поглощенные багряно-коричневыми эллипсами.

– Я сказал, выражаясь изящным языком: верность больше подошла бы тебе.

Ее охватывает недоумение и смутный липкий страх. Она отворачивается с сильно бьющимся сердцем. Ни разу за все эти месяцы, что они были вместе, он по-настоящему не злился на нее. Холодный ужас волной окатывает ее, будто хлынул ливень, а она стоит голая. О чем это он? Она упирает взгляд в проносящийся мимо пейзаж – маникюрно подстриженные вечнозеленые кусты вдоль ухоженной дороги, а дальше – лес, пылающий яркими красками опадающих листьев, голубое небо, яркое солнце, телефонные столбы. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОННЕКТИКУТ / НЕ ЛИХАЧЬ НА ДОРОГАХ. Она чувствует, что он едет очень быстро. Они обгоняют машину за машиной, со свистом прорезая воздух. Она слышит, как он говорит:

– А если выражаться неизящно, то не раскладывайся направо и налево, особенно у меня на глазах!

Она громко охает – она поверить не может, что слышит такое. Голова ее откидывается, словно он ее ударил, затем она поворачивается к нему.

– Милый, что ты...



Но он рывкает: «Заткнись!», и снова потоком льются слова, будто открыли шлюз, – продолжение невнятицы, которую он выплескивал на нее с тех пор, как они больше часа тому назад отъехали от Розового Дворца.

– Видно, твой хозяин, этот очаровательный шарлатан из Форест-Хиллз, не в состоянии устоять перед твоей аппетитной польской задницей – что ж, вполне понятно, учти, вполне понятно, это драгоценная установка, что я и подтверждаю, поскольку сам не только раскормил ее, но и черпал в ней незаурядные улады, так что я вполне могу понять, что этот доктор Тискай-Жми всем сердцем и всеми своими атрибутами вожделеет ее... – (Софи слышит, как он глупо хихикает.) – Но чтобы ты с готовностью шла ему навстречу, раскладываясь перед ним, выгибалась перед этой немыслимой дешевкой, чтобы выставляла все это напоказ перед моими глазами, как это было вчера вечером, когда он стоял и облизывал тебя на прощание этим своим омерзительным языком хиропрактика... Ох, милая моя польская шлюшка, такого я не в состоянии терпеть.

Не в силах вымолвить ни слова, она неотрывно смотрит на стрелку спидометра: 70, 75, 80... Не так страшно, думает она, считая, что это километры, потом, быстро опомнившись, говорит себе: «Но это же мили! Мы можем потерять управление!» Думает: «Это хуже безумия – это ревность, мысль, будто я сплю с Блэкстоком». Далеко позади раздается слабое завыванье сирены – Софи видит вспышки красного света, их отражение в ветровом стекле, словно возникает и исчезает крошечная малинка. Софи открывает рот, готовится что-то сказать («Милый!» – хочет она сказать), но не может произнести ни звука. Слова-слова-слова-слова-слова... Будто звуковая дорожка в кинофильме, смонтированном шимпанзе: что-то можно уловить, но нет развития мысли, нет смысла, – от этой паранойи она чувствует себя такой слабой и больной.

– Шенталь стопроцентно прав: это же чистой воды сентиментальный бред, присущий иудейско-христианской этике, будто самоубийство – моральный грех; да после «третьего рейха» самоубийство становится законным выбором для любого разумного человеческого существа на земле, разве не так, Ирма? – Почему он вдруг стал звать ее Ирмой? – Только вот не следовало мне, честно-то говоря, удивляться тому, что ты готова разложиться перед первым встречным, хотя я никогда тебе до сих пор этого не говорил, многое в тебе с тех пор, как мы познакомились, для меня тайна, а я ведь мог бы догадаться, что ты – чертова гойская курва, но что же... что же еще?... ох-вай-вай-вай, что за дикий Schadenfreude[247] побудил меня привязаться к этой точной копии Ирмы Гризе? А она была хороша, судя по словам тех, кто был на ее процессе в Люненберге, – даже прокуроры снимали перед ней шляпу, ах, черт бы меня подрал, моя милая мамочка всегда говорила, что меня роковым образом тянет к блондинкам-шиксам, ну почему ты не можешь быть приличным еврейским мальчиком,

Натан, почему бы тебе не жениться на хорошей девушки вроде Шерли Мирмелсайд – она же такая красавица, и папа у нас кучу денег заработал на корсетных изделиях, и у них такой летний дом в Лейк-Плэсиде. (Звук сирены по-прежнему преследует их, слабо вскрикивая вдаль. «Натан, – говорит Софи, – там за нами полиция».) Брахманы чтят самоубийство, как и многие на Востоке, да и что такого особенного в смерти вообще – ведь за ней *hienada*, чертово ничто, так что, поразмыслив некоторое время тому назад, я сказал себе – о'кей, красotka Ирма Гризе получи веревку за то, что лично истребила тысячи и тысячи евреев в Аушвице, но разве по логике не могло множество маленьких Ирма Гризе избежать веревки, я хочу сказать, как насчет этой забавной маленькой польской нафки, с которой я живу, то есть в самом ли деле она стопроцентная полька, она, конечно, выглядит как полька, но и как *echt*[248] представительница нордической расы, этакая фрицевская кинозвезда, изображающая убийцу-графиню из Кракова, к тому же я сам слышал, какой безупречный немецкий слетал с прелестных уст этой рейнской девы. Полячка! А *зохен вей!*[249] *Das kannst du andern weismachen!*[250] Ну, почему не признаться, Ирма! Заигрывала ведь с эсэсовцами, разве нет? Разве не потому ты сумела выбраться из Аушвица, Ирма? Признайся же! – Софи обеими руками заткнула уши, рыдая: «Нет! Нет!» Она почувствовала, как резко сбавила ход машина. Вой сирены превратился в урчанье дракона, сошел на нет. Рядом возникла полицейская машина. – Признайся же, ты, фашистская подстилка!..

...Она лежала в сумерках, глядя, как теряют очертания и сливаются с темнотой листья, и слышала, как струится его моча, с шумом ударяясь о воду в унитазе. Она вспомнила. Среди этих сказочный листьев, в глубине леса, он стоял над ней и пытался струей попасть ей в рот – это было началом его провала в преисподнюю. Она повернулась в постели – в нос ей ударил поднимавшийся снизу запах капусты, глаза ее сонно уставились на две капсулы, которые Натан осторожно положил в пепельницу. ГОСТИНИЦА «МЕДВЕЖЬЯ ГОЛОВА» было выведено староанглийскими буквами по краю фарфоровой пепельницы, – АМЕРИКАНСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. Софи зевнула, подумав, как это странно. Как странно, что она не боится смерти, если Натан действительно хочет заставить ее принять смерть, но боится того, что смерть может взять его, и только его, а ее оставить. Что по какой-то непредвиденной причине произойдет осечка, как он бы сказал: смертельная доза яда сработает только в его случае, а она снова уцелеет для этой безрадостной жизни. «Я не могу жить без него, – услышала она собственный шепот по-польски, сознавая, сколь избита эта фраза и в то же время сколь она правдива. – Его смерть будет моим концом». Далекий свисток паровоза разнесся по долине со странным названием Хузатоник, – протяжный крик, более сочный и мелодичный, чем пронзительный взвизг европейских поездов, но такой же печальный и душераздирающий.

Она вспомнила Польшу. Руки матери. Она так редко вспоминала мать, эту мягкую, незаметную, легко тушующуюся женщину, и сейчас ей вспомнились только изящные выразительные руки пианистки с сильными пальцами, одновременно гибкие и нежные, как ноктюрны Шопена, которые она играла; их кожа цвета слоновой кости напоминала Софи тускло-белый цвет сирени. В самом деле, руки были такие белые, что Софи лишь потом связала их прелестную бескровность с туберкулезом, который уже тогда подтачивал ее мать и наконец навеки успокоил эти руки. «Мама, мама», – подумала она. Как часто эти руки гладили ее по голове, когда она, маленькой девочкой, читала перед сном молитву, которую знает наизусть каждый польский ребенок, – молитву, запечатленную в душе тверже любой детской песенки: «Ангел божий, ангел-хранитель, будь всегда со мной рядом – и утром, и днем, и ночью приди всегда мне на помощь. Аминь». На одном из пальцев мама носила тонкое золотое колечко в виде перевитой кобры с глазом из крошечного рубина. Профессор Беганьский привез это колечко из Адена – там у него была остановка по пути с Мадагаскара, куда он ездил проводить исследования, связанные с его давней мечтой – переселением польских евреев. Надо же быть таким пошляком! И долго он выискивал это чудовищное уродство? Софи знала, что мать терпеть не могла кольцо, но носила его из неизменного уважения к мужу. В туалете перестало шуметь. Софи подумала об отце, представила его себе на базарах Аравии, его пышную светлую шевелюру, всю в капельках пота...

... – Для автомобильных гонок существует Дейтона-Бич, – говорит полицейский, – а эта парковая дорога Меррит – для прохлаждающихся, как мы их зовем, – так чего это вы разогнались?

Полицейский – светловолосый, моложавый, веснушчатый, вполне симпатичный. На нем техасская шляпа шерифа. Натан молчит, глядя прямо перед собой, но Софи чувствует, что он быстро что-то про себя бормочет. Опять слова-слова-слова-слова, но *sotto voce*. [251]

– Вы что, хотите расшибить и себя и эту милую девушку всмятку?

На полицейском – бляшка с именем: С. ГЖЕМКОВСКИЙ. Софи говорит:

– *Przepraszam...* (Извините...)

Гжемковский расплывается, произносит в ответ:

– *Czy jesteś Polakiem?* [252]

– Да, я полька, – отвечает Софи, приободрившись, продолжая играть на национальных чувствах, но полицейский перебивает ее:

– Я знаю только несколько слов. Мои родители – поляки, живут в Нью-Бритене. Послушайте, с вами что-то неладно?

Софи говорит:

– Это мой муж. Он очень расстроен. У него умирает мама в... – Она мучительно пытается вспомнить название хоть одного места в Коннектикуте, но у нее вырывается лишь: – ...в Бостоне. Потому мы так и спешим. – Софи смотрит в лицо полисмену, в его наивные фиалковые глаза, простое, плоское, как доска, слегка деревенское лицо, да и весь он похож на крестьянина. Она думает: «Он мог бы пасти коров в какой-нибудь карпатской долине». – Пожалуйста, – просит она, перегнувшись через Натана, делая свою самую прелестную гримаску, – пожалуйста, сэр, поймите, с его матерью плохо. Обещаем вам: дальше поедem медленнее.

Гжемковский становится бесстрастно-деловым, в голосе появляется полицейская грубоватость.

– На этот раз делаю вам предупреждение. А теперь поезжайте, только медленнее.

Натан говорит:

– *Merci beaucoup, mon chef.*[253]

Он смотрит прямо перед собой, в бесконечность. Его губы безостановочно шевелятся, не издавая ни звука, словно он говорит с каким-то беспомощным слушателем, сидящим у него в груди. Он вспотел – пот течет по его лицу, как глицерин. Полицейский вдруг исчез. Софи слышит, как Натан бормочет про себя, вновь запуская мотор. Уже почти полдень. Они едут на север (теперь гораздо степеннее) мимо коттеджей, под нависшими облаками, среди кружения разноцветных листьев в неистовой пляске – здесь краски выплескиваются на них пылающей лавой, там взрываются звездами, не похожие ни на что виденное прежде Софи; приглушенный бормот, который она не в состоянии разобрать, обретает звук, высвобожденный новым приступом паранойи. И всеобъемлющая ярость этого потока слов приводит Софи в такой ужас, словно Натан открыл в машине клетку с дикими крысами. Польша. Антисемитизм. А что ты делала, крошка, когда они жгли гетто? Ты слышала, что сказал один польский епископ другому польскому епископу? «Если бы я знал, что вы придете, я поджарил бы жида!» Кхе-кхе-кхе! «Натан, не надо, – думает она, – не заставляй меня так страдать! Не заставляй меня вспоминать!» Слезы катятся по ее лицу, и она хватается его за рукав.

– Я никогда тебе такого не говорила! Я никогда не говорила! – кричит она. – В тридцать девятом отец рисковал жизнью, спасая евреев! Он прятывал евреев

под полом своего кабинета в университете, когда пришло гестапо, он был хороший, он умер потому, что как раз спасал этих... – Она задыхается от липкого кома отчаяния, подступившего к горлу, как и от лжи, которую только что произнесла; голос ее ломается: – Натан! Натан! Поверь мне, милый, поверь мне!

ГРАНИЦА ГОРОДА ДЭНБЕРИ

– Изжарил жида! Кхе-кхе-кхе!

– Я хочу сказать, милый, не «спрятывал», а пря...

Слова-слова-слова...

Теперь она лишь вполуха слушает его, думает: «Если б я могла заставить его остановиться и где-нибудь поесть, я могла бы ускользнуть от него и позвонить Морти или Ларри... попросить их приехать...» И она слышит собственный голос:

– Милый, я такая голодная, не могли бы мы...

В ответ лишь слова-слова-слова, и среди них:

– Ирма, крошка моя, Ирма Liebchen,[254] я не мог бы съесть ни единого соленого крекера, заплати ты мне хоть тысячу долларов, ох, черт подери, Ирма, я лечу, о господи, я уже в небе, никогда еще не был на таком взводе, никогда не был, никогда тебя так не хотел, тебя, маленькая гойка, фашистская нафка, эй, ты сама сейчас почувствуешь... – Он берет ее руку и кладет себе на брюки, прижимает пальцы к разбухшей твердой оконечности своего члена, – она чувствует, как он пульсирует, замирает и снова начинает пульсировать. – Мне надо, чтоб ты ртом, выдай одну из своих штучек – в Польше за них пятьсот золотых платят, эй, Ирма, сколько эсэсовцев ты там отсосала, чтоб тебя выпустили, сколько семени расы господ проглотила за Freiheit.[255] Слушай, хватит дурака валять – давай соси, ох, никогда еще я так высоко не взлетал, Иисусе, пусть эти нежные губки трудятся надо мной прямо сейчас, где-нибудь тут под синим небом и огненными кленовыми листьями, листьями осени, прекрасной осени... осенними листьями, что усыпают ручьи Вальомбросы – это из Джона Мильтона...

...Голый, он прошлепал назад, в постель, и тихо, осторожно лег рядом с нею. Две капсулы по-прежнему поблескивали в пепельнице, и Софи смутно подумала: интересно, он забыл про них или снова начнет ими играть, дразня ее этой розовой опасностью. Нембутал, увлекая ее в сон, тянул за ноги, словно погружая в теплое, ласковое море.

– Софи-любовь-моя, – сказал Натан тоже сонным голосом, – Софи-любовь-моя, я жалею только о двух вещах.

Она спросила:

– О чем, милый?

Он не ответил, и она повторила:

– О чем?

– О том, – наконец произнес он, – что у нас в лаборатории было потрачено столько труда, столько проведено исследований – и я никогда не увижу их плодов.

Как странно, подумала она, слушая его, впервые за этот день его голос больше не звучал истерически, угрожающе, маниакально, жестоко; вместо этого он был такой знакомый, мягкий, в нем появилась нежность, которая была неотъемлимой частью натуры Натана и которую – Софи была весь день уверена – ей уже не вернуть. Неужели он тоже в последнюю минуту уцелел, вернулся в тихую гавань благодаря спасительным барбитуратам? Может, он просто забудет про смерть и погрузится в сон?

Лестница снова закрипела, снова раздался еле слышимый женский голос:

– Мистер и миссис Ландау, извините меня, пожалуйста. Но мой муж хочет знать, не желаете ли вы выпить перед ужином. У нас все есть. Но мой муж готовит чудесный горячий ромовый пунш.

Натан не сразу ответил:

– Угу, спасибо, ромовый пунш. Два.

И Софи подумала: «Это совсем как прежний Натан». Но тут она услышала, как он тихо пробормотал:

– А второе, второе – то, что у нас с тобой так и не было детей.



Она смотрела в сгущающиеся сумерки за окном, почувствовала, как ногти ее под одеялом вонзились, точно бритвы, в мякоть ладони, подумала: «Зачем ему надо было говорить об этом сейчас? Я же помню, как он сказал сегодня, что я мазохистская шлюха и

он лишь дает мне то, что я хочу. Но неужели он не может избавить меня хотя бы от этой боли?»

– Я именно это имел в виду вечером, когда предлагал тебе выйти за меня замуж, – услышала она его слова.

Она молчала. Она вспомнила Краков и давно прошедшие времена, цоканье лошадиных копыт по истертым временем булыжникам мостовой: почему-то перед ее мысленным взором возник темный кинотеатр и яркий, в пастельных тонах, Утенок Дональд, бегавший по экрану в матросской шапочке, сдвинутой набок, и болтавший по-польски; затем она услышала нежный смех матери. Софи думала: «Если бы я могла снять замок с прошлого, может быть, я бы рассказала ему. Но прошлое, или чувство вины, или что-то еще сковывает мой язык. Ну почему я не могу рассказать ему, как я тоже страдала? И потеряла...»

...Даже слыша его идиотский лепет – а он повторяет снова и снова: «...ближе, ближе, Ирма Гриже», – даже чувствуя боль от того, как его рука безжалостно закручивает ей волосы, словно намереваясь выдернуть их, а другая с силой вдавливаясь ей в плечо, даже сознавая, что тут лежит, сотрясаясь, человек, перешагнувший границу разума и блуждающий в своем собственном безумном мире... даже всем телом ощущая лихорадочный страх, она не может не испытывать наслаждения от прикосновения к его члену. И она сосет, сосет, сосет. Сосет любовно, без конца. Пальцы ее царапают землю лесистого холма, где Натан лежит сейчас под нею, она чувствует, как под ногти забирается грязь. Земля сырая и холодная, в воздухе пахнет горящим деревом, а сквозь ее прикрытые веки просвечивает невероятно яркая огненная листва. И Софи сосет, сосет. Под коленями бугрится какая-то скорлупа – ей больно, но она не передвигается, чтобы утишить боль.

– Ох, Иисусе Христе, ох, соси же меня, Ирма, соси своего еврейчика.

Она берет в ладонь его упругие яйца, поглаживает тонкие волоски. Ей кажется, как всегда, что во рту у нее гладкий мраморый ствол пальмы. «Такие отношения, то, уникальное, что возникло между нами, этот восторженный симбиоз, – вспоминает она, – могла родить лишь встреча большого одинокого семитского шлонга, которого с успехом обманывала целая армия испуганных еврейских принцесс, с прелестными губками, изголодавшимися по фелляции». И даже сейчас, невзирая на все неудобства, невзирая на страх, она думает: «Да, да, он подарил мне и это, весело избавив меня от чувства вины, сказал мне – глупо стыдиться того, что я хочу пососать его петушка, не моя вина в том, что муж у меня был фригидный и не хотел такого, да и мой любовник в Варшаве мне этого не предлагал, – просто я, сказал Натан, жертва двух тысячелетий иудео-христианского образа мысли. Все это вранье, сказал он, будто только

извращенцы любят, когда их сосут. Он всегда мне говорил: «Соси меня, наслаждайся, наслаждайся!» Так что даже сейчас, окутанная облаком страха, когда он издевается и оскорбляет ее, – даже сейчас Софи не просто получает удовольствие, а снова и снова погружается в блаженство, в то время как по спине ее волнами бегут мурашки и она сосет, сосет. Ее не удивляет даже то, что чем больше он терзает ее волосы, чем чаще произносит ненавистное «Ирма», тем с большей алчностью она заглатывает его член, и когда она, на секунду оторвавшись от него, чтобы перевести дыхание, приподнимает голову и шепчет: «О Боже, как же я люблю тебя сосать», слова вырываются у нее с прежним пылом. Она открывает глаза, видит его искаженное мукой лицо и возобновляет свои старания, а голос его гремит, эхом отдаваясь от каменистых склонов холма.

– Соси же меня, ты, фашистская свинья, Ирма Гриже, ты, распалюющая евреев шлюха!

Дивная мраморная пальма, скользкий ствол расширяется, набухает, подсказывая, что Натан вот-вот кончит и надо принимать в себя пульсирующую струю, поток молока пальмы, – в этот миг ожидания Софи всегда чувствует, как к глазам подступают необъяснимые слезы...

... – Я так легко падаю вниз, – услышала она его шепот в спальне после долгого молчания. – Я думал, я действительно разобьюсь. Думал, сильно разобьюсь. Но я так легко спустился. Слава богу, я нашел «барбики». – Он помолчал. – Нам не просто было найти их, верно, – «барбики»?

– Да, – сказала она.

Ей очень хотелось спать. На улице почти совсем стемнело, и яркие листья перестали пылать, выцвели на фоне дымного, металлически-серого осеннего неба. Свет в спальне угасал. Софи придвинулась ближе к Натану; взгляд ее упирался в стену, откуда на нее в свою очередь глядела бабуса-англосаксонка из другого века в янтарном, выцветшем ореоле, – глядела из-под платочка с выражением одновременно благодостным и озадаченным. Софи сонно подумала: «Фотограф сказал ей: минутку посидите неподвижно». Софи зевнула, на мгновение задремала, снова зевнула.

– Где мы все-таки их нашли? – спросил Натан.

– В машине, в отделении для перчаток, – сказала она. – Ты положил их туда утром, а потом забыл, куда положил. Бутылочку с нембуталом.

– Господи, какой ужас. Я ведь действительно выключился. Парил в пространстве. В космосе. Исчез! – Внезапно зашуршав простынями, он приподнялся и потянулся к ней. – Ох, Софи... Господи Иисусе, до чего же я

люблю тебя!

Он обхватил ее рукой и сильным движением привлек к себе – она выдохнула воздух и одновременно вскрикнула. Вскрикнула негромко, но боль была жестокая, настоящая, и вскрикнула она тихонько, но по-настоящему:

– Натан!..

...(Но не вскрикнула, когда носок начищенной кожаной туфли изо всех сил пнул ее между ребер, отодвинулся и снова ударил в то же место, так что весь воздух вылетел из легких и под грудью белым цветком распустилась боль.)

– Натан!

Это был взглас отчаяния, но не вскрик; собственное тяжелое дыхание сливается в ее ушах с его голосом, который с размеренной жестокостью бичует ее:

– Und du... SS-Mädchen... sprichst... вот тебе, вот... грязная Judenschwein![256]

Она не сжимается от боли, а как бы поглощает ее, собирает в некоем погребе или мусорном ведре, находящемся в глубине ее существа, где уже отложились все его дикие выходки – его угрозы, его издевки, его проклятья. Она и не плачет – пока что, – лежа в густом лесу, на этакой прогалине, поросшей ежевикой и кустарником, высоко на холме, куда он наполовину втянул, наполовину приволок ее и откуда она сквозь деревья видит далеко внизу машину с опущенным верхом, которая стоит, такая маленькая и одинокая, на открытой площадке, среди гонимых ветром листьев и мусора. Посеревший день идет на убыль. Такое впечатление, что они пробыли в лесу не один час. Он трижды пинает ее. Вот нога снова занесена, и Софи ждет, дрожа не столько от страха или боли, сколько теперь уже от сырого осеннего холода, проникшего ей в ноги, в руки, в кости. Но на этот раз нога не пинает, а опускается в листья.

– Написать на тебя! – слышит она его голос. И затем: – Wunderbar,[257] вот это мысль!

Теперь он своей ногой в начищенной туфле поворачивает ее лицо – а она лежала отвернувшись, щекой к земле, – так, чтобы она смотрела на него, вверх; она чувствует холодную скользкую кожу туфли на своей щеке. И, глядя, как он расстегивает брюки и велит ей открыть рот, она в трансе вспоминает его слова: «Дорогая моя, у тебя, по-моему, совсем нет самолюбия!» Он сказал это ей с огромной нежностью после такого случая: как-то летом он позвонил ей вечером из лаборатории и в разговоре мимоходом заметил, что ему так хотелось бы поесть «нусхернхен» – пирожных, которыми они вместе лакомились в Йорквилле, после чего, она, не сказав ему ни слова, отправилась за многие мили

на метро – с Флэтбуш-авеню на Восемьдесят шестую улицу – и после отчаянных поисков нашла эти пирожные, привезла их домой и, сияя улыбкой, подала ему: «*Volià, Monsieur, die Nußhornchen*»[258] «Но ты не должна так поступать, – сказал он ей тогда с бесконечной любовью, – это же безумие – потрафлять малейшему моему капризу, милая моя Софи, сладкая моя Софи, у тебя, по-моему, нет никакого самолюбия!» (И она подумала тогда, как думала сейчас: «Я что угодно для тебя сделаю, все что угодно, все!») Однако сейчас его почему-то охватывает первый за весь день приступ паники. Он пытается пустить струю, но тщетно. Одна, две, три теплые капли падают ей на лоб – и все. Она закрывает глаза, ждет. Чувствует только, как он стоит над ней, а также – сырость и холод спиной, да где-то далеко – безумие разыгравшегося ветра, качающихся ветвей, листьев. Затем она слышит его стон – стон, прерывистый от ужаса:

– О господи, я сейчас лопну!

Она открывает глаза, смотрит на него. Лицо его, вдруг позеленевшее, напоминает ей брюхо рыбы. И она никогда еще (да к тому же в такой холод) не видела, чтобы кто-нибудь так потел – пот покрывает его лицо будто слоем масла.

– Я сейчас лопну! – стонет он. – Сейчас лопну! – Он опускается подле нее на землю, весь съеживается и, уткнувшись головой в руки, стонет, дрожит. – О господи Иисусе, я сейчас лопну, Ирма, ты должна мне помочь!

И вот, как во сне, они уже мчатся вниз под гору, по дорожке; она, словно сестра милосердия, бегущая с раненым, прокладывает ему путь по каменистому склону, время от времени оборачиваясь и проверяя его продвижение под деревьями, а он спотыкается, почти ничего не видя из-за руки, бледной повязкой лежащей на его глазах. Они спускаются ниже и ниже – идут вдоль ручья, по деревянным мосткам, снова по лесу, пылающему малиновыми, оранжевыми, багряными красками, которые время от времени прорезают стройные белые колонны берез. Она слышит, как он – теперь уже шепотом – произносит:

– Я сейчас лопну!

Наконец они на ровном месте, на заброшенной автомобильной стоянке для посетителей парка, где возле перевернутого мусорного контейнера их ждет машина посреди настоящего циклона – в воздухе кружатся грязные картонки из-под молока, бумажные тарелки, обертки от сладостей. Наконец-то! Натан кидается к заднему сиденью, где лежит багаж, хватает свой чемодан, швыряет его на землю и, словно обезумевший тряпичник в поисках неопишуемого сокровища, принимается все в нем перерывать. Софи беспомощно стоит в стороне и молчит, в то время как содержимое чемодана летит в воздух, гирляндами свешиваясь с машины: носки, рубашки, белье, галстуки – вся

выброшенная на ветер костюмерная безумца.

– Чертов нембутал! – ревет Натан. – Куда я его сунул! А, черт! О господи Иисусе, мне же он нужен... – Не закончив фразы, он выпрямляется, резко поворачивается и, кинувшись к переднему сиденью, растягивается на нем, под рулевым колесом, отчаянно пытаясь открыть отделение для перчаток. Нашел! – Воды! – еле выдыхает он. – Воды!

Но она, несмотря на свое смятение и боль, предвидела это и, перегнувшись через край заднего сиденья, вытащила из корзины с едой для пикника, к которой они так и не притронулись, картонку с имбирным напитком и сейчас, посражавшись с непослушной открывалкой, наконец сдернула, выпустив фонтан пены, крышку с бутылки и сунула ее Натану в руки. Он глотает таблетки, а ей, пока она смотрит на него, приходит в голову нелепое сравнение. «Бедняга», – думает она, применив к Натану то самое слово, которое он – да, именно он – шепотом произнес всего недели две-три тому назад, когда они смотрели «Потерянный уик-энд», где обезумевший Рэй Милланд отчаянно ищет спасительную бутылку виски. «Бедняга», – пробормотал тогда Натан. Теперь, глядя, как он запрокинул бутылку с зеленым имбирным напитком и как быстро, конвульсивно работают мускулы его горла, она вспоминает о той сцене в фильме и думает: «Бедняга». В общем, тут нет ничего странного, размышляет она, если бы не то обстоятельство, что она впервые почувствовала к Натану нечто столь для него унижительное – жалость. А ей невыносимо его жалеть. И, осознав это, она цепенеет. Медленно садится на землю и прислоняется к машине. Вокруг нее грязными завихрениями ветра и пыли медленно крутится мусор с площадки. Вдруг снова вспыхивает боль под грудью, в боку, острая, как внезапно вернувшееся неприятное воспоминание. Софи легонько проводит по ребрам, очерчивая лихорадочно пульсирующую область боли. Ей приходит в голову, не сломал ли он ей что-нибудь. Она плохо соображает и, натужно выбираясь из этого состояния, понимает, что утратила всякое представление о времени. Она едва слышит, что он говорит, а он лежит растянувшись, покачивая ногой, на переднем сиденье (ей виден только покачивающийся, забрызганный грязью обшлаг его брючины) и что-то бормочет – она разбирает в этой приглушенной невнятице лишь «выход – смерть». И смех – негромкий: кхе-кхе-кхе... Долгое время оба молчат. И потом:

– Милый, – спокойно произносит она, – не надо называть меня Ирмой.

– С этим именем, Ирма, я просто не могла примириться, – рассказывала мне Софи. – Я все могла вытерпеть от Натана, только не это... чтобы он делал из меня Ирму Гризе. Я раза два видела в лагере эту женщину, это чудовище, по сравнению с которой Вильгельмина показалась бы ангелом. Все его пинанья – от них мне было не так больно, как то, что он называл меня Ирма Гризе. Но в тот вечер, пока мы ехали в гостиницу, я постаралась, чтобы он меня больше так не

называл, и когда он стал звать меня «Софи-любовь-моя», я поняла, что он уже больше не на взводе – больше не сумасшедший. Хотя он по-прежнему все играл с этими маленькими капсулами яда. Теперь меня это уже пугало. Я ведь не знала, как далеко он способен пойти. Я прямо помешалась на этой мысли, что мы будем жить вместе, и не хотела, чтобы мы умерли – порознь или вместе. Нет. В общем, нембутал начал на него действовать – это я поняла: он медленно отходил и уже не был на таком взводе, а когда он так крепко прижал меня к себе, мне так стало больно – я подумала, сейчас лишусь чувств, и я так вскрикнула, и тогда он понял, что он со мной сделал. Он стал тогда такой виноватый и все шептал мне в постели: «Софи, Софи, что же я с тобой сделал, как я мог причинить тебе такую боль?» Ну, и разное такое. Но те, другие таблетки – те, которые он называл «барбики», – они начали уже на него действовать, и глаза у него закрывались, и скоро он заснул.



Я помню, хозяйка гостиницы снова поднялась к нам наверх и спросила меня сквозь дверь, когда мы сойдем вниз, потому что уже поздно, – когда мы сойдем вниз для ромового пунша и ужина. А когда я сказала ей, что мы устали, что мы уже легли спать, она очень расстроилась, и рассердилась, и сказала, что нельзя поступать так легкомысленно, и все дальше так, но мне было все равно: я была такая очень усталая и сонная. Так что я вернулась в постель и легла рядом с Натаном и стала засыпать. Но потом – о великий боже! – я вспомнила про капсулы с ядом, которые все лежали в пепельнице. На меня такая напала паника. Я просто в ужас пришла, потому что не знала, что с ними делать. Они такие ужасно опасные, ты же знаешь. Я ведь не могла выбросить их в окно или даже в корзину для мусора, потому что боялась: а вдруг они лопнут и от испарений кто-нибудь умрет. А потом я подумала про унитаз, но все равно волновалась:

боялась про испарения или про то, что вода отравится или даже земля, и я прямо не знала, что делать. Я только знала, что их надо убрать от Натана. Все-таки я решила спустить их в унитаз. В ванной. Там был свет. Я очень осторожно взяла из пепельницы капсулы и в темноте прошла в ванную и выбросила их в унитаз. Они не плавали, как я думала, а сразу пошли на дно, точно два камушка, я быстро спустила воду, и они исчезли.

Тогда я вернулась в постель и тут же заснула. Я ни разу еще не спала таким глубоким, тяжелым сном. Не знаю, сколько долго я спала. Только ночью Натан с криком проснулся. Наверное, это из-за всего, что он напиримал, – не знаю, но было так страшно, когда он среди ночи закричал рядом со мной, точно сумасшедший демон. Я до сих пор не знаю, как он всех не разбудил на мили вокруг. Только я сразу проснулась от его криков, а он стал кричать про смерть, про уничтожение, и виселицы, и газ, и как евреев жгут в печах, и не знаю про что еще. Мне уже весь тот день было страшно, но такого страшного еще не было. Он уже столько раз много часов сходил с ума, потом снова становился нормальным, а тут точно навсегда помешался. «Мы должны умереть!» – бушевал он в темноте. Я слышала, как он сказал с таким долгим вздохом: «Смерть – это выход» – и стал тянуться через меня к столику, точно искал яд. Но вот, знаешь, странная вещь – это длилось только несколько мгновений. Мне показалось, он был такой совсем слабый, я своими двумя руками сумела удержать его, прижала к подушке и все говорила ему: «Милый, милый, засни, все хорошо, тебе просто приснился страшный сон». Всякие такие глупости. Но мои слова и то, что я делала, как-то повлияли на него, потому что очень скоро он снова заснул. Там, в той комнате, было так очень темно. Я поцеловала его в щеку. Кожа у него стала прохладная.

Мы спали много, много часов. Когда я наконец проснулась, то по тому, как солнце засвечивало в окно, я поняла, что как раз середина дня. Листья за окном были такие яркие, точно весь лес горел. Натан еще спал, и я долго просто так лежала с ним рядом – думала. Я понимала, что не могу больше держать в себе ту вещь, которую я меньше всего на свете хотела вспоминать. Но от себя я больше не могла это скрывать, и от Натана тоже. Мы не сможем жить вместе, если я ему не скажу. Я знала, есть такие вещи, которые я никогда не смогу ему сказать – никогда! – но по крайней мере одно он должен знать, иначе мы не сможем больше жить вместе и, уж безусловно, никогда не поженимся, никогда. А без Натана я... ничто. И вот я решила рассказать ему про эту вещь, которая, в общем, не секрет, просто я никогда про нее не упоминала – такая это боль, я еще не могу ее выносить. Натан все спал. Лицо у него было такое очень бледное, но уже совсем не сумасшедшее, и он казался такой мирный. У меня было чувство, что все эти наркотики, наверное, сошли с него, демон оставил его в покое, и все черные ветры – ну, ты знаешь, *tempête* – исчезли, и он снова стал тот Натан, которого я любила.

Я поднялась, подошла к окну и засмотрелась на лес – он был такой красивый, такой яркий, весь как в огне. Я почти совсем забыла про боль в боку, и про все, что случилось, и про яд, и про те сумасшедшие вещи, которые делал Натан. Когда я была совсем маленькая в Кракове и очень много верующая, я играла с собой в игру, которую называла «Лик Бога». Вот увижу что-нибудь очень красивое – облако, или огонь, или зеленую гору, или свет в небе – и пытаюсь найти там Бога, точно Бог действительно был там, на что я смотрела, и жил там, и я могла его там увидеть. И вот в тот день, когда я смотрела из окна на этот невероятный лес, который спускался к реке, а над ним было такое чистое небо, я забылась и на мгновение стала как бы снова маленькая девочка и принялась во всем этом отыскивать лик Бога. В воздухе так чудесно пахло дымом, и я увидела в дали, в лесу, дым, и в нем я увидела Бога. Но тут... тут мне пришло в голову, что я ведь знаю, что по-настоящему есть правда, а это есть то, что Бог снова покинул меня, покинул навсегда. Мне казалось, я видела, как он пошел – отвернулся от меня и, точно такой большой зверь, идет, ломает сучья и листья. Господи! Язвинка, я видела эту его широкую спину, когда он уходил между деревьями. Тут свет в небе погас, и у меня внутри стало так пусто – вернулась память и понимание, что мне надо сказать Натану.



Когда Натан наконец проснулся, я была рядом с ним в постели. Он улыбнулся и что-то сказал, и я почувствовала, что он, наверно, не помнит, что произошло в эти последние часы. Мы сказали друг другу какие-то две-три обычные фразы – ну, знаешь, какие говорят со сна, когда только проснутся, а потом я пригнулась к нему и сказала: «Милый, у меня есть что-то важное сказать тебе». Он стал

приходить в себя и рассмеялся. «Не делай такое лицо...» Остановился и потом сказал: «Что?» И я сказала: «Ты думал, я просто одинокая женщина из Польши, которая никогда не была замужем и все такое, у которой не было семьи или чего-то там в прошлом». Я сказала: «Мне легче было, чтобы это так выглядело, потому что я не хотела копаться в прошлом. Я знаю, это, наверное, и для тебя так было легче». Он такой стал огорченный, и тогда я сказала: «Но я должна тебе кое-что сказать. Вот что. Я была замужем несколько лет назад, и у меня был ребенок, мальчик по имени Ян, он был со мной в Освенциме». Я тут остановилась говорить, посмотрела вдаль, а он молчал так долго, долго, и потом я услышала, как он сказал: «О боже правый, боже правый». Он все повторял это – снова и снова. Потом опять стал тихий и наконец сказал: «А что с ним случилось? Что случилось с твоим мальчиком?» И я сказала ему: «Я не знаю. Я потеряла его». И он сказал: «Ты хочешь сказать – он умер?» И я сказала: «Я не знаю. Да. Может быть. Неважно. Просто я его потеряла. Потеряла».

И это все, что я могла тогда сказать, только еще одно добавила. Я сказала: «Теперь, когда я тебе про это рассказала, я должна взять с тебя такое обещание. Я должна взять с тебя обещание, что ты никогда больше не спросишь про моего ребенка. И не будешь про него говорить. И я тоже никогда не буду про него говорить». И он обещал одним словом. «Да», – сказал он, но на лице у него было столько много печали, что я отвернулась.

Не спрашивай меня, Язвинка, не спрашивай меня, почему – после всего этого – я все равно готова была позволить Натану писать на меня, насиловать меня, пинать меня, бить меня, ослепить меня – делать со мной все, что он захочет. В общем, много времени прошло, и только потом он снова со мной заговорил. Тут он сказал: «Софи-любовь-моя, я, знаешь, сумасшедший. Я хочу извиниться перед тобой за мое сумасшествие. – И потом добавил: – Хочешь потрахаться?» И я сразу ответила, даже не подумала еще раз: «Да. О да». И мы весь день любили друг друга, так что я забыла про боль, но и про Бога забыла, и про Яна, и про все другие вещи, которые я потеряла. И я знала: Натан и я – мы еще немножко будем жить вместе.

Двенадцатое

Перед рассветом после долгого монолога Софи я уложил ее в постель – заткнул в койку, как мы говорили в те дни. Я был поражен, что, влив в себя столько алкоголя, она целый вечер могла так связно говорить, но к четырем часам утра, когда бар стали закрывать, я увидел, что она совсем разбита. Я решил шикануть и повез ее на такси, хотя нас отделяла от Розового Дворца всего какая-нибудь миля, – по пути Софи забылась у меня на плече тяжелым сном. Кое-как, подталкивая за талию сзади, я заставил ее подняться по лестнице, хотя ноги у нее опасно подкашивались. Она лишь легонько вздохнула, когда я, не раздевая,

опустил ее на постель, и у меня на глазах мгновенно забылась. Я сам был пьян и измучен. Я накрыл Софи покрывалом. Затем спустился к себе в комнату, разделся и, нырнув между простынь, тотчас погрузился в глубокий сон, каким спят кретины.

Проснулся я поздно – солнце ярко светило мне прямо в лицо, в ушах стоял гомон птиц, ссорившихся среди кленов и платанов, и далекое кваканье мальчишечьих голосов, – все это я воспринимал сквозь раскалывающую голову боль и пульсирующее сознание того, что такого похмелья у меня не было года два. Нечего и говорить, пивом ведь тоже можно подорвать тело и душу, если поглощать его в больших количествах. Все чувства у меня внезапно до ужаса обострились: ворсинки на простыне под моей голой спиной казались мне стерней на кукурузном поле; чириканье воробья за окном звучало пронзительным криком птеродактиля; треск колеса грузовика, попавшего в рытвину, казался грохотом захлопывающихся врат ада. Все мои нервные центры были воспалены. И еще одно: я поистине погибал от желания, безнадежно попав в лапы алкогольной похоти, известной, по крайней мере в те дни, под именем «горячки похмелья». Я и обычно-то – как читатель, должно быть, уже понял – оказываюсь во власти неосуществленного стремления к загулу, а теперь – во время этих, по счастью, нечастых утренних дебошей – стал и вовсе организмом, поработленным зовом гениталиев, способным растлить пятилетку любого пола, готовым к совокуплению с любым позвоночным, в котором пульсирует горячая кровь. Никакое грубое самоудовлетворение не способно было утолить эту всевластную, лихорадочную жажду. Подобное желание слишком всеохватно, оно питается слишком могучими источниками и не может быть удовлетворено ремесленным способом. Я не считаю гиперболой назвать такое безумие (ибо это и есть безумие) первобытным инстинктом: «Я готов всадить своего зверя в грязь», – говаривали в морской пехоте, имея в виду это маниакальное состояние. Однако мне все-таки удалось по-мужски совладать с собой, что мне понравилось, и я выскочил из постели, думая о пляже Джонса и о Софи в комнате надо мной.

Я просунул голову в дверь и позвал. До меня донеслись звуки Баха. Софи откликнулась из-за своей двери – хотя и неясно, но достаточно бодрым голосом; я втянул голову в комнату и отправился совершать утреннее омовение. Была суббота. Накануне в каком-то приступе дружеских чувств ко мне (возможно, под влиянием опьянения) Софи обещала пробыть здесь весь уик-энд, а не переезжать на новое место близ Форт-Грин-парка. Она также с восторгом согласилась поехать со мной на пляж Джонса. Я никогда там не бывал, но знал, что это место на берегу океана, куда менее забитое людьми, чем Кони-Айленд. И вот, намыливаясь под едва теплой струйкой в розовом, покрытом росой, стоячем металлическом гробу, служившем мне душем, я стал взволнованно строить планы насчет Софи и ближайшего будущего. Более, чем когда-либо, я сознавал

всю трагикомичность моей страсти к Софи. Во-первых, у меня хватало чувства юмора, чтобы понимать всю смехотворность конвульсий и терзаний, в какие повергало меня само ее присутствие. Я достаточно читал романтиков и потому знал, что мои тщетные жалостные вздохи до смешного напоминают «страдания безнадежной любви».

Однако в действительности тут не над чем было смеяться. Боль и страдания, какие мне причиняла эта односторонняя любовь, были не менее жестокими, чем если бы я обнаружил, что подцепил смертельную болезнь. Единственным лекарством от такой болезни была бы ответная любовь Софи, а искренняя любовь с ее стороны казалась столь же нереальной, как лекарство от рака. Порою (а сейчас как раз была такая минута) я способен был буквально клясть ее во всеуслышанье: «Эта сука Софи!», ибо я, пожалуй, предпочел бы ее презрение и ненависть этому суррогату любви, который можно назвать дружеским чувством или приязнью, но никак не любовью. В моем мозгу все еще звучала ее исповедь прошлой ночи и вставал страшный образ Натана – с его жестокостью, и отчаянной нежностью, и извращенной эротикой, и исходящим от него дыханием смерти.

– Черт бы подрал тебя, Софи! – вполголоса произнес я, медленно отчеканивая слова и намыливая чресла. – Натана больше нет в твоей жизни, он ушел навсегда. Исчезла эта смертоносная сила – конец, капут! Так что теперь люби меня, Софи. Люби меня. Люби меня. Люби жизнь!

Вытираясь, я деловито обдумывал, какие у Софи могут быть против меня практические возражения – при условии, конечно, что я сумею пробиться сквозь воздвигнутые ее чувствами стены и каким-то образом завоевать ее любовь. А ее вероятные доводы настораживали. Я был, конечно, намного моложе ее (и прыщик, показатель наступившей половой зрелости, который вскочил у моего носа и был как раз замечен мною в зеркале, подчеркивал это обстоятельство), но это же ерунда – ведь сколько известно исторических прецедентов, позволяющих пренебречь этим обстоятельством или по крайней мере считать его приемлемым. Потом, я не был столь хорошо обеспечен, как Натан. Хотя Софи едва ли можно было назвать алчной, ей нравилась богатая американская жизнь – самоотречения явно не принадлежало к числу ее наиболее заметных качеств, и я с легким, но достаточно громким вздохом спросил себя, как, черт побери, я сумею содержать нас обоих. Тут чисто рефлекторно – как бы в ответ на это размышление – я протянул руку и достал из тайника, устроенного мною в шкафчике для лекарств, мой банк в виде коробки «Джонсон энд Джонсон». К моему полнейшему ужасу, я увидел, что из нее исчезло все до последнего доллара. Меня обчистили!

В вихре мрачных чувств, охватывающих человека после кражи: горя, отчаяния, ярости, ненависти ко всему роду человеческому, – самым отравляющим душу

является то, которое обычно приходит последним: подозрение. Мысленно я невольно нацелил обвиняющий палец на Морриса Финка, который шастал по всему дому и имел доступ в мою комнату, – непрочность моего ни на чем не основанного подозрения усугублялась тем, что я начал испытывать в какой-то мере теплые чувства к нашему кроту-управителю. Финк оказал мне две-три небольшие услуги, что лишь еще больше осложняло дело, не давая разрастись недоверию. И, конечно же, я не мог высказать мое подозрение даже Софи, которая с горячим сочувствием встретила известие об ограблении.

– Ох, Язвинка, не может быть! Бедненький Язвинка! Как же так? – Она вылезла из постели, где, лежа на подушках, читала французский перевод романа «И восходит солнце».[259] – Язвинка! Кто мог такое тебе сделать? – Она импульсивно кинулась ко мне в своем цветастом шелковом халатике. Чувства мои были в таком смятении, что я даже не в состоянии был отреагировать на дивное прикосновение ее груди. – Язвинка! Украли? Какой ужас!

Я почувствовал, что губы у меня дрожат: я был до ужаса близок к слезам.



– Исчезли! – сказал я. – Исчезли все до последнего цента! Триста с лишним долларов – все, что отделяло меня от ночлежки! Как же я теперь напишу мою книгу? Все мое достояние, кроме... – повинуясь пришедшей в голову мысли, я вытащил бумажник и открыл его, – ...кроме сорока долларов – сорока долларов, которые, по счастью, я прихватил с собой, когда мы уходили вчера вечером. Ох, Софи, это полный крах! – И я вдруг услышал, как, полубессознательно подражая Натану, произнес: – Ой, какое же это цорес![260]

Софи обладала таинственным даром утихомиривать разошедшихся людей, даже

Натана, если он еще мало-мальски владел собой. Это было какое-то странное, колдовское качество, я никогда не мог толком его определить – что-то связанное с ее европейским происхождением и смутно, притягательно материнское. «Ш-ш-ш!» – говорила она с наигранной укоризной, и человек затихал и под конец начинал улыбаться. Хотя мое отчаяние исключало возможность улыбки, Софи легко справилась со мной и охладила мое неистовство.

– Язвинка, – сказала она, поглаживая плечи моей рубашки, – это ужасно! Но нельзя вести себя так, точно на тебя упала атомная бомба. Такой большой мальчик, а вид у тебя, точно ты сейчас расплачешься. Ну что такое триста долларов? Скоро ты станешь большой писатель и будешь зарабатывать триста долларов в неделю! Сейчас это плохо – то, что у тебя нет денег, *mais, chéri, ce n'est pas tragique*, [261] ты ничего тут сделать не сможешь, так что надо сейчас об этом забыть, и давай поедem на пляж Джонса, как мы говорили! *Allons y!* [262]

Ее слова очень мне помогли, и я быстро успокоился. При всей сокрушительности моей потери, я понимал, как понимала и Софи, что ничего тут не изменишь, и потому постарался расслабиться и решил по крайней мере насладиться остатком уик-энда с Софи. У меня будет предостаточно времени подумать о чудовищном будущем в понедельник. И я стал с нетерпением ждать нашего отъезда на пляж с эскепистской эйфорией человека, который, не уплатив налогов, решил покончить с прошлым и бежать в Рио-де-Жанейро.

Удивляясь собственному пуризму, я попытался запретить Софи сунуть полбутылки виски в свою пляжную сумку. Но она весело настаивала, заметив: «Это собачий хвост – для опохмелки» – выражение, которое, я уверен, она подцепила у Натана.

– Не только тебе надо опохмелиться, Язвинка, – добавила она.

Именно в эту минуту я впервые всерьез задумался над тем, что она стала пить. Раньше я, по-моему, считал тягу Софи к спиртному явлением временным, стремлением найти утешение после ухода Натана. Теперь же я никоим образом не был в этом уверен – сомнения и тревога за Софи терзали меня, пока мы, покачиваясь, ехали в метро. Вскоре мы вышли. Автобус на пляж Джонса отходил с грязного вокзала на Нострэнд-авеню, где неуправляемые бруклинцы толкались, стремясь побыстрее выбраться на солнце. Мы с Софи последними влезли в автобус – он стоял в туннеле, похожем на склеп; внутри чем-то воняло, было темным-темно и абсолютно тихо, хотя машина была набита смутно вырисовывавшимися ерзающими человеческими телами. Тишина эта производила жуткое, озадачивающее впечатление. «Вся эта масса, – думал я,

пока мы пробирались в хвост автобуса, – уж конечно, должна хотя бы бормотать или вздыхать, ну подавать хоть какие-то признаки жизни»; наконец мы добрались до наших изодранных провисших сидений.

В этот момент автобус рванулся к солнечному свету, и я смог различить наших спутников. Это были сплошь еврейские дети, и совсем маленькие, и подростки, и все – глухонемые. Или по крайней мере я решил, что это были еврейские дети, поскольку один мальчик держал плакат, на котором от руки крупными буквами было выведено: ВИФЛЕЕМСКАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ. Две полногрудые матроны ходили по проходу, одаряя юных путешественников веселыми улыбками, взмахивая пальцами на языке знаков, словно дирижируя безгласным хором. То тут, то там кто-то из детей, широко улыбаясь, ответит, в свою очередь взмахнув, словно крылом, рукой. Я вздрогнул всем телом, несмотря на бездонную пропасть похмелья, в которую был погружен. Меня посетило страшное чувство беды. Взвинченные нервы, вид этих увечных ангелочков, а также запах бензина, вытекавшего из неисправного мотора, – все это вместе породило во мне несказанную тревогу. Не помог моей панике улечься и голос Софи, равно как и горечь ее слов. А она начала прикладываться к бутылке и стала невероятно словоохотливой. Но меня буквально потрясло то, как она говорила про Натана, потрясла звучавшая в ее голосе неприкрытая озлобленность. Я с трудом мог поверить такой перемене и отнес ее за счет виски. Сквозь рев мотора, в голубоватой дымке углеводородов, я оцепенело, с возрастающей неловкостью слушал Софи, молясь, чтобы нам побыстрее добраться до чистого воздуха пляжа.

– Вчера вечером, – говорила Софи, – вчера вечером, Язвинка, когда я рассказала тебе про то, что было в Коннектикуте, я первый раз что-то поняла. Я поняла, что я рада, что Натан оставил меня так. То есть правда, по-настоящему рада. Я была так много зависима от него, понимаешь, а это не очень здоровая вещь. Я без него шевельнуться не могла. Я не могла принять самое простое маленькое *décision*[263] – сначала думала, как хочет Натан. О, я знаю, я в таком большом перед ним долгу, он столько много для меня сделал, я это знаю, но это такая была у меня болезнь – стать для него такой маленькой кошечкой, которой он играл. Спал вместе и играл...

– Но ты же сказала, что он принимал наркотики, – прервал я ее. Я почувствовал странную потребность что-то сказать в его защиту. – Я имею в виду – разве не правда, что он так плохо к тебе относился, только когда был на взводе от этих наркотиков?...

– Наркотики! – резко оборвала она меня. – Да, он принимал наркотики, но разве это может быть оправданием, бог ты мой? Всегда может быть оправданием? Мне так надоели люди, которые всегда говорят, что надо жалеть человека – он под

влиянием наркотиков и потому так себя ведет. Черт бы побрал этот грохот, Язвинка! – воскликнула она, в точности как это сделал бы Натан. – Он же чуть не убил меня. Он меня бил! Он мне сделал больно! Почему я после этого должна любить такого человека? Ты понимаешь, что он сделал мне так больно – я тебе не говорила об это вчера! Он же так сильно ударил меня ногой, что сломал мне ребро. Он повез меня к доктору – слава богу, не к Ларри, – повез меня к доктору, и мне сделали рентген, и я потом полтора месяца носила этот пластырь. И нам пришлось придумать историю для того доктора – что я поскользнулась и упала на тротуар и у меня треснула ребро. Ох, Язвинка, я так рада, что избавилась от такого человека! Такого жестокого человека, такого... такого *malhonnête*. [264] Я рада, что рассталась с ним, – объявила она, вытирая капельку влаги с губы, – я просто в экстазе, если хочешь знать правду. Натан мне больше не нужен. Я ведь еще молодая. У меня хорошая работа, я привлекательная, я легко найду себе другого мужчину. Ха! Может, я выйду замуж за Сеймура Катца! Вот удивится Натан, если я выйду замуж за этого хиропрактика – он ведь все винил меня, что у меня с ним роман! А его друзья! Друзья Натана!

Я повернулся и посмотрел на нее. В ее глазах сверкала ярость, голос звучал пронзительно, и мне захотелось сказать ей, чтобы она говорила потише, но тут я сообразил, что слышу ее только я.

– Я в самом деле терпеть не могла его друзей. А вот брата его я очень любила. Ларри. Я буду скучать по Ларри, и еще я очень любила Морти Хэйбера. Но все другие его друзья... Эти евреи с их психоанализом, вечно они ковыряют свои маленькие болячки, волнуются про свой маленький блестящий умишко, и про своих аналитиков, и про все. Ты же слышал их, Язвинка. Ты знаешь, что я имею в виду. Ты еще когда-нибудь слышал такие глупости? «Мой аналитик то, мой аналитик это...» Такая мерзость, можно подумать, они от чего-то страдали, эти уютно устроившиеся американские евреи и их доктором таким-то, которому они платят по столько много долларов за час, чтобы он исследовал их маленькие жалкие душонки! Брр! – Она вздрогнула всем телом и отвернулась.

Что-то в ярости и горечи, с какими говорила Софи, и то, как она прикладывалась к бутылке – а это было для меня явлением совсем новым, – усиливало мою взвинченность, так что под конец я едва владел собой. Она болтала, а я вдруг смутно осознал, что в моем организме произошли весьма неприятные перемены: у меня появилась отчаянная изжога, я потел как кочегар, а от нервозности милый мой гномик набух точно камень и готов был продырявить мне штанину. К тому же нашим экипажем правил дьявол. Раскачиваясь во все стороны и изрыгая дым, наш дряхлый автобус под скрип тормозов следовал по застроенному унылыми домишками Куинсу и Нассау, и, казалось, мы будем теперь навеки его пленниками. Словно в трансе, я слышал голос Софи, выводившей свою арию на фоне гротескной пантомимы, разыгрываемой безгласными детьми. И жаль, что

эмоционально я был не в том состоянии, чтобы понять весь подтекст ее речей.

– Эти евреи! – воскликнула она. – Это же все так: в конечном счете они все sous la peau – под кожей – одинаковые, понимаешь. Мой отец был действительно прав, когда говорил, что никогда не знал еврея, который дал бы что-нибудь бесплатно – непременно что-то попросит взамен. Quid pro quo[265] – так он говорил. И Натан... Натан как раз есть такой пример! О'кей, он много мне помог, делал мне хорошо – ну и что? Ты думаешь, он это делал из любви, по доброте? Нет, Язвинка, он это делал, только чтобы можно было меня использовать, иметь, спать со мной, бить меня, делать из меня свою вещь! Вот и все – вещь. Ох, это очень по-еврейски – то, что Натан так делал: он мне не давал свою любовь, он меня покупал своей любовью, так все евреи делают. Неудивительно, что евреев так ненавидели в Европе, потому что они считают, они могут получить, что захотят, надо только заплатить немножко денег, немножко Geld. Даже любовь, они считают, можно купить! – Она вцепилась мне в рукав, и сквозь запах бензина на меня пахнуло виски. – Евреи! Боже, как я ненавижу их! Ох, сколько много я тебе наврала, Язвинка. Все, что я рассказала про Краков, – это все есть ложь. Все мое детство, всю мою жизнь я ненавидела евреев. Они заслуживали это – такую ненависть. Я ненавижу их – грязные еврейские cochons![266]

– Ох, прошу тебя, Софи, прошу тебя, – взмолился я.

Я понимал, что она расстроена, понимал, что на самом деле ничего такого она не думает, понимал также, что ей легче обрушиться на еврейское происхождение Натана, чем на самого Натана, в которого она явно была по-прежнему по уши влюблена. Эта мерзость, которую она из себя выплеснула, огорчила меня, хоть я и понимал, чем все объяснялось. Тем не менее сила внушения велика, и дикая желчность Софи пробудила во мне какую-то атавистическую предвзятость, и, пока автобус, раскачиваясь, въезжал на асфальтовую стоянку у пляжа Джонса, я все больше погружался в мрачные раздумья по поводу моего недавнего ограбления. А также по поводу Морриса Финка. «Финк! Этот чертов иудей», – думал я, тщетно пытаюсь рыгнуть.

Маленькие глухонемые, как и мы, вылезли из автобуса и затопали вокруг нас, наступая нам на ноги, окружая плотным кольцом своих жестов – словно бабочка машет крыльями. Казалось, нам от них не избавиться – жутковатый молчаливый кортеж сопровождал нас по пляжу. Небо, такое ясное в Бруклине, затянуло тучами; горизонт стал свинцовым, океан набегал на берег грязными, маслянистыми волнами. Лишь несколько купальщиков крапинками лежали на пляже; воздух застревал в легких, было нечем дышать. Меня наполняла поистине невыносимая тревога и уныние, нервы мои звенели от напряжения. В ушах звучал мучительно-безутешный пассаж из «Страстей по Матфею», рыдавший

утром по радиоприемнику Софи, и я без особых оснований, но как бы антифоном вспомнил строки из произведения семнадцатого века, которое незадолго до того читал: «...поскольку Смерть – это Люцина[267] жизни, даже язычники могли бы усомниться, не лучше ли умереть, чем так жить...» Я весь вспотел во влажном коконе моего страха, волнуясь по поводу того, что меня ограбили и теперь я очутился на грани нищеты; волнуясь по поводу моего романа – сумею ли я когда-либо его закончить; волнуясь, следует ли мне предъявить обвинение Моррису Финку или нет. Глухонемые дети, словно повинуясь некоему беззвучному сигналу, неожиданно разбежались, разлетелись в разные стороны, как прибрежные птички. А мы с Софи продолжали брести по краю воды под серым, как кротовый мех, небом, – совсем одни.

– Все, что есть у евреев плохого, – все имеет Натан, – сказала Софи, – и ничего самого маленького хорошего.

– А что вообще у евреев есть хорошего? – услышал и собственный вздорный голос. – Ведь это Моррис Финк, этот еврей, украл у меня деньги из шкафчика для лекарств. Я уверен! Помешавшийся на деньгах, алчный еврейский ублюдок!

Два антисемита, выехавшие летом на природу.



Часом позже я вычислил, что Софи за это время влила в себя почти полпинты виски, может быть, на одну-две унции меньше. Она глотала его, точно какая-нибудь фокусница в польском баре в Гэри, штат Индиана. Однако при этом ни в координации ее движений, ни в речи не было заметно никаких сдвигов. Только

язык у нее сорвался с цепи (он не заплетался, а просто болтал без устали, порой с сумасшедшей скоростью), а я, как и накануне вечером, слушал и с удивлением наблюдал за ней, в то время как кукурузный спирт – этот могучий растворитель – расслаблял ее сдерживающие центры. Помимо всего прочего, утрата Натана, казалось, превратила ее в эротоманку, вызвав потоки излияний о прошлых романах.

– До того как я попала в лагерь, – говорила она, – у меня в Варшаве был любовник. Он был моложе, чем я, на несколько лет. Ему не было даже двадцати. Его имя было Юзеф. Я никогда не говорила о нем Натану – не знаю почему. – Она помолчала, прикусив губу, затем сказала: – Нет, знаю. Потому что я понимала: Натан такой много ревнивый, такой сумасшедший ревнивый – он возненавидит меня и накажет за то, что у меня был любовник даже в прошлом. Вот какой Натан мог быть ревнивый, так что я никогда ни слова ему не сказала про Юзефа. Представь себе такое: ненавидеть человека за то, что он был раньше любовником! А теперь уже умер.

– Умер? – переспросил я. – Каким образом?

Но она, казалось, не слышала меня. Она перекатилась на другую сторону расстеленного нами одеяла. К моему большому удивлению и еще большему удовольствию, она притащила в своей холщевой сумке четыре банки пива. Я даже не рассердился, что она забыла дать их мне раньше. Они, конечно, стали теперь совсем теплые, но мне это было глубоко безразлично (мне тоже очень нужна была опохмелка); Софи открыла одну из них и, выпустив пену, протянула мне. Она принесла с собой также и какие-то непонятные с виду сандвичи, но мы к ним не притронулись. Мы лежали в чудесном уединении – в таком скрытом от глаз закутке, между двух высоких дюн, слегка поросших жесткой травой. Отсюда нам хорошо был виден океан, безостановочно лизавший песок, – вода в нем была какого-то странного, невиданно серо-зеленого, точно машинное масло, цвета, – нас же могли видеть лишь чайки, парившие в недвижимом воздухе над головой. Сырость собиралась вокруг поистине ощутимым туманом, бледный диск солнца висел за серой пеленой облаков, которые медленно передвигались, сталкивались. В известном смысле это был очень меланхоличный пейзаж, и мне бы не хотелось оставаться здесь долго, но благословенное пиво «Шлитц» на время успокоило мои страхи. Осталась лишь тяга к Софи, усугублявшаяся тем, что она лежала рядом со мною в своем белом купальном костюме из ластекса, а также нашей полной изолированностью в этом песчаном гнездышке – меня даже слегка познабливало от этого уединения. Кроме того, мною владела такая по-идиотски безудержная похоть – подобный приступ случался со мной впервые после той незадачливой ночи с Лесли Лапидас, – что мысль о самокастрации на

какой-то миг вовсе не была для меня пустым бредом. Из скромности я упорно лежал на животе в моих унылых рвотно-зеленых флотских плавках, по обыкновению изображая из себя терпеливого исповедника. И выставленные мною антенны вновь принесли мне информацию, что Софи говорит со мной откровенно, без утайки.

– Но была и еще одна причина, почему я не стала бы рассказывать Натану про Юзефа, – продолжала она. – Я все равно не рассказала бы, даже если бы он не стал ревновать.

– Почему же? – спросил я.

– Потому что он не поверил бы про Юзефа – совсем ничему бы не поверил. И опять из-за евреев.

– Я не понимаю, Софи.

– Ох, это так есть сложно.

– Постарайся объяснить.

– И потом, это еще потому, что я уже наговорила Натану много вранья про моего отца, – сказала она. – Я... как же это говорят? – выше головы запуталась.

Я тяжело вздохнул.

– Послушай, Софи, ты меня совсем сбиваешь с толку. Поясни. Пожалуйста.

– О'кей. Вот смотри, Язвинка. Когда дело касается евреев, Натан не поверит ничему хорошему про польский народ. Я не могла его убедить, что есть приличные поляки, которые рисковали жизнью, чтобы спасти евреев. Мой отец... – Она на секунду умолкла, словно ей сдавило горло; затем после долгой паузы сказала: – Мой отец. Ох, черт подери, я ведь тебе уже говорила: я солгала Натану про отца и тебе – тоже. Но под конец я все-таки, понимаешь, тебе сказала правду, а Натану просто не могла сказать, потому что... я не могла ему сказать, потому что... потому что я трус. Я поняла, что мой отец был такое большое чудовище, что мне надо скрывать правду про него, хотя какой он был и что он делал – это же не моя вина. Я за это не должна чувствовать себя в ответе. – Она снова помедлила. – Это было так неприятно. Я врала про отца, а Натан не хотел верить. После этого я поняла, что никогда не смогу рассказать ему про Юзефа. А он был добрый и храбрый. И вот это уже есть правда. Я помню, Натан все говорил мне такую цитату, очень американскую: «Одно выиграешь – другое потеряешь». Но я ничего не могла выиграть.

– Так что же все-таки случилось с Юзефом? – довольно раздраженно напомнил я ей.



– Мы жили в том доме в Варшаве, который разбомбили, а потом поправили. В нем можно было жить. Но только едва-едва. Это было очень страшное место. Ты и представить себе не можешь, какая страшная была тогда Варшава – во время оккупации. Столько мало еды, часто – совсем немножко воды, и зимой было так холодно. Я

работала на фабрике, где делают толь. Работала десять-одиннадцать часов в день. От толя руки у меня были все время в крови. Все время кровавились. Я работала в общем не за деньги, а чтобы иметь рабочую карточку. С рабочей карточкой я знала, что меня не пошлют в Германию в лагерь, на каторжные работы. Я жила в совсем малюсенькой квартирке на четвертом этаже, а Юзеф жил со своей сводной сестрой внизу. Его сводную сестру звали Ванда – ей было немножко больше, чем мне, лет. Они оба были связаны с подпольем – с Армией Крайовой,[268] как это называлось. Мне бы хотелось хорошо описать Юзефа, но я не могу – не хватает слов. Мне он очень так нравился. Но настоящей романтической любви не было, правда. Он был невысокий, мускулистый, очень такой напористый и нервный. И для поляка довольно темный. Как ни странно, мы редко занимались любовью. Хотя спали на одной кровати. Он говорил, ему надо беречь силы для борьбы. Он, понимаешь, не имел такого образования – официального. Он был как я: из-за войны мы не имели шанса учиться. Но он много читал, он был очень умный. И он даже не был коммунист, он был анархист. Обожал Бакунина и был полный атеист – это тоже странно, потому что в то время я все еще была очень верующая католичка, и я иногда удивлялась, как это я могла влюбиться в этого молодого человека, который не верит в Бога. Но мы с ним сделали такое соглашение: никогда не говорить про религию – и не говорили.

Юзеф был убиватель... – Она помолчала и, подумав, сказала: – Убийца. Он был убийца. Вот что он делал для подполья. Он убивал поляков, которые выдавали евреев, выдавали, где евреи прячутся. А евреи прятались по всей Варшаве – не евреи из гетто, *naturellement*, [269] но евреи более высокого класса – *assimilés*, [270] там ведь много было интеллигентов. А среди поляков много было

таких, которые выдавали евреев нацистам – иногда за деньги, иногда так. И Юзеф был один из тех, кого подполье посылало убивать этих, которые предатели. Он их душил струной от пианино. Он старался каким-нибудь образом познакомиться с человеком и потом душил его. И каждый раз, как убьет кого-нибудь, его вырвет потом. Он убил человек шесть или семь. Юзеф, Ванда и я – мы имели подругу в соседнем доме, которую мы все очень любили, – такая красивая девушка по имени Ирена, лет ей было тридцать пять, такая красавица. Она до войны была учительница. Так странно – она учила американской литературе и, я помню, была специалистом по поэту, которого звали Харт Крейн. Ты про него слышал, Язвинка? Она тоже работала для подполья, то есть, я хочу сказать, так мы думали, потому что через какое-то время мы тихонько узнали, что она двойной агент и тоже выдала много евреев. И вот Юзеф должен был ее убивать. Хотя он очень ее любил. И вот поздно вечером он задушил ее струной от пианино и потом весь другой день простоял в моей комнате у окна – смотрел в пространство и не говорил ни слова.

Софи замолчала. Я уткнулся лицом в песок и, подумав о Харте Крейне, вздрогнув от крика чайки, от ритмического прилива и отлива угрюмых волн. «И подле меня ты, благословенная, и нам поют сирены, манят, увлекают в день...»

– Как он умер? – снова спросил я.

– После убийства Ирены фашисты выследили его. Это было через неделю. Нацисты имели таких больших украинцев, которые занимались для них убийством. Они пришли к нам днем, когда меня не было, и перерезали Юзефу горло. Когда я явилась, Ванда уже нашла его. Он лежал на лестнице и истекал кровью...

Прошла не одна минута, прежде чем мы снова заговорили. Я понимал, что каждое слово, произнесенное Софи, – истинная правда, и меня захлестнуло отчаяние. Чувство это объяснялось нечистой совестью, и хотя, логически рассуждая, я не должен был винить себя за события в мире, за то, что со мной жизнь обошлась по-одному, а с Юзефом – по-другому, я не мог не смотреть с отвращением на собственную жизнь. Чем занимался старина Язвина, пока Юзеф (да и Софи с Вандой) мучился в немыслимой огненной геенне Варшавы? Слушал Глена Миллера, накачивался пивом, шатался по барам, валял дурака. Господи, до чего же несправедлив наш мир! После почти бесконечного молчания, все так же лежа ничком на песке, я вдруг почувствовал, как Софи запустила руку мне в плавки и принялась поглаживать по той на редкость чувствительной части тела, где поясница переходит в ягодицы. Я удивился и одновременно ощутил прилив эротизма; из горла невольно вырвалось какое-то бульканье. Пальцы тотчас были убраны.

– Язвинка, давай разденемся, – как мне показалось, услышал я.

– Что ты сказала? – тупо произнес я.

– Давай снимем наши вещи. Будем голые.

Представь себе, читатель, на минуту следующее. Представь себе, что какое-то неопределенное, но довольно долгое время ты жил с вполне обоснованным подозрением, будто страдаешь неизлечимой болезнью. И вот однажды утром звонит телефон и врач говорит: «Вам не о чем беспокоиться – страхи были ложные». Или представь себе такое. Ты понес серьезные финансовые потери, так что ты близок к разорению и тюрьме и тебе приходит в голову мысль покончить с собой. И опять-таки благословенный телефон сообщает тебе, что ты выиграл полмиллиона долларов в лотерее своего штата. Я не преувеличиваю (я, как читатель помнит, уже упоминал, что никогда еще не видел обнаженной женщины), говоря, что едва ли испытал бы большее изумление и большую, поистине животную радость от подобного известия, чем от предложения Софи, произнесенного так нежно. В сочетании с ее откровенно эротической лаской это произвело на меня такое впечатление, что я чуть не задохнулся и стал усиленно заглатывать воздух. Такое состояние медики, кажется, называют гипервентиляцией, и на секунду мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание.

Но когда я посмотрел вверх, я обнаружил, что Софи вылезает из своего костюма, и таким образом всего в нескольких дюймах от себя увидел то, что, как я полагал, увижу, лишь достигнув зрелого возраста: обнаженное молочно-белое молодое женское тело с пышными грудями, на которых нахально торчали коричневатые соски, с гладким, слегка округлым животом, посередине которого неприкрыто подмигивал пупок, и («успокойся, сердце», – помнится, подумал я) приятно-симметричным треугольником медовых волос. Мое воспитание – десять лет общения с надушенными юными мещанками и всеобщая традиция прятать тело под одеждой – привело к тому, что я почти забыл о существовании у женщин этого отличия, и выпучив глаза, смотрел на Софи, как вдруг она повернулась и побежала к воде.

– Давай, Язвинка, – крикнула она, – снимай одежду и побежали в воду!

Я поднялся и, словно зачарованный, уставился ей вслед – я не преувеличиваю, говоря, что ни один целоудренный и изголодавшийся в поисках Грааля рыцарь-христианин не мог бы с более ошалелым восторгом смотреть на предмет своего обожания, чем смотрел я, впервые видя перед собою подпрыгивающий зад Софи – дивный перевернутый цветок клевера, открытки с изображением которого посылают в день святого Валентина. Затем у меня на глазах она с всплеском погрузилась в сумрачные воды океана.

Я не последовал за ней в воду, наверно, просто потому, что никак не мог прийти в себя. Столько всего произошло за такой короткий промежуток времени, что все чувства мои были в смятении и я стоял, точно прикованный, на песке. А какая перемена в настроении: страшная хроника событий в Варшаве и потом вдруг эта вспышка игривости. Что, черт подери, все это означало? Я был чрезвычайно возбужден и в то же время безнадежно запутался, не имея опыта, который помог бы мне разобраться в таком повороте событий. Украдкой – хотя вокруг не было никого – я стянул с себя плавки и остался стоять под странно мрачным для лета серым небом, беспомощно подставив свою мужскую статью легкому ветерку. Одним глотком я проглотил остатки пива, терзаясь страхом, смешанным с радостью. И посмотрел туда, где плавала Софи. Она плыла хорошо, легко, казалось, без усилий – я надеялся, что она не слишком расслабилась, и на секунду с волнением подумал, можно ли плавать, когда выпито столько виски. Воздух был душный, жаркий, а мне было холодно, и я дрожал, как в приступе малярии.

– Ох, Язвинка, – со смешком заметила она, вернувшись, – смотри, что у тебя.

– А что?

– У тебя же стоит.

Она сразу это заметила. Не зная, как быть, но не желая показаться слишком неловким, я постарался занять самую непринужденную позу – вернее, как можно более непринужденную – и прикрыл локтем мой заметно вытянувшийся орган; из этого мало что получилось, ибо он выскочил из-под локтя в тот момент, когда Софи бросилась рядом на одеяло, и мы, как дельфины, подкатились друг к другу и обнялись. С тех пор я тщетно пытаюсь воссоздать в памяти мучительное волнение той минуты. Легкое ржанье, похожее на ржанье пони, вылетело из моего горла, когда я целовал ее, но только целовал – и все; я, точно маньяк, крепко обхватил ее за талию, боясь погладить из страха, что она рассыплется под моими неумелыми пальцами. Ее ребра казались такими хрупкими. Я подумал о том, как пинал их Натан, а также о том, что она ведь голодала. Меня продолжало колотить и трясти – я сознавал лишь сладость ее рта с привкусом виски и тепло наших мешавшихся дыханий.

– Язвинка, ты так весь трясешься, – в какой-то момент прошептала она, отстраняясь от меня. – Успокойся!

Но тут я понял, что к тому же исхожу слюной – еще одна унижительная особенность, которая не давала мне покоя все время, пока были слиты наши губы. Я не мог понять, почему у меня во рту образовалось столько влаги, и это так меня заботило, что я не в состоянии был заняться обследованием ее тела,

которое – да поможет мне бог – столь волновало мое воображение во сне. Я был в клещах какого-то безымянного и дьявольского паралича. Словно десять тысяч учителей пресвитерианских воскресных школ сгрудились над Лонг-Айлендом этакой грозной тучей и их присутствие сковывало мне пальцы. Секунды казались минутами, минуты – часами, а я все не мог предпринять серьезного шага. И тогда Софи – то ли чтобы положить конец моим мучениям, то ли просто чтобы выйти из тупика – сама сделала первый шаг.

– У тебя такой симпатичный шлонг, Язвинка, – сказала она, осторожно, но крепко беря в руку мое сокровище.

– Спасибо, – пробормотал я. Мне не верилось, что это происходит со мной («Она же держит меня в руке», – мелькнула у меня мысль), но я постарался придать себе вид человека бывалого. – Но почему ты называешь это «шлонг»? У нас на Юге это называется иначе. – Голос у меня квакнул.

– Так его называет Натан, – ответила она. – А как его называют у вас на Юге?

– Иногда называют клювом, – шепотом произнес я. – В верхней части Юга – долотом. Или отмычкой.

– Я слышала, Натан называл его своим путцем.

– А тебе мой нравится? – Я сам себя еле расслышал.

– Он миленький.

Не могу уже сейчас припомнить, что именно – если что-то было – положило конец этому жуткому диалогу. Я ожидал, конечно, услышать что-то более описательное – «гигантский», «чудо», даже «большой» вполне меня бы устроило – что угодно, только не «миленький», и очевидно лишь мрачное мое молчание побудило ее начать его поглаживать, а потом наяривать с усердием куртизанки, немного напоминавшем доярку за работой. Но это было божественно. Я слышал, как она прерывисто дышит и тоже так задышал, а когда она прошептала: «Перевернись на спину, Язвинка», в мозгу моем вспыхнули картины любви, которой она предавалась с Натаном и которые так откровенно мне описывала. Но это было уж слишком, это уже невозможно было вынести – эту дивную, умелую накачку, а затем внезапный приказ (Бог ты мой, подумал я, она же назвала меня «любимый») – вместе в рай, и заблеяв от ужаса, словно олень, видящий, что его сейчас добьют, я почувствовал, как сомкнулись у меня веки и под напором буйного потока разверзлись шлюзовые ворота. Тут я умер. В такую скорбную минуту Софи не следовало бы хихикать, а она хихикнула.

Однако немного спустя, чувствуя мое отчаяние, она сказала:

– Не печалься, Язвинка. Так иногда бывает, я знаю.

А я лежал, съежившись, точно намокший бумажный пакет, крепко зажмурясь, не в силах постичь всей глубины своего провала. Ejaculatio praesox[271] (Курс психологии в университете Дьюка). Целый взвод бесенят швырял этот термин в черный колодец моего отчаяния. Мне казалось, я никогда больше не открою глаз, – моллюск, прилипший к грязи на дне, самая низкопробная тварь в море.

Я услышал, как Софи снова хихикнула, и приоткрыл веки.

– Знаешь, Язвинка, – говорила она, а я с изумлением смотрел на нее, – это хорошо для кожи.

И у меня на глазах сумасшедшая полька взяла в руку бутылку и глотнула виски, а другой рукой – той, что причинило мне столько наслаждения и унижения, – осторожно растерла по лицу влагу моего злополучного извержения.

– Натан всегда говорит, в этом есть много замечательных витаминов, – сказала она. Мой взгляд упал на ее татуировку – она казалась такой несовместимой с тем, что происходило сейчас. – Не смотри так трагично, Язвинка. Это не конец света, такое случается со всеми мужчинами, особенно в молодости. *Par exemple*,[272] в Варшаве, когда я и Юзеф первый раз заниматься любовью, так же было, точно так же. Он тоже был девственница.

– Как ты узнала, что я девственник?

– О, я сразу могу сказать. Я знала, у тебя не получилось с этой Лесли, ты все выдумывал, когда рассказывал, как спал с ней. Бедненький Язвинка... Ох, а по-честному, Язвинка, я не знала. Просто догадывалась. Но я правильно догадывалась, да?

– Да, – рыданьем вырвалось у меня. – Я был чист, как первозданный снег.

– Юзеф был такой похожий на тебя – честный, прямой, в каком-то смысле точно маленький мальчик. Мне трудно это описать. Может, потому я так много люблю тебя, Язвинка, потому что ты очень напоминаешь мне Юзефа. Я, возможно, вышла бы за него замуж, если бы его не убили нацисты. Знаешь, никто из нас никогда не узнал, кто предал его после того, как он убил Ирену. Это была полная тайна, но кто-то наверняка сказал. Мы вот так же устраивали вместе пикники. Это было очень трудно во время войны – так мало было еды, – но раз или два мы ездили летом за город и вот так же расстилали одеяло...



Это было поразительно. После пылких объятий, всего через несколько минут после нашего слияния – самого близкого к катаклизму и самого волнующего события, какое я когда-либо пережил, – она способна была, как бы мечтая вслух, предаваться воспоминаниям, точно наша изумительная близость взволновала ее не больше, чем если бы мы станцевали на танцплощадке тустеп. Может быть, в какой-то мере это объяснялось влиянием алкоголя? Взгляд у нее слегка остекленел, и в уголках рта набиралась слюна, точно у аукционера на табачных торгах. Чем бы ни объяснялась ее неожиданная отрешенность, она причинила мне острую боль. Она же называла меня «милый», а теперь, вместо того чтобы говорить обо мне, говорит о своем любовнике, который умер и похоронен много лет тому назад. Неужели она забыла, что лишь несколько минут назад готова была открыть мне тайны изощренной любви, которой я, предвкушая наслаждение, с волнением ждал – с четырнадцати лет? Неужели женщины могут вот так в один миг взять и, словно нажав кнопку, выключить страсть? А этот Юзеф? То, что она столько думала о своем возлюбленном, сводило меня с ума, и мне была невыносима мысль – поспешно отброшенная в глубину сознания, – что предметом страсти, которую Софи изливала на меня в течение нескольких жарких минут, был вовсе не я; что я явился для нее лишь суррогатом Юзсфа, плотью, занявшей определенное место в ее эфемерных фантазиях. Во всяком случае, я заметил еще, что речь ее становилась все менее членораздельной, в голосе появилась хрипота, в тоне – напыщенность, а губы шевелились странно искусственно, словно замороженные новокаином. Это не могло не встревожить: она была как зачарованная. Я вынул из ее руки бутылку – там оставалось еще несколько унций виски.

– Я становлюсь больной, Язвинка, такой больной, когда думаю, как все могло

быть. Если бы Юзеф не умер. Я очень его любила. Много больше, чем Натана, правда. Юзеф никогда со мной так плохо не обращался, как Натан. Кто знает? Может быть, мы поженились бы, а если бы поженились, жизнь стала бы совсем много другая. Вот только одна вещь, *par exemple*, [273] его сводная сестра, Ванда. Я сумела бы вытащить его из-под ее дурного влияния, и это было бы так хорошо. Где бутылка, Язвинка? – (Как раз в этот момент я выливал – за моей спиной, так, чтобы не было видно, – остатки виски в песок.) – Та самая бутылка. В общем, Ванда есть кветч, она была такая кветч! [274] – (Мне понравилось это слово «кветч». Натан, опять Натан!) – Это она виновата, что Юзефа убили. Хорошо, я признаю: *il fallait gue...* я хочу сказать: кому-то надо было мстить тем, кто выдавал евреев, но почему каждый раз убивать должен был Юзеф? Почему? Это все было в руках Ванды, этой кветч. О'кей, она была лидером подполья, но разве это справедливо – делать своего брата единственным убийцей в нашей части города? Это есть справедливо, я тебя спрашиваю? Его же рвало после каждого убийства, Язвинка. Рвало! Он чуть с ума не сошел.

У меня перехватило дыхание при виде того, как, смертельно побелев, она что-то побормотала и отчаянно лшарила рукой в поисках бутылки.

– Софи, – сказал я, – Софи, виски кончилось.

Отрешенная, погруженная в свои воспоминания, она, казалось, не слышала меня и была явно близка к слезам. Неожиданно я впервые понял, что значит выражение «славянская печаль»: горе затопило Софи, и по ее лицу, словно по снежному полю, побежали черные тени.

– Чертова сука эта Ванда! Все из-за нее! Все! И что умер Юзеф, и что меня отправили в Освенцим – все! – Она зарыдала, и слезы проложили по ее щекам уродливые бороздки. Я жалко поежился, не зная, что делать. И хотя Эрос отлетел от нас, я протянул руки и привлек к себе Софи и опустился с ней на одеяло. Ее лицо лежало на моей груди. – Ох, черт бы все побрал, Язвинка, я такая ужасно несчастная! – причитала она. – Где Натан? Где Юзеф? Где все? Ох, Язвинка, я хочу умереть!

– Успокойся, Софи, – ласково произнес я, поглаживая ее голые плечи, – все будет хорошо. – (Ни малейшего на это шанса!)

– Обними меня, Язвинка, – в отчаянии шептала она, – обними меня. Я такая потерянная. О боже, я чувствую себя такой потерянной! Что мне делать? Что мне делать? Я такая совсем одна!

Алкоголь, усталость, горе, влажная душная жара – все это, вместе взятое, несомненно, привело к тому, что она заснула в моих объятиях. Накачавшийся

пива, измученный, я тоже заснул, крепко прижав ее к себе, словно спасательный жилет. Снились мне какие-то никчемные, запутанные сны, которые в течение жизни периодически посещали меня, – сны в снах о нелепых преследованиях, о поисках непонятной добычи, заводивших меня в совершенно непонятные места – вверх по крутым неудобным лестницам, на лодке – по недвижным водам каналов, через занюханые кегельбаны и лабиринты железнодорожных депо (где я увидел моего обожаемого преподавателя английского языка из университета Дьюка, который стоял в своем твидовом костюме у рукоятки быстро движущейся дрезины), по зияющим пустотой, залитым ослепительным светом подвалам, подземным ходам и туннелям. А также по призрачным и страшным канализационным трубам. Предмет моих поисков всегда был загадкой, хотя вроде бы имел какое-то отношение к потерявшейся собаке. Когда же я, вздрогнув, проснулся, то прежде всего понял: Софи каким-то образом высвободилась из моих объятий и исчезла. Я хотел закричать, но крик застрял в горле, превратившись в сдавленный стон. Я почувствовал, как отчаянно заколотилось сердце. Поспешно натянув плавки, я взобрался на дюну, откуда был виден весь пляж, и на этом унылом песчаном пространстве не обнаружил ничего – ничегошеньки. В поле зрения Софи не было.

Я заглянул за дюны – пустырь, поросший болотной травой. Никого. И никого на берегу, если не считать неясной фигуры, приземистой, широкой, двигавшейся в моем направлении. Я побежал к этой фигуре, которая постепенно обрисовывалась все четче и оказалась крупным смуглым купальщиком, жевавшим сосиску. Черные волосы его были приглажены и разделены пробором посередине; он любезно и бессмысленно осклабился.

– Вы никого не видели... молодую блондинку, то есть настоящую красотку, очень светлую... – проямлил я.

Он утвердительно кивнул, улыбаясь.

– Где? – с облегчением спросил я.

– No hablo inglés,[275] – был ответ.

Этот диалог, он до сих пор сохранился в моей памяти и запечатлелся так живо, наверно, потому что в тот момент, когда незнакомец отвечал мне, я увидел поверх его волосатого плеча Софи, голова ее была не больше золотистой точки, далеко, на зеленых маслянистых волнах. Ни секунды не раздумывая, я ринулся за ней. Я довольно хороший пловец, но в тот день я плыл поистине как олимпиец, рассекая спокойные воды океана и сознавая, что только страх и отчаяние вдохнули такую силу в мышцы моих рук и ног и продвигают меня вперед и вперед с такою стремительностью, какой я в себе и не подозревал. Я

быстро покрывал расстояние, рассекая морскую зыбь и тем не менее удивлялся, что Софи сумела забраться так далеко; когда же я на минуту приостановился, чтобы обзреть, где нахожусь, и установить местонахождение Софи, я, к моему великому огорчению, увидел, что она все удаляется, держа путь на Венесуэлу. Я крикнул раз, другой, но она продолжала плыть.

– Софи, вернись! – крикнул я, но с таким же успехом я мог взывать к воздуху.

Я перевел дух, прочитал, вспомнив прошлое, короткую молитву христианскому богу – первую за многие годы – и возобновил свой героический заплыв на юг, в направлении все уменьшавшейся мокрой шапки льняных волос. Внезапно я обнаружил, что быстро сокращаю расстояние: сквозь соленую пелену, застилавшую мне глаза, я увидел, как растет, приближается голова Софи. Я понял, что она перестала плыть, и через несколько секунд нагнал ее. Вода накрыла всю ее до самых глаз, но хоть она и не тонула, взгляд у нее был дикий, как у загнанной в угол кошки, она глотала воду и явно была на грани изнеможения.

– Не надо! Не надо! – еле выдохнула она, отстраняя меня слабыми движениями руки.

Но я рванулся к ней, крепко обхватил ее сзади за талию и с истерической настойчивостью рывкнул:

– Прекрати!

Я чуть не расплакался от облегчения, обнаружив, что Софи, очутившись в моих руках, не стала сопротивляться, как я опасался, а прижалась ко мне, и я медленно поплыл с ней к берегу, – она лишь судорожно, горестно всхлипывала, так что вода пузырьками бежала у меня по щеке и затекала в ухо.

Как только я вытащил ее на берег, она упала на четвереньки и выбросила из себя на песок с полгаллона морской воды. Затем, задыхаясь и отплевываясь, растянулась лицом вниз у края воды и, словно в припадке эпилепсии, неудержимо задрожала, сотрясаясь в конвульсиях такого горя, какого я у человеческого существа ни разу еще не наблюдал.

– О боже, – рыдала она, – почему ты не дал мне умереть? Почему не дал мне утонуть? Я такая нехорошая, такая ужасно нехорошая! Почему ты не дал мне утонуть?

Я беспомощно стоял над ее обнаженной фигурой. Одинокий любитель прогулок по пляжу, которого я раньше спрашивал про Софи, стоял и смотрел на нас. Я заметил, что губы у него в кетчупе; мрачным тоном он бормотал себе под нос

что-то по-испански, видимо давая советы. Я вдруг рухнул рядом с Софи, поняв, какой я олух, и провел мокрой рукой по ее голой спине. Я до сих пор помню то ощущение в пальцах – костяк ее хребта, где чувствовался каждый позвонок, изгиб спины, вздымавшейся и опускавшейся в ритме затрудненного дыхания. Начался теплый, легкий дождь, усеявший капельками мое лицо. Я прижался головой к плечу Софи. И услышал, как она сказала:

– Надо было тебе дать мне потонуть, Язвинка. Ни у кого внутри нет такой нехорошести. Ни у кого! Никто больше не есть такой нехороший.

Наконец я заставил ее одеться, мы сели на автобус и поехали назад, в Бруклин и в Розовый Дворец. Кофе помог ей протрезветь, и она проспала всю вторую половину дня и часть вечера. Проснувшись, она была по-прежнему взвинчена – этот одинокий заплыв в никуда явно вывел ее из равновесия, – но она все же более или менее владела собой, особенно если учесть, как близко подошла она к краю бездны. Физически Софи, казалось, мало пострадала, хотя соленая вода, которой она наглоталась, вызвала у нее икоту и она потом в течение еще нескольких часов не по-дамски рыгала.

А кроме того... ей-богу, она ведь уже проделала со мной путешествие в преисподнюю своего прошлого. Но при этом оставила меня со множеством вопросов, на которые нет ответа. Возможно, она считала, что не сможет по-настоящему вернуться в сегодняшний день, пока, так сказать, не очистится и не прольет свет на то, что все еще скрывала от меня, как и (кто знает?) от себя. И вот на протяжении остатка этого мокрого, дождливого уик-энда она еще немало рассказала мне о своем пребывании в аду. (Немало, но не все. Один факт остался погребенным в ней – из области того, о чем не говорят.) И я наконец начал видеть очертания той «нехорошести», осознание которой, точно злой демон, шло за ней по пятам из Варшавы в Освенцим и потом на симпатичные мещанские улицы Бруклина.

Софи забрали где-то в середине марта 1943 года. Через несколько дней после того, как охранники-украинцы убили Юзефа. День стоял серый, порывами налетал ветер, и по небу мчались низкие облака, в которых еще чувствовался холод зимы: Софи помнила, что это произошло в конце дня. Когда маленький трехвагонный электропоезд-экспресс, в котором она ехала, с визгом остановился где-то на подъезде к Варшаве, у нее возникло нечто более сильное, чем просто предчувствие. Она была уверена – уверена, что ее отправят в один из лагерей. Эта сводящая с ума мысль вспыхнула в ней еще до того, как агенты гестапо – с полдюжины, а то и больше – влезли в вагон и велели всем выйти. Софи понимала, что это łapanka – облава, которой она так боялась и которой ждала с той минуты, как вагон трамвайного типа, вздрогнув, остановился: в этой внезапной и быстрой остановке чувствовался перст судьбы. Был перст судьбы и

в кислом металлическом запахе, который возник, когда колеса затормозили на рельсах, и в том, как сидевшие и стоявшие в переполненном поезде пассажиры вдруг качнулись вперед, отчаянно и тщетно пытаясь за что-то ухватиться. «Это не случайность, – подумала Софи, – это германская полиция». А затем прогремела команда:

– Raus! [276]

Двенадцатикилограммовый окорок был почти сразу обнаружен. Хитрость, к которой прибегла Софи, привязав завернутый в газету пакет под платьем к своему телу, чтобы казаться на сносях, была уже давно разгаданной уловкой: это не только не помогало, а, наоборот, привлекало внимание; Софи же к этой уловке прибегла по совету крестьянки, которая продала ей драгоценное мясо. «Попытайтесь хотя бы, – сказала женщина. – А если повезете в открытую, они наверняка вас схватят. Потом и вид у вас такой, да и одеты вы как интеллигентная, а не наша крестьянская баба. Может, и проскочите». Но Софи не предусмотрела ни самой *İaranka*, ни того, как тщательно она проводится. И вот гестаповский головорез, поставив Софи к сырой кирпичной стене и даже не пытаясь скрыть своего презрения к ее глупой польской увертке, извлек из кармана мундира перочинный нож и, не спеша, чуть ли не деликатно, вонзил его с этакой усмешечкой в торчавший под платьем мнимый живот. Софи помнила запах сыра, исходивший от дыхания нациста, и как он заметил, вонзив нож в ногу того, что недавно было веселым поросенком: «Ты что же, не можешь даже ойкнуть, *Liebchen*? [277]» И она в ужасе и отчаянии смогла лишь пробормотать какую-то банальность, удостоившись за свои скромные труды комплимента по поводу прекрасного знания немецкого языка.

Она была уверена, что ее станут пытаться, но каким-то образом она этого избежала. В тот день немцы устроили невероятный тарарам: на улицах по всему городу были задержаны сотни поляков, и таким образом совершенное Софи преступление (достаточно серьезное – контрабандный провоз мяса), которое в другое время, безусловно, повлекло бы за собой самый тщательный допрос, было оставлено без внимания или забыто в общей неразберихе. Но ни она, ни ее окорок не остались незамеченными. Окорок лежал развернутый, розовато поблескивая, на столе в гнусном штабе гестапо – этом страшном варшавском варианте преддверия царства Сатаны – между нею, сидевший в наручниках, и свержусердным фанатиком в монокле, который как две капли воды был похож на Отто Кругера и желал знать, где она раздобыла эту контрабанду. У его переводчицы, польской девушки, был отчаянный кашель.

– Ты есть контрабандистка! – громко произнес он на ломаном польском, и когда Софи ответила ему по-немецки, то получила второй за этот день комплимент. И жирную, широкую, во все зубы нацистскую улыбку – точь-в-точь как в

голливудских фильмах 1938 года. Но это была далеко не шутка. Она что же, не знает, насколько серьезен ее проступок, не знает, что все мясо, и особенно такого качества, предназначено для рейха? Острым ногтем нацист отковырнул от окорока кусочек жира и отправил себе в рот. Пожевал. *Hochqualitätsfleisch*. [278] Голос его зазвучал вдруг жестко, хрипло. Где она раздобыла такое мясо? Кто ее снабдил? Софи подумала о бедной крестьянке, она знала, какое ту ждет возмездие, и, решив выиграть время, сказала:

– Оно не для меня, Herr Offizier, [279] это мясо. Это для мамы – она живет на том конце города. Она очень больна, у нее туберкулез.

Как будто подобные альтруистические чувства могли оказать малейшее влияние на этого карикатурного загнанного нациста, которого одолевали со всех сторон: в дверь стучали, то и дело звонил телефон. Надо же было устроить эту *lapanka* – и так сумасшедший выдался для немцев день.

– Плевал я на твою мать! – взревел немец. – Я хочу знать, где ты добыла это мясо! Сейчас же говори, или я велю выбить из тебя эти сведения!

Но в дверь продолжали барабанить, и снова зазвонил телефон – маленькая комната превратилась в палату сумасшедшего дома. Офицер-гестаповец рывкнул, приказывая солдату убрать эту польскую суку с глаз долой, и больше Софи не видела ни его, ни ветчины.

В другой день ее могли бы и не поймать. Ирония случившегося убивала ее, пока она вместе с десятком других варшавян обоего пола, людей совершенно ей незнакомых, ждала своей участи в камере предварительного заключения, в почти полной темноте. Большинство находившихся там – хотя и не все – были люди молодые, двадцати или тридцати с лишним лет. Что-то в их манере держаться – возможно, упорное, каменное молчание – подсказывало ей, что это участники движения Сопротивления. АК – Армия Крайова. Подпольная армия, действующая на территории Польши. Тут Софи вдруг пришло в голову, что, подожди она всего один день (как она намеревалась) и отправься за мясом в Новы-Двур не сегодня, она не очутилась бы в этом железнодорожном вагоне, который, как она теперь поняла, скорее всего, и был объектом засады с целью поймать в ловушку ехавших в нем аковцев. Забрасывая широкую сеть, чтобы выловить как можно больше особо ценной рыбы, нацисты вытаскивали заодно и всякую мелкую, но интересную рыбку – в тот день Софи оказалась одной из них. Она сидела на каменном полу (а уже перевалило за полночь) и в полном отчаянии думала о Яне и Еве, которые остались дома одни. Из коридоров за стенами камеры непрерывно доносились окрики и гул голосов, шарканье ног и тяжелое дыхание людей, по мере того как тюрьма продолжала наполняться жертвами дневной облавы. В какой-то момент за решеткой двери промелькнуло

знакомое лицо, и сердце у Софи захолонуло. По лицу струилась кровь. Это было лицо молодого человека, которого она знала только по имени – Владислав, редактор подпольной газеты: они несколько раз разговаривали на ходу в квартире Ванды и Юзефа, находившейся под той, где она жила. Сама не зная почему, Софи в тот момент почувствовала уверенность, что и Ванду арестовали. И тут в голову ей пришла еще одна мысль. «Матерь божия!» – инстинктивно взмолилась она, чувствуя, как никнет, точно мокрый лист, от этой мысли: все безусловно давным-давно забыли про ветчину (не говоря о том, что ее наверняка уже сожрали гестаповцы), и теперь ее судьба – какой она ни будет – связаны с судьбой участников движения Сопротивления. И такие мрачные предчувствия охватили Софи, что слово «ужас» казалось пресным по сравнению с ними.

Софи провела ночь без сна. Было холодно и темно как в могиле – она лишь различила, что человеческое существо, которое на рассвете швырнули рядом с ней, было женщиной. А когда сквозь решетку начал сочиться свет, она вздрогнула – хотя по-настоящему и не удивилась, – увидев, что женщина, дремавшая рядом, была Вандой. При слабом свете она постепенно различила на щеке Ванды большущую ссадину – смотреть страшно, подумала Софи, точно мякоть раздавленного красного винограда. Она хотела было разбудить Ванду, затем передумала, помедлила и убрала руку; в этот момент Ванда проснулась, застонала и усиленно заморгала, глядя прямо в лицо Софи. Софи никогда не забыть удивления, отразившегося на избитом лице Ванды.

– Зося! – воскликнула она, целуя ее. – Зося! Ты-то что, ради всего святого, тут делаешь?

Софи залилась слезами – она с таким отчаянием, так горько рыдала на плече у Ванды, что прошли минуты, прежде чем она смогла вымолвить хоть слово. Спокойствие Ванды, ее сила, как всегда, действовали умиротворяюще: Ванда шепотом ласково приговаривала, поглаживала Софи по спине, между лопатками, точно сестра, или мать, или заботливая сиделка, – Софи могла бы заснуть в ее объятиях. Но ее терзала тревога, и, взяв себя в руки, она рассказала историю своего ареста в поезде. На это потребовалось всего несколько секунд. Слова лились потоком, подгоняя друг друга, – Софи понимала, что говорит слишком быстро и кратко, но ей не терпелось получить скорее ответ на вопрос, при мысли о котором последние полсутки у нее буквально переворачивалось все внутри.

– Как дети, Ванда?! Ян и Ева. Они в порядке?

– Да, в порядке. Они где-то тут, в этом здании. Нацисты не причинили им зла. Они арестовали всех в нашем доме – всех, включая твоих детей. Никого не оставили. – Страдальческая гримаса исказила ее крупное, сильное лицо, обезображенное сейчас ссадиной. – О господи, они забрали сегодня столько

наших. После убийства Юзефа я понимала, что и до нас скоро доберутся. Это катастрофа!

Хоть дети не пострадали – и то хорошо. Софи сразу почувствовала облегчение и благословляла Ванду. Затем, не в силах сдержать порыв, она кончиками пальцев погладила обезображенную распухшую щеку с багровой ссадиной, но до самой ссадины не дотронулась. И снова заплакала.

– Что они сделали с тобой, Ванда, милая? – прошептала она.

– Горилла гестаповец швырнул меня вниз с лестницы, а потом наступил мне на лицо. Ох, эти... – Она возвела глаза к потолку, но проклятия так и не слетели с ее уст. Немцев непрестанно и так давно кляли, что самая грязная анафема, даже только что выдуманная, прозвучала бы плоско – пусть лучше молчит язык. – Не страшно: по-моему, он ничего мне не сломал. Уверена, на вид это куда хуже, чем по ощущению. – Она снова обняла Софи, тихонько цокая языком. – Бедненькая Зося! Надо же, чтобы именно ты попала в их грязный капкан.

Ванда! Могла ли Софи когда-либо измерить или до конца определить свое чувство к Ванде – сложное чувство: в нем была и любовь, и зависть, и недоверие, и зависимость, и враждебность, и восхищение? Они были во многих отношениях так похожи и, однако же, были такие разные. Вначале их сблизило общее увлечение музыкой. Ванда приехала в Варшаву заниматься вокалом в консерватории, но война разрушила ее надежды, как и надежды Софи. Когда Софи случайно поселилась в одном доме с Вандой и Юзефом, их дружбу скрепили Бах и Букстехуде, Моцарт и Рамо. Ванда была высокая, атлетически сложенная, с изящными мальчишечьими руками и ногами и копной огненно-рыжих волос. Глаза у нее были синие, как сапфиры, таких глаз Софи никогда не видела. На лице – пыльца крошечных янтарных веснушек. Излишне выдвинутый подбородок несколько портил общую картину, так что по-настоящему красивой назвать ее было нельзя, но она отличалась природной живостью и порою поистине светилась, что совершенно преображало ее, – она сияла, искрилась и горела (Софи часто называла ее про себя «fourgueuse»[280]), становясь такой же яркой, как ее волосы.

У Софи и Ванды было нечто общее и в происхождении: обе выросли в семьях, где царило увлечение германизмом. Собственно, у Ванды была даже немецкая фамилия – Мук-Хорх фон Кречман: дело в том, что она родилась от отца-немца и матери-польки в Лодзи, где влияние Германии на торговлю и промышленность, особенно текстильную, было весьма ощутимым, если не всеохватным. Ее отец, фабрикант дешевой шерсти, рано научил ее немецкому; как и Софи, она говорила на этом языке свободно и без акцента, но душой и сердцем была полькой. Софи представить себе не могла, чтобы в человеческой груди мог

гнездиться такой пылкий патриотизм, даже в этой стране неумных патриотов. Ванда была как бы копией молодой Розы Люксембург, которую Софи боготворила. Ванда редко говорила об отце и никогда не пыталась объяснить, почему напрочь отказалась от германской части своей крови, Софи знала лишь, что Ванда живет и дышит мечтой о свободной Польше – а в еще большей мере о свободном польском пролетариате после войны – и что эта страсть сделала ее одной из самых стойких верных участниц Сопротивления. Умная, не знавшая страха, она могла работать ночи напролет, была той искрой, которая разжигала пожар. Блестящее знание языка захватчиков делало ее, конечно, чрезвычайно ценной для подполья, не говоря уже о ее неутомимости и прочих качествах. И то, что Софи, тоже с детства владевшая немецким, отказывалась поставить свой дар на службу Сопротивлению, сначала злило Ванду, а затем привело двух приятельниц на грань разрыва. Дело в том, что Софи сильно, смертельно боялась ввязаться в подпольную борьбу против нацистов; Ванде же неучастие в этой борьбе представлялось не только непатриотичным, но говорившим о моральной трусости.

За две-три недели до гибели Юзефа и облавы несколько бойцов Армии Крайовой угнали гестаповский фургон в городе Прушкуве, недалеко от Варшавы. В фургоне было настоящее сокровище – множество документов и планов, и Ванда с первого взгляда поняла, что в толстых, объемистых папках содержатся сугубо секретные материалы. Но их было много, и необходимо было срочно их перевести. Когда Ванда обратилась к Софи и попросила ее помочь разобраться с этими бумагами, Софи снова не смогла сказать «да», и их старый мучительный спор возобновился.

– Я социалистка, – сказала тогда Ванда, – а ты человек совершенно аполитичный. Больше того, ты богомолка. По мне – пожалуйста. В прежнее время я бы чувствовала к тебе лишь презрение, Зося, презрение и неприязнь. У меня до сих пор есть друзья, которые не пожелали бы иметь ничего общего с такой, как ты. Но мне кажется, я переросла такой подход. Я ненавижу глупую непреклонность некоторых моих товарищей. А кроме того, ты мне просто нравишься, как ты, наверное, понимаешь. Поэтому я не пытаюсь переубедить тебя в плане политическом или даже идеологическом. В любом случае ты не захочешь общаться со многими из нас. Я человек нетипичный, но они люди совсем не твоего склада – это ты уже знаешь. Однако не все в нашем Движении действуют из политических соображений. Так что я взываю к тебе во имя человечности. Я пытаюсь воззвать к твоему чувству порядочности, к твоему ощущению себя как человека и как польки.

Тут Софи – как всегда после очередного пылкого призыва Ванды – молча отвернулась. Она смотрела из окна на опустошенную зимнюю Варшаву, взорванные здания и груды мусора, накрытые, как саваном (другого слова не

придумаешь), почерневшим от копоты снегом; эта картина вызывала у нее в свое время слезы горя, а сейчас – лишь болезненную апатию, настолько она вписывалась в унылую повседневность и страдания этого города, разграбленного, полного страха, голодного, умирающего. Будь у ада предместья, они выглядели бы как эти пустыри. Софи пососала свои израненные пальцы. Она не могла позволить себе даже дешевых перчаток. Работа на фабрике толя вконец испортила ее руки – один большой палец нарывал и болел. Она сказала Ванде:

– Я говорила тебе и говорю снова, моя дорогая: я не могу. Не буду. И все.

– И по той же причине, я полагаю?

– Да. – Ну почему Ванда не может примириться с ее решением, не приставать с ней больше, оставить ее в покое? Эта настырность просто раздражает. – Ванда, – мягко сказала Софи, – я не хочу лишний раз приводить этот довод. Мне неловко повторять тебе то, что должно быть тебе и так ясно: в глубине души, я знаю, ты человек чувствительный. Но в моем положении – повторяю: я не могу рисковать, у меня же дети...

– И у других женщин в Армии Крайовой тоже есть дети, – резко перебила ее Ванда. – Неужели ты не способна это понять?

– Я уже говорила тебе. Я не «другие женщины», и я не состою в Армии Крайовой, – на этот раз с раздражением ответила Софи. – Я – это я! Я обязана поступать по совести. У тебя нет детей. Тебе легко так говорить. А я не могу рисковать жизнью моих детей. Им и так тяжело приходится.

– Боюсь, Зося, ты оскорбляешь других, ставя себя в особое положение. Ты, значит, не можешь пожертвовать...

– Я уже пожертвовала, – с горечью сказала Софи. – Я потеряла мужа и отца, и мама у меня умирает от туберкулеза. Сколько еще я должна жертвовать, ради всего святого?

Ванда, естественно, не могла знать об антипатии – назовем это безразличием, – которую Софи питала к своему мужу и отцу, вот уже три года лежавшим в могиле в Заксенхаузене; тем не менее то, что она сказала, прозвучало достаточно убедительно, и Софи заметила, что Ванда сбавила тон. В голосе ее появились даже вкрадчивые интонации.

– Ты же не обязательно будешь подвергаться опасности, понимаешь, Зося. Никто не потребует от тебя ничего по-настоящему рискованного – ничего отдаленно похожего на то, что делают некоторые товарищи, даже я сама. Нам нужен твой мозг, твоя голова. Ты можешь оказать столько бесценных услуг при твоём

знании языка. Заниматься радиоперехватом, переводить. Эти документы, которые выкрали вчера, угнав фургон гестапо из Прушкува. Давай скажем прямо. Я уверена, что им цены нет! Я, конечно, могла бы тут помочь, но их там много, а мне еще о тысяче всяких вещей надо думать. Неужели ты не понимаешь, Зося, как бесконечно полезна ты могла бы нам быть: мы могли бы просто привезти сюда эти документы – это было бы вполне безопасно, никто бы ничего не заподозрил. – Она помолчала и продолжала уже более настойчиво: – Ты должна пересмотреть свое решение, Зося. Так вести себя просто неприлично. Подумай, что ты можешь сделать для всех нас. Подумай о своей стране! Подумай о Польше!

Спускались сумерки. Под потолком слабо пульсировала маленькая лампочка – счастье еще, что она вообще горела, так как нередко света совсем не было. Софи с самой зари перетаскивала рулоны толя и сейчас почувствовала, что спина у нее болит еще больше, чем распухший, гноившийся палец. Как всегда, она остро переживала то, что она немытая, грязная. Усталыми глазами, которые саднило, словно в них попал песок, она смотрела вдаль, на разбитый город, в котором солнце, казалось, не способно было зажечь ни единой искры. Она зевнула от усталости, не слушая больше Ванду или, вернее, не вслушиваясь в слова, которые та бубнила пронзительным, угрожающим тоном. Софи подумала: где-то сейчас Юзеф, подумала, в безопасности ли он. Она знала лишь, что он выслеживает кого-то в другой части города, спрятав под пиджаком моток смертоносной струны, – девятнадцатилетний мальчик, на которого возложена миссия сеять смерть и возмездие. Она не была в него влюблена, но в общем... он был ей очень дорог; она любила ощущать тепло его тела в постели, и она будет тревожиться за него, пока он не вернется. «Матерь божия, – подумала она, – что за жизнь!» Внизу, по обезображенной улице – серой, изрытой и безликой, как изношенная подошва туфли, – промаршировал взвод немецких солдат, порывистый ветер поднимал воротники их мундиров, за спиной у каждого висела винтовка; Софи проводила их равнодушным взглядом, пока они не исчезли из виду, свернув на улицу, где, если бы не остатки разбомбленного здания, она увидела бы виселицу из железа и стали, воздвигнутую у тротуара: эта виселица походила на вешалки, которые выставляют на улицу торговцы подержанными вещами, и с ее горизонтальной балки не раз свисали, дергаясь и замирая, жители Варшавы. Они и сейчас висели там и дергались. Господи, неужели это никогда не кончится?

Софи была слишком измучена, чтобы даже попытаться плоско пошутить, но у нее мелькнула мысль – и она чуть так и не поступила – сказать Ванде в ответ то, что – как ни возмутительно – засело у нее в мозгу: «Есть только одна-единственная вещь, которая могла бы соблазнить меня и заставить вступить в ваш мир, – это приемник. Чтобы слушать Лондон. Но не вести с войны. Не вести о победах союзников, или о сражениях польской армии, или о приказах

польского правительства в изгнании. Не это. Нет, просто мне кажется, я готова была бы рискнуть жизнью, как это делаешь ты, даже руку отдать на отсечение, лишь бы еще раз послушать «*Così fan tutte*»[281] в исполнении оркестра под управлением сэра Томаса Бичема». Это была возмутительно эгоистическая мысль – Софи тотчас осознала ее бесконечную низость, как только эта мысль пришла ей в голову, но что поделаешь: такое у нее возникло желание.

На мгновение ей стало стыдно, что она так подумала, что такое могло прийти ей в голову под крышей Ванды и Юзефа, этих двух бескорыстных храбрых людей, чья принерженность человечеству и собратьям-полякам, а также озабоченность судьбой преследуемых евреев были прямой противоположностью всему, за что ратовал ее отец. Хотя на ней не лежало никакой вины, Софи чувствовала себя замаранной, опозоренной тем, что помогала отцу в его одержимости в последний год его жизни, что была связана с его изуверской брошюрой, и это краткое знакомство с глубоко преданными делу сестрой и братом как бы немного ее отмыло. Она вздрогнула, и лихорадка стыда усилилась, обожгла ее. Что бы Ванда и ее брат подумали, если бы знали о профессоре Беганьском или знали, что вот уже три года она носит при себе экземпляр его памфлета? И для чего? Ради какой неопишуемой цели? Чтобы воспользоваться им, как отмычкой, орудием для возможной сделки с нацистами, если в этом возникнет мерзкая необходимость? Да, отвечала она сама себе, да – от этого гнусного и позорного факта никуда не уйти. А Ванда все продолжала говорить о долге и жертвенности, и Софи взбаламученная своей тайной, вынуждена была, чтобы сохранить спокойствие, выбросить ее из головы, как зловонные помои. Она снова стала слушать.

– В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен определиться, – говорила Ванда. – Ты знаешь, какой я считаю тебя красавицей. И Юзеф готов умереть за тебя! – Голос ее зазвучал громче, он поистине сдирал с Софи кожу. – Но ты не можешь больше так вести себя с нами. Ты должна стать человеком ответственным, Зося. Ты подошла к тому пределу, когда больше уже нельзя валять дурака – надо делать выбор!

В этот момент Софи увидела внизу, на улице, своих детей. Они медленно шли по тротуару, оживленно о чем-то переговариваясь, дурачась, как все дети. Мимо них в наступающей темноте спешили домой прохожие; один из них, пожилой мужчина, закутавшийся от ветра, неуклюже налетел на Яна – тот дерзко показал ему кулак и продолжал идти с сестрой, занятый разговором, что-то ей объясняя, объясняя... Он ходил за Евой к преподавателю, у которого она брала уроки игры на флейте – нерегулярно, от случая к случаю, иной раз совсем неожиданно (в зависимости от того, какой выдавался день), – в полуразрушенном подвале в двенадцати кварталах от их квартиры. Преподаватель по имени Стефан Заорский был флейтистом Варшавского симфонического оркестра, и Софи пришлось и

лестью и уговорами убеждать его позаниматься с Евой: помимо денег – а Софи могла платить ему лишь жалкую сумму, – у бывшего музыканта не было других побуждений давать уроки в этом стылом, безрадостном городе, где можно было куда лучше заработать себе на хлеб (хотя главным образом нелегально). К тому же Заорский страдал от артрита, поразившего оба его колена, что тоже не способствовало делу. Но человек он был еще сравнительно молодой и холостой и был неравнодушен к Софи (как и многие другие, кто, увидев ее, сразу терял голову), – он и согласился-то, несомненно, потому, что это позволяло ему время от времени любоваться ее златокудрой красотой. А кроме того, Софи была энергична, спокойно-напориста, она уговаривала и уговаривала и все-таки сумела убедить Заорского, что не может представить себе, чтобы Ева росла без музыки. Тогда и жизнь ни к чему.

Флейта. Волшебная флейта. В городе разбитых и расстроенных роялей флейта мыслилась отличным инструментом для первых шагов ребенка в музыке. Ева совершенно влюбилась во флейту, и месяца через четыре Заорский был уже без ума от девочки: пораженный ее природным даром, он опекал ее, точно она была вундеркиндом (а вполне возможно, что так оно и было), новой Ландовской, новым Падеревским, новым польским подарком пантеону музыки, и под конец даже отказался от той скромной суммы, которую Софи была в состоянии ему платить. Вот и сейчас Заорский вдруг появился на улице, словно этаким светлый джинн, на удивление всем свалившийся с неба, – прихрамывающий, с изголодавшимся, но румяным лицом, соломенными волосами и нервной озабоченностью в голубых глазах. Темно-зеленый шерстяной свитер на нем являл глазу мозаику дырочек от моли. Пораженная его неожиданным появлением, Софи приткнулась к стеклу. Человек щедрый, но неврастеник, он явно шел или, вернее, бежал за детьми на протяжении стольких кварталов, подгоняемый каким-то беспокойством или побуждением, ускользавшим от Софи. Внезапно ей стало все ясно. Он был так увлечен своим делом, что приковылял за Евой, желая что-то выправить, или разъяснить, или подробнее рассказать о чем-то, чему он учил ее на последнем уроке, – о постановке пальцев или акцентировке, кто знает? Софи понятия не имела, но это тронуло ее и одновременно позабавило.

Она приоткрыла окно, чтобы окликнуть их, а они приютились под навесом соседнего дома. Светлые волосы Евы были заплетены в косички. Передние зубы у нее выпали. Как же, подумала Софи, она может играть на флейте? Заорский велел Еве открыть футляр и достать флейту; он взял ее и, держа перед девочкой, не дул, а беззвучно перебирал пальцами клапаны, показывая какое-то арпеджио. Затем поднес инструмент к губам и выдул несколько звуков. Потом Софи долго ничего не слышала. По зимнему небу промчались большущие тени. Эскадрилья бомбардировщиков люфтваффе с оглушительным грохотом пролетела на восток, в направлении России, – пять, десять, потом двадцать чудовищ пронесли свои

хищные крылья по небу. Они появлялись каждый день к вечеру, точно по графику, сотрясая весь дом так, что он ходуном ходил. Голос Ванды потонул в их реве.

Когда самолеты улетели, Софи взглянула вниз и услышала, как играет Ева, – это был, правда, всего лишь миг. Мелодия была знакомая, но Софи не знала, чья это вещь – Генделя, Перголези, Глюка, – сложное, дивное переплетение пронзительной тоски с удивительной симметрией. Всего с десяток нот – не больше, но они вызвали глубокий отклик в душе Софи. Они говорили о том, кем она была, кем мечтала стать... и о том, чего желала своим детям в будущем, которое Богу угодно им послать. Сердце ее перевернулось, она почувствовала слабость, неуверенность в ногах и до боли острую, всепоглощающую любовь. И в то же время радость – радость необъяснимо сладостная и исполненная отчаяния – обожгла ее холодным огнем.

Но мелодия, тоненько, безупречно выведенная флейтой, не успев зазвучать, уже развеялась в воздухе.

– Замечательно, Ева! – услышала Софи голос Заорского. – Абсолютно точно!

И Софи увидела, как учитель, ласково потрепав по голове сначала Еву, потом Яна, повернулся и, прихрамывая, пошел по улице к своему подвалу. Ян дернул Еву за косичку, и она вскрикнула.

– Перестань, Ян!

Затем дети ринулись в подъезд.

– Ты должна решиться! – услышала Софи настойчивый голос Ванды.

Какое-то время Софи молчала. Затем, когда топот поднимающихся по лестнице детей достиг ее слуха, она мягко сказала:

– Я ведь уже сделала выбор, я тебе сказала. Я не стану в этом участвовать. Я это серьезно! *Schlub!*[282] – Последнее слово она произнесла громко и сама удивилась, почему вдруг сказала его по-немецки. – *Schlub... aus!* Это окончательно!

На протяжении пяти месяцев, предшествовавших облаве, в которую попала Софи, нацисты предприняли огромные усилия к тому, чтобы север Польши стал *judenrein* – очищенным от евреев. С ноября 1942 года и по январь следующего года осуществлялась программа депортации, согласно которой многие тысячи евреев, живших на северо-востоке страны, в районе Белостока, были засунуты в поезда и отправлены в концентрационные лагеря по всей стране. Их свозили на

варшавский железнодорожный узел, и большинство евреев с севера очутились со временем в Аушвице. Пока же в самой Варшаве наступило затишье – некоторый перерыв в акциях против евреев, по крайней мере в смысле массовых депортаций. А то, что депортации из Варшавы уже проводились достаточно широко, явствует даже из имеющейся туманной статистики. До германской оккупации Польши в 1939 году еврейское население Варшавы составляло приблизительно 450 000 человек – почти столько же, сколько в Нью-Йорке, где по сравнению со всеми прочими городами мира живет больше всего евреев. А три года спустя в Варшаве жило уже лишь 70 000 евреев – остальные в большинстве своем погибли, не только в Освенциме, но также в Собибуре, Белжце, Хелмно, Майданеке и прежде всего в Трешлинке. Этот последний лагерь находился в глуши, но недалеко от Варшавы, и в противоположность Аушвицу, который в значительной степени предназначался для содержания рабской рабочей силы, Трешлинка использовалась почти исключительно для уничтожения. Не случайно большие «переселения» из Варшавского гетто в июле-августе 1942 года, превратившие этот квартал в пустые коробки – обитель призраков, совпали с созданием такого буколического тайника, как Трешлинка и ее газовые камеры.

Так или иначе, из 70 000 евреев, еще находившихся в городе, приблизительно половина жила «легально» в разрушенном гетто (в тот момент, когда Софи томила в гестаповской тюрьме, многие из них готовились принять мученическую смерть в апрельском восстании, до которого оставалось всего несколько недель). А большинство из остальных 35 000 – тайных обитателей так называемого «внутреннего гетто» – жили в полном отчаянии, точно затравленные животные, среди руин. Их не только преследовали нацисты, они пребывали в вечном страхе, боясь и выдачи со стороны «охотников за евреями» – подонков, которых в свою очередь преследовал Юзеф, – и разных продажных поляков вроде той преподавательницы американской литературы, которую он знал; случалось даже (и притом не раз), что их выдавали собратья-евреи своими изощренными уловками. Самое ужасное, снова и снова повторяла Ванда в разговорах с Софи, что выдача Юзефа и его гибель указывают на разрыв в цепи, которого так ждали нацисты. Значит, в Армии Крайовой лопнуло какое-то звено – боже, как это грустно! Но вообще-то, добавила она тогда, это едва ли можно считать неожиданностью. Так что теперь по милости евреев все они оказались в одном большом котле. Недаром в составе организации было несколько посвященных в ее деятельность евреев. И потом еще одно: хотя Армия Крайова, как и участники движения Сопротивления в других странах Европы, занималась не только оказанием помощи евреям и их спасением (а в Польше действительно существовала одна-две партизанские группы, настроенные злобно антисемитски), но, вообще-то говоря, это по-прежнему оставалось одной из ее главных задач; таким образом, вполне можно сказать, что усилия по защите хотя бы некоторых из этих бесконечно отслеживаемых, подвергавшихся смертельной

опасности евреев в какой-то мере привели к тому, что десятки и десятки подпольщиков попали в окружение, и Софи – безупречная в своем поведении, неприступная, ни в чем не замешанная – по чистой игре случая оказалась тоже в ловушке.

Почти на весь март, включая и те две недели, что Софи просидела в гестаповской тюрьме, отправка поездов с евреями из района Белостока в Аушвиц – через Варшаву – временно прекратилась. Этим, по-видимому, и объясняется то, что Софи и участники движения Сопротивления, которых набралось в тюрьме почти 250 человек, не были немедленно переправлены в лагерь: немцы, всегда отличавшиеся расчетливостью, ждали массовой отправки человеческого мяса, чтобы включить в это число и новых узников, а поскольку евреев из Варшавы не депортировали, немцы, должно быть, решили, что целесообразнее будет подождать. И еще одно существенное обстоятельство – перерыв в депортации евреев с северо-востока – требует пояснения: скорее всего, это было связано со строительством крематория в Биркенау. С начала существования Аушвица тамошний крематорий и его газовая камера служили главным местом массовых уничтожений в лагере. Первыми их жертвами стали русские военнопленные. Здания были возведены поляками: до прихода немцев бараки и другие строения Аушвица составляли уродливое ядро расположения кавалерийской части. Низкое, вытянутое в длину здание с покатой черепичной крышей служило одно время овощным складом, и немцы явно сочли его отвечающим их цели: большое подземелье, где горами лежали турнепс и картофель, отлично подходило для массового удушения людей, а в примыкающих помещениях так легко было установить кремационные печи, что они казались будто специально для этого построенными. Оставалось лишь соорудить трубу, и палачи могли приступить к делу.

Однако помещение оказалось слишком маленьким для обреченных, которые во множестве начали поступать в лагерь. Хотя в 1942 году было возведено несколько небольших временных бункеров для уничтожения узников, все равно помещений для их ликвидации и сжигания трупов не хватало – единственным выходом было завершение строительства нового огромного крематория в Биркенау. Немцы, а вернее, их рабы – евреи и неевреи – трудились той зимой всю. Первая из четырех гигантских печей начала действовать через неделю после того, как Софи была схвачена гестаповцами, вторая – всего восемь дней спустя, буквально за несколько часов до ее прибытия в Аушвиц первого апреля. Из Варшавы она выехала тридцатого марта. А тот день ее, Яна и Еву, а также 250 участников Сопротивления, включая Ванду, загнали в поезд, где уже находилось 1800 евреев из Малькини, пересыльного лагеря, расположенного к северо-востоку от Варшавы, в котором содержались остатки еврейского населения Белостокского района. Помимо евреев и бойцов Армии Крайовой в поезде были и просто поляки – варшавяне обоего пола числом около двухсот, – схваченные

гестаповцами во время одной из спорадически проводившихся ими, но безжалостных łapanka; эти люди повинны были лишь в том, что по прихоти злого рока очутились не на той улице и не в гот час. Во всяком случае, вина их была чисто техническая, если не иллюзорная.

Среди этих горемык оказался и Стефан Заорский, у которого не было разрешения на работу, и он уже признавался Софи, что боится, как бы не попасть в серьезную беду. Софи была потрясена, узнав, что его тоже схватили. Она издали видела его в тюрьме и однажды мельком заметила в поезде, но в жаре и давке скученных тел, среди этого столпотворения, она не смогла перекинуться с ним ни словом. Это был один из самых перегруженных поездов, какие в то время прибывали в Аушвиц. Само количество «груза», пожалуй, свидетельствует о том, как не терпелось немцам поскорее пустить я ход свои новые мощности в Биркенау. Никакой селекции евреев для отправки на работы не было, и, хотя и раньше случалось, что на тот свет отправляли целые транспорты, в данном случае уничтожение всех поступивших, пожалуй, указывало на то, как стремились немцы не только ввести в строй, но и похвастать перед самими собой своей новейшей, наиболее крупной и совершенной машиной умерщвления: все 1800 евреев приняли смерть в день открытия крематория II. Ни одна живая душа не избежала мгновенной смерти от газа.

Хотя Софи со всей откровенностью поведала мне о своей жизни в Варшаве, о том, как ее схватили и как она сидела в тюрьме, она была удивительно сдержанна в рассказе о своей депортации в Освенцим и приезде туда. Сначала я подумал, что слишком много она там видела страшного, и был прав, но я лишь позднее узнаю подлинную причину ее молчания, ее нежелания об этом говорить – тогда я, безусловно, не придавал этому значения. Предыдущие страницы, пестрящие статистическими данными, могут показаться читателю абстрактным перечнем цифр, но объясняется это тем, что сейчас, много лет спустя, я стремился с помощью данных, едва ли известных в ту пору, вскоре после окончания войны, кому-либо, кроме профессионалов, воссоздать более широкий фон, показав на нем события, беспомощной участницей которых вместе со многими другими оказалась Софи.

Я часто раздумывал над этим с тех пор. И часто гадал, как мог бы измениться ход мыслей профессора Беганьского, останься он жив и узнай, что судьба его дочери, а особенно внучат, оказалась подчиненной и неразрывно связанной с осуществлением мечты, которую он разделял со своими национал-социалистскими идолами, – мечты о ликвидации евреев. Несмотря на все свое преклонение перед рейхом, он гордился тем, что он поляк. Был он, по-видимому, и весьма сведущ в вопросах власти. Трудно понять, как он мог быть настолько слеп, чтобы не сознавать, что смертный приговор, вынесенный нацистами европейским евреям, удушливым туманом накроет и его соплеменников – народ,

который немцы ненавидели с таким ожесточением, что только еще более сильная ненависть к евреям служила преградой для его истребления. Собственно, это отвращение к полякам, конечно же, обрекло на смерть и самого профессора. Но одержимость, должно быть, ослепила его, позволяя не замечать многого, и по иронии судьбы – хотя поляки и другие славяне не значились следующими в списке на уничтожение – он не предвидел, что эта великая ненависть может вовлечь в свою гибельную воронку, подобно металлическим частицам, притягиваемым мощным магнитом, несчетные тысячи жертв из числа тех, кто не носил желтой звезды. Софи сказала мне однажды – продолжая приоткрывать определенные факты из своей жизни в Кракове, о которых дотоле умалчивала, – что, сколь бы непреклонно и высокомерно ни презирал ее профессор, он всей душой искренне обожал своих внучат и таял при виде их. Трудно представить себе, как реагировал бы этот раздираемый противоречивыми чувствами человек, доживи он до того, когда Ян и Ева полетели в черную яму, уготованную евреям в его воображении.

Я всегда буду помнить татуировку Софи. Это мерзкое маленькое клеймо на ее руке, похожее на следы укуса крошечных зубов, было тем единственным в ее облике, что – в тот вечер, когда я впервые увидел ее в Розовом Дворце, – мгновенно породило в моем мозгу ошибочную мысль, что она еврейка. По смутным и невежественным слухам, ходившим в те дни, эта вызывающая жалость мета считалась неотъемлемой принадлежностью выживших евреев. Но если бы я тогда знал о метаморфозе, происшедшей с лагерем за те страшные две недели, о которых я рассказывал выше, я бы понял, почему Софи сделали эту татуировку, поместив ее как еврейку, хотя она вовсе не была ею. А объяснялось это вот чем... Софи и другие узники-неевреи, как ни парадоксально, таким образом попадали в разряд людей, не подлежащих немедленному уничтожению. Здесь сыграло свою роль одно весьма показательное бюрократическое соображение. Метить «арийских» узников начали только в последние дни марта, и Софи, видимо, была среди первых неевреев, получивших татуировку. Первоначально это могло озадачить, однако пересмотр политики легкообъясним: он связан с раскручиванием машины смерти. «Окончательное решение» осуществлялось, и, к удовлетворению начальства, толпы евреев отправлялись в новые газовые камеры, а потому не было больше необходимости их нумеровать. Был же приказ Гиммлера: все без исключения евреи должны умереть. Их место в лагере – ставшем *judenrein* – займут теперь арийцы, которых будут метить для опознания: эти рабы будут умирать постепенно, совсем другой смертью. Вот откуда татуировка на руке Софи. (Во всяком случае, таков был первоначальный план. Но, как часто бывает, план этот снова был изменен, и приказы отменены. Возник конфликт между жадой убийства и потребностью в рабочих руках. Когда в конце той зимы в лагерь прибыл транспорт с немецкими евреями, было приказано всех дееспособных узников – мужчин и женщин – направить на каторжные работы. Так в этом обществе ходячих мертвецов,

частью которого стала Софи, смешались евреи и неевреи.)

А потом наступило первое апреля. День невероятных историй. *Poisson d'avril*. По-польски, как и по-латыни: *Prima Aprillis*. Всякий раз, как наступал этот день и с ним уходил в прошлое еще один год из прожитых в домашнем уюте десятилетий, я неизменно вспоминал Софи, и меня пронзала подлинная боль, когда мои детишки («С первым апреля, папа!») так мило, по-дурацки, разыгрывали меня, – мягкий отец семейства, обычно такой всепрощающий, превращался в разъяренного скунса. Я ненавижу первое апреля, как ненавижу еврейско-христианского бога. В этот день Софи прибыла в лагерь, и скверной шуткой представляется мне не столько это прозаическое совпадение, сколько то, что всего через четыре дня Рудольф Хесс получил приказ из Берлина не отправлять больше в газовые камеры узников нееврейской национальности.

Долгое время Софи не хотела рассказывать мне о подробностях своего прибытия в лагерь – а возможно, она просто боялась утратить душевное равновесие, – и, наверное, это было правильно. Но, даже прежде чем узнать всю правду о ее жизни там, я мог создать себе некоторое представление о том дне – дне, который, судя по статистике, был необычно теплым для того времени года, деревья уже по-весеннему зеленели лопающимися почками, раскрывались папоротники, набухали бутоны на кустах форситии, воздух был чистым, напоенным солнцем. Тысячу восемьсот евреев быстро погрузили в фургоны и отправили в Биркенау – операция эта заняла два часа после полудня. Как я уже говорил, никакой селекции не проводилось: трудоспособные здоровые мужчины, женщины, дети – все умерли. Затем, словно желая избавиться от всех, кто был под рукой, находившиеся на платформе офицеры-эсэсовцы отправили целый вагон с участниками движения Сопротивления (а это значит – двести человек) в газовые камеры. Они тоже отбыли в фургонах, после чего осталось еще человек пятьдесят, в том числе Ванда.

Затем произошел непонятный перерыв в отправках, и ожидание длилось чуть ли не весь день. В двух оставшихся вагонах, помимо группы участников Сопротивления, находилась Софи с Яном и Евой и кучка измученных поляков, схваченных в Варшаве во время последней облавы. Ждали они не один час – почти дотемна. На платформе толпились эсэсовцы – офицеры, врачи, охранники – и, казалось, не знали, что делать. Приказы из Берлина? Приказы, отменяющие приказы? Можно лишь догадываться, почему нервничали эсэсовцы. Это не имеет значения. Наконец стало ясно, что они решили продолжить свою деятельность, но теперь уже применяя селекцию. Солдаты велели всем выйти, построиться. Тут к делу приступили врачи. Селекция длилась немногим более часа. Софи, Яна и Ванду отправили в лагерь. Около половины узников отобрали туда. А среди тех, кого послали на смерть в Крематорий II в Биркенау, были учитель музыки Стефан Заорский и его ученица, флейтистка Ева-Мария

Завистовская, которой через неделю с небольшим должно было исполниться восемь лет.

Тринадцатое

Я должен сделать теперь краткое отступление – виньетку, которую я попытался создать из воспоминаний, какими Софи поделилась со мной в тот летний уик-энд. Подозреваю, что снисходительный читатель не сразу поймет, какое этот краткий эпизод имеет касательство к Аушвицу, но, как будет явствовать из дальнейшего, – имеет, и из всех попыток Софи разобраться в путанице прошлого он остается самым странным и будоражащим чувства наброском или фрагментом.

Место действия – опять Краков. Время: начало июня 1937 года. Действующие лица: Софи и ее отец, а также персонаж, новый в нашем повествовании, – доктор Вальтер Дюррфельд из Лейны, что близ Лейпцига, директор «И. Г. Фарбениндустри», этого Interessengemeinschaft,[283] или конгломерата – немыслимо большого даже для своего времени, – чей престиж и размеры воспламенили воображение профессора Беганьского, преисполнив его головокружительной эйфории. Не говоря уже о самом докторе Дюррфельде, которого профессор в силу своей академической специальности – аспекты международного законодательства в области промышленных патентов – хорошо знает как одного из капитанов германской индустрии. Мы без надобности принизили бы профессора, чрезмерно подчеркнули бы низкопоклонство, которое он порою выказывал перед германской мощью и силой, если бы изобразили его таким клоуном, пресмыкающимся перед Дюррфельдом, – в конце-то концов, он сам достаточно известен как ученый и специалист в своей области. А кроме того, он обладает достаточным общественным весом. Тем не менее Софи сразу видит, что он бесконечно польщен возможностью находиться подле этого титана во плоти и так стремится угодить ему, что даже становится неловко. Эта их встреча не объяснялась профессиональными интересами – она была чисто светской, удовольствия ради. Дюррфельд с женой отправился на отдых в поездку по Восточной Европе, и общий знакомый в Дюссельдорфе – такой же авторитет, как профессор, – устроил их встречу, написав профессору письмо и в последний момент дав несколько телеграмм. Из-за уплотненной программы Дюррфельда встреча предстояла накоротке, не было возможности даже посидеть вместе за столом, – просто небольшой тур по университету с его Коллегиум майус,[284] затем – осмотр Вавельского замка, гобеленов, передышка на чашку чая, может быть, короткая поездка еще куда-нибудь, но и все. День, проведенный в приятной компании, и – спальный вагон во Вроцлав. Профессор положительно изнывает от желания продлить встречу. Но придется ограничиться четырьмя часами.

Фрау Дюррфельд нездоровится: легкое Durchfall[285] вынудило ее остаться в своем номере в отеле «Французский». Спустившись с Вавельского холма, трио сидит, попивая чай, профессор извиняется, пожалуй с излишней резкостью, за плохую краковскую воду; высказывает, пожалуй с излишним пылом, свои сожаления по поводу того, что он лишь мельком видел прелестную фрау Дюррфельд – она так поспешно поднялась к себе в номер. Дюррфельд милостливо кивает, Софи съеживается от смущения. Она знает, что потом профессор потребует, чтобы она помогла восстановить весь разговор для дневника, который он ведет. Знает она и то, что ее вытащили на эту прогулку с двойной целью: показать, какая она сногшибательная, как говорили в американских фильмах того года, а также чтобы она своей осанкой, внешним видом и знанием языка могла продемонстрировать высокому гостю, этому динамичному кормчему коммерции, что, следуя принципам германской культуры и германского воспитания, можно вырастить (в заштатном славянском захолустье) такой поразительный экземпляр настоящей фройляйн, что даже самый отъявленный расист в рейхе не нашел бы, к чему придраться. Во всяком случае, именно так выглядит Софи. Она по-прежнему сидит, внутренне съежившись, моля бога, чтобы беседа – когда она станет серьезной, если она таковою станет, – не касалась нацистской политики: Софи положительно тошнит от крайних расистских взглядов, которые появились у профессора, и она просто не в состоянии больше слушать и против воли поддакивать этим опасным глупостям.

Но она могла на этот счет не волноваться. На уме у профессора культура и бизнес, а вовсе не политика, и именно на эти темы он тактично и направляет разговор. Дюррфельд слушает с легкой улыбкой. Слушает внимательно, вежливо; он худощавый красивый мужчина лет сорока пяти, с розовой здоровой кожей и (Софи поражает эта деталь) невероятно чистыми ногтями. Они кажутся чуть ли не лакированными, покрашенными, с лунками цвета слоновой кости. Он безупречно подстрижен, и по сравнению с его фланелевым костюмом цвета маренго, явно сшитым английским портным, широкий, в яркую полоску, пиджак ее отца выглядит безнадежно безвкусным и старомодным. Софи заметила, что и сигареты Дюррфельд курит английские – «Крэвен-А». Он слушает профессора, и в глазах его появляется приятный, веселый, чуть насмешливый огонек. Он нравится Софи, немного – нет, даже очень. Она чувствует, что краснеет, сознает, что щеки у нее горят. Теперь ее отец выкладывает на стол драгоценные осколки истории, подчеркивающие влияние германской культуры и традиций на город Краков, да, собственно, и на всю южную Польшу. Как давно существует эта традиция и как прочно она вошла в плоть и кровь нации! Конечно, нечего и говорить (но профессор все-таки об этом говорит), Краков еще недавно на протяжении трех четвертей века находился под благотворным правлением Австрии – natürlich,[286] доктору Дюррфельду это известно, но знает ли он, что это почти единственный город в Восточной Европе, который имеет собственную

конституцию, до сих пор именуемую «Магдебургским правом» и основанную на средневековых законах, существовавших в городе Магдебурге? Можно ли после этого удивляться, что люди, живущие тут, глубоко впитали в себя германскую мудрость и правопорядок, самый дух Германии, так что краковяне и по сей день страстно преданы языку, который, по словам фон Гофманстала[287] (или Герхарда Гауптмана?[288]), является самым блистательно-выразительным после древнегреческого? Внезапно Софи понимает, что отец переключил внимание на нее. Даже вот его дочь, продолжает профессор, маленькая Зося, чье образование было, пожалуй, не из самых широких, настолько хорошо владеет немецким, что не только свободно изъясняется на Hochschprache,[289] – языке, которому обучают в немецких школах, но и на разговорном Umgangssprache,[290] более того, она может воспроизвести для развлечения доктора любой из диалектов.

После чего в течение нескольких мучительных (для Софи) минут она, по настоятельному требованию отца, произносит первую попавшуюся фразу на разных немецких диалектах. Она без труда научилась этому ребенком, и с тех пор профессор любит пользоваться ее даром мимикрии. Время от времени он ее к этому принуждает. Софи, от природы достаточно застенчивой, вовсе не хочется выступать перед Дюррфельдом, но, улыбнувшись кривой, смущенной улыбкой, она выполняет просьбу отца и произносит фразу по-швабски, затем – в неспешных каденциях баварского диалекта, потом – в манере уроженки Дрездена, Франкфурта, а затем – Нижней Германии, точнее, саксонки из Ганновера и, наконец – наверняка с отчаянием во взгляде, – подражая чудному выговору обитателей Шварцвальда.

– Entzückend![291] – слышит она голос Дюррфельда и его восторженный смех. – Очаровательно! Очаровательно!

И она понимает, что Дюррфельд, хоть ему и понравилась эта разыгранная ею сценка, почувствовал, что ей не по себе, и ловко положил конец представлению. Отец вызвал у Дюррфельда раздражение? Она не знает. Надеется, что да. Папа, папа. Du bist ein...[292] Oh, merde...[293]

Софи с трудом подавляет скуку, пытаясь внимательно следить за разговором. Теперь профессор ловко (стараясь, чтобы это не выглядело дознанием) сворачивает разговор на вторую наиболее дорогую его сердцу тему – промышленность и торговлю, особенно германскую промышленность и торговлю, а также власть, которая сопутствует этой так энергично развиваемой деятельности. Тут завоевать доверие Дюррфельда нетрудно: знания профессора в области мировой торговли всеобъемлющи, энциклопедичны. Он знает, когда приступить к той или иной теме, когда ее обойти, когда высказываться напрямик, когда – с осторожностью. Он ни разу не упоминает фюрера. Принимая, пожалуй, с излишней благодарностью предложенную Дюррфельдом

отличную, ручной крутки, кубинскую сигару, он многословно выражает свое восхищение последней сделкой, заключенной Германией. Он лишь недавно прочел о ней в цюрихской финансовой газете, которую получает по подписке. Речь идет о продаже Соединенным Штатам большой партии синтетического каучука, недавно усовершенствованного «И. Г. Фарбсндиндустри». Какой блистательный успех для рейха! – восклицает профессор, и тут Софи замечает, что Дюррфельд, казалось бы не принадлежащий к числу людей, падких до лести, тем не менее улыбается в ответ и начинает говорить возбужденно. Ему явно нравится, что профессор обладает такими техническими познаниями в этой области, и он теплеет, нагибается к собеседнику и впервые пользуется своими отлично наманикюренными руками, подчеркивая одно обстоятельство, затем другое, затем третье. Софи запутывается в этом множестве таинственных подробностей и снова принимается разглядывать Дюррфельда с сугубо женской точки зрения. «А он действительно привлекателен», – думает она, затем, вдруг вспотев от легкого стыда, прогоняет эту мысль. (Она замужем, мать двоих детей – как же можно!)

Теперь, хотя Дюррфельд вполне владеет собой, в нем закипает гнев – он сжимает кулак, так что белеют костяшки пальцев, и кожа вокруг рта тоже белеет, напрягается. С трудом сдерживая ярость, он говорит об империализме, о *die Engländer* и *die Holländer*, [294] о сговоре двух богатых держав вести такую спекуляцию и так контролировать цены на натуральный каучук, чтобы вытеснить с рынка всех других. И они еще обвиняют «И. Г. Фарбен» в монополизме! А как иначе мы можем себя вести? – говорит он едким, резким тоном, который удивляет Софи, настолько это отличается от того предшествующего мягкого спокойствия. Естественно, мир поражен нашей сделкой! При том что англичане и голландцы являются единственными владельцами Малайи и Ост-Индии и устанавливают астрономические разбойничьи цены на мировом рынке, что же оставалось делать Германии, как не применить свою изобретательность в области технологии и не создать синтетический заменитель, который не только дешевле, прочнее и эластичнее, но и... «маслостоек»! Вот! Профессор буквально снял слово с языка Дюррфельда. Маслостоек! Он хорошо выполнил домашнее задание, этот хитрый профессор, в чьей памяти отложилось то обстоятельство, что именно маслостойкость нового синтетического продукта и является революцией, представляя собой главную его ценность и привлекательность. А кроме того, профессор польстил гостю, что почти достигло своей цели: Дюррфельд мило улыбается, видя в профессоре такого знатока. Но, как часто бывает, отец Софи не знает меры. Слегка выпятив грудь под своим обсыпанным перхотью полосатым пиджаком, он начинает пускать пыль в глаза, скороговоркой перебирая разные химические термины – «нитрил», «буна-N», «полимеризация углеводородов». Его немецкий ласкает слух... но Дюррфельд, не имея больше возможности обрушивать праведный гнев на англичан и голландцев, снова замыкается в своей скорлупе безразличия и

лишь с легким раздражением и скукой поглядывает на напыщенного профессора из-под приподнятых бровей.

Однако, как ни странно, профессор, когда он в ударе, может быть совершенно очарователен. Порою он вполне способен искупить все свои грехи. И вот, во время поездки на большую соляную копь в Величку, что к югу от города, когда они сидят втроем на заднем сиденье заказанного в отеле лимузина, допотопного, но ухоженного «даймлера», пахнущего полиролем, профессор излагает свое хорошо отработанное исследование о польской соляной промышленности и ее тысячелетней истории ярко, увлекательно и уж никак не скучно. Профессор раскрывается во всем блеске своего таланта, снискавшего ему славу незаурядного лектора и пламенного оратора, тонко чувствующего аудиторию. Он уже не напыщен и не неловок. Имя князя, открывшего Величские копи, – Болеслав Застенчивый – вызывает приступ веселья; одна, две вовремя отпущенные грубоватые шуточки снова располагают к нему Дюррфельда. А Софи, глядя, как Дюррфельд откидывается на подушки, чувствует, что он все больше ей нравится. «Он совсем не похож на всесильного немецкого промышленника», – думает она. И бросает на него исподтишка взгляд – ее трогает отсутствие высокомерия, волнует исходящее от него скрытое тепло, его уязвимость – быть может, это всего лишь следствие своеобразного одиночества? Вокруг них все зеленеет: дрожит, раскрываясь, листва, поля пестрят цветами – польская весна во всей своей пышности. Дюррфельд искренне восторгается пейзажем. Софи чувствует его плечо и вдруг осознает, что кожа у нее вся покрылась пупырышками. Она пытается отодвинуться, но тщетно – сиденье слишком тесное. Она слегка вздрагивает, затем расслабляется.

А Дюррфельд, отбросив чопорность, даже считает нужным слегка извиниться: не следовало ему так распаляться из-за этих англичан и голландцев, говорит он мягко профессору, извините за вспышку, но это же возмутительно – присвоить себе монополию на добычу и снабжение рынка каучуком, природным продуктом, который должен быть распределен между всем миром поровну. Уроженец Польши, которая, как Германия, не знает заморских территорий, безусловно, способен это понять. И, безусловно, не милитаризм и не слепая жажда завоеваний (которые клеветнически приписывают некоторым народам в – частности, Германии, да, черт подери, Германии) порождают страшную возможность войны, а эта алчность. Что прикажете делать такой стране, как Германия, – лишенной колоний, которые она могла бы использовать как собственный Стрейтс-Сетлментс,[295] не имеющей ничего похожего на собственную Суматру или собственного Борнео, при том, что ей противостоит враждебный мир, по краю которого бродят международные пираты и барышники? Наследие Версаля! Да, но какое! Германии ничего не остается, как усиленно творить. Она должна с помощью своего гения создать их хаоса собственное достояние – все! – а потом стать спиной к стене перед сонмом

врагов. Маленький спич окончен. Профессор сияет и в буквальном смысле аплодирует.

Дюррфельд снова умолкает. Он очень спокоен, несмотря на страстность своей речи. Говорил он без злобы и без смятения – мягко, легко, красноречиво, и Софи чувствует, что его слова подействовали на нее и в конечном счете убедили. Она полный несмышлениш в политике и в международных делах, но у нее хватает ума это понимать. Она не может сказать, что больше взволновало ее – идеи Дюррфельда или его физическое присутствие, возможно, и то и другое, – но она чувствует, что его слова идут от души, что они честны и разумны, и, уж конечно, он ни в коей мере не напоминает образцово-показательного нациста, которого с такой неумемной яростью рисовали в своих памфлетах мелкие радикалы и либералы, группировавшиеся вокруг университета. «Может быть, он вовсе и не нацист, – оптимистически думает она, – но все-таки человек, занимающий в обществе столь высокое положение, непременно должен быть членом партии. Да? Нет? В общем, неважно». Она вполне сознает два обстоятельства: ею овладел приятный, зыбкий, щекочущий эротизм, и это чувство преисполняет ее сладостным, вызывающим легкую тошноту ощущением опасности, какое она испытала много лет назад однажды в Вене, когда ребенком, катаясь на этом жутком колесе в Пратере, взлетела на самый верх, – ощущением одновременно восхитительным и почти непереносимым. (Однако, затопляемая этими эмоциями, она невольно вся сжимается при воспоминании о катаклизме, который произошел у нее дома и который – она это понимает – дает ей основание испытывать это электризирующее желание, оправдывает его: она видит, как месяц назад в дверях их темной спальни появился силуэт мужа. И слышит слова Казика, которые ударяют ее так же больно, как если бы он вдруг полоснул ножом по ее лицу: «Запомни это своей тупой башкой, а она у тебя, пожалуй, еще тупее, чем говорит твой отец. Я не намерен больше спать с тобой, пойми, не потому, что неспособен как мужчина, а потому, что ты – особенно твое тело – не вызываешь во мне никаких эмоций... Даже запах твоей постели мне противен».)

Через несколько минут они с Дюррфельдом стоят вдвоем у входа в соляные копи, глядя вдаль на залитое солнцем поле, где колышется под ветром зеленый ячмень, и Дюррфельд спрашивает, чем она занимается. Софи отвечает, что она – ну, в общем, жена своего мужа, преподавателя университета, но она берет уроки игры на рояле и надеется через год или два поехать учиться в Вену. (Они стоят одни, очень близко друг к другу. Никогда еще Софи так остро не хотелось остаться наедине с мужчиной. А выдалась эта минута из-за небольшой случайности – надписи, запрещающей вход в копи, закрытые на ремонт; рассыпаясь в извинениях, профессор умчался куда-то, предварительно попросив их подождать, объявив, что он лично знаком с управляющим и это откроет им все двери.) Дюррфельд говорит, что она так молодо выглядит! Совсем девчонка! Он говорит, трудно поверить, что у нее двое детей. Она отвечает, что вышла

замуж совсем молоденькой. Он говорит, что у него тоже двое детей.

– Я человек семейный.

Эта фраза звучит двусмысленно, с намеком. Глаза их впервые встречаются, взгляды скрещиваются – он смотрит на нее с откровенным восхищением, и она с чувством совсем не детской вины отворачивается. Отходит от него на несколько шагов и, прикрыв глаза рукой, смотрит вдаль, громко удивляется, где же папа. Она слышит, как дрожит ее голос, а другой голос в глубине души говорит, что завтра надо будет идти к заутрене. Его голос за ее спиной спрашивает, бывала ли она в Германии. Она отвечает: да, давно, жила как-то летом в Берлине. У отца был отпуск. Она была тогда совсем маленькой.

Она говорит, что охотно поехала бы снова в Германию – побывать на могиле Баха в Лейпциге, – и в смущении умолкает, не понимая, какого черта надо было говорить об этом, хотя в глубине души ей действительно уже давно хотелось возложить цветы на могилу Баха. Однако по тому, как тихо рассмеялся Дюррфельд, чувствуется, что он понимает ее. Лейпциг – это же моя родина! Он говорит: конечно, мы могли бы совершить такую экскурсию, если бы вы приехали. Мы могли бы посетить все великие храмы музыки. У нее перехватывает дыхание от этого «мы» и «если бы вы приехали». Ей что же, следует толковать это как приглашение? Деликатное, даже окольное, но все же приглашение? Она чувствует, как на виске забила жилка, и бежит этой темы или, вернее, осторожно от нее отходит. У нас много хорошей музыки в Кракове, говорит она, в Польше полно чудесной музыки. Да, говорит он, но не такой, как в Германии. Если она приедет, он повезет ее в Байройт – она любит Вагнера? – или на большие Баховские фестивали, или послушать Лотту Леман, Клейбера, Гизекинга, Фуртвенглера, Бакхауза, Фишера, Кемпфа... Голос его льется влюбленным журчанием, уговаривает, вежливо, но открыто флиртуя, неотразимый и (теперь уже к ее полному смятению) порочно возбуждающий. Если она любит Баха, значит ей должен нравиться и Телеман. Мы выпьем в память о нем в Гамбурге! А в память о Бетховене – в Бонне! Как раз в этот момент слышались хлюпающие шаги по гравии, оповещаая о возвращении профессора. Он радостно лепечет: «Сезам, откройся!» Софи почти слышит, как замирает, болезненно колотясь, ее сердце. «Мой отец, – думает она, – средоточие всего, что исключает музыку...»

И этот эпизод (извлеченный из ее воспоминаний) – почти все. Нельзя сказать, чтобы огромный подземный дворец из соли, в котором она часто бывала и который, как утверждает профессор, пожалуй, действительно является одним из семи чудес Европы, сотворенных рукою человека, а возможно, и не является, способствовал разрядке напряжения, – просто это зрение прошло мимо Софи, настолько она была взволнована тем необъяснимым, которому нет названия, –

этой увлеченностью, сразившей ее как удар молнии, оставив после себя ощущение слабости и легкого недомогания. Она больше не смеет встретиться взглядом с Дюррфельдом, хотя снова смотрит на его руки – почему они так притягивают ее? И теперь, спускаясь в лифте, затем шагая по сверкающему белому царству сводчатых пещер, лабиринтов и взмывающих ввысь нефов – этому вытянутому вверх антисобору, этому погребенному под землей мемориалу в честь векового людского труда, нисходящему в головокружительные глубины подземного мира, – Софи выключается, отсекая от себя Дюррфельда и экскурсионную лекцию отца, которую она уже десятки раз слышала. Она горестно раздумывает о том, как же можно стать вот так жертвой чувства, одновременно такого глупого и такого всепоглощающего. Надо решительно выбросить этого человека из головы. Да, выбросить из головы... Allez! [296]

И так она и поступила. Она рассказала потом, что, решительно вычеркнув Дюррфельда из своих мыслей, ни разу после того, как они с женой отбыли из Кракова – а они уехали примерно через час после посещения Величских копей, – не вспоминала о нем, он даже не возникал в самых дальних закоулках ее романтических мечтаний. Возможно, это объяснялось подсознательно примененной силой воли, а возможно, лишь тем, что Софи понимала, сколь тщетна надежда снова увидеть его. Подобно камню, падающему в бездонные гроты Величских копей, он выпал из ее памяти, – еще один невинный флирт, обреченный остаться в пыльном, нераскрываемом альбоме. Однако шесть лет спустя она снова увидела его, когда плод страстных усилий и стремлений Дюррфельда – синтетический каучук – и место, которое он занял в матрицах истории, сделали из этого корпоративного магната хозяина огромного промышленного комплекса, известного под названием «И. Г. Аушвиц». В лагере их встреча была еще более краткой и менее интимной, чем в Кракове. Однако из этих двух встреч Софи вынесла два существенных, взаимосвязанных и ярких впечатления. Вот какие: во время прогулки тем весенним днем в обществе одного из самых влиятельных в Польше антисемитов ее поклонник Вальтер Дюррфельд, как и принимавший его человек, ни словом не обмолвился о евреях.



А шесть лет спустя Дюррфельд говорил почти исключительно о евреях и их отправке в страну небытия.

Во время этого долгого уик-энда Софи не говорила мне про Еву – лишь в немногих словах сообщила то, что я уже и сам вычислил: что девочка

была умерщвлена в Биркенау в день их приезда в лагерь.

– Еву забрали, – сказала Софи, – и я больше ее не видела.

Она не описала, как это произошло, и я, естественно, не мог, да и не стал настаивать: это было – одним словом – страшно, и то, что она сказала мне об этом походя, как бы между прочим, лишило меня дара речи. Я до сих пор поражаюсь умению Софи владеть собой. Она довольно быстро вернула разговор к Яну, который прошел селекцию и, как она узнала из дошедших до нее через несколько дней слухов, был помещен в это вместилище отчаяния, известное под названием Детский лагерь. Основываясь на ее рассказах о первых шести месяцах пребывания в Освенциме, я могу лишь догадываться, что потрясение и горе, вызванные гибелью Евы, могли бы стубить ее самое, если бы не Ян и то, что он жив, – мысль, что мальчик жив, хотя они и не вместе, и что со временем ей, может быть, удастся увидеть его, поддерживала Софи на первых порах в этом кошмаре. Она думала почти исключительно о мальчике, и крупницы сведений, время от времени доходившие до нее, – что он более или менее здоров, что он еще жив, – приносили ей отупляющее утешение, благодаря которому, проснувшись утром, она могла просуществовать в этом аду до конца дня.

Но Софи, как я указывал выше и как она сказала Хессу в тот странный день, когда между ними установились были доверительные отношения, принадлежала к избранным, к элите, и, таким образом, ей «повезло» по сравнению с большинством людей, поступивших в лагерь. Сначала ее поместили в барак, где при обычном ходе событий ей пришлось бы влачить то тщательно рассчитанное, укороченное существование между жизнью и смертью, которое было уделом почти всех ее товарищей по несчастью. (Тут Софи рассказала мне, как их приветствовал хаупштурмфюрер СС Фрич, и, пожалуй, стоит повторить дословно то, что они оба сказали. «Я помню его слова в точности. Он сказал: «Вы прибыли в концентрационный лагерь, а не в санаторий, и выход отсюда только один – через трубу». Он сказал: «Все, кому это не нравится, могут попытаться повеситься на проволоке. Если в этой группе есть евреи, им жить не больше двух недель». Потом он сказал: «Есть тут монахини? Как и священники, вы проживете месяц. Все остальные – три месяца». Так через двадцать четыре часа после прибытия в лагерь Софи узнала, что ей вынесен смертный приговор: достаточно было Фричу оповестить об этом на языке эсэсовцев.) Но, как Софи объяснила Хессу во время описанной мною ранее сцены, своеобразное стечение мелких обстоятельств – нападение в бараке со стороны лесбиянки, сопротивление Софи, вмешательство благорасположенной начальницы блока – привело к тому, что ее перевели в другой барак и поставили на работу переводчицей-стенографисткой; там она на какое-то время была избавлена от лагерной работы на полное истощение. А через полгода другая удача привела ее в Дом Хесса с его относительным комфортом и привилегиями. Однако этому

предшествовал крайне важный для Софи разговор. За несколько дней до того, как ей поселиться под крышей коменданта, Ванда – все это время ее держали в одной из неопишуемых собачьих конур Биркенау и Софи не видела ее с того апрельского дня, когда их привезли в лагерь, – умудрилась оказаться рядом с Софи и в стремительном, сбивчивом рассказе о Яне преисполнила Софи надеждой, подсказав возможность спасти его, и одновременно привела ее в ужас своими просьбами, ибо это требовало мужества, на которое Софи, по собственному ощущению, не была способна.

– Ты должна работать на нас все время, пока будешь находиться в этом осином гнезде, – шептала ей Ванда в уголке барака. – Ты и представить себе не можешь, какая это для нас возможность. Подполье давно ждало ее, молилось, чтобы кто-нибудь вроде тебя оказался в таком положении! Ты должна все время держать глаза и уши открытыми. Послушай, дорогая моя, ведь так важно, чтобы ты давала знать о том, что происходит. Перемещения персонала, изменения в политике, передвижения этих свиней, эсэсовского начальства, – любая информация бесценна. Это же кровеносная система лагеря. Новости с войны! Все что угодно, что можно использовать против их грязной пропаганды. Неужели ты не понимаешь, высокий моральный дух – это единственное, что у нас осталось в этом аду. К примеру, добыть радиоприемник – вот это было бы бесценно! Конечно, у тебя практически нет никаких шансов раздобыть его, но, если бы ты сумела выкрасть радио, чтобы мы могли слушать Лондон, это было бы все равно что спасти тысячи и тысячи жизней.

Ванда была больна. Омерзительная ссадина на лице так по-настоящему и не зажила. Условия жизни в женской половине Биркенау были ужасны, и у Ванды разыгрался хронический бронхит, которому она всегда была подвержена, отчего на ее щеках появился тревожный чахоточный румянец, почти такой же яркий, как ее рыжие волосы или, вернее, нелепые завитки, оставшиеся от них. Со смесью ужаса, горя и чувства вины Софи мгновенно поняла, что в последний раз видит эту храбрую, решительную, пламенную молодую женщину.

– Я могу побыть здесь еще лишь несколько минут, – сказала Ванда.

И, неожиданно переключившись с польского на быстрый разговорный немецкий, шепнула Софи, что стоявшая неподалеку помощница начальницы блока – бывшая варшавская проститутка; похоже, эта женщина с жутким лицом – подсадная утка и крыса-предательница. Затем Ванда быстро изложила Софи свою идею насчет Lebensborn и попыталась убедить ее, что этот план – хоть и представляющийся весьма донкихотским – дает, пожалуй, единственную возможность вызволить Яна из лагеря.

Тут придется на многое посмотреть сквозь пальцы, сказала она, придется пойти

на многое такое, что – она знает – будет инстинктивно претить Софи. Ванда помолчала, мучительно закашлялась, затем продолжила:

– Я поняла, что должна повидаться с тобой, когда до меня дошел про тебя слух. Все ведь становится известно. Но в любом случае все эти месяцы мне очень хотелось тебя увидеть, а твоя новая работа сделала нашу встречу совершенно необходимой. Я все поставила на карту, чтобы попасть сюда и увидеться: ведь если меня поймают, мне конец! Но в этом змеином логове ничем не рисковать – значит ничего не выиграть. Да, повторяю, поверь мне: Ян хорошо себя чувствует – в той мере, в какой это возможно. Да, не один раз, а трижды я видела его сквозь ограду. Не стану тебя обманывать: он тощий, такой же тощий, как я. Им худо там, в Детском лагере, – в Биркенау всюду худо, – но я тебе одно скажу: детей они голодом не морят, как остальных. Почему – не знаю, во всяком случае не потому, что им совестно. Один раз мне удалось передать Яну несколько яблок. Он в порядке. Справится. Не стесняйся, плачь, милая. Я знаю, это ужасно, но ты не должна терять надежду. И попытайся вытащить его отсюда до начала зимы. Идея насчет Lebensborn может показаться нелепой, но эта программа действительно существует: мы же наблюдали такие случаи в Варшаве – помнишь мальчика Рыдзонея? Говорю тебе: ты просто должна попытаться воспользоваться ею, чтобы отправить отсюда Яна. Да, я понимаю, он может потеряться, если его отошлют в Германию, но по крайней мере он будет жив и благополучен, неужели ты этого не понимаешь? И все-таки есть шанс, что ты сумеешь не упустить его из виду – война ведь не будет длиться вечно.

Послушай! Все зависит от того, какие отношения у тебя установятся с Хессом. От этого так много зависит, милая Зося, – не только то, что будет с Яном и с тобой, но и со всеми нами. Ты должна использовать этого человека, поработать над ним – ты же будешь жить с ним под одной крышей. Используй его! В виде исключения забудь об этой своей чопорной христианской морали и на полную катушку используй свой пол. Извини меня, Зося, но потрахайся с ним как следует, и он будет есть из твоих рук. Послушай, подполье знает все об этом человеке – ведь узнали же мы про Lebensborn. Хесс просто-напросто впечатлительный бюрократ, втайне раздираемый тоской по женскому телу. Используй это! И используй его. Никто не снимет с него шкуру, если он возьмет польского ребенка и включит его в эту программу – в конце концов, это же на благо рейха. А если ты станешь спать с Хессом, никто не сочтет тебя коллаборационисткой, это будет шпионаж – пятая колонна! Так что тебе придется выжать все, что можно, из этой обезьяны. Ради всего святого, Зося, не проворонь свой шанс! То, что ты сумеешь сделать в этом доме, может иметь решающее значение для всех нас, для каждого поляка и еврея и каждого несчастного ребенка, который родится в этом лагере, – решающее значение. Умоляю тебя, не покинь нас в беде!

Время истекло. Ванде пора было уходить. Прежде чем уйти, она в нескольких словах проинструктировала Софи. К примеру, насчет Бронек. В доме коменданта Софи увидит слугу по имени Бронек. Он – связующее звено между особняком и подпольем лагеря. Внешне эсэсовский прислужник, он тем не менее не подхалим и не лакей Хесса, хотя необходимость и заставляет его казаться таким. Хесс доверяет ему, он любимый поляк коменданта, но в этом простодушном, внешне услужливом и исполнительном человеке бьется сердце патриота, доказавшего, что на него можно в определенных случаях рассчитывать, когда задания не требуют большого ума и не слишком сложны. Дело в том, что это был человек легкомысленный, но неглупый, проведенные же над ним медицинские эксперименты, нарушив мыслительные процессы, превратили его в покорного болвана. Сам он ничего не способен придумать, но охотно подчиняется другим людям. Польша на века! Собственно, сказала Ванда, Софи скоро сама убедится, что роль покорного, безвредного поденщика служит Бронеку надежным прикрытием, ибо, с точки зрения Хесса, он вне подозрений – в этом-то и заключается вся красота, это главным образом и помогает ему выполнять функции подпольщика и связного. Доверяй Бронеку, сказала Ванда, и используй его, если сможешь. А теперь Ванде пора было уходить, и после долгих, полных слезами объятий она ушла, а Софи почувствовала себя бесконечно слабой и безнадежно не соответствующей выпавшей на ее долю роли...

И вот Софи перебралась под крышу коменданта, где ей предстояло провести десять дней – период, закончившийся тем лихорадочным, тревожным днем, который она запомнила во всех подробностях и который я уже описал: это был день, когда она тщетно, но решительно, пыталась соблазнить Хесса и уговорить его освободить Яна, что привело лишь к глубоко оскорбившему ее, однако сладостному обещанию устроить ей свидание с сыном. (А оно могло оказаться невыносимо кратким.) Это был день, когда она из-за паники и по забывчивости не сказала коменданту о своей идее использовать Lebensborn, тем самым упустив главный шанс, который давал Хессу возможность на законных основаниях убрать Яна из лагеря. (Если только, думала Софи, спускаясь в тот вечер к себе в подвал, если только она не соберется с духом и не изложит Хессу свой план утром, когда он обещал привести мальчика к себе в кабинет.) Это был также день, когда к прочим страхам и бедам Софи добавился почти невыносимый груз возложенного на нее поручения и ответственности. А четыре года спустя, рассказывая мне об этом в бруклинском баре, она говорила, что ей невероятно стыдно вспоминать о том, как это поручение чувство ответственности испугали ее тогда и как она провалилась. Это была в конечном счете одна из мрачайших частей ее признания, ядро того, что она снова и снова именвала своей «нехорошестью». И я начал понимать, что эта «нехорошесть» была связана отнюдь не только – как мне казалось – с неоправданным чувством вины, порожденным неуклюжими стараниями соблазнить Хесса, или даже равно

неуклюжей попыткой воздействовать на него с помощью брошюры отца. Я начал понимать, как, помимо всего прочего, абсолютное зло абсолютно парализует человека. Под конец, с мукой вспоминала Софи, она оказалась не на высоте и в своем стремлении добыть такое тривиальное, однако чрезвычайно важное сооружение из металла, стекла и пластика, как радиоприемник, хотя Ванда и считала, что у Софи никогда не появится возможности его выкрасть. А Софи эту возможность с треском провалила...

Этажом ниже, как раз под лестничной площадкой, служившей приемной перед кабинетом Хесса, находилась комнатка, которую занимала одиннадцатилетняя Эмми, средняя из пяти отпрысков коменданта. Софи много раз проходила мимо этой комнатки по пути в кабинет и обратно и замечала, что дверь часто бывала открыта – тут в общем-то не было ничего удивительного, думала она, если учесть, что мелкое воровство в этой деспотически управляемой крепости было почти столь же немисливо, как убийство. Софи не раз останавливалась у двери и заглядывала в прибранную, чистенькую детскую спальню, каких сколько угодно в Аугсбурге или Мюнстере: крепкая односпальная кровать, накрытая цветастым покрывалом; бархатные зверьки, грудой лежащие в кресле; несколько серебряных кубков; часы с кукушкой; на стене – фотографии в золоченых рамках (сценка в Альпах; отряд гитлерюгенда на марше; красивый морской пейзаж; сама хозяйка спальни в купальном костюмчике; резвящиеся пони; портреты фюрера и «дяди Хайни» Гиммлера; улыбающаяся мамочка; улыбающийся папочка и гражданском костюме); комод со множеством коробочек для украшений и всякой мелочи и подле них – переносной радиоприемник. Этот-то приемник всегда и притягивал к себе взгляд Софи. Софи лишь изредка видела или слышала, чтобы радио работало, – должно быть, потому, что оно не могло ласкать слух из-за большой радиолы на нижнем этаже, грохотавшей день и ночь.

Однажды, проходя мимо комнатки, Софи заметила, что радио включено – звучали мечтательные современные вальсы Штрауса; судя по голосу певца, их передавала радиостанция вермахта, возможно, из Вены, а пожалуй, из Праги. Отчетливо, негромко лились прозрачные звуки скрипок. Однако заворожила Софи не музыка, а сам приемник – он восхитил ее своим размером, своей формой, тем, что он такой очаровательно маленький, прелестный, миниатюрный, удобный для переноски. Софи в голову не приходило, что техника может создать нечто столь удивительно компактное, но, с другой стороны, она ведь не знала, чем все эти бурные годы занимался «третий рейх» и его новорожденное дитя – электроника. Приемник был не больше книги средней величины. На боковой панели стояла марка «Сименс». Передняя стенка из темно-коричневой пластмассы была на шарнирах и открывалась вверх, образуя антенну и охраняя, как часовой, набитую маленькими лампами и батарейками раму, которая могла легко уместиться на ладони мужской руки. Приемник внушал Софи ужас и

жажду обладания. И вот, в сумерках того октябрьского дня, когда она после разговора с Хессом спускалась к себе в сырой подвал, она увидела в открытую дверь этот приемник и почувствовала, как у нее от страха забродило в животе при одной мысли, что она наконец – без дальнейших колебаний и проволочек – должна все-таки выкрасть его.

Она остановилась в темном коридорчике, всего в нескольких шагах от подножия лестницы, ведущей в мансарду. Приемник нежно, сладенько журчал. Наверху, на лестничной площадке, топал адъютант Хесса. Сам Хесс отправился в инспекционную поездку. Софи с минуту стояла неподвижно, чувствуя, что у нее нет сил, ей холодно, голодно и она вот-вот либо свалится от болезни, либо упадет в обморок. В ее жизни не было более долгого дня, когда все, чего она надеялась достичь, окончилось отвратительным, зияющим ничем. Впрочем, нет, не абсолютно ничем: Хесс ведь обещал ей свидание с Яном – значит, что-то от полного краха удалось спасти. Но чтобы так все испортить, чтобы, по сути дела, вернуться к тому, с чего она начала, когда перед нею разверзся беспросветный мрак гибели в лагере, – нет, этого она не могла ни принять, ни понять. Она закрыла глаза и прислонилась к стене в приступе головокружения и тошноты, вызванной голодом. Утром на этом самом месте ее вырвало инжиром – блевотину уже давно подтер кто-то из услужливых поляков или эсэсовцев, – но Софи казалось, что в воздухе остался призрак сладковато-кислого запаха, и голод вдруг с такой силой стиснул ей желудок, что начались колики. Не открывая глаз, она протянула руку и неожиданно почувствовала под пальцами шерсть.словно нащупала волосатые ягодички дьявола. Она вскрикнула – скорее даже пискнула – и, открыв глаза, увидела, что провела рукой по подбородку рогатого оленя, подстреленного в 1938 году, как, она слышала, сказал Хесс одному гостю-эсэсовцу; пуля, выпущенная с трехсот метров, попала зверю прямо в мозг, было это в горах над Кенигзее, чуть ли не под самыми стенами Берхтесгадена, так что фюрер, находишься он в тот момент там (а кто знает, возможно, он там и был!), мог услышать роковой треск выстрела!..

Сейчас в выпуклых стеклянных глазах оленя, искусно выполненных, вплоть до крохотных кровавых точек, отражалось ее двойное изображение – худущая, истощенная, с запавшим, как у трупа, лицом, она смотрела на себя и думала о том, как она еще сохраняет здравомыслие в таком изнуренном состоянии и в такой напряженный момент, когда надо принимать решение. За эти дни, спускаясь и поднимаясь по лестнице, Софи неоднократно проходила мимо комнаты Эмми и всякий раз с возрастающим страхом и тревогой обдумывала свою стратегию. Ее мучила необходимость оправдать доверие Ванды, но боже, до чего это было трудно! Главное – на кого падет подозрение. Исчезновение такого редкого и ценного предмета, как радио, – вещь ужасно серьезная и может повлечь за собой репрессии, наказания, пытки и даже убийства. Работающие в доме узники автоматически подпадут под подозрение: их в первую очередь

обыщут, опросят, будут бить. Даже этих толстух евреек, портних! Но есть одно спасительное обстоятельство, на которое, как понимала Софи, ей и надо рассчитывать, – это наличие в доме самих эсэсовцев. Если бы только узники вроде Софи имели доступ в верхние этажи дома, подобное воровство было бы абсолютно исключено. Это было бы самоубийством. Но десятки эсэсовцев ежедневно приходили в кабинет Хесса: посыльные и вестовые с приказами, памятливыми записками, декларациями и трансфертами, – все эти штурмфюреры, и роттенфюреры, и унтер-шарфюреры, являвшиеся с различными поручениями со всех концов лагеря. Они тоже могли положить глаз на приемничек Эмми; по крайней мере двое-трое из них не погнушались бы пойти на воровство, и они тоже едва ли избегнут подозрения. Собственно, поскольку эсэсовцы куда больше, чем узники, посещали гнездо Хесса под крышей, Софи вполне логично могла предположить, что такие доверенные обитатели дома, как она, могут и не попасть сразу под подозрение – что даст большую возможность избавиться от вещицы.

Значит, как она шепнула накануне Бронеку, все дело в четкости организации: спрятав приемник под робой, она сбежит вниз и в полутьме подвала передаст ему радио. Бронек в свою очередь быстро переправит приемничек своему связному по другую сторону окружающей особняк ограды. А тем временем в доме поднимется крик. Подвал перевернут вверх дном. Бронек с присущим коллаборационистам пылом будет участвовать в обыске и, прихрамывая, давать советы. Несмотря на все рвение и суматоху, поиски ничего не дадут. Перепуганные узники постепенно успокоятся. В каком-нибудь подразделении гарнизона некоего оцепеневшего от ужаса, прыщавого унтер-шарфюрера обвинят в безрассудном воровстве. Это уже само по себе будет маленькой победой подполья. А в недрах лагеря, сгрудившись с риском для жизни в темноте вокруг бесценного ящичка, мужчины и женщины будут слушать далекие слабые позывные полонеза Шопена и голоса, поддерживающие их, подкрепляющие, несущие добрые вести, и будут чувствовать, что в какой-то мере возвращаются к жизни.

Софи знала, что надо действовать быстро и сейчас же взять радио – или быть навеки проклятой. И она с неистово бьющимся сердцем, так и не избавившись от страха – а он пристал к ней, как злонамеренный спутник, – бочком проскользнула в комнату. Ей надо было сделать лишь несколько шагов, но, уже делая их, она почувствовала – что-то не так, почувствовала, что совершает страшную ошибку в тактике и во времени: в тот момент, когда она положила руку на холодную пластмассовую поверхность приемника, предчувствие беды беззвучным криком наполнило комнату. И потом она не раз вспоминала, как в тот миг, когда ее рука коснулась столь желанного предмета, она, уже понимая свою ошибку (почему она тотчас сопоставила это с игрой в крокет?), услышала в каком-то дальнем уголке летнего сада своего сознания голос отца, звеневший

презрением: «Ты все делаешь не так». Но эта мысль мелькнула у нее лишь на мгновение, ибо она почти тут же услышала позади себя другой голос, несколько не удививший ее – она этого ждала, – как не удивила ее и холодная дидактика, это чисто немецкое чувство Ordnung,[297] звучавшие в словах:

– Ты можешь по делам ходить по коридору, но тебе нечего делать в этой комнате.

Софи резко обернулась и увидела Эмми.

Девочка стояла у дверцы стенного шкафа. Софи ни разу еще не видела ее так близко. Она была в светло-голубых штанишках из вискозы; ее не по годам развитые грудки одиннадцатилетней девочки бугорками топорщили лифчик такого же линялого цвета. Лицо у нее было очень белое и поразительно круглое, точно непропеченный бисквит, увенчанное челкой вьющихся льняных волос, – оно было одновременно хорошенькое и дегенеративное; вздернутый носик, пухлый рот и глаза на этой сфере были будто нарисованы... сначала Софи подумалось: как на кукле, потом – на воздушном шарике. По зрелом размышлении Эмми выглядела не столько порочной, сколько... недоразвитой? Еще не родившейся? Софи, онемев, смотрела на нее и думала: «Папа был прав: я все делаю не так, все порчу, – вот и здесь мне надо было сначала изучить обстановку». Позаикавшись, она наконец обрела дар речи:

– Извините, gnädiges Fräulein,[298] я только...

Но Эмми перебила ее.

– Нечего объяснять. Ты пришла украсть радио. Я же видела. Я видела, что ты его уже почти взяла. – Лицо Эмми не выражало почти ничего – вернее, и не способно было выразить. Зато произнесла она это с апломбом, хоть и была полуголая, и, медленно протянув руку, достала из шкафа белый махровый халатик. Затем повернулась и деловито сказала: – Я сообщу про тебя отцу. Он велит наказать тебя.

– Я же хотела только посмотреть! – на ходу сочиняла Софи. – Клянусь! Я ведь столько раз проходила тут. И я никогда не видела такого... такого маленького приемника. Такого... такого прелестного! Я просто поверить не могла, что он в самом деле работает. Я только хотела взглянуть...

– Ты врешь, – сказала Эмми, – ты собиралась его украсть. Я же по твоему лицу видела. У тебя было такое выражение, что ты собиралась его украсть, а не просто взять и посмотреть.

– Ты должна мне поверить, – сказала Софи, чувствуя, как к горлу подступают

рыдания, а все тело обмякает и ноги холодеют и становятся тяжелыми. – Ни к чему мне брать твой...

И умолкла: ей вдруг пришло в голову, что это уже не имеет значения. Теперь, когда она так нелепо все испортила, это уже не имеет значения. Значение имеет лишь то, что завтра она, возможно, увидит своего мальчика, и может ли Эмми этому помешать.

– Очень даже к чему, – не унималась девочка, – он ведь стоит семьдесят марок. Ты могла бы слушать по нему музыку у себя там, в подвале. Ты грязная полька, а все поляки – воры. Мама говорит, что поляки хуже цыган: такие же воры, только еще грязнее. – Носик на круглом лице сморщился. – От тебя воняет!

Софи почувствовала, что у нее темнеет в глазах. И услышала собственный стон. Из-за непредвиденной перегрузки, или голода, или горя, или страха, или бог знает еще чего у нее по крайней мере на неделю задержалась менструация (такое уже случалось с ней в лагере раза два), а сейчас внизу живота вдруг заломило, потянуло, кровь прилила горячей волной: Софи почувствовала, как из нее полило, и в тот же миг перед ее глазами стала шириться темнота. Лицо Эмми – расплывающаяся луна – попало в эту разматывающуюся тьму, и Софи вдруг стала падать, падать... Медленно покачиваемая волнами времени, она погрузилась в благословенное оцепенение, из которого ее вывел далекий, нарастающий вой, прорвавшийся в ее слух, – он становился все громче и вот уже превратился в дикий рев. На долю секунды ей представилось, что это ревет белый медведь, а она плывет на айсберге под ледяным ветром. Ноздри у нее щипало.

– Да приди же в себя, – сказала Эмми. Белое, словно восковое, лицо было так близко, что Софи чувствовала дыхание девочки на своей щеке. Тут она поняла, что лежит на полу, растянувшись на спине, а девочка, присев на корточки, водит у нее под носом флаконом с нашатырным спиртом. Обе створки окна были распахнуты, так что по комнате гулял морозный ветер. То, что Софи приняла за рев, было лагерным гудком – она сейчас услышала его далекий замирающий голос. На уровне ее глаз, рядом с голым коленом Эмми, стоял маленький пластмассовый ящик с лекарствами, украшенный зеленым крестом. – Ты упала в обморок, – сказала девочка. – Не шевелись. Подержи голову горизонтально, чтобы к ней притекла кровь. Дыши глубоко. Холодный воздух оживит тебя. А пока не шевелись.

Память вернулась, а когда она вернулась, у Софи возникло впечатление, что она играет в пьесе, из которой изъят центральный акт: ведь всего минуту назад (едва ли дольше) эта самая девочка бушевала, грозя ей, словно мальчишка-штурмовик, – неужели это же самое существо так по-человечески ловко, если не с

ангельским состраданием, ухаживает сейчас за ней? Или ее обморок вызвал к жизни в этой страшноватой Mädel[299] с лицом, напоминавшим разбухший зародыш, глубоко запрятанные задатки медицинской сестры? Ответ на этот вопрос Софи получила, лишь только когда, застонав, пошевелилась.

– Лежи смирно! – скомандовала Эмми. – У меня есть диплом по оказанию первой помощи – для юниоров, диплом первого класса. Делай, что я говорю, поняла?

Софи замерла. На ней не было белья, и она подумала, что, наверное, изрядно перепачкалась. Она чувствовала, что роба под ней вся мокрая. Поражаясь собственной деликатности в данных обстоятельствах, она подумала также, не оставила ли она пятен на безупречном полу Эмми. Что-то в манере девочки усугубляло ее чувство беспомощности, ощущение: что ей оказывают помощь и одновременно измываются. Софи вдруг поняла, что у Эмми отцовский голос – такой же ледяной и отчужденный. В ее заботливой деловитости не было ни грана нежности, и, непрерывно болтая (теперь она звонко хлопала Софи по щекам, поясняя, что, как сказано в учебнике по оказанию первой помощи, звонкие пощечины могут вывести пострадавшую из Synkope[300] – этим медицинским термином она упорно называла обморок), она казалась таким микрооберштурмбанфюрером, настолько дух эсэсовцев и их суть – их подлинная ипостась – въелись в ее гены.

Но вот наконец от града пощечин щеки Софи, видимо, достаточно порозовели, и девочка велела своей пациентке сесть и прислониться к кровати. Софи медленно повиновалась, благодаря судьбу за то, что так глубоко и своевременно потеряла сознание. А дело в том, что, подняв сейчас глаза – зрачки у нее постепенно вновь обрели нормальный фокус, – она увидела, что Эмми стоит и смотрит на нее с выражением скорее благодущным или по крайней мере с терпимым любопытством, словно напрочь забыла, как злилась на Софи за то, что она полька и к тому же воровка: помощь, которую Эмми оказала Софи, видимо, послужила катарсисом, дав ей возможность проявить власть и удовлетворить свою пигмейскую эсэсовскую душонку, и теперь лицо ее снова стало круглым пухлым лицом маленькой девочки.

– Я тебе скажу одну вещь, – пробормотала Эмми. – Ты очень красивая. Вильгельмина говорит, ты, наверное, шведка.

– Скажи мне, – тихо спросила Софи, проявляя внимание, бесцельно используя наступившее перемирие, – скажи мне, что за нашивка на твоем халатике! Такая красивая.

– Это за участие в чемпионате по плаванию. Я была чемпионкой в своем классе.

Начальном. Мне было тогда всего восемь лет. Так хотелось бы, чтобы у нас тут устраивались состязания по плаванию, да только их не бывает. Война. Здесь можно плавать только в Соле, но мне это не нравится. Река такая грязная. Я очень быстро плавала в состязаниях для начинающих.

– А где это было, Эмми?

– В Дахау. У нас там был замечательный бассейн для детей гарнизона. Даже с подогретой водой. Это было до того, как нас перевели сюда. В Дахау было куда приятнее, чем в Аушвице. Еще бы: это ведь у нас, в рейхе. Видишь там мои награды? Вот тот большой кубок, посередине. Его мне вручил сам руководитель молодежи рейха Бальдур фон Ширах. Я сейчас покажу тебе мой альбом.

Она нырнула в ящик комода и извлекла оттуда большущий альбом, занявший весь сгиб ее руки, – из него на пол посыпались фотографии и газетные вырезки. Девочка подтащила его к Софи, включив по дороге радио. В воздухе раздался треск и писк. Она подкрутила настройку, и помехи исчезли – их сменил далекий слабый хор рожков и труб, победоносный, ликующий, генделевский; по спине Софи, словно ледяное благословение, прошла дрожь.

– Das bin ich,[301] – снова и снова повторяла девочка, показывая себя на бесконечных фотографиях, где она была снята в одной и той же позе в купальном костюме, обрамлявшем пухлую юную плоть, бледную, как шампиньон. «Неужели в Дахау никогда не светило солнце?» – вяло, с отчаянием подумала Софи. – Das bin ich... und das bin ich, – по-детски монотонно бубнила Эмми, тыкая в фотографии толстеньким большим пальцем, шепотом, словно заклинание, снова и снова зачарованно повторяя: «Я, я, я,». – Я уже и нырять стала там учиться, – сказала она. – Посмотри, вот это я.

Софи перестала смотреть на фотографии – они все расплывались у нее перед глазами – и вместо этого устремила взгляд в окно, распахнутое в октябрьское небо, где висела вечерняя звезда, такая удивительно яркая, словно осколок хрусталя. Внезапно воздух заколыхался, свет ближе к поверхности планеты сгустился, возвещая появление дыма, который холодный ночной ветер прибил к земле. Софи впервые с утра почувствовала запах горячей человеческой плоти – словно рука душителя накрыла ей лицо. В Биркенау истребляли последних «путешественников» из Греции. Фанфары! Бесстыдно победоносный гимн звучал в эфире – осанна, бляенье труб, возвещение прихода ангелов; сколько неродившихся утр было в ее жизни, подумала Софи. Она заплакала и негромко пробормотала:

– По крайней мере завтра я увижу Яна. По крайней мере хоть это.

– Почему ты плачешь? – спросила Эмми.

Сама не знаю, – ответила Софи. И уже готова была сказать: «Потому что у меня сын в лагере Д. И потому что завтра твой отец позволит мне повидаться с ним. Он почти твоего возраста». Но в этот момент по радио внезапно раздался далекий голос, прервавший хор меди: «Ici Londres».[302] Она слушала этот далекий голос, доносившийся слабо, словно сквозь фольгу, но достаточно ясно; передача предназначалась для французов, но, перелетая через Карпаты, слышна была и здесь, на сумеречной кромке этого anus mundi.[303] Софи, благословляя неизвестного диктора, словно это был дорогой ее сердцу возлюбленный, не в силах была прийти в себя от изумления, услышав: «L'Italie a déclaré l'état de guerre contre l'Allemagne...»[304] Софи не могла бы сказать, каким образом и почему, но инстинкт – в сочетании с ликующей интонацией голоса из Лондона (которого, как она увидела по лицу Эмми, девочка не понимала) – подсказал ей, что это известие означает для рейха подлинную и немалую беду. То, что сама Италия изнурена войной, не имело значения. Софи показалось, будто она услышала о неизбежном крахе нацизма. И, напряглась, чтобы слышать голос, который начал тонуть в сгущавшемся тумане помех, она продолжала рыдать, понимая, что рыдает по Яну – да, по Яну, но и по многому другому, главным образом по себе: по тому, что она не сумела украсть приемник и теперь уже точно знала, что никогда не наберется мужества для новой попытки. Любовь, которую Софи питала к своим детям, всячески оберегая их, и которую всего несколько месяцев тому назад, в Варшаве, Ванда считала такой эгоистической, такой непристойной, продолжала владеть ею, хоть и подверглась жесточайшему испытанию, и теперь Софи беспомощно рыдала, стыдясь, что не сумела исполнить свой долг. Она прижала дрожащие пальцы к глазам.

– Я плачу оттого, что очень есть хочу, – шепотом сказала она Эмми, и это была, по крайней мере отчасти, правда. Ей казалось, что она снова может потерять сознание.

Запах стал более сильным. На темном горизонте появилось мутное зарево. Эмми подошла к окну, чтобы закрыть его – то ли от холода, то ли от смрада, то ли от того и от другого. Провожая ее взглядом, Софи заметила вышитое изречение (вышивка была такая же цветистая, как и немецкие слова), висевшее на стене в лакированной сосновой рамке с причудливыми завитушками.

*Как Отец Небесный спас людей
от греха и ада,
Так Гитлер спасает немецкий народ
от гибели.*

Окно с грохотом закрылось.

– Это так воняет, потому что жгут евреев, – сказала Эмми, поворачиваясь к Софи. – Но ты, наверно, это знаешь. У нас в доме запрещено об этом говорить, но ты... ты же узница. Евреи – главные враги нашего народа. Мы с моей сестрой Ифигенией сочинили стишок про жидов. Он начинается так: «Ицик...»

Софи, подавив крик, закрыла глаза руками.

– Эмми, Эмми... – прошептала она.

Перед ее мысленным взором снова возникло безумное видение: девочка – так похожая на зародыша, но только большого, этакий вполне сформировавшийся человек, безмозглый левиафан, – спокойно и молча плывет, рассекая черные, безразличные воды Дахау и Освенцима.

– Эмми, Эмми! – только и сумела она произнести. – Что делает в этой комнате имя Отца Небесного?

Это была, как сказала Софи много времени спустя, одна из последних мыслей о Боге, которые посетили ее.

После той ночи – последней ночи в доме коменданта – Софи пробыла в Аушвице еще около пятнадцати месяцев. Как я уже говорил, она обходила молчанием этот долгий период своего заключения, и он остался (да и продолжает оставаться) для меня в значительной мере белым пятном. Однако есть одна или две вещи, о которых я могу с уверенностью сказать. Когда Софи покинула Дом Хесса, ей повезло: она вернулась в стенографическое бюро в качестве переводчицы и машинистки и, следовательно, осталась среди небольшой группы сравнительно привилегированных узников; таким образом, несмотря на жалкое существование и подчас суровые лишения, она была надолго избавлена от смертного приговора, а смерть была медленным и неизбежным уделом подавляющего большинства узников. Только в последние пять месяцев, когда русские войска стали подступать с востока и лагерь начали постепенно расформировывать, Софи подверглась наиболее страшным физическим страданиям. Тогда ее перевели в женские бараки Биркенау, и там она пережила голод и болезни, которые едва не окончились для нее гибелью.

Эти долгие месяцы ее почти не тревожило и не посещало сексуальное желание. Причиной тому были, конечно, болезнь и слабость – особенно в течение невыразимо тяжелых месяцев, проведенных в Биркенау, – но Софи была уверена, что это объяснялось и психологически: в атмосфере, пропитанной этим всепроникающим запахом, рядом со смертью всякая тяга к совокуплению казалось буквально непристойной, и, следовательно, как бывает во время тяжелой болезни, подобные помыслы затухают, если не исчезают вообще. Во

всяком случае, так реагировала на происходящее Софи, и она говорила мне, что порою думала, не из-за этого ли полного отсутствия любовных побуждений так ярко врезался в ее память сон, который она увидела в ту последнюю ночь в подвале комендантского дома. А быть может, думала она, именно этот сон помог приглушить всякое желание. Как большинство людей, Софи редко запоминала надолго сны во всех ярких и существенных подробностях, но этот сон был таким необузданно, недвусмысленно и приятно эротичным, таким богохульным и пугающим и одновременно таким памятным, а потому много времени спустя она способна была верить (не без примеси юмора, который появляется лишь по прошествии времени), что не только нездоровье и отчаяние, а именно тот сон отпугнул ее от мыслей о сексе...

Выйдя из комнаты Эмми, Софи спустилась вниз и рухнула на свой матрас. Она почти мгновенно заснула, лишь на секунду подумав о завтрашнем дне, когда наконец увидит своего сына. И вскоре она уже шла одна по пляжу – пляжу, который, как обычно бывает во сне, был ей и знаком и незнаком. Софи знала, что это песчаный берег Балтийского моря, и что-то подсказывало ей, что это побережье Шлезвиг-Гольштейна. Справа от нее тянулась мелкая, открытая ветру Кильская бухта, испещренная точечками парусников; слева, когда она пошла на север, к далеким прибрежным пустошам Дании, выросли песчаные дюны, а за ними поблескивал под полуденным солнцем вечнозеленый сосновый лес. Хотя Софи была одета, ей казалось, что она голая под соблазнительно прозрачной тканью. Ей не было стыдно своей вызывающей наготы – она сознавала, что ее бедра, покачивающиеся под широкой прозрачной юбкой, привлекают взгляды купальщиков, расположившихся под зонтами на пляже. Но вот купальщики остались позади. На пляж выходила дорожка, протоптанная среди болотной травы; Софи прошла мимо нее, чувствуя, что за нею следом идет мужчина и что его взгляд прикован к ее бедрам, которыми она почему-то считала необходимым усиленно покачивать. Мужчина нагнал ее, посмотрел, и она в свою очередь посмотрела на него. Лицо его было ей незнакомо – мужчина средних лет, румяный, светловолосый, типичный немец, весьма привлекательный, – нет, больше чем привлекательный: она почувствовала, что тает от желания. Но сам-то мужчина! Кто он? Она помучилась, припоминая (голос, такой знакомый, промурлыкал: «Guten Tag»[305]), и она мгновенно признала в нем знаменитого певца, Heldentenor[306] Берлинской оперы. Он улыбнулся ей, сверкнув белыми зубами, потрепал по ягодицам, произнес несколько слов – не слишком разборчиво, но явно похотливо – и исчез. В воздухе остался запах теплого морского ветра.

Софи вдруг очутилась у входа в часовню, стоявшую на дюне, лицом к морю. Она не видела мужчины, но чувствовала его присутствие. Часовня была скромная, залитая солнцем, с простыми деревянными скамьями по обеим сторонам центрального прохода; над алтарем висел некрашеный сосновый крест,

казавшийся чуть ли не древним из-за строгости формы и отсутствия резьбы, – он почему-то прежде всего бросился в глаза Софи, когда она вошла в часовню, снедаемая лихорадкой желаний. И вдруг она услышала собственный смешок. С чего это? Почему она хихикнула, когда в часовенке внезапно раздалось горестное стенание контральто под звуки скрипок трагической кантаты «Schlage doch, gewünschte Stunde»? [307] Она стояла перед алтарем, теперь уже без одежд, – музыка, мягко струившаяся из какого-то источника, одновременно близкого и далекого, обволакивала ее тело как благословение. Она снова хихикнула. И появился тот мужчина с пляжа. Он был голый, и она снова не могла сказать, кто он. Он уже не улыбался – лицо его искажала кровожадная гримаса, и угроза, исходившая от всего его облика, возбудила ее, распалив желание. Он сурово велел ей опустить взгляд. Он был готов взять ее и велел ей встать на колени. Она так и поступила и, дрожа от желания, натянула кожицу, обнажив окончание его члена, такого огромного, что она поняла – ей не обхватить его губами. Но она все-таки обхватила, задыхаясь и испытывая от того еще большее наслаждение, в то время как аккорды Баха, несущие осознание смерти и времени, морозом прокатывались по ее спине. Schlage doch, Gewünschte Stunde! [308] Он оттолкнул ее от себя, велел повернуться спиной и опуститься на колени перед алтарем, под распятием со скелетоподобным страдальцем Иисусом, поблескивавшим голыми костями. Повинуясь мужчине, она повернулась, опустилась на колени, уперлась руками в пол, услышала топот копыт, почувствовала смрадных запахов и вскрикнула от восторга, ощутив соприкосновение своих голых ягодиц с мохнатым животом и фаллосом, а потом в нее вошел цилиндр и заработал поршнем – туда, сюда, снова и снова...

Софи была все еще во власти этого эротического сна, когда Бронек пришел несколько часов спустя со своей миской объедков и разбудил ее.

– Я ждал тебя вчера вечером, но ты не пришла, – сказал он. – Я ждал, сколько мог, но потом стало уже поздно. Мой человек, который стоял у ворот, сменился. Что случилось с приемником? – Он говорил тихо. Остальные еще спали.

Этот сон! Софи никак не могла избавиться от него. Она потрясла головой, точно с похмелья. Бронек повторил свой вопрос.

– Помоги мне, Бронек, – вяло произнесла она, подняв взгляд на маленького человечка.

– То есть как это?

– Я видела человека... это было ужасно. – Еще произнося эти слова, она уже понимала, что говорит ерунду. – Я хочу сказать, господа, до чего же я есть хочу.

– Тогда, значит, поешь, – сказал Бронек. – Это остатки от их тушеного зайца. Тут еще много мяса.

Объедки были склизкие, жирные и холодные, но она жадно ела, глядя, как поднимается и опускается грудь Лотты, спавшей рядом на матрасе. С полным ртом она сообщила Бронеку, что ее переводят отсюда.

– Господи, я со вчерашнего дня есть хочу, – прошептала она. – Спасибо тебе, Бронек.

– Я ведь ждал, – сказал он. – Что случилось?

– Дверь у девочки была заперта, – солгала она. – Я хотела войти, но дверь оказалась запертой.

– А сегодня, Софи, ты, значит, возвращаешься в бараки. Я буду скучать по тебе.

– Я тоже буду скучать по тебе, Бронек.

– Может, ты еще сумеешь прихватить приемник. То есть если пойдешь в мансарду. Я смогу передать его и сегодня днем – переправить за ворота.

Почему этот идиот не заткнется? Для нее с кражей приемника покончено – покончено! Раньше она еще легко могла избежать подозрения, но, безусловно, не теперь. Если приемник исчезнет сегодня, эта ужасная девчонка наболтает и про вчерашний вечер. Ни о каких делах с этим приемником не может быть и речи – особенно в такой день, когда она вся наэлектризована ожиданием встречи с Яном – этим свиданием, которого она жаждала так сильно, что и сказать нельзя. И она повторила свою ложь.

– Придется забыть про радио, Бронек. Добыть его нет никакой возможности. Это маленькое чудовище все время запирает свою дверь.

– Хорошо, Софи, – сказал Бронек, – но если что-то изменится... если ты сумеешь его взять, быстро передай мне. Здесь, в подвале. – Он слабо хмыкнул. – Руди никогда меня не заподозрит. Он считает, что я у него в кармане. Он считает меня умственно неполноценным. – И в утренних сумерках он улыбнулся Софи во весь свой беззубый рот сияющей загадочной улыбкой.

Софи смутно и неопределенно верила в предвидение, даже ясновидение (она несколько раз предчувствовала или предсказывала события), хотя и не связывала это с чем-то сверхъестественным. Правда, она склонна была так считать, пока я ее не разуверил. Некая внутренняя логика убедила нас обоих, что такие моменты высокой интуиции объясняются вполне естественными обстоятельствами –

«ключ» к ним либо погребен в нашей памяти, либо тихо лежит в нашем подсознании. Взять, к примеру, ее сон. Лишь метафизически можно истолковать то, что ее партнером во сне был мужчина, в котором она впоследствии признала Вальтера Дюррфельда, и что он приснился ей накануне того, дня, когда она увидела его впервые после шестилетнего перерыва. Ну чем можно объяснить то, что их вкрадчивый и обаятельный краковский гость, который так пленил ее тогда, появится во плоти перед нею всего через несколько часов после того сна (лицом и голосом он был как две капли воды похож на того мужчину во сне), хотя она с тех пор ни разу не думала об этом человеке и даже не слышала его имени.

Но так ли это? Впоследствии, перебирая воспоминания, Софи поняла, что слышала его имя – и не раз. Она же часто слышала, как Рудольф Хесс приказывал своему помощнику Шеффлеру позвонить герру Дюррфельду на завод в Буну, и ей в голову не приходило (разве что подсознательно), что звонят тому, кто много лет назад пленил ее воображение! Она слышала это имя безусловно с десятков раз. Хесс говорил по телефону с человеком по имени Дюррфельд чуть не ежедневно. Более того, это же имя фигурировало в некоторых бумагах и памятных записках Хесса, которые время от времени попадались ей на глаза. Таким образом, проанализировав эти «ключи», в конечном счете нетрудно было объяснить, почему Вальтер Дюррфельд выступил главным действующим лицом в страшном и одновременно изощренном Liebestraum[309] Софи. Нетрудно было и понять, почему любовник, привидевшийся ей во сне, превратился в дьявола.

В то утро, поднявшись в приемную перед кабинетом Хесса, она услышала тот же голос, что и во сне. Она не вошла сразу в кабинет, как делала каждое утро на протяжении десяти дней, хотя сгорала от желания броситься в комнату и сжать в объятиях своего мальчика. Адъютант Хесса, которому, по всей вероятности, стало известно о ее новом статусе, резко приказал ей подождать. И тут несказанное сомнение вдруг охватило ее. Неужели Ян, которого Хесс обещал привести на свидание с нею, сидит сейчас там, в кабинете, и Хесс при нем ведет этот странный громкий разговор с человеком, у которого такой же голос, как у того мужчины в ее сне? Она нервно поежилась под взглядом Шеффлера, чувствуя по его ледяной манере держаться, что утратила всякие привилегии: теперь она снова была всего лишь обычной узницей, находившейся на самой низшей из ступеней. Она буквально ощущала его враждебность – на лице его застыла, словно выгравированная, усмешка. Она устремила взгляд на фотографию Геббельса в рамке на стене, и в этот момент странная картина предстала ее внутреннему взору: она увидела, как Ян стоит между Хессом и тем другим человеком и смотрит вверх то на коменданта, то на незнакомца с таким озадачивающе знакомым голосом. И вдруг, словно звук, исторгнутый из басовых труб органа, она услышала слова, долетевшие до нее из прошлого: «Мы могли

бы посетить все великие храмы музыки». Она охнула, тотчас почувствовав, как вздрогнул адъютант от вылетевшего из ее гортани сдавленного звука. Ее словно ударили по лицу, и она всем телом отшатнулась, узнав этот голос, шепетом произнеся про себя имя того, кому он принадлежал, – и на краткую секунду этот октябрьский день и тот день в Кракове, много лет назад, неразрывно слились воедино.

– Вы действительно отвечаете перед властями, Руди, – говорил Вальтер Дюррфельд, – и я понимаю вашу проблему – еще как! Но я ведь тоже отвечаю перед властями, и потому, видимо, из создавшегося положения нет выхода. За вашими действиями наблюдают высшие эшелоны власти; за мной – в конечном счете акционеры. Я ответственен перед правлением корпорации, которое сейчас настаивает на одном: вы должны давать мне больше евреев, чтобы мы могли поддерживать производство на установленном уровне. Не только в Буне, но и на моих шахтах. Нам же необходим этот уголь! Пока что мы существенно не отстаем. Но все выводы, все статистические расчеты, которые имеются в моем распоряжении, они... они, мягко говоря, выглядят зловеще. Мне необходимо больше евреев!

Голос Хесса, звучавший сначала приглушенно, на этот раз донесся четко:

– Я не могу заставить рейхсфюрера принять такое решение. Вы это знаете. Я могу лишь просить указаний, вносить предложения. Но он – по каким-то своим соображениям, – видимо, не в состоянии принять решение насчет евреев.

– Ну а вы лично, конечно, считаете...

– Я лично считаю, что только действительно сильных и здоровых евреев следует отбирать для работы в таком месте, как Буна, и на шахтах «Фарбен». Больные же только будут выкачивать средства, отпущенные на медицину. Но то, что я считаю, не имеет тут никакого значения. Мы должны ждать решения вопроса.

– А вы не можете побеспокоить Гиммлера и подтолкнуть его к такому решению? – В голосе Дюррфельда появилось недовольство. – Он же ваш друг и мог бы... – Пауза.

– Я сказал вам: я могу лишь вносить предложения, – ответил Хесс. – А каковы были мои предложения, я думаю, вы знаете. Я понимаю вашу точку зрения, Вальтер, и, безусловно, не в обиду на то, что мы неодинаково смотрим на вещи. Вам нужны люди любой ценой. Даже пожилой человек с прогрессирующим туберкулезом способен выдать определенное количество единиц энергии...

– Вот именно! – прервал его Дюррфельд. – И это все, о чем я для начала прошу. Установим испытательный срок, скажем – не больше полутора месяцев, и

посмотрим, какую пользу могут приносить эти евреи, которых сейчас... – Он, казалось, не решался договорить.

– ...подвергают Особой акции, – подсказал Хесс. – Но в этом-то и суть, неужели вы не понимаете? На рейхсфюрера давят с одной стороны Эйхман, с другой – Поля и Маурер. Обеспечение безопасности или рабочая сила. В целях безопасности Эйхман хочет, чтобы ко всем евреям была применена Особая акция, независимо от возраста или физического состояния. Попадись нам еврей-борец в отличном физическом состоянии, он и его не оставил бы в живых. Для проведения этой политики и были созданы сооружения в Биркенау. Но видите, что получается! Рейхсфюреру пришлось изменить свой первоначальный приказ о применении Особой акции ко всем евреям, – это произошло явно по просьбе Поля и Маурера, – чтобы удовлетворить потребность в рабочей силе не только вашего завода в Буне, но и на шахтах и на всех военных заводах, которые получают отсюда рабочую силу. В результате получается раздвоение, прямо пополам. Раздвоение... Ну, вы знаете... как же это слово, которое обозначает то, что я имею в виду? Такое странное слово, психологический термин, который означает...

– Die Schizophrenie.[310]

– Да, совершенно верно, – откликнулся Хесс. – Этот венский врач, который исследует мозг, забыл его имя...

– Зигмунд Фрейд.

Наступило молчание. Во время этого маленького перерыва Софи, сдерживая дыхание, продолжала представлять себе Яна – как он, слегка приоткрыв рот под курносым носом, переводит взгляд своих голубых глаз с коменданта (прохаживающегося по кабинету, как он часто делал по своей беспокойной привычке) на обладателя баритона – уже не дьявола-мародера из ее сна, а просто запомнившегося ей незнакомца, который заворожил ее обещаниями поездок в Лейпциг, Гамбург, Байройт, Бонн. «Вы такая юная! – шептал ей тогда этот же голос. – Совсем девчушка!» И еще: «Я человек семейный». Софи так не терпелось поскорее увидеть Яна, она была настолько поглощена предвкушением их встречи (впоследствии она вспоминала, что ей трудно было даже дышать), что у нее лишь на секунду мелькнула мысль – интересно, как выглядит сейчас Вальтер Дюррфельд, – и тот же растворилась в безразличии. Однако что-то в этом голосе – что-то в его скороговорке, безапелляционности – подсказало ей, что она сейчас увидит Дюррфельда, и последние слова, сказанные им коменданту, – с малейшими нюансами тона и смысла – врезались в ее память, словно текст, сданный в архив, как если бы были зафиксированы на пластинке, бороздки которой невозможно стереть.

В голосе Дюррфельда появился смешок. Он произнес слово, до сих пор в разговоре не встречавшееся.

– Мы-то с вами знаем, что так или иначе их ждет смерть. Хорошо, оставим на время эту тему. Евреи всех нас доведут до шизофрении, особенно меня. Но если выпуск продукции снизится, вы думаете, я смогу сослаться на болезнь – я имею в виду шизофрению – перед моим советом директоров? Ну что вы!

Хесс что-то буркнул мрачным голосом, и Дюррфельд любезно ответил, что завтра надеется снова встретиться и поговорить. А через несколько секунд Дюррфельд появился в маленькой приемной и явно не узнал Софи – эту бледную польку в замызганной робе узницы, – но, проходя мимо, случайно задал ее и с врожденной вежливостью произнес: «Bitte»[311] – тоном лощеного джентльмена, какой Софи запомнила со времен их встречи в Кракове. Однако выглядел он карикатурой на того романтического мужчину. Лицо у него расплылось, и талия стала жирной, как у поросенка, а красивые пальцы, выписывавшие изящные арабески и так таинственно возбуждавшие ее шесть лет назад, сейчас, когда он взял свою серую шляпу, подобострастно протянутую Шеффлером, и надел на голову, показались Софи такими резиновыми сосисками.

– Чем же все-таки кончилось дело с Яном? – спросил я Софи.



Я чувствовал, что просто должен это узнать. Из того многого, что рассказала мне Софи, вопрос о судьбе Яна больше всего не давал мне покоя. (До меня, видимо, дошла, а потом была задвинута в дальний угол фраза о смерти Евы, как-то странно, мимоходом оброненная Софи.) Я начал также замечать, что она с величайшим упорством уходит от рассказа об этой части своей жизни, не решается подойти вплотную, словно ей слишком больно этого касаться. Мне было немного стыдно моего нетерпения, и я, безусловно, не хотел вторгаться в эту явно хрупкую, как паутина, область ее памяти, но я также интуитивно понимал, что Софи готова была вот-вот раскрыть мне свою тайну, и я возможно мягче пытался ее на это подвигнуть. Был поздний воскресный вечер – прошло много часов после нашего купанья, чуть не окончившегося катастрофой, – и мы сидели в баре «Кленового двора». Время близилось к полуночи, да к тому же накануне, в субботу, стояла изнуряюще влажная жара, поэтому мы были почти одни в этой пещере. Софи была трезва: мы оба пили только лимонад. Мы сидели тут долго, и она почти непрерывно говорила, а сейчас умолкла, посмотрела на свои часы и заметила, что пора, пожалуй, возвращаться в Розовый Дворец и считать вечер законченным.

– Мне ведь надо перевозить вещи на новую квартиру, Язвинка, – сказала она. – Я должна сделать это завтра утром, а потом вернуться к доктору Блэкстоку. Mon Dieu,[312] я все забываю, что я есть рабочая девушка. – Щеки у нее ввалились, она выглядела усталой и задумчиво смотрела на сверкающую драгоценность – подаренные Натаном часики. Золотые часики фирмы «Омега» с крошечными бриллиантами в четырех точках циферблата. Я не решался даже подумать о том, сколько они могли стоить. Будто прочитав мои мысли, Софи сказала: – Я, право, не должна оставлять себе все эти дорогие вещи, которые мне подарил Натан. – Новое горе, другое, пожалуй, более острое, чем то, каким были пронизаны воспоминания Софи о лагере, зазвучало в ее голосе. – Мне, наверно, надо кому-то их отдать или еще как-то сделать – я ведь его больше никогда не увижу.

– А почему ты не должна оставить их себе? – сказал я. – Ведь он же подарил их тебе. Так и носи, ради всего святого!

– Они будут все время напоминать мне о нем, – устало произнесла она. – Я ведь все еще его люблю.

– Тогда продай их, – несколько раздраженно сказал я, – так ему и надо. Отнеси их ростовщику.

– Не говори так, Язвинка, – сказала она без всякой злобы. И добавила: – Когда-нибудь ты узнаешь, что это такое – любить. – Изречение по-славянски мрачное, бесконечно банальное.

Какое-то время мы оба молчали, и я размышлял о том, что эта фраза говорит о полном отсутствии чуткости – она не только банальна, но еще и указывает на то, что Софи нисколько не думает о влюбленном идиоте, который сидит перед ней. Я обругал ее про себя со всею силой моей нелепой любви. Внезапно я вернулся в реальный мир: я был уже не в Польше, а в Бруклине. И, несмотря на все терзания, связанные с Софи, во мне шевельнулся страх и стало не по себе. Мучительное беспокойство овладело мной. Я был настолько захвачен ее рассказом, что начисто забыл о том непреложном обстоятельстве, что в результате вчерашнего ограбления нахожусь на полной мели. Сознание, что Софи вот-вот уедет из Розового Дворца и, следовательно, я останусь один и буду без гроша в кармане бродить по Флэтбуш-авеню, перемалывая в уме фрагменты незавершенного романа, преисполнило меня подлинным отчаянием. Но больше всего я боялся одиночества без Софи и Натана, это было хуже безденежья.

Я продолжал терзаться, глядя на задумчиво опущенное лицо Софи. Я уже привык видеть ее в этой позе, которую она принимала, когда размышляла о чем-то, прикрыв руками глаза, – весь ее облик выражал не поддающуюся описанию гамму чувств (о чем она сейчас думает? – спрашивал я себя): тут были растерянность, недоумение, припомнившийся ужас, вернувшееся горе, злость, ненависть, сознание утраты, любовь, смирение – все это, пока я смотрел на Софи, смешалось в ней мрачным клубком. Потом этот клубок рассосался. И я понял, как понимала и она, что концы веревочки – имея в виду рассказанную ею хронику, которая уже явно близилась к завершению, – должны быть связаны. Понял я и то, что сила, питавшая весь вечер память Софи, помогая ей раскрыться, не иссякла и что, несмотря на усталость, она вынуждена выскрести со дна все крохи своего ужасного, невыносимого прошлого. И все равно какая-то странная уклончивость, казалось, мешала ей подойти к вопросу о том, что случилось с ее мальчиком, и, когда я снова повторил: «А Ян?», она на мгновение задумалась.

– Мне так стыдно про то, что я сделала, Язвинка: когда я уплыла в океан. Заставила тебя рисковать жизнью – это было очень плохо с моей стороны, очень плохо. Ты должен меня простить. Но я тебе скажу правду: я много раз после войны думала убить себя. Это на меня находит и уходит. В Швеции сразу после того, когда война кончилась и я была в этом центре для перемещенных лиц, я пыталась там убить себя. И, как в том сне, который я тебе рассказала, когда я была в часовне, мне не давала покоя мысль, что это есть *blasphème*. [313] Около того центра была маленькая церковь, по-моему не католическая; я так думаю, лютеранская, но это неважно... так вот у меня была мысль, что, если я убью себя в этой церкви, это будет *le plus grand blasphème*, самое большое богохульство, какое я могу сделать, а мне, понимаешь, Язвинка, было уже наплевать: после Освенцима я не верила в бога или что он есть. Я говорила себе: он повернул свою спину ко мне. А раз он повернул свою спину ко мне, значит, я его

ненавижу и, чтобы показать и доказать мою ненависть, совершу самое большое богохульство, какое могу придумать. То есть совершу мое самоубийство в его церкви, в святом месте. Я так плохо себя чувствовала, такая была слабая и еще больная, но потом силы ко мне вернулись, и вот как-то вечером я решила сделать эту вещь.

И вот я вышла из ворот центра с куском очень острого стекла, который нашла в больнице, где я лежала. Сделать, что я задумала, было просто. Церковь была совсем близко. Никакой охраны в том месте не было, и вот я пришла в церковь поздно вечером. В церкви был свет, и я долго сидела в заднем ряду, одна, со своим куском стекла. Это было летом. А в Швеции летом даже ночью всегда светло – такой холодный и бледный свет. Это место находилось в деревне, и я слышала, как квакают лягушки, и чувствовала запах елок и сосен. Такой чудесный запах – он напомнил мне про Доломиты, где я была в детстве. И вот я представила себе, что у меня такой разговор с Богом. Мне представилось, что он говорит: «Почему ты хочешь убить себя, Софи, здесь, в моем Святом месте?» И я помню, я громко сказала: «Если ты сам этого не понимаешь, Боже, в своей премудрости, тогда я не сумею тебе рассказать». Тогда Он сказал: «Значит, это твоя тайна». И я ответила: «Да, это моя тайна от Тебя. Моя последняя и единственная тайна». И тут я стала резать себе запястье. И знаешь что, Язвинка? Я немножко так порезала запястье, и стало больно, и кровь пошла, но тут я перестала. И знаешь, что меня заставило перестать? Клянусь тебе, только одно. Одно-единственное! Не то, что больно, и не то, что страшно. У меня не было страха. Заставил меня Рудольф Хесс. Я вдруг подумала про Хесса и поняла, что он есть живой где-нибудь в Польше или Германии. Я увидела перед собой его лицо, как раз когда стекло порезало мне кожу. И я перестала резать, и – я знаю, Язвинка, это звучит как *folie*, [314] – словом, я поняла так вдруг, что не могу умереть, пока Рудольф Хесс есть живой. Потому что это будет значить, что он все-таки победил.

Последовала долгая пауза, потом:

– Я больше никогда не видела моего мальчика. Знаешь, он не был в кабинете Хесса, когда я туда вошла. Он там не был. А я была так уверена, что он там: я подумала, может, он прячется под столом – ну, понимаешь, для игры. Я посмотрела вокруг, но Яна там не было. Я подумала, это, наверно, какая-то шутка: я же знала, что он должен быть там. Я позвала его. А Хесс закрыл дверь, стоял и наблюдал за мной. Я спросила его, где мой мальчик. Он сказал: «Вчера вечером, когда ты ушла, я понял, что не смогу привести сюда твоего ребенка. Прошу меня извинить за неудачное решение. Привести его сюда было бы опасно – это могло скомпрометировать меня». Я не могла этому поверить, не могла поверить тому, что он говорил, я просто не могла поверить. Потом вдруг поверила, всему поверила. И тут я точно с цепи сорвалась. Стала сумасшедшая.

Совсем сумасшедшая!

Не помню, что я делала – все точно затянуло черным, – только, должно быть, я сделала две вещи. Я набросилась на него, набросилась со своими руками. Я это знаю, потому что, когда черное с моих глаз сошло и я сидела в кресле, куда он меня толкнул, я посмотрела вверх и увидела на его щеке царапину от моих ногтей. Он вытирал в этом месте немного крови носовым платком. Он смотрел вниз на меня, но в его глазах не было злости – он казался совсем спокойный. А другое: я помню в моих ушах мой собственный голос, когда я закричала Хессу за минуту до этого. «Тогда отправьте меня в газовую камеру! – помню, закричала я. – Отправьте в газовую камеру, как вы отправили туда мою дочку!» Кричала снова и снова. «Тогда отправьте меня в газовую камеру, вы...» В общем, так. И я, наверно, выкрикивала много разных грязных слов по-немецки, потому что я помню их, как эхо у меня в ушах. А потом я просто уронила голову на руки и заплакала. Я не слышала, чтобы он что-то мне сказал, а потом наконец почувствовала его руку на моем плече. И услышала его голос. «Я повторяю, мне очень жаль, – сказал он, – мне не следовало принимать такое решение. Я постараюсь каким-то образом тебе это возместить. Что я могу для тебя сделать?» Язвинка, это было так странно – слышать, что этот человек так говорит; спрашивает меня таким юном, понимаешь, извиняется, спрашивает меня, что он может сделать.

И тут я, конечно, вспомнила про Lebensborn и про то, что Ванда говорила мне, как я должна сделать – я должна была сказать это Хессу накануне, но почему-то не смогла. И тогда я заставила себя успокоиться и перестала плакать и наконец подняла на него глаза и сказала: «Вы вот что можете для меня сделать». Я произнесла «Lebensborn» и сразу по его глазам поняла, что он знает, о чем я говорю. Я сказала что-то вроде так, я сказала: «Вы могли бы отправить моего мальчика из Детского лагеря по программе Lebensborn, которая есть у СС и про которую вы знаете. Вы могли бы послать его в рейх, где он станет хорошим немцем. Он ведь блондин, и уже выглядит как немец, и говорит по-немецки так же хорошо, как я. Таких польских детей немного. Вам не кажется, что мой мальчик Ян отлично подойдет для Lebensborn?» Помню, Хесс долго ничего не говорил – только стоял там и легонько поглаживал щеку – то место, где я его поцарапала. Потом он сказал вроде так: «То, что ты сказала, по-моему, возможно. Я этим займусь». Но это для меня было недостаточно. Я понимала, что отчаянно пытаюсь ухватиться за соломинку – он ведь мог просто заткнуть мне рот, и все, но я должна была сказать, должна была сказать: «Нет, вы должны дать мне более точный ответ, я не могу больше жить в такой неопределенности». Он помолчал немного и сказал: «Хорошо, я прослежу, чтобы его отправили из лагеря». По мне и это было еще недостаточно хорошо. Я сказала: «А я как узнаю? Как я узнаю, что его действительно вывезли отсюда? Вы должны мне это тоже обещать, – продолжала я, – вы должны обещать, что сообщите мне, куда

его отвезли в Германию, чтобы, когда война кончится, я могла снова его увидеть».

Эту последнюю вещь, Язвинка, я сама не верила, что сказала, – чтобы потребовать это от такого человека. Но, понимаешь, по правде говоря, я рассчитывала на его чувство ко мне, все ставила, понимаешь, на эту страсть, которую он выказал накануне, когда обнял меня, когда сказал: «Ты что же, считаешь, что я такое чудовище?» Я ставила на то, что в нем все-таки есть остатки человеческого, которые заставят его мне помочь. И вот после того, как я все сказала, он какое-то время снова молчал, а потом ответил мне, сказал: «Хорошо, я обещаю. Я обещаю, что мальчика отправят из лагеря и тебе время от времени будут сообщать, где он». Тогда я сказала – я понимала, что рискую вызвать его гнев, но я ничего с собой не могла поделать: «Как я могу быть в этом уверена? Моя девочка уже есть мертвая, а если не будет Яна, у меня ничего не будет. Вы сказали мне вчера, что я увижу Яна сегодня, но вы это не сделали. Вы изменили своему слову». Должно быть, это... ну, в общем, больно ударило его, потому что он тогда сказал: «Можешь не сомневаться. Ты будешь время от времени получать от меня известия. Я заверяю тебя в этом и даю слово германского офицера, слово чести».

Софи умолкла и уставилась в глубь темного вечернего зала «Кленового двора», где толклись сонмы мошек и никого не было, кроме нас и бармена, усталого ирландца, глухо позвякивавшего кассовым аппаратом. Затем Софи сказала:

– Но этот человек не сдержал свое слово, Язвинка. И я никогда больше не видела моего мальчика. Почему я решила, что у этого эсэсовца может быть такая вещь, как честь? Возможно, из-за отца – он всегда говорил про германскую армию и офицеров и про то, какое у них высокое чувство чести, и принципы и прочее. Не знаю. Но Хесс не сдержал слова, и так я не знаю, что было. Хесс потом скоро уехал из Освенцима в Берлин, а я вернулась в барак и стала обычной стенографисткой. Я никогда не получила никакого известия от Хесса, никогда. Даже на следующий год, когда он вернулся, он не вызвал меня. Долго я думала: ну, Яна вывезли из лагеря и отправили в Германию и скоро я получу известие, где он и как его здоровье, и так дальше. Но я никогда ничего не услышала – совсем никогда. Потом, позже, я получила эту страшную записку на клочке бумаги от Ванды, там было сказано так – просто так и больше ничего: «Я снова видела Яна. Он в порядке – насколько это возможно». Я чуть не умерла тогда, Язвинка, потому что, понимаешь, это значило, что Яна не увезли из лагеря: Хесс не сделал, чтобы его взяли для Lebensborn.

Потом, через несколько недель, я получила другую весточку от Ванды из Бжезинки через одну узницу – женщину из французского Сопротивления, которая пришла к нам в барак. Женщина сказала, что Ванда велела передать мне,

что Яна нет больше в Детском лагере. И я недолго была совсем радостная, а потом поняла, что кто ничего не значит – это ведь может значить только, что Ян есть мертвый. Его не отправили для Lebensborn, просто он умер от болезни или еще от чего-то – от зимы: ведь стало так очень холодно. И я никак не могла узнать, что на самом деле произошло с Яном, умер он там, в Бжезинке, или был где-то в Германии. – Софи помолчала. – Освенцим был такой большой, так было трудно узнать про кого-то. А Хесс так никогда и не дал мне никакого известия, как обещал. Mon Dieu, это было так imbécile[315] с моей стороны – думать, что у такого человека может быть такая вещь, как он это называл – meine Ehre. Моя честь! Какой грязный лгун! Он был самая настоящая, как Натан говорит, «мелочовка». А я до самого конца была для него просто кусок польского дрека. – Помолчав еще немного, она взглянула на меня поверх прикрывавших глаза рук. – Знаешь, Язвинка, я так никогда не узнала, что было с Яном. Лучше было бы, наверно... – И голос ее заглох.

Тишина. Расслабление. Безветрие летнего вечера, горечь, испитая до дна. После всего услышанного я не мог заставить себя хоть что-то сказать, да мне, безусловно, и нечего было сказать Софи; тут она слегка повысила голос и быстро, без обиняков, поведала мне о том страшном и душераздирающем, что явилось для меня огкровением, но в свете всего предшествующего было лишь еще одним мучительным пассажем в арии нескончаемого горя.

– Я думала, я, может быть, что-нибудь узнаю. Но скоро после того, как я получила эту последнюю весточку от Ванды, я узнала, что ее поймали на подпольной работе. Ее отвели в тот хорошо известный тюремный блок. Ее пытали, потом подвесили на такой крюк, и она медленно задушилась до смерти... Вчера я назвала Ванду «кветч». Это моя последняя ложь тебе. Она была самый храбрый человек, какого я знала.

Мы сидели с Софи в сумеречном свете, и обоим, по-моему, казалось, что наши нервы натянуты до предела этим медленным нагнетанием невыносимого. Во мне поднялось что-то близкое к панике, и я решил окончательно и бесповоротно, что не желаю больше ничего слышать про Освенцим – ни единого слова. Однако Софи, как я сказал, уже не могла остановиться (хотя я понимал, что морально она чувствует себя вывалянной в грязи и измотанной) и продолжала говорить, пока стремительным потоком не выплеснула на меня последние подробности своего прощания с комендантом Освенцима.

– Он сказал мне: «А теперь иди». И я повернулась и пошла, только сначала сказала ему: «Danke, mein Kommandant,[316] за вашу помощь». Тут он сказал – поверь мне, Язвинка, – он сказал так. Он сказал: «Слышишь музыку? Тебе нравится Франц Легар? Это мой любимый композитор». Меня так удивил этот странный вопрос – я не могла даже сразу ответить. Франц Легар, подумала я, а

потом вдруг сказала: «Нет, не очень. А что?» Лицо у Хесса стало такое разочарованное, но только на минуту, потом он снова сказал: «А теперь иди». И я ушла. Я спустилась вниз мимо комнаты Эмми, и там опять играло маленькое радио. На этот раз я легко могла его взять, потому что я очень внимательно посмотрела вокруг и Эмми нигде не было. Но я уже говорила – у меня не было смелости сделать то, что нужно: я ведь все еще надеялась про Яна, ну и вообще. А кроме того, я знала, что на этот раз они самой первой будут подозревать меня. Так что я не стала трогать там радио и вдруг почувствовала страшную ненависть к себе. Но я его все равно не тронула, и оно продолжало играть. Можешь себе представить, что играло радио? Догадайся, Язвинка.

В таком повествовании, как это, наступает момент, когда введение иронии кажется неуместным, пожалуй, даже «противопоказанным» – несмотря на подспудное стремление к ней – из-за того, что ирония легко способствует утяжелению текста, тем самым истощая терпение читателя, а одновременно и его или ее доверие. Но поскольку Софи – мой верный свидетель, и это она сама заключает иронической кодой свое свидетельство, в котором у меня нет оснований сомневаться, я должен воспроизвести ее последнюю фразу, добавив лишь в качестве комментария, что эти слова были произнесены ею неясно, дрожащим голосом измученного человека, прошедшего через ад, – как бы с насмешкой и одновременно с глубочайшей мукой; такой интонации я никогда еще не слышал у Софи, да и вообще редко слышал у кого-либо, и была она явным признаком начала истерии.

– Что же играли по радио? – спросил я.

– Это была увертюра к опере Франца Легара, – объявила она. – «Das Land des Lächelns» – «Страна улыбок».

Было за полночь, когда мы вышли на улицу и не спеша прошли несколько небольших кварталов до Розового Дворца. Софи успокоилась. В душной темноте не было никого; дома добрых бюргеров Флэтбуша вдоль улиц, обсаженных кленами, стояли темные и затихшие в глубоком сне. Софи шагала рядом со мной, обхватив меня за талию, и ее духи мгновенно взбудоражили мои чувства, но я понимал, что она обняла меня по-сестрински или по-дружески, а кроме того, ее долгий рассказ убил во мне всякое желание. Мрак и отчаяние накрыли меня пеленой августовской темноты, и в какой-то момент у меня мелькнула мысль, смогу ли я вообще заснуть.

Подходя к крепости миссис Зиммермен, где в розовом холле тускло светила ночная лампочка, мы слегка споткнулись на неровном тротуаре, и Софи, впервые заговорив с тех пор, как мы вышли из бара, спросила:

– У тебя есть будильник, Язвинка? Мне надо завтра так очень рано встать, чтобы успеть перевезти вещи на новое место и вовремя прийти на работу. Доктор Блэксток был такой терпеливый со мной эти дни, но мне надо все-таки серьезно браться за работу. Позвонишь мне посередине недели? – Я услышал, как она подавила зевок.

Я только было собрался ответить ей насчет будильника, как темно-серая тень отделилась от черных теней, окружавших вход в дом. Сердце у меня отчаянно заколотилось, и я произнес:

– О господи.

Это был Натан. Я шепотом назвал его имя, а Софи, которая тоже узнала его, издала легкий стон. На миг у меня возникла, по-моему, вполне резонная мысль, что он сейчас набросится на нас. Но тут я услышал, как Натан нежно произнес:

– Софи!

И она так поспешно сдернула руку с моей талии, что вытащила мне рубашку из брюк. Я остановился и замер, а они кинулись друг к другу в полутьме, испещренной пятнами мутного, дрожащего, пробивающегося сквозь листву света, и я услышал, как всхлипнула Софи, прежде чем они слились в объятии. Они долго стояли так, прижавшись друг к другу, в темноте позднего лета. Затем я увидел, как Натан медленно опустился на колени на каменный тротуар и, обхватив ноги Софи руками, надолго застыл в этой позе верности, или преданности, или искупления, или мольбы, или всего вместе.

Четырнадцатое



Натан быстро снова завоевал нас, появившись буквально в последнюю минуту. После нашего на редкость приятного и легкого примирения – Софи, Натана и Язвины – Натан, помнится, первым делом дал мне двести долларов. Через два дня после счастливого воссоединения, после

того, как Натан и Софи снова поселились на верхнем этаже, а я снова укрылся в своем обиталище цвета примулы, Натан узнал от Софи, что меня обокрали. (Кстати, Моррис Финк был в этом неповинен. Натан заметил, что у меня было взломано окно в ванной – Моррису не надо было бы это делать. Мне стало стыдно за мое отвратительное подозрение.) На другой день, вернувшись после обеда в закусочной на Ошен-авеню, я обнаружил на столе чек, выписанный на мое имя, на сумму, которая в 1947 году для человека, находившегося, как я, на грани нищеты, может быть названа лишь королевской. К чеку была пришпилена записка, написанная от руки: «Да здравствует процветание южной литературы». Я был потрясен. Естественно, деньги эти были даром небес – они свалились на меня в ту минуту, когда я терял голову от тревоги за свое ближайшее будущее. Отказаться от них было для меня почти невозможно. Но различные религиозные и врожденные представления о щепетильности не позволяли мне и принять их в дар.

И вот после долгих переговоров и добродушных препирательств мы пришли, так сказать, к компромиссу. Двести долларов остаются подарком до тех пор, пока я остаюсь неопубликованным писателем. Но, если и когда я найду издателя для своего романа и заработаю достаточно денег, чтобы не чувствовать финансового пресса, – тогда, и только тогда, Натан согласится принять от меня ту сумму, какую я сочту нужным ему вернуть (без всяких процентов). Тоненький, подленький голосок в глубине моего сознания говорил мне, что Натан проявил такую широту чтобы загладить мерзкий выпад против моей книги, который он допустил за несколько вечеров до того, когда так драматично и жестоко выбросил из своей жизни Софи и меня. Но я прогнал эту мысль, сочтя ее недостойной, особенно в свете того, что я недавно узнал от Софи о психических отклонениях, возникавших у Натана под влиянием наркотиков, что, несомненно, и побудило его сделать столько мерзких и безответственных заявлений – наговорить столько всяких слов, о чем он явно уже не помнил. Слова, которые, я уверен, так же стерлись из его памяти, как и его сумасшедшее, разрушительное поведение. А кроме того, я был просто предан Натану – во всяком случае, тому забавному, щедрому, жизнелюбивому Натану, который сумел вырваться из кольца окружавших его демонов, и, поскольку именно такой Натан вернулся к нам – Натан, изрядно похудевший и бледный, но явно избавившийся от кошмара, который совсем недавно владел им, – у меня возродилось к нему чудесное, теплое, братское отношение; но мою радость не сравнить было с тем состоянием ошалелого счастья, в котором находилась Софи. Ее неизменная любовь к Натану поражала меня. То, как он оскорблял ее, было явно либо забыто, либо полностью прощено. Я уверен, она прижала бы его к своей груди с не менее жадным и бесконечным всепрощением, будь он осужден за издевательства над детьми или за убийство топором.

Я не знал, где Натан провел эти несколько дней и ночей после жуткого

спектакля, который он устроил в «Кленовом дворе», хотя из замечаний, оброненных Софи, я решил, что он нашел пристанище у своего брата в Форест-Хиллз. Но его отсутствие и то, где он находился, не имело, пожалуй, значения; точно так же – благодаря его сногшибательному обаянию – не имело особого значения и то, что он вылил на нас с Софи столько злобы и враждебности, хотя мы потом оба положительно от этого заболели. В определенном смысле то, что Натан периодически принимал наркотики, о чем рассказала мне Софи, нарисовав такую яркую и страшноватую картину, теперь еще больше привлекло меня к нему: хотя моя реакция, несомненно, объяснялась романтическими соображениями, демоническая сторона его натуры – этот мистер Хайд,[317] который время от времени завладевал им и пожирал его нутро, – представлялась мне сейчас неотъемлемой и важной частью его своеобразного таланта, и я примирился с этим, лишь смутно опасаясь, как бы к нему не вернулось безумие. Мы с Софи были людьми явно бесхарактерными. Нам достаточно было того, что он вернулся, оживив наше существование, привнеся в него щедрость, энергию, веселье, магию и любовь, которые мы считали навеки утраченными. Собственно, его возвращение в Розовый Дворец и воссоздание наверху уютного любовного гнездышка выглядело столь естественно, что я до сего дня не могу припомнить, когда или как он перевез назад свою обстановку, одежду и прочее имущество, которые забрал в тот вечер, и вновь расставил все по местам, так что, казалось, он и не покидал вместе со своими вещами этого дома.

Все снова стало как прежде. Жизнь потекла дальше, будто ничего и не было, будто вспышка ярости Натана вовсе и не подводила нас к тому, что наша трехсторонняя дружба и счастье могли раз и навсегда рухнуть. Начался сентябрь, летняя жара все еще висела над раскаленными улицами тонким, зыбким маревом. Каждое утро Натан и Софи спускались на Черч-авеню в метро и разными поездами отправлялись: он – в свою лабораторию к «Пфайзеру», она – к доктору Блэкстоку, в центр Бруклина. А я радостно усаживался за свой скромный дубовый письменный столик. Я не давал Софи завладеть мною, снова добровольно уступив ее старшему мужчине, которому она столь естественно и по праву принадлежала, и еще раз признав, что мои посягательства на ее сердце были самыми скромными и в лучшем случае дилетантскими. Итак, прекратив попусту строить воздушные замки насчет Софи, я со всем пылом, целеустремленно вернулся к прерванной работе над романом. Естественно, меня не могло не преследовать и в известной мере то и дело угнетать воспоминание о том, что рассказала мне Софи о своем прошлом. Но, вообще говоря, я сумел выкинуть ее историю из головы. Жизнь все-таки продолжается. А кроме того, меня подхватила пьянящая волна творчества, и я отчетливо сознавал, что должен изложить на бумаге свою трагическую хронику, на что у меня уходили все рабочие часы. Очевидно, меня вдохновило финансовое вспомоществование Натана – такая форма поощрения всегда чрезвычайно благотворно действует на художника-творца, – и я начал работать со стремительной для себя скоростью,

правя и отшлифовывая текст, стачивая один за другим карандаши «Бархатная Венера», и в результате моих утренних трудов на письменном столе появлялось пять, шесть, семь, а иногда даже восемь или девять исписанных желтых листков.

А Натан (помимо денег) снова взял на себя роль этакого брата-советчика, ментора, добронамеренного критика и любимого старшего друга, на которого я с таким уважением с самого начала смотрел. Он опять стал читать мою тщательно отработанную прозу, каждые несколько дней беря к себе наверх двадцать пять или тридцать страниц, которые я успевал за это время написать, и через два-три часа возвращая рукопись, обычно с улыбкой, почти всегда готовый наградить меня тем единственным, в чем я больше всего нуждался, – похвалой, – хотя, как правило, похвала эта бывала смягчена или честно приправлена долей жесткой критики: у него был удивительно острый глаз на выпадающую из общего ритма фразу, быющие на эффект рассуждения, онанистический флирт с читателем, не слишком удачную метафору. Но по большей части, должен сказать, его безоговорочно пленяла моя мрачная тайдуотерская история, пейзажи и погода, которые я постарался передать со всей своей влюбленностью, точно и преданно, насколько позволял мой молодой, еще не вполне распутившийся талант; его пленяли мои убитые горем герои, которые постепенно обростали плотью, совершая под моим пером свое скорбное, мрачное путешествие по равнинам Виргинии, и, наконец, думается мне, его искренне пленило свежее видение Юга, которое (несмотря на подмеченное им влияние Фолкнера, с чем я тут же согласился) было безусловно и, как он выразился, «волнительно» моим собственным. Я же втайне радовался, что с помощью алхимии моего искусства неназойливо, постепенно превращаю предубеждение Натана против Юга в нечто такое, что он способен принять или понять. Я заметил, что Натан больше не подкусывает меня по поводу заячьей губы, и стригущего лишая, и линчеваний, и деревенщин. Мой труд начал всерьез оказывать на него влияние, и, поскольку я так восхищался Натаном и так его уважал, меня это бесконечно трогало.

– Эта сцена вечеринки в загородном клубе – великолепна, – сказал он мне, когда мы как-то субботним днем сидели у меня в комнате. – Этот маленький диалог между матерью и цветной горничной... не знаю, мне он кажется прямо в точку. А ощущение южного лета – понять не могу, как ты это сумел передать.

Я внутренне возгордился, пробормотал благодарность и проглотил добрую половину банки пива.

– У меня сейчас неплохо идет, – сказал я, сознавая собственную скромность. – Я рад, что тебе нравится, в самом деле рад.

– Пожалуй, надо будет мне съездить на Юг, – сказал он, – посмотреть, что к чему. Эта твоя вещица пробудила у меня аппетит. Ты мог бы быть мне гидом.

Как, нравится тебе такое предложение, старина? Поездка по старушке Конфедерации.

Я буквально чуть не подскочил от этой идеи.

– Господи, конечно! – сказал я. – Это будет просто здорово! Мы могли бы двинуться из Вашингтона прямо вниз, на юг. У меня в Фредериксберге есть школьный товарищ – он великий знаток Гражданской войны. Мы могли бы остановиться у него и посетить все поля сражений в северной Виргинии. Манассас, Фредериксберг, Чашобу, Спотсилванию – все укрепления. Потом мы бы взяли машину и поехали бы дальше на Юг – в Ричмонд, посмотрели бы Питерсберг, съездили бы на ферму моего отца в округ Саутхемптон. Они скоро будут собирать там земляной орех...

Я увидел, что Натана сразу воодушевило мое предложение, или вексель, и он усиленно кивал, пока я со всем пылом продолжал расписывать наш маршрут. Я намечал это путешествие с образовательными целями серьезно, всеохватно... но чтоб было и весело. После Виргинии – прибрежный район Северной Каролины,



где вырос мой дорогой папочка, потом Чарлстон, Саванна, Атланта и неспешная поездка по сердцу Диксиленда, сладостному нутру Юга – Алабаме и Миссисипи; завершим мы свой путь в Новом Орлеане, где такие мясистые, сочные устрицы, да к тому же по два цента за штуку,

где замечательная бамия и лангусты растут прямо на деревьях.

– Вот это будет поездка! – кукарекал я, вскрывая еще одну банку пива. – Южная кухня. Жареные цыплята. Кукурузная каша. Горошек с беконом. Лепешки из овсяной муки. Свежая капуста. Деревенская ветчина под острым томатным соусом. Натан, ты же гурман, ты с ума сойдешь от счастья!

Я чувствовал себя чудесно – на таком подъеме от пива. Жара, можно сказать, уложила день в лежку, но из парка дул ветерок, хлопавший ставней, и сквозь стук ее я слышал лившиеся сверху звуки Бетховена. Это, конечно, включила проигрыватель Софи: вернулась с работы – а по субботам она работала полдня –

и, принимая душ, по обыкновению запустила его на полную мощность. Раскручивая мою южную фантазию, я уже понимал, что пересаливаю, что говорю, как заштатный южанин, чего я терпеть не мог почти в такой же мере, как и задиристых ньюйоркцев, пропитанных рефлектирующим либерализмом и враждебностью к Югу, – это бесконечно раздражало меня, но неважно: я был в отличном настроении после особенно плодотворного утра и прелести Юга (чьи пейзажи и звуки я с таким старанием, кровью сердца описывал) вызывали у меня легкий экстаз, а порою – сильную душевную боль. Я, конечно, часто испытывал и раньше этот прилив горькой и одновременно сладкой тоски по прошлому – в последний раз этот приступ был значительно менее искренним, когда я пустил в ход свою «кукурузную лесть», но ее колдовство не оказало никакого воздействия на Лесли Лапидас, – однако сегодня это мое чувство было каким-то особенно хрупким, трепетным, острым, прозрачным; мне казалось, я в любую минуту могу разразиться неуместными, но поразительно искренними слезами. Дивное адажио Четвертой симфонии плыло вниз, сливаясь, словно мерное, размеренное биение человеческого пульса, с моим восторженным состоянием.

– Я – твой, старина, – услышал я голос Натана, сидевшего позади меня. – Знаешь, настало для меня время посмотреть Юг. Кое-что из того, что ты говорил в начале лета – это было, кажется, так давно, – застряло у меня в голове: кое-что из того, что ты говорил про Юг. Или, пожалуй, следует сказать, про Юг и про Север. Мы с тобой в очередной раз препирались, и, я помню, ты сказал что-то насчет того, что южане по крайней мере отваживаются ездить на Север, приезжают посмотреть, что Север представляет собой, а из северян лишь немногие утруждают себя поездкой на Юг, чтобы посмотреть на его просторы. Я помню, ты говорил, какую северяне проявляют ограниченность, показывая свое преднамеренное и самодовольное невежество. Ты сказал тогда: это от интеллектуальной самонадеянности. Ты употребил именно эти слова – они показались мне в тот момент слишком сильными, – но потом я стал об этом думать и начал понимать, что, возможно, ты прав. – Он помолчал и поистине пылко произнес: – Я признаюсь в своем невежестве. В самом деле, как я мог ненавидеть места, которых никогда не видел и не знаю? Я – твой. Едем!

– Благослови тебя бог, Натан, – ответил я, зардевшись от добрых чувств и «Рейнголда».

С пивом в руке я бочком прошел в ванную. Я не сознавал, что настолько пьян. И написал мимо унитаза. Сквозь плеск мочи до меня долетел голос Натана:

– У меня должен быть отпуск в середине октября, а к этому времени, судя по твоим темпам, у тебя уже будет завершен большой кусок книги. Тебе, наверное, понадобится немножко передохнуть. Почему бы нам не запланировать нашу поездку на это время? Софи ни разу еще не имела отпуска у этого шарлатана, так

что ее тоже должны отпустить недели на две. Я могу взять у брата машину с откидным верхом. Она ему не понадобится – он купил себе новый «олдсмобил». Мы поедем на ней в Вашингтон...

Слушая его, я посмотрел на шкафчик для лекарств – мой «сейф», казавшийся мне таким надежным, пока меня не обокрали. Кто же был тот преступник, думал я, зная теперь, что Моррис Финк чист? Какой-нибудь флэтбушский бродяга – воров тут всегда полно. Это уже не имело значения; к тому же владевшие мною ранее ярость и досада сменились каким-то странным, сложным чувством: ведь деньги-то эти были выручены за продажу человеческого существа. Артиста! Собственности моей бабушки, источника моего спасения. Именно благодаря мальчишке-рабу Артисту я сумел просуществовать это лето в Бруклине; пожертвовав своей плотью и шкурой, он немало сделал, чтобы я мог продержаться на плаву в начальной стадии работы над книгой, так что, может быть, это божья справедливость определила, чтобы Артист больше не содержал меня. Я уже не буду теперь существовать на средства, окрашенные виною столетней давности. В известной мере я был рад избавиться от этих кровавых денег, избавиться от рабства.

Однако разве я смогу когда-либо избавиться от рабства? В горле у меня образовался комок, я громко прошептал слово: «Рабство!» Где-то в самом дальнем закоулке моего сознания гнездилась потребность написать о рабстве, заставить рабство выдать свои наиболее глубоко похороненные, рожденные в муках тайны – эта потребность была не менее настоящей, чем та, что побуждала меня писать, как я писал сегодня весь день, о наследниках этого института, которые теперь, в сороковые годы двадцатого века, барахтались среди безумного апартеида, царившего в Тайдуотере, штат Виргиния, – о моей любимой и измученной мещанской семье новых южан, чей каждый поступок и каждый жест, как я начал понимать, изучался и оценивался множеством угрюмых черных свидетелей, которые все вышли из чресел рабов. И разве все мы, и белые, и негры, не являемся по-прежнему рабами? В моем лихорадочном мозгу и в самых беспокойных закоулках моей души живет сознание, что я буду носить оковы рабства до тех пор, пока буду писателем. Тут вдруг сквозь приятно ленивые, слегка одуряющие размышления, которые шли от Артиста к моему отцу, затем к образу крещения негра в белых одеждах в илистой реке Джеймс, потом снова к моему отцу, храпевшему в отеле «Макэлпин», вдруг возникла мысль о Нате Тернере, и я почувствовал такую боль, как если бы меня насадили на пику. Я выскочил из ванной и выпалил, пожалуй, излишне громко, так что Натан вздрогнул от неожиданности:

– Нат Тернер!

– Нат Тернер? – с озадаченным видом откликнулся Натан. – Кто такой, черт бы

его подрал, этот Нат Тернер?

– Нат Тернер, – сказал я, – был раб-негр, который в лето одна тысяча восемьсот тридцать первое убил около шестидесяти белых – ни один из них, могу добавить, не был евреем. Он жил недалеко от моего родного городка на реке Джеймс. Ферма моего отца как раз посередине того округа, где он поднял свой кровавый бунт.

И я стал рассказывать Натану то немногое, что знал об этом удивительном черном человеке, чья жизнь и деяния окружены такой таинственностью, что о самом его существовании едва ли помнят жители той глубинки, не говоря уже об остальном мире. Во время моего рассказа в комнату вошла Софи, – она была чистенькая, свежая, розовая и поразительно красивая – и уселась на ручку кресла Натана. Она тоже принялась слушать, небрежно поглаживая Натана по плечу, лицо у нее при этом было такое милое и внимательное. Но я довольно скоро иссяк: понял, что знаю об этом человеке совсем немного; он возник из туманов истории ослепляющим, поистине катастрофическим взрывом, совершил свой эпохальный подвиг и исчез столь же таинственно, как и появился, не оставив ничего о себе, о своей личности, ни единого изображения, – ничего, кроме имени. Его надо было открывать заново, и в тот день, пытаясь рассказать о нем Натану и Софи, полупьяный от возбуждения и пыла, я впервые понял, что мне надо написать о нем и, сделав его своим героем, воссоздать для всего остального мира.

– Фантастика! – услышал я собственный, исполненный пивного восторга возглас. – Знаешь, Натан, я сейчас понял. Я напишу про этого раба книгу. И время для нашей поездки выбрано просто идеальное. В работе над романом я как раз дойду до такого места, когда смогу от него оторваться: у меня уже будет написан солидный кусок. А когда мы доберемся до Саутхемптона, мы можем объехать край Ната Тернера, поговорить с людьми, посмотреть на все эти старые дома. Я смогу проникнуться атмосферой и сделать немало записей, собрать информацию. Это будет моя следующая книга – роман о старине Нате. А вы с Софи тем временем пополните свое образование. Это будет самой интересной частью нашего путешествия...

Натан обхватил рукой Софи и крепко ее сжал.

– Язвина, – сказал он, – я просто не дождусь нашей поездки. В октябре мы отправляемся в Диксиленд. – И он посмотрел вверх на Софи. Они обменялись взглядом, полным такой любви (глаза из на секунду встретились и будто растворились друг в друге, не переставая напряженно смотреть), что мне стало неловко, и я поспешил отвернуться. – Сказать ему? – спросил Натан, обращаясь к Софи.

– А почему нет? – ответила она. – Язвинка ведь наш лучший друг, правда?

– И, надеюсь, будет нашим шафером. Мы поженимся в октябре! – весело объявил Натан. – Так что эта поездка будет и нашим медовым месяцем.

– Иисус Вседержитель! – возопил я. – Поздравляю! – И, подойдя к креслу, я поцеловал обоих: Софи – возле уха, где в нос мне ударил аромат гардении, а Натана – в благородное острие носа. – Это же совершенно замечательно, – пробормотал я и действительно так считал, совершенно забыв, что еще в недавнем прошлом подобные моменты экстаза, сулившие еще большие радости, были всегда яркой вспышкой, из-за которой ослепленный зритель уже не видел подступавшей беды.

Должно быть, дней через десять, в последнюю неделю сентября, мне позвонил по телефону брат Натана – Ларри. Я очень удивился, когда однажды утром Моррис Финк вызвал меня к замызганному телефону-автомату в холле, – удивился, что мне вообще кто-то звонит, а тем более человек, о котором я так часто слышал, но с которым ни разу не встречался. Голос был теплый и приятный – он звучал почти как у Натана, с ярко выраженным бруклинским акцентом – и сначала нейтральный, а потом, когда Ларри спросил, не могли бы мы встретиться, и чем быстрее, тем лучше, в нем тоже появилась настойчивость. Он сказал, что не хотел бы показываться у миссис Зиммермен, так что не соглашусь ли я посетить его дома, в Форест-Хиллз. Он добавил, что я, очевидно, понимаю: дело касается Натана – вопрос срочный. Я, не колеблясь, сказал, что буду рад увидеться с ним, и мы условились встретиться у него в конце дня.

Я безнадежно заблудился в лабиринте тоннелей метро, соединяющих районы Кинге и Куинс, сел не на тот автобус и очутился на безлюдных просторах Джамайки, так что опоздал больше чем на час; тем не менее Ларри встретил меня крайне любезно и дружелюбно. Он открыл мне дверь большой и уютной квартиры в достаточно шикарном, на мой взгляд, районе. Пожалуй, я еще ни разу не встречал человека, к которому сразу почувствовал бы такое расположение. Он был немного ниже, значительно шире и полнее Натана и, конечно, старше, но сходство между братьями было разительное, однако довольно скоро становилась ясна и разница, ибо если Натан был сплошной комок нервов, изменчивый, непредсказуемый, то Ларри был человек спокойный, почти флегматичный, с мягким голосом и уверенной манерой держаться, что, возможно, отчасти было атрибутом врача, но вообще-то, я считаю, объяснялось его внутренней солидностью и благопристойностью. Я сразу почувствовал себя с ним свободно, когда в ответ на мои извинения за опоздание он самым учтивым образом предложил мне бутылку канадского эля и сказал:

– Натан говорил мне, что вы любитель солодовых напитков.

Мы сели в кресла у широкого распахнутого окна, выходившего на скопление приятных, увитых плющом зданий в тюдоровском стиле, и он заговорил со мною так, как если бы мы были хорошо знакомы.

– Мне нет нужды говорить вам, что Натан высоко вас ставит, – сказал Ларри, – право же, отчасти поэтому я и попросил вас приехать. Собственно, за то короткое время, какое вы, насколько я понимаю, знакомы, вы стали для него – я уверен, – пожалуй, лучшим другом. Он подробно рассказал мне о вашей работе, о том, какой вы, по его мнению, отличный писатель. Вы идете у него первым номером. Ведь было время – он, наверно, вам об этом рассказывал, – когда он сам подумывал стать писателем. При нормальных обстоятельствах он мог бы стать почти кем угодно. Словом, я уверен, вы сами сумели понять, что у него очень тонкий литературный вкус, и я думаю, вы получите неплохой заряд бодрости, узнав, что, по его мнению, вы не только пишете сейчас отличный роман, но он вообще невероятно высокого мнения о вас как... словом, как о меньше.

Я кивнул, выжал из себя что-то ничего не значащее и почувствовал, что зарделся от удовольствия. Господи, как же я был падок до лести! Однако я по-прежнему недоумевал, зачем он пригласил меня. Тогда я сказал – теперь я понимаю – то, что подвело нас к Натану скорее, чем если бы мы продолжали говорить о моем таланте и моих бесценных личных качествах.

– Вы правы насчет Натана. Это, знаете, в самом деле удивительно, чтобы ученый интересовался литературой, а тем более так глубоко разбирался в литературных достоинствах. То есть я хочу сказать, вот он – первоклассный биолог-исследователь, в такой крупной компании, как «Пфайзер»...

Ларри мягко прервал меня, с улыбкой, которая тем не менее не могла скрыть того, что ему больно это говорить.

– Извините меня, Стинго – надеюсь, я могу называть вас так, – извините, но я хочу сразу вам кое-что сказать вместе со многим другим, что вам следует знать. Натан не биолог-исследователь. Он не *bona fide*[318] ученый, и у него нет никакого диплома. Все это чистейший вымысел. Мне очень жаль, но лучше вам это знать.

Святые угодники! Неужели я так и буду идти по жизни эдаким доверчивым, простодушным младенцем которому самые любимые люди будут вечно втирать очки? Мало того, что Софи так часто лгала мне, а теперь еще и Натан...

– Но я не понимаю, – начал было я, – вы что же, хотите сказать...

– Совершенно верно, – мягко вставил Ларри. – Я хочу сказать, что вся эта

история с биологическими исследованиями – маскарад, который устраивает мой брат, прикрытие, и ничего больше. О да, он каждый день является на работу к «Пфайзеру». Он служит там в библиотеке – это синекура, которая не требует особых усилий, где он может вдоволь читать, никому не мешая, и время от времени проводить небольшие исследования для биологов, которые там работают в штате. Это удерживает его от кривой дорожки. Никто об этом не знает, и прежде всего не знает эта милая его девушка – Софи.



Я поистине онемел – такого со мной еще не бывало.

– Но как же... – вымолвил наконец я.

– Один из высокопоставленных чиновников этой компании – близкий друг нашего отца. Это просто большая любезность с его стороны. Устроить Натана было довольно легко, тем более что он, когда владеет собой, хорошо, судя по всему, справляется со своими скромными обязанностями. Натан ведь, как вам известно, бесконечно умен – возможно, даже гениален. Вся беда в том, что большую часть своей жизни он не в себе – сходит с рельсов. Я не сомневаюсь, он мог бы стать фантастически блестящим профессионалом в любой области, если бы только взялся за дело. В литературе. Биологии. Математике. Медицине. Астрономии. Филологии. В чем угодно. Но он никак не мог привести в порядок голову. – Ларри снова вымученно улыбнулся и прижал ладони друг к другу. – Дело в том, что мой брат – законченный сумасшедший.

– О господи, – прошептал я.

– Параноидная шизофрения – таков диагноз, хотя я вовсе не уверен, что эти специалисты по мозгу знают, о чем они говорят. Так или иначе, это одно из таких состояний, когда могут пройти недели, месяцы, даже годы без всяких

проявлений болезни, а потом – раз! – он и сорвался. В последние месяцы дело серьезно осложнилось тем, что он стал принимать наркотики. Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить.

– О господи! – снова произнес я.

Сидя там и слушая Ларри, решительно и откровенно рассказывавшего мне все эти страшные вещи, я пытался справиться с бурей, бушевавшей у меня в мозгу. Чувство, которое я испытывал, было близко к горю, и я, наверное, был не больше поражен и огорчен, скажи он мне, что Натан умирает от неизлечимого физического недуга, ведущего к вырождению. Я начал заикаться, пытаюсь ухватиться хоть за какой-то обломок, какую-то соломинку.

– Но этому так трудно поверить. Когда он рассказывал мне про Гарвард...

– Ох, Натан же никогда не учился в Гарварде. Он вообще никогда не учился в колледже. И, конечно, не потому, что был умственно неспособен. Он прочитал уже столько книг, сколько мне за всю жизнь не прочесть. Но когда человек так болен, просто невозможно получить обычное систематическое образование. Школами для него были такие заведения, как Шеппард-Пратт, Маклинз, Пэйн-Уитни и так далее. Назовите мне любое дорогое заведение для умалишенных – он там был.

– Ох, как же это, черт подери, грустно и ужасно, – услышал я собственный шепот. – Я знал, что он... – Я умолк.

– Вы хотите сказать, вы знали, что он не вполне стабилен. Не вполне... нормален.

– Да, – сказал я, – это, наверно, ясно любому дураку. Но я просто не знал, насколько... ну, насколько это серьезно.

– Был период – он продолжался около двух лет, Натану было тогда под двадцать, – когда казалось, что он выкарабкается. Это была, конечно, иллюзия. Наши родители жили тогда в прекрасном доме в Бруклин-Хайтс, это было за год или за два до войны. Однажды ночью после ожесточенного спора Натану взбрело в голову, что надо сжечь дом, и он чуть его не сжег. Вот тогда нам пришлось запереть его надолго. Это был первый такой случай... но не последний.

Упоминание Ларри о войне привело меня на память то, что озадачивало меня с тех самых пор, как я познакомился с Натаном, но на что по разным причинам я не обратил должного внимания, отложив эту мысль в пустой и пыльный ящик моего сознания. По возрасту Натан, конечно же, должен был бы служить в вооруженных силах, но, поскольку он ни разу и словом об этом не обмолвился, я

не затрагивал этой темы, решив – какое мне дело. Но сейчас я не удержался и спросил:

– А что делал Натан во время войны?

– О господи, да он же был белобилетником. В один из периодов просветления он попытался записаться в десантники, но мы это в зародыше пресекли. Он нигде не мог бы служить. Так что он сидел дома и читал Пруста и «Principia»[319] Ньютона. А время от времени посещал бедлам.

Я долгое время молчал, пытаюсь, как мог, переварить всю эту информацию, которая так убедительно подтверждала мои опасения по поводу Натана, – опасения и подозрения, которые я до сих пор успешно в себе подавлял. Я сидел молча и раздумывал, и тут в комнату вошла прелестная брюнетка лет тридцати, подошла к Ларри и, тронув его за плечо, сказала:

– Я на минутку выйду, дорогой.

Я встал, и Ларри представил меня своей жене Мими.

– Я так рада познакомиться с вами, – сказала она, беря мою протянутую руку, – я думаю, может, вы сумеете нам помочь с Натаном. Вы знаете, мы ведь так его любим. Он столько о вас рассказывал, что у меня такое впечатление, будто вы его младший брат.

Я произнес какие-то милые, утешительные слова, но не успел сказать ничего существенного.

– Я пошла, – объявила вдруг она, – оставлю вас беседовать вдвоем. Надеюсь снова встретиться с вами.

Она была поразительно хорошенькая и обезоруживающе приятная; я проводил ее взглядом, пока она, слегка покачиваясь, легко шла по устиланному комнате толстому ковру, – а я только тут заметил теплую, ненавязчивую роскошь этой комнаты с деревянными панелями и множеством книг, и на сердце у меня стало тяжело. Почему я всего лишь нищий, еле сводящий концы с концами, непубликуемый писатель, а не симпатичный, умный, хорошо оплачиваемый еврей-уролог с такой аппетитной женой?

– Не знаю, много ли Натан рассказывал вам о себе. И о нашей семье.

Ларри налил мне еще эля.

– Немного, – сказал я, и тотчас сам удивился этому обстоятельству.

– Не буду докучать вам множеством подробностей, но наш отец сколотил... ну, словом, несколько тысконок. Прежде всего на консервированных кошерных супах. Когда он приехал сюда из Латвии, он ни слова не знал по-английски и за тридцать лет нажил, прямо скажем, немало. Бедный старик, он сейчас в доме для престарелых – очень дорогом доме. Я вовсе не хочу, чтобы вы сочли меня пошляком. Я говорю об этом, только чтобы подчеркнуть, какое лечение наша семья в состоянии обеспечить Натану. Он получил все лучшее, что могут дать деньги, но ничто окончательно не вывело его из этого состояния.

Ларри помолчал – и в молчании раздался вздох, полный грусти и боли.

– Так что все последние годы его то и дело приходилось отправлять в Пэйн-Уитни, или Риггс, или Менингер, или куда-то еще, а в промежутках бывают большие, относительно спокойные периоды, когда он ведет себя совершенно нормально, как вы или я. Добыв для него это скромное место в библиотеке «Пфайзера», мы думали, что в его состоянии наступила устойчивая ремиссия. Такие ремиссии, или излечения, случаются. Собственно, процент выздоравливающих даже довольно высок. Натан, казалось, был так доволен тем, что имеет работу, и хотя до нас доходили слухи, что он хвастался и изображал свою работу как нечто гораздо более значительное, – все это было достаточно невинно. Даже его грандиозный бред, будто он создает какое-то новое чудо-лекарство, никому не причинял вреда. Все выглядело так, точно он успокоился и находится на пути... ну, словом, к норме. Или, вернее, к норме для человека сумасшедшего. Ну а теперь появилась это милая, печальная, прелестная, обкрученная им полька. Бедная девчонка. Натан говорил мне, что они собираются пожениться... ну а вы, Стинго, что на этот счет думаете?

– Ему же нельзя жениться, верно, раз он в таком состоянии, – сказал я.

– Да, едва ли. – Ларри помолчал. – Но как ему помешать? Будь он неуправляемый сумасшедший, нам пришлось бы на всю жизнь засадить его под замок. Это решило бы все проблемы. Но, понимаете, ужасная трудность состоит в том, что он подолгу выглядит вполне нормальным. И кто может сказать, не окажется ли одна из таких длительных ремиссий полным исцелением? Подобных случаев зафиксировано немало. Нельзя же наказывать человека и мешать ему жить как все, просто исходя из предположения о худшем, исходя из предположения, что он снова может сорваться, хотя это и необязательно? Ну а теперь представим себе, что он женится на этой милой девушке, и представим себе, что у них будет ребенок. А потом представим себе, что он снова слетит с катушек. Это же будет несправедливо... ну словом, по отношению ко всем! – После минутного молчания он пронизывающим взглядом посмотрел на меня и сказал: – У меня нет на это ответа. А у вас есть? – Снова вздохнул, затем произнес: – Иной раз я думаю, жизнь – премерзкая ловушка.

Я заерзал в кресле, почувствовав вдруг невыразимый гнет: у меня было такое ощущение, будто мне на плечи легла тяжесть всей вселенной. Ну как сказать Ларри, что я только что видел его брата, моего любимого друга, у самого края пропасти? На протяжении жизни я не раз слышал о сумасшедших, но, считая возмутительными невыносимые условия, в которых содержат этих несчастных, буйствующих в изолированных, обитых войлоком палатах, никогда не думал, что соприкоснусь с этим. А сейчас безумие сидело рядом со мной.

– А что, вы полагали, я могу сделать? – спросил я. – Я хочу сказать, почему вы...

– Почему я пригласил вас сюда? – мягко перебил он меня. – Я и сам толком не знаю. Наверное, потому, что, как мне кажется, вы могли бы удержать его от наркотиков. Это сейчас для Натана самая предательская штука. Если он воздержится от бензедрина, может появиться шанс, что он выправится. Я мало что могу тут сделать. Мы во многих отношениях очень близки – нравится мне это или нет, но я для Натана своего рода образец, – однако я понимаю также, что я для него еще и человек, облеченный властью, и, следовательно, он склонен возмущаться моим вмешательством. А кроме того, я не так часто его вижу. Ну а вы – вы действительно находитесь рядом с ним, к тому же он вас уважает. Я просто думаю, не могли бы вы каким-то образом убедить его... нет, это слишком сильное слово, – повлиять, чтобы он перестал принимать эту дрянь, иначе ему конец. Кроме того – а я не стал бы просить вас шпионить за Натаном, если бы его состояние не было столь критическим, – кроме того, вы могли бы просто наблюдать за ним и время от времени сообщать мне по телефону, как он там. Я часто чувствую себя совсем от него оторванным и довольно беспомощным, но, если бы от случая к случаю я мог просто узнавать что-то от вас, вы бы всем нам оказали великую услугу. Это не кажется вам неразумным?

– Нет, – сказал я, – конечно, нет. Я буду рад помочь. Помочь Натану. И Софи тоже. Они мне очень дороги. – Я почувствовал, что настало время уходить, и поднялся, чтобы пожать руку Ларри. – Думаю, все может наладиться, – прошептал я с оптимизмом отчаяния, который только часть моего сознания могла признать оптимизмом.

– Я, безусловно, надеюсь на это, – сказал Ларри, но выражение его лица, грустного, несмотря на попытку криво усмехнуться, навело меня на мысль, что его оптимизм такой же хилый и неуверенный, как и мой.

Боюсь, что вскоре после встречи с Ларри я совершил серьезное упущение. Ведь в нашем коротком разговоре Ларри обратился ко мне с просьбой – просьбой приглядывать за Натаном и служить связующим звеном между Розовым Дворцом и им, быть одновременно часовым и таким добродушным псом, который способен легонько кусануть Натана за пятки и тем самым от чего-то

удержать. Ларри явно считал, что во время этого непрочного перерыва в увлечении Натана наркотиками я сумею уговорить его, заставить остепениться и даже, быть может, оказать на него какое-то длительное благотворное влияние. Собственно, не ради ли этого существуют добрые друзья? Но я вертанулся (это слово в ту пору еще не употреблялось, но оно вполне описывает мое небрежение или, точнее говоря, наплевательское отношение). Порою я думал, будь я на месте событий в те критические дни, мне, может быть, и удалось бы набросить узду на Натана, помешать ему соскользнуть к гибели, и очень часто я в отчаянии говорил себе «да» или «по всей вероятности». И не следовало ли мне попытаться рассказать Софи о тех мрачных вещах, которые я узнал от Ларри? Но поскольку я, конечно, не могу быть в точности уверен, как все сложилось бы, я всегда пытаюсь усыпить свою совесть слабым оправданием, что Натан яростно, неуклонно и решительно рвался к беде и спасти его от этой беды, в которой его участь слилась с участью Софи, было невозможно.



Одна из нелепостей состоит в том, что отсутствовал я совсем недолго, меньше десяти дней. За исключением субботней поездки с Софи на пляж Джонса, это был мой единственный выезд за пределы Нью-Йорка с тех пор, как много месяцев тому назад я перебрался в метрополию. При этом я, по

сути дела, и тогда не выезжал за пределы города – всего-навсего пожил в мирном деревенском доме в округе Рокленд, в полчасе езды на машине на север от моста Джорджа Вашингтона. Было это следствием еще одного неожиданного телефонного звонка. Мне позвонил старый друг по морской пехоте с более чем заурядным именем Джек Браун. Его звонок явился для меня полной неожиданностью, и, когда я спросил Джека, как, ради всего святого, он меня разыскал, он сказал – очень просто: позвонил в Виргинию и узнал номер телефона у моего отца. Я очень обрадовался, услышав его голос: эти южные каденции, сочные и могучие, как бурные реки, что текут по низинам Южной Каролины, где родился Джек Браун, ласкали мой слух, словно давно не слышанные звуки любимого банджо. Я спросил Джека, как он поживает.

– Отлично, дружище, просто отлично, – ответил он, – живу тут среди янки. Хочу, чтобы ты приехал ко мне погостить.

Я очень любил Джека Брауна. Есть такие друзья юности, общение с которыми доставляет подлинную радость, ты любишь их, ты им предан, а вот в более

поздней дружбе, какой бы искренней она ни была, эти качества почему-то отсутствуют; Джек как раз принадлежал к первой категории друзей. Он был умный, отзывчивый, начитанный, изобретательно забавный, с поразительным чутьем на мошенников и плутов. Своим остроумием, часто уничтожающе-едким, с ловкими вкрапиниями риторики южного суда (наверняка в какой-то мере заимствованной у отца, известного судьи), он смешил меня на протяжении всех месяцев, исполненных нервотрепки, что мы провели в войну в университете Дьюка, где морская пехота, решив превратить нас из сырого пушечного мяса в мясо слегка поджаренное, пыталась за один год вбить нам в мозги двухгодичную программу, тем самым создавая поколение полуграмотных людей с университетскими дипломами. Джек был немного старше меня – как раз на те самые критические девять месяцев – и, таким образом, в силу чисто хронологических факторов побывал в бою, тогда как мне посчастливилось и я избежал этого опыта, сохранив в целости свою шкуру. Письма, которые Джек писал мне с Тихого океана – после того как потребности войны разделили нас и он готовился к высадке на Иводзиме, а я все еще изучал тактику ближнего боя в болотах Северной Каролины, – были поразительно длинные и забавно непристойные, отмеченные яростью остроумного, однако смирившегося со своей судьбой человека; я считал это особенностью Джека, пока много лет спустя не увидел такую же фигуру, чудом ожившую на страницах «Поправки-22».[320] Даже когда его страшно ранило – а он, по сути дела, потерял ногу на Иводзиме, – Джек продолжал сохранять жизнерадостность, которую иначе как «высокой» я назвать не могу, и писал мне с больничной койки письма, в которых била ключом *joie de vivre*.[321] Свифтово острословие и энергия. Я уверен, только благодаря своему неистовому, безграничному стоицизму он не впал в отчаяние, подводящее к самоубийству. Его нисколько не смущал протез, благодаря которому он, по его словам, так соблазнительно прихрамывал, совсем как Герберт Маршалл.

Я рассказываю все это, только чтобы дать представление о том, каким поразительным обаянием обладал этот человек, и объяснить, почему я так охотно принял его приглашение, пренебрегши своими обязательствами перед Натаном и Софи. В университете Дьюка Джек говорил, что хочет стать скульптором, и сейчас, после войны, позанимавшись в Лиге артистической молодежи, он поселился среди мирных небольших холмов за Ниаком и занялся изготовлением крупных изделий из чугуна и листового металла, в чем ему помогло (как он без утайки мне сообщил) неплохое приданое, принесенное женой, дочерью владельца одной из крупнейших текстильных фабрик в Южной Каролине. Когда в ответ на его приглашение я сначала нерешительно возразил, что у меня сейчас хорошо идет работа над романом и неожиданный перерыв может испортить дело, он тотчас успокоил меня, заметив, что у него есть пристройка к дому, где я смогу без помехи работать.

– А кроме того, у нас сейчас гостит сестра моей Долорес, – добавил он, имея в виду свою жену. – Ее зовут Мэри-Элис. Весьма пышная молодая особа двадцати одного года, и уж ты мне поверь, дружище: хороша, как картинка. Кисти Ренуара, я имею в виду. К тому же – крайне ненасытна.

Слово «ненасытна» преисполнило меня приятными размышлениями. Легко понять, учитывая мою то и дело возрождавшуюся – как я уже излагал в данной хронике. – поистине патетическую надежду познать наконец радости секса, легко понять, что больше уговаривать меня не требовалось.

Мэри-Элис. Великий боже, Мэри-Элис. Я сразу займусь ею. Она важна для этого повествования из-за переворота, который благодаря ей произошел в моей психике, – пагубного переворота, придавшего на время (по счастью, краткое) определенную окраску финалу моих отношений с Софи.

Кстати, о самой Софи и Натане – тут необходимо вкратце упомянуть о небольшой пирушке, которую мы устроили в «Кленовом дворе» вечером, перед моим отъездом. Казалось бы, веселое событие – да так оно и выглядело для стороннего наблюдателя, – но два обстоятельства портили мне все, рождая неловкость и дурные предчувствия. Во-первых, Софи пила. Некоторое время после возвращения Натана – очень недолго – Софи, как я заметил, воздерживалась от алкоголя – возможно, только присутствие Натана и удерживало ее: в «прежние времена» я редко видел, чтобы кто-нибудь из них позволял себе нечто большее, чем ритуальную бутылку «шабли». А в тот вечер Софи снова стала пить, как пила со мной без Натана, стакан за стаканом заглатывая виски, хотя по обыкновению держалась она неплохо, если не считать несколько скованного языка. Я не знал, почему она опять перешла на крепкие напитки. Я, конечно, ничего не сказал – хозяином положения все-таки был Натан, – но мне было очень больно это видеть, мне было больно, что Софи, судя по всему, быстро превращается в запойную пьяницу, а потом меня огорчало, что Натан, казалось, не замечал этого, а если и замечал, то не принимал никаких мер, которые просто необходимы, когда человек начинает так много, бездумно и опасно пить.

В тот вечер Натан был по обыкновению мил и разговорчив; он снова и снова заказывал мне большущие стаканы пива, пока я совсем не одурел и не почувствовал, что вот-вот отключусь. Он развлекал Софи и меня, изобразив несколько смешных до упаду, чисто еврейских скетчей, которые он где-то подцепил. Я считал, что он вполне здоров – таким я не видел его с того первого дня, много месяцев тому назад, когда он взял приступом мою душу и разум; я буквально трепетал от восторга, что нахожусь в обществе такого забавного, такого неиссякаемо интересного человека, и тут одна его короткая фраза все изменила, и мое веселое настроение утекло, как вода в трубе. Мы как раз

собирались возвращаться в Розовый Дворец, когда он посмотрел на меня из темных глубин своих зрачков, где, я знал, притаилось безумие, и совершенно серьезно произнес:

– Я не хотел говорить тебе до этой минуты, а теперь скажу, чтобы тебе было над чем поразмыслить завтра утром по дороге в деревню. Когда ты вернешься, у нас будет повод отметить нечто действительно невероятное. А именно: моя группа исследователей подошла к тому моменту, когда мы вот-вот объявим, что найдена вакцина против... – тут он сделал паузу и церемонно произнес по слогам сложное слово, которое в те дни было окрашено таким страхом: – ...по-ли-о-ми-е-ли-та. Finis[322] детскому параличу. Не будет больше маршей десятицентовиков.[323] Натан Ландау – избавитель человечества.

Мне хотелось заплакать. Несомненно, мне следовало что-то сказать, но, вспомнив все, что говорил мне Ларри, я просто не мог выжать из себя ни слова и только медленно шагал с Натаном и Софи в темноте к дому миссис Зиммермен, слушая его безумные рассуждения по поводу тканевых и клеточных культур и остановившись лишь раз, чтобы хлопнуть Софи по спине и прервать ее пьяную икоту, – все это время я молчал, чувствуя, как жалость и страх переполняют мне душу...

Даже сейчас, много лет спустя, мне было бы приятно сообщить, что пребывание в округе Рокленд в известной мере явилось для меня наградой и компенсацией за волнения, связанные с Натаном и Софи. Неделя или десять дней тяжелых трудов за столом и веселых упражнений в постели, которые, по намекам Джека Брауна, ожидали меня, могли бы сполна вознаградить меня за то, что я пережил и – господи, помоги мне – еще буду переживать, страдая превыше всякой меры. Но эта поездка – или большая ее часть – осталась в моей памяти как фиаско, и я сохранил убедительное тому свидетельство между корками того же блокнота, где, как было сказано ранее в этом повествовании, я увековечил мой роман с Лесли Лапидас. По логике мое пребывание в деревне должно было бы протекать в пьянящей безмятежности, чего я так страстно ожидал. В конце концов, все компоненты были налицо: приятный дощатый, увитый плющом старый дом в голландском колониальном стиле, стоящий среди леса; обаятельный молодой хозяин и его бойкая жена; удобная постель; обильная хорошая южная еда; вволю вина и пива и надежда на то, что я познаю наслаждение в объятиях Мэри-Элис Гримболл, у которой было такое гладкое, безупречное треугольное личико с кокетливыми ямочками, прелестные, влажные, ненасытно приоткрытые губы, копна медовых волос, диплом по английскому языку колледжа Конверс и самый восхитительный зад, который когда-либо колыхался севернее Спартанберга.

Что может быть более заманчивым и многообещающим, чем нарисованная мною картинка? Перед вами бьющий копытом молодой холостяк, целый день

трудящийся за столом, слыша лишь постукивание – тук-тук – инструментов в руках одноногого скульптора да вдыхая запах цыплят и кукурузных хлебцев, жарящихся на кухне; труд его обретает еще больший полет, тонкость нюансировки и силу от мысли, приятно прилепившейся на краю сознания, что вечер принесет отдых с друзьями за вкусной едой, негромкую беседу, окрашенную родной южной ностальгией, а настроение поднимется от присутствия двух прелестных молодых женщин, одну из которых во тьме надвигающейся ночи он заставит шептать, стонать и вскрикивать от счастья под перекрученными простынями в жарких перекрученных объятиях любви. Собственно, все, что в этой фантазии было связано с домашней обстановкой, осуществилось. Я действительно много работал эти дни, проведенные с Джеком Брауном, его женой и Мэри-Элис. Мы вчетвером часто купались в лесном пруду (погода стояла все еще вполне теплая), мило пировали за столом, и беседы наши полны были воспоминаний. Но при этом были и мучения, и случались они ранним утром, когда мы с Мэри-Элис выскальзывали из дома и мне приходилось терпеть ее эксцентричные выходки, о каких я и понятия не имел и с какими потом ни разу не сталкивался. А дело в том, что Мэри-Элис – я пришел к этому мрачному выводу, занявшись сравнительной анатомией ее поведения по моим записям (наброшанным так же бегло и неразборчиво, как и несколько месяцев тому назад, когда я излагал для истории тот мой неудавшийся роман), – «...оказалась хуже дразнилки, хуже эксгибиционистки...»

Заря еще не занялась – я сижу тут, слушаю стрекот цикад и третье утро подряд, размышляя о ее мерзком искусстве, думаю о том, какая беда свалилась на меня. Я снова оглядел себя в зеркале в ванной и пришел к выводу, что в моей физиономии все на месте, более того: я могу со всей скромностью сказать, что не так уж я дурен собой – крупный нос и карие умные глаза, хорошая кожа, отличный костяк (не такой, хвала Всевышнему, который можно было бы назвать «аристократическим», но черты достаточно острые, чтобы я не выглядел плебеем), довольно подвижный рот – все это вместе составляет лицо, которое вполне можно назвать красивым, хотя ему безусловно далеко до стереотипной красоты героя рекламы «Виталиса». Так что мой внешний вид не мог оттолкнуть Мэри-Элис. Она девушка чувствительная, начитанная – она внимательно проштудировала одну-две книги, которые интересуют и меня, – обладает чувством юмора (родником смеха ее, конечно, не назовешь, да и кого можно так назвать, когда есть Джек Браун), – в общем для девушки ее среды, а выросла она на глубоком Юге, Мэри-Элис кажется достаточно передовой и свободомыслящей в «мирских» делах. Правда, довольно атавистично она слишком уж часто упоминает о церкви. Ни один из нас не был столь безрассуден, чтобы клясться в любви, но она – пусть не слишком, но все же – была явно сексуально возбуждена. Тут, однако, она была полной противоположностью Лесли, ибо невзирая на ее страсть в минуты лобзаний (я думаю, в известной мере деланную), она необычайно благонравна по части языка

(как многие девушки-южанки). Когда, к примеру, после того как мы уже целый час «занимались любовью», я, забывшись, прошептал, что у нее дивная задница и протянул было руку к ее ягодицам, она тотчас отстранилась и зло прошептала: «Я ненавижу это слово! Неужели нельзя сказать «бедра»?», – я понял тогда, что дальнейшая нескромность может оказаться роковой.

У нее были довольно приятные округлые, словно зрелые мускусные дыньки, маленькие грудки, но ничто способно сравниться с ее идеальной задницей, которая – за исключением, пожалуй, задницы Софи – вполне может занять первое место в мире благодаря своим лунообразным шарам такой бессовестной симметрии, что глядя на нее даже в этих унылых фланелевых юбках из «Пек-энд-Пек», я чувствую, как острая боль пронзает мои яйца, словно в них ударил копытом мул. Она не слишком большой мастак по части обследования всех закоулков тела – тут ее не сравнить с Лесли, которая выделявала такие гимнастические кульбиты языком, что я буду помнить их всю жизнь. И хотя Мэри-Элис, подобно Лесли, не разрешит мне и пальцем дотронуться до наиболее привлекательных складочек и уголков ее невероятно желанного тела, я никак не пойму, зачем она из раза в раз проделывает одно и то же, причем без особого удовольствия и как бы невзначай, – зачем она часами трясет мой фаллос, пока он не становится обезвоженным и безжизненным, а я не чувствую себя оскорбленным и выжатым как лимон? Сначала, когда я почувствовал маленькую ручку баптистки на моем поразительно напрягшемся стержне, я страшно возбудился и тут же пустил фонтан, обрызгав нас обоих, что, к моему изумлению, учитывая ее сдержанность, ничуть ее не возмутило, – она просто вытерлась платком, который я ей протянул. Но после трех вечеров и девяти оргазмов (по три в вечер, если быть точным) я почти утратил восприимчивость и понял, что в такого рода поведении есть нечто не совсем нормальное. Мой молчаливый намек (а я осторожно нагнул рукой ей голову) на то, что она, возможно, хочет заняться любовью по-итальянски, был встречен с таким отвращением, точно ей предложили попробовать сырое мясо кенгуру, – я понял, что этот путь для меня заказан.

И потекли ночи в потной тишине. Ее нежные молодые грудки были по-прежнему накрепко закованы в бюстгалтер под целомудренной бумажной блузкой. И нет доступа к этому манящему сокровищу, которое таится между ее ног – оно на таком же крепком запоре, как форт Нокс. Но – хлоп! – каждый час встает мой прут, и Мэри-Элис со стоическим безразличием берет его в руку и начинает устало наяривать со скоростью, с какой судья на финише марафона отсчитывает секунды, а я начинаю тяжело дышать и стенать и слышу, как, всхлипывая, произношу всякие глупости, вроде: «О Боже, до чего же хорошо, Мэри-Элис!», вижу ее прелестное, совершенно равнодушное лицо, и во мне нарастают жажда обладания и отчаяние – только отчаяния больше. Уже совсем рассвело, горы Рамапо затянуло туманом, стали перекликаться птицы. Бедный

мой джончик был еле жив и съезжился, точно придавленный червяк. Не могу понять, почему мне понадобилось несколько ночей, чтобы уразуметь, что мое состояние, близкое к самоубийству, частично объясняется сознанием, что я сам мог бы куда лучше – во всяком случае куда бережнее – осуществить то, что с таким sangfroid[324] творила со мной Мэри-Элис.

Где-то к концу моего пребывания у Джека Брауна – серым дождливым утром, в котором чувствовалось первое холодное дыхание осени, – я сделал в дневнике нижеследующую запись. Крошечные, словно паучьей лапкой выведенные букочки, которые я, конечно, не в состоянии здесь изобразить, служат доказательством моего душевного разлада.

Снова бессонная, или почти бессонная, ночь. Я не могу винить Джека Брауна, которого очень люблю, в моем нервном расстройстве или в том, что он неправильно толкует происходящее со мной. Не его вина, что Мэри-Элис так терзает меня. Он явно считает, что всю прошлую неделю мы с Мэри-Элис, как хорьки, занимались любовью, – судя по некоторым его замечаниям (сопровождающимся многозначительными подталкиваниями локтем), он считает, что я получил полное удовольствие от его хорошенькой свояченицы. Будучи трусом, я не могу заставить себя разубедить его. Сегодня после отличного ужина, – а была подана такая виргинская ветчина, какой я в жизни не пробовал, – мы вчетвером отправились в Ньяк смотреть какой-то идиотский фильм. Затем, вскоре после полуночи, Джек и Долорес ушли к себе в спальню, а мы с Мэри-Элис, уединившись в нашем любовном гнездышке на нижней террасе, вновь предались своему трагическому ритуалу. Я выпиваю уйму пива, чтобы придать себе авторитета. Сначала все протекает довольно приятно, но после бесконечно долгой томительной подготовки начинается все то же неизбежное нарастание страсти, превратившиеся для меня в нечто уныло однообразное и невыносимое. Уже не дожидаясь моей подсказки, Мэри-Элис сама тянется к моей «молнии» – ее безжалостная ручка снова готова орудовать моим джоником. На сей раз я, однако, останавливаю ее – весь день я готовился к объяснению с нею. «Мэри-Элис, – говорю я, – почему нам не быть друг с другом откровенными? Мы почему-то ни разу не говорили об этой проблеме. Ты мне очень нравишься, но по-честному, я больше не в состоянии это выносить. Ты что, боишься... – Я медлю, подбирая слова, зная, что она особо чувствительна к языку. – ...боишься... ну, ты знаешь чего? Если да, то я хочу тебе сказать, что есть способы не допустить... никакой случайности. Обещаю, я буду очень осторожен». Помолчав, она кладет голову с этими своими пышными волосами, одуряюще пахнущими гарденией, мне на плечо, вздыхает и говорит: «Нет, не в том дело, Язвинка». И умолкает. «Так в чем же тогда? – говорю я. – Пойми, если не считать поцелуев, я же до тебя даже не дотрагивался, я же тебя не ласкал! Как-то все не так получается, Мэри-Элис! Вообще то, чем мы занимаемся, это же настоящее извращение!» После небольшой паузы она говорит: «Ох, Язвинка,

сама не знаю. Ты тоже мне очень нравишься, но ты же знаешь – это не любовь. А для меня секс неотделим от любви. Я хочу, чтобы тот, кто полюбит меня, нашел меня такой, какой надо. И чтобы у нас с тобой тоже все было как надо. Я один раз так обожглась». – «Что значит – обожглась? – спрашиваю я. – Ты была в кого-то влюблена?» Она говорит: «Да, мне так казалось. И он меня больно обжег. Я больше не хочу обжигаться».

И она принимается рассказывать мне печальную историю любви в стиле этих чудовищных рассказов, публикуемых в «Космополитен», где сексуальная мораль 1940-х годов смешивается с психопатологией, что и позволяет ей мучить меня. У нее был жених, некий Уолтер, – рассказывает она мне, – морской летчик, ухаживавший за ней четыре месяца. До помолвки (объясняет она мне описательно, не хуже любой ханжи) у них не было настоящих половых отношений, хотя по его подсказке она и научилась массировать его («чтоб стимулировать») – по всей вероятности, так же бесстрастно и с тем же ритмическим искусством – и занималась этим из вечера в вечер, чтобы «успокоить» его и одновременно обезопасить свою бархатистую шкатулочку, куда ему до смерти хотелось залезть. (Четыре месяца! Вы только представьте себе, во что превратились синие брюки Уолта и какие океаны затопляли их, когда он кончал!) Только когда злополучный малый официально объявил о своем намерении жениться и преподнес кольцо (продолжала со всей наивностью рассказывать мне Мэри-Элис) отдала она ему свой бесценный горшочек с медом, ибо баптистская вера, в которой она была воспитана, насылала гибель, подобную смерти на тех, кто предавался телесным утехам без хотя бы перспективы брака. Собственно, добавила Мэри-Элис, она считала достаточно порочным уже и то, чем они занимались до того, как был завязан узелок. Тут Мэри-Элис умолкает и, возвращаясь к началу нашего разговора, произносит нечто такое, от чего я в ярости стискиваю зубы. «Дело не в том, что я не желаю тебя, Язвинка. Желания у меня неумные. Уолтер научил меня любви». А я слушал, как она бормочет, нанизывая друг на друга банальности, вроде: «симпатии», «нежности», «верности», «понимания», «сочувствия» и прочей христианской чепухи, и сгорал от желания изнасиловать ее. В общем с Уолтером дело кончилось тем, что он бросил ее накануне свадьбы, – это был величайший шок в ее жизни. «Вот я и обожглась, Язвинка, и больше так обжигаться не хочу».

Какое-то время я молчу. «Мне очень жаль, – говорю я. – Такая печальная история». И добавляю, стараясь сдержать так и рвущийся сарказм: «Очень печальная, Боюсь, такое случается со многими. Но думается, я знаю, почему Уолтер ушел от тебя. Скажи мне, Мэри-Элис, неужели ты действительно считаешь, что два здоровых молодых человека, которых влечет друг к другу, должны пройти через этот балаган с женитьбой, прежде чем потрахаться? Ты действительно так считаешь?» Я чувствую, как она вся напрягается и у нее перехватывает дыхание при слове «потрахаться», – она отстраняется от меня и

что-то в ее пуританском отвращении еще больше выводит меня из себя. А она (вполне оправданно, как я теперь понимаю) удивляется моей ярости: я тоже отстраняюсь от нее, стою, весь дрожа, совсем потеряв над собою власть, и вижу, как от испуга вытягиваются овалом ее губы с размазанной от наших поцелуев помадой. «Уолтер не научил тебя любви, ты, маленькая идиотка, врунья! – громко объявляю я. – Могу поклясться, тебя еще ни разу как следует не трахали! Уолтер научил тебя только, как массировать беднягу, которому охота забраться в твои штанишки! Тебя надо так натрахать, чтобы твоя хорошенькая задудька ходуном заходила от наслаждения, а большущий стоячий фаллос прорвал твою запруду, которую ты держишь на замке... а черт!..» Я обрываю свою диатрибу, стора со стыда и одновременно чуть не хохоча как идиот, ибо Мэри-Элис, точно шестилетняя девчушка, зажала ушки пальчиками и по щекам ее потекли слезы. Я отрыгиваю пивом. Я омерзителен. И однако же, я не выдерживаю и ору: «Твои дразнилки превратили миллион храбрых молодых ребят, многие из которых погибли в боях, защищая ваши бесценные задницы, в поколение сексуальных пустышек!» После чего, громко топая, я ухожу с террасы наверх – спать. И когда после долгих часов бессонницы я наконец забываюсь, мне видится то, что абсолютно объяснимо по Фрейду и что я вовсе не хочу вставлять в роман, но что, дорогой мой Дневник, я не могу не поведать тебе: мне привиделся мой первый гомосексуальный сон!

Ближе к полудню, покончив с дневником и написав несколько писем, я сидел за столом, где мне так хорошо работалось все эти дни, и мрачно раздумывал над привидевшейся мне во сне сногшибательной гомоэротической картиной, которая густой черной тучей осела в моем сознании (отравляя гнойным дыханием мне душу, побуждая опасаться за мое моральное здоровье), как вдруг услышал шаги Джека Брауна по ступенькам, а затем и его голос, звавший меня. Это не сразу до меня дошло, и я не сразу откликнулся – в такой я находился панике и ужасе от вполне реальной возможности стать гомосексуалистом. Мэри-Элис ведь не подпустила меня к себе, и меня вдруг потянуло на совсем другое – это было объяснимо и вобщем-то не исключено.

Я прочел немало книг по проблемам секса, пока учился в этом известном своим психологическим уклоном заведении – университете Дьюка, и выяснил для себя некоторые вполне доказанные факты: что приматы-самцы, к примеру, лишенные общества самок, пытаются трахать друг друга, часто весьма успешно и что многие заключенные, просидев долгий срок в тюрьме, охотно занимаются гомосексуализмом, который в заточении кажется чуть ли не нормальным явлением. Мужчины, многие месяцы проведенные в море, доставляют удовольствие друг другу, и когда я служил в морской пехоте (которая, естественно, является частью флота), то с интересом узнал, что слово «конфетка» употребляется в определенном смысле служивыми моряками – оказывается, с помощью конфетки они заманивают безбородых гладеньких юнцов. Ну хорошо,

думал я, раз я стал педерастом, – пусть так и будет, достаточно много таких, как я; хотя формально я не сидел в заточении или в клетке, я был все равно что в тюрьме или в бесконечно долгом плавании на бригантине, а ведь я всю жизнь был здоровым мужчиной, занимавшимся любовью с противоположным полом. Не мог ли некий психический затвор, схожий с тем, что контролирует либидо у двадцатилетнего узника или одинокой обезьяны, прорваться у меня, отчего я стал совсем другим – жертвой давления биологической селекции и в то же время извращенцем?

Я мрачно раздумывал над таким поворотом дела, но тут Джек завожился у двери, и я мгновенно пришел в себя.

– Вставай, юнец, там тебя к телефону! – крикнул он.

Спускаясь вниз по лестнице, я уже знал, что звонок мог быть только из Розового Дворца, где я оставил номер телефона Джека, и у меня возникло предчувствие беды, значительно усилившееся, когда я услышал знакомый скорбный голос Морриса Финка.



– Возвращайтесь прямо сейчас, – сказал он, – тут у нас просто ад.

Сердце у меня замерло и снова застучало как угорелое.

– Что случилось?
– шепотом спросил я.

– Натан снова сошел с рельсов. На этот раз дело дело совсем худо. Несчастный мерзавец.

– А Софи? – сказал я. – Как Софи?

– Она в порядке. Он ее снова избил, но она в порядке. Он сказал, что убьет ее. Она кинулась бегом из дома, и я не знаю, где она теперь. Но она просила позвонить вам. Так что лучше приезжайте.

– А Натан? – спросил я.

– Он тоже уехал, но сказал, что вернется. Совсем сумасшедший. Как вы считаете, мне вызвать полицию?

– Нет-нет, – поспешил сказать я. – Ради бога, только не вызывайте полицию! – И, помолчав, добавил: – Я скоро буду. Постарайтесь разыскать Софи.

Повесив трубку, я еще несколько минут кипел от возмущения, а когда Джек сошел вниз, я выпил с ним кофе, чтобы успокоиться. Я уже рассказывал ему про Софи и Натана и их *folie à deux*, [325] но только в общих чертах. Сейчас же я почувствовал, что должен спешно добавить некоторые более мучительные подробности. Джек тотчас посоветовал мне сделать то, что, по моей тупости, не пришло мне в голову.

– Ты должен позвонить брату, – решительно заявил он.

– Ну конечно, – сказал я.

Я снова побежал к телефону и столкнулся с безнадежной ситуацией, какие на протяжении жизни, кажется, так и подстерегают человека, чтобы в крайние, кризисные минуты загнать его в угол. Секретарша сообщила мне, что Ларри в Торонто, на съезде врачей. Жена уехала вместе с ним. В те доисторические времена, когда еще не появились реактивные самолеты, до Торонто было так же далеко, как до Токио, и я застонал от отчаяния. Лишь только я повесил трубку – телефон снова зазвонил. Это был все тот же неотступный Финк, этот троглодит, которого я так часто клял, но которого благословлял сейчас.

– Я только что получил известие от Софи, – сказал он.

– Где она? – крикнул я.

– Она была у этого польского доктора, на которого она работает. Но сейчас ее там нет. Она пошла в больницу сделать рентген плеча. Она сказала, Натан, эта чертова задница, возможно, сломал ей руку. Но она хочет, чтобы вы приехали. Она будет сидеть в приемной у своего доктора, пока вы не приедете.

И я поехал.

Для многих поздно развивающихся молодых людей двадцать второй год жизни полон наибольших тревог. Сейчас я понимаю, как много было у меня в этом возрасте разочарований, бунтарства и смятения, но понимаю и то, что творчество хранило меня от серьезных эмоциональных срывов: роман, над которым я работал, являлся орудием катарсиса, ибо, я мог излить на бумаге свои горести и беды. К этому делу, конечно, не сводилось, но роман все же являлся вместилищем моих чувств, потому и был мне так дорог, как дороги человеку

ткани его естества. Однако я по-прежнему был крайне уязвим: в броне, которой я себя окружил, появлялись трещины, и были моменты, когда на меня нападал поистине кьеркегоровский[326] страх. Тот день, когда я поспешил от Джека Брауна к Софи, как раз и оказался таким моментом – это была настоящая пытка, все рушилось, ничего не получалось, и я ненавидел себя. В автобусе, мчавшем меня по Нью-Джерси на юг, в Манхэттен, я сидел съежившись, мучимый, терзаемый неописуемым ужасом. Во-первых, я еще не вполне протрезвел, а во-вторых, настолько взвинтил себя, что ожидал самого худшего, внутренне содрогаясь при мысли о предстоящем откровенном разговоре с Софи и Натаном. Неудача с Мэри-Элис (а я даже не простился с нею) подрубила под корень мою уверенность, что у меня еще есть мужская сила, и я со все возрастающим унынием раздумывал о том, что все эти годы обольщался насчет моих мнимых пристрастий. Где-то возле Форт-Ли я увидел отражение моего посеревшего, несчастного лица на фоне панорамы заправочных станций и придорожных закусочных и постарался выключиться – не видеть ужасов жизни и не думать о них.



Время близилось к пяти пополудни, когда я добрался до приемной доктора Блэкстока в центре Бруклина. Прием, видимо, уже закончился, так как в помещении было пусто, если не считать весьма усохшей старой девы, работавшей попеременно с Софи секретарем-регистратором; она сообщила мне, что Софи ушла утром на рентген и пока не возвращалась, но должна появиться с минуты на минуту. Секретарша предложила

мне присесть и подождать, но я предпочел ждать стоя, а вскоре обнаружил, что хожу из угла в угол по комнате, выкрашенной – точнее было бы сказать: вымазанной – темно-багровой краской самого отвратительного оттенка, какой я когда-либо видел. И как только Софи может изо дня в день работать в таких жутких стенах – это просто не укладывалось у меня в голове. Стены и потолок, по словам Софи, были здесь цвета фуксии, какой используется для гробов и

украшает дом Блэкстока в Сент-Олбенс. Не было ли это декоративное безумие, подумал я, тоже изобретением покойной Сильвии, которая благостно улыбалась с фотографии, висевшей, точно изображение святой, в черной окантовке на стене. Другие во множестве наклепленные всюду фотографии указывали на близость Блэкстока с полубогами и богинями поп-культуры, наглядно изображая их gemütlich[327] дружбу: Блэксток с лупоглазым Эдди Кантором, Блэксток с Гровером Уэйленом, и Шерманом Биллингсли и Сильвией в «Сторк-клубе», с Мэйджором Боуэсом, с Уолтером Уинчеллом, даже Блэксток с сестрами Эндрюс: три птички певчие окружали своими головками с пышной шевелюрой, словно три улыбающихся букета, лицо раздувшегося от гордости доктора, а внизу чернилами было нацарапано: «Хайми – с любовью от Пэтти, Максины и Лаверны». В том болезненно-нервном состоянии, в каком я находился, фотографии веселого хиропрактика и его друзей лишь повергли меня в бездонное уныние, и я молился, чтобы Софи поскорее пришла и помогла мне избавиться от страха. И тут она как раз вошла в дверь.

Ах, бедная моя Софи. Растрепанная, измученная, с ввалившимися глазами, лицо болезненно-синюшное, цвета снятого молока... но главное – она словно бы сразу постарела и стала сорокалетней. Я нежно обнял ее, и какое-то время мы молчали. Она не плакала. Наконец я посмотрел ей в лицо и сказал:

– Твоя рука. Что с ней?

– Не сломалась, – ответила Софи, – просто большой синяк.

– Слава богу, – сказал я. И добавил: – А где он?

– Не знаю, – пробормотала она и помотала головой, – просто не знаю.

– Надо что-то предпринять, – сказал я, – надо поместить его куда-то, чтобы он больше не мог причинить тебе вреда. – Я помолчал; бессилие затопило меня вместе с отвратительным чувством вины. – Мне следовало быть тут, – простонал я. – Нечего было мне уезжать. Может, я сумел бы...

Но Софи оборвала мои излияния, сказав:

– Хватит, Язвинка. Не надо так переживать. Пойдем выпьем.

Сидя на табурете у бара, обтянутого подделкой под сафьян, в китайском ресторане на Фултон-стрит, безвкусно разукрашенном зеркалами, Софи рассказала мне, что произошло в мое отсутствие. Сначала было сплошное блаженство, несказанное счастье. Она еще никогда не видела Натана таким спокойным и веселым. Всецело поглощенный нашей предстоящей поездкой на Юг и явно готовясь к свадьбе, он в жениховском рвении отправился в субботу с

Софи по магазинам (включая специальную поездку на Манхэттен, где они целых два часа провели у «Сакса» на Пятой авеню), в результате чего Софи получила обручальное кольцо с большим сапфиром, приданое, достойное голливудской принцессы, и невероятно дорогой гардероб для путешествия, купленный с расчетом поразить туземцев таких медвежьих углов, как Чарлстон, Атланта и Новый Орлеан. Натан даже заглянул к «Картье», где купил мне, как шаферу, в подарок часы. Затем они несколько вечеров изучали географию Юга и историю Юга, просматривали всевозможные путеводители, а он немало часов прокорпел над «Лейтенантами генерала Ли», готовясь к поездке по местам боев в Виргинии, которую я ему обещал.

Все это Натан проделал по обыкновению тщательно, разумно и методично, отнесясь с таким же вниманием к характерным особенностям тех мест, по которым мы будем проезжать (к культуре хлопка и земляного ореха, происхождению некоторых местных диалектов, вроде галла и кейджен,[328] даже к физиологии крокодилов), с каким создатель Британской колониальной империи в викторианскую эпоху готовился отправиться к истокам Нила. Натан заразил своим энтузиазмом и Софи, делясь с ней всякими полезными и бесполезными сведениями насчет Юга, которые он, как корпию, собирал по крохам и крупичкам, а Софи, любя Натана, любовно впитывала все, что он сообщал, включая такие совершенно ненужные сведения, как то, что в Джорджии выращивают персиков больше, чем в любом другом штате, и что самая высокая точка в Миссисипи находится на высоте восьмисот футов. Натан дошел до того, что отправился в библиотеку Бруклинского колледжа, чтобы просмотреть два романа Джорджа Вашингтона Кейбла.[329] Он стал говорить, забавно растягивая слова, что крайне веселило Софи.



Как же она не сумела распознать признаки надвигающейся беды? Она внимательно следила за ним все это время – она уверена, что он не принимал амфетаминов. А потом, накануне того дня, когда он сорвался, они оба поехали на работу: она – к доктору Блэкстоку, а он в свою «лабораторию», и там что-то, должно быть, произошло – что именно, она никогда не узнает. Во всяком случае, она по-глупому позволила себе размякнуть, не насторожилась, когда появились первые сигналы – а ведь такое уже бывало, – и не сумела расшифровать грозное предзнаменование:

эйфорический звонок по телефону с работы, чересчур звонкий, взволнованный голос, объявление о невероятной победе, о грандиозном «прорыве», о великом научном открытии. Как могла она быть настолько тупой? Ее описание того, как Натан в ярости влетел к ней в комнату и какой учинил там разгром, показалось мне – в моем расхристанном сознании – уместно кратким, но тем более сильным в своей лаконичности.

– Морти Хэйбер устраивал прощальную вечеринку приятелю – тот уезжал на год учиться во Францию. Я поздно сидела на работе: надо было разослать счета клиентам – и сказала Натану, что поем поблизости, а потом мы встретимся с ним на вечеринке. Натан пришел много позже, когда я уже была там, и я как только увидела его, сразу поняла: он на взводе. Я чуть в обморок не упала, когда увидела его: я уже знала, что он, наверно, весь день был такой, и когда звонил мне – тоже, а я была такая глупая, что даже... ну, даже не встревожилась. На вечеринке он вел себя хорошо. То есть не был... неуправляемый или какой-то там, но я очень хорошо увидела, что он на бензедрине. Он рассказывал людям про свое новое лекарство от полио, и сердце у меня прямо умерло. Я тогда сказала себе: может быть, Натан отойдет и просто заснет потом. Иногда с ним, знаешь, так было: он не делался буйный. Наконец Натан и я поехали домой – было не очень поздно, около половины первого. Только когда мы приехали домой, он начал на меня кричать, злость у него стала такая большая. И он все делал, как всегда, ну, знаешь, когда у него начинается самая страшная *tempête* и он обвиняет меня, что я ему изменяю. Что я то есть с другим сплю.

Софи на мгновение умолкла и, подняв левую руку, отбросила со лба прядь волос – этот жест показался мне каким-то неестественным, я не мог понять почему, а потом до меня дошло, что Софи не пользуется правой рукой, которая висит у нее вдоль тела. Значит, ей больно.

– Кого он на этот раз тебе приписывал? – спросил я. – Блэкстока? Сеймура Катца? О господи, Софи, если бы бедняга не был психом, я не стал бы с этим мириться – выбил бы ему зубы. Господи, с кем теперь, по его мнению, ты наставляешь ему рога?

Она отчаянно затрясла головой – светлые волосы нечесаной, спутанной копной запрыгали над несчастным, измученным лицом.

– Неважно, Язвинка, – сказала она, – с каким-то мужчиной.

– Ну а что еще произошло?

– Он визжал и кричал на меня. Он принял еще бензедрин – может быть, и кокаин тоже, не знаю точно. Потом он вышел и так громко хлопнул дверью. Он

крикнул, что больше никогда не вернется. Я лежала в темноте, я долго не могла заснуть: я так тревожилась и боялась. Я подумала позвонить тебе, но было уже страшно поздно. Наконец я уже больше не могла лежать без сна и заснула. Не знаю, сколько долго я спала, но он вернулся, когда уже была заря. Он как вихрь ворвался в комнату. Бушевал, кричал. Снова разбудил весь дом. Он вытащил меня из постели, бросил на пол и так кричал на меня. Про то, что я сплю с... ну, с этим мужчиной и что он убьет меня, и этого мужчину, и себя. Ох, *mon Dieu*, Язвинка, никогда, никогда Натан не был такой, никогда! Наконец он так сильно меня пнул – сильно, сюда, в плечо, – и потом ушел. А позже я тоже ушла. И это все.

Софи умолкла.

Я медленно и осторожно опустил лицо на стойку бара из красного дерева, всю в пятнах от сигаретного пепла и влажных кружочках от стаканов и рюмок, – мне отчаянно хотелось погрузиться в кому или как-то иначе потерять сознание. Наконец я поднял голову и, глядя на Софи, сказал:

– Софи, мне неприятно это говорить. Но Натана просто необходимо куда-то поместить. Он опасен. Его нужно изолировать. – Я услышал в своем голосе всхлип, показавшийся мне немного смешным. – Навсегда.

Дрожащей рукой она поманила бармена и заказала двойное виски со льдом. Я не считал возможным останавливать ее, хотя ее речь и была уже вязкой, невнятной. Когда перед ней поставили виски, она сделала большущий глоток и, повернувшись ко мне, сказала:

– Я еще не все тебе рассказала. Про то, как он пришел на заре.

– А именно? – спросил я.

– У него было ружье. Пистолет.

– А, черт, – сказал я. – Черт, черт, черт, – снова и снова повторял я, точно заезженная пластинка. – Черт, черт, черт, черт...

– Он сказал – сейчас выстрелит. И приставил пистолет мне к голове. Но не выстрелил.

– Господи Иисусе, смилуйся над нами, – прошептал я, не вполне, однако, богохульствуя.

Но не могли же мы просто сидеть так и истекать кровью из открытых ран. После долгого молчания я наметил план действий. Я пойду с Софи в Розовый Дворец и

помогу ей собрать вещи. Она немедленно покинет дом и снимет, по крайней мере на эту ночь, номер в отеле «Сент-Джордж», неподалеку от ее работы. Тем временем я постараюсь каким-то образом разыскать Ларри в Торонто, сообщу ему, что ситуация крайне опасная, и попрошу во что бы то ни стало вернуться. Затем благополучно устроив Софи в ее временном убежище, я переверну небо и землю, чтобы найти Натана и попытаться как-то с ним сладить, хотя от этой перспективы у меня под ложечкой образовался этаким огромный, величиной с футбольный мяч, болезненный ком. Я так разнервничался, что меня чуть не вырвало единственным выпитым стаканом пива.

– Пошли, – сказал я. – Сейчас же.

В мебелирашках миссис Зиммермен я дал этому преданному кроту Моррису Финку пятьдесят центов, чтобы он помог нам уложить вещи Софи. Она всхлипывала, засовывая одежду, косметику и украшения в большой чемодан, и я видел, что она довольно сильно пьяна.

– Такие красивые костюмы от «Сакса», – бормотала она. – Ох, что я буду теперь с ними делать?

– Возьмешь с собой, черт подери, – нетерпеливо бросил я, заталкивая в сумку бесчисленное множество туфель. – Забудь хоть на время о протоколе. Тебе надо спешить. Натан ведь может вернуться.

– А мое чудесное подвенечное платье? Что с ним ать?

– Забирай и его! Если не станешь его носить, может, толкнешь.

– Толкну? – переспросила она.

– Заложешь у ростовщика.

Я вовсе не хотел быть жестоким, но при этих моих словах Софи уронила на пол шелковые трусики, закрыла лицо руками и громко, беспомощно разрыдалась. Под хмурым взглядом Морриса я на секунду обнял Софи и, пытаясь успокоить, зашептал какие-то никчемные слова. Уже стемнело, и я так и подпрыгнул, словно мне тупой ножовкой резанули по нервам, когда на соседней улице взревел гудок грузовика. К общей сумятице теперь еще добавился чудовищный трезвон телефона в холле, и я, должно быть, приглушенно застонал или, наверно, вскрикнул. Нервы мои совсем сдали, когда Моррис, утихомирив Тифона, снял трубку и рявкнул снизу, что вызывают меня.

Это был Натан. В самом деле Натан. Явно, безусловно, бесспорно – Натан. Тогда почему же мой мозг сыграл со мной злую шутку, заставив на мгновение

поверить, что это Джек Браун звонит мне из округа Рокленд, чтобы выяснить, как обстоят дела? Произошло это из-за южного акцента, столь идеально воспроизведенного, что я поверил: так мог говорить только человек, вскормленный на солонине и овсянке. Этот человек был столь же несомненно с Юга, как вербена, или баптисты, совершающие омовение ног, или гончие, или Джон К. Кэлхун,[330] и, по-моему, я даже улыбнулся, когда услышал:

– Какой супец варится, сладкий мой? Как твой молоток работает?

– Натан! – воскликнул я, умудрившись придать голосу сердечность. – Как ты? Где ты? Боже, до чего же здорово услышать тебя!

– Мы все еще собираемся ехать на Юг? Ты, я и старушка Софи? Будем устраивать турне по Дикси?

Я понимал, что надо каким-то образом ублажить его, поддерживая эту пустую болтовню, и одновременно попытаться выяснить, где он находится, – штука тонкая! – поэтому я тотчас ответил:

– Совершенно верно, Натан: мы едем. Мы с Софи как раз говорили об этом. Бог ты мой, какие фантастические туалеты ты ей купил! Ты где сейчас, старина? Я бы с радостью приехал повидаться с тобой. Хочу рассказать тебе про одно маленькое дополнение к нашей поездке, которое я наметил...

Голос перебил меня, все такой же завораживающе лениво-тягучий и теплый, по-прежнему с необыкновенной точностью воспроизводивший речь моих каролинских предков, мелодичный, баюкающий:

– Я-то уж точно жду не дождусь этой поездки с тобой и мисс Софи. Вволю повеселимся, верно, старина?

– Такой поездки еще ни у кого никогда...

– И у нас будет много свободного времени, да?

– Конечно, у нас будет много свободного времени, – ответил я, не вполне понимая, что он имеет в виду. – Сколько угодно времени, и мы будем делать все, что захотим. В октябре там еще тепло. Будем плавать. Удить рыбу. Кататься на паруснике по заливу Мобил.

– Вот этого я и хочу, – протянул он, – чтоб было много свободного времени. Я что хочу сказать: три человека, когда они путешествуют вместе, ну, в общем, даже если они самые лучшие друзья, все время быть вместе не могут – это может немножко и надоест. Значит, у меня будет свободное время, и я смогу побыть

один, да? Час, два – не больше, может, где-нибудь в Бирмингеме, или в Батон-Руже, или еще где-нибудь. – Он помолчал, и я услышал, как он смачно, мелодично хмыкнул. – Тогда и у тебя окажется свободное время, да? Пожалуй, вполне достаточно, чтобы заняться с какой-нибудь штучкой. Созревающему юнцу-южанину нужна своя прости-господи, верно?

Я немного нервно рассмеялся, поражаясь тому, что этот наш странный разговор, окрашенный отчаянием – по крайней мере с моей стороны, – уже сел на мель секса. Но я мигом проглотил приманку, заготовленную Натаном, не отдавая себе отчета в том, какой дикий крючок он изобрел для моей поимки.

– Что ж, Натан, – сказал я, – я думаю, где-нибудь там найдется для меня добрая, покладистая штучка. Южных девчонок трудновато, если можно так выразиться, разложить, – добавил я, мрачно вспомнив про Мэри-Элис Гримболл, – но уж если они на это решаются, очень сладкие бывают в кровати...

– Нет, приятель, – неожиданно заявил он. – Я имею в виду не южную штучку! Я имею в виду поляцкую штучку! Я имею в виду, что, когда старина Натан отправится посмотреть Белый дом Джеффа Дэвиса[331] или Старую плантацию, где Скарлетт О'Хара[332] порола всех этих ниггеров хлыстом для верховой езды, старина Язвина шаст в мотель «Зеленая магнолия», и угадай, чем он там займется? Угадай! Что задумал учинить старина Язвина с женой своего лучшего друга? А вот что: Язвина уложит ее в кроватку, оседлает эту нежную покорную полячку, и они будут наяривать до одуренья! Хи-хи!

Когда он произносил эти слова, я почувствовал, что Софи подошла ко мне – стоит у моего локтя, бормочет что-то непонятное, – а непонятно оно было частично оттого, что кровь горячим галопом стучала у меня в ушах, а также, быть может, оттого, что в смятении и ужасе я не в состоянии был почти ни на что обратить внимание, кроме того, что колени мои и пальцы словно превратились в желе и начали беспорядочно дергаться.

– Натан! – сдавленным голосом произнес я. – Боже мой...

И тут в его голосе, который я в своем представлении всегда связывал с высокообразованными обитателями Бруклина, возник такой свирепый рык, что даже мириады помех и электронных шумов не смогли приглушить силу обезумевшей, но человеческой ярости.

– Ах ты, непотребный подлиза! Мерзкая свинья! Да обречет тебя бог веки вечные гореть в аду за то, что ты предал меня за моей спиной, – ты, которому я верил, как своему лучшему другу! А как день за днем ты спокойненько выдавал мне улыбочки с самым невинным видом – так ведь было, когда ты просил меня

прочитать кусок твоей рукописи, а потом: «Ах, Натан, спасибо тебе большое», сам же за четверть часа до этого валялся в постели с женщиной, на которой я собирался жениться, я говорю: собирался – в прошедшем времени, потому что лучше я сгорю в аду, чем женюсь на двуличной полячке, которая раскладывается для проныры южанина, предавшего меня...

Я отодвинул от уха трубку и повернулся к Софи, которая стояла раскрыв рот и явно догадывалась, из-за чего бушевал Натан.

– О боже, Язвинка, – услышал я ее шепот, – я не хотела, чтобы ты узнал: он ведь все время говорил, что это я с тобой...

Волнуясь и не зная, что предпринять, я снова приложил трубку к уху:

– Я сейчас приеду и прикончу вас обоих.

Затем с минуту царила тишина – звенящая, озадачивающая. И я услышал металлический щелчок. Но я понял, что связь не прервалась.

– Натан! – сказал я. – Прошу тебя! Где ты?

– Недалеко, старина. Собственно, за углом. И я сейчас приду и расправлюсь с тобой, предателем. А потом знаешь, что я сделаю? Знаешь, что я сделаю с вами обоими, лживые, мерзкие свиньи? Слушай...

В ухе у меня раздался взрыв. Приглушенный расстоянием или телефонным устройством, которое благостно понижает звук и не дает ему повредить человеческое ухо, звук выстрела скорее ошарашил меня, чем причинил боль, тем не менее в ухе еще долго отчаянно гудело, точно там кружила тысяча пчел. Я так никогда и не узнаю, стрелял ли Натан прямо в мембрану телефона, или в воздух, или в какую-нибудь неизвестную стену заброшенного дома, но выстрел прозвучал достаточно близко, так что Натан вполне мог быть, как он и сказал, за углом, и потому я в панике бросил трубку и, повернувшись, схватил Софи за руку. Я не слышал выстрелов с войны и был почти уверен, что никогда больше не услышу. Мне жаль моей слепой наивности. Сейчас, когда прошло столько времени с начала этого кровавого столетия, всякий раз, как случались невообразимые акты насилия, опустошавшие наши души, память моя возвращалась к Натану, несчастному безумцу, которого я любил: я представлял себя, как он стоит, накачавшись наркотиков, с дымящимся пистолетом в руке, в какой-то неизвестной комнате или телефонной будке, и его образ как бы предвещал эти злополучные, бесконечные годы безумия, иллюзий, ошибок, мечтаний и борьбы. Однако в тот момент я чувствовал лишь неизъяснимый страх. Я посмотрел на Софи, она посмотрела на меня – и мы кинулись бежать.

Пятнадцатое

На следующее утро пенсильванский экспресс, на котором мы с Софи ехали в Вашингтон, чтобы затем отправиться дальше, в Виргинию, встал из-за отсутствия тока на эстакаде, как раз напротив завода Уитина в Роуэй, штат Нью-Джерси. За время остановки – а длилась она всего минут пятнадцать, не больше, – на меня снизошло какое-то удивительное спокойствие, и я обнаружил, что с надеждой смотрю в будущее. Я до сих пор не понимаю, как я мог впасть в столь безмятежное, поистине изысканное спокойствие после нашего поспешного бегства от Натана, а затем бессонной, тревожной ночи, которую мы с Софи провели в недрах Пенсильванского вокзала. Глаза у меня щипало от усталости, а какая-то частица мозга все еще с болью размышляла о том, какого ужаса мы едва избежали. По мере того как ночь шла на убыль, обоим нам – и Софи и мне – казалось все более и более вероятным, что Натан находился отнюдь не рядом, когда звонил нам по телефону; тем не менее его страшная угроза побудила нас в панике бежать из Розового Дворца, прихватив с собой всего лишь по чемодану, и устремиться в округ Саутхемптон, на ферму. Мы решили, что оставшимися вещами займемся потом. А пока нами обоими владело – да в известной мере и объединяло – одно-единственное настоятельное желание – бежать от Натана, и как можно дальше.

И все же в поезде на меня едва ли могло бы снизойти это взвинченное спокойствие, если бы не один из двух телефонных звонков, которые я успел сделать с вокзала. Это был звонок к Ларри, который сразу понял, в каком отчаянном состоянии находится его брат, и сказал, что немедленно выезжает из Торонто и попытается по возможности сладить с Натаном. Мы пожелали друг другу удачи и сказали, что будем поддерживать связь. Теперь я по крайней мере знал, что переложил ответственность за Натана на плечи другого, а не умчался, бросив его в беде, хотя бежал-то я, спасая свою жизнь. Второй человек, которому я позвонил, был мой отец – он, конечно, обрадовался, узнав, что мы с Софи едем на Юг. «Ты принял прекрасное решение! – донесся до меня из далекой дали его явно взволнованный голос. – Правильно, что решил плюнуть на этот никудышный мир!»

И вот я сидел в купе рядом с задремавшей Софи и, поглядывая из переполненного вагона на раскинувшийся внизу Роуэй, жевал черствую слойку, которую купил у разносчика вместе с пакетиком тепловатого молока; и постепенно стал по-доброму, увлеченно думать о предстоящих годах. Теперь, когда Натан и Бруклин остались позади, мне предстояло перевернуть страницу моей жизни и открыть в ней новую главу. Во-первых, я прикинул, что моя книга, которая получалась довольно длинной, почти на треть завершена. Случаю угодно было, чтобы, пока я жил у Джека Брауна, мне удалось дойти в своем повествовании до некоей узловой точки, такого места, откуда мне нетрудно

будет – я это чувствовал – повести дальше рассказ, как только мы с Софи обоснуемся на ферме. Через недельку-другую, приспособившись к новой сельской среде – познакомясь с хозяйничающими там неграми, набив кладовую припасами, нанеся визиты соседям, научившись водить старенький, побитый грузовичок и трактор, которые, как сказал отец, будут переданы мне вместе с фермой, – я вполне смогу продолжить свой труд и, поработав как следует, сумею его завершить и подготовить рукопись для отправки издателю в конце 1948 года.

Глядя вниз, на Софи, я думал об этой радужной грспективе. А она крепко спала, ее спутанные светлые волосы лежали на моем плече, и я очень осторожно обнял ее, легко коснувшись при этом губами ее волос. В памяти что-то смутно болезненно запульсировало, но я отбросил эту боль – какой же я гомосексуалист, если испытываю к этой женщине такое всепоглощающее, такое душераздирающее влечение? Нам, конечно, придется пожениться, как только мы обоснуемся в Виргинии: правила морали, существующие и ныне в этих местах, не допускают внебрачного сожителства. Хоть меня и мучили разные проблемы – в том числе необходимость вычеркнуть из памяти Натана, а также разница в нашем возрасте, – у меня было такое ощущение, что Софи согласится, и я решил, как только она проснется, позондировать почву. Она шевельнулась и что-то пробормотала во сне – даже сейчас, предельно изможденная, она была до того хороша, что у меня слезы подступили к горлу. «Бог ты мой, – подумал я, – ведь эта женщина, похоже, скоро станет моей женой».

Поезд дернулся, продвинулся немного вперед, затормозил, снова остановился, и по вагону прошел тихий единодушный ропот. Моряк, стоявший в проходе надо мной, приложился к банке с пивом. Позади меня благим матом заорал младенец, и я подумал, что, если в публичном месте оказывается плачущий младенец, рок непременно должен поместить его рядом со мной. Я осторожно прижал к себе Софи и стал думать о моей книге – чувство гордости и удовлетворения содеянным пронзило меня, я хорошо потрудились, изящно и красиво ведя повествование по предначертанному пути к заведомо известной развязке, которую еще оставалось дописать, но которую я уже тысячу раз мысленно себе представлял: истерзанная, всем чужая девушка идет по безразличным летним улицам того города, что я только что оставил позади, к своей одинокой смерти. На мгновение я вдруг впал в уныние: сумею ли я пробудить в себе такую страсть, такую силу прозрения, чтобы нарисовать юную самоубийцу? Смогу ли описать все так, чтобы это выглядело достоверно? Я уже сейчас мучительно боялся тех тяжелых минут, когда мне придется выдумывать душевные страдания девушки. И однако же я был столь непоколебимо уверен в завершенности замысла, что даже придумал для своего романа соответствующее меланхоличное название: «Сойти во тьму». Оно возникло у меня под влиянием «Requiescat!»[333] Мэтью Арнолда, элегии, говорящей о силе женского духа, последняя строка которой звучит так: «И сойдет он днесь во тьму храма Смерти». Как может подобная книга не

завладеть умами и душами тысяч читателей? Глядя из окна на закопченный фасад завода Уитина – массивный, уродливый, с синими окнами, отражающими свет утра, – я вздрогнул от счастья и опять-таки гордости при мысли о качестве того, что я вложил в свою книгу ценою стольких часов труда в полном одиночестве, как потел и – да, конечно, – как порой отчаивался; и, снова вспомнив о еще не написанной развязке, я представил себе строку из рецензии потрясенного критика, которая появится в 1949 или 1950 году: «Самый сильный внутренний монолог женщины после монолога Молли Блум[334]». «Какое безумие! – подумал я. – Какое самомнение!»

Софи спала. Я с нежностью думал о том, сколько дней и ночей будет она вот так дремать рядом со мною многие годы. Интересно, какая нас ждет на ферме брачная постель, каких она размеров и формы, достаточно ли широк, пружинист и прочен матрас, которому, уж конечно, придется немало вытерпеть. Я представит себе наших детишек – сонм светловолосиков, которые расцветят нашу ферму польскими лютиками и чертополохом, – и как я весело, по-отечески командую: «Пора доить коров, Ежи!», «Ванда, накорми цыплят!», «Тадеуш! Стефания! Закройте амбар!» Представил я себе и ферму, которую видел лишь на фотографиях, сделанных отцом, и какой она будет, став обиталищем известного литератора. Подобно «Рябому дубу», дому Фолкнера в Миссисипи, ферму тоже надо будет как-то назвать – наверное, так чтобы в названии упоминался земляной орех, который там выращивают. «Арахисовый приют» – нет, слишком претенциозно; я решил отставить тему ореха и поискать что-то более изысканное, величественное, благородное – ну, скажем, «Пять вязов» (я надеялся, что на ферме найдется пять вязов или хотя бы один), или «Палисандр», или «Необозримые просторы», или «Зофья» – в честь дамы моего сердца. В призме моего внутреннего зора годы, как синие холмы, мирно катились вдаль, к горизонту далекого будущего. Мой роман «Сойти во тьму» встречен шумным успехом, книгу увенчали лаврами, редко выпадающими на долю столь молодого писателя. А потом небольшая повесть, тоже широко расхваленная, – повесть о моем военном прошлом, суровая книга неприкрашенной правды, изобличающая военщину, трагикомедия абсурда. И все это время мы с Софи живем на скромной плантации в благородном уединении, хотя популярность моя растет, автора все больше терзают средства массовой информации, но он упорно отказывается от всяких интервью. «Я просто живу на ферме и выращиваю орехи», – говорит он, продолжая упорно трудиться. Лет в тридцать или около того – новый шедевр. «Эти пылающие листья», хроника жизни трагического вождя негритянского восстания Ната Тернера.

Поезд дернулся и, набирая скорость, мягко, смачно, как хорошо смазанный механизм, застучал на стыках; видение мое расплылось радужным пятном на фоне убегающих назад, закопченных стен Роуэя.

Софи слегка вскрикнула и проснулась. Я перевел на нее взгляд. Казалось, у нее поднялась температура: лоб и щеки ее горели, и над верхней губой возник росистый налет – полоска усов из капелек пота.

– Где мы, Язвинка? – спросила она.

– Где-то в Нью-Джерси, – ответил я.

– А как это долго: сколько ехать до Вашингтона? – спросила она.

– О, часа три-четыре, – сказал я.

– А потом дальше – прямо на ферму?

– Я еще не знаю точно. Мы поедем поездом до Ричмонда, потом автобусом до Саутхемптона. Это займет у нас еще несколько часов. Ведь ферма почти в Северной Каролине. Вот почему я думаю, что нам надо провести ночь в Вашингтоне, а завтра утром двинуться на ферму. Мы могли бы, пожалуй, переночевать и в Ричмонде, но так ты хоть немножко увидишь Вашингтон.

– О'кей, Язвинка, – сказала она и взяла мою руку. – Как скажешь, так и будет. – И, помолчав, добавила: – Язвинка, ты не мог бы принести мне воды?

– Конечно. – Я стал протискиваться по проходу, забитому людьми, главным образом военными, и около площадки обнаружил кран, из которого нацедил в бумажный стаканчик теплой, подозрительной на вид воды. Я шел назад как по воздуху, все еще под впечатлением своих распрекрасных воздушных замков, но настроение мое стремительно упало, словно чугунная чушка, при виде Софи, сжимавшей в руках целую пинту «Четырех роз», которую она извлекла из своего чемодана.

– Софи, – сказал я мягко, – ради всего святого: ведь еще только утро. Ты даже и не завтракала! Так цирроз печени можно заработать.

– Все в порядке, – сказала она, плеснув виски в стаканчик. – Я же на вокзале съела пончик. И выпила лимонаду.

Я тихонько застонал, зная по прошлому, что ничего тут не поделаешь, только еще больше все осложнишь и вызовешь бурную сцену. Самое большее, на что я мог рассчитывать, – это улучшить момент и выхватить у нее бутылку, как я два раза уже делал. Я откинулся на спинку сиденья. Поезд мчался по сатанинским индустриальным пустыням Нью-Джерси, постукивая-позвякивая, пронося нас мимо жалких трущоб, сараев из металлического листа, идиотских киношек под открытым небом с мелькающими на экране надписями, мимо складов,

кегельбанов, похожих на крематории, крематориев, похожих на крытые площадки для катания на роликах, болот, затянутых зеленой химической пленкой, стоянок для машин, чудовищных нефтеочистительных заводов с их тонкими, устремленными ввысь трубами, выбрасывающими пламя и горчично-желтый дым. Что подумал бы Томас Джефферсон при виде всего этого? – пронеслось у меня в голове. Софи нервничала, вертелась, то смотрела из окна на пейзаж, то подливала себе виски в стаканчик и наконец повернулась ко мне.

– Язвинка, а этот поезд останавливается где-нибудь от здесь до Вашингтона?

– Всего на одну-две минуты, чтобы забрать пассажиров и дать другим пассажирам сойти. А что?

– Мне надо позвонить.

– Кому?

– Я хочу позвонить – узнать про Натана. Я хочу понимать, что он в порядке.

При воспоминании о кошмаре минувшей ночи беспросветный мрак окутал меня. Я схватил Софи за плечо и сжал его крепко, чересчур крепко – она даже сморщилась.

– Софи, – сказал я, – послушай. Послушай меня. С этим кончено. Ничего ты тут сделать не можешь. Неужели ты не понимаешь, что он действительно готов был убить нас обоих? Ларри приедет из Торонто, разыщет Натана и... словом, позаботится о нем. В конце-то концов, он же его брат, ближайший родственник. Натан сумасшедший, Софи! Его надо... госпитализировать.

Она заплакала. Слезы текли по ее пальцам, державшим стаканчик, – они показались мне вдруг такими прозрачно-розовыми, тоненькими и словно бесплотными. При этом в глаза мне снова бросилась эта синяя, точно след безжалостных зубов, татуировка на ее руке.

– Просто не знаю, как я теперь справлюсь – то есть без него. – Она всхлипнула и умолкла. – Я позвоню Ларри.

– Ты его сейчас не найдешь, – стоял я на своем, – он, скорее всего, в поезде, подъезжает к Буффало.

– Тогда я позвоню Моррису Финку. Он мне скажет, вернулся Натан или нет. Иногда, понимаешь, он так делал, когда накачается. Возвращался, принимал нембутал и засыпал. А потом проснется – и все, уже порядок. Или почти порядок. Моррис наверняка знает, вернулся он или нет. – Она высморкалась,

продолжая тихонько, судорожно всхлипывать.

– Ох, Софи, Софи, – прошептал я; мне очень хотелось добавить: «С ним все кончено», но я не мог заставить себя это сказать.

Поезд с грохотом влетел в Филадельфийский вокзал, завизжал, содрогнулся и стал посреди этой пещеры, куда не проникает солнце, пробудив во мне совсем непредвиденную ностальгию. В окне я увидел отражение своего лица, бледного от бдений за письменным столом в четырех стенах; сквозь это лицо на секунду проступило другое – лицо моего более юного двойника, мальчишки, каким я был десять лет тому назад. Я громко рассмеялся, поймав себя на этом воспоминании, и, внезапно почувствовав прилив сил и вдохновения, решил отвлечь Софи, вывести ее из нервного кризиса и немножко взбодрить – или хотя бы попытаться.

– Вот мы и в Филадельфии, – сказал я.

– Это есть большой город? – спросила она. То, что она, хоть и сквозь слезы, проявила любопытство, показалось мне обнадеживающим знаком.

– М-м-м, сравнительно большой. Не такой огромный, как Нью-Йорк, но все же. Пожалуй, как Варшава до нацистской оккупации. Это первый большой город, который я увидел в своей жизни.

– Когда это было?

– Году в тридцать шестом – мне тогда исполнилось одиннадцать лет. До того я ни разу не был на Севере. Мне сейчас вспомнилась чертовски смешная история, которая произошла со мной в день моего приезда сюда. У меня в Филадельфии были тетя и дядя, и вот моя мама – это было года за два до ее смерти – решила послать меня к ним летом на неделю. Отправила она меня одного на автобусе дальнего следования. В ту пору детишки немало ездили одни – это было совершенно безопасно. Словом, ехать мне на автобусе надо было весь день: он шел кружным путем из Тайдуотера в Ричмонд, затем в Вашингтон и дальше – через Балтимор. Мама велела нашей цветной кухарке – помнится, ее звали Флоренс – положить мне в большой бумажный пакет жареного цыпленка, а еще у меня был термос с холодным молоком – как ты понимаешь, превкусная еда для поездки. И вот где-то между Ричмондом и Вашингтоном я уничтожил весь мой завтрак, а потом днем автобус остановился в Авр-де-Грасе...

– Это ведь по-французски, да? – заметила Софи. – Гавань...

– Совершенно верно, это маленький городок в Мэриленде. Мы с тобой будем через него проезжать. Словом, вышли мы все тогда на остановке у паршивого

ресторанчика, где можно было пописать, выпить содовой воды и еще чего-нибудь в этом роде, и там я увидел игровой автомат – бега. В Мэриленде, видишь, ли, в противоположность Виргинии, в известной мере разрешена азартная игра, и вот в эту машину можно было опустить медяк и поставить на одну из, скажем, двенадцати крошечных металлических лошадок. Помню, мама дала мне на расходы ровно четыре доллара – это было очень много во времена Великой депрессии; я воспылал желанием поставить на лошадку и соответственно сунул в щель медяк. Ну, Софи, что произошло, ты и представить себе не можешь. Это чертова машина сорвала банк – ты знаешь, что значит «сорвать банк»? По всей машине замелькали огни, и из нее посыпался настоящий поток медяков – десятки, сотни монет. Я просто своим глазам не мог поверить! Я, наверное, выиграл долларов пятнадцать медяками. Они рассыпались по всему полу. От счастья я голову потерял. Но тут, понимаешь, возникла проблема, как везти эту добычу. На мне, помнится, были короткие белые полотняные штанишки, и я принялся рассовывать медяки по карманам, но их было так много, что они непрерывно отовсюду вылетали. Однако самым скверным было не это, а противная баба, которой принадлежал ресторанчик: когда я попросил ее – обменяйте мне, пожалуйста, медяки на доллары, она пришла в ярость, принялась кричать, что играть-де на таком автомате можно только после восемнадцати лет, а у меня еще под носом не высохло, и что у нее отнимут лицензию, и что, если я сейчас же не уберусь к черту, она вызовет полицию.

– А тебе тогда было одиннадцать, – сказала Софи, беря меня за руку. – Чтобы Язвинке было одиннадцать лет – не могу поверить. Какой же ты, наверное, был милый мальчишечка в белых полотняных штанишках. – Нос у Софи был все еще красный, но слезы уже не текли, и мне показалось, что в глазах ее загорелся веселый огонек.

– Словом, я забрался в тот же автобус и поехал дальше в Филадельфию. Путь был далекий. А стоило мне шевельнуться, как из моих разбухших карманов вылетал медяк – иной раз сразу несколько – и катился по проходу. Если же я вставал, чтобы их поднять, получалось только еще хуже, потому что из карманов вылетали новые медяки и катились в разные стороны. Когда мы приехали в Уилмингтон, шофер был уже просто вне себя: ведь пассажиры всю дорогу только и делали, что искали мои монеты. – Я умолк, глядя на безликие силуэты людей, стоявших на платформе, которая вдруг беззвучно поехала назад, так как поезд, слегка покачиваясь, двинулся дальше. – Словом, – продолжал я, в свою очередь пожав Софи руку, – конец трагедии разыгрался на автобусной станции, которая должна быть где-то тут, недалеко. Тетя и дядя встречали меня в тот вечер; я кинулся к ним, по дороге зацепился за что-то ногой и шлепнулся на попку – карманы у меня лопнули, все чертовы медяки высыпались и полетели с платформы вниз, во тьму, туда, где под землей стоят автобусы, и, когда дядя

поднял меня и отряхнул, в карманах у меня оставалось монет пять, не больше, — все остальные безвозвратно исчезли. — Я умолк, сам немало позабавившись этой милой дурацкой историей, которую я рассказал Софи без всяких прикрас, да, впрочем, она и не нуждалась в украшательстве. — Это история, показывающая деструктивную природу алчности, — добавил я.

Софи прикрылась рукой, так что я не мог видеть выражение ее лица, но плечи ее тряслись, и я решил, что она смеется. Я был не прав. Она опять плакала, плакала от муки, которую, видимо, не могла осилить. Я вдруг понял, что, сам того не желая, должно быть, вызвал в ней воспоминания о ее мальчике. Я дал ей немного поплакать. Постепенно рыдания ее стали затихать. Наконец она повернулась ко мне и сказала:

— Там, в Виргинии, куда мы едем, Язвинка, ты думаешь, есть школа Берлица — школа, где учат языки?

— На кой тебе это? — сказал я. — Ты ведь знаешь уже столько языков — больше, чем любой из моих знакомых.

— Это для английского, — ответила она. — О, я знаю, я говорю теперь хорошо и даже читаю, но мне надо научиться писать. Я так плохо пишу английский. Все так странно пишется.

— Ну, не знаю, Софи, — сказал я, — наверное, есть языковые школы в Ричмонде или Норфолке. Но оба города довольно далеко от Саутхемптона. Зачем тебе это?

— Я хочу написать про Освенцим, — сказала она, — хочу написать про то, что там со мной было. Я, конечно, могу писать по-польски, или по-немецки, или даже по-французски, но мне так хочется уметь написать по-английски...

Освенцим-Аушвиц. События последних нескольких дней так далеко отодвинули в моей памяти название этого места, что я почти забыл о его существовании, и сейчас оно прозвучало, как удар палкой по голове — мне стало больно. Я посмотрел на Софи — она отхлебнула виски из стаканчика и слегка рыгнула. Язык у нее ворочался с трудом, а я уже знал, что это предвещает разброд в мыслях и неуправляемость поведения. Мне так и хотелось швырнуть ее стаканчик на пол и раздавить. Я проклинал себя за слабость, или нерешительность, или бесхребетность, или что-то еще, мешавшее мне тверже вести себя с Софи в такие минуты. «Подожди, вот мы поженимся», — подумал я.

— Ведь еще столько много такого, чего люди не знают об этом месте! — вырывалось у нее. — Даже тебе, Язвинка, я еще многие вещи не рассказала, а я столько много тебе рассказывала. Знаешь, там все время стоял запах горящих евреев, день и ночь. Это я тебе говорила. Но я тебе еще почти ничего не говорила

про Бжезинку, где меня начали морить голодом, и так мне было плохо – я чуть не умерла. Или про то, как я видела – охранник содрал одежду с монашки и напустил на нее собаку, и собака искусила ее всю: и тело, и лицо – так много, она через несколько часов умерла. Или... – Тут Софи умолкла, уставясь в пространство, а потом сказала: – Столько много страшного я могла бы рассказать. Но, может, лучше написать это как роман, если, понимаешь, я научусь хорошо писать по-английски и сумею сделать так, чтобы люди поняли, как нацисты заставляли делать такое, что ты, думаю, никогда не сможешь сделать. К примеру, Хесс. Я бы никогда не старалась, чтобы он лег со мной, все ведь из-за Яна. И никогда бы я не стала говорить, что ненавижу евреев или что это я написала ту брошюру, а не мой отец. Все это я делала ради Яна. И то радио не взяла. Мне и сейчас просто до смерти обидно – зачем я его не стащила, но ведь это все могло погубить моего мальчика, понимаешь, Язвинка? Оттого я и рот раскрыть боялась, просто не могла ничего сообщать тем людям из Сопротивления, ни слова не могла сказать про то, что знала, когда работала у Хесса, а все потому, что боялась... – Голос изменил ей. Руки дрожали. – Так много боялась! Всего боялась – такой они внушили мне страх! Почему же мне не сказать про себя всю правду? Почему не написать в книге, что я была страшный трус, грязная collaboratrice;^[335] что я делала все самое плохое, только чтобы спасти себя? – Из груди ее вырвался страшный стон, такой громкий, что он перекрыл грохот поезда, и головы ближайших соседей повернулись, глаза обратились к нам. – Ох, Язвинка, я не могу жить со всем этим!

– Замолчи, Софи, – приказал я. – Ты же знаешь, что не была коллаборационисткой. Ты сама себе противоречишь! Ты знаешь, что была просто жертвой. Ты сама мне летом говорила, что в лагере люди ведут себя иначе, чем в обычном мире. Ты сама мне говорила, что просто невозможно мерить твои поступки, как и поступки других людей, общепринятыми мерками. Так что, прошу тебя, Софи, прошу тебя, прошу, оставь себя в покое! Ты просто сжираешь себя за то, в чем не виновата, – ты же так заболеешь! Пожалуйста, прекрати. – И я добавил, понизив голос и неожиданно для себе присовокупив ласковое словцо, которое до сих пор ни разу не употреблял: – Пожалуйста, дорогая, прекрати это – ради твоего же блага. – С этим словцом «дорогая» фраза прозвучала напыщенно, я уже говорил с Софи как законный супруг, но иначе сказать я не мог.

Я чуть было не произнес и тех слов, которые вертелись у меня на языке уже сотни раз этим летом: «Я люблю тебя, Софи». При одной мысли, что вот сейчас я выговорю эту простую фразу, сердце у меня отчаянно заколотилось, а потом вдруг замерло, но, прежде чем я сумел открыть рот, Софи заявила, что ей надо в туалет. Она допила остатки виски и встала. Я с тревогой следил за ней, пока она пробиралась в конец вагона, – светлая головка ее подпрыгивала, красивые ноги шагали нетвердо. Проводив ее взглядом, я снова уткнулся в журнал «Лайф».

Должно быть, я тут же и задремал или, вернее, уснул – точно погрузился на дно после утомительной бессонной ночи с ее напряжением и хаосом, ибо, когда голос кондуктора где-то рядом прокричал: «По вагонам!», я даже подскочил на банкетке и только тут понял, что целый час, а то и больше, проспал. Софи рядом не было, и страх плотным одеялом, словно состроченным из множества мокрых лоскутьев, вдруг окутал меня. Я взглянул в темное окно, увидел промелькнувшие огни туннеля и понял, что мы выехали из Балтимора. Дойти до конца вагона, протискиваясь и проталкиваясь мимо животов и задов полусотни человек, стоявших в проходе, можно было минуты за две – я же совершил этот переход за несколько секунд, опрокинув по дороге какого-то малыша. Обезумев от страха, я принялся колотить в дверь женского туалета – отчего я считал, что она все еще там? Толстая негритянка с копной торчащих во все стороны, похожих на парик волос и нарумяненными скулами цвета бархотки высунула оттуда голову и пронзительно рявкнула: «Убирайся отсюда! Ты что, чокнутый?» Я кинулся дальше.

В более комфортабельной части поезда меня обволокла слезливая мелодия – из тех, что препарирует для широкой публики фирма «Мюзак». Звуки скрипок, выведивших мелодию времен моей бабушки «В деревенских садах» Перси Грейнджера, преследовали меня, пока я как одержимый просматривал одно купе за другим в надежде, что Софи забрела в какой-нибудь из них и, быть может, заснула. Теперь уже две мысли попеременно одолевали меня: что она сошла в Балтиморе и что... А, черт, другая была еще непереносимее. Я снова и снова открывал двери туалетов, обследовал обтянутые похоронным плюшем пространства четырех или пяти салон-вагонов, с надеждой оглядел вагон-ресторан, где цветные официанты в белых передниках шлепали взад и вперед по проходу в дымном, пропитанном прогорклым маслом воздухе. Наконец вагон-клуб. Маленький столик, касса – хранительница сих мест, приятная седовласая пожилая дама подняла на меня печальные глаза.

– Да, бедняжка искала телефон, – сказала она после того, как я выложил ей свой непростой вопрос. – Представляете – в поезде! Хотела позвонить в Бруклин. Бедняжка, она так плакала. Правда, она казалась немного навеселе. Она пошла туда.

Я обнаружил Софи в конце вагона – в темной клетке площадки, где стоял страшный грохот, так как это был не только конец вагона, но и конец поезда. Закрытая на засов стеклянная дверь в проволочном оплетении выходила на убежавшие назад рельсы, поблескивавшие в полуденном солнце и сливавшиеся где-то в далекой бесконечности среди зеленых хвойных лесов Мэриленда. Софи сидела на полу, привалившись к стене, льняные волосы ее трепал сквозняк, в руке она сжимала бутылку. Как и несколько недель назад, когда она уплыла в небытие под влиянием усталости, чувства вины и горя, она держалась, пока

могла. Она подняла на меня глаза и что-то сказала, но я не расслышал. Я пригнулся пониже и теперь расслышал – вернее, отчасти прочел по губам, отчасти уловил этот бесконечно печальный голос: «По-моему, я не вытяну».

Служащие в отелях, безусловно, видят немало странных типов. Но мне до сих пор любопытно, какие мысли роились в мозгу патриарха-портье, стоявшего за стойкой в отеле «Конгресс», что совсем рядом с центром нашего государства – Капитолием, когда перед ним предстали его преподобие молодой Уилбер Энтуисл, в явно не соответствующем священническому сану шелковистом костюме в полоску, но с выставленной для всеобщего обозрения Библией в руках, и его изрядно помятая светловолосая жена с лицом, перепачканным вагонной копотью и слезами; пока они регистрировались, она бормотала что-то нечленораздельное с сильным иностранным акцентом и была явно вдребезги пьяна. В конце концов, благодаря моей маскировке, портье все же преодолел свои сомнения. Маскировка моя оказалась достаточно убедительной, несмотря на отсутствие традиционного костюма. В сороковых годах людям неженатым не разрешалось жить вместе в одном гостиничном номере; кроме того, фальшивая регистрация в качестве мужа и жены рассматривалась как уголовное преступление. Риск возрастал, если дама была пьяна. Доведенный до отчаяния, я знал, чем рискую, но подумал, что сведу опасность до минимума, если сумею придать всему хотя бы скромный ореол святости. Так появилась Библия в черном кожаном переплете, которую я извлек из чемодана, когда поезд уже подъезжал к Юнион-стейшн, а также адрес, который я размашисто написал в регистрационной книге для придания неоспоримой достоверности сладкому голосу и елейным манерам священнослужителя: Объединенная богословская семинария, Ричмонд, Виргиния. С чувством облегчения я увидел, что моя хитрость сумела отвлечь внимание клерка от Софи; на пожилого джентльмена с двойным подбородком, к тому же южанина (как и многие вашингтонские наймиты), мои верительные грамоты произвели впечатление, и с присущей южанам добродушной словоохотливостью он сказал:

– Приятного вам пребывания у нас, ваше преподобие, вам и вашей супруге. Вы священник какой же будете церкви?

Я только хотел было ответить «пресвитерианской», но он уже сам забасил – так коротконогая гончая тихонько лает, скликаая из оврагов своих собратьев:

– А я – я баптист, вот уже пятнадцать лет посещаю вторую баптистскую церковь в Вашингтоне, прекрасный у нас там теперь проповедник – его преподобие Уилкоккс, может, вы о нем слышали. Он из округа Флюванна, штат Виргиния, я там родился и вырос, хотя он, конечно, гораздо меня моложе. – Видя, что я потихоньку начал отодвигаться от стойки вместе с Софи, тяжело висевшей на моей руке, клерк позвонил и, вызвав единственного сонного негра-рассыльного,

протянул мне карточку. – Любите хорошие плоды моря, ваше преподобие? Тогда побывайте вот в этом ресторанчике у реки. Называется «У Герзага». Лучшее заливное из крабов во всем городе. – И когда мы уже подошли к старенькому лифту со стеклянными дверцами цвета зеленого горошка, он, все еще не желая нас отпускать, повторил: – Энтуисл. А вы случайно не родственник Энтуислов из округа Паухэтен, ваше преподобие?

Я снова был на Юге.

Все в отеле «Конгресс» дышало *troisième classe*. [336] Крошечная комнатуха, которую мы сняли за семь долларов, была унылая и душная; она выходила на ничем не примечательную улочку, откуда проникал слабый дневной свет. Софи, еле державшаяся на ногах от недостатка сна, плюхнулась на кровать еще прежде, чем рассыльный поставил наши чемоданы на шаткую подставку и получил от меня двадцать пять центов. Я поднял раму, за которой обнаружился карниз, весь покрытый белой известкой голубинового помета, и теплый октябрьский ветерок, ворвавшись в комнату, сразу освежил воздух. Издали, с Юнион-стейшн, до меня донесся лязг поездов и приглушенные гудки, а откуда-то совсем близко – барабанная дробь и взвизги труб, звуки цимбал, самодовольное свиристенье военного оркестра. Две-три мухи глухо жужжали в затененном уголке под потолком.

Я лег рядом с Софи на кровать, продавленную посередине, что не только позволило, а, скорее, вынудило меня подкатиться к ней, точно мы лежали в неглубоком гамаке; от выношенного белья и одеяла исходил слабый запах мускуса и хлорки – то ли от стирки, то ли от пролившегося семени, а может быть, от того и другого сразу. Безмерная усталость и тревога за Софи притупили было остроту желания, которое я всегда испытывал в ее присутствии, но эта шаткая, продавленная кровать, пахнувшая семенем, эротикой, выдержавшая десятки тысяч совокуплений, и близость Софи, касание ее тела разбудили меня: я закрутился, заворочался, не в силах заснуть. До слуха моего донесся отдаленный бой часов – пробило полдень. Софи спала, прижавшись ко мне, приоткрыв губы; дыхание ее слегка отдавало виски. Низкий вырез шелкового платья обнажил одну грудь – меня тотчас удержимо потянуло коснуться ее, что я и сделал, – сначала осторожно, кончиками пальцев провел по коже с голубыми прожилками, потом сжал, стиснул молочно-белую сферу, заработал пальцами. Вслед за похотью, вспыхнувшей во мне от этого первоначально нежного касания, возник стыд: терзать плоть Софи, нарушая ее наркотический сон, – в этом было что-то поганое, близкое к некрофилии, и я отдернул руку.

Но заснуть я все равно не мог. Различные образы, звуки, голоса, прошлое и будущее перемежались, а иногда сливались в моем мозгу: гневный рев Натана, такой жестокий, такой дикий, что я постарался побыстрее забыть о нем; недавно

написанные эпизоды из моего романа – герои, точно актеры на сцене, подавали реплики, звеневшие у меня в ушах; голос отца в телефоне – радушный, приветливый (разве старик не прав? Разве не следует мне теперь навсегда поселиться на Юге?); Софи на замшелом берегу воображаемого пруда или водоема глубоко в лесу, что раскинулся за покрытыми весенней зеленью полями «Пяти вязов», ее стройное длинноногое тело в облегающем купальном костюме из ластекса дышит красотой и здоровьем, на коленях у нее – наш ослабившийся гномик-первенец; тот страшный выстрел, прогремевший у меня в ухе; солнечные закаты, ночи, отданные во власть безумной любви; восходы, исчезнувшие дети, победа, горе, Моцарт, дождь, сентябрьская зелень, отдых, смерть. Любовь. Замирающие звуки «Марша полковника Богоя», который исполнял проходивший мимо оркестр, пробудили во мне острую ностальгию, и вспомнились не столь давние военные времена, когда я приезжал в отпуск из лагеря в Каролине или Виргинии и лежал без сна (и без женщины) в какой-нибудь гостинице в этом самом городе – одном из немногих американских городов, где бродят призраки истории, – и, думая об улицах под моим окном, представлял себе, как они выглядели всего три четверти века назад, когда здесь бушевала братоубийственная, принесшая несказанное горе война и тротуары были забиты солдатами в синих мундирах вперемежку с авантюристками и проститутками, ловкими жуликами в цилиндрах, колоритными зуавами, приткими журналистами, восходящими дельцами, хорошенькими кокетками в шляпах с цветами, таинственными шпионами Конфедерации, карманниками и гробовщиками – эти последние вечно спешили по своим неотложным, непрекращавшимся делам, ибо их ждали десятки тысяч по преимуществу совсем молоденьких мальчиков, которые находили свою смерть на безрадостных землях к югу от Потомака и лежали штабелями, словно дрова, в пропитанных кровью полях и лесах за этой сонной рекой. Мне всегда казалось странным – даже жутким – то, что в этом чистом современном городе – нашей столице Вашингтоне, – таком холодном и официальном в своей шире и красоте, все еще бродят, как и в ряде других городов, настоящие призраки. Звуки оркестра растворялись в далекой дали; приглушенная расстоянием, бравурная мелодия звучала мягко, грустно, как колыбельная. Я заснул.

Когда я проснулся, Софи сидела на кровати, скорчившись, поджав под себя ноги, и смотрела на меня. Я словно вынырнул из небытия и по тому, как изменился свет в комнате – хотя тут и в полдень царил полумрак, а сейчас стало почти совсем темно, – понял, что проспал несколько часов. Сколько времени Софи вот так смотрела на меня, я, конечно, не мог сказать, но не без смущения подумал, что, наверно, довольно долго: лицо у нее было такое милое, озадаченное, чуть насмешливое. Оно по-прежнему было бледное, измученное, и под глазами лежали черные тени, но она явно ожила и протрезвела. Казалось, она вполне оправилась – во всяком случае, на данный момент – после того страшного припадка в поезде. Увидев, что я заморгал, она сказала с нарочито подчеркнутым

акцентом, к которому – шутки ради – прибегала порой:

– Ну-с, ваше преподобие Энт-уи-исл, хорошо поспали?

– Боже, Софи, – в смятении воскликнул я, – который час? Я спал мертвецким сном.

– Я сейчас слышала, как пробили часы на церкви. По-моему, пробило три раза.

Все еще не вполне проснувшись, я погладил ее по плечу.

– Пора в поход, как говорят в армии. Не можем же мы торчать здесь весь день. Я хочу, чтоб ты увидела Белый дом, Капитолий, памятник Вашингтону. А также театр Форда, ну, ты знаешь, где стреляли в Линкольна. И Мемориал Линкольна. Столько здесь всех этих чертовых штук. А потом можно будет и перекусить...

– Я совсем есть не хочу, – возразила она. – А город смотреть хочу. Я чувствую себя так много лучше после сна.

– Ты мигом заснула, – сказал я.

– Ты тоже. Когда я проснулась, ты лежал с открытым ртом и храпел.

– Нечего издеваться, – сказал я не без искреннего ужаса. – Я же не храплю. Я в жизни никогда не храпел! Никто ни разу не говорил мне об этом.

– Потому что ты никогда ни с кем не спал, – игриво возразила она. Потом нагнулась и прильнула к моим губам чудесным влажным долгим поцелуем, да еще вдобавок просунула язычок – он быстро, весело обследовал мой рот и исчез. И прежде чем я успел отреагировать, хотя сердце и застучало в бешеном ритме, она уже снова сидела, поджав ноги, возвышаясь надо мной.

– Господи, Софи, – начал было я, – никогда этого не делай, если... – Я поднял руку и вытер губы.

– Язвинка, – прервала она меня, – куда мы теперь?

Немного сбитый с толку, я сказал:

– Я же говорил тебе. Осмотрим Вашингтон. Пройдем мимо Белого дома – может, увидим Гарри Трумэна.

– Нет, Язвинка, – снова прервала она меня, на этот раз более серьезным тоном, – я хочу сказать: куда мы всерьез направляемся? Вчера вечером, когда Натан... В

общем, вчера после того, что он сделал, когда мы стали так быстро упаковывать чемоданы, ты все говорил: «Надо ехать домой, домой!» Снова и снова говорил: «Домой!» А я просто пошла за тобой, потому что так очень испугалась, и вот мы теперь с тобой в чужом городе, и я совсем не понимаю, зачем мы здесь. Куда мы на самом деле едем? Куда это – домой?

– Ну, ты же знаешь, Софи, я говорил тебе. Мы едем на ферму – я про нее тебе рассказывал – в южную Виргинию. Я тебе уже описал эти места, ничего больше добавить не могу. Это ферма, где главным образом выращивают земляной орех. Я никогда ее не видел, но отец говорит, что там вполне комфортабельно – все современные американские удобства. Ну, понимаешь: стиральная машина, холодильник, телефон, водопровод в доме, радио – словом, все. Полный набор. Как только устроимся, поедем в Ричмонд и приобретем хороший проигрыватель и множество пластинок. Всю музыку, какую мы оба любим. Там есть универсальный магазин Миллера и Родса с отличным отделом пластинок – во всяком случае, он был отличным, когда я ходил в школу в Мидлсексе...

– «Когда мы устроимся?» – снова прервав меня, повторила она мягко, но все же зондируя почву. – А как это будет? Что значит «устроимся», Язвинка, дорогой?

Вопрос этот породил во мне огромную волнующую пустоту, которую я не мог заполнить мгновенным ответом, ибо вдруг понял, что ответ должен быть весомым, начиненным глубоким смыслом; я как-то по-идиотски судорожно глотнул и надолго умолк, чувствуя лишь стремительный неровный стук крови в висках да исполненную отчаяния, могильную тишину в жалкой комнатенке. Наконец я медленно произнес, но гораздо смелее и непринужденнее, чем, казалось, был в состоянии это сделать:

– Софи, я люблю тебя. Я хочу на тебе жениться. Я хочу, чтобы мы вместе с тобой жили на этой ферме. Хочу писать там книги, возможно, до конца моих дней, хочу, чтоб ты была со мной и помогала мне и чтоб у нас была семья. – Секунду помедлив, я добавил: – Ты мне очень нужна. Очень, очень. Могу ли я надеяться, что и я тебе нужен?

Еще произнося эти слова, я подумал, что произношу их с той же дрожью, таким же голосом, что и этот напыщенный идиот Джордж Брент, когда он в одном фильме, который я как-то видел, делал предложение Оливии де Хэвиленд на прогулочной палубе дурацкого голливудского океанского лайнера; но черт с ним, с пафосом – главное, я наконец сказал, что должен был сказать, а все первые признания в любви, мелькнуло у меня в голове, наверное, неизбежно выглядят кинематографической дешевкой.

Софи опустила голову на подушку рядом с моей, так что я почувствовал, какая

горячая у нее щека, и приглушенно заговорила мне в ухо, а я смотрел на ее обтянутые шелком бедра, слегка колыхавшиеся надо мной.

– Ах, Язвинка, сладкий мой, ты такая прелесть. Ты так заботишься обо мне – много-много. Право, не знаю, что бы я без тебя делала. – Пауза; губы ее коснулись моей шеи. – Знаешь, что Язвинка: мне ведь больше тридцати. Что ты будешь делать с такой старухой?

– Справлюсь, – сказал я. – Как-нибудь справлюсь.

– Тебе нужна женщина ближе к тебе по годам, чтоб у вас были дети, а не такая, как я. И потом... – Она умолкла.

– Что – потом?

– Ну, доктора говорят, мне надо быть очень осторожной насчет детей после... – Снова молчание.

– Ты хочешь сказать – после того, через что ты прошла?

– Да. Но дело не только в этом. В один день я стану старой уродиной, а ты будешь еще совсем молодой, и что ж тут удивительного, если ты станешь бегать за молоденькими хорошенькими барышнями.

– Ах, Софи, Софи, – возразил я шепотом, а сам в отчаянии думал: «Она ведь не сказала мне: «Я люблю тебя» – в ответ на мое признание». – Не надо так. Ты всегда будешь моей... Словом, всегда будешь для меня... – Я тщетно пытался найти что-то по-настоящему нежное, а сказал лишь: – Первым номером. – Это прозвучало отчаянно банально.

Она снова выпрямилась.

– Я хочу поехать с тобой на эту ферму. Я так хочу увидеть Юг после всего, что ты мне говорил и когда почитала Фолкнера. Только почему нам не поехать туда ненадолго и чтоб я побыла с тобой, но не выходила замуж, а потом мы решили бы...

– Софи, Софи, – перебил я, – я бы очень этого хотел. Мне ничего другого и не нужно. У меня вовсе нет маниакального стремления жениться. Но ты не представляешь себе, что за люди там живут. То есть, я хочу сказать, это вполне пристойные, щедрые, добрые южане, но в маленьком сельском местечке, где мы с тобой поселимся, просто невозможно жить неженатыми. Господи, Софи, они же все христиане! Стоит пройти слуху, что мы живем во грехе, как это принято называть, и эти славные виргинцы вываляют нас в смоле и в перьях, привяжут к

длинному бревну, перевезут через границу штата и бросят в Каролине. Ей-богу, так и будет.

Софи хихикнула.

– Американцы такие смешные. Я считала, Польша очень пуританская страна, но представить себе такое...

Теперь-то я понимаю, что сирена, а вернее, хор сирен и адский грохот, сопровождающий их истошному вою, прорвали тонкую ткань настроения Софи, которая частично моими стараниями уже было разгладилась, даже засветилась по краям, словно пронизанная солнцем. Городские сирены, даже на расстоянии, издают омерзительный звук совершенно излишнего, душераздирающего накала. И сейчас, возникнув на узкой улице всего тремя этажами ниже нас, звук сирены оглушительно усилился среди тесных стен каньона и, отраженный закопченным домом напротив, этакой вытянутой свиной мордой, сгустком крика проник в наше окно. Барабанные перепонки запротестовали, не выдерживая этой садистской пытки звуком, и я выскочил из постели, чтобы опустить раму окна. В конце темной улицы из какого-то здания, похожего на склад, пушистым пером расплывалось в небе чернильное пятно дыма, а как раз под нами пожарные машины, задержанные неведомым препятствием, продолжали изрыгать в воздух свой невероятный вой.

Я с грохотом захлопнул окно, что принесло некоторое облегчение, но, судя по всему, ничуть не помогло Софи: она лежала на кровати, отчаянно дрыгая ногами, плотно закрыв голову подушкой. Оба мы уже какое-то время жили в большом городе и, казалось бы, привыкли к подобному нарушению тишины, правда, источник шума редко звучал столь громко и находился столь близко. В этом сонном городишке Вашингтоне устроили такой шум, какого я в Нью-Йорке ни разу не слышал. Но вот пожарные машины медленно обошли задерживавшее их препятствие, сирены зазвучали глуше, и я повернулся к распростертой на кровати Софи. Она смотрела на меня. Если этот жуткий визг лишь прошелся по моим нервам, то ее он истерзал, как злой кнут. Лицо ее покраснело и исказилось; она отвернулась к стене и, вздрагивая, снова ударилась в слезы. Я сел рядом. И долго молча смотрел на нее, пока рыдания постепенно не стихли и до слуха моего не донеслось:

– Прости меня, Язвинка. Я, видно, не могу держать контроль над собой.

– Ты вполне справляешься, – сказал я без особой убежденности.

Некоторое время она лежала так – без звука, глядя и стену. Наконец она сказала:

– Язвинка, у тебя бывало так в жизни, чтобы ты видел один и тот же сон снова и

снова? Такие сны, кажется, называются «периодически повторяющимися», да?

– Да, – сказал я и тут же вспомнил сон, который приснился мне после смерти мамы, когда я был еще совсем мальчишкой: открытый гроб стоит в саду, и ее мокрое от дождя, искаженное лицо обращено ко мне с невероятной мукой. – Да, – повторил я, – был такой сон, который много раз возвращался ко мне после смерти мамы.

– Ты считаешь, это непременно сны про родителей? Мне, к примеру, всю жизнь снится сон про моего отца.

– Странно, – сказал я. – Может быть. Не знаю. Матери и отцы – они ведь основа нашей жизни. Или могут ею быть.

– Когда я тут сейчас заснула, мне снова приснился сон про моего отца – я видела его много раз. Но, наверно, я сразу все забываю, как проснусь. А тут заорала эта пожарная машина, эта сирена. Так ужасно, но звук все же был музыкальный. Может, это сделала музыка? У меня получился шок, и я вспомнила про сон.

– А о чем был твой сон?

– Понимаешь, этот сон про то, что случилось со мной, когда я была совсем маленькая.

– Что же случилось с тобой, Софи?

– Ну, сначала тебе надо что-то понять – до того, как я расскажу тебе сон. Мне было тогда одиннадцать лет, как тебе. В то лето мы ездили отдыхать в Доломитовые Альпы – я тебе об этом уже говорила. Помнишь, я тебе говорила, мой отец каждое лето снимал там домик над Больцано, в маленькой деревушке Обербоцен, где, конечно, говорили по-немецки. Там была маленькая колония поляков: профессора из Кракова и Варшавы и несколько польских – думаю, их, наверно, можно так назвать, – польских аристократов, то есть людей с деньгами. Среди профессоров, я помню, был знаменитый антрополог Бронислав Малиновский. Отец пытался подружиться с Малиновским, но Малиновский терпеть не мог отца. Как-то в Кракове, я слышала, один взрослый сказал, что профессор Малиновский считает моего отца, профессора Беганьского, выскочкой и таким очень вульгарным. В общем, была там, в Обербоцене, одна богатая полька – княгиня Чарторыская, с которой мой отец так хорошо познакомился, и летом, когда мы приезжали туда, они часто встречались. Она было из очень древней, очень благородной польской фамилии, и отцу нравилось, что она богатая, ну и что она относится к евреям, как он.

Это ведь были времена Пилсудского, когда евреев в Польше не обижала и они –

наверное, будет правильно так сказать – жили вполне прилично, а мой отец и княгиня Чарторыская садились рядом и принимались рассуждать про еврейскую проблему и про то, что надо от евреев избавляться. Странно это было, понимаешь, Язвинка, потому что отец в Кракове при мне, или при маме, или при ком-нибудь еще никогда не позволял себе говорить про евреев и про то, как он их ненавидит. Во всяком случае, так было, пока я была маленькая. А тут в Италии, понимаешь, в Обербоцоне, с этой княгиней Чарторыской все было иначе. Ей было восемьдесят лет, она всегда ходила в красивых длинных платьях – даже летом – и носила драгоценности; я помню, у нее была такая большущая брошь с изумрудом, – и они с отцом сидели в ее элегантном Sennhütte, то есть «шале», пили чай и говорили про евреев. Разговаривали они всегда по-немецки. У нее был красивый сенбернар, я играла с собакой и невольно слышала их разговор, и они почти всегда говорили про евреев. Про то, что надо их куда-нибудь выслать – всех-всех и избавиться от них. Княгиня даже хотела создать для этого фонд. Они все говорили про разные острова – вот сослать бы евреев на Цейлон, или на Суматру, или на Кубу, а лучше всего на Мадагаскар. Я не очень-то их слушала, потому что играла с внуком княгини Чарторыской – он был английский мальчик, – или играла с большой собакой, или слушала музыку на граммофоне. Понимаешь, Язвинка, музыка – она как-то очень связана с моим сном.

Софи снова умолкла и прижала пальцы к закрытым векам. Голос ее уже не звучал монотонно, слова полились быстрее. Она повернулась ко мне, словно отключаясь от воспоминаний.

– У нас непременно будет музыка там, куда мы едем, Язвинка. Я не смогу долго продержаться без музыки.

– Ну, я буду с тобой откровенен, Софи. В захолустье – я хочу сказать, за пределами Нью-Йорка – по радио почти ничего не передают. Ни одной приличной станции не найдешь. Только днем по субботам выступает Милтон Кросс[337] да транслируют оперы из «Метрополитен». Остальное – сплошь «На горах в лесочке». Иной раз это чистый ужас. Может, я сделаю из тебя поклонницу Роя Экаффа.[338] Но я уже сказал: как только переедем, прежде всего купим проигрыватель и пластинки...

– Я так избаловалась, – вставила она, – Натан ведь покупал мне столько музыки. Но это у меня в крови, это моя жизнь, понимаешь, и тут уж я ничего не могу поделать. – Она помолчала, снова собирая воедино разрозненные нити памяти. Потом сказала: – У княгини Чарторыской был граммофон. Одна из первых моделей, не очень хорошая, но никакой другой я раньше не видела и не слышала. Странно, правда? Эта старая полька ненавидела евреев, а музыку любила. У нее было так очень много пластинок, и я прямо голову теряла от удовольствия, когда

она ставила их для нас – для мамы, для отца и для меня, а иногда и для других гостей – и мы слушали эти пластинки. Главным образом арии из итальянских и французских опер – Верди, и Россини, и Гуно, но от одной пластинки, помню, я чуть сознание не теряла – так она мне нравилась. Пластинка эта, наверно, была редкая и очень ценная. Сейчас прямо не верится – такая она была старая, хриплая, но я ее обожала. На этой пластинке мадам Шуман-Хайнк[339] пела «Lieder»[340] Брамса. На одной стороне, помню, был «Der Schmied», [341] а на другой – «Von ewiger Liebe», [342] и когда я в первый раз услышала эту пластинку, я сидела как в трансе – такой дивный голос прорывался сквозь все эти шумы – и все думала: такого великолепного пения я никогда еще не слыхала, это как ангел сошел на землю. Странное дело, эти две песни я слышала только раз за все время, когда была с отцом у княгини. А мне так хотелось снова их послушать. О боже, я чувствовала, что готова сделать что угодно – даже что-то очень такое гадкое, – только бы услышать их снова, и я так жаждала попросить, чтобы их снова поставили, но я была такая очень застенчивая, и потом, отец наказал бы меня, если бы я вдруг... ну, словом, стала такая нахальная...

И вот во сне, который приходит ко мне снова и снова, я вижу, как княгиня Чарторыская в своем красивом платье идет к граммофону, потом поворачивается и как бы говорит мне: «Хочешь послушать «Lieder» Брамса?» И я всякий раз пытаюсь сказать: «Да». Но отец встревает, и я не успеваю. Он стоит рядом с княгиней, смотрит на меня в упор и говорит: «Пожалуйста, не ставьте такую музыку для девочки. Она еще слишком глупенькая, все равно не поймет». И тут я просыпаюсь, и мне так больно... Только на этот раз все было еще хуже, Язвинка. Потому что во сне, который я сейчас видела, отец опять говорил с княгиней, но не про музыку, а... – Софи помедлила и шепотом добавила: – ...а про мою смерть. Он, кажется, хотел, чтобы я умерла.

Я отвернулся от Софи. Сделал несколько шагов к окну, глубоко несчастный, встревоженный – в душе росла неуверенность, словно где-то глубоко, в кишках, раскручивался клубок боли. В комнату проник слабый терпкий запах гари, тем не менее я поднял раму и увидел, как внизу по улице тонкой голубой вуалью ползет дым. Вдали, над горевшим зданием, взвихрилось густое облако, но пламени я не увидел. Запахло сильнее – то ли обгоревшей краской, то ли дегтем или лаком вместе с паленой резиной. Снова взревели сирены, но на сей раз приглушенно, в другой стороне улицы, и я успел заметить, как фонтан воды гейзером взлетел в небо – к невидимым мне окнам, встретил на своем пути некий скрытый от глаз ад и рассеялся облаком пара. На тротуарах внизу зеваки без пиджаков, в одних рубашках, стали осторожно продвигаться ближе к огню, и я увидел, как два полисмена принялись перегораживать улицу деревянными барьерами. Никакая опасность ни гостинице, ни нам не угрожала, но я почувствовал, что меня трясет от беспокойства.

Я снова повернулся к Софи, в этот момент она посмотрела на меня с кровати и сказала:

– Язвинка, я должна тебе сейчас кое-что рассказать, я этого никогда никому не рассказывала. Никогда.

– Расскажи мне.

– Если ты не будешь это знать, ты про меня ничего не поймешь. А я вдруг почувствовала, что должна кому-то наконец рассказать.

– Расскажи мне, Софи.

– Сначала дай мне выпить.

Не раздумывая, я подошел к ее чемодану и вытянул из скользкого вороха полотна и шелка вторую бутылку виски: я знал, что она спрятана там. «Напивайся, Софи, – подумал я, – ты это заслужила». Затем я прошел в крошечную ванную, до половины наполнил водой рвотно-зеленый пластмассовый стаканчик и отнес ей в кровать. Софи до краев долила в него виски.

– А ты не хочешь? – спросила она.

Я отрицательно покачал головой и, вернувшись к окну, глубоко вдохнул бурые испарения далекого пожара.

– Тот день, когда меня привезли в Освенцим, – услышал я ее голос за своей спиной, – был такой красивый. Форсития цвела.

«А я в это время ел бананы в Роли, в Северной Каролине», – подумал я не впервые за время знакомства с Софи, однако, пожалуй, впервые понимая все значение абсурда и неизбежно связанный с этим кошмар.

– А знаешь, Язвинка, в ту зиму в Варшаве Ванда предсказала свою смерть, и мою смерть, и смерть моих детей.

Я уже не помню точно, в каком месте повествования Софи преподобный Энтуисл услышал собственный шепот: «О боже, боже ты мой». Зато в моем сознании запечатлелось то, как эти слова – пока она вела свой рассказ, а дым стлался над соседними крышами и наконец пламя, ярко вспыхнув, взметнулось в небо, – эти слова, которые вначале я произносил с искренней пресвитерианской верой, в конце утратили всякий смысл. Я просто хочу сказать, что все эти восклицания «боже», «боже ж ты мой» или даже «Господи Иисусе», которые я

шепотом снова и снова повторял, были такой же пустой скорлупой, как представление идиота о Боге или мысль, что он вообще может существовать.

– Иногда я начинаю думать, что все плохое на этом свете, все зло, какое только было изобретено, связано с моим отцом. Тогда зимой в Варшаве я не чувствовала вины за то, что у меня такой отец, или за то, что он написал. Но я часто чувствовала страшный стыд, а это не то же самое. Стыд – чувство грязное, которое еще труднее переносить, чем чувство вины, и мне хотелось умереть при одной мысли, что мечты моего отца осуществляются у меня на глазах. Я много всякого узнала, потому что жила с Вандой, вернее, была очень много с ней близкой. Она получала столько много сведений про то, что творилось в разных местах, и я тогда уже знала, что тысячи евреев увозят в Трешлинку и Освенцим. Сначала думали, их просто посылают на работы, но у движения Сопротивления была хорошая разведка, и скоро мы узнали правду – узнали про газовые камеры и про крематории, про все. А ведь именно так хотел мой отец – я от этого просто стала больная.

К себе на работу, на фабрику, где делали толь, я ходила пешком, а иногда ездила на трамвае мимо гетто. Фашисты тогда еще не выкачали всю кровь из гетто, но уже начали свое черное дело. Я часто видела длинные вереницы евреев – все они держали руки на затылке, и нацисты прикладами гнали их, как скот. Евреи были все такие серые, беспомощные – я даже однажды вышла из трамвая, и меня стошнило. А мой отец все это время вроде бы... поощрял этот ужас, не только поощрял, а как бы создавал. Я не могла держать все это дольше в себе – я чувствовала, что должна кому-то рассказать. Никто ведь в Варшаве не знал, из какой я семьи: я жила под фамилией мужа. И я решила рассказать Ванде об мой... этой скверности.

И все же... все же, понимаешь, Язвинка, я не могла не признаться себе кое в чем. Дело в том, что меня будто завораживало то немыслимое, что делали с евреями. Я не могу точно назвать, какое это было чувство. Не удовольствие – совсем нет. Наоборот – что-то такое болезненное. Вот я иду мимо гетто, останавлиюсь вдалеке и, точно зачарованная, смотрю, как сгоняют евреев. И я вдруг поняла, почему это меня так захватывает, и была потрясена. Я чуть не задохнулась от такой мысли. А дело в том, что я вдруг поняла: пока немцы будут с такой невероятной – поистине сверхчеловеческой – энергией уничтожать евреев, я в безопасности. Нет, не то чтобы в полной, а все же – в безопасности. Хотя и плохи были наши дела, по сравнению с этими затравленными, беспомощными евреями мы были... о, в такой безопасности. Словом, пока фашисты тратили столько сил на уничтожение евреев, я считала, что мы в безопасности – и я, и Ян, и Ева. И даже Ванда и Юзеф, хоть они и занимались очень опасными делами. Но стыд мой от этого становился только больше, и вот в тот вечер, про который я говорю, я решила все рассказать Ванде.

Мы, помню, как раз заканчивали наш очень скромный ужин – суп из турнепса и гороха и какая-то эрзац-колбаса. И говорили о том, сколько чудесной музыки мы не услышали. А я весь ужин тянула – все не говорила то, что хотела сказать, потом наконец собралась с духом и говорю: «Ванда, ты когда-нибудь слышала такое имя – Беганьский? Збигнев Беганьский?» Глаза у Ванды на минуту стали такие отсутствующие. «О да, ты имеешь в виду этого профессора-фашиста из Кракова. Некоторое время до войны он был широко известен. Здесь, у нас в городе, произносил истерические речи против евреев. Я совсем забыла о нем. Интересно, куда он девался. Наверно, работает на немцев».

«Он умер, – сказала я. – Это был мой отец».

Я увидела, как вздрогнула Ванда. И в доме и на улице было так очень холодно. По окну стучал мокрый снег, будто плевался. Дети уже лежали в постели в соседней комнате. Я уложила их там, потому что у меня кончилось чем топить – уголь и дрова, а у Ванды было большое пуховое одеяло, так что дети в постели могли согреться. Я внимательно смотрела на Ванду, но на лице у нее не было никакой эмоции. Немного погодя она сказала: «Так, значит, это был твой отец. Странно, наверное, иметь такого отца. Какой он все-таки был?»

Меня удивила ее реакция: она отнеслась к моему признанию так совсем спокойно, так совсем естественно. А ведь из всех, кто занимался в Варшаве Сопротивлением, она, пожалуй, больше всех помогала евреям – или пыталась помочь, – это ведь было так очень трудно. Пожалуй, это можно было назвать ее специальностью – эти ее попытки помочь людям из гетто. А кроме того она считала, что тот, который предает евреев или предал хотя бы одного еврея, – предает Польшу. Это Ванда подговаривала Юзефа убивать поляков, которые предавали евреев. Она была такая очень нетерпимая, такая убежденная – настоящая социалистка. Но ее, похоже, вовсе не шокировало или что-то там еще то, что у меня был такой отец, и она явно не считала, что я... ну, словом, что я заразилась от него. Я сказала: «Мне очень трудно говорить о нем». И она сказала мне в ответ так очень мягко: «Ну и не надо, душенька. Не все ли мне равно, кто был твой отец. Ты же не отвечаешь за его отвратительные грехи».

Тогда я сказала: «Ты знаешь, получилось очень странно. Его ведь убили немцы у себя в рейхе. В Заксенхаузене».

Но даже это – ну, даже эта ирония судьбы – вроде не произвело на нее впечатления. Она только моргнула и провела рукой по волосам. А волосы у нее были рыжие, тонкие и совсем без блеска – такие тонкие и тусклые, потому что она плохо питалась. Она только сказала: «Он, очевидно, оказался среди преподавателей Ягеллонского университета, которых схватили сразу после начала оккупации».

Я сказала: «Да, и мой муж тоже. Я тебе не рассказывала. Он был ученик моего отца. Я ненавидела его. Я тебе солгала. Надеюсь, ты простишь, что я сказала тебе, будто он умер в бою, когда началось вторжение».

И я хотела закончить то, что начала, – это мое извинение, – но Ванда оборвала меня. Она закурила – помнится, она курила как ненормальная, когда были сигареты. И она мне сказала: «Зоя, милая, это не имеет значения. Да неужели ты думаешь, мне важно, кем они были? Для меня важна ты. Твой муж мог быть убийцей, а твой отец – Йозефом Геббельсом, ты все равно осталась бы моей самой любимой подругой». Тут она подошла к окну и опустила маскировочную штору. Она это делала, только когда считала, что опасно. Квартира находилась на пятом этаже, но этот дом так очень торчал – все вокруг было разбомблено, и немцы, наверное, могли все видеть, что там происходило. Поэтому Ванда никогда не рисковала. Помню, она взглянула на свои часы и сказала: «Сейчас у нас будут гости. Два еврейских лидера из гетто. Они придут за свертком с оружием».

Помню, я подумала: «Великий боже!» Сердце у меня всякий раз начинало страшно колотиться и всю меня нячиало мутить, когда Ванда упоминала про оружие, или про тайные встречи, или про что-то, связанное с опасностью, или когда можно было попасть в фашистскую облаву. Ты же понимаешь: поймают тебя, когда ты помогаешь евреям, – и тебе конец. Я вся обливалась потом, и у меня подкашивались колени – ох, какая я была трусиха! Я только надеялась, что Ванда этого не замечала, и, когда на меня накатывало, я думала: трусость – это не наследство от отца? А Ванда тут и говорит: «Я слышала об одном из этих евреев по тайным каналам. Говорят, он очень храбрый, очень знающий. Но только он отчаялся. У них там возникло Соппротивление, но оно не организовано. Он прислал нашей группе записку, что в гетто скоро непременно начнется настоящее восстание. Мы уже имели дело с другими, но этот человек так и брызжет энергией – кого хочешь заведет. По-моему, фамилия его Фельдшон».

Мы ждали этих двух евреев, а они все не шли. Ванда сказала, что оружие спрятано в подвале нашего дома. Я пошла в спальную посмотреть детей. В спальне воздух был такой холодный – он резанул меня как ножом, – а над головой Яна и Евы стояло даже облачко пара. Я слышала, как ветер свистит в щелях оконной рамы. Но на детях было большое старое польское одеяло на гусином пуху, и оно защищало их от холода, грело вместо печки. И все же, помню, я стала молиться Богу, чтобы мне раздобыть хоть немного угля или дров и перебраться завтра к себе в квартиру. За окном было так невероятно темно – весь город был темный. Меня трясло от холода. У Евы в тот вечер была простуда и очень болело ушко, и она долго не засыпала. Так она мучилась! Но Ванда отыскала аспирин – его почти невозможно было достать, а Ванда могла достать что угодно, – и Ева заснула. Я еще помолилась, чтобы к утру воспаление у нее

прошло и боль тоже. Потом я услышала стук в дверь и вернулась в гостиную.

Второго еврея я не помню хорошо – он все больше молчал, – зато я хорошо помню Фельдшона. Он был плотный, светловолосый, лет, по-моему, сорок с небольшим, и у него были такие пронзительные умные глаза. Они пронзали тебя насквозь, хоть и смотрели в такие толстые стекла – помню, одно стекло было с трещиной, склеенное. Помню, какой он мне показался злой, хоть и вежливый. Он прямо кипел от злости и возмущения, хотя и держался о'кей. Он сразу заявил Ванде: «Я не могу заплатить вам сейчас, не могу сразу возместить за оружие». Я не слишком хорошо понимала его польский – он говорил, знаешь, неуверенно и с трудом. «Я, конечно, сумею скоро расплатиться с вами, – сказал он, запинаясь, своим злым голосом, – но не сейчас».

Ванда предложила ему и другому еврею присесть и заговорила по-немецки. И для начала сказала вещь довольно грубую: «У вас немецкий акцент. Можете говорить с нами по-немецки или на идиш, если хотите...»

Но он прервал ее, зло, раздраженно, на безукоризненном немецком: «Зачем мне говорить на идиш! Я говорил по-немецки еще до того, как вы родились...»

Тут уж Ванда очень так быстро прервала его. «Сложные объяснения не требуются. Говорите по-немецки. Моя подруга и я – мы обе говорим по-немецки. Никто не просит вас платить нам за оружие, тем более сейчас. Оно украдено у эсэсовцев, так что денег при сложившихся обстоятельствах мы с вас не возьмем. Хотя средства нам могли бы пригодиться. Но о деньгах поговорим в другой раз». Мы все сели. Она села рядом с Фельдшоном прямо под этой тусклой лампочкой. Свет был желтый, пульсирующий – мы никогда не знали, сколько он будет гореть. Ванда предложила Фельдшону и другому еврею сигареты – оба взяли. Она сказала: «Это югославские сигареты, тоже украденные у немцев. Свет в любую минуту может погаснуть, так что давайте говорить о деле. Только сначала я хотела бы кое-что узнать. Из каких вы будете, Фельдшон? Я хочу знать, с кем вхожу в сделку, и имею на это право. Так что выкладывайте. Возможно ведь, нам придется какое-то время поддерживать деловой контакт».

Знаешь, было просто удивительно, как Ванда общалась с людьми – открыто, прямо, с кем угодно, с совсем чужими. Это было почти... Наверное, самое правильное было бы сказать «нахально», и вела она себя как крутой мужик, а в то же время была такая молодая и женственная, и была в ней какая-то мягкость, так что все сходило ей с рук. Помню, я смотрела на нее. Вид у нее был очень... истерзанный, наверное, так надо сказать. Она две ночи не спала, все работала, где-то бегала, вечно в опасности. Она ведь много времени отдавала работе в подпольной газете – это было так много опасно. По-моему, я говорила тебе, она была совсем не красавица – лицо такое широкоскулое, молочно-белое и все в

веснушках, – но был в ней какой-то магнетизм, который преображал ее, делал удивительно привлекательной. Я все смотрела на нее – лицо у нее стало жесткое, непримиримое, такое же, как у еврейского лидера, и много напряженное, оно прямо поражало. Притягивало.

Фельдшон сказал: «Я родился в Быдгоще, но родители вывезли меня в Германию совсем ребенком. – Голос его вдруг зазвучал зло, иронично: – Поэтому я так плохо знаю польский. Признаюсь, в гетто многие из нас стараются поменьше говорить на нем. Приятнее пользоваться другим языком, а не тем, на которым говорят угнетатели. Тибетским? Эскимосским? – И более мягким тоном добавил: – Извините, что я отвлекся. Вырос я в Гамбурге и там получил образование. Я был одним из первых студентов нового университета. Потом стал учителем гимназии. В Вюрцбурге. Преподавал французскую и английскую литературу. Во время урока меня и арестовали. Когда выяснилось, что я родился в Польше, меня выслали сюда в тридцать восьмом году – меня, жену, дочь и еще несколько евреев польского происхождения. – Он помолчал и с горечью добавил: – Мы ускользнули от нацистов, а теперь они рушат стены наших домов. Только вот кого я должен больше бояться – нацистов или поляков, поляков, которых, казалось бы, я должен считать своими соотечественниками? Что касается нацистов, то я по крайней мере знаю, на что они способны».

Ванда не стала развивать эту тему. Она заговорила об оружии. Сказала, что автоматы лежат в подвале дома, завернутые в толстую бумагу. Там же находится ящик с патронами. Она взглянула на свои часы и сказала, что ровно через пятнадцать минут бойцы Армии Крайовой сойдут в подвал, чтобы вынести ящики в парадное. Они условились насчет сигнала. Как только она его услышит, сказала Ванда, сразу даст знак Фельдшону и второму еврею. Они тотчас выйдут из квартиры, спустятся по лестнице и внизу в парадном найдут пакеты. И как можно быстрее покинут дом. Помню, она сказала, что хотела бы обратить их внимание на одно обстоятельство. У одного из автоматов – это были «люгеры», я точно помню, – сломан затвор или что-то там еще, но она постарается заменить его, как только сможет.

Тут Фельдшон говорит: «Вы только одного нам не сказали. Сколько их там?»

Ванда посмотрела на него. «Я думала, вам говорили. Три автомата «люгер».

Лицо у Фельдшона побелело, буквально стало белым как мел. «Не может быть, – шепотом произнес он. – Мне сказали, что будет дюжина автоматов, возможно, даже штук пятнадцать. И еще гранаты. Этого просто не может быть». Я видела, что он в ярости и, конечно, в отчаянии. Он покачал головой. «Три «люгера», притом один со сломанным затвором. Бог ты мой!»

Ванда сказала очень деловито – я заметила, что она сдерживается изо всех сил: «Это все, что мы смогли сейчас сделать. Попытаемся добыть еще. Думаю, сумеем. Там еще четыреста обойм. Вам, конечно, понадобится больше, и мы постараемся их тоже добыть».

Тон у Фельдшона стал вдруг таким мягким, чуть ли не извиняющимся: «Вы, надеюсь, не рассердились на мою реакцию. Просто мне дали понять, что их будет гораздо больше, и я огорчился. А потом, сегодня я уже пытался вести переговоры с другой партизанской группой, хотел выяснить, можем ли мы рассчитывать на их помощь. – Он помолчал, и в его глазах, смотревших на Ванду, появилось такое бешенство. – Это было ужасно, просто уму непостижимо! Пьяные сволочи! Они рассмеялись нам в лицо, принялись издеваться – им доставляло удовольствие смеяться и издеваться над нами. Они обозвали нас жидами! И это были поляки!»

Ванда спросила своим спокойным деловым тоном: «Кто же это были такие?»

«Они называют себя оэнэровцами. Но такая же история получилась у меня и вчера, с другой группой польского Сопротивления. – Он посмотрел на Ванду, весь кипя от ярости и отчаяния, и сказал: – Значит, вот все, с чем я должен держаться против двадцати тысяч нацистских солдат: три автомата, издевки и смешки. Да что же это, ради всего святого, происходит?»

Ванда начала злиться на Фельдшона – это я совсем точно могла сказать: ее бесило все, сама жизнь. «Оэнэровцы – это настоящие коллаборационисты. Фанатики, фашисты. Украинцы или люди Ханса Франка – и те больше бы вам посочувствовали. Но я хочу предупредить вас кое о чем. Среди коммунистов тоже есть люди, которые отнесутся к вам не лучше. А то и хуже. Если вы когда-нибудь столкнетесь с партизанами генерала Корчинского, они могут пристрелить вас – и все».

«Невероятно, – сказал Фельдшон. – Я благодарен вам и за эти три автомата, но сами понимаете – это смешно! Просто уму непостижимо, что тут происходит! Вы читали «Лорда Джима»? [343] Про офицера, который бежит с тонущего корабля на единственной спасательной шлюпке, бросив беспомощных пассажиров на произвол судьбы? Извините за сравнение, но я не могу не видеть, что нечто похожее происходит и здесь. Наши же соотечественники преспокойно дают нам пойти ко дну!»

На моих глаза Ванда встала, уперлась кончиками пальцев в стол и чуть нагнулась к Фельдшону. Она снова очень старалась держать себя в руках, но я видела, как ей это трудно. Она была такая очень бледная и такая измученная. И она заговорила таким отчаянным голосом: «Знаете, Фельдшон, вы либо глупый,

либо наивный человек, а может, и то и другое сразу. Правда, едва ли человек, любящий Конрада, может быть глупым, так что скорее всего вы наивный. Как же вы могли забыть тот простой факт, что наша Польша – страна антисемитизма. Вы сами только что употребили слово «угнетатели». Вы живете в стране, которая, по сути дела, изобрела антисемитизм, живете в гетто, которое мы, поляки, создали, так как же вы можете рассчитывать на какую-либо помощь от своих соотечественников? Как вы можете вообще чего-либо ожидать – разве что от тех немногих из нас, кто по разным причинам – из идеализма, по моральным убеждениям, просто из человеческой солидарности – готов сделать все, что в наших силах, чтобы спасти вам жизнь? Господи ты боже мой, Фельдшон, да ваши родители наверняка уехали с вами из Польши, чтобы бежать от евреененавистников. Бедняги, они, конечно, не могли знать, что эта теплая, гостеприимная, гуманная, любящая евреев Германия превратится для вас в ледяную тундру и каленым железом будет гнать вас прочь. Не могли ваши родители знать и того, что, когда вы вернетесь в Польшу, здесь вас, и нашу жену, и вашу дочь будут ждать те же ненавистники вашей расы, готовые превратить вас в прах. Это жестокая страна, Фельдшон. Она стала с годами такой жестокой, потому что столько раз терпела поражение. Несмотря на этот Dreck, который написан в Евангелии, несчастья рождают в людях не понимание и сострадание, а жестокость. И народ, не раз терпевший поражение, как поляки, умеет быть чрезвычайно жестоким к другому народу, который выделяет себя, как вы, евреи. Я удивляюсь лишь тому, что эти оэнэровцы всего-навсего обозвали вас жидом! – Она помолчала и добавила: – А теперь вам не кажется странным, что я по-прежнему люблю эту страну больше, чем могу выразить, – больше самой жизни, – и что, если придется, я готова умереть за нее через десять минут?»

Фельдшон посмотрел на Ванду пылающим взглядом и сказал: «Хотелось бы мне считать это странным, но я, конечно, не могу, потому что я сам готов умереть за нее».

Я волновалась за Ванду. Никогда еще я не видела ее такой усталой – вы, наверно, сказали бы «несобранной». Она столько много работала, столько мало ела, почти не спала. Голос у нее то и дело надламывался, и я заметила, как дрожали ее пальцы, когда она уперлась ими в стол. Она закрыла глаза, крепко зажмурилась и вздрогнула – даже слегка покачнулась. Я подумала: она сейчас лишится чувств. Но тут она открыла глаза и снова заговорила. Голос у нее звучал хрипло, напряженно и с таким большим горем: «Вы упомянули про «Лорда Джима» – эту книгу я случайно знаю. Сравнение у вас получилось, по-моему, хорошее, вот только вы забыли про конец. По-моему, вы забыли, как герой в конце искупает свое предательство – искупает своей смертью. Своими страданиями и смертью. Неужели вы не можете представить себе, что кто-то из нас, поляков, может искупить вину моих соотечественников, которые предали вас, евреев? Даже если наша борьба не спасет вас? Неважно, спасет она вас или

не спасет. Я, во всяком случае, буду довольна уже тем, что мы пытались это сделать – пытались искупить свою вину страданиями, а может быть, и смертью. – Ванда помолчала с минуту и добавила: – Я не хотела обидеть вас, Фельдшон. Вы храбрый человек – это ясно. Ведь вы рисковали жизнью, чтобы прийти сегодня сюда. И я знаю, какие вы терпите муки. Я узнала еще летом, когда увидела первые фотографии, тайно вывезенные из Треблинки. Я была среди первых, кто их видел, и, как и все, сначала глазам своим не поверила. Теперь я верю. Страшнее мук, выпавших вам на долю, ничего быть не может. Каждый день, когда я прохожу мимо гетто, я думаю: ведь все равно как если б крыс посадили в бочку и какой-то сумасшедший стал расстреливать их из пулемета. Вот какими беспомощными вы мне представляетесь. Но и мы, поляки, по-своему тоже беспомощны. Мы обладаем большей свободой, чем вы, евреи, – гораздо большей: свободой передвижения, свободой от непосредственно грозящей опасности, – однако мы живем изо дня в день в осаде. Мы тоже крысы, только не в бочке, а в горящем доме. Мы можем держаться подальше от огня, найти место попрохладнее, спуститься в подвал, где вообще безопасно. Совсем немногим, возможно, удастся даже удрать из дома. А сколько нас ежедневно сгорает заживо, но дом большой, и нас спасает сама наша многочисленность. Огонь не может сожрать нас всех, а потом настанет день – такое ведь может быть, – когда он вообще потухнет. И если это случится, немало народу останется в живых. А вот в бочке – в бочке почти ни одна крыса не выживет. – Ванда глубоко перевела дух и посмотрела в упор на Фельдшона. – А теперь позвольте мне задать вам один вопрос, Фельдшон. Как, по-вашему, этих перепуганных крыс, которые мечутся в горящем доме, может волновать участь крыс, которые сидят в бочке, тем более, что с этими крысами их никогда не связывало чувство родства?»

Фельдшон только смотрел на Ванду. Он уже много минут не отрывал от нее глаз. Он ничего не сказал.

Тут Ванда посмотрела на свои часы. «Ровно через четыре минуты мы услышим свисток. Тогда вы двое выйдете отсюда и спуститесь вниз. Пакеты будут ждать вас у двери. – И потом добавила: – Три дня назад я вела переговоры в гетто с одним из ваших соотечественников. Не буду называть его – это ни к чему. Скажу только, что он лидер одной из групп, которая решительно противостоит вам и вашей группе. По-моему, он то ли поэт, то ли романист. Мне он в общем-то понравился, но мне была отвратительна одна вещь в его речи. Его манера говорить о евреях – такая претенциозная. Он употребил такое, например, выражение: «Наше бесценное наследие – страдания».

Тут Фельдшон не выдержал и выпалил, так что все мы рассмеялись. Даже Ванда улыбнулась. Он сказал: «Это мог быть только Левенталь. Моисей Левенталь. Этакый Schmalz[344]».

Но тут Ванда сказала: «А мне ненавистна сама мысль, что страдания – бесценны. В этой войне все страдают: и евреи, и поляки, и русские, и чехи, и югославы, и цыгане – все. И все – жертвы. Разница только в том, что евреи – это еще и жертвы жертв. Но бесценных страданий не существует, и все умирают дерьмовой смертью. Ну а прежде чем вы уйдете, я хочу показать вам кое-какие фотографии. Они были у меня в кармане, когда я говорила с Левенталем. Я их тогда только что получила. Я хотела показать ему, но почему-то этого не сделала. Я покажу их вам».

Как раз в эту минуту погас свет – маленькая лампочка мигнула и потухла. Я почувствовала такой укол страха в самое сердце. Иногда свет гас просто оттого, что прекращалась подача тока. А в другие разы – я знала: когда немцы устраивали засаду, они вырубали свет в доме и выуживали людей с помощью карманных фонариков. Какое-то время все мы сидели неподвижно. Только из печурки в комнату падал красноватый отблеск. Потом, когда Ванда убедилась, что просто отключен свет, она достала свечу и зажгла. Я все еще дрожала, боялась, а Ванда бросила несколько фотографий на стол рядом со свечой и сказала: «Взгляните на это».

Мы все пригнулись пониже. Сначала я не могла понять, что там: точно груды палок, много, много палок, совсем как веточки. А потом разглядела – это было невыносимое зрелище: целый товарный вагон, полный мертвых детей – их там были десятки, может быть, сотни, и все в таких застывших, скрюченных позах, какие могут быть, только когда человек замерз насмерть. И все другие фотографии – такие же вагоны с десятками детей, застывшими, замерзшими.

«Это не еврейские дети, – сказала Ванда, – все это маленькие поляки, не старше двенадцати лет. Маленькие крысята, которые не сумели выжить в горящем доме. Фотографии сняты бойцами Армии Крайовой, которые взломали эти вагоны, стоявшие на запасных путях между Замосцем и Люблином. Тут несколько сотен трупов на этих фотографиях – из одного только поезда. А ведь где-то на запасных путях наверняка стояли и другие поезда с детьми, умершими от голода, или насмерть замерзшими, или же погибшими от того и другого. Это только один пример. А людей умерших – тысячи».

Все молчали. Я слышала только наше дыхание, но все молчали. Наконец Ванда заговорила, и голос у нее впервые за все время был действительно сдавленный, прерывающийся – в нем прямо чувствовалось изнеможение и еще горе. «Мы пока не знаем точно, откуда эти дети, но, думается, знаем, кто они. Это, видимо, те, которые были сочтены непригодными для программы германизации – программы Lebensborn. Их привезли, мы думаем, откуда-то из-под Замосця. Мне говорили, что из тех тысяч, которых отобрали у родителей, но сочли расово неполноценными и определили в Майданек или Освенцим – для уничтожения.

Только они туда не доехали. В положенное время этот поезд, как и многие другие, поставили на запасный путь, где детям и дали умереть – вы видите от чего. А другие умерли от голода, третьи задохнулись в запломбированных вагонах. Из одного только района Замосця исчезло тридцать тысяч польских детей. И тысячи и тысячи из них умерли. Это ведь тоже массовое истребление, Фельдшон. – Она провела рукой по глазам и добавила: – Я собиралась рассказать вам и о взрослых, о тысячах невинных мужчин и женщин, убитых в одном только Замосце. Но не стану. Я что-то очень устала, у меня вдруг голова закружилась. Хватит и этих детей».

Ванда пошатнулась. Я, помню, схватила ее за локоть и осторожно потянула вниз, чтобы она села. Но она продолжала говорить, освещенная свечой, этим своим бесцветным монотонным голосом, точно в трансе: «Нацисты больше всего ненавидят вас, Фельдшон, и вы больше всех пострадаете, но они не остановятся на евреях. Вы думаете, когда они покончат с евреями, они отряхнут руки, и перестанут убивать, и поладят со всем остальным миром? Вы недооцениваете это зло, если питаете такие иллюзии. Потому что, когда они прикончат вас, они явятся сюда и заберут меня. Хотя я и наполовину немка. Не думаю, чтобы они отпустили меня – до того, как наступит конец. А потом они схватят, вот эту мою хорошенькую подружку-блондиночку и поступят с ней так же, как с вами. Не пощадят они и ее детей, как не пощадили этих замерзших крошек, которых вы тут видите».

В комнате-коробке вашингтонского отеля, где сгущались сумерки, мы с Софи как-то незаметно для себя поменялись местами, так что я теперь лежал на кровати и смотрел вверх, а она стояла у окна, где прежде стоял я, задумчиво глядя на далекое пламя пожара. Она умолкла; я видел ее лицо лишь сбоку – она вся ушла в воспоминания, глаза ее были устремлены в дымную даль. Тишину нарушало лишь воркованье и поклохтыванье голубей на карнизе снаружи да приглушенный шум, доносившийся с улицы, где люди боролись с огнем. Часы на церкви снова пробили – четыре удара.

Наконец Софи заговорила опять.

– На другой год в Освенциме – я тебе об этом уже рассказывала – они схватили Ванду, пытали ее, подвесили на крюке, и она задохнулась. Когда я об этом слышала, я так много думала про нее, но чаще всего вспоминала ту ночь в Варшаве. Я снова мысленно видела ее, когда Фельдшон и тот, другой еврей ушли за оружием, – как она села у стола, уткнулась лицом в скрещенные руки, совсем измученная, и заплакала. Странно, но прежде я никогда не видела, чтобы она плакала. По-моему, она всегда считала это слабостью. А тогда, помню, я нагнулась к ней, положила руку ей на плечо и смотрела, как она плачет. Она ведь была совсем молоденькая – столько лет, сколько мне было. И такая храбрая...

Я любила ее, несмотря на все ее недостатки, потому что она была лучше меня и она была такая удивительно храбрая.

Словом, как я уже говорила, она предсказала свою смерть, и мою смерть, и смерть моих детей. Так она и заснула тогда за столом, положив голову на руки. Мне не хотелось ее тревожить, и я подумала о том, что она говорила про детей, и об этих фотографиях – маленькие застывшие детские тела, – и мне вдруг стало страшно и так жутко, как никогда прежде, хотя и прежде на меня уже столько много раз нападал такой мрак, такой мрак и во рту появлялся вкус смерти. Я пошла в комнату, где спали мои дети. На меня так сильно подействовали слова Ванды, что я не могла с собой совладать и – хотя понимала, что не надо этого делать, а все-таки сделала – разбудила Яна и Еву, взяла их обоих на руки, прижала к себе. Они были такие тяжелые – они ведь еще не проснулись, и хныкали, и что-то шептали, – а мне они почему-то казались легкими, наверно потому, что такое сильное у меня было желание держать их обоих. И еще потому, что во мне было столько много страха, столько отчаяния от слов Ванды про будущее: я ведь понимала, что она сказала правду, но что я могла поделать против чего-то такого чудовищного, такого огромного.

За окном было холодно и черно, ни огонька во всей Варшаве – холодный и такой неопишимо черный город, и только ночь, и мокрый снег, и ветер. Помню, я открыла окно и впустила в комнату ледяной воздух и ветер. Я сказать тебе не могу, как близко я была тогда к тому, чтобы выброситься вместе с детьми в черноту – и сколько много раз потом я проклинала себе за то, что это не сделала.

Вагон, который вез Софи, ее детей и Ванду в Аушвиц (вместе с участниками Сопротивления и просто поляками, попавшими в последнюю облаву), не принадлежал к числу обычных. Это не был товарный вагон или вагон для скота, какие немцы обычно использовали для подобного рода перевозок. Как ни удивительно, это был старый, но еще вполне годный для употребления спальный вагон с коридором, устланным ковром, с отдельными купе, с туалетами и небольшими металлическими ромбами над каждым окном, где на польском, французском, русском и немецком языках пассажиров призывали не высовываться. Судя по внутреннему убранству – по вытертым, но вполне еще удобным кушеткам, по причудливым, теперь уже далеко не блестящим лампам, – Софи понимала, что в почтенном вагоне некогда ездили пассажиры первого класса; если бы не одна особенность, это вполне мог быть один из тех вагонов, в которых она девочкой ездила с отцом, любившим путешествовать с шиком и не раз возившим семью в Вену, Больцано или Берлин.

Особенность же этого вагона – столь зловещая и гнетущая, что у Софи, когда она это увидела, на миг перехватило дыхание, – заключалась в том, что окна его были наглухо забиты досками. Другая особенность состояла в том, что в каждое

купе, предназначенное для шести-восьми человек, фашисты впихнули человек по пятнадцать-шестнадцать вместе с багажом. А в узком проходе в полутьме, тесно прижавшись друг к другу, стояло еще с полдюжины заключенных обоого пола – они то хватались друг за друга, когда поезд резко тормозил или ускорял движение, то падали на колени к сидящим. Двое-трое наиболее смекалистых из движения Сопротивления быстро приняли на себя руководство. Разработали график, согласно которому сидящие и стоящие менялись местами, – это принесло облегчение, но облегчения от удушливой жары, создаваемой множеством тел, сгрудившихся в купе, от кислого тошнотворного запаха, стоявшего в вагоне на протяжении всего пути, ничто принести не могло. Это была, конечно, не пытка, но по отчаянному неудобству нечто близкое к чистилищу. Ян и Ева, единственные дети в купе, по очереди сидели на коленях у Софи и у всех остальных. В почти лишенной света клетке кого-то начало рвать, и человеку стоило немалого труда и сил выбраться из купе и протиснуться по забитому людьми коридору в один из туалетов. «Уж лучше бы вагон для скота, – вспомнилось Софи, как простонал кто-то, – там хоть можно бы лечь». Однако по сравнению с другими составами, бороздившими в те времена Европу, направляясь в ад, – составами, которые на тысячах мертвых перекрестков времени и пространства и задерживали, и отводили в тупики, и загоняли на запасные пути, – поезд, везший Софи, ехал не так уж долго: в обычное время путешествие длилось бы с шести утра до полудня, сейчас же на него ушли не дни, а всего лишь сутки с четвертью.

Возможно, потому (а Софи признавалась мне в этом снова и снова), что она всегда исходила не из реальности, а из того, как ей хотелось бы думать, она пыталась в какой-то мере успокоить себя тем, что фашисты везли ее и других таких, как она узников в столь необычном вагоне. К тому времени все уже знали, что нацисты перевозят людей в лагеря, пользуясь товарными вагонами и вагонами для скота. И вот теперь, очутившись с Яном и Евой в этом хоть и старом, но все же первоклассном вагоне, Софи тотчас поспешила отбросить вполне логичную мысль о том, что ее тюремщики воспользовались таким вагоном просто потому, что он оказался под рукой (наскоро заколоченные досками окна должны были бы подсказать ей такой вывод). Софи же вместо этого изобрела более успокоительное объяснение: раз, мол, она едет чуть ли не в салон-вагоне, где благополучные поляки и богатые туристы клевали носом и дремали в предвоенные дни, – это признак особой привилегии; значит, с ней обойдутся лучше, чем с тысячью восьмьюстами евреями из Малькини, которых везли в голове поезда в запломбированных черных вагонах для скота, где они в страшной тесноте находились уже не один день. Как потом выяснилось, надежды эти оказались столь же нелепыми и фантастическими (и в общем-то постыдными), как и ее мысли, связанные с гетто, а она думала, что само наличие евреев в Варшаве и одержимость нацистов идеей их истребления уже гарантирует ей безопасность. И является спасением для Яна и Евы.

Название «Освенцим-Аушвиц», шепотом проползшее по купе, наполнило ее таким страхом, что она едва не потеряла сознание, хоть и раньше ни секунды не сомневалась, что именно туда идет поезд. Заметив крошечную полоску света между досками, которыми было забито окно, она прильнула глазом к тоненькой щелки и по тому, что увидела в первый же час пути при свете пробуждающегося утра, сумела определить направление: их везли на юг. Прямо на юг – мимо деревенок, окружающих, вместо обычных пригородов, Варшаву, прямо на юг мимо зеленеющих полей и березовых рощ, – на юг, к Кракову. Из всех возможных мест заточения только Освенцим находился на юге, и Софи вспомнила, какое она почувствовала отчаяние, когда собственными глазами увидела, куда они едут. Репутация Освенцима была зловещая, мерзкая, жуткая. Хотя в гестаповской тюрьме то и дело возникали слухи о том, что их отправят в Освенцим, Софи все надеялась на другое и молилась, чтобы их послали в трудовой лагерь в Германию, куда уже отправили столько поляков и где, по другим слухам, людей содержали в менее жестоких, менее бесчеловечных условиях. Но по мере того, как Освенцим приближался с неотвратимой неизбежностью и становилось ясно, что в этом поезде его не миновать, Софи начало душить сознание, что она попала в число жертв «заодно», что пострадает она случайно. И она снова и снова твердила про себя: «Я не должна здесь быть». Если бы, на свою беду, она не попала в облаву вместе с многими подпольщиками (злополучное стечение обстоятельств, осложненное ее дружбой с Вандой и тем, что они жили в одной квартире, хотя Софи и пальцем не шевельнула, чтобы помочь Сопротивлению), ее могли бы признать виновной в серьезном преступлении – контрабандном провозе окорока, но не в столь страшном преступлении, как подрывная деятельность, и тогда ее не везли бы в это неслыханно враждебное человеку место. Но среди прочих иронии судьбы, поняла Софи, было и то, что ее не судили и не признали в чем-то виновной, а лишь допросили и забыли. А потом швырнули сюда вместе с партизанами, и она стала жертвой не столько какого-то особого карающего правосудия, сколько вселенской ярости, сумасшедшей жажды проявить неограниченное господство и силу порабощения, которая нападала на нацистов всякий раз, как им удавалось одержать победу над движением Сопротивления, и которая на этот раз распространилась на несколько сот несчастных поляков, попавших в капкан этой последней облавы, устроенной дикарями.

Отдельные детали этого путешествия Софи запомнила особенно четко. Смрад, духота, бесконечная смена положения – вставай, садись, снова вставай. Неожиданная остановка поезда – и сверху на голову летит коробка, не оглушает, даже не причиняет особой боли, но на макушке вскакивает шишка величиной с яйцо. Вид, открывающийся в щелку: весеннее солнце скоро исчезло, сменившись мелким дождем, и сквозь тонкую пленку дождя – березы, еще не отошедшие после убийственных зимних снегопадов, изогнувшиеся белыми арками в виде луков, рогаток, тонких сломанных скелетов, повисших хлыстов. И всюду

лимонно-желтые пятнышки куриной слепоты. Поля, покрытые нежной зеленью, которая вдали сливалась с зеленью хвойных и лиственных лесов. Снова солнце. Книжки, которые Ян, сидя у нее на коленях, пытался при слабом свете читать: «Швейцарские Робинзоны»[345] по-немецки; польские издания «Белого Клыка»[346] и «Пенрода и Сэма».[347] Два сокровища, которые Ева наотрез отказывалась положить в сетку для багажа, а отчаянно прижимала к себе, словно боялась, что их могут в любой момент отнять: флейта в кожаном футляре и Миша – одноухий, одноглазый медведь, который с колыбели был всегда при ней.



Сильный дождь на улице – настоящий потоп. Теперь запах рвоты – всепроникающий, неистребимый, сырноватый. Соседи по купе: две испуганные девочки из монастырской школы, лет шестнадцати или около того, всхлипывают, спят, просыпаются, шепчут молитвы пресвятой деве; Виктор, черноволосый, кипучий, ожесточенный боец Армии Крайовой, уже замышляет восстание или побег и без конца строчит на обрывках бумаги записки Ванде, которая едет в другом купе; сухонькая старушка, лишившаяся ума от страха, утверждает, что она – племянница Венявского, утверждает, что свернутый трубочкой пергамент, который она прижимает к груди, – оригинал знаменитого «Полонеза», утверждает, что имеет право на неприкосновенность, и принимается плакать, как девочка-школьница, когда Виктор грубо бросает ей: нацисты подотрутся вашим «Полонезом», никому он не нужен. От голода начинает подводить живот. Есть абсолютно нечего. Другая старушка, уже отошедшая в мир иной, лежит в коридоре, там, где ее настиг сердечный приступ, в застывших руках – крест, а белое как мел лицо все в пятнах от следов сапог и башмаков, шагавших через нее или мимо. Снова к щелке: ночной Краков, знакомая станция,

залитые луной железнодорожные пути, где они стоят час за часом. В зеленоватом лунном свете – отвратительное зрелище: германский солдат в своей feldgrau[348] форме, с автоматом, перекинутым через плечо, мастурбирует на сумеречных пустынных путях и, скалясь, демонстрирует свою мощь любопытным, или безразличным, или хихикающим узникам, которым случилось наблюдать его в щели. Час сна и – яркое утро. Переезд через Вислу, мрачную, дымящуюся от испарения. Софи узнает два городка, пока поезд идет на запад сквозь золотое, словно пронизанное пылью утро: Скавину и Затор. Ева впервые за все время заплакала – от голодных спазм в животе. Молчи, детка. Еще несколько минут забытья, в которое врзается солнечный, роскошный, захватывающий дух, дивный сон: в длинном платье, с диадемой в волосах, она сидит за роялем перед десятью тысячами зрителей и однако же – как ни странно – летит, летит, рвется ввысь, к свободе, даруемой божественными аккордами «Императорского концерта».[349] Веки, дрогнув, приоткрываются. Грохот, скрежет тормозов, остановка. Освенцим.



Они пробыли в вагоне большую часть дня. Довольно скоро генераторы перестали работать: лампочки в купе погасли, единственным освещением остался молочно-белый свет, сочившийся сквозь щели в досках, которыми было забито окно. Откуда-то издалека донеслись звуки оркестра. По вагону пробежала дрожь паники – почти ощутимая, как мороз, покрывающий пупырышками кожу, и в полутьме возник встревоженный шепот – хриплый, нарастающий, но почти столь же непонятный, как шорох целой армии листьев. Девочки из монастырской школы взвыли в унисон, призывая святую мать божью. Виктор прикрикнул на них; в тот же миг Софи услышала голос Ванды, донесшийся с другого конца

вагона, умолявший подпольщиков соблюдать спокойствие, соблюдать тишину, – голос, придавший ей мужества.

В первой половине дня пришла весть об участии, постигшей сотни и сотни евреев из Малькини, которые ехали в передних вагонах. «Всех евреев – в фургоны», – пришла записка Виктору, записка, которую он громко прочел в полумраке и которую Софи, настолько оупевшая от страха, что она даже забыла утешения ради прижать к себе Яна и Еву, тотчас мысленно перевела для себя: «Всех евреев отправили в газовые камеры». И Софи вместе с девочками из монастырской школы принялась молиться. В молитву ее ворвался громкий плач Евы. Дети держались молодцом на протяжении всего пути, но сейчас голод стал причинять девочке подлинные страдания. Она кричала как резаная – Софи качала ее, пытаясь успокоить, но ничто не помогало: крики девочки на какое-то время даже затмили для Софи мысль об обреченных на смерть евреях. Но вот крики прекратились. Как ни странно, помог Ян. Он умел обращаться с сестренкой и сейчас взялся за дело – сначала что-то говорил ей на им одним известном языке, потом придвинулся поближе со своей книжкой. И при бледном свете принялся читать ей историю Пенрода – о приключениях маленького мальчика в зеленом райском американском захолустье; Ян даже хихикал, его высокий певучий дискант мягко убаюкивал, а Ева к тому же устала и потому быстро заснула.

Прошло несколько часов. День уже стал клониться к вечеру. Наконец к Виктору поступила еще одна записка: «Первый вагон аковцев – в фургоны». Это означало лишь одно: несколько сотен солдат, находившихся в одном из передних вагонов, отправили, как и евреев, в Биркенау и в крематории. Софи уставилась в пространство, сжала руки на коленях и приготовилась к смерти, полная неизъяснимого ужаса и в то же время впервые – благостного горького смирения. Старушка, племянница Венявского, впала в коматозную оторопь, измятые страницы «Полонеза» рассыпались, из уголков ее губ на подбородок вытекли струйки слюны. Много позже, пытаясь восстановить в памяти эту минуту, Софи пришла к выводу, что, наверное, и сама потеряла сознание, ибо помнила уже только, как полуослепшая от яркого света стояла на платформе с Яном и Евой перед хауптштурмфюрером доктором Фрицем Йемандом фон Нимандом.[350]

Софи, естественно, не знала его имени, да никогда больше его и не видела. Это я окрестил его Фрицем Йемандом фон Нимандом, потому что такое имя показалось мне вполне подходящим для эсэсовского врача – человека, возникшего перед Софи словно ниоткуда и точно так же навеки исчезнувшего с ее горизонта, однако оставившего после себя несколько своеобразных следов. Один из следов – воспоминание о его сравнительной молодости: тридцать пять, сорок лет – и неуместной, тонкой, волнующей красоте. Собственно, доктор Йеманд фон Ниманд, его внешность, его голос, его манеры – все это останется с Софи навсегда. Как и его первые обращенные к ней слова: «Ich möchte mit dir

schlafen». ЧТО означает предельно прямо и откровенно: «Я хотел бы переспать с тобой». Нудно-пошлая фраза, произнесенная с позиции устрашающего превосходства – ни тонкости, ни пошиба, сухо и жестко, так мог бы сказать нацистский Schweinehund[351] из второсортного фильма. Но именно такими, по свидетельству Софи, были его первые слова. Отвратительно для врача и джентльмена (быть может, даже аристократа), хоть он и был тогда явно и бесспорно пьян, чем и можно объяснить подобную грубость. Софи с первого взгляда решила, что он, пожалуй, аристократ – возможно, прусских корней, а то и сам пруссак, – ибо уж очень он был похож на одного офицера – крупного землевладельца, друга ее отца, которого она видела однажды, когда они ездили летом в Берлин – ей было тогда шестнадцать лет. Ярко выраженный «нордический» тип, по-своему привлекательный: тонкие губы, высокомерный, чопорный; и хотя во время их краткой встречи молодой офицер держался с ней холодно-безразлично, чуть ли даже не презрительно, на грани грубости, однако она не могла не поддаться обаянию его поразительной красоты, чем-то не столько женственным, а скорее по-женски мягким в выражении его спокойного лица. Он немного походил на осолдафоненного Лесли Ховарда, к которому она питала слабость с тех пор, как видела фильм «Окаменевший лес». Хотя тот немецкий офицер и вызвал у нее тогда неприятное чувство и она была рада, что никогда больше не встречалась с ним, позднее он то и дело тревожил ее воспоминания: «Будь он женщиной, меня бы, наверное, потянуло к такому человеку». И вот теперь перед ней стоял его двойник, почти точная его копия в фуражке эсэсовца, чуть сдвинутой набок, – стоял на пыльной бетонной платформе в пять часов дня, красный от вина, или коньяка, или шнапса, и ленивым тоном патриция с берлинским акцентом произносил совсем



непатрицианские слова: «Я хотел бы переспать с тобой».

Софи никак на это не реагировала, но, пока он говорил, она подметила одну весьма несущественную деталь, которая, однако же, врезалась ей в память – еще один призрачный след, оставленный доктором, – деталь, которая всегда

будет живо возникать в ее мозгу, выскакивая из мутного моря впечатлений того дня: несколько вареных рисинок на лацкане эсэсовского мундира. Их было всего четыре или пять – еще блестящие от жира, они походили на крошечные личинки. Она смотрела на них как зачарованная, и тут до нее вдруг дошло, что оркестр играет в честь прибывших узников – вразнобой и безбожно фальшивя, однако даже там, в темном вагоне, терзая нервы эротической печалью и подчеркнутой ритмичностью, – аргентинское танго «Ла кумпарсита». Как же она раньше его не узнала? Ям-пам-пам-пам!

– Du bist eine Polack, – сказал доктор. – Bist du auch eine Kommunistin?[352]

Софи обхватила Еву за плечи одной рукой, другой обняла за талию Яна и ничего не ответила. А доктор рыгнул и более резко отчеканил:

– Я знаю, что ты полька, но ты тоже из этих грязных коммунистов?

И, не дожидаясь ответа, повернулся в своем дурмане к следующим узникам, казалось тотчас забыв про Софи.



Ну почему она не сыграла дурочку?
Nicht spricht
Deutsch.[353] Это
могло бы их спасти.
Ведь столько
столпилось вокруг
народу. Не ответь она
ему по-немецки, он
бы, возможно,
пропустил их всех
троих. Но тогда
существовал такой
неумолимый факт, как
страх, и страх заставил
ее поступить
неразумно. Она знала

то, чего в своем слепом и благостном невежестве некоторые евреи, прибывшие туда, не знали. А она знала это благодаря знакомству с Вандой и другими и боялась превыше всего: она знала про селекцию. И как раз сейчас она и ее дети проходили сквозь пытку, о которой она слышала – об этом десятки раз шепотом рассказывали в Варшаве, – но которая казалась ей такой немыслимой и настолько к ней самой неприменимой, что Софи выкинула мысль об этом из головы. И тем не менее вот она стоит сейчас на платформе, и перед ней – доктор.

А там – совсем рядом, за крышами товарных вагонов, в которых еще недавно ехали обреченные на смерть евреи из Малькини, – находится Биркенау, и доктор может послать туда, в адскую печь, любого, кого пожелает. Эта мысль повергла Софи в такой ужас, что она не выдержала и, вместо того чтобы смолчать, произнесла:

– Ich bin polnisch! In Krakau geboren! [354] – И беспомощно залепетала: – Я не еврейка! И дети мои – они тоже не евреи. – И добавила: – Они чистой расы. Они творят по-немецки. – И под конец объявила: – Я христианка. Я верующая католичка.

Доктор снова повернулся к ней. Брови его приподнялись, и он без улыбки посмотрел на Софи пьяными, влажными, разбегающимися глазами. Он стоял так близко, что теперь она отчетливо почувствовала запах алкоголя – кисловатый дух пшеницы или ячменя, – у нее не хватило силы воли ответить на его взгляд. В эту минуту она поняла, что сказала что-то не то, что это может обернуться роковой ошибкой. Она на секунду отвернула лицо – рядом шеренга узников медленно шагала по голгофе селекции, и она увидела Заорского, учившего Еву играть на флейте, в тот миг, когда решалась его судьба, – видела еле заметный кивок докторской головы, отославший его налево, в Биркенау, она снова повернула лицо к доктору Йеманду фон Ниманду и услышала:

– Так, значит, ты не коммунистка. Ты верующая.

– Ja, mein Hauptmann. [355] Я верю в Христа. – Какой идиотизм! По манере держаться, по взгляду доктора – а в его глазах появилось напряженное свечение – она почувствовала: все, что она говорит, не только не помогает ей, не только не защищает, а почему-то стремительно ведет к развязке. И она подумала: «Да порази же меня немотой!»

Доктор не очень твердо держался на ногах. Он на секунду качнулся к нижнему чину, стоявшему с блокнотом в руке, и, сосредоточенно ковыряя в носу, что-то ему прошептал. Ева, изо всех сил вцепившаяся в ногу Софи, заплакала.

– Значит, ты веруешь в Христа, нашего Искупителя? – сказал доктор, с трудом ворочая языком, но как-то странно, отвлеченно, словно лектор, исследующий не слишком хорошо освещенную грань логического построения. Затем произнес фразу, в ту минуту абсолютно непонятную: – Разве он не сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им»? [356] – И рывком, дернувшись с методичной расчетливостью пьяного, снова повернулся к Софи.

Чувствуя, что с языка готова сорваться глупость, но потеряв от страха дар речи, Софи только хотела попытаться что-то сказать, как доктор объявил:

– Одного ребенка можешь оставить при себе.

– Bitte?[357] – сказала Софи.

– Одного ребенка можешь оставить при себе, – повторил он. – Другого отдай. Которого оставляешь?

– Вы хотите сказать, я должна выбрать?

– Ты же не еврейка, а полька, поэтому тебе дается право выбрать.

Поток ее мыслей захлебнулся и остановился. Она почувствовала, как у нее подгибаются колени.

– Я не могу выбрать! Не могу! – Она закричала. О, как отчетливо помнила она свой крик! Истязаемые ангелы никогда не кричали так в аду. – Ich kann nicht wählen![358] – кричала она.

Доктор заметил, что привлекает к себе внимание.

– Заткнись! – приказал он. – Выбирай, и быстро. Выбирай, черт бы тебя подрал, или я их обоих отправлю туда. Живо!

Она не могла этому поверить. Она просто не могла поверить, что стоит, не чувствуя боли, обдирая колени, на бетонной платформе, так крепко прижав к себе детей, что казалось, их плоть должна врасти в ее плоть, несмотря на разделявшую их одежду. Она не верила – никак не могла поверить, словно лишилась рассудка. Не верил, судя по глазам, и сухопарый молодой роттенфюрер с восковым лицом, помощник доктора, к которому она иочему-то



вдруг обратила молящий взгляд. Он, казалось, был ошарашен, на нее смотрели широко раскрытые озадаченные глаза, точно он хотел сказать: «Я тоже не могу этого понять».

– Не заставляйте меня делать выбор, – услышала она собственный молящий шепот, – я не могу выбрать.

– Тогда обоих – туда, – сказал доктор своему помощнику. – Nach links.[359]

– Мама! – услышала она тоненький, пронзительный голосок Евы, когда, оттолкнув от себя ребенка, она,

пошатываясь, неуклюже поднялась с колен,

– Берите малышку! – выкрикнула она. – Берите мою дочку!

И тогда помощник доктора – осторожным, мягким жестом, который Софи тщетно будет пытаться забыть, – потянул Еву за руку и повел прочь, к легиону обреченных, ожидавших своей судьбы. А перед мысленным взором Софи навсегда остался подернутый пеленой образ девочки, которая с мольбой все смотрела и смотрела назад. От крупных обильных соленых слез Софи почти ослепла, и ей не запомнилось выражение лица Евы, за что она до конца своей жизни будет благодарна судьбе. Ибо, если быть до конца честной, в глубине души она признавала, что не могла бы этого вынести – ее и так чуть не до безумия доводило воспоминание о маленькой фигурке, исчезавшей вдаль.

– Ева так и ушла, прижимая к себе своего Мишу и свою флейту, – сказала мне Софи, заканчивая рассказ. – И многие годы потом я не могла слышать этих двух слов и не могла произносить их ни на одном языке.



С тех пор как Софи поведала мне все это, я часто размышлял над феноменом, который представлял собою доктор Йеманд фон Ниманд. Это был по меньшей мере фанатик, человек спортивного интереса: конечно же, то, к чему он принудил Софи, не могло значиться ни в каких правилах эсэсовцев. Изумление мальчишки-роттенфюрера говорило об

этом. Должно быть, доктор долго ждал появления такой Софи с детьми в надежде осуществить свою гениальную затею. И мне думается, в глубине своей жалкой душонки он отчаянно жаждал заставить Софи или кого-то вроде нее – какого-нибудь христианина с нежной, легкоранимой душой – совершить грех, которому нет прощения. В этом страстном желании заставить кого-то совершить такой ужасный грех и состоит, по-моему, исключительность, пожалуй, даже уникальность доктора – то, что выделяет его среди прочих автоматов-эсэсовцев: плохой он был человек или хороший, но он обладал потенциальной способностью творить добро, как и зло, и двигала им религиозность.

Почему я называю это религиозностью? Возможно, потому, что он с таким вниманием отнесся к словам Софи о том, что она – верующая. Но не рискну пойти в своих утверждениях дальше, из-за одного штриха, который немного позже добавила к своему рассказу Софи. Она сказала, что в смутные дни, последовавшие за ее прибытием в лагерь, она находилась в таком шоке – была настолько покалечена тем, что произошло на платформе, и последующим уводом Яна в Детский лагерь, – что с трудом сохраняла разум. И тем не менее однажды в бараке до ее сознания дошел разговор между двумя поступившими к ним немецкими еврейками, которым каким-то образом удалось пройти селекцию и выжить. По их описанию ясно было, что доктор, о котором они говорили – благодаря кому остались живы, – был тем же человеком, что отправил Еву в газовую камеру. Софи особенно четко запомнилось следующее: одна из женщин была из той части Берлина, которая называется Шарлоттенбург, и она сказала, что с юности хорошо помнит доктора. Он не узнал ее на платформе. А она не настолько была с ним знакома, хоть они и жили по-соседству. И она вспомнила о двух вещах – помимо его поразительно красивой внешности, – двух вещах, которые почему-то сохранились у нее в памяти: доктор был исправным богомольцем и в свое время собирался стать священником. Но корыстолюбивый папаша заставил его заняться медициной.

И другие воспоминания Софи указывают на то, что доктор производил впечатление человека верующего. Или по крайней мере несостоявшегося верующего, жаждущего искупления, стремящегося вернуть себе веру. Намекает на это, к примеру, его пьянство. На основании сохранившихся архивов можно сделать вывод, что офицеры-эсэсовцы, включая врачей, при исполнении своих обязанностей держались с поистине монашеской строгостью – отличались трезвостью и твердо следовали правилам. Работа же палачей на наиболее примитивном уровне – главным образом возле крематориев – побуждала употреблять большое количество спиртного, и этим кровавым делом обычно занимались простые солдаты, которым разрешалось (а часто они просто не могли без этого обойтись) напиваться до одурения, когда они были в деле. Офицеров-эсэсовцев избавляли от этих обязанностей – от них, как и от офицеров всех других родов войск, требовалось достойное поведение, особенно при исполнении служебных обязанностей. Как же в таком случае Софи могла встретить такого доктора, как Йеманд фон Ниманд, находившегося в состоянии прострации, настолько пьяного, что глаза у него смотрели в разные стороны, и настолько неаккуратного, что на отворотах его мундира виднелись жирные рисинки от, по всей вероятности, долгого и обильно политого вином застолья? Ведь для доктора находиться в таком состоянии было крайне опасно.

Мне все время казалось, что Софи столкнулась с доктором Йемандом фон Нимандом в весьма кризисный для него период: он треснул как бамбук и начал рассыпаться в тот момент, когда стал искать душевного спасения. О

последующей карьере фон Ниманда можно лишь строить предположения, но если он был хоть сколько-нибудь похож на своего шефа Рудольфа Хесса и на эсэсовцев вообще, то он подделывался под Gottgläubiger, иными словами: отбросил христианство, продолжая, однако, делать вид, будто верит в бога. Но как можно верить в бога, когда ты на протяжении долгих месяцев применял свою науку в столь гнусном месте? Ожидая бесчисленные поезда со всех концов Европы, а потом отсеивая дееспособных и здоровых от трагических сонмищ калек, беззубых и слепых, слабоумных и эпилептиков, и нескончаемой череды беспомощных стариков и беспомощных детей, не мог он не знать, что машина поставки рабов, которую он обслуживал (собственно, гигантская бойня, изрыгающая останки, некогда бывшие людьми), была издевательством над богом и его отрицанием. А кроме того, доктор, по сути дела, был вассалом концерна «И. Г. Фарбен». Не мог он сохранить веру, находясь в таком месте. Он должен был заменить бога верой во всемогущество бизнеса. А поскольку подавляющее большинство тех, над кем он творил суд, были евреи, какое же он, должно быть, почувствовал облегчение, когда поступил новый приказ Гиммлера: истреблять всех евреев без исключения. Значит, ему уже не придется больше проводить селекцию. Он сможет покинуть эти ужасные платформы и заниматься более обычным для медика делом. (Как ни трудно поверить, но Аушвиц был столь огромен по протяженности и столь многообразен, что медики трудились в нем и на благо людей, а не только производили неслыханные опыты, от которых – если считать, что доктор фон Ниманд был человеком чувствительным, – он бы наверняка постарался держаться в стороне.)

Но приказы Гиммлера довольно скоро были отменены. Ненасытная утроба «И. Г. Фарбен» требовала человеческого сырья, и злополучный доктор снова вышел на платформы. Вновь предстояли селекции. Скоро одни только евреи пойдут в газовые камеры. Но, пока не поступит окончательного приказа, евреи и «арийцы» будут проходить селекцию. (Будут случайные исключения по капризу судьбы, в число которых попадут и евреи из Малькини.) Возобновившийся кошмар стальной пилой вгрызался в душу доктора, грозя разрезать его разум на куски. Он начал пить, стал неряшливо есть и потерял связь с богом. Wo, wo ist der lebende Gott?[360] Где он, бог моих отцов?

И, конечно, в конце концов ответ пришел к нему, и я подозреваю, настал день, когда он сделал открытие, озарившее его надеждой. Это касалось проблемы греха или, вернее, отсутствия греха и осознания того, что отсутствие греха и отсутствие бога неразрывно связаны между собой. Греха нет! Участвуя в поистине скотских преступлениях, доктор страдал теперь от скуки и страха и даже отвращения, но не от сознания совершенного греха; не сознавал он и того, что, посылая тысячи невинных страдальцев в небытие, он преступал божественный закон. Все для него сводилось к несказанному однообразию. Все свои безнравственные поступки он совершал по-деловому, в атмосфере, где

отсутствовали грех и бог, тогда как душа его жаждала благодати.

Не проще ли было бы в таком случае вернуть себе веру в бога и одновременно утвердить свою человеческую способность творить зло, совершив самый страшный грех, какой только он способен был измыслить? Добро придет позже. Сначала – великий грех. Грех, все величие которого – в изощренном великодушии: право на выбор. В конце-то концов у него достаточно было власти, чтобы отобрать у Софи обоих детей. Только этим я могу объяснить то, что доктор Йеманд фон Ниманд сотворил с Софи, когда она предстала перед ним со своими двумя детишками первого апреля, в День дураков, под бешеные ритмы танго «Кумпарсита», нестройно гремевшие в сгущавшихся сумерках.

Шестнадцатое

Всю жизнь я был склонен к неподвластной разуму дидактике. Одному богу известно, в какие ужасающие бездны неловкости я на протяжении лет погружал свою семью и друзей, которые из любви ко мне терпели часто нападавшую на меня придурь и более или менее успешно скрывали зевок, легкое потрескивание челюстной кости и появление влаги у выхода слезного канала – знаки смертельной борьбы со скукой. Но в тех редких случаях, когда момент выбран правильно, а аудитория вполне подготовлена, моя энциклопедическая способность говорить и говорить о том или ином предмете неплохо мне служит: в такую минуту, когда не требуется спасительного проявления остроумия, ничто не может оказать на слушателя более успокоительного воздействия, чем ненужные факты и пустая статистика! Я использовал все свои познания – подумать только! – о земляных орехах, чтобы завладеть вниманием Софи в тот вечер в Вашингтоне, когда мы неторопливо шли мимо залитого светом прожекторов Белого дома, а потом кружным путем отправились в ресторан Герзага, к «лучшим в городе заливным крабам». После того, что она мне рассказала, земляные орехи казались вполне подходящей темой – отталкиваясь от нее, можно было натянуть новые нити общения. Ибо за два часа, прошедших после рассказа Софи, я, по-моему, едва ли сумел сказать ей больше трех или четырех слов. Да и она была не слишком разговорчива. А земляные орехи наконец дали мне возможность нарушить наше молчание, попытаться пробиться сквозь нависшее над нами облако депрессии.

– Земляной орех – это вовсе не орех, – пояснил я, – а что-то вроде гороха. Это двоюродных брат гороха и бобов с одним существенным отличием: развиваются плоды под землей. Земляной орех – растение однолетнее, невысокое. У нас в Соединенных Штатах выращивают в основном три вида земляного ореха: виргинский крупноплодный, ползучий и испанский. Земляным орехам требуется много солнца и долгий безморозный период созревания. Потому они и растут на юге. Основные штаты, где выращивают земляной орех, – в порядке значимости –

это Джорджия, Северная Каролина, Виргиния, Алабама и Техас. Был такой невероятно одаренный негритянский ученый по имени Джордж Вашингтон Карцер, который изобрел десятки способов применения земляного ореха. Помимо того, что земляной орех просто идет в пищу, он применяется еще в косметике, для изготовления пластиков, изоляционных материалов, взрывчатых веществ, некоторых медикаментов и еще уймы всяких вещей. Земляному ореху обеспечено огромное будущее, Софи, и я думаю, что наша маленькая ферма станет расти и расти и очень скоро мы не только сможем сами себя кормить, но, возможно, даже разбогатеет – во всяком случае, будем очень неплохо существовать. Мы уже не будем зависеть в смысле хлеба насущного от «Альфреда Кнопфа» или «Харпера с братьями».[361] Почему я тебе рассказываю про земляной орех – да просто потому, что он будет владетельным князем нашего поместья и тебе время от времени придется прикладывать руку к управлению делом. Дальше – что касается произрастания земляного ореха, то семена после окончания заморозков закладывают в землю на расстоянии трех-десяти дюймов друг от друга, рядами, оставляя между ними пространство в два фута. Созревают орехи обычно через сто двадцать – сто сорок дней после того, как семена посажены в почву...

– Знаешь, Язвинка, я сейчас о чем-то подумала, – сказала Софи, врываясь в мой монолог. – О чем-то очень важном.

– О чем же? – спросил я.

– Я ведь не умею водить. Я не умею водить машину.

– Ну и что?

– Но мы же будем жить на ферме. По твоим словам, очень далеко от всего. И мне надо уметь водить машину, верно? В Польше я этому не училась – у нас так мало людей имели машины. И потом, люди у нас учатся водить, когда



они уже много старше. А здесь... Натан говорил, что научит меня, но никогда не научил. А мне, безусловно, надо будет научиться.

– Это легко, – ответил я. – Я тебя научу. У нас там уже есть грузовичок-пикап. Да и вообще, в Виргинии не придираются, не спрашивают на каждом шагу водительские права. Господи, – вдруг вспомнил я, – да ведь я, помнится, получил права в четырнадцать лет. То есть я хочу сказать: все было вполне законно!

– Четырнадцать? – переспросила Софи.

– Господи, я и весил-то всего около девяноста фунтов и едва мог что-либо видеть поверх руля. Помню, полицейский, который принимал экзамен, посмотрел на моего отца и сказал: «Это ваш сын или карлик?» Но права я все-таки получил. Это Юг... Даже в самых обычных вещах на Юге все совсем иначе. Взять, к примеру, возраст. На Севере такому мальчишке никогда бы не разрешили выдать водительские права. Такое впечатление, что на Юге человек раньше взрослеет. Как-то это, наверное, связано с изобилием, с ранним созреванием. Вроде этой шутки: кого в Миссисипи называют девственницей. Ответ: двенадцатилетнюю девчонку, которая бежит впереди отца.

Я снисходительно хихикнул в приливе благодушия, которое почувствовал впервые за долгие часы. И вдруг меня обуяла жажда осесть в округе Саутхемптон и заняться выращиванием земляного ореха – она была не менее настоящей, чем потребность проглотить несколько заливных «бабок» из крабов, которыми славится ресторан Герзага. И я принялся бездумно молотить языком, не столько позабыв то, о чем мне только что рассказала Софи, сколько, наверное, не подумав о зыбком умонастроении, которое создали в ней собственные признания.

– Вот что, – заявил я тоном священника, наставляющего паству, – я почувствовал по некоторым твоим замечаниям, что ты думаешь, будто ты будешь там чужестранкой. Но послушай, это же абсолютно не так. Возможно, поначалу люди и будут держаться несколько отчужденно и ты будешь волноваться по поводу твоего акцента и того, что ты иностранка, и так далее, но позволь сказать тебе, милая моя Софи: южане, как только узнают человека поближе, становятся самыми теплыми и самыми благорасположенными в Америке людьми. Это не хулиганы из больших городов, и они никого не запугивают. Так что не волнуйся. Конечно, нам придется немножко приспособиться. Как я уже тебе говорил, нам, я думаю, придется довольно скоро устроить свадьбу – понимаешь, чтобы по крайней мере избежать противных сплетен. Словом, как только мы немножко освоимся и познакомимся с соседями – на это потребуется несколько дней, не больше, – мы составим длинный список покупок, возьмем грузовичок и поедем в Ричмонд. Нам понадобится тысяча всяких вещей. Ферма полностью

укомплектована, но нам потребуется еще столько всякого разного. Например, как я тебе уже говорил, проигрыватель и куча пластинок. А потом такая мелочь, как свадебное платье. Тебе, конечно, захочется одеться по красивее для этой церемонии, так что мы походим в Ричмонде по магазинам. Ты не найдешь там парижских изделий высокого класса, но в городе есть отличные магазины...

– Язвинка! – резко оборвала она меня. – Прошу тебя! Прошу! Не спеши так про свадебное платье и все такое. Что, по-твоему, лежит у меня сейчас в чемодане? Что?! – Голос ее зазвенел, задрожал гневно, в нем звучала злость, которую она редко направляла на меня.

Мы остановились, и я повернулся к ней, чтобы лучше видеть ее лицо в сумерках прохладного вечера. В ее затуманенных потемневших глазах было столько горя – я в ту же минуту понял (и мне стало больно дышать), что сказал что-то совсем не то.

– Что же? – как идиот спросил я.

– Подвенечное платье, – мрачно ответила она, – подвенечное платье от «Сакса», которое купил мне Натан. Не нужны мне никакие подвенечные платья. Неужели ты не понимаешь?...

И тут я понял. К своему глубочайшему отчаянию, понял. Худо дело. В эту минуту я впервые почувствовал, какое нас разделяет расстояние – расстояние непреодолимое, чего я не признавал, строя иллюзорные мечты о любовном гнездышке на Юге, а разделяла нас широко разлившаяся река, исключаящая какую-либо возможность подлинного слияния. Во всяком случае, слияния в любви, которой я так жаждал. Натан. Все ее мысли были по-прежнему только о Натане – даже свадебные одежды, которые она везла с собой, имели для нее огромное – осязаемое и символическое – значение. И до меня вдруг дошла еще одна истина: до чего же нелепо было с моей стороны мечтать о свадьбе и сладких годах жизни с любящей женой на старой плантации, когда владычица моей страсти, которая стояла сейчас передо мной, усталая, с лицом, искаженным болью, таскала с собой в чемодане свадебный наряд, купленный, чтобы ублажить человека, которого она любила больше жизни. Боже, до чего я был глуп! Язык мой превратился в бетонную глыбу, я пытался произнести какие-то слова и не мог. За плечом Софи памятник Джорджу Вашингтону – ярко освещенный стилет, вонзенный в ночное небо, – купался в октябрьском тумане, и крошечные люди копошились у его основания. Я был такой слабый, надежды рухнули, и внутри у меня были одни осколки. С каждой отстукиваемой часами минутой Софи, казалось, со скоростью света удалялась от меня.

И однако же она вдруг прошептала что-то, чего я не понял, издала какой-то едва

слышный, шипящий звук, и прямо тут, на авеню Конституции, метнулась ко мне и прижалась к моей груди.

– Ох, Язвинка, дорогой, – зашептала она, – пожалуйста, прости меня. Я не собиралась на тебя кричать. И я хочу поехать с тобой в Виргинию, правда хочу. И мы завтра уедем вместе, верно? Просто, когда ты сказал, что мы женимся, мне стало так... так много тревожно. Так неуверенно. Неужели ты не понимаешь?

– Понимаю, – ответил я. И, конечно, я понял, хоть и слишком поздно из-за своего тугодумия. Я крепко обнял ее. – Конечно, понимаю, Софи.

– О да, мы поедем завтра на ферму, – сказала она, сжимая меня в объятиях, – правда поедем. Только не говори про свадьбу. Пожалуйста.

В этот миг я осознал также, что допустил некоторое искажение истины в своем недолгом припадке эйфории. Было что-то от эскепизма в моем упорном стремлении выставить на обозрение все прелести этого сада земных радостей у края Непролазного болота, где не жужжат мясные мухи, не ломаются насосы, не бывает неурожаев, не лоботрясничают на хлопковых полях нищенски оплачиваемые черные, не воняет свинячьим навозом; хоть я очень доверял мнению отца, но ведь милая старая ферма «Пять вязов» вполне могла оказаться убогой развалюхой, и не уйти мне от неминуемого позора, если я, так сказать, заманю Софи, как в капкан, в прогнивший дом на очередной Табачной дороге.[362] Но я поспешил выкинуть это из головы – о таком просто не могло быть и речи. Было и еще одно тревожное обстоятельство. Как ни неприятно, но теперь со всею очевидностью стало ясно, что недолгий всплеск хорошего настроения иссяк, кончился, прекратился. Когда мы двинулись дальше, мрак, окруживший Софи, казалось, стал зримым, осязаемым, словно туман, – протяни руку, и она станет влажной от этого тумана отчаяния.

– Ох, Язвинка, мне так ужасно хочется выпить, – сказала она.

Мы шли по вечерним улицам в полном молчании. Я перестал показывать Софи достопримечательности столицы, больше не изображал из себя туристского гида, как делал в начале наших бесцельных скитаний, чтобы немножко приободрить ее. Теперь мне стало ясно, что, сколько бы она ни старалась, ей не избавиться от того ужаса, который она не смогла удержать в себе в нашем маленьком гостиничном номере. Да и мне тоже. Здесь, на 14-й улице, где гулял холодный, пахнувший сидром и ранней осенью вечерний ветер и нас окружали залитые ярким светом элегантные, вытянутые в длину здания Л'Анфана,[363] мне стало ясно, что мы с Софи не способны сейчас оценить ни симметрию города, ни его атмосферу благостного покоя. Вашингтон вдруг увиделся мне образцовым американским городом, выхолощенным, геометрически разлинованным,

нереальным. Я столь полно слился с Софи, что чувствовал себя поляком и в моих артериях и венах, казалось, текла гнилая кровь Европы. Освенцим все еще властвовал в моей душе, как и в душе Софи. Неужели этому не будет конца? Не будет конца?

В итоге мы уселись за столиком, откуда был виден сверкающий, весь в лунных бликах Потомак, и я спросил Софи про ее сына. Я увидел, как она глотнула виски и лишь потом сказала:

– Я рада, что ты спросил меня, Язвинка. Я ждала, что ты спросишь, и хотела, чтобы ты спросил, потому что сама почему-то не могла про это заговорить. Да, ты прав. Я часто думала: если бы я только знала, что случилось с Яном, если бы я только могла разыскать его, это бы спасло меня – мне не было бы так грустно, как у меня бывает. Если бы я нашла Яна, может быть... ох, может быть, я бы избавилась от этих страшных чувств, от этого желания, которое было у меня и еще появляется... желанию покончить с жизнью. Сказать прощай этому месту, такому непонятному и такому странному и... и такому неправильному. Если бы только я могла отыскать моего мальчика, я бы спаслась.

Я даже, может быть, спаслась бы от чувства вины из-за Евы. В общем, я понимаю, я не должна считать себя плохой из-за того, что я так сделала. Я теперь вижу: это было – ну, понимаешь – не в моей власти, и все равно так страшно просыпаться утром и сразу вспоминать об этом и жить с этим. Если прибавить еще это ко всем моим другим скверным поступкам, становится совсем невыносимо. Просто невыносимо.



Много, много раз я все думала – может так быть, что Ян где-то жив. Если Хесс сделал, как обещал, может быть, Ян еще жив где-то в Германии. Только я не

думаю, чтобы мне удалось его найти – ведь прошло уже столько много лет. Они уничтожили биографии детей, которых взяли для Lebensborn, быстро сменили им имена, скорей-скорей сделали из них немцев – я теперь не знаю, где начать искать его. То есть если он действительно еще там. Когда меня привезли в Швецию, в центр беженцев, я только об этом и думала день и ночь: скорее поправиться, выздороветь, чтобы я могла поехать в Германию и найти моего мальчика. А потом я встретила эту польку – помню, она была из Кельце, – и у нее было такое много трагическое, затравленное лицо, я никогда не видела у человека такого лица. Она была узница из Равенсбрюка. Она тоже потеряла своего ребенка – девочку, ее тоже взяли для Lebensborn, и эта женщина после войны месяц за месяцем ходила по всей Германии, все искала, искала. Но она никогда не нашла свою маленькую девочку. Она говорила, никто никогда не нашел своих детей. И еще она сказала мне: худо, что она не нашла свою девочку, но самое страшное было искать ее, такая мука. Не ездите, говорила она мне, не ездите. Потому что, если поедете, будете видеть вашего ребенка везде в этих разрушенных городах, на каждом углу, в каждой группе школьников, в автобусах, которые проезжают мимо, в машинах, на детских площадках. Ваш ребенок будет глядеть на вас повсюду и будет махать вам, и вы позовете его и броситесь к нему, да только это будет не ваш ребенок. И ваше сердце будет рваться на части сто раз в день, а это даже хуже, чем знать, что твой ребенок умер...

Но если быть совсем честной, Язвинка, я ведь тебе говорила: я не думаю, что Хесс что-то сделал для меня, и я думаю, Ян остался в лагере, а если он там остался, то я уверена, он не есть живой. Когда я лежала совсем больная в Бжезинке в ту зиму перед концом войны, я тогда ничего этого не знала, я слышала после. Я была такая больная, я чуть сама не умерла... а эсэсовцы хотели избавиться от детей, их было несколько сотен – далеко, в Детском лагере. Русские уже подходили, и эсэсовцы хотели уничтожить детей. Почти все это были польские дети: еврейские дети были уже мертвые. Эсэсовцы думали сжечь их всех живыми в шахте или расстрелять, а потом решили сделать так, чтобы меньше осталось следов и доказательств. И вот в очень холодный день они повели детей к реке и заставили их снять одежду и прополоскать ее, как будто они постирали, а потом заставили их снова эту мокрую одежду надеть. А потом их отвели всех назад – на площадь перед бараками, где они жили, и построили на перекличку. Дети стояли в мокрой одежде. Перекличка шла много, много часов, а дети стояли мокрые и мерзли, и настала ночь. Все дети умерли оттого, что стояли в тот день на холоде. Умерли от холода и воспаления легких – очень так быстро. Я думаю, Ян, наверно, был среди них...

Но я не знаю, – произнесла под конец Софи, глядя на меня сухими глазами, однако еле ворочая языком, что всегда бывало с ней после нескольких стаканов спиртного, которое отягощало ее язык и одновременно приносило ее

истерзанному воспоминаниями мозгу благодатное, притупляющее муки забвение. – Не знаю, что есть лучше: знать, что твой ребенок умер, даже так очень страшно, или знать, что твой ребенок жив, но ты никогда, никогда больше его не увидишь? Я не знаю, что лучше. А если бы я сделала выбор, чтобы Ян пошел... пошел налево вместо Евы. От этого что-нибудь изменилось бы? – Она помолчала, глядя сквозь ночь на темные берега Виргинии, куда мы держали путь, такой умопомрачительно далекий во времени и пространстве от преследовавшего ее проклятия, от ее собственной, даже и в тот момент непостижимой для меня судьбы. – Ничто не изменило бы ничего, – сказала она. Софи не склонна была к театральным жестам, и впервые за все месяцы, что я знал ее, она повела себя так странно: приложила руку к груди и пальцами словно приподняла некий покров, обнажая бесконечно истерзанное – насколько это можно представить себе – сердце. – Только вот это, по-моему, изменилось. Оно так настрадалось, что стало каменное.

Я понимал, что мы должны как следует отдохнуть, прежде чем продолжить наш путь на ферму. С помощью всяких словесных ухищрений, включая сельские мудрости, одобренные разными южными шуточками, которые я сумел извлечь из своей памяти, мне удалось немножко развлечь Софи и довести наш ужин до благополучного конца. Мы пили, ели заливное из крабов и сумели забыть об Аушвице. К десяти часам вечера Софи была уже снова во власти пьяного дурмана и нетвердо держалась на ногах – как, кстати, и я, машинально вливший в себя немало пива, – так что назад в гостиницу мы доехали на такси. К тому времени, когда мы добрались до загаженных мраморных ступеней и пропахшего табаком холла гостиницы «Конгресс», Софи уже дремала у меня на плече и, обхватив меня за талию, тяжело висела на мне, пока мы поднимались на лифте к себе в номер. Без единого слова, не раздеваясь, она повалилась на осевшую под нею кровать и мгновенно заснула. Я накрыл ее одеялом и, раздевшись до трусов, лег рядом и мгновенно погрузился в небытие, словно меня огрели дубиной. Во всяком случае, на какое-то время. Потом пришли сны. Звук церковного колокола, прерывисто звонившего в моем сне, нельзя было назвать немзыкальным, но он звякал глухо, по-протестантски, словно был отлит из дешевых сплавов, – он врывался как демон, как голос греха, в мои сумбурные эротические видения. Его преподобие Энтуисл, накачавшийся «Будвейзером», лежавший в постели с женщиной, которая не была ему женой, чувствовал себя в этом незаконном качестве неуютно – даже по сне. ОБРЕЧЕН! ОБРЕЧЕН! – гудел злополучный колокол.

Должно быть, остатки кальвинизма и взятая мною на себя роль священника – да еще этот чертов колокол – повинны в том, что я оказался не на высоте, когда Софи разбудила меня. Было это, должно быть, около двух утра. Казалось бы, я должен был чувствовать себя как человек, чьи мечты сбылись, ибо и осязание мое и зрение подтверждали, несмотря на полутьму и на еще затуманенные сном

глаза, что Софи лежала рядом обнаженная, что она нежно обследовала языком мое ухо и одновременно ласкала. Было это во сне или наяву? Хотя мне и так уже было непостижимо сладко в этом подобии сна, сон мгновенно рассеялся, ибо я услышал шепот Софи:

– Ох, Язвинка, милый, скорее, я так хочу тебя.

И я почувствовал, как она потянула меня за резинку трусов...

Когда я проснулся, мое лицо было в луже солнечного света, и я инстинктивно потянулся, стремясь нащупать руку Софи, волосы, грудь, что угодно. Преподобный Энтуисл – если быть точным – был снова готов к бою. В последующие годы эти утренние поиски близкого существа, когда, еще не вполне проснувшись, протягиваешь руку, стали у меня своего рода павловским рефлексом. Но Софи исчезла. Исчезла! Ее отсутствие после столь полного (пожалуй, правильнее было бы сказать – единственного) слияния плоти, какого я в своей жизни еще не знал, было пугающим, почти осязаемым: еще не вполне очухавшись, я подумал, что это, наверное, от запаха, которых, словно испарения, остался в воздухе – мускусный запах, все еще провоцирующий, все еще похотливый. Я окинул сонным взглядом смятые простыни в изножье, не в состоянии поверить, что после столь бурных, столь счастливых и изнуряющих минут во мне еще оставалась мужская сила, заявляя о своем присутствии под выношенной, несвежей простыней. А потом меня захлестнула невероятная паника, ибо, бросив взгляд в висевшее с наклоном зеркало, я понял, что Софи нет в ванной и, значит, нет в номере вообще. Я выскочил из кровати, и головная боль после похмелья молотом ударила меня по черепу, а пока я сражался с брюками, меня охватила еще большая паника или, вернее сказать, ужас: колокол звонил уже наяву, и, сосчитав его удары, я понял – полдень! Мои истошные крики по дряхлому телефону ничего не дали. Полуодетый, бормоча про себя проклятья, обвинения себе и ей, исполненный самых мрачных предчувствий, я выскочил из номера и помчался по пожарной лестнице в холл, где единственный негр-посыльный орудовал мокрой тряпкой, стояли каучуконосы в кадках, продавленные кресла и полные окурков пепельницы. Там за стойкой клевал носом принимавший нас накануне старый чудаков, раздумывая о том, что уже, полдень, а в холле нет гостей. При виде меня он тотчас встрепенулся и принялся выкладывать новости, хуже которых я никогда не слыхал.

– Она сошла очень рано, ваше преподобие, – сказал он, – так рано, что ей пришлось меня будить. – Он посмотрел на посыльного: – Сколько, ты думаешь, было времени, Джексон?

– Да видать, около шести.

– Да, верно, было около шести. Только рассвело. И вид у нее, ваше преподобие, был хуже некуда. – Он помолчал, как бы извиняясь за дальнейшее. – Я хочу сказать, ну, в общем, такой был вид, точно она выпила несколько стаканов пива. И волосы у нее были во все стороны. Ну, словом, подошла она к телефону и вызвала междугородную – Бруклин, Нью-Йорк. Само собой, я не мог не слышать. Она с кем-то говорила – по-моему, с мужчиной. Потом заплакала и сказала ему, что сейчас же выезжает. Все звала его по имени – очень она была расстроена, ваше преподобие. Даттон, Джаттон. Что-то в этом роде.

– Натан, – произнес я и услышал, как голос дал петуха. – Натан! О господи Иисусе...

Симпатия, сочувствие – сплав чувств, вдруг показавшийся мне очень южным и старомодным, – отразились в глазах старого клерка.

– Да – Натан. Я не знал, что делать, ваше преподобие, – пояснил он. – Она пошла наверх, а потом спустилась со своим чемоданом, и вот этот Джексон отвез ее на Юнион-стейшн. Она была ужасно расстроенная, а я подумал про вас и хотел было... подумал, надо позвонить вам по телефону, но ведь было еще так рано. Да и потом, не хотел я вмешиваться. Я хочу сказать – не мое ведь это дело.

– О господи Иисусе, – донеслось до меня собственное бормотание. Я лишь мельком уловил вопросительный взгляд старика, который, будучи прихожанином второй баптистской церкви Вашингтона, был безусловно не подготовлен в подобным восклицаниям со стороны священника.

Джексон отвез меня наверх в стареньком лифте – я прислонился к его железной ребристой недружелюбной стене и в смятении закрыл глаза, не в состоянии поверить тому, что услышал, а тем более принять. «Наверняка, – думал я, – вот я сейчас вернусь, а Софи лежит в постели, юлтые волосы ее блестят в квадрате солнечного света, проворные любящие руки раскинуты, зовут меня к новым восторгам...»

Вместо этого я обнаружил в ванной записку, заткнутую за зеркало над умывальником. Нацарапанная карандашом, она свидетельствовала о весьма несовершенном знании письменного английского, на что Софи еще совсем недавно жаловалась мне, но также и о влиянии немецкого, которому она столько лет назад выучилась у своего отца в Кракове, а я до этой минуты не понимал, как прочно, словно карниз или тесаный камень в готике, закрепился этот язык в архитектурном здании ее ума.



Дорогой мой Язвинка, ты есть такой изумительный любовник мне очень неприятно уезжать и ты прости меня, что не попрощалась, но я должна вернуться к Натану. Поверь мне ты найдешь чудо-мадемуазель и будешь с ней счастлив на ферме. Я очень тебя люблю – ты не должен думать из-за этого, что я есть жестокая. Но когда я проснулась, я почувствовала себя так ужасно и в таком отчаянии из-за Натана, я хочу сказать – я так почувствовала свою вину, и столько много я думаю про смерть, что у меня как Eis, то есть лед, течет в моей Blut.[364] Так что я должна быть снова с Натаном – как будет, так и будет. Я, может, больше тебя не увижу, но поверь мне – очень много ты мне дал и много для меня значишь. Ты великий любовник, Язвинка. Я так плохо чувствую себя, а теперь пора ехать. Извини мой плохой English.[365] Я люблю Натана, но сейчас я чувствую такую большую ненависть к богу и к жизни. К ЧЕРТУ бога и все seiner Hēnde Werk.[366] И жизнь – туда же. И даже то, что осталось от любви.

Софи.

Так никогда и не выяснилось, что в точности произошло между Софи и Натаном, когда она в ту субботу вернулась в Бруклин. Поскольку она рассказала мне так подробно о том ужасном уик-энде в Коннектикуте прошлой осенью, наверное, только я – из тех, кто знал их обоих, – мог предполагать, что творилось в той комнате, где они встретились в последний раз. Но даже и я мог лишь догадываться – они не оставили ничего о своих последних минутах, что могло бы послужить ключом к разгадке. Как в большинстве неслыханных происшествий, было здесь бередающее душу «если бы», делавшее особенно мучительными размышления о том, как можно было бы предотвратить

случившееся. (Я-то лично думаю, что в конечном счете этого нельзя было предотвратить.) Основная масса предположений была связана с Моррисом Финком, хотя он – при его ограниченных способностях – и повел себя куда умнее, чем можно было ожидать. Никто так и не установил, когда Натан на протяжении этих тридцати шести часов – после того как мы с Софи сбежали, а потом она вернулась к нему – снова появился в доме Етты. Все-таки странно, что Финк, который так долго и так неусыпно наблюдал за всеми, кто приходил и уходил из этого дома, не заметил, как Натан вернулся и заперся в комнате Софи. Но потом он упорно твердил, что не видел Натана, и у меня нет оснований не верить ему или не верить его утверждениям, что он не заметил, когда Софи в свою очередь вошла в дом. Если предположить, что в расписании железной дороги и метро не произошло никаких случайностей или задержек, она, очевидно, вернулась в Розовый Дворец около полудня, в тот же день, когда уехала от меня из Вашингтона.

Я так критически отношусь к утверждениям Финка по поводу передвижений Софи и Натана просто потому, что Ларри, вернувшись из Торонто, тут же примчался на Флэтбуш-авеню, чтобы поговорить с Моррисом и Еттой Зиммермен, и просил привратника позвонить ему, как только он увидит, что Натан вошел в дом. Об этом же просил Финка и я, а Ларри, кроме того, дал ему изрядный куш на чай. Но Натан (трудно сказать, что было у него на уме и какие побудительные причины двигали им), несомненно, прошмыгнул мимо Морриса, когда тот не смотрел в его сторону или спал, а приезд Софи просто, должно быть, прошел мимо его внимания. И потом, я подозреваю, что Моррис был еще в постели, когда Софи звонила Натану. Свяжись Финк с Ларри раньше, доктор уже через несколько минут был бы на месте, а он был единственным на свете человеком, который мог справиться со своим безумным братом, и я уверен, если бы ему позвонили, история эта закончилась бы иначе. Возможно, не менее скандально, но иначе.

В ту субботу на Восточном побережье началось бабье лето, принесся с собою тепло, когда можно ходить в одной рубашке, мух, возрождение в людях добродушия, а для многих – абсолютно обманчивое впечатление, что приход зимы лишь мерещится им в дурном сне. Во всяком случае, такое чувство посетило меня в тот день в Вашингтоне (хотя, право же, мысли мои были очень далеки от погоды) – точно так же, я думаю, и Моррис ощутил это в Розовом Дворце. Потом он сказал – он впервые с изумлением понял, что Софи находится у себя в комнате, когда услышал донесшуюся сверху музыку. Было это около двух часов дня. Моррис не разбирался в той музыке, которую все время слушали Софи и Натан, – он просто называл это «классикой» и даже раз признался мне, что слишком она «глубокая» для его понимания, хоть он и переносит ее легче, чем этот грохот, который всем так нравится и который несется из радиоприемников и проигрывателей других жильцов.

Так или иначе, он удивился – нет, он был просто потрясен, обнаружив, что Софи вернулась; в мозгу его мгновенно возникла мысль о Натане, и он даже настроился на то, что, возможно, придется звонить Ларри. Но у него не было никаких доказательств, что Натан находится в доме, и он медлил звонить Ларри – а вдруг тревога ложная. Теперь он до ужаса боялся Натана (две ночи тому назад он стоял почти рядом со мной и видел, как я отшатнулся, когда в трубке раздался звук выстрела) и горел желанием обратиться в полицию – хотя бы за защитой. Со времени последнего буйства Натана ему все чудилось, что дом полон опасностей, и он начал так нервничать по поводу ситуации Натан – Софи вообще, так трясся и чувствовал себя настолько незащищенным, что готов был отказаться от комнаты, за которую платил полцены, подрядившись выполнять обязанности управителя, и сказать миссис Зиммермен, что намеревается переехать к своей сестре в Фар-Рокэуэй. Теперь он уже не сомневался, что Натан – напугавший из големов. Угроза всему живому. Но Ларри сказал, чтобы ни он, ни кто другой ни при каких обстоятельствах не обращались в полицию. И потому Моррис ждал внизу у входной двери, обливаясь липким потом от летней жары и слушая сложную, бездонно глубокую музыку, потоком лившуюся сверху.

Затем с возрастающим удивлением он увидел, как дверь наверху медленно приоткрылась и Софи выглянула из своей комнаты. В ее внешности не было ничего необычного, вспоминал он потом, она выглядела, быть может, ну, чуточку усталой, с тенями под глазами, но в выражении ее лица почти ничто не выдавало напряжения, или печали, или горя, или каких-либо других «негативных» эмоций, которые вполне могли бы у нее быть после пытки, пережитой за последние дни. Наоборот: стоя так, наверху, поглаживая ручку двери, она вдруг как-то мимолетно улыбнулась, словно что-то позабавило ее и она вот-вот рассмеется; губы ее приоткрылись, ослепительные зубы сверкнули на ярком солнечном свете, и он увидел, как она провела языком по верхней губе, как бы ставя преграду словам, которые собралась произнести. Моррис понял, что она заметила его, и сердце у него екнуло. Он уже многие месяцы был равнодушен к ней, ее красота продолжала тревожить его, изо дня в день безо всякой надежды разливаясь в его душе половодьем сердечной боли и затопляя желанием. Конечно же, она заслуживала лучшего, чем этот мешугенер Натан.

Но тут его поразило, как она одета. На ней был костюм, который даже для его нетренированных глаз был явно несовременным, старомодным и тем не менее удивительно подчеркивавшим необыкновенную прелесть Софи: белый жакет с плиссированной, винного цвета шелковой юбкой, шелковый шарф, повязанный вокруг шеи, и надвинутый на лоб красный берет. В этом костюме она казалась кинозвездой прошлых лет – Кларой Боу, Фэй Рэй, Глорией Свенсон – кем-то в этом роде. Он никогда прежде не видел ее в такой одежде? Вместе с Натаном? Он не мог припомнить. Моррис ведь был до крайности озадачен не только ее

внешним видом, но самым фактом, что она оказалась в доме. Всего две ночи назад она уехала со своими вещичками в такой панике и с... Это тоже озадачило его. «А где Язвина?» – хотел было он самым дружеским образом ее спросить. Но прежде чем он успел раскрыть рот, она подошла к перилам и, перегнувшись через них, сказала:

– Моррис, вы не могли бы принести мне бутылку виски? – И бросила пятидолларовую бумажку, которая полетела вниз и которую он двумя пальцами поймал в воздухе.

Он проковылял пять кварталов до Флэтбуш-авеню и купил бутылку «Карстэйрза». Возвращаясь по душной жаре, он задержался у края парка, где на спортивных полях Уголка отдыха молодые люди и мальчишки, отпихивая друг друга, гоняли футбольные мячи и весело переругивались в знакомой, свойственной Бруклину отрывисто-громкой манере; дождя не было уже много дней, и пыль взвихрялась воронками, покрывая белым налетом траву и листья на краю парка. Морриса легко было отвлечь. Позднее он вспомнил, что минут на 15–20 начисто забыл про поручение Софи и очнулся, лишь когда «классическая» музыка загрохотала из ее окна в нескольких сотнях ярдов от того места, где он стоял, и вывела его из оцепенения. Музыка была бравурная – казалось, звучало множество труб. Это сразу напомнило Моррису, за чем он пошел, а также что Софи ждет его, и он поспешно засеменил к Розовому Дворцу, так что желтый грузовичок фирмы «Кон-Эдисон» (он это отчетливо помнил, как и многие детали того дня) чуть не сшиб его на Кейтон-авеню. По мере того как он приближался к дому, музыка звучала все громче, и ему пришло было в голову попросить Софи – как можно деликатнее – приглушить звук, но потом он передумал: в конце-то концов сейчас день, да к тому же суббота, и никого из других жильцов нет дома. Музыка разливалась по округе, не причиняя никому вреда. Ну и черт с ней, пусть играет.

Он постучал в дверь Софи, но никто не ответил; он побарабанил еще – и опять никакого ответа. Тогда он поставил бутылку «Карстэйрза» на пол возле двери и спустился к себе в комнатку, где около получаса рассматривал свои альбомы со спичечными этикетками. Моррис был коллекционер: в комнате у него был еще и набор крышек от безалкогольных напитков. Вскоре он решил, что пора по обыкновению поспать. Когда он проснулся, день уже клонился к вечеру, и музыка прекратилась. Он вспоминает, как что-то клейкое мрачным предчувствием обволокло его – казалось, оно было порождением не по сезону удушливой жары, создававшей впечатление, будто ты находишься в бойлерной: в недвижимом воздухе, несмотря на близкие сумерки, нечем было дышать, и от обливался потом. Он отметил про себя, что в доме стало уж очень тихо. Над дальним краем парка вспыхнула зарница, а на западе, как показалось Моррису, раздался глухой удар грома. В тихом темном доме он прошлепал наверх.

Бутылка виски по-прежнему стояла у двери. Моррис снова постучал. В выдавшей виды двери образовалась узкая щель, вернее – дверь слегка отошла от рамы, и хотя она захлопывалась автоматически, изнутри ее можно было еще закрыть на цепочку; Моррис увидел в щель, что внутренняя цепочка накинута, и понял, что Софи – в комнате. Он раза два-три окликнул ее, но ответом было лишь молчание, и удивление его переросло в тревогу, когда, прильнув еще раз к щели, он заметил, что в комнате нет света, хотя быстро темнело. Вот тут-то он и решил, что стоит, пожалуй, позвонить Ларри. Доктор приехал через час, и они вместе взломали дверь...

Тем временем, жарясь в другой маленькой комнатке в Вашингтоне, я пришел к выводу, который весьма успешно помешал мне оказать какое-либо влияние на ход событий. Софи на добрых шесть часов опередила меня, и тем не менее, если бы я незамедлительно последовал за ней, я мог бы вовремя приехать в Бруклин и отвести от нее удар. А я вместо этого терзался и сходил с ума и по причинам, которые мне до сих пор до конца не понятны, решил ехать в Саутхемптон без нее. В решении моем, должно быть, немалую роль сыграло чувство обиды – раздражение и злость на то, что она бросила меня, уколы подлинной ревности и отсюда – горький, продиктованный отчаянием вывод: пусть теперь сама, черт бы ее подрал, заботится о своей целостности и сохранности. Натан, этот шмук! Я сделал все, что мог. Пусть возвращается к своему сумасшедшему еврею, этому блистательному мерзавцу. И вот, подсчитав таявшие ресурсы моего кошелька (по иронии судьбы я все еще существовал щедротами Натана), я снялся из отеля, слабо попахивая антисемитизмом, протрусил несколько кварталов по достойной джунглей жаре до автобусной станции и там купил билет до Франклина, штат Виргиния. Я твердо решил забыть Софи.

Время подошло уже к часу пополудни. Я едва ли это сознавал – слишком глубоким был кризис, в котором я находился. Я так болезненно, так остро пережил это чудовищное разочарование – это предательство! – что ноги у меня затряслись в подобии пляски святого Витта. Вдобавок ко всему и плотью своей и нервами я страдал с перепоя, словно распятый на кресте, меня мучила неутолимая жажда, и, когда автобус уже начал прокладывать себе путь сквозь забитые машинами артерии Арлингтона, меня вдруг обуяла такая тревога, что мои психические датчики засигналили по всему моему телу. Многие из того, что со мной происходило, объяснялось виски, которое Софи влила мне в глотку. Никогда в жизни я не видел, чтобы мои пальцы так дрожали, и я не припомню, чтобы мне когда-либо трудно было закурить сигарету. Проносившийся мимо лунный пейзаж казался кошмарным сном, что еще больше усиливало мою подавленность и страх. Унылые пригороды, высокие стены тюрем, широкий Потомак, вязкий от отбросов. В моем детстве – а было это не так давно – южные окраины округа Колумбия сонно дремали, обволакиваемые пылью, прорезанные буколическими дорогами и перекрестками. Бог ты мой, взгляните на все это

сейчас. Я совсем забыл о той проказе, которая так быстро поразила мой родной штат: непристойно расплодившаяся урбанистика в округе Фэрфакс, разжиревшем на военных прибылях, проносилась перед моим взором, накладываясь, словно галлюцинации, на воспоминания о Форт-Ли в Нью-Джерси, а впереди разматывалось бетонное проклятие, с которым еще день тому назад я считал, что расстался навсегда. Может, это всего лишь раковая опухоль, привитая янки и разраставшаяся по моему любимому старому краю? Бесспорно, дальше на Юге дело пойдет лучше. И тем не менее я почувствовал, что вынужден откинуться и положить мою больную головушку на спинку сиденья – на меня навалился страх и такая бесконечная усталость, какой я в жизни не знал.

Шофер выкрикнул: «Александрия». И тут я понял, что должен бежать из автобуса. Интересно, подумал я, что решит доктор в местной больнице, увидев тощее растерзанное существо в мятом шелковистом костюме, которое попросит, чтобы на него надели смирительную рубашку? (Тогда-то я и понял со всею очевидностью, что никогда больше не буду жить на Юге? Думаю, что да, но по сей день не могу быть в этом уверен.)

Однако я все-таки сумел более или менее взять себя в руки, победив демонов неврастения. Пользуясь средствами междугородного сообщения (включая такси, из которого я вылез почти больным банкротом), я вернулся назад и как раз успел на трехчасовой поезд, отправлявшийся от Юнион-стейшн в Нью-Йорк. Пока я не уселся в душном вагоне, я не позволял себе вспоминать Софи и вызывать в памяти ее образ. Великий боже, ведь моя любимая полька очертя голову ринулась в омут смерти! Я вдруг со всей отчетливостью понял, что изгонял ее из своих мыслей на протяжении этого моего неудачного бегства в Виргинию по той простой причине, что подсознательно запрещал себе предвидеть или признать то, что мой мозг сейчас со всею очевидностью утверждал: что-то ужасное случится с ней и с Натаном и мой отчаянный бросок в Бруклин ничего не изменит в той участи, какую они избрали для себя. Я понял это не потому, что был провидцем, а потому, что намеренно был слеп, или недостаточно сообразителен, или то и другое вместе. Да разве в ее прощальной записке не было все написано – так ясно, что наивный шестилетний ребенок мог бы разгадать ее смысл, и разве я не проявил беспечности, преступной беспечности, не помчавшись сразу за ней, вместо того чтобы бессмысленно трястись в автобусе через Потомак? Боль затопила меня. Неужели к той вине, которая убивала ее в буквальном смысле слова, как были убиты ее дети, теперь должна добавиться еще моя вина за то, что я в своей слепоте помог свершиться року в такой же мере, как это сделали руки Натана? Я воскликнул про себя: «Великий боже, где тут телефон? Надо предупредить Морриса Финка или Ларри, пока еще не все кончено». Но я еще не успел додумать эту мысль, как поезд содрогнулся и двинулся, и я понял, что никакой возможности связаться с кем бы то ни было теперь уже не будет, пока...

И у меня начался какой-то странный религиозный приступ – короткий по времени, но очень сильный. Библия, которую я возил с собой вместе с журналом «Тайм» и газетой «Вашингтон пост», была многие годы неотъемлемым спутником моих странствий. Она к тому же служила и придатком к моему костюму преподобного Энтуисла. Я никогда не был существом богобоязненным, и Священное писание всегда было для меня в значительной степени литературным подспорьем, откуда я черпал образные выражения и цитаты для героев моего романа, двое или трое из которых выродились в религиозных фанатиков. Я считал себя агностиком, свободным от оков веры и достаточно храбрым, чтобы не обращаться к весьма сомнительному, с точки зрения логики, эфемерному образованию, именуемому богом, даже в момент родовых схваток и страданий. Но сейчас, сидя в вагоне – отчаявшийся, неопишимо слабый, до смерти перепуганный, совершенно потерянный, – я понял, что все мои подпорки куда-то исчезли, а «Тайм» и «Вашингтон пост» вроде бы не предлагают лекарства от моих мук. Темная, как ириска, дама солидного веса и размеров впечаталась в сиденье рядом со мной, наполнив окружающее пространство ароматом гелиотропа. Мы мчались сейчас на север, оставляя позади округ Колумбия. Я повернулся, чтобы посмотреть на свою соседку, ибо чувствовал на себе ее взгляд. Она разглядывала меня круглыми, влажными, доброжелательными карими глазами размером с платановые шары. Она улыбнулась, со свистом выпустила из груди воздух и с поистине материнской заботой, которой так жаждало в этот момент мое исстрадавшееся по надежде сердце, обратилось ко мне.

– Сынок, – сказала она с бесконечной верой и доброжелательностью, – на свете есть только одна хорошая книга. И она у тебя в руке. – Дав мне таким образом свою визитную карточку, моя товарка по странствию вытащила из хозяйственной сумки собственную Библию и со вздохом удовлетворения, смачно чмокнув губами в предвкушении удовольствия, принялась читать. – Верь слову Его, – напомнила она мне, – и спасен будешь – так сказано в святом Евангелии, и это истина Господня. Аминь.

Вторя ей, я сказал:

– Аминь, – и открыл Библию точно на середине, где, как я помнил еще со времен идиотской воскресной школы, находятся Псалмы Давида. – Аминь, – повторил я.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!.. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Внезапно я почувствовал, что мне необходимо укрыться от человеческих глаз. Я кинулся в туалет, закрылся и, сев на стульчак, принялся набрасывать в блокноте апокалипсические обращения к самому себе, содержание которых я едва ли понимал, а они неудержимым потоком рвались из

моего помутненного сознания – то были последние записи приговоренного к смерти или безумный бред человека, погибающего в самом дальнем и гнилом закоулке на земле и швыряющего бутылки со своими безумными посланиями в черную безразличную глубину вечности.

– Почему ты плачешь, сынок? – спросила женщина, когда я несколько позже рухнул на сиденье рядом с нею. – Кто-то тебя очень обидел?

Я ничего не мог сказать ей в ответ; когда она кое-что мне посоветовала, и через какое-то время, совладав с собой, я уже читал вместе с нею, слитно, так что голоса наши своим гармоническим и взволнованным погребальным хором перекрывали грохот поезда.

– Псалом восемьдесят восьмой, – предлагал я.

И она отвечала:

– Это очень хороший псалом. «Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями...»

Так мы читали, время от времени обращаясь к Екклесиасту и Исаие, пока поезд мчал нас через Уилмингтон, Честер и мимо Трентона. Через какое-то время мы принялись было за Нагорную проповедь, но на меня это почему-то не действовало: возвышенный скорбный стиль древнего иврита, видимо, в большей мере способствовал катарсису, и мы вернулись к Иову. Когда я наконец поднял глаза и посмотрел в окно, на улице уже стемнело и небо на западе озарялось яркими зелеными сполохами. Темнокожая проповедница, к которой я уже успел привязаться, если не полюбить, сошла в Ньюарке.

– Прошло, пройдет и быльем зарастет, – сказала на прощание она.

В тот вечер Розовый Дворец снаружи походил на декорацию к жестокому детективному фильму, какие я видел сотни раз. До сего дня я отчетливо помню мою попытку принять случившееся, пока я шел по тротуару, – мое стремление не удивляться. Все, что сопутствует смерти, было налицо, как я и ожидал: карета «скорой помощи», пожарные машины и пикапы технической помощи, полицейские автомобили с пульсирующим красным светом на крыше – всего этого было больше, чем нужно, словно в бедном, ветхом доме произошло страшное массовое убийство, тогда как на самом деле два человека положили красивый конец своему существованию, тихо отойдя в небытие. Прожектор заливал все своим ацетиленовым светом, вокруг расставлены мрачные барьеры с картонными табличками «проход запрещен», и всюду были понатыканы группки головорезов-полицейских, жевавших резинку и время от времени небрежно

постукивавших себя по толстому заду. Я заспорил с одним из них – желчным омерзительным ирландцем, утверждая, что имею право войти в дом, и, наверное, простоял бы на улице долгие часы, если бы не Ларри. Он заметил меня и что-то резко сказал краснорожей скотине, после чего мне разрешено было войти в нижний холл. В моей комнате, дверь в которую стояла приоткрытой, Етта Зиммермен полулежала-полусидела в кресле, бормоча что-то бессвязное на идиш. Она явно только узнала о случившемся: ее широкое некрасивое лицо, обычно добродушно ухмыляющееся, было без кровинки, глаза, как у человека в состоянии шока, смотрели в пустоту. Какой-то медик из «скорой помощи» стоял над ней со шприцем в руке. Ларри молча повел меня наверх мимо группки полицейских репортеров, копошившихся как черви, и двух-трех фотографов, которые при появлении любого движущегося предмета щелкали фотоаппаратами со вспышкой. На лестничной площадке стоял такой дым от сигарет, что на секунду мне померещилось, будто здесь был пожар. У входа в комнату Софи Моррис Финк, действительно сраженный горем и еще более бледный, чем Етта, дрожащим голосом объяснялся с детективом. Мне пришлось довольно долго стоять, дожидаясь, пока удастся перекинуться словом с Моррисом. Он немного рассказал мне о том, что было днем, как гремела музыка. И наконец за выбитой дверью глазам моим предстала комната в мягких коралловых тонах.



Я заморгал, приспособливаясь к полумраку, потом постепенно различил Софи и

Натана, лежавших на ярком абрикосовом покрывале. Они были одеты как в то далекое воскресенье, когда я впервые увидел их вместе: она – в спортивного вида костюме давних времен, он – в допотопном, сшитом с таким вульгарноватым пошибом, сером шерстяном костюме в широкую полосу, в котором он производил впечатление везучего игрока. Они лежали в этих костюмах в объятиях друг друга и с того места, где я стоял, казались двумя возлюбленными, которые весело нарядились для прогулки, а потом вдруг решили лечь и вздремнуть, или заняться любовью, или шепотом поведать друг другу на ухо что-то сокровенное и так навеки и застыли в тесном и нежном объятии.

– Я бы на вашем месте не всматривался в их лица, – сказал Ларри и, помолчав, добавил: – Но они не страдали. Они приняли цианистый натрий. Через несколько секунд все было кончено.

К своему стыду и огорчению, я вдруг почувствовал, что у меня подгибаются колени, и упал бы, если бы не Ларри, подхвативший и удержавший меня. Через какое-то время я взял себя в руки и перешагнул через порог.

– Это еще кто, доктор? – спросил полицейский, преграждая мне путь.

– Родственник, – сказал Ларри, и это была чистая правда. – Впустите его.

В комнате не было ничего, что могло бы добавить какие-то факты, помочь понять или как-то объяснить эту двойную смерть. Я был не в состоянии больше на них смотреть. Зачем-то я подошел к проигрывателю, который сам выключился, и взглянул на стопку пластинок, которые Софи и Натан заводили в тот день. Среди дюжины пластинок, снятых мною со шпинделя, были «Своевольная труба» Перселла, концерт для скрипки Гайдна, часть его Пасторальной симфонии и плач по Эвридике из «Орфея» Глюка. Были там и два произведения, которые имели для меня особое значение – хотя бы потому, что я знал, какое значение они имели для Софи и Натана. Одним из них было Ларгетто из си-бемоль-мажорного концерта для фортепиано Моцарта – последнего из написанных композитором: Софи не раз в моем присутствии слушала его. Она лежала на постели, закинув согнутую в локте руку и прикрыв ею глаза, а медленные нежные трагические звуки затопляли комнату. Моцарт был так близок к концу своей жизни, когда писал этот концерт, – не потому ли (вспомнились мне ее рассуждения вслух) в этой музыке звучит такая почти радостная покорность судьбе? Если бы на ее долю выпало такое счастье и она стала бы пианисткой, рассуждала вслух Софи, она бы прежде всего выучила наизусть этот концерт и постаралась отшлифовать каждую грань этих «вечных», по ее мнению, звуков. Я почти ничего еще не знал тогда о Софи и потому не мог до конца понять того, что она через какое-то время сказала, а сказала она, что,

слушая этот концерт, всегда представляет себе детей, играющих в сумерках, издали перекликающихся тоненькими голосками, в то время как ночь тихо опускается на зеленую безмятежную лужайку.

В комнату, шурша пластиковыми мешками, вошли двое служителей из морга, в белых куртках. Вторую пластинку оба они – Софи и Натан – слушали все лето. Я не хочу останавливаться на ней дольше, чем она заслуживает, ибо Софи и Натан оба отринули веру. Но пластинка была на самом верху шпинделя, и, опуская ее на место, я невольно протянул ниточку между нею и их концом: должно быть, в минуту конечной муки, или эйфории, или какого-то всеобъемлющего прозрения, которое, возможно, объединило их перед тем, как они погрузились в вечную тьму, в ушах у них звучало: «Иисусе, радость человеческая».

Эти последние записи следует, наверно, назвать чем-то вроде «Исследования о том, как победить горе».

Мы похоронили Софи и Натана рядом на кладбище в округе Нассау. Устроить это оказалось куда легче, чем можно было предположить. А дело в том, что на сей счет существовали опасения. В конце концов, речь шла о «пакте самоубийства» между евреем и католичкой (как назвала это «Дейли ньюс» в крикливой статье с фотографиями, помещенной на третьей странице), о не связанных браком любовниках, погрязших во грехе, вызывающе красивой женщине и интересном мужчине, о трагедии, инициатором которой был молодой, страдающий психозом человек и так далее и тому подобное, – таковы были посылки суперскандала 1947 года. И можно было предвидеть всякого рода возражения против совместных похорон. Однако провести эту церемонию оказалось сравнительно легко (и организовал все Ларри), потому что никаких религиозных обрядов не намечалось. Родители Натана и Ларри были правоверными евреями, но мать умерла, а отец, которому в ту пору было за восемьдесят, дышал на ладан и совсем выжил из ума. А кроме того – и почему, собственно, не смотреть фактам в лицо, сказали себе мы, – у Софи не было никого ближе Натана. Все эти соображения и привели к тому, что именно Ларри договорился об обряде, который и был проведен в ближайший понедельник. И Ларри и Натан уже многие годы не ходили в синагогу, а я сказал Ларри, когда он решил посоветоваться со мной, что, я думаю, Софи не хотела бы, чтобы ее отпевал священник или чтобы ее вообще хоронили по церковному обряду – это было, возможно, богохульное утверждение, обрекавшее Софи на вечное пребывание в аду, но я был убежден (как убежден и по сей день), что я был прав. В загробной жизни Софи не страшен никакой ад.

Итак, аванпост Уолтера Б. Кука в центре города провел похоронную церемонию в самом благопристойном и приличном при сложившихся обстоятельствах виде, хотя всему и сопутствовал душок (во всяком случае, для зевак, толпившихся

снаружи) грязный и роковой страсти. Немного не повезло нам с духовным лицом, которое проводило обряд – он был очень плох, – но я, по счастью, ничего не заметил, стоя в тот день рядом с Ларри и приветствуя пришедших на похороны. Их было всего несколько человек. Первой прибыла старшая сестра Ландау, у которой муж хирург. Она прилетела из Сент-Луиса с сыном-подростком. Два разодетых хиропрактика – Блэксток и Катц – прибыли с двумя молоденькими женщинами, работавшими вместе с Софи: обе были осунувшиеся, с красным носом и рыдали вовсю. Етта Зиммермен – на грани прострации – приехала с Моррисом Финком и толстяком студентом, обучающимся на раввина, Мойше Маскатблитом; он поддерживал Етту, а у самого лицо было такое бескровное, такое перепуганное и походка такая неуверенная, что он явно сам нуждался в опоре.

Явилось и несколько друзей Натана и Софи – шесть или семь молодых специалистов и преподавателей Бруклинского колледжа, составлявших так называемую «Группу Морти Хэйбера», и с ними сам Морти. Это был человек ученый, мягкий, с интеллигентной манерой разговора. Я уже был немного знаком с ним и успел его полюбить и в тот день на какое-то время прилепился к нему. Похороны проходили в на редкость тяжелой, поистине подавляющей атмосфере торжественности, без намека на какую-либо, самую малую, подспудную разрядку, которая бывает допустима на иных похоронах, – тишина и напряженные несчастные лица говорили о подлинном шоке, подлинной трагедии. Никто не потрудился посоветоваться насчет музыки – постыдная ирония судьбы. Когда пришедшие на похороны стали входить в вестибюль под шелканье и вспышки фотоаппаратов, я услышал плаксивый орган, затянувший «Аве Мария» Гуно. При мысли о том, как Софи да и Натан любили музыку, какие благородные чувства музыка будила в них, эта пошлая, настырная мелодия перевернула у меня все внутри.

Собственно, мое нутро и без того находилось в весьма плачевном состоянии, как и общее равновесие. С тех пор как я сошел с поезда, привезшего меня из Вашингтона, я ни минуты не был трезв и ни минуты не спал. Я бродил по комнате, потрясенный, глаза жгло от бессоницы, и поскольку сон не приходил, то в ночные часы я слонялся по улицам и барам Флэтбуша, шепча: «Почему, почему, почему?» – и накачиваясь главным образом пивом, что поддерживало меня на грани полного опьянения. В таком состоянии, полупьяный, со странным чувством неприкаянности и изнеможения (позже я понял, что это могло предшествовать галлюцинациям от опьянения), какого я еще не испытывал, я опустился на скамью в коммерческом предприятии Уолтера Б. Кука и стал слушать преподобного Девитта, «проповедовавшего» над гробами Натана и Софи. Собственно, в том, что тут оказался его преподобие Девитт, виноват был не Ларри. Он просто считал, что нужен священник. Но раввин оказался ему неподходящим, а католический священник неприемлемым, и тогда какой-то

приятель Ларри, или приятель приятеля, предложил его преподобие Девитта. Это был универсалист лет сорока, с наигранно благолепным лицом, светлыми, волнистыми, тщательно причесанными волосами и ярким, подвижным и каким-то девичьим ртом. На нем был рыжевато-коричневый костюм с жилеткой, обтягивающей намечающийся животик, и на лацкане поблескивал золотой ключ ведущего университетского братства.

И тут я впервые полуидиотски, но достаточно громко хихикнул, вызвав легкое движение среди тех, кто находился поблизости. Я еще ни разу не видел, чтобы этот ключ носил кто-либо старше моего возраста, особенно вне стен университета, и оттого человек, с первого взгляда вызвавший у меня отвращение, показался мне еще более нелепым. А как хохотал бы Натан при виде этого пресноводного тритона-гоя! Сидя нахохлившись в полумраке рядом с Морти Хэйбером, вдыхая сладкий аромат цветов, я пришел к выводу, что его преподобие Девитт, как доселе никто другой, пробуждает во мне потенциального убийцу. Он монотонно и нудно цитировал Линкольна, Ральфа Уолдо Эмерсона, Дэйла Карнеги, Спинозу, Томаса Эдисона, Зигмунда Фрейда. Христа он упомянул только раз, и то весьма отдаленно, – мне-то, в общем, это было безразлично. Я все ниже и ниже съезжал на скамье и замурлыкал что-то, пытаюсь звуками отгородиться от него, подобно тому как можно включить радио, чтобы отгородиться от других звуков, и впуская в свой оцепеневший мозг лишь самые вопиющие и слезливые пошлости. Эти заблудшие дети. Жертвы эпохи всепроникающего материализма. Утрата общечеловеческих ценностей. Потеря старых принципов упования на собственные силы. Некоммуникабельность!

«Какое фантастическое дерьмо!» – подумал я и тотчас понял, что произнес эти слова вслух, ибо Морти Хэйбер пошлепал меня по колену и я услышал его тихое: «Ш-ш-ш!» – и глухой смешок, показавший, что он вполне со мной согласен. Тут я, должно быть, вздремнул – погрузился не в сон, а в какое-то близкое к столбняку состояние, когда мысли, словно школьники после уроков, разбегаются во все стороны, ибо моим следующим восприятием было жуткое зрелище двух металлических, серых с красноватым отливом, гробов, которые катили по проходу мимо меня на сверкающих каталках.

– По-моему, меня сейчас вырвет, – сказал я чересчур громко.

– Ш-ш-ш! – шикнул Морти.

Прежде чем садиться в лимузин и ехать на кладбище, я заскочил в соседний бар и купил большую коробку пива. В те дни можно было приобрести кварту пива за тридцать пять центов. Я сознавал, что, по всей вероятности, поступаю бестактно, но никто, казалось, не обратил на это внимания, и к тому времени, когда мы добрались до кладбища за Хемпстедом, я уже был хорош. Как ни странно, Софи

и Натан были одними из первых, кто занял место в этом совершенно новом некрополе. Под теплым октябрьским солнцем до самого горизонта простирался огромный массив нетронутой зеленой целины. Пока наша процессия двигалась к отдаленной могиле, я не без испуга подумал, не хороним ли мы наших любимых на поле для гольфа. И на секунду мне показалось, что это действительно так. Под влиянием извращенной фантазии или психопатических фокусов, которым иногда подвержены пьяные люди, я представил себе, как поколения за поколениями игроков в гольф ударяют по мячу над Софи и Натаном и, крикнув: «Забил!», возьмется со своими клюшками и подносчиками-мальчишками, в то время как души усопших никак не могут успокоиться под потревоженной землей.

Сидя в одном из «кадиллаков» рядом с Морти, я листал антологию американских поэтов Антермайера, которую захватил вместе с записной книжкой. Я предложил Ларри прочесть что-нибудь оттуда, и ему эта мысль понравилась. Я твердо решил, что прежде, чем мы окончательно расстанемся, Софи и Натан должны услышать мой голос: не мог я примириться с тем, что последнее слово останется за его преподобием Девиттом, это было бы просто неприлично, и потому я усердно листал раздел антологии, где была щедро представлена Эмили Дикинсон, в поисках самого прекрасного отрывка. Я вспомнил, как в библиотеке Бруклинского колледжа именно Эмили свела Натана и Софи; я подумал, что ей и следует сказать им последнее «прости». Эйфорическое пьянящее ликование неудержимым потоком затопило меня, когда я нашел подходящее или, лучше сказать, идеальное, стихотворение, и, когда лимузин остановился у разверстых могил, я тихонько усмехнулся про себя и вывалился из машины, чуть не растянувшись на траве.

Реквием его преподобия Девитта на кладбище был кратким резюме того, что он говорил нам в похоронном бюро. У меня было такое впечатление, что Ларри посоветовал ему быть покороче. Священник все же привнес элемент обрядности, извлекая под конец своих разглагольствований из кармана фиал с прахом и опустошив его над двумя гробами – половину над гробом Софи и другую половину над гробом Натана, стоявшим в шести футах от нее. Но это не был обычный бренный прах. Его преподобие Девитт сообщил присутствующим, что он был собран на шести континентах мира плюс в Антарктике и напоминает нам, что смерть никого не минует, что она поражает людей всех верований, всех цветов кожи, всех национальностей. И снова я с болью вспомнил, до какой степени в периоды просветления Натан терпеть не мог идиотов вроде Девитта, с каким наслаждением он высмеял бы и изничтожил в гениальной пародии этого надутого шарлатана. Но тут я увидел, как Ларри кивнул мне, и вышел вперед. В тишине яркого жаркого дня слышно было лишь мягкое гудение пчел, привлеченных цветами, сваленными у края двух могил. Пошатываясь и слегка отупев, я думал об Эмили и о пчелах, о том, как неподражаемо она их воспекает, об их жужжании – символе вечности.

*Бесхитростно постели
Постель и благоговейно,
Здесь тебе предстоит
Дождаться Судного дня.*

Я немного помолчал. Мне не трудно было произносить слова – остановился я из-за нахлынувшего на меня приступа веселости, на сей раз замешанной на горе. Не было ли какого-то неуловимого значения в том, что мое знакомство с Софи и Натаном обрамляла постель – начиная с того момента, ныне отодвинутого в прошлое, казалось, на много веков, когда я впервые услышал над своей головой победоносный скрип кровати, и кончая этим финалом на той же кровати, который останется в моей памяти, пока старческое слабоумие или смерть не изгладят этой картины? Кажется, тогда-то я и почувствовал, что начал сбиваться, сникать и разваливаться на части.

*Да будет матрас широк,
Да будет мягка подушка,
Чтоб солнца янтарный шум
Ложя этого не разрушил.[367]*

Уже довольно давно, в начале этого повествования, я упоминал, что мое отношение к дневнику, который я вел в дни молодости, складывалось из любви и ненависти. Живые и ценные страницы – те, которые я, как правило, хранил, – родились, как мне потом казалось, в периоды импотенции, неосуществленных желаний и безответных страстей. С ними связаны вечера бездонного отчаяния, проведенные в обществе Лесли Лапидас и Мэри-Элис Гримболл, – им было отведено свое место в этом повествовании. Что же до остального, то многие из моих записей являли собой плоды столь неглубоких раздумий, были полны такой псевдоафористической претенциозности, столь глупых экскурсов в дебри философских семинаров, в которые мне незачем было влезать, что я решительно пресек возможность воспроизведения этих писаний и несколько лет тому назад торжественно предал их огню у себя на заднем дворе. Несколько страничек, впрочем, уцелело от пламени, но я сохранил их не потому, что они являют миру непреходящую ценность, а скорее из-за того, что они добавляют к исторической летописи, точнее говоря, летописи моей жизни. Из полудюжины страниц, которые сохранились у меня от тех последних дней – начиная с лихорадочных набросков, сделанных в туалете поезда, везшего меня из Вашингтона, и вплоть до дня после похорон, – я счел нужным оставить ровно три коротких строчки. Но и они представляют интерес не потому, что в них заключено что-то нетленное, а потому, что – при всей их безыскусности – это крик души, вырвавшийся, подобно жизненным сокам, из недр существа, самая жизнь которого в тот момент была под вопросом.

Когда-нибудь я пойму, что такое Аушвиц. Это было смелое, но нелепое по своей

наивности заявление. Никто никогда не поймет, что такое Аушвиц. Я выразился бы точнее, если бы написал: «Когда-нибудь я напишу о жизни и смерти Софи и тем самым попытаюсь показать, что абсолютное зло неистребимо в мире». Феномен Аушвица так и остался необъяснимым. Самая глубокая мысль, высказанная пока об Аушвице, – не столько утверждение, сколько ответ вопросом на вопрос.

Вопрос: «Скажи мне, где в Аушвице был бог?»

И ответ: «А где был человек?»

Вторая строчка, которую я спас от небытия, может показаться несколько поверхностной, но я все же сохранил ее. Пусть любовь твоя распространится на все живое. Слова эти в определенном смысле сильно отзывают наставлением. Тем не менее, соединенные в одной фразе, они обладают поразительной красотой, и, видя их сейчас на разлинованной странице, странице, которая приобрела оттенок засохшего нарцисса и под медленным воздействием времени стала почти прозрачной, я обращаю прежде всего внимание на резкие штрихи, которыми они подчеркнуты – словно кинжал прошелся «жик-жик-жик», – как если бы страдалец Стинго, в теле которого я одно время обитал или который обитал во мне и впервые в своей взрослой жизни соприкоснулся со смертью, с болью утраты и поразительной загадкой человеческого существования, пытался извлечь из этой бумаги единственную оставшуюся – пожалуй, единственно приемлемую – истину. Пусть любовь твоя распространится на все живое.

Однако в связи с этой моей концепцией возникает несколько проблем. И первая, конечно, состоит в том, что это не моя концепция. Она порождена мирозданием и принадлежит богу, а в слова – так сказать, «крылатые слова» – была оформлена такими мыслителями, как Лао-Цзы, Иисус, Гаутама Будда и тысячи и тысячи менее известных пророков, включая данного рассказчика, который услышал эту непреложную истину где-то между Балтимором и Уилмингтоном и с одержимостью безумца-скульптора, режущего камень, записал на бумаге. Сейчас, тридцать лет спустя, слова эти все еще звучат в эфире: я услышал их в том виде, как их записал, в чудесной песне, которая исполнялась под гитару в программе народных песен, когда однажды вечером ехал по Новой Англии. И тут мы подходим ко второй проблеме – в правде этих слов или если не к правде, то к неосуществимости их наказа. Ведь разве Аушвиц не встал неодолимой преградой на пути такой всеобъемлющей любви, словно некая раковая опухоль в крови человечества? Разве он не изменил самую природу любви, сделав абсурдной мысль о том, что можно любить муравья, или саламандру, или змею, или жабу, или тарантула, или микроб бешенства – или даже вещи святые, прекрасные – в мире, который допустил существование черной громады Аушвица? Не знаю. Быть может, слишком рано искать на это ответ. Так или

иначе, я повторил эти слова как напоминание о хрупкой, но стойкой надежде...

Последнее, что я сохранил из дневника, – это строка моего собственного стихотворения. Надеюсь, это простительно, учитывая контекст, в котором строка возникла. Дело в том, что после похорон я нализался до чертиков, как говорили в те дни про крайнюю степень опьянения, граничащую с потерей памяти. Я сел на метро и поехал на Кони-Айленд, намереваясь как-нибудь убить свое горе. Сначала я не очень понимал, что повлекло меня на эти улицы, полные кабаков и притонов, которые никогда не казались мне самыми привлекательными в окрестностях Нью-Йорка. Но день клонился к вечеру, погода держалась теплая и ясная, я был бесконечно одинок, и Кони-Айленд показался мне вполне подходящим местом, чтобы забыться. Парк Стиплчейз был закрыт, как и многие другие центры развлечений, а вода – слишком холодная для купанья, тем не менее теплый день привлек сюда целые ватаги ньюйоркцев. В неоновом свете, прорезавшем сумерки, любители развлечений и празднующиеся заполняли улицы. Возле кафе «У Виктора», паршивенького заведения, где Лесли Лапидас своим похотливым распутством напрасно распалила меня, я приостановился, пошел было дальше, потом вернулся: здесь я потерпел поражение, так почему бы здесь же не погрузиться на дно. Что побуждает человека терзать себя, взрезая мозг тупыми ножницами неприятных воспоминаний? Но очень скоро я забыл про Лесли. Я заказал кувшин пива, потом другой и напился до галлюцинаций.

Позже, той звездной ночью, в которой уже чувствовалось холодное дыхание осени и влажность атлантического ветра, я стоял на пляже один. Здесь царил тишина и, если не считать сверкающих звезд, крошечная тьма; причудливые шпили и минареты, готические крыши, башенки в стиле барокко вырисовывались тонкими силуэтами на фоне освещенного городскими огнями неба. Среди этих башенок выделялась парашютная вышка с тонкими, как паучьи лапки, перекладинами и свисавшими сверху тросами, и оттуда, с верхней площадки этого головокружительного сооружения, я слышал вскрики и звонкий смех Софи, когда она летела вниз вместе с Натаном, опускалась на землю, радуясь началу лета, и было это, казалось, вечность тому назад.

И вот тут наконец ко мне пришли слезы, не сентиментальные хмельные слезы, а слезы, которые со времени приезда из Вашингтона я по-мужски старался сдерживать и больше уже не в состоянии был сдержать; я до того крепко их в себе закупорил, что сейчас они теплым потоком хлынули меж моих пальцев. Высвободило этот поток, конечно же, воспоминание о том, как Софи и Натан давно-давно прыгали с этой вышки, но не только оно, а ярость и скорбь по столь многим, кто на протяжении последних месяцев стучался в мое сознание и требовал быть оплаканным, – да, конечно, я плакал по Софи и Натану, но также по Яну и Еве – Еве с ее одноглазым Мишей, – и по Эдди Фареллу, и по Бобби Уиду, и по моему юному черному спасителю Артисту, и по Марии Хант, и по

Нату Тернеру, и по Ванде Мук-Хорх фон Кречман, которые составляют лишь маленькую горстку поверженных, замученных и умерщвленных детей Земли. Я не плакал по шести миллионам евреев, или двум миллионам поляков, или миллиону сербов, или пяти миллионам русских – я не готов был плакать по всему человечеству, – но я плакал по тем, кто так или иначе стал мне дорог, и мои рыдания громко разносились по безлюдному пляжу, не вызывая у меня стыда; а потом запас слез кончился, и я опустился на песок: ноги у меня вдруг подкосились, стали какими-то удивительно хрупкими, ненадежными для двадцатидвухлетнего мужчины.

И я заснул. Сны мои были отвратительны – какой-то конгломерат из рассказов Эдгара Аллана По: то меня рассекали надвое чудовищные машины, то я захлебывался в водовороте грязи, то меня замуровывали в камень, то – и это было самое страшное – хоронили заживо. Всю ночь я сражался с ощущением беспомощности и невозможности издать хоть звук, неспособности пошевелиться или закричать под давящей тяжестью земли, которую ритмично – плюх-плюх-плюх – сбрасывали на мое парализованное страхом, опрокинутое навзничь тело, живой труп, который погребали в песках Египта. А пески пустыни были такие холодные.

Когда я проснулся, было раннее утро. Я лежал и смотрел прямо в зеленовато-голубое небо, затянутое прозрачным пологом тумана; над подернутым дымкой океаном, подобно крошечному кристальному глазу, одиноко и безмятежно светила Венера. Где-то поблизости стрекотали детские голоса. Я шевельнулся. «Осторожно, он просыпается!» «Смотри, какие усищи отрастил!» – «Пошел ты!» Благословляя свое воскрешение к жизни, я понял, что это дети заботливо накрыли меня слоем песка и что я лежу в целости и сохранности, точно мумия, под этим тонким обволакивающим плащом. И вот тогда я мысленно и записал: «Под холодным песком мне пригрезилась смерть,
Но заря пробудила меня,
И увиделось мне в голубой вышине
Чудо утра – царица звезда».

Это не был Судный день – всего лишь утро. Утро безоблачное и прекрасное.

Примечания

1

Перевод В. Микушевича.

2 Стайн, Гертруда (1874–1946) – американская писательница, яркая представительница формально-экспериментального направления в литературе. – Здесь и далее примечания переводчика.

3 Здесь: покаянная исповедь (лат.).

4 Арнолд, Мэтью (1822–1888) – английский поэт, педагог и критик, оказавший большое влияние на Т. С. Элиота.

5

«Семь типов двусмысленности» – критическая работа английского поэта и литературоведа Уильяма Эмпсона (1906–1984).

6

Йетс, Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт и драматург, представитель символизма; вдохновитель культурного движения 90-х годов прошлого века «Ирландское возрождение»; Хопкинс, Джерард Мэнли (1844–1889) – английский поэт.

7

Унсет, Сигрид (1882–1949) – норвежская писательница, автор ряда известных исторических романов; Гамсун, Кнут (1859–1952) – известный норвежский писатель; Гарленд, Ханнибал Хэмлин (1860–1940) – американский писатель; пропагандировал творчество Л. Н. Толстого; Кэсер, Уилла Сиберт (1876–1947) – известная американская писательница; Уитмен, Уолт (1819–1892) – известный американский поэт.

8

Драйден, Джон (1631–1700) – английский поэт, драматург, переводчик и критик; Спенсер, Эдмунд (ок. 1552–1599) – один из величайших английских поэтов.

9

Так называют старейшие и наиболее престижные университеты Новой Англии.

10

Донн, Джон (1572–1631) – английский поэт, автор элегий, сатир и эпиграмм. Родоначальник так называемой метафизической школы, внесший в английскую литературу черты барокко.

11

Роман канадского писателя Малколма Лаури (1909–1957).

12

Клинекс – бумажный носовой платок.

13

Имеются и виду повесть Уильяма Фолкнера «Медведь», «Записки из подполья» Ф. Достоевского и повесть Германа Мелвилла «Билли Бадд».

14

Уайлдер, Торнтон (1897–1975) – известный американский романист и драматург; Каммингс, Эдуард Эстлин (1894–1963) – известный американский поэт; Портер, Кэтрин Энн (1890–1980) – известная американская писательница, автор романа «Корабль дураков»; Херси, Джон (род. в 1914 г.) – известный американский журналист и романист; Коули, Малколм (род. в 1898 г.) – американский поэт, критик и переводчик; Маркуонд, Джон Филиппс (1893–1960) – американский романист.

15

Стивенс, Уоллес (1879–1955) – известный американский поэт; Лоуэлл, Роберт

(1917–1977) – известный американский поэт.

16

Фолкнер, Уильям (1897–1962) – крупнейший американский писатель, автор романов «Шум и ярость», «Свет в августе» и многих других. Лауреат Нобелевской премии 1949 года.

17

Маккарти, Мэри (род. в 1912 г.) – известная американская писательница и критик.

18

Чивер, Джон (1912–1982) – известный американский романист и автор коротких рассказов.

19

Имеется в виду рассказ американского писателя Ирвина Шоу (1913–1984), автор романов «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Нищий, вор» и др.

20

Маккалерс, Карсон (1917–1967) – известная американская писательница, автор романа «Сердце – одинокий охотник» и сборника «Баллада о невеселом кабачке», названного по одному из рассказов, на сюжет которого Э. Олби написал одноименную пьесу. Хаксли, Олдос (1894–1963) – известный английский романист-сатирик, автор многих романов, в том числе «Желтый Кром», «Контрапункт», антиутопии «О дивный новый мир».

21

Сартр, Жан Поль (1905–1980) – известный французский философ, романист и литературный критик, глава французского экзистенциализма; автор тетралогии «Дороги свободы» и многих пьес, в том числе «Затворники Альтоны».

22

Джойс, Джеймс (1882–1941) – известный ирландский романист, автор «Улисса».

23

«Бхагавадгита» – древнеиндийский трактат, в котором излагаются основы брахманизма и индуизма, входящий в состав «Махабхараты».

24

Вулф, Томас (1900–1938) – известный американский романист, автор романа «Взгляни на дом свой, Ангел» и др.

25

Второе «я» (лат).

26

«Мост короля Людовика Святого» (1927) – роман известного американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Торнтона Уайлдера; «Смерть приходит за архиепископом» (1927) – роман известной американской писательницы Уиллы Кэсер.

27

Ван Дорен, Марк (1894–1972) – известный американский поэт и литературный критик; лауреат Пулитцеровской премии.

28

Стихотворение У. Б. Йетса.

29

Браунинг, Роберт (1812–1889) – английский поэт, женатый на поэтессе Элизабет Браунинг (1806–1861).

30

До бесконечности, до тошноты (лат.).

31

В возрасте (лат.).

32

Бэрд, Гарри (1887–1966) – губернатор Виргинии; сенатор в конгрессе США, отличавшийся расистскими взглядами.

33

Наслаждение (франц.).

34

«Вся королевская рать» – роман известного современного американского писателя Роберта Пенна Уоррена (1905–1989).

35

Роже, Питер Марк (1779–1869) – английский ученый и врач, составитель словаря английских синонимов; «Thesaurus» – «Сокровище» (лат.).

36

Марло, Кристофер (1564–1593) – английский драматург, писавший пьесы в стихах. Особенно известна «Трагическая история доктора Фауста».

37

Халда (идиш).

38

Видите ли... (франц.).

39

Немного (франц.).

40

Грязно (франц.). Здесь: скверно.

41

Вы говорите по-немецки? (нем.).

42

Нет (нем.).

43

Костюм (франц.).

44

Сыр (франц.).

45

Здесь: болтушки, сплетницы (идиш).

46

Девушка не еврейской национальности (идиш).

47

Высшее медицинское учебное заведение и больница при нем

48

В гештальтпсихологии: целостная душевная структура (нем.).

49

Привет, здесь: ваше здоровье (франц.).

50

Возлюбленным (итал.).

51

«Хрустальная ночь» (нем.) – погром, устроенный нацистами в Германии 9 ноября 1938 года и послуживший началом массового истребления евреев в этой стране.

52

Библия. Откровение св. Иоанна, 21:4.

53

Право же, я тебя обожаю (франц.).

54

Право же, я тебя обожаю, дорогой! (франц.)

55

Дрянью, сволочью (идиш).

56

Беды (франц.).

57

Право же (франц.).

58

В глубине души (франц.).

59

Французский (франц.).

60

Первоклассной кухней (франц.).

61

Венский суп-гуляш и шницель (франц.).

62

Буря, вихрь (франц.).

63

Нежности (франц.).

64

Массовые убийства (нем.).

65

Высшую (франц.).

66

Слава, понимаешь, родина и тому подобное (франц.).

67

Непрерывность существования; здесь: всегда была такой (франц.).

68

Полная катастрофа; здесь: полный разгром (франц.).

69

Барьер, заграждение (нем.).

70

Можно страдать (франц.).

71

Урожденного (франц.).

72

Воспринятым с молоком матери (идиш).

73

«Маленькая ночная серенада» (нем.) – произведение В. А. Моцарта.

74

«Прощай оружие!» (1929) – роман Э. Хемингуэя.

75

«Американская трагедия» (1925) – роман Т.Драйзера.

76

Пикник (франц.).

77

«Стадс Лониген» (1935) – трилогия американского писателя Джеймса Фаррелла (1904–1979) о тяжелой жизни ирландца-католика в Чикаго.

78

Концертная симфония (итал.).

79

Местечка (идиш).

80

Вонючий (идиш).

81

Разбойник (идиш).

82

Из стихотворения известной американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830–1886). Перевод И. Лихачева.

83

Вирсавия – библейский персонаж, жена царя Давида и мать царя Соломона.

84

Уже виденного (франц.).

85

Незаконнорожденный, выродок (идиш).

86

Дерьмо (идиш).

87

Говнюк (идиш).

88

Стивен Дидалус и Леопольд Блум – герои романа ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) «Улисс» (1914–1921). Блум символически связан с такими фигурами, как пророк Моисей и Христос.

89

«О природе вещей» (лат.) – трактат Лукреция, римского поэта и философа-материалиста I в. до н. э.

90

Ешива – высшее еврейское духовное училище.

91

Полудевствспииком (франц.).

92

Духа времени (нем.).

93

Саргассово море – северная часть Атлантического океана, известная обилием водорослей, опасная для мореплавателей.

94

+25о Цельсия.

95

Крейн, Харт (1899 – 1932) – американский поэт.

96

В конце-то концов (франц.).

97

Пастромы – блюдо еврейской кухни, острая копченая говядина.

98

Совершенное безумие! (франц.).

99

Безумие (идиш).

100

Право (франц.).

101

Не льстите, сударь (франц.).

102

Откровенно говоря (франц.).

103

Завод (франц.).

104

Евреев (франц.).

105

Здоровья (франц.).

106

Непригодными (франц.).

107

Скарлатина (франц.).

108

Вейль, Симона (1909–1943) – французская писательница и философ; в 1936 году была в составе Интернациональных бригад в Испании; во время второй мировой войны работала в Лондоне, в штаб-квартире Сражающейся Франции, откуда, считая тактику де Голля неправильной, ушла в июле 1943 года.

109

«Над пропастью во ржи» (1951) – повесть американского писателя Дж. Д. Сэлинджера (род. в 1919 г.); «Хоббит» (1937) – повесть английского писателя Дж. Р. Р. Толкиена (1892–1973).

110

Вполне искренних (лат.).

111

Братству (нем.).

112

Техника умерщвления (нем.).

113

Собачий персонал (нем.).

114

Ми-Лай – деревня в Южном Вьетнаме, все население которой было расстреляно в 1968 году американскими солдатами под командованием лейтенанта Колли.

115

Унтер-фельдфебеля (нем.).

116

Мировая скорбь (нем.).

117

Настоящий пройдоха (франц.).

118

Коннолли, Сирил (1903–1974) – английский критик и эссеист известный своими меланхолическими высказываниями; Жид, Андре (1869–1951) – французский писатель, известный своей проповедью эстетизма и аморализма; Нобелевский лауреат 1947 года.

119

Птичка (идиш).

120

Хозяйкой (идиш).

121

Редкостью, диковинкой (лат.).

122

У (франц.).

123

«Манишевиц» – сладкое вино; шлиц – водка (идиш).

124

Голконда – царство, существовавшее на территории Индии в XVI–XVII веках и славившееся своими искусными ремеслами и алмазами

125

Крауты – презрительное прозвище немцев.

126

Отца (франц.).

127

С похвальным отзывом (лат.).

128

«Прощай, Коламбус» – роман из еврейской жизни американского писателя Филипа Рота (род. в 1933 г.); «Марджори Морнингстар» – роман американского писателя Германа Вука (род. в 1915 г.).

129

Способа действия (лат.).

130

Ретт Батлер – герой известного романа «Унесенные ветром» (1938) американской писательницы Маргарет Митчелл (1900 – 1949).

131

По желанию, по вкусу (лат.).

132

Ох, Андре Жид, молись за меня! (франц.).

133

Ох, Андре Жид, боюсь, что, как и ты, я стану педерастом! (франц.).

134

Согласно древнегреческому мифу, царь Тантал, чтобы испытать всеведение богов, пригласил их к себе и угостил мясом своего сына Пелопа, за что был обречен на вечные муки голода и жажды.

135

Крошка Нелли – героиня романа Чарльза Диккенса «Лавка древностей».

136

Здесь: оправданием; признанием невиновности (лат.).

137

Рейхианство – течение в психоанализе, названное по имени австрийского психоаналитика и психиатра Вильгельма Рейха (1897–1957).

138

Джефферсон, Томас (1743–1826) – американский просветитель, идеолог в период Войны за независимость; 3-й президент США.

139

Дядюшка Ремус – герой знаменитой книги басен и рассказов «Дядюшка Ремус, его басни и премудрости» (1880) Джоэла Чэндлера Харриса.

140

Странно сказать (лат.).

141

Кибела – фригийская богиня, культ которой в античности сопровождался самоистязаниями и оргиями.

142

Браком втроем (франц.).

143

Хаксли, Джулиан (1887–1975) – английский биолог и философ.

144

Стрейчи, Джайлс Литтон (1880–1932) – английский писатель.

145

«Алиса в Стране чудес» – известная повесть-сказка английского писателя Льюиса Кэррола (1832–1898).

146

Лютер, Мартин (1483–1546) – монах-августинец, основоположник Реформации в Германии.

147

«Сон в летнюю ночь» – комедия У. Шекспира (1596).

148

Уайтхед, Алфред Норт (1861–1947) – английский логик, философ и математик; совместно с Б. Расселом – основатель логицистической школы в философии математики.

149

Альбигойцы – последователи еретического движения во Франции, Италии и Германии в XII–XIII веках против католической церкви; преданные папой анафеме, они создали собственную церковь, объявив ее независимой от католической. В конце XIII века альбигойцы были окончательно истреблены.

150

Даго – презрительное прозвище итальянцев.

151

«А» – самая высокая оценка, отлично.

152

Пограничная линия между Пенсильванией и Мэрилендом, существовавшая до Гражданской войны в США и разделявшая свободные штаты Севера и рабовладельческие штаты Юга; названа по именам землемеров, проложивших ее, – К. Мейсона и Дж. Диксона.

153

Какой ужас! (франц.)

154

Здесь: закатных (франц.).

155

Слишком (франц.).

156

Грустный (франц...).

157

Такой взволнованный (франц.).

158

Неграмотных (франц.).

159

Первой проституткой (франц.).

160

Здесь: буйства (франц.).

161

Гигиеня – в греческой мифологии богиня здоровья.

162

Навязчивой идеи (франц.).

163

Дэрроу, Кларенс(1857–1938) – знаменитый американский адвокат.

164

«Эмос и Энди» – радиошоу, в котором играли белые, подражая неграм.

165

Быть может(франц.).

166

Лжец!(франц.).

167

Богарт, Хамфри (1899–1957) – известный американский киноактер.

168

Мире концентрационных лагерей (франц.).

169

«Операция Хесс» (нем.).

170

Беспомощность, растерянность (нем.).

171

Нет, господин комендант (нем.).

172

Грязной польке (нем.).

173

Труд освобождает (нем.).

174

Ныне польский город Познань.

175

Верующий в бога (нем.). Подразумевается человек верующий, но не принадлежащий ни к какой церкви.

176

Отдела культуры (нем.).

177

Доме Хесса (нем.).

178

Спасибо, господин комендант (нем.).

179

Большое спасибо! (нем.).

180

Печали (нем.)

181

«Только не плакать от любви» (нем.).

182

Дерьмо (нем.).

183

Всевышнему

Поют осанну небеса,

Творенье рук Его

Вверх указывает – в небо!

(нем.)

Перевод Е. Николаевской.

184

День возвещает об этом

Грядущему дню,

Ушедшая ночь –

Наступающей ночи

(нем.).

Перевод Е. Николаевской.

185

Как сказать: трещина? (франц.).

186

Главное (франц.).

187

Вонючая полька (искаж., нем.).

188

Вот так-то! (франц.).

189

Здесь: не подлежащие селекции (лат.).

190

Почетным(лат.).

191

Вагнер, Рихард (1813–1883) – немецкий композитор и дирижер, новатор п области гармонии.

192

Главным трудом(лат.).

193

Менкен, Генри Льюис (1880–1956) – американский критик, выступавший против «массовой культуры», пропагандировавший творчество Т. Драйзера и С. Льюиса.

194

С ударением(франц.).

195

Чемберлен, Хустон (1855–1927) – английский писатель, зять Р. Вагнера, писавший по-немецки; в своем творчестве стоял на националистических позициях, поддерживал теорию превосходства нордической расы.

196

Закреть глаза(франц.).

197

Врунья (франц.).

198

Причастной (франц.).

199

Еврейском вопросе(нем.).

200

Одеколоном (нем.).

201

Оперативной группы охранной полиции (нем.).

202

Регламентациями и законоустановлениями (нем.).

203

Иудеев (нем.).

204

Я его нашла! (франц.).

205

Проснись, Лотта! Проснись, мой прекрасный цветок, мой маленький ангел! (нем.).

206

Добрый день, дамочки! (франц.).

207

Перрон (франц.).

208

Доброе утро (нем.).

209

Жалкие (нем.).

210

Скорей, скорей, моя сладость (нем.).

211

Никогда больше не плакать по любви... (нем.)

212

Пожалуйста (нем.).

213

Ах, эти острова Эллады несравненной!

Ах, море, что манит, лазурью озарив!

Блаженствовать в тени, любуясь далью пенной,

За чайками следить сквозь серебро олив!

(франц.) Перевод Е. Николаевской.

214

Доброе утро, господин комендант (нем.).

215

Проклятье! (нем.).

216

Венок песен (нем.).

217

Нижненемецком диалекте (нем.).

218

Штрейхер, Юлиус (1885–1946) – немецкий журналист и политический деятель; участник гитлеровского путча 1923 года; при Гитлере – редактор газеты «Дер Штюрмер»; повешен как военный преступник.

219

Изнеженные, мягкотелые (нем.).

220

Люди-животные (нем.).

221

И Адам придумал любовь, А Ной – вино, вот так-то! (нем.).

222

А Давид на цитре сыгр... (нем.).

223

Дерьмо (нем.).

224

Изо дня в день (франц.)

225

Дурачка (нем.).

226

Бурбон – американское кукурузное виски.

227

Имеется в виду сенатор Дж. Маккарти, вдохновитель так начинаемой «охоты на ведьм».

228

Саскатун – город на западе Канады; Патагония – область на юге Аргентины.

229

Бак, Перл (1892–1973) – американская писательница, автор романов из жизни США и Китая, лауреат Нобелевской премии 1938 года.

230

Эпоха раннего Возрождения, XV век.

231

- Цыганку (франц.).
232
Предсказательницу будущего (франц.).
233
Переживаний (франц.).
234
Уступчивую, сговорчивую (франц.).
235
Калибан – персонаж из «Бури» Шекспира, получеловек-получудовище.
236
Гадес – в греческой мифологии «преисподняя».
237
Кадиш – молитва (иврит).
238
Такая скука! (франц.).
239
Просто чудо эта ночь! (франц.).
240
Тревога, боль (франц.).
241
Ну (франц.).
242
Бог ты мой (франц.).
243
Дух, призрак (франц.).
244
Черт подери (франц.).
245
Прощай (франц.).
246
Здравствуй (франц.).
247
Здесь: самообман (нем.).
248
Настоящая, подлинная (нем.).
249
Как бы не так! (идиш)
250
Вкручивай кому-нибудь другому! (нем.).
251
Тихим голосом (итал).
252
Вы – поляк? (польск.).

253

Большое спасибо, шеф (франц.).

254

Милая (нем.).

255

Свободу (нем.).

256

И ты... эсэсовская девка... говоришь... еврейская свинья! (нем.).

257

Замечательно (нем.).

258

Вот, сэр, «нусхернхен» (франц.).

259

«И восходит солнце» (1926) – роман Эрнеста Хемингуэя (в русск. пер. «Фиеста»).

260

Горе, несчастье (идиш).

261

Но, дорогой мой, это не трагично (франц.).

262

Поехали же! (франц.).

263

Решение (франц.).

264

Непорядочного (франц.).

265

Одно вместо другого (лат.).

266

Свиньи (франц.).

267

Люцина – римская богиня деторождения.

268

Армия Крайова действовала под руководством польского правительства в Лондоне в 1942–1945 годах на территории оккупированной фашистами Польши. Была организатором Варшавского восстания 1944 года.

269

Естественно (франц.).

270

Ассимилировавшиеся, натурализованные (франц.).

271

Эякуляция преждевременная (лат.).

272

К примеру (франц.).

273

К примеру (франц.).

274

Стерва (идиш).

275

Не говорю по-английски (исп.).

276

Выходи! (нем.).

277

Дорогуша (нем.).

278

Мясо высокого качества (нем.).

279

Господин офицер (нем.).

280

Пылкой, пламенной (франц.).

281

«Так поступают все женщины» (итал.) – опера В. А. Моцарта.

282

Все! (нем.).

283

Концерна (нем.).

284

Коллегиум майус – в течение пяти веков была главным зданием Краковской академии. В XIX веке здание было перестроено и отведено под университетскую библиотеку. В 1947–1963 годах были проведены работы по консервации здания, где теперь располагаются музей и парадные залы Ягеллонского университета.

285

Расстройство желудка (нем.).

286

Естественно (нем.).

287

Гофмансталь, Гуго фон (1874–1929) – австрийский писатель-символист.

288

Гауптман, Герхарт (1862–1946) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии 1912 года, глава немецкого натурализма.

289

Литературном языке (нем.).

290

Обиходном языке (нем.).

291

Восхитительно! (нем.).

292

Ты такое... (нем.).

293

Ох, дерьмо... (франц.).

294

Англичанах и голландцах (нем.).

295

Стрейтс-Сетлментс – бывшая британская колония со столицей Сингапур.

296

А ну! (франц.).

297

Порядка (нем.).

298

Барышня (нем.).

299

Девочке (нем.).

300

Обморок, синкопа (нем.).

301

Вот это я (нем.).

302

Говорит Лондон! (франц.)

303

Края света (лат.).

304

Италия объявила войну Германии... (франц.).

305

Добрый день (нем.).

306

Драматического тенора (нем.).

307

«Пробей, желанный час» (нем.).

308

Отбивайте еще урочные часы! (нем.).

309

Любовном сне (нем.).

310

Шизофрения (нем.).

311

Здесь: извините (нем.).

312

Бог ты мой (франц.).

313

Богохульство (франц.).

314

Безумие, глупость (франц.).

315

Глупо (франц.).

316

Спасибо, господин комендант (нем.).

317

Мистер Хайд – герой романа английского писателя Роберта Стивенсона (1850–1894) «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», в которой доктор Джекил, открыв средство для продления жизни, испытывает его на себе и превращается в человека-чудовище мистера Хайда.

318

Здесь: настоящий (лат.).

319

«Начала» (лат.) – краткое название знаменитого труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1687).

320

«Поправка-22» – роман известного американского писателя Джозефа Хеллера (род. в 1923 г.).

321

Радость жизни (франц.).

322

Конец (лат.).

323

Марш с требованиями вести активную борьбу с полиомиелитом, во время которого собирали по 10 центов.

324

Хладнокровием(франц.).

325

Безумие вдвоем (франц.).

326

Кьеркегор, Серен (1813–1855) – датский теолог, философ-иррационалист, писатель.

327

Задумшевную (нем.).

328

Галла – язык негров, населяющих прибрежные острова и побережье штатов Южная Каролина и Джорджия. Кейджен – язык, на котором говорят метисы, проживающие в юго-западной части штата Алабама и в примыкающих районах штата Миссисипи.

329

Кейбл, Джордж Вашингтон (1844–1925) – американский писатель; известен главным образом своими ранними произведениями о жизни креолов в Луизиане.

330

Кэлхун, Джон Колдуэлл (1782–1850) – американский юрист; сенатор из штата Южная Каролина, выступавший за сохранение рабства и права Юга.

331

Дэвис, Джефферсон (1808–1889) – президент Конфедерации пых штатов.

332

Скарлетт О’Хара – героиня известного романа американской сательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1938).

333

«Да почиет» (лат.).

334

Молли Блум – одна из трех главных персонажей в романе Джеймса Джойса «Улисс», жена Леопольда Блума, которая изменяет своему мужу. Последняя часть романа представляет собой ее знаменитый внутренний монолог – поток сознания, написанный на одном дыхании и заканчивающийся жизнеутверждающим: «Да».

335

Коллаборационистка (франц.).

336

Третьеразрядностью (франц.).

337

Кросс, Милтон – музыкальный комментатор, специалист по опере.

338

Экафф, Рой – исполнитель народных песен Юга.

339

Шуман-Хайнк, Эрнестина (1861 – 1936) – американская певица (контральто) австрийского происхождения.

340

Песни (нем.).

341

«Кузнец» (нем.).

342

«О вечной любви» (нем.).

343

«Лорд Джим» (1900) – роман известного английского писателя польского происхождения Джозефа Конрада (1857–1924).

344

Выспренный вздор ((нем.)).

345

«Швейцарские Робинзоны, или Приключения на необитаемом острове» (1813) – повесть швейцарского писателя и философа Иоганна Рудольфа Висса (1781 – 1830).

346

«Белый Клык» (1905) – известный роман американского писателя Джека Лондона (1876–1916).

347

«Пенрод и Сэм» (1916) – приключенческая повесть американского писателя Бута Таркингтона (1869 – 1946).

348

Защитной (нем.).

349

Название Пятого концерта Бетховена.

350

«Фамилия» доктора означает: Некто фон Никто (нем.).

351

Сволочь, подлец (нем.).

352

Ты полька. Ты еще и коммунистка? (нем.).

353

Не говорит по-немецки (искаж. нем.).

354

Я полька! Родилась в Кракове! (нем.).

355

Да, господин капитан (нем.).

356

Евангелие от Марка, 10:14.

357

Здесь: что? (нем.).

358

Я не могу выбрать (нем.).

359

Налево (нем.).

360

Где, где же он, живой бог? (нем.).

361

Имеются в виду крупные книгоиздательства «Альфред Кнопф» и «Харпер энд Роу».

362

Название романа американского писателя Эрскина Колдуэлла, описывающего жизнь разорившихся фермеров из Джорджии, которые живут на Табачной дороге.

363

Л'Анфан, Пьер Шарль (1754–1825) – военный инженер, родившийся во Франции, был приглашен в 1791 году Джорджем Вашингтоном для планировки будущей столицы на реке Потомак и начал ее строительство; из-за чрезмерных расходов, связанных с размахом предпринятых им работ, был отстранен.

364

Кровь (нем.).

365

Английский (нем.).

366

Дела рук его (нем.).

367

Перевод В. Топорова.